



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

UC-NRLF



В 3 723 362

ИСТОРИЯ ХРЕСТОМА
ПО ИСТОРИИ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Част. II — 1888 г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ВЪЗДЪЛЪНЪЯ ПЕЧАТЪНІА

ИЗДАНИЕ
ВЪЗДЪЛЪНЪЯ ПЕЧАТЪНІА



**Въ продажѣ имѣются сочиненія прив.-доц. Имп. Спб.
Университета В. В. Сиповскаго:**

1) ИСТОРИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, ч. I, вып. 1-й, „Народная словесность“, изд. 3-е; вып. 2-й, „Исторія русской письменности отъ XI до XVIII в.“, изд. 3-е; ч. II, „Русская литература XVIII-го, начала XIX в.“, изд. 2-е; ч. III, вып. 1-й, „Пушкинъ, Гоголь и Вѣлискій“; вып. 2-й, „Русская литература послѣ Пушкина и Гоголя“.

Ученымъ Комитетомъ М. Н. Пр. это сочиненіе допущено въ качествѣ РУКОВОДСТВА въ старшіе классы мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

2) ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ.

Первое изданіе было допущено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. въ качествѣ учебнаго пособия въ старшіе классы мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

Томъ I-й, вып. 1-й, „Народная словесность“; вып. 2-й, „Русская литература до Петра“; вып. 3-й, „Русская литература отъ Петра до Карамзина“; томъ II, вып. I, „Русская литература XVIII—XIX в.“: Сентиментальное направленіе (Карамзинъ, Чулковъ, В. и А. Измайловъ, Кн. Шаликовъ); Народническое направленіе (Н. Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій, Н. Львовъ, Чулковъ, Аблесимовъ и др.); вып. 2-й, „Русская литература 20—30-ыхъ годовъ XIX ст.“: Романтическое направленіе (Каменевъ, Жуковский); Классическое направленіе (Озеровъ, Вятковъ); вып. 3-й, „Русская литература 20—30-хъ годовъ“: Реалистическое направленіе (И. Дмитріевъ, А. Измайловъ, И. Крыловъ, А. Грибоѣдовъ, Нарѣжный); Народническое направленіе (Мерзляковъ, Ершовъ, Растопчинъ); вып. 4-й, „Русская литература 20—40-хъ годовъ“ (Пушкинъ и Гоголь); вып. 5-й, „Русская литература 30—40-хъ годовъ“ (Вѣлискій, Лермонтовъ, Кольцовъ); т. III, „Русская литература 40—70-хъ годовъ“ (Майковъ, Полонскій, Фетъ, Тютчевъ, Ал. Толстой, Некрасовъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Л. Толстой и Достоевскій).

3) ПУШКИНЪ, ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО. Содержаніе: Въмѣсто предисловія, „Русская литература до Пушкина“, „Въ родной семьѣ“, „Въ Царскомъ Селѣ“, „Въ Петербургѣ“, „На югѣ“, „Въ селѣ Михайловскомъ“, „На волгѣ“, „Въ тихой пристани“, „Русланъ и Людмила“, „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ“, „Полтава“ и „Борисъ Годуновъ“, „Исторія села Горохина“, „Онѣгинъ“, „Ленскій“, „Татьяна“. 617 стр. Ц. 3 р. 50 к.

Сочиненіе это включено въ каталогъ книгъ, рекомендуемыхъ Мин. Нар. Пр. въ составѣ ученическихъ библиотекъ.

III. 25.
Лтв. 966

~~2081~~
~~VIII. 48~~

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ

ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

Sipovskii, V. V. —

Составилъ В. В. СИПОВСКІЙ.

Т. II, вып. 4-й: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20—30-ыхъ годовъ
XIX в.

ПУШКИНЪ И ГОГОЛЬ.

ПРИМѢНИТЕЛЬНО КЪ „ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ“
ТОГО ЖЕ АВТОРА Ч. II, вып. 1-ый.

*Томъ I былъ допущенъ Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. въ каче-
ство учебнаго пособия въ среднее учебныя заведенія Мин. Нар. Просв.;
вслѣдствіе такого постановленія книга эта допускается и въ учебн.
завед. Вѣд. Императрицы Маріи Ѳеодоровны и учебн. заведенія Мин.
Торговли и Промышленности.*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНИЕ Бр. БАШМАКОВЫХЪ.
1908.

Цена въ переплетѣ 1 руб. 50 коп.

LOAN STACK

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка, 86.

PG 2950
S5
1908
V. 2:4

Предисловіе.

Выпуская въ свѣтъ четвертый выпускъ своей „Исторической Хрестоматіи“, я считаю долгомъ выяснитъ тѣ соображенія, которыя заставили меня издать сочиненія Пушкина въ *сокращенномъ видѣ*. Прежде всего, я полагалъ бы, что, съ педагогической точки зрѣнія, не все для учениковъ необходимо въ полномъ собраніи Пушкина, а многое даже едва ли полезно (нѣкоторыя антологическія стихотворенія, экспромты, эпиграммы, отдѣльныя мѣста въ „Русланъ и Людмилъ“ и мн. др.). Затѣмъ на свою Хрестоматію я смотрю, какъ на „пособіе“ при прохожденіи учебниковъ по исторіи русской словесности (въ частности моей Исторіи русской словесности, ч. III, вып. I), — и, съ этой точки зрѣнія, считаю себя въ правѣ дѣлать изъ сочиненій Пушкина выборъ тѣхъ произведеній, которыя особенно характерны. Наконецъ, думаю, что для учениковъ гораздо удобнѣе имѣть подъ рукой весь нужный матеріалъ въ одной небольшой книгѣ, чѣмъ въ нѣсколькихъ томахъ (или въ одномъ компактномъ); иногда приходится носить сочиненія писателя въ классъ, это представляетъ для дѣтей большое неудобство. Думаю, что и въ этомъ случаѣ мое изданіе можетъ сослужить службу.

Считаю своимъ долгомъ поблагодарить уважаемаго В. И. Короленко за то, что онъ взялъ на себя трудъ корректировать этотъ выпускъ.

Составитель.

Оглавление.

Пушкинъ

СТРАН.

1—205

ЛИРИКА.

„Къ Ватюшкову“ — 1; „Городокъ“ — 1; „Къ Ватюшкову“ — 4; „Элегія“ — 5; „Къ Жуковскому“ — 5; „Къ Чаадаеву“ — 6; „Къ портрету Жуковского“ — 6; „Жуковскому“ — 6; „Эпиграммы на Карамзина“ — 6; „Деревня“ — 7; „Возрождение“ — 7; „Погасло дневное светило“ — 8; „Нереида“ — 8; „Муза“ — 9; „Элегія“ — 9; „Кинжалъ“ — 9; „Чаадаеву“ — 10; „Узникъ“ — 11; „Птичка“ — 12; „Демонъ“ — 12; „Ночь“ — 12; „Свободы съятель пустынный“ — 12; „На Воронцова“ — 12; „Экспромтъ“ — 12; „Къ морю“ — 13; „Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“ — 13; „Подражаніе Корану“ — 16; „Къ А. П. Кернъ“ — 17; „19 октября 1825 г.“ — 16; „Зимній вечеръ“ — 19; „Пѣсни въ народномъ родѣ“ — 19; „Пророкъ“ — 19; „Зимняя дорога“ — 20; „Стансы“ — 20; „Посланіе въ Сибирь“ — 20; „Аріонъ“ — 20; „Поэтъ“ — 21; „Къ женѣ“ — 21; „Друзьямъ“ — 21; „Воспоминаніе“ — 21; „26 мая 1828 г.“ — 22; „Анчаръ“ — 22; „Утопленникъ“ — 22; „Опричникъ“ — 23; „Чернь“ — 24; „Я васъ любилъ...“ — 25; „Кавказъ“ — 25; „Обвалъ“ — 25; „Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ“ — 25; „Стансы“ — 26; „Поэту“ — 26; „Мадонна“ — 27; „Бѣсы“ — 27; „Элегія“ — 28; „Шалость“ — 28; „Осень“ — 28; „Я адѣсь, Инезилья“ — 30; „Для береговъ отчизны дальней...“ — 30; „Герой“ — 31; „Начало сказки“ — 32; „Въ началѣ жизни школу помню я“ — 32; „Эхо“ — 33; „Клеветникамъ Россіи“ — 33; „Вородинская годовщина“ — 34; „Нѣтъ, нѣтъ не долженъ я, не смѣю...“ — 35; „Подражанія древнимъ“ — 35; „Вино“ — 35; „Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума...“ — 35; „Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ...“ — 36; „Одинъ то былъ у отца, у матери единый сынъ...“ — 36; „Другъ мой милый, красно солнышко мое...“ — 36; „Мицкевичъ“ — 37; „Изъ Анакреона“ — 37; „Полководецъ“ — 37; „Туча“ — 38; „Пиръ Петра Великаго“ — 39; „Вновь я посѣтилъ...“ — 39; „Художнику...“ — 40; „Изъ VI Пиндемонте“ — 40; „Молитва“ — 41; „Я памятникъ себѣ вoadвигъ...“ — 41; „Къ женѣ“ — 41.

ПОЭМЫ И РОМАНЫ ВЪ СТИХАХЪ:

„Русланъ и Людмила“	41
„Кавказскій Плѣнникъ“	50
„Цыганы“	56
„Полтава“	60
„Евгеній Онѣгинъ“	68
„Мѣдный Всадникъ“	99
„Сказка о царѣ Салтанѣ...“	103
„Сказка о рыбацѣ и рыбкѣ“	108

ДРАМЫ:

Изъ драмы: „Борисъ Годуновъ“	110
„Скупой рыцарь“	129
„Моцартъ и Сальери“	135
Изъ „Каменнаго гостя“	138
„Русалка“	146

РОМАНЫ:

Изъ повѣстей Вѣлкина—„Гробовщикъ“	152
„Станціонный смотритель“—	156
„Капитанская дочка“	161
„Исторія села Горохина“	195

Н. В. Гоголь	206
„Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“	206
„Майская ночь, или утопленница“	214
„Ночь передъ Рождествомъ“	219
„Старосвѣтскіе помѣщики“	232
„Тарасъ Бульба“	244
„Вія“	274
„Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“	282
„Шинель“	296
„Ревизоръ“	306
Приложеніе къ комедіи „Ревизоръ“, — 343; отрывокъ изъ письма автора — 343; развязка „Ревизора“ — 344; „Театральный разъѣздъ“—347.	
„Портретъ“	356
„Мертвыя души“	369



Пушкинъ.

В. Сиповскій. Исторія русской словесности, ч. III, вып. 1-ый.

Къ Батюшкову.

Отрывокъ.

Философъ рѣзвый и пѣтъ,
Парнассскій счастливый лѣннвецъ,
Харитъ изнѣженный любимецъ,
Наперсникъ милыхъ Аонидъ!
Почто на арфѣ влатострунной
Умолкнулъ, радости пѣвецъ?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Разстался съ Фебомъ наконецъ?

Уже съ вѣнкомъ изъ розъ душистыхъ
Межъ кудрей вьющихся, златыхъ,
Подъ тѣнью тополей вѣтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ
Заздравнымъ не стучишь фіаломъ,
Любовь и Вахъа не поешь;
Довольный, счастливый началомъ,
Цвѣтовъ парнасскихъ вновь не рвешь;
Не слышенъ нашъ Парна Россійскій.
Пой, юноша! Пѣвецъ тѣмскій
Въ тебя влилъ свой нѣжный духъ;
Съ тобою твой прелестный другъ,
Лилета, красныхъ дней отрада:
Пѣвцу любви любовь награда.
Настрой же лиру, по струнамъ
Летай игривыми перстами,
Какъ вѣснѣй зѣфиръ по цвѣтамъ,
И сладострастными стихами,
И тихимъ шопотомъ любви
Лилету въ свой шалашъ зови.
И звѣздъ ночныхъ при блѣдномъ свѣтѣ,
Плывущихъ въ дальней вышинѣ,
Въ уединенномъ кабинетѣ,

Волшебной внемля тишинѣ,
Слезамъ счастья грудь прекрасной,
Счастливецъ милый, орошай;
Но, упоенъ любовью страстной,
И нѣжныхъ музъ не забывай!
Люби нѣтъ болѣ счастья въ мѣрѣ;
Люби—и пой ее на лирѣ.

Когда жъ къ тебѣ досужный часъ
Друзья, знакомые сберутся,
И вина пѣнныя полюбятся,
Отъ плѣна съ трескомъ свободясь,—
Описывай въ стихахъ игривыхъ,
Веселье, шумъ гостей болтливыхъ
Вокругъ накрытаго стола,
Стаканъ, кипящій пѣной бѣлой,
И стукъ блестящаго стекла;
И гости дружно стихъ веселый,
Бокалъ въ бокалъ удара въ ладъ,
Нестройнымъ хоромъ повторятъ.
Поэтъ! въ твоей предметы воля!
Во звучны струны смѣло грядь,
Съ Жуковскимъ пой кроваву брань
И грозну смерть на ратномъ полѣ:
И ты въ строяхъ ее встрѣчалъ,
И ты, постигнутый судьбою,
Какъ россъ, питомецъ славы, палъ!
Ты палъ, и хладною косою
Едва скошенный не уваль!..

Городонъ.

Отрывокъ. Къ ***.

Прости мнѣ, милый другъ,
Двухлѣтнее молчанье:
Писать тебѣ посланье

Мнѣ было недосугъ.
 На тройкѣ принесенный
 Изъ родины смиренной
 Въ великій градъ Петра,
 Отъ утра до утра
 Два года все кружился
 Безъ дѣла въ хлопотахъ,
 Зѣвалъ и веселился
 Въ театрѣ, на пирахъ;
 Не вѣдалъ я покоя,
 Увы! ни на часокъ...
 Но, слава, слава Богу!
 На ровную дорогу
 Я выѣхалъ теперь,
 Уже вытолкалъ за дверь
 Заботы и печали,
 Которыя играли—
 Стыжусь—столь долго мной.
 И въ тишинѣ святой
 Философомъ лѣнливомъ,
 Отъ шума вдаль, въ
 Живу я въ городѣ,
 Безвѣстностью счастливомъ.
 Я нанялъ свѣтлый домъ:
 Съ диваномъ, съ камелькомъ,
 Три комнаты простыя—
 Въ нихъ злата, бронзы нѣтъ,
 И ткани выписныя
 Не кроютъ ихъ паркетъ.
 Окошки—въ садъ веселый,
 Гдѣ липы престарѣлы
 Съ черемухой цвѣтутъ;
 Гдѣ мнѣ въ часы полдневны
 Березокъ своды темны
 Прохладну сѣнь даютъ;
 Гдѣ ландышъ бѣлоснѣжный
 Сплелся съ фіалкой нѣжной,
 И быстрый ручеекъ,
 Въ струяхъ неся цвѣтокъ,
 Невидимый для взора,
 Лепечетъ у забора.
 Здѣсь добрый твой поэтъ
 Живетъ благополучно;
 Не ходить въ модный свѣтъ;
 На улицѣ каретъ
 Не слышенъ стукъ докучный;
 Здѣсь грома вовсе нѣтъ;
 Лишь изрѣдка телѣга
 Скрипитъ по мостовой,
 Цѣль путникъ, въ домикъ мой

Пришедъ искать ночлега,
 Дорожною клюкой
 Въ калитку постучится...
 Блаженъ, кто веселится
 Въ покой, безъ заботъ,
 Съ кѣмъ втайнѣ Февъ дружится
 И маленький Эроть;
 Блаженъ, кто на просторѣ
 Въ укромномъ уголкѣ
 Не думаетъ о горѣ.
 Гуляетъ въ колпакѣ;
 Пьетъ, ѣстъ, когда захочетъ,
 О гостѣ не хлопочетъ!
 Никто, никто ему
 Лѣниться одному
 Въ постели не мѣшаетъ;
 Захочетъ—Аонидъ
 Толпу къ себѣ сзываетъ;
 Захочетъ—сладко спитъ,
 На Риемова склоняясь
 И тихо забываясь.
 Такъ я, мой милый другъ,
 Теперь расположился...
 Съ толпой безстыдныхъ слугъ
 Навѣки распростился;
 Укрывшись въ кабинетъ,
 Одинъ я не скучаю,
 И часто цѣлый свѣтъ
 Съ восторгомъ забываю.
 Друзья мнѣ—мертвецы,
 Парнаскіе жрецы.
 Надъ полкою простою,
 Подъ тонкою тафтою,
 Со мной они живутъ.
 Пѣвцы краснорѣчивы,
 Прозанки шутливы—
 Въ порядкѣ стали тутъ.
 Сынъ Мома и Минервы,
 Фернейскій злой крикунъ,
 Поэтъ въ поэтахъ первый,
 Ты здѣсь, сѣдой шалунъ!
 Онъ Фебомъ былъ воспитанъ,
 Издѣтства сталъ пѣить;
 Всѣхъ больше перечитанъ,
 Всѣхъ менѣе томить;
 Соперникъ Эврипида,
 Эраты нѣжный другъ,
 Арьоста, Тасса внукъ—
 Скажу ль?.. отецъ Кандида!
 Онъ все: вездѣ великъ

Единственный старикъ!
 На полкѣ за Вольтеромъ
 Виргилій, Тассъ съ Гомеромъ,
 Всѣ вмѣстѣ предстоятъ.
 Въ часъ утренній досуга
 Я часто другъ отъ друга
 Люблю ихъ отрывать.
 Питомцы юныхъ Грацій—
 Съ Державинымъ потомъ
 Чувствительный Горацій
 Является вдвоемъ.
 И ты, пѣвецъ любезный,
 Поэзіей прелестной
 Сердца привлечшій въ плѣнъ,
 Ты здѣсь, лѣнтяй безпечный,
 Мудрецъ простосердечный,
 Ванюша Лафонтенъ,
 Ты здѣсь!.. И Дмитревъ нѣжный,
 Твой вымыселъ любя,
 Нашелъ пріютъ надежный
 Съ Крыловымъ близъ тебя.
 Но вотъ наперсникъ милый
 Психей златокрылой!
 О добрый Лафонтенъ,
 Съ тобой онъ смѣлъ сразиться...
 Кошъ можешь ты дивиться,
 Дивись: ты побѣжденъ!
 Воспитаны Амуромъ,
 Верже, Парни съ Грекуромъ
 Укрылись въ уголокъ
 (Не разъ они выходятъ
 И сонъ отъ глазъ отводятъ
 Подъ зимній вечерокъ),
 Здѣсь Озеровъ съ Расиномъ,
 Руссо и Карамзинъ;
 Съ Мольеромъ-исполиномъ
 Фонъ-Визинъ и Княжнинъ.
 За ними, хмурясь важно,
 Ихъ грозный Аристархъ
 Является отважно
 Въ шестнадцати томахъ.
 Хоть страшно стихотечу
 Лагарпа видѣть вѣсѣ,
 Но часто, признаюсь,
 Надъ нимъ я время трачу...
 ...О вы, въ моей пустынѣ
 Любимые творцы!
 Займите же отнынѣ
 Безпечности часы.
 Мой другъ! Весь день я съ ними—

То въ думу углубленъ,
 То мыслями своими
 Въ Элизій пренесенъ.
 Когда же на закатѣ
 Послѣдній лучъ зари
 Потонетъ въ яркомъ златѣ,
 И свѣтлые цари
 Смеркающейся ноши
 Плывуть по небесамъ,
 И тихо дремлютъ рощи,
 И шорохъ по лѣсамъ—
 Мой геній невидимкой
 Летаетъ надо мной,
 И я въ тиши ночной
 Сливаю голосъ свой
 Съ пастушьею волынкой.
 Ахъ, счастливъ, счастливъ тотъ,
 Кто лиру въ даръ отъ Феба
 Во цвѣтъ дней возьметъ!
 Какъ смѣлый житель неба,
 Онъ къ солнцу воспаритъ,
 Превыше смертныхъ станетъ
 И слава громко грянетъ:
 „Безсмертенъ вѣкъ пѣтъ!“
 Но ею мнѣ ль гордиться,
 Но мнѣ ль безсмертьемъ льститься?...
 До слезъ я спорить радъ,
 Не бьюсь лишь объ закладъ...
 Какъ знать? и мнѣ, быть можетъ,
 Печать свою наложитъ
 Небесный Аполлонъ;
 Сіяя горнымъ свѣтомъ,
 Безтрепетнымъ полетомъ
 Взлечу на Геликонъ.
 Не весь я преданъ тѣнью;
 Съ моею, быть можетъ, тѣнью
 Полуночной порой
 Сытъ Феба молодой,
 Мой правнукъ просвѣщенный,
 Бесѣдовать придетъ
 И, мною вдохновенный,
 На лирѣ воздохнетъ...
 Но все ли, милый другъ,
 Быть счастья въ упоенъ?
 И въ грусти томный духъ
 Находить наслажденье:
 Люблю я въ лѣтній день
 Бродить одинъ съ тоскою,
 Встрѣчать вечерню тѣнь
 Надъ тихою рѣкою,

И съ сладостной слезою
Въ даль сумрачну смотрѣть;
Люблю съ моимъ Марономъ,
Подъ яснымъ небосклономъ,
Близъ озера сидѣть,
Гдѣ лебедь бѣлоснѣжный,
Оставя злѣкъ прибрежный,
Любви и нѣги полнъ,
Съ подругою своею,
Закинувъ гордо шею,
Плыветъ во златѣ волнъ;
Или, для развлеченья,
Оставя книгъ ученъе,
Въ досужный мнѣ часокъ,
У добренькой старушки
Душистый пью чаекъ;
Не подхожу я къ ручкѣ,
Не шаркаю предъ ней,
Она не присѣдаетъ,
Но тотчасъ же вѣстей
Мнѣ пропасть наболтаетъ,
Газеты собираетъ
Со всѣхъ она сторонъ,
Все свѣдаетъ, узнаетъ:
Кто умеръ, кто влюбленъ,
Кого жена по модѣ
Рогами убрала,
Въ которомъ огородѣ
Капуста цвѣтъ дала;
Ома свою хозяйку
Ни за что наказалъ,
Антошка балалайку,
Играя, разломалъ—
Старушка все расскажетъ.
Межъ тѣмъ, какъ юбку вяжетъ,
Болтаетъ все свое;
А я сижу смиренно,
Въ мечтаньяхъ углубленный,
Не слушая ее,
На риѣмы удалова
Такъ нѣкогда Свистова
Въ столицѣ я внималъ,
Когда свои творенья
Онъ съ жаромъ мнѣ читалъ.
Ахъ, видно, Богъ пыталъ
Тогда мое терпѣнье!
Иль добрый мой сосѣдъ,
Семидесяти лѣтъ
Уволенный отъ службы
Маіоромъ отставнымъ,

Зоветъ меня изъ дружбы
Хлѣбъ-соль откупать съ нимъ.
Вечернею пирушкой
Старикъ, развеселясь
За дѣдовскою кружкой,
Въ прошедшемъ углубясь,
Съ очаковской медалью
На раненой груди,
Воспомнить ту баталию,
Гдѣ, роты впереди,
Летѣлъ навстрѣчу славы,
Но встрѣтился съ ядромъ,
И палъ на долъ кровавый
Съ булатнымъ палахомъ.
Всегда я радъ душою
Съ нимъ время проводить,
Но, Боже, виновать!
Я каюсь предъ тобою—
Служителей твоихъ,
Поповъ я городскихъ
Боюсь, боюсь бесѣды,
И свадебны обѣды
Затѣмъ лишь не терплю,
Что сельскихъ іереевъ,
Какъ папа іудеевъ,
Я вовсе не люблю,
А съ ними крюковатый
Подьяческій народъ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплотъ.
Но, другъ мой, если вскорѣ
Увижусь я съ тобой,
То мы уходимъ горе
За чашей круговой;
Тогда, влянусь богами
(И слово ужъ сдержу),
Я съ сельскими попами
Молебень отслужу.

Къ Батюшнову.

Въ пещерахъ Геликона
Я нѣкогда рожденъ:
Во имя Аполлона
Тибудломъ окрещенъ,
И свѣтлой Иппокреной
Съ издѣтства напоенный,
Подъ кровомъ вѣшнихъ розъ,
Поэтомъ я возроюсь.
Веселый сынъ Эрмія

Ребенка полюбилъ,
Въ дни рѣзвости златяя
Мнѣ дудку подарилъ.
Знакомясь съ нею рано,
Дудилъ я непрестанно;
Нескладно хотѣ играть,
Но музамъ не скучалъ.

А ты, пѣвецъ забавы,
И другъ пермесскихъ дѣвъ,
Ты хочешь, чтобы славы
Стезюю полетѣвъ,
Простясь съ Анакреономъ,
Спѣшилъ я за Марономъ,
И пѣлъ при звукахъ лиръ
Войны кровавый пиръ.

Дано мнѣ мало Фебомъ:
Охота—скудный даръ;
Пою подъ чуждымъ небомъ,
Вдали домашнихъ ларъ,
И съ дерзостнымъ Икаромъ
Страшась летать, не даромъ
Бреду своимъ путемъ:
Будь всякій при своемъ!

Элегія.

Опять я вашъ, о, юные друзья!
Печальныя сокрылись дни разлуки,
И брату вновь простерлись ваши руки;
Вашъ рѣзвый кругъ увидѣлъ снова я!
Все тѣ же вы, но время ужъ не то же:
Ужъ не вы душѣ всего дороже,
Ужъ я не тотъ... Невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной,
Навѣкъ ушла, и жизни скоротечной
Лучъ утренній блѣднѣетъ надо мной.
Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки музъ, и радость, и покой,
Я все забылъ: печали молчаливой
Рука лежитъ надъ юною главой.
Чтобъ разогнать угрюмья страданья,
Напрасно вы несете лиру мнѣ:
Минувшихъ дней погаснули мечтанья,
И умеръ гласъ въ безчувственной струнѣ.

Передъ собой одну печаль я вижу:
Мнѣ скученъ міръ, мнѣ страшенъ днев-
ный свѣтъ;

Иду въ лѣса, въ которыхъ жизни нѣтъ,

Гдѣ мертвый мракъ: я радость нена-
вижу;

Во мнѣ застылъ ея минутный слѣдъ.
Опали вы, листы вчерашней розы,
Не допѣли до завтрашнихъ лучей!
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы—неволью лютятся слезы,
И вяну я на темномъ утрѣ дней.
О, дружество, предай меня забвенью!
Въ безмолвіи, покорствуя судьбамъ,
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустынямъ и слезамъ!

Къ Жуковскому.

Благослови, поэтъ! Въ тиши парнас-
ской сѣни
Я съ трепетомъ склонилъ предъ му-
зами колѣни,
Опасною тропой съ надеждой полетѣлъ,
Мнѣ жребій вынулъ Фебъ—и лира мой
удѣлъ.
Страшусь, неопытный, безславнаго па-
денья,
Но пылаго смирить не въ силахъ я
влеченья.

Не грозный приговоръ на гибель
внемлю я:
Сокрытаго въ вѣкахъ священный судія,
Стражъ вѣрный прошлыхъ лѣтъ, на-
персникъ музъ любимый
И блѣдной зависти предметъ неколеби-
мый ¹⁾,
Привѣтливомъ меня вниманьемъ обо-
дрить;
И Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой
похвалилъ,
И славный старецъ нашъ, царей пѣ-
вецъ избранный,
Крылатымъ геніемъ и граціей вѣнчан-
ный ²⁾,
Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею
рукой
И счастье мнѣ предрекъ, неизнаемое
мною.

А ты, природою на пѣсни обреченный,

¹⁾ Карамзинъ.

²⁾ Державинъ.

Не ты ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ
любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ
тобой
Безмолвный я стоялъ, и молненной
струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей ле-
тѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пла-
менѣла?
Нѣтъ, нѣтъ, рѣшился я безъ страха
въ трудный путь!
Отважной вѣрою исполнилася грудь.
Творцы безсмертные, питомцы вдохно-
венья!
Вы цѣль мнѣ кажете въ туманахъ от-
даленья;
Лечу къ безвѣстному отважною мечтой,
И, мнится, геній вашъ промчался надо
мною...

Къ Чаадаеву.

Любви, надежды, гордой славы
Недблго тѣшилъ насъ обманъ:
Исчезли юныя забавы,
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!
Но въ насъ кипятъ еще желанья:
Подъ гнетомъ власти роковой
Нетерпѣливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья!
Мы ждемъ, съ томленьемъ упованья,
Минуты вольности святой,
Какъ ждетъ любовникъ молодой
Минуты сладкаго свиданья.
Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души высокіе порывы.
Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія воспрянетъ ото сна,
И на обломкахъ
Напишетъ наши имена.

Къ портрету Жуковского.

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,

И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ
младость,
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

Жуковскому.

На изданіе книжекъ его „Для немногихъ“.

Когда, къ мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на колыняхъ лиру
Нетерпѣливою рукой;
Когда смѣняются видѣнья
Передъ тобой въ волшебной мглѣ,
И быстрый холодъ вдохновенья
Власы подъемлетъ на челѣ:
Ты правъ, творишь ты для немногихъ,
Не для завистливыхъ судей.
Не для собирателей убогихъ
Чужихъ сужденій и вѣстей,
Но для друзей таланта строгихъ,
Священной истины друзей.
Не всякаго полюбить счастье,
Не всѣ родились для вѣнцовъ.
Блаженъ, кто знаетъ сладострастье
Высокихъ мыслей и стиховъ,
Кто наслажденіе прекраснымъ
Въ прекрасный получилъ удѣлъ,
И твой восторгъ уразумѣлъ
Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ!

Эпиграммы.

На Карамзина.

1.

Въ его исторіи изящность, простота
Доказываютъ намъ безъ всякаго при-
страстья

Необходимость самовластья
И прелести кнута.

2.

Послушайте, я вамъ скажу про старину,
Про Игоря и про его жену,
Про Новгородъ, про время золотое,
И, наконецъ, про Грознаго Царя:
— И, бабушка, затѣяла пустое:
Докончи лучше намъ Илью-богатыря.

Деревня.

Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ

На лонѣ счастья и забвенья!
Я твой: я промѣнялъ порочный дворъ царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья,
На мирный шумъ дубровъ, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой: люблю сей темный садъ
Съ его прохладой и цвѣтами,
Сей лугъ, уставленный душистыми скирдами.
Гдѣ свѣтлые ручьи въ кустарникахъ шумять.

Вездѣ передо мной подвижныя картины:
Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины,
Гдѣ парусъ рыбака бѣлѣетъ иногда,
За ними рядъ холмовъ и нивы полосаты.

Вдали разсыпанныя хаты,
На влажныхъ берегахъ бродящія стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;

Вездѣ слѣды довольства и труда.
Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденный,
Учуся въ истинѣ блаженство находить,
Свободною душой законъ боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной,
Участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ,

И не завидовать судьбѣ
Злодѣя или глупца въ величій неправомъ.

Оракулы вѣковъ! Здѣсь вопрошаю васъ:
Въ уединенѣй величавомъ
Слышите вашъ отрадный гласъ;
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы

Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.
Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ:

Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Другъ челоуѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ

Неумолимаго владѣльца.
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ;
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя,

Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для прихоти развратнаго злодѣя;
Опора милая старѣющихъ отцовъ,
Младые сыновья, товарищи трудовъ,
Изъ хижины родной идутъ собою множить

Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.
О, если бѣ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!

Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?

Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный

И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной

Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Возрожденіе.

Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину гению чернить
И свой рисунокъ беззаконный
Надъ ней безсмысленно чертить.

Но краски чуждыя, съ лѣтами,
Спадають ветхой чешуей;
Созданье гонія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.

Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

* * *

Погасло дневное свѣтило;
На море синее вечерній палъ туманъ.

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!
Я вижу берегъ отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:

Съ волненьемъ и тоской туда стре-
млюся я,

Воспоминаямъ упоенный,
И чувствую: въ очахъ родились слезы
вновь;

Душа кипитъ и замираетъ;
Мечта знакомая вокругъ меня летаетъ;
Я вспомнилъ прежнихъ лѣтъ безумную
любовь

И все, чѣмъ я страдалъ, и все, что
сердцу мило,
Желаній и надеждъ томительный об-
манъ...

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!
Лети, корабль, неси меня къ предѣ-
ламъ дальнымъ

По грозной прихоти обманчивыхъ мо-
рей,
Но только не къ берегамъ печаль-
нымъ

Туманной родины моей,
Страны, гдѣ пламенемъ страстей
Впервые чувства разгорались,
Гдѣ музы нѣжныя мнѣ тайно улыба-
лись,

Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла
Моя потерянная младость;
Гдѣ легкрылая мнѣ измѣнила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новыхъ впечатлѣній,
Я васъ бѣжалъ, отечески края,

Я васъ бѣжалъ, питомцы насла-
жденій,

Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочныхъ заблу-
жденій,

Которымъ безъ любви я жертвовалъ
собою,

Покоемъ, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, измѣнницы мла-
дыя,

Подруги тайныя моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежнихъ
сердца ранъ,

Глубокихъ ранъ любви, ничто не из-
лечило...

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!..

Нереида.

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ
Тавриду,

На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду.
Сокрытый межъ оливъ, едва я смѣлъ
дохнуть:

Надъ ясной влагою полубогиня грудь
Младую, бѣлую, какъ лебедь, влады-
чала.

И пѣну изъ влосовъ струею выжимала...

* * *

Рѣдѣтъ облаковъ летучая гряда.
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!

Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины,
И дремлющій заливъ, и черныхъ скалъ
вершины.

Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной
вышинѣ:

Онъ думы разбудилъ уснувшія во мнѣ.
Я помню твой восходъ, знакомое свѣ-
тило,

Надъ мирною страной, гдѣ все для
сердца мило,

Гдѣ стройно тополи въ долинахъ воз-
неслись,

Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и тем-
ный кипарисъ,

И сладостно шумятъ таврическія волны.

Тамъ нѣкогда въ горахъ, сердечной
думы полный,
Надъ моремъ я влчилъ задумчивую
лѣнь,
Когда на хижинѣ сходилѣ ночи тѣнь
И дѣва юная во мглѣ тебя искала
И именемъ своимъ—подругамъ назы-
вала.

Муза.

Въ младенчествѣ моемъ она меня лю-
била
И семиствольную цѣвницу мнѣ вру-
чила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого трост-
ника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важныя, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пасту-
ховъ.
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни
дубровъ
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы
тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милого чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она
брала:
Тростникъ былъ оживленъ божествен-
нымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очаро-
ваньемъ.

Элегія.

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты!
Остались мнѣ одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Подъ бурями судьбы жестокой
Увялъ цвѣтушій мой вѣнецъ!
Живу печальный, одинокій
И жду: придетъ ли мой конецъ?
Такъ, позднимъ хладомъ поражен-
ный,
Какъ бури слышенъ зимній свистъ,
Одинъ на вѣтѣхъ обнаженной
Трепещетъ запоздалый лѣстъ.

Кинжалъ.

Лемносскій богъ тебя сковалъ
Для рукъ безсмертной Немезиды,
Свободы тайный стражъ, карающій
кинжалъ,
Последній судія позора и обиды!
Гдѣ Зевса громъ молчить, гдѣ дре-
млетъ мечъ закона,
Свершитель ты проклятій и надеждъ;
Таяшся ты подъ сѣнью трона,
Подъ блескомъ праздничныхъ
одеждъ.

Какъ адскій лучъ, какъ молнія боговъ,
Нѣмое лезвіе злодѣю въ очи блещетъ
И, озираясь, онъ трепещетъ
Среди своихъ пировъ.
Вездѣ его найдетъ ударъ надежный
твой:

На сушѣ, на моряхъ, во храмѣ, подъ
шатрами,

За потаенными замками,
На ложѣ нѣгъ, въ семьѣ родной.
Шумить подъ Кесаремъ завѣтный
Рубиконъ,

Державный Римъ упалъ, главой по-
никъ законъ,

Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый...
Ты Кесаря сразилъ—и, мертвъ, объ-
емлетъ онъ

Помпея мраморъ горделивый.
Исчадье мятежа подѣмлетъ злобный
крикъ;

Презрѣнный, мрачный и кровавый
Надъ трупомъ вольности безглавой
Палачъ уродливый возникъ ¹⁾).

Апостолъ гибели, усталому Анду
Перстомъ онъ жертвы назначалъ;
Но высшій судъ ему послалъ
Тебя и дѣву-Эвмениду...

О, юный праведникъ, избранникъ ро-
ковой.

О, Зандъ, твой вѣкъ угасъ на плахѣ;
Но добродѣтели святой
Остался гласъ въ казненномъ прахѣ
Въ твоей Германіи ты вѣчной тѣнью
сталъ,

¹⁾ Маратъ.

Гроза бѣдой преступной силѣ—
И на торжественной могилѣ
Горить безъ надписи кинжалъ.

Чаадаеву.

Въ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги
прежнихъ лѣтъ,
Гдѣ прахъ Овидіевъ пустынный мой
сосѣдъ,
Гдѣ слава для меня предметъ заботы
малой,
Тебя недостаетъ душѣ моей усталой.
Врагу стѣснительныхъ условій и оковъ,
Нетрудно было мнѣ отвыкнуть отъ
пировъ,
Гдѣ праздный умъ блеститъ, тогда
какъ сердце дремлетъ
И, правду пылкую приличій хладъ объ-
емлетъ.
Оставя шумный кругъ безумцевъ мо-
лодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о
нихъ;
Вдохнувъ, оставилъ я другія заблу-
жденья,
Враговъ моихъ предалъ проклятію за-
бвенья,
И, сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ
плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину.
Въ уединеніи мой своенравный гений
Позналъ и тихій трудъ, и жажду раз-
мышлений;
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ
дружень умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ
думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ сво-
боды
Мятежной младостью утраченные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ
наравнѣ.
Богини мира, вновь явились музы мнѣ
И независимымъ досугамъ улыбну-
лись;
Цѣвницы брошенной уста мои косну-
лись;
Старинный звукъ меня обрадовалъ—и
вновь

Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу вѣрную, и милые предметы,
Плѣнявшіе меня въ младенческія лѣты,
Въ тѣ дни, когда, еще незнаемый ни-
кѣмъ,
Не зная ни заботъ, ни цѣли, ни си-
стемъ,
Я пѣньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и
лѣни
И царскосельскія хранительныя сѣни.
Но дружбы нѣтъ со мной: печальный,
вижу я
Лазурь чужихъ небесъ, полдневные
края;
Ничто не замѣнитъ единственнаго
друга:
Ни музы, ни труды, ни радости досуга.
Ты былъ цѣлителемъ моихъ душев-
ныхъ силъ;
О, неизмѣнный другъ, тебѣ я посвя-
тилъ
И краткій вѣкъ, уже испытанный судь-
бою,
И чувства, можетъ быть, спасенныя
тобою!
Ты сердце зналъ мое во цвѣтѣ юныхъ
дней;
Ты видѣлъ, какъ потомъ въ волненіи
страстей
Я тайно изнывалъ, страдалецъ уто-
мленный;
Въ минуту гибели надъ бездной пота-
енной
Ты поддержалъ меня недремлющей
рукой;
Ты другу замѣнилъ надежду и покой;
Во глубину души вникая строгимъ
взоромъ,
Ты оживлялъ ее совѣтомъ или уко-
ромъ;
Твой жаръ воспламенялъ къ высо-
кому любовь;
Терпѣнье смѣлое во мнѣ рождалось
вновь;
Ужъ голосъ клеветы не могъ меня
обидѣть.
Умѣлъ я презирать, умѣя ненавидѣть.
Что нужды было мнѣ въ торжествен-
номъ судѣ
Холопа знатнаго, невѣжды при звѣздѣ,

Или философа, который въ прежнихъ
лѣтахъ
Развратомъ изумилъ четыре части
свѣта,
Но, просвѣтивъ себя, загладилъ свой
позоръ,
Отвыкнулъ отъ вина и сталъ кар-
тежный воръ?
Ораторъ Лужниковъ, никѣмъ не за-
мѣчаемъ,
Мнѣ мало досаждалъ своимъ невин-
нымъ лаемъ.
Мнѣ ль было сѣтовать о толкахъ
шалуновъ,
О лепетаньѣ дамъ, зоиловъ и глупцовъ,
И сплетней разбирать игривую затѣю,
Когда гордиться могъ я дружбою
твоею?
Благодарю боговъ: прошелъ я мрачный
путь;
Печали раннія мою тѣснили грудь:
Къ печалямъ я привыкъ, расцѣлся я
съ судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.
Одно желаніе: останься ты со мной!
Небесъ я не томилъ молитвою дру-
гой.
О, скоро ли, мой другъ, настанетъ
срокъ разлуки?
Когда соединимъ слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой при-
вѣтъ?
Какъ обниму тебя! увижу кабинетъ,
Гдѣ ты всегда мудрецъ, а иногда ме-
чтатель
И вѣтреной толпы безстрастный на-
блюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый
домосѣдъ,
Съ тобою вспоминать бесѣды преж-
нихъ лѣтъ,
Младые вечера, пророческіе споры,
Знакомыхъ мертвецовъ живые разго-
воры;
Посмотримъ, перечтемъ, посудимъ, по-
бранимъ,
Вольнолюбивыя надежды оживимъ,
И счастливъ буду я; но только, ради
Бога,
Гони ты Шеппинга отъ нашего порога.

* * *

Наперсница волшебной старины,
Другъ вымысловъ игривыхъ и пе-
чальныхъ—
Тебя я зналъ во дни моей весны,
Во дни утѣхъ и сновъ первоначаль-
ныхъ!
Я ждалъ тебя. Въ вечерней тишинѣ
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидѣла въ шумѣ,
Въ большихъ очкахъ и съ рѣзвою
гремяшкой.
Ты, дѣтскую качая колыбель,
Мой юный слухъ напѣвами плѣнила,
И межъ пеленъ оставила свирѣль,
Которую сама заворожала!
Младенчество прошло, какъ легкій
сонъ:
Ты отрока безпечнаго любила—
Средь важныхъ музъ тебя лишь по-
мнилъ онъ,
И ты его тихонько посѣтила.
Но тотъ ли былъ твой образъ, твой
уборъ?
Какъ мило ты, какъ быстро измѣни-
лась!
Какимъ огнемъ улыбка оживилась!
Какимъ огнемъ блеснулъ привѣтный
взоръ!
Покровъ, клубясь волною непослушной,
Чуть осѣнялъ твой станъ полувоз-
душный;
Вся въ локонахъ, обвитая вѣнкомъ,
Прелестная глава благоухала;
Грудь бѣлая подъ желтымъ жемчугомъ
Румянилась и тихо трепетала...

Узникъ.

Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сы-
рой.
Вскормленный на волѣ орелъ моло-
дой,
Мой грустный товарищъ, махая кры-
ломъ,
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ.
Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ
окно,

Какъ будто со мною задумалъ одно;
Зоветь меня взглядомъ и крикомъ
своимъ,

И вымолвить хочеть: „Давай улетимъ!
„Мы вольныя птицы; пора, братъ,
пора!

Туда, гдѣ за тучей блѣдетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
Туда, гдѣ гуляемъ... лишь вѣтеръ,
да я!..“

Птичка.

Въ чужбинѣ свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При свѣтломъ праздникѣ весны.
Я сталъ доступенъ утѣшенью;
За что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать?

Демонъ.

А. Н. Раевскому.

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія—
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья;
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь:
Часы надеждъ и наслажденій
Тоской внезапной осыня,
Тогда какой-то злобный геній
Сталъ тайно навѣщать меня.
Печальны были наши встрѣчи:
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу холодный ядъ.
Неистощимой клеветой
Онъ Провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

Ночь.

Мой голосъ, для тебя и ласковый, и
томный,
Тревожить позднее молчанье ночи тем-
ной.
Близъ ложа моего печальная свѣча
Горитъ; мои стихи, сливаясь и журча,
Текутъ, ручьи любви, текутъ полны
тобою.

Во тьмѣ твои глаза блистають предо
мною,
Мнѣ улыбаются, и звуки слышу я:
Мой другъ, мой нѣжный другъ... люблю...
твоя... твоя.

* * *

Изъиде сѣятель сѣяти сѣмена своя.

Свободы сѣятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звѣзды;
Рукою чистой и безвинной
Въ поработенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя;
Но потерялъ я только время,
Благіе мысли и труды...
Паситесь, мирные народы,
Васъ не пробудитъ чести кличъ!
Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно рѣзать или стричъ;
Наслѣдство ихъ изъ рода въ роды—
Ярмо съ гремушками, да бичъ.

На Воронцова.

Полумилордъ, полукупецъ,
Полумудрецъ, полуневѣжда,
Полуподлецъ, но есть надежда,
Что будетъ полнымъ наконецъ.

Эспронтъ.

На канцелярскомъ дѣлѣ.

Саранча летѣла, летѣла
И сѣла.
Сидѣла, сидѣла—все сѣла
И вновь улетѣла.

Нѣ морю.

Прощай, свободная стихія!
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты катишь волны голубыя
И блещешь гордою красой.

Какъ друга ропотъ заунывный,
Какъ зовъ его въ прощальный часъ,
Твой грустный шумъ, твой шумъ при-
званный

Услышалъ я въ послѣдній разъ.

Моей души предѣлъ желанный!
Какъ часто по брегамъ твоимъ
Бродилъ я тихій и туманный,
Завѣтнымъ умысломъ токимъ.

Какъ я любилъ твои отзвуки,
Глухіе звуки, бездны гласъ,
И тишину въ вечерній часъ,
И своиравные порывы.

Смиранный парусъ рыбаей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользитъ отважно средѣ зыбей;
Но ты выгралъ, неодолимый—
И стая тонетъ кораблей!

Не удалось навѣкъ оставить
Мнѣ скучный, неподвижный берегъ,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтамъ твоимъ направить
Мой поэтический побѣгъ.

Ты ждалъ, ты звалъ... я былъ окованъ;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарованъ,
У береговъ остался я.

О чемъ жалѣть? Куда бы нынѣ
Я путь безпечный устремилъ?
Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ
Мою бы душу поразилъ.

Одна скала, гробница славы...
Тамъ погружались въ хладный сонъ
Воспоминанья величавы:
Тамъ угасалъ Наполеонъ.

Тамъ онъ почилъ среди мученій...
И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
Другой отъ насъ умчался геній,
Другой властитель нашихъ думъ.

Исчезъ, оплаканный свободой,
Остави міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о, море, твой пѣвецъ.

Твой образъ былъ на немъ означенъ;
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубоко и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ.

Мірѣ опустѣлъ... Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль просвѣщенъ, иль тиранъ.

Прощай же, море! не забуду
Твоей торжественной красоты,
И долго, долго слышать буду
Твой гулъ въ вечерніе часы.

Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.

Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ.

Книгопродавецъ.

Стишки для васъ одна забава:
Немножко стоитъ вамъ присѣсть,—
Ужъ разгласить успѣла слава
Вездѣ пріятнѣйшую вѣсть:
Поэма, говорятъ, готова,
Плодъ новыхъ умственныхъ затѣй.
Итакъ—рѣшите, жду я слова:
Назначьте сами цѣну ей.
Стишки любимца музъ и грацій
Мы вмигъ рублями замѣнимъ,
И въ пукъ наличныхъ ассигнацій
Листочки ваши обратимъ.
О чемъ вздохнули такъ глубоко,
Нельзя ль узнать?

Поэтъ.

Я былъ далеко!

Я время то воспоминалъ,
Когда, надеждами богатый,
Поэтъ безпечный, я писалъ
Изъ вдохновенья, не изъ платы,
И видѣлъ вновь пріюты скалъ,
И темный кровъ уединенья,
Гдѣ я на пиръ воображенья,
Бывало, музу призывалъ.
Тамъ слаще голосъ мой звучалъ:

Тамъ долѣ яркія видѣнья,
 Съ неизъяснимою красой,
 Вились, летали надо мной
 Въ часы ночного вдохновенья.
 Все волновало нѣжный умъ:
 Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
 Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
 Старушки чудное преданье.
 Какой-то демонъ обладалъ
 Моими играми, досугомъ;
 За мной повсюду онъ леталъ,
 Мнѣ звуки дивныя шепталъ,
 И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
 Была полна моя глава;
 Въ ней грезы чудныя рождались;
 Въ размѣры стройныя стекались
 Мои послушныя слова
 И звонкой риемой замыкались.
 Въ гармоніи соперникъ мой
 Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буй-
 ный,

Иль иволги напѣвъ живой,
 Иль ночью моря гулъ глухой,
 Иль шопотъ рѣчки тихоструйной,
 Тогда, въ безмолвіи трудовъ,
 Дѣлится не былъ я готовъ
 Съ толпою пламеннымъ восторгомъ,
 И музы сладостныхъ даровъ
 Не унижалъ постыднымъ торгомъ;
 Я былъ хранитель ихъ скупой.
 Такъ точно, въ гордости нѣмой,
 Отъ взоровъ черни лицемѣрной
 Дары любовницы молодой
 Хранить любовникъ суетѣрный.

Книгопродавецъ.

Но слава замѣнила вамъ
 Мечтанья тайнаго отрады;
 Вы разошлись по рукамъ,
 Межъ тѣмъ, какъ пыльныя громады
 Лежалой прозы и стиховъ
 Напрасно ждуть себѣ чтецовъ
 И вѣтреной ея награды.

Поэтъ.

Блаженъ, кто про себя тайлъ
 Души высокія созданья
 И отъ людей, какъ отъ могилъ,

Не ждалъ за чувство воздаянья!
 Блаженъ, кто молча былъ поэтъ
 И, терномъ славы не увитый,
 Презрѣнной чернью забытый,
 Безъ имени покинулъ свѣтъ!
 Обманчивъ и снова надежды,
 Что слава? Шопотъ ли чтеца?
 Гоненье ль низкаго невѣжды?
 Иль восхищеніе глупца?

Книгопродавецъ.

Лордъ Байронъ былъ того же
 мнѣнья;

Жуковский то же говорилъ:
 Но свѣтъ узналъ и раскупилъ
 Ихъ сладкозвучныя творенья.
 И впрямь, завиденъ вамъ удѣлъ:
 Поэтъ казнитъ, поэтъ вѣнчается;
 Злодѣевъ громомъ вѣчныхъ стрѣлъ
 Въ потомствѣ дальнемъ поражаетъ;
 Героевъ утѣшаетъ онъ;
 Съ Коринной на кіеерскій тронъ
 Свою любовницу возноситъ.
 Хвала для васъ докучный звонъ;
 Но сердце женщинъ славы просить:
 Для нихъ пишите; ихъ ушамъ
 Пріятна лесть Анакреона:
 Въ младыя лѣта розы намъ
 Дороже лавровъ Геликона.

Поэтъ.

Самолюбивыя мечты,
 Утѣхи юности безумной!
 И я, средь бури жизни шумной,
 Искалъ вниманья красоты.
 Мои слова, мои напѣвы
 Коварной силой иногда
 Смирять умѣли въ сердцѣ дѣвы
 Волненіе страха и стыда;
 Глаза прелестныя читали
 Меня съ улыбкою любви;
 Уста волшебныя шептали
 Мнѣ звуки сладкіе мои!
 Но полно; въ жертву имъ свободы
 Мечтатель ужъ не принесетъ;
 Пускай ихъ юноша поетъ,
 Любезный баловень природы.
 Что мнѣ до нихъ? Теперь въ глуши

Безмолвно жизнь моя несется;
Стонъ лиры вѣрной не коснется
Ихъ легкой вѣтренной души;
Нечисто въ нихъ воображенье,
Не понимаетъ насъ оно,
И, признакъ Бога, вдохновенье
Для нихъ и чуждо, и смѣшно.
Когда на память мнѣ невольно
Придетъ внушенный ими стихъ,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно идоловъ моихъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?
Ахъ, лира, лира! что же ты
Мое безумство разгласила?
Ахъ, если бъ Лета поглотила
Мои летучія мечты!

Книгопродавецъ.

Люблю вашъ гнѣвъ. Таковъ поэтъ!
Причины вашихъ огорченій
Мнѣ знать нельзя; но исключеній
Для милыхъ дамъ ужели нѣтъ?
Ужели ни одна не стоитъ
Ни вдохновенья, ни страстей
И вашихъ пѣсенъ не присвоить
Всесильной красотѣ своей?
Молчите вы?

Поэтъ.

Зачѣмъ поэтъ
Тревожить сердца тяжкій сонъ?
Безплодно память мучить онъ.
И что жъ, какое дѣло свѣту?
Я всѣмъ чужой. Душа моя
Хранить ли образъ незабвенный?
Любви блаженство зналъ ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таилъ я слезы въ тишинѣ?
Гдѣ та была, которой очи,
Какъ небо, улыбались мнѣ?
Вся жизнь одна ли, двѣ ли ночи?
.....
И что жъ? Докучный стонъ любви,
Слова покажутся мои
Безумца дикимъ лепетаньемъ.

Тамъ сердце ихъ пойметъ одно,
И то съ печальнымъ содроганьемъ.
Судьбою такъ ужъ рѣшено.
Съ кѣмъ подѣлюсь я вдохновеньемъ?
Одна была—предъ ней одной
Дышалъ я чистымъ упоеньемъ
Любви поэзіи святой.
Тамъ, тамъ, гдѣ тѣнь, гдѣ листъ чу-
десный,

Гдѣ льются вѣчныя струи,
Я находилъ огонь небесный,
Сгорая жаждою любви,
Ахъ, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить,
И сны поэзіи бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумѣла
Стихи неясные мои;
Одна бы въ сердцахъ пламенѣла
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасныя желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земныхъ восторговъ изліянья,
Какъ божеству, не нужно ей.

Книгопродавецъ.

Итакъ, любовью утомленный,
Наскуча лепетомъ молвы,
Заранѣ отказались вы
Отъ вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свѣтъ,
И музъ, и вѣтреную моду,
Что жъ изберете вы?

Поэтъ.

Свободу.

Книгопродавецъ.

Прекрасно. Вотъ же вамъ совѣтъ;
Внемлите истинѣ полезной:
Нашъ вѣкъ—торгашъ; въ сей вѣкъ
железный
Безъ денегъ и свободы нѣтъ.
Что слава? Яркая заплата
На ветхомъ рубищѣ пѣвца.
Намъ нужно злата, злата, злата;
Копите злато до конца!

Предвижу ваше возраженъе;
 Но васъ я знаю, господа:
 Вамъ ваше дорого творенъе,
 Пока на пламени труда
 Кипитъ, бурлитъ воображенъе;
 Оно застынетъ, и тогда
 Постыло вамъ и сочиненъе.
 Позвольте просто вамъ сказать:
 Не продается вдохновенъе,
 Но можно рукопись продать.
 Что жъ медлить? Ужъ ко мнѣ заходятъ
 Нетерпѣливыя чтецы;
 Вкругъ лавки журналисты бродятъ,
 За ними тощія пѣвцы:
 Кто проситъ нищія для сатиры,
 Кто для души, кто для пера,
 И, признаюсь, отъ вашей лиры
 Предвижу много я добра.

Поэтъ.

Вы совершенно правы. Вотъ вамъ
 моя рукопись. Условимся.

Подражанія Корану.

Клянусь четой и нечетой,
 Клянусь мечомъ и правой битвой,
 Клянуся утренней звѣздой,
 Клянусь вечернею молитвой:
 Нѣтъ, не покинулъ я тебя.
 Кого же въ снѣ успокоенъя
 Я ввелъ, главу его любя,
 И скрылъ отъ зоркаго гоненъя?
 Не я ль въ день жажды напоилъ
 Тебя пустынными водами?
 Не я ль языкъ твой одарилъ
 Могучей властью надъ умами?
 Мужайся жъ презирай обманъ,
 Стезею правды бодро слѣдуй,
 Люби сиротъ, и мой Коранъ
 Дрожащей твари проповѣдуй...

Къ А. П. Кернъ.

Я помню чудное мгновенье:
 Передо мной явилась ты,
 Какъ мимолетное видѣнье,
 Какъ гений чистой красоты:

Въ томленьяхъ грусти безнадежной,
 Въ тревогахъ шумной суеты,
 Звучалъ мнѣ долго голосъ нѣжный,
 И слились милыя черты.

Шли годы. Бурь порывъ мятежный
 Разсѣялъ прежнія мечты,
 И я забылъ твой голосъ нѣжный,
 Твои небесныя черты.

Въ глуши, во мракѣ заточенья,
 Тянулись тихо дни мои
 Безъ божества, безъ вдохновенъя,
 Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви.

Душѣ настало пробужденъе:
 И вотъ опять явилась ты,
 Какъ мимолетное видѣнье,
 Какъ гений чистой красоты.

И сердце бьется въ упоенъѣ,
 И для него воскресли вновь
 И божество, и вдохновенъе,
 И жизнь, и слезы, и любовь.

19 октября 1825.

1.

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ;
 Сребритъ морозъ увянувшее поле;
 Проглянетъ день, какъ будто поневолѣ,
 И скроется за край окружающихъ горъ.
 Пылай, каминъ, въ моей пустынной
 кельѣ;

А ты, вино, осенней стужи другъ,
 Пролей мнѣ въ грудь отрадное по-
 хмелье,
 Минутное забвенъе горькихъ мукъ.

2.

Печаленъ я: со мною друга нѣтъ,
 Съ кѣмъ долгую запыль бы я разлуку,
 Кому бы могъ пожать отъ сердца руку
 И пожелать веселыхъ много лѣтъ.
 Я пью одинъ; вотще воображенъе
 Вокругъ меня товарищей зоветъ;
 Знакомое не слышно приближенъе,
 И милаго душа моя не ждетъ.

3.

Я пью одинъ, и на берегахъ Невы
 Меня друзья сегодня именуютъ...
 Но многіе ль и тамъ изъ васъ пируютъ?

11.

Когда постигъ меня судьбины гнѣвъ,
Для всѣхъ чужой, какъ сирота без-
домный,
Подъ бурею главою поникъ я томной,
И ждалъ тебя, вѣщунъ пермесскихъ
дѣвъ.
И ты пришелъ, сынъ лѣни вдохно-
венный,
О, Дельвигъ мой! твой голосъ пробу-
дилъ
Сердечный жаръ, такъ долго усыплен-
ный,
И бодро я судьбу благословилъ.

12.

Съ младенчества духъ пѣсенъ въ
насъ горѣлъ
И дивное волненіе мы познали;
Съ младенчества двѣ музы къ намъ
летали,
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ
удѣлъ:
Но я любилъ уже рукоплесканья,—
Ты, гордый, пѣлъ для музъ и для души;
Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ
безъ вниманья,—
Ты гений свой воспитывалъ въ тиши.

13.

Служеніе музъ не терпитъ суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво,
И шумныя насъ радуютъ мечты...
Опомнися—но поздно! и уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.
Скажи, Вильгельмъ ¹⁾, не то ль и съ
нами было,
Мой братъ родной по музѣ, по судь-
бамъ?

14.

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ мѣръ; оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый другъ,—

¹⁾ Кюхельбекеръ.

Приди: огнемъ волшебнаго разсказа
Сердечныя преданья оживи;
Поговоримъ о бурныхъ дняхъ Кавказа,
О Шиллерѣ, о славѣ, о любви.

15.

Пора и мнѣ... пируйте, о, друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните жъ поэта предсказанье:
Промчится годъ—и съ вами снова я!
Исполнится завѣтъ моихъ мечтаній;
Промчится годъ—и я явлюся къ вамъ!
О, сколько слезъ, и сколько воскли-
цаній,
И сколько чашъ, подъятыхъ къ небе-
самъ!

16.

И первую полнѣй, друзья, полнѣй!
И всю до дна въ честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствуетъ лицей!
Наставникамъ, хранившимъ юность
нашу,
Всѣмъ честію, и мертвымъ, и живымъ,
Къ устамъ поднося въ признательную
чашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ.

17.

Пируйте же, пока еще мы тутъ!
Увы, нашъ кругъ часъ отъ часу рѣ-
дѣетъ;
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальный си-
ротѣетъ;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣ-
гутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому жъ изъ насъ подъ старость день
лица
Торжествовать придется одному?

18.

Несчастный другъ! средь новыхъ по-
колѣній
Доучный гость, и лишній, и чужой,

Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...
Пускай же онъ, съ отрадой хоть печальной,
Тогда сей день за чашей проведетъ,
Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальный,
Его провелъ безъ горя и заботъ.

Зимній вечеръ.

Буря мглою небо кроетъ,
Вихри свѣжныя крутя;
То, какъ звѣрь, она завоюетъ,
То заплачетъ, какъ дитя,
То по кровлѣ обветшалои
Вдругъ соломой зашумитъ,
То, какъ путникъ запоздалый,
Къ намъ въ окошко застучитъ.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолекла у окна?
Или бури завываньемъ
Ты, мой другъ, утомлена,
Или дремлешь подъ жужжаньемъ
Своего веретена?

Выпьемъ, добрая подружка
Бѣдной юности моей,
Выпьемъ съ горя; гдѣ же кружка?
Сердцу будетъ веселѣй.
Спой мнѣ пѣсню, какъ синица
Тихо за моремъ жила;
Спой мнѣ пѣсню, какъ дѣвица
За водой по-утру шла.

Буря мглою небо кроетъ,
Вихри свѣжныя крутя;
То, какъ звѣрь, она завоюетъ,
То заплачетъ, какъ дитя.
Выпьемъ, добрая подружка
Бѣдной юности моей,
Выпьемъ съ горя; гдѣ же кружка?
Сердцу будетъ веселѣй!

Пѣсни въ народномъ родѣ.

Только что на проталинахъ весеннихъ
Показались ранніе цвѣточки,
Какъ изъ царства воскового,
Изъ душистой келейки медовой

Вылетаетъ первая пчелка.
Полетѣла по раннимъ цвѣточкамъ
О красной веснѣ развѣдать:
Скоро ль будетъ гостыя дорогая,
Скоро ли дуга зазеленѣютъ,
Распустятся клейкіе листочки,
Зацвѣтеть черемуха душиста?..

* * *

Стрекотунья бѣлобока,
Подъ калиткою моею
Скачетъ пестрая сорока
И пророчить мнѣ гостей.
Колокольчикъ небывалый
У меня звенитъ въ ушахъ..
Лучъ зари сіяетъ алый..
Серебрится свѣжный прахъ..

* * *

Колокольчики звенятъ,
Барабанчики гремятъ,
А люди-то, люди—
Ай люшеньки-люди—
А люди-то, люди
На цыганочку глядятъ;
А цыганочка-то пляшетъ,
Въ барабанчики-то бьетъ,
И шириночкой-то машетъ,
Заливается, поетъ:
„Я пѣвунья, я пѣвица,
Ворожить я мастерица“.

* * *

Черный воронъ выбиралъ бѣлую лебедушку,—
Какъ жениться задумалъ парскій арапъ.
Межъ боярынь арапъ показиваетъ,
На боярышень арапъ поглядываетъ.
Что выбралъ арапъ себѣ сударушку,
Черный воронъ—бѣлую лебедушку,
А какъ онъ, арапъ, чернешенекъ,
А она-то, душа, бѣлешенька...

Пророкъ.

Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынь мрачной я влечился,
И шестикрылый серафимъ
На перепутьѣ мнѣ явился:
Перстами легкими, какъ сонъ,

Моихъ зѣницъ коснулся онъ:
Отверались вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ,—
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замершія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угля, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ, въ пустынь я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
„Встань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполни волею Моею
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!“

Зимняя дорога.

Сквозъ волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальныя поляны
Льетъ печально свѣтъ она.
По дорогѣ зимней, скучной,
Тройка борзая бѣжитъ,
Колокольчикъ однозвучный
Утомительно гремитъ.
Что-то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика—
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снѣгъ... На встрѣчу мнѣ
Только версты полосаты
Попадаютъ одѣ.
Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра, къ милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь, не наглядясь...

Стансы.

Въ надеждѣ славы и добра,
Гляжу впередъ я безъ боязни:
Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой,
И былъ отъ буйнаго стрѣльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукой.
Самодержавною рукою
Онъ смѣло сѣялъ просвѣщенье,
Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.
То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.
Семейнымъ сходствомъ будь же
гордъ,
Во всемъ будь пращуру подобенъ:
Какъ онъ, неутомимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ, незлобенъ.

Послание въ Сибирь.

Во глубинѣ сибирскихъ рудъ
Храните гордое терпѣнье:
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ
И думъ высокое стремленье.
Несчастью вѣрная сестра,
Надежда въ мрачномъ подземельѣ
Пробудить бодрость и веселье,
Придетъ желанная пора:
Любовь и дружество до васъ
Дойдутъ сквозь мрачные затворы,
Какъ въ ваши каторжныя норы
Доходитъ мой свободный гласъ;
Оковы тяжкія падутъ,
Темницы рухнутъ—и свобода
Васъ приметъ радостно у входа,
И братья мечъ вамъ отдадутъ.

Аріонъ.

Насъ было много на челнѣ;
Иные парусъ натягали,
Другіе дружно упирали
Въ глубь мощныя весла. Въ тишинѣ,
На руль склонясь, нашъ кормщикъ
умный

Въ молчаніи правилъ грузный членъ;
А я—безпечной вѣры полнъ,
Пловцамъ я пѣлъ... Вдругъ лоно волнъ
Измялъ съ-налету вихорь шумный...
Погибъ и кормщикъ, и пловецъ!
Лишь я, таинственный пѣвецъ,
На берегъ выброшенъ грозою,
Я гимны прежніе пою,
И ризу влажную мою
Сушу на солнцѣ, подъ скалою.

Поэтъ.

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчить его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепетъ,
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы;
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонить гордой головы;
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенія полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...

* * *

Къ нянѣ.

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты подъ окномъ своей свѣтлицы
Горюешь, будто на часахъ,
И медлятъ поминутно спицы
Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ.
Глядишь въ забытыя ворота
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствіе, заботы
Тѣснятъ твою всечасно грудь.
То чудится тебѣ...

Друзьямъ.

Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю.

Его я просто полюбилъ:
Онъ бодро, честно править нами;
Россію вдругъ онъ оживилъ
Войной, надеждами, трудами.

О нѣтъ, хоть юность въ немъ кипитъ,
Но не жестокъ въ немъ духъ держав-
ный:

Тому, кого караетъ явно,
Онъ втайнѣ милости творить.

Текла въ изгнаніи жизнь моя,
Влачилъ я съ милыми разлуку,
Но онъ мнѣ царственную руку
Подаль—и съ вами снова я!

Во мнѣ почилъ онъ вдохновенье,
Освободилъ онъ мысль мою,
И я ль, въ сердечномъ умиленіи,
Ему хвалы не воспою?

Я льстецъ? Нѣтъ, братья, льстецъ
лукавъ:

Онъ горе на царя накличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничить.

Онъ скажетъ: „Презирай народъ,
Гнети природы голосъ нѣжный!“
Онъ скажетъ: „Просвѣщенія плодъ—
Развратъ и нѣкій духъ мятежный!“

Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ
Одни приближены къ престолу,
А небомъ избранный пѣвецъ
Молчитъ, потупя очи долу.

Воспоминаніе.

Когда для смертнаго умолкнетъ шум-
ный день

И на нѣмыя стогны града
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,—
Въ то время для меня влачатся въ ти-
шинѣ

Часы томительнаго бдѣнья:
Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ
во мнѣ

Змѣи сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ
тоской,

Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

* * *

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ
пирахъ,
Въ безумствѣ гибельной свободы,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ
степяхъ

Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательскій
привѣтъ

На играхъ Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ
Неотразимыя обиды.

И нѣтъ отрады мнѣ—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака младые,
Двѣ тѣни милыя—два данные судьбой
Мнѣ ангела во дни былые!

Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ
мечемъ.

И стерегутъ... и мстятъ мнѣ оба.
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вѣчности и гроба!..

26 мая 1828.

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
Иль зачѣмъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Изъ ничтожества воззвалъ,
Душу мнѣ наполнилъ страстью,
Умъ сомнѣньемъ взволновалъ?..

Цѣли нѣтъ передо мною,
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томить меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

Анчаръ.

Древо яда.

Въ пустынѣ чахлой и скупой,
На почвѣ, зноимъ раскаленной,
Анчаръ, какъ грозный часовой,
Стоитъ, одинъ во всей вселенной.

Природа жаждущихъ степей
Его въ день гнѣва породила
И зелень мертвую вѣтвей,
И корни ядомъ напоила.
Ядъ каплетъ съковы его кору,
Къ полудню растопись отъ зною,
И застываетъ ввечеру
Густой, прозрачною смолою.
Къ нему и птица не летитъ,
И тигръ нейдетъ; лишь вихорь черный
На древо смерти набѣжитъ—
И мчитъ прочь, уже тлетворный.

И если туча ороситъ,
Влуждая, листь его дремучій,
Съ его вѣтвей ужъ ядовитъ
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій.

Но человѣка человѣкъ
Послалъ къ Анчару властнымъ взгля-
домъ:

И тотъ послушно въ путь потекъ,
И къ утру возвратился съ ядомъ.

Принесъ онъ смертную смолу,
Да вѣтвь съ увядшими листьями—
И потъ по блѣдному челу
Струился хладными ручьями;

Принесъ—и ослабѣлъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша, на лыки,
И умеръ бѣдный рабъ у ногъ
Непобѣдимаго владыки.

А царь тѣмъ ядомъ наплатъ
Свои послушливыя стрѣлы,
И съ ними гибель разослалъ
Къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы.

Утопленникъ.

Прибѣжали въ избу дѣти,
Второпяхъ зовутъ отца:

„Тятя! тятя! наши сѣти
Притащили мертвеца“.

— Врите, врите, бѣсенята,
Заворчалъ на нихъ отецъ;

Охъ, ужъ эти мнѣ ребята!
Будетъ вамъ уже мертвецъ!
„Судь найдетъ, отвѣчай-ка,
Съ нимъ я ввѣкъ не разберусь.
Дѣлать нечего. Хозяйка,
Дай кафтанъ: ужъ поллетусь...
Гдѣ жъ мертвецъ?“— „Вонъ, тятя, э-вотъ!“
Въ самомъ дѣлѣ, при рѣкѣ,
Гдѣ разостланъ мокрый неводъ,
Мертвый виденъ на пескѣ.

Безобразно трупъ ужасный
Посинѣлъ и весь распухъ.
Горемыка ли несчастный
Погубилъ свой грѣшный духъ,
Рыболовъ ли взятъ волнами,
Али хмельный молодецъ,
Али, ограбленный ворами,
Недогадливый купецъ—

Мужикъ какое дѣло?
Озираясь, онъ спѣшитъ...
Онъ потопленное тѣло
Въ воду за ноги тащить,
И отъ берега крутого
Оттолкнулъ его весломъ,
И мертвецъ внизъ поплылъ снова
За могилой и крестомъ.

Долго мертвый межъ волнами
Плылъ, качаясь, какъ живой;
Проводивъ его глазами,
Нашъ мужикъ пошелъ домой.
„Вы, щенки, за мной ступайте!
Будетъ вамъ по колачу,
Да смотрите жъ, не болтайте,
А не то поколочу“.

Въ ночь погода зашумѣла,
Взволновалася рѣка;
Ужъ лучина догорѣла
Въ дымной хатѣ мужика;
Дѣти спать, хозяйка дремлетъ,
На полатахъ мужъ лежитъ;
Буря воетъ; вдругъ онъ внемлетъ:
Кто-то тамъ въ окно стучить.

„Кто тамъ?“—Эй, впусти, хозяинъ!
„Ну, какая тамъ бѣда?
Что ты ночью бродишь, Каинъ?
Чортъ занесъ тебя сюда!
Гдѣ возиться мнѣ съ тобою?
Дома тѣсно и темно“.
И лѣнивою рукою
Подымаетъ онъ окно.

Изъ-за тучъ луна катится—
Что же? Голый передъ нимъ:
Съ бороды вода струится,
Взоръ открытъ и недвижимъ;
Все въ немъ страшно онѣмѣло,
Опустились руки внизъ,
И въ распухнувшее тѣло
Раки черные впились.

И мужикъ окно захлопнулъ,
Гостя голаго узнавъ,
Такъ и обмеръ. „Чтобъ ты лопнулъ!“
Прошепталъ онъ, задрожавъ.
Страшно мысли въ немъ мѣшались,
Трясса ночь онъ напролетъ,
И до утра все стучались
Подъ окномъ и у воротъ.

Есть въ народѣ слухъ ужасный:
Говорятъ, что каждый годъ
Съ той поры мужикъ несчастный
Въ день урочный гостя ждетъ:
Ужъ съ утра погода злится,
Ночью буря настаётъ,
И утопленникъ стучится
Подъ окномъ и у воротъ.

Опричникъ.

Отрывокъ.

Какая ночь! Морозъ трескучій;
На небѣ ни единой тучи;
Какъ шитый пологъ, синій сводъ
Пестрѣтъ частыми звѣздами;
Въ домахъ все темно. У воротъ
Затворы съ тяжкими замками.
Вездѣ покоится народъ;
Утихъ и шумъ, и крикъ торговый:
Лишь только лаеъ стражъ дворовый,
Да цѣпью звонкою гремитъ.

И вся Москва спокойно спитъ,
Забывъ волненіе боязни;
А площадь въ сумракѣ ночномъ
Стоитъ, полна вчерашней казни;
Мученій свѣжій слѣдъ кругомъ:
Гдѣ трупъ, разрубленный съ-размаха,
Гдѣ столбъ, гдѣ вилы; тамъ котлы,
Остывшей полные смолы;
Здѣсь опрокинутая плаха;
Торчатъ желѣзные зубы,
Съ костями груди пепла тлѣютъ,

На кольяхъ, скорчась, мертвецы
Одѣпенѣлые чернѣютъ...

Кто тамъ? Чей конь во весь опоръ
По грозной площади несется?
Чей свистъ, чей громкій разговоръ
Во мракѣ ночи раздается?
Кто сей? Опричникъ удалой.
Спѣшить, летить онъ на свиданье:
Въ его груди кипятъ желанье.
Онъ говоритъ: „Мой конь лихой,
Мой вѣрный конь, лети стрѣлой!
Скорѣй, скорѣй!“ Но конь ретивый
Вдругъ размахнулъ плетеной гривой
И сталъ. Во мглѣ, между столповъ,
На перекадинѣ дубовой
Качался трупъ. Вздохъ суровый
Подъ нимъ промчатся былъ готовъ,
Но борзый конь подъ плетью бьется,
Храпитъ и фыркаетъ, и рвется
Назадъ. „Куда, мой конь лихой?
Чего боишься? Что съ тобой?
Не мы ли здѣсь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местію горя,
Лихихъ измѣнниковъ царя?
Не ихъ ли кровію омыты
Твои булатныя копыты?
Теперь ужель ихъ не узналъ?
Мой борзый конь, мой конь удалый,
Несись, лети!“ И конь усталый
Подъ трупомъ вихремъ проскакалъ.

Чернь.

Procul este, profani.

Поэтъ по лирѣ вдохновенной
Рукой разсѣянной бряцалъ.
Онъ пѣлъ,—а, хладный и надменный,
Кругомъ народъ непосвященный
Ему безмысленно внималъ.

И толковала чернь тупая:
„Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ?
Напрасно ухо поражая,
Къ какой онъ пѣли насъ ведетъ?
О чемъ бренчить? Чему насъ учить?
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучить,
Какъ своенравный чародѣй?
Какъ вѣтеръ пѣснь его свободна,

Зато какъ вѣтеръ и бесплодна:
Какая польза намъ отъ ней?“

Поэтъ.

Молчи, безмысленный народъ,
Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ!
Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій.
Ты червь земли, не сынъ небесъ:
Тебѣ бы пользы все—на вѣсь
Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій.
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.
Но мраморъ сей вѣдь богъ!.. Такъ что
же?

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пишу въ немъ себѣ варишь.

Чернь.

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребли:
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глушцы;
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки.
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя.

Поэтъ.

Подите прочь—какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы, какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!—
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

До капли истощивъ раскаянья фіалъ,
Увидѣвъ наконецъ родимую обитель,
Главой поникъ и зарыдалъ!
Въ пылу восторговъ скоротечныхъ
Въ бесплодномъ вихрѣ суеты,
О, много расточилъ сокровищъ я сердечныхъ

За недоступныя мечты!
И долго я блуждалъ, и часто, утомленный,
Раскаяньемъ горя, предчувствуя бѣды,
Я думалъ о тебѣ, пріютъ благословенный,

Воображалъ сіи сады!
Воображалъ сей день счастливый,
Когда средь нихъ возникъ лицей,
И слышалъ снова шумъ игривый,
И видѣлъ вновь семью друзей!
Вновь нѣжнымъ отрокомъ, то пылкимъ, то лѣнивымъ,
Мечтанья смутныя въ груди моей тая,
Скитался по лугамъ, по рощамъ молчаливымъ...

Поэтомъ забывался я!
И славныхъ лѣтъ передо мною
Являлись вѣчныя слѣды:
Еще исполнены великою Женою,
Ея любимые сады
Стоять, населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами боговъ,
И славой мраморной, и мѣдными хвалами

Екатерининыхъ орловъ!..
Садятся призраки героевъ
У посвященныхъ имъ столповъ;
Глядите: вотъ герой, стѣснитель ратныхъ строевъ,
Перунъ кагульскихъ береговъ!
Вотъ, вотъ могучій вождь полубошнаго флага,
Предъ кѣмъ морей пожаръ и плавалъ, и леталъ!
Вотъ вѣрный братъ его, герой Архипелага,
Вотъ наваринскій Ганнибалъ!..

Стансы.

Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ,
Вхожу ль во многолюдный храмъ,

Сижу ль межъ юношей безумныхъ,
Я предаюсь моимъ мечтамъ.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здѣсь ни видно насъ,
Мы всѣ сойдемъ подъ вѣчныя своды—
И чей-нибудь ужъ близокъ часъ.

Гляжу ль на дубъ уединенный,
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ.

Младенца ль милаго ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебѣ я мѣсто уступаю,—
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти.

День каждый, каждую минуту
Привыкъ я душой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараюсь угадать.

И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбину:

Въ бою ли, въ странствіи, въ волнахъ?
Или сосѣдняя долина
Мой приметъ охладѣлый прахъ?

И хоть безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предѣлу
Мнѣ все бѣ хотѣлось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Поэту.

Сонетъ.

Поэтъ, не дорожи любовію народной!
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ
минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы
холодной;
Но ты останься твердъ, непоколебимъ и угрюмъ.
Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,

Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя награды за подвигъ благородный.

Онъ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой
высшій судъ;
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой
трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный
художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа его
бранить,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь
горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой
треножникъ.

Мадонна.

Советъ.

Не множествомъ картинъ старин-
ныхъ мастеровъ
Украсить я всегда желалъ свою оби-
тель,
Чтобъ суевѣрно имъ дивился посѣти-
тель,
Внимая важному сужденью знатоковъ.
Въ простомъ углу моемъ, средь мед-
ленныхъ трудовъ,
Одной картины я желалъ быть вѣчно
зритель,
Одной: чтобъ на меня съ холста, какъ
съ облаковъ,
Пречистая и нашъ божественный Спа-
ситель—
Она съ величіемъ, Онъ съ разумомъ
въ очахъ—
Взирали, кроткіе, во славѣ и въ лу-
чахъ,
Одни, безъ ангеловъ, подъ пальмою
Сіона.
Исполнились мои желанія. Творецъ
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя Ма-
донна,
Чистѣйшей прелести чистѣйшій обра-
зецъ.

Бѣсы.

Шалость.

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.

Ѣду, Ѣду въ чистомъ полѣ;
Колокольчикъ динь-динь-динь...
Страшно, страшно поневолѣ
Средь невѣдомыхъ равнинъ!
—Эй, пошелъ, ямщикъ!.. „Нѣтъ мочи:
Конямъ, баринъ, тяжело;
Вьюга мнѣ слипаетъ очи;
Всѣ дороги занесло;
Хоть убей, слѣда не видно;
Сбились мы. Что дѣлать намъ?
Въ полѣ бѣсъ насъ водить, видно,
Да кружить по сторонамъ.
„Посмотри: вонъ, вонъ, играетъ,
Дуетъ, плюетъ на меня;
Вонъ—теперь въ оврагъ толкаетъ
Одичалаго коня;
Тамъ верстою небывалой
Онъ торчалъ передо мной;
Тамъ сверкнулъ онъ искрой малой
И пропалъ во тѣмъ пустой“.
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
Силъ намъ нѣтъ кружиться долѣ;
Колокольчикъ вдругъ умолкъ;
Кони стали...—Что тамъ въ полѣ?
„Кто ихъ знаетъ: пенъ иль волкъ?“
Вьюга злится, вьюга плачетъ;
Кони чуткіе храпятъ;
Вонъ ужъ онъ далече скачетъ,
Лишь глаза во мглѣ горятъ!
Кони снова понеслись;
Колокольчикъ динь-динь-динь...
Вижу: духи собрались
Средь бѣлѣющихъ равнинъ.
Безконечны, безобразны,
Въ мутной мѣсяца игрѣ
Закружились бѣсы разны,
Будто листья въ ноябрѣ...
Сколько ихъ! куда ихъ гонять?
Что такъ жалобно поютъ?
Домового ли хоронятъ,
Вѣдьму ль замужъ выдаютъ?
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бѣсы рой за роемъ
Въ безпредѣльной вышинѣ,

Визгомъ жалобнымъ и воемъ
Надрывая сердце мнѣ...

Элегія.

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмелье.
Но какъ вино—печаль минувшихъ
дней
Въ моей душѣ чѣмъ старѣ, тѣмъ силь-
нѣй.
Мой путь унылъ. Сулить мнѣ трудъ
и горе

Грядущаго волнуемое море.

Но не хочу, о другъ, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и стра-
дать;

И вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и тревоженья:
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ быть, на мой закатъ пе-
чальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.

Шалость.

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ
толстопузый,
Готовый вѣкъ трунить надъ нашей
темной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со
мною,
Попробуй, сладимъ ли съ проклятою
хандрой.
Что жъ ты нахмурился? Нельзя ли
блажь оставить,
И пѣсенкою насъ веселой позабавить?
Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ
рядъ убогій,
За ними черноземъ; равнины скаты
отлогіи,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные
лѣса?
Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора,
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду
взора,
Два только деревца, и то изъ нихъ
одно

Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, жел-
тѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго
Борея.

И только на дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ
бабы вслѣдъ;
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой
гребъ ребенка,
И кличетъ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь
отворилъ:
Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужъ
схоронилъ!

Осень.

Отрывокъ.

Чего въ мой дремлющій тогда
не входить умъ.
Державинъ. (Евгенію,
„Жизнь Званская“).

I.

Октябрь ужъ наступилъ; ужъ роща
отряхаетъ
Послѣдніе листы съ нагихъ своихъ
вѣтвей;
Дохнулъ осенній хладъ, дорога промер-
заетъ;
Журча еще бѣжитъ за мельницу ручей,
Но прудъ уже застылъ; сосѣдъ мой
поспѣшаетъ
Въ отъѣзжія поля съ охотою своей—
И страждутъ озими отъ бѣшеной за-
бавы,
И будить лай собакъ уснувшихъ ду-
бравы.

II.

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мнѣ оттепель: вонь, грязь;
весной я боленъ:
Кровь бродитъ, чувства, умъ тоскою
стѣснены;
Суровою зимой я болѣе доволенъ;
Люблю ея снѣга; въ присутствіи луны,
Какъ легкій бѣгъ саней съ подругой
быстръ и волея,

Когда, подъ сободемъ согрѣта и свѣжа,
Она намъ руку жметъ, пылая и дрожа.

III.

Какъ весело, обувъ желѣзомъ острымъ
ноги,
Скользить по зеркалу стоячихъ, ров-
ныхъ рѣкъ!
А зимнихъ праздниковъ блестящія
тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снѣгъ
да снѣгъ,
Вѣдь это, наконецъ, и жителю бер-
логи,
Медвѣдю, надоѣсть. Нельзя же цѣлый
вѣкъ
Кататься намъ въ саняхъ съ Арми-
дами молодыми,
Иль киснуть у печей за стеклами
двойными.

IV.

Охъ, лѣто красное, любилъ бы я
тебя,
Когда бъ не зной, да пыль, да комары,
да мухи.
Ты, всѣ душевныя способности губя,
Насъ мучишь; какъ поля, мы стра-
ждемъ отъ засухи;
Лишь какъ бы напоить да освѣжить
себя—
Иной въ насъ мысли нѣтъ; и жалъ
зимы-старухи,
И, проводивъ ее блинами и виномъ,
Поминки ей творимъ мороженымъ и
льдомъ.

V.

Дни поздней осени бранять обыкно-
венно;
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ род-
ной,
Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ
откровенно:
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь
ей одной.

Въ ней много добраго, любовникъ не
тщеславный,
Умѣлъ я отыскать мечтою своенравной.

VI.

Какъ это объяснить? Мнѣ нравится
она,
Какъ, вѣроятно, вамъ чахоточная дѣва
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ
гнѣва;
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна:
Могилой пропасти она не слышитъ
зѣва;
Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ:
Она жива еще сегодня—завтра нѣтъ.

VII.

Унылая пора, очей очарованье,
Пріятна мнѣ твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и въ золото одѣтые лѣса,
Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее
дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И рѣдкій солнца лучъ и первые мо-
розы,
И отдаленныя сѣдой зимы угрозы.

VIII.

И съ каждой осенью я расцвѣтаю
вновь;
Здоровью моему полезенъ русский хо-
лодъ;
Къ привычкамъ бытія вновь чувствую
любовь:
Чредой слетаетъ сонъ, чредой нахо-
дить голодъ;
Легко и радостно играетъ въ сердцѣ
кровь,
Желанія кипятъ, я снова счастливъ,
молодъ,
Я снова жизни полнъ: таковъ мой
организмъ
(Извольте мнѣ простить ненужный
проанизмъ).

IX.

Ведутъ ко мнѣ коня; въ раздолиі
открытомъ,
Махая гривой, онъ всадника несетъ—
И звонко подъ его блистающимъ ко-
пытомъ
Звенить промерзлый долъ и трескается
ледъ.
Но гаснетъ краткій день, и въ ка-
мелькѣ забытомъ
Огонь опять горитъ; то яркій свѣтъ
ліетъ,
То тлѣетъ медленно; а я надъ нимъ
читаю,
Иль думы долгія въ душѣ моей питаю.

X.

И забываю міръ, и въ сладкой
тишинѣ
Я сладко усыпленъ моимъ вообра-
женіемъ,
И пробуждается поэзія во мнѣ:
Душа стѣсняется лирическимъ вол-
неніемъ,
Трепещетъ, и звучитъ, и ищетъ, какъ
во снѣ,
Излиться наконецъ свободнымъ про-
явленіемъ—
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой
гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

XI.

И мысли въ головѣ волнуются въ
отвагѣ,
И рѣмы легкія на встрѣчу имъ бѣ-
гутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо
къ бумагѣ,
Минута—и стихи свободно потекутъ.
Такъ дремлетъ, недвижимъ, корабль въ
недвижной влагѣ;
Но, чу!.. матросы вдругъ кидаются,
ползутъ
Вверхъ, внизъ — и паруса надулись,
вѣтра полны:
Громада двинулась и разсѣкаетъ волны.

XII.

Плыветъ.. Куда жъ намъ плыть?—
Какіе берега
Теперь мы посѣтимъ? Египетъ колос-
сальный,
Скалы Шотландіи, иль (вѣчные) снѣга...

* * *

Inesilla! I am here.
Barry Cornwall.

Я здѣсь, Инезилля,
Стою подъ окномъ!
Объята Севилья
И мракомъ, и сномъ!
Исполненъ отвагой,
Окутанъ плащомъ,
Съ гитарой и шпагой
Я здѣсь, подъ окномъ!
Ты спишь ли?—Гитарой
Тебя разбуджу!
Проснется ли старый —
Мечомъ уложу.
Шелковые петли
Къ окошку привѣсь...
Что жъ медлишь?... Ужъ нѣтъ ли
Соперника здѣсь?
Я здѣсь, Инезилля,
Стою подъ окномъ!
Объята Севилья
И мракомъ, и сномъ!

* * *

Для береговъ отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
Въ часъ незабвенный, въ часъ пе-
чальный
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладѣющія руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшнаго разлуки
Мой стоишь молил не прерывать.
Но ты отъ горькаго лобзанья
Свои уста оторвала;
Изъ края мрачнаго изгнанья
Ты въ край иной меня звала.
Ты говорила: въ день свиданья
Подъ небомъ вѣчно-голубымъ,

Начало сказки.

Какъ весенней теплой порою,
Изъ-подъ утренней бѣлой зорюшки,
Что изъ лѣсу, изъ лѣсу изъ дрему-
чаго—

Выходила медвѣдиха,
Съ малыми дѣтушками-медвѣжатами,
Погулять, посмотреѣть, себя показать.
Сѣла медвѣдиха подъ березкой;
Стали медвѣжата промежъ собой играти,
Обниматися, боротися,
Боротися, да кувыркатися.

Отколь ни возьмись—мужикъ идетъ:

Онъ въ рукахъ несетъ рогатину,
А ножъ-то у него за поясомъ,
А мѣшокъ-то у него за плечами.

Какъ завидѣла медвѣдиха
Мужика съ рогатиной,
Заревѣла медвѣдиха,
Стала кликать дѣтушекъ,
Глухихъ медвѣжатъ своихъ:

„Ахъ вы, дѣтушки, медвѣжатушки!
Перестаньте ваятися,

Обниматися, кувыркатися!
Становитесь, хоронитесь за меня:

Ужъ я васъ мужику не выдамъ,
Я сама мужику (брюхо) выѣмъ!“

Медвѣжатушки испугалися,
За медвѣдиху бросалися,
А медвѣдиха осержалася—

На дыбы поднималася.

А мужикъ-отъ, онъ догадливъ былъ,
Онъ пускался на медвѣдиху,

Онъ сажалъ въ нее рогатину,
Что повыше пупа, пониже печени.

Грянулася медвѣдиха о сыру землю;
А мужикъ-то ей брюхо поролъ,

Брюхо поролъ, да шкуру снималъ,
Малыхъ медвѣжатъ въ мѣшокъ по-
кладъ,

А поклавши-то домой пошелъ:

„Вотъ тебѣ, жена, подарочекъ,
Что медвѣжья шуба въ пятьдесятъ
рублевъ;

А что вотъ тебѣ подарочекъ
Трое медвѣжатъ по пяти рублевъ“.

Не звоны пошли по городу,
Пошли вѣсти по всему по лѣсу.

Дошли вѣсти до медвѣды чернобурова,
Что убилъ мужикъ его медвѣдиху,
Распоролъ ей брюхо бѣлое,

Медвѣжатушекъ въ мѣшокъ поклавъ.
Въ ту пору медвѣды запечалися,
Голову повѣсили, голосомъ завылъ

По свою ли сударушку
Чернобурую медвѣдиху:

„Ахъ ты, свѣтъ, моя медвѣдиха!
На кого меня покинула,

Вдовца несчастнаго,
Вдовца горемычнаго?

Ужъ какъ мнѣ съ тобой, моею бояры-
ней,

Веселой игры не играть,

Милыхъ дѣтушекъ не родити,
Медвѣжатушекъ не качати,

Не качати, не баюкати!“

Въ ту пору звѣри собиралися

Къ тому ли медвѣдю, ко боярину;
Прибѣгали звѣри большіе,
Прибѣгали тутъ звѣришки меньшіе.

Прибѣгали тутъ волкъ-дворянинъ:

У него-то зубы закусливые,

У него-то глаза завистливые.

Приходилъ тутъ бобръ, торговый гость:

У него-то бобра жирный хвостъ.

Приходила ласочка-дворяночка,

Приходила бѣлочка-княгинечка,

Приходила лисица-подъячиха—

Подъячиха, казначейка.

Приходилъ скоморохъ-горностаюшка,

Прибѣгали тутъ зайка-смердъ,

Зайка бѣдненькій, зайка сѣренькій!

Приходилъ байбакъ тутъ глумянь,

Живетъ онъ, байбакъ, позади гумянъ;

Приходилъ пѣловальникъ-ежъ:

Все-то онъ ежъ ежится,

Все-то онъ щетинится...

* * *

Въ началѣ жизни школу помню я;
Тамъ насъ, дѣтей безпечныхъ, было
много—

Неравная и рѣзвая семья.

Смирная, одѣтая убого,

Но видомъ величавая жена

Надъ школою надзоръ хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесѣдуетъ она.

Ея чела я помню покрывало,
И очи, свѣтлыя, какъ небеса;
Но я вникалъ въ ея бесѣды мало.

Меня смущала строгая краса
Ея чела, спокойныхъ устъ и взоровъ,
И полныя святыни словеса.

Дичась ея совѣтовъ и укоровъ,
Я про себя превратно толковалъ
Понятный смыслъ правдивыхъ разго-
воровъ.

И часто я украдкой убѣгалъ
Въ великолѣпный мракъ чужого сада,
Подъ сводъ искусственный порфирныхъ
скалъ.

Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада;
Я предавалъ мечтамъ свой слабый умъ,
И праздномыслить было мнѣ отрада.
Любилъ я свѣтлыхъ водъ и листвень
шумъ,

И бѣлые въ тѣни деревъ кумиры.
И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ
думъ.

Все—мраморные циркули и лиры,
И свитки въ мраморныхъ рукахъ,
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры—
Все наводило сладкій нѣкій страхъ
Мнѣ на сердце; и слезы вдохновенья
При видѣ ихъ рождались на глазахъ.

Другія два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двухъ бѣсовъ изображенья.
Одинъ (Дельфійскій идолъ) ликъ
младой—

Былъ гнѣвнъ, полонъ гордости ужас-
ной,

И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой—женообразный, сладостраст-
ный,

Сомнительный и лживый идеаль,
Волшебный демонъ—лживый, но пре-
красный...

3 х о.

Изъ Томаса Мура.

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,

Поеть ли дѣва за холмомъ —
На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухъ пустомъ
Родишь ты вдругъ.

* * *

Ты внимлешь грохоту громовъ
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—
И плешь отвѣтъ;
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
И ты, поэтъ!

Клеветникамъ Россіи.

Vox et praeterea nihil.

О чемъ шумите вы, народные вити?
Зачѣмъ алаемой грозите вы Россіи?
Что возмутило васъ? Волненія Литвы?
Оставьте: это споръ славянъ между
собою,

Домашній, старый споръ, ужъ взвѣшен-
ный судьбою,
Вопросъ, котораго не разрѣшите вы.

Уже давно между собою
Враждуютъ эти племена;
Не разъ клонилась подъ грозю
То ихъ, то наша сторона.

Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ:
Кичливый ляхъ, иль вѣрный россъ?
Славянскіе ль ручьи сольются въ рус-
скомъ морѣ?

Оно ль изсякнетъ?—Вотъ вопросъ.
Оставьте насъ: вы не читали
Сія кровавыя скрижали;

Вамъ непонятна, вамъ чужда
Сія семейная вражда;
Для васъ безмолвны Кремль и Прага;
Безмысленно прельщаетъ васъ
Борьбы отчаянной отвага—
И ненавидите вы насъ...

За что жъ? отвѣствуйте: за то ли,
Что на развалинахъ пылающей Москвы
Мы не признали наглою воли
Того, подъ кѣмъ дрожали вы?

За то ль, что въ бездну повалили
Мы тяготящій надъ царствами ку-
миръ,

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и миръ?
Вы грозны на словахъ—попробуйте
на дѣлѣ!
Иль старый богатырь, покойный на
постелѣ,
Не въ силахъ завинтить свой измайль-
скій штыкъ?
Иль русскаго царя уже безсильно слово?
Иль намъ съ Европой спорить ново?
Иль русскій отъ побѣдъ отвыкъ?
Иль мало насъ? Или отъ Перми до
Тавриды,
Отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пла-
менной Колхиды,
Отъ потрясеннаго Кремля
До стѣнъ недвижнаго Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанетъ русская земля?
Такъ высылайте жъ намъ, вити,
Своихъ озлобленныхъ сыновъ:
Есть мѣсто имъ въ поляхъ Россіи,
Среди не чуждыхъ имъ гробовъ.

Бородинская годовщина.

Великій день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: шли же племена,
Бѣдой Россіи угрожая;
Не вся ль Европа тутъ была?
А чья звѣзда ее вела!..
Но стали жъ мы пятою твердой
И грудью приняли напоръ
Племень, послушныхъ волѣ гордой;
И равенъ былъ неравный споръ.

„И что жъ? Свой бѣдственный на-
бѣгъ,

Кичась, они забыли нынѣ;
Забыли русскій штыкъ и свѣгъ,
Погребшій славу ихъ въ пустынѣ.
Знакомый пиръ ихъ манить вновь—
Хмельна для нихъ славяновъ кровь;
Но тяжко будетъ имъ похмѣлье,
Но дологъ будетъ сонъ гостей,
На тѣсномъ, хладномъ новосельѣ,
Подъ лакомъ сѣверныхъ полей!

„Ступайте жъ къ намъ: васъ Русь
зоветь!

Но знайте, прощенные гости,
Ужъ Польша васъ не поведетъ:

Черезъ ея шагнете кости!..
Сбылось—и, въ день Бородина,
Вновь наши вторглись знамена
Въ проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, какъ бѣгушій полкъ,
Во прахъ бросаетъ стягъ кровавый—
И бунтъ раздавленный умолкъ.

Въ боренѣхъ падшій невредимъ;
Враговъ мы въ прахъ не топтали;
Мы не напомнимъ нынѣ имъ
Того, что старыя скривжали
Хранять въ преданіяхъ нѣмыхъ;
Мы не сождемъ Варшавы ихъ;
Они народной Немезиды
Не узрять гнѣвнаго лица,
И не услышатъ пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Но вы, мучители палатъ,
Легкоязычные вити;
Вы, черни бѣдственный набатъ,
Клеветники, враги Россіи!
Что взяли вы?.. Еще ли россъ
Больной, разслабленный колоссъ?
Еще ли сѣверная слава

Пустая прихта, лживый сонъ?
Скажите: скоро ль намъ Варшава
Предпишетъ гордый свой законъ?

Куда отвиндемъ строй твердынь?
За Бугъ, до Ворсклы, до Лимана?
За кѣмъ останется Волинь?
За кѣмъ наслѣдіе Богдана?
Признавъ мятежныя права,
Отъ насъ отторгнется ль Литва?
Нашъ Кіевъ, дряхлый, златоглавый,
Сей прашуръ русскихъ городовъ,
Сроднитъ ли съ буйною Варшавой
Святыню всѣхъ своихъ гробовъ?

Вашъ буйный шумъ и хриплый
крикъ

Смутили ль русскаго владыку?
Скажите, кто главою поникъ?
Кому вѣнецъ: мечу иль крику?
Сильна ли Русь?—Война, и моръ,
И бунтъ, и внѣшнихъ буръ напоръ
Ее, бѣснуясь, потрясали—
Смотрите жъ—все стоитъ она!
А вокругъ нея волненья пали—
И Польши участь рѣшена...

Побѣда! сердцу сладкій часъ!
Россія, встань и возвышайся!

Греми, восторговъ общій гласъ!..
 Но тише, тише раздавайся
 Вокругъ одра, гдѣ онъ лежитъ,
 Могучій мститель злыхъ обидъ,
 Кто покорилъ вершины Тавра,
 Предъ кѣмъ смирилась Эривань,
 Кому Суворовскаго лавра
 Вѣнокъ сплела тройная брань.

Возставъ изъ гроба своего,
 Суворовъ видитъ плѣнь Варшавы;
 Вострепетала тѣнь его
 Отъ блеска имъ начатой славы!
 Благословляетъ онъ, герой,
 Твое страданье, твой покой,
 Твоихъ сподвижниковъ отвагу,
 И вѣсть триумфа твоего,
 И съ ней летящаго за Прагу
 Младого внука своего.

* * *

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю,
 не могу
 Волненіямъ любви безумно преда-
 ваться!

Спокойствіе мое я строго берегу
 И сердцу не даю пылать и забываться.
 Нѣтъ, полно мнѣ любить! Но поче-
 му жъ порой
 Не погружуся я въ минутное мечтанье,
 Когда нечаянно пройдетъ передо мной
 Младое, чистое, небесное созданье?
 Пройдетъ и скроется!.. Ужель не можно
 мнѣ

Глазами слѣдовать за ней, и въ ти-
 шинѣ

Благословять ее на радость и на счастье,
 И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни
 сей:

Веселье, миръ души, безпечные досуги,
 Все... даже счастье того, кто избранъ ей,
 Кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруги.

Подраманія древнимъ.

I.

Изъ Ксенофонта Колофонскаго.

Чистый лоснится полъ; стеклянные
 чаши блистаютъ;

Всѣ ужъ увѣнчаны гости; иной обо-
 няетъ, зажмурясь,
 Ладана сладостный дымъ; другой открыва-
 етъ амфору,
 Запахъ веселый вина разливая далече;
 сосуды
 Свѣтлой, студеной воды, золотистые
 хлѣбы, янтарный
 Медъ и сыръ молодой, — все готово;
 весь убранный цвѣтами
 Жертвенникъ. Хоры поютъ. Но въ на-
 чалѣ трапезы, о други,
 Должно творить возліанья, вѣщать бла-
 говѣщія рѣчи,
 Должно безсмертныхъ молить, да спо-
 добятъ насъ чистой душою
 Правду блюсти: вѣдь оно же и легче.

Теперь мы приступимъ:
 Каждый въ мѣру свою напивайся.
 Бѣда не велика
 Въ ночь, возвращаясь домой, на раба
 опираться, но слава
 Гостю, который за чашей бесѣдуетъ
 мудро и тихо.

II.

Вино.

Іонъ Хиосскій.

Злое дитя, старикъ молодой, власте-
 линъ добронравный,
 Шумный зачинщикъ обидъ, милый за-
 ступникъ любви.

* * *

Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума:
 Нѣтъ, легче посохъ и сума,
 Нѣтъ, легче трудъ и гладь.
 Не то, чтобъ разумомъ моимъ
 Я дорожилъ, не то, чтобъ съ нимъ
 Разстаться былъ не радъ.
 Когда бъ оставили меня
 На волѣ, какъ бы рѣзво я
 Пустился въ темный лѣсъ!
 Я пѣлъ бы въ пламенномъ бреду,
 Я забывался бы въ чаду
 Нестройныхъ, чудныхъ грезъ.
 И я бъ заслушивался волнъ,

И я глядѣлъ бы, счастья полнѣ,
Въ пустыя небеса.
И силенѣ, воленѣ былѣ бы я,
Какъ вихорѣ, роющій поля,
Ломающій лѣса.
Да вотъ бѣда: сойди съ ума,
И страшнѣе будешь, какъ чума;
Какъ разѣ тебя закрутъ:
Посадятъ на цѣпь дурака,
И сквозь рѣшетку, какъ звѣрька,
Дразнить тебя придутъ.
А ночью слышать буду я
Не голосъ яркій соловья,
Не шумъ глухой лѣсовъ,
А крикъ товарищей моихъ,
Да брань зрителей ночныхъ,
Да визгъ, да звонъ оковъ.

Черновые наброски.

* * *

Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ,
Непремѣнно ужъ помянемъ
Трехъ Матренъ, Луку съ Петромъ,
Да Пахомовну потомъ.
Мы живали съ ними дружно;
Ужъ какъ хочешь, будь что будь—
Этихъ надо помянуть,
Помянуть намъ этихъ нужно.
Поминать, такъ поминать,
Начинать, такъ начинать,
Лить, такъ лить, разливъ разливомъ.
Начинай же, сватъ, пора!
Трехъ Матренъ, Луку, Петра
Мы помянемъ пивомъ,
А Пахомовну потомъ,
Пирогамъ да виномъ,
Да еще ее помянемъ—
Сказки сказывать мы станемъ.
Мастерица вѣдь была!
И откуда что брала?
А куды разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!..
Слушать, такъ душѣ отрадно;
Кто придумалъ ихъ такъ складно?
И не пилъ бы, и не ѣлъ,
Все бы слушалъ да глядѣлъ.

Стариковъ когда-нибудь
(Жаль, теперь намъ недосужно)
Надо будетъ помянуть:
Помянуть и этихъ нужно...
Слушай, сватъ: начну первой,
Сказка будетъ за тобой...

* * *

Одинъ-то былъ у отца у матери еди-
ный сынъ,
И того-то берутъ, разудаленькаго, въ
службу царскую,
По указу его берутъ государеву.
Онъ со вечера-то сталъ, разудалый,
коня сѣдлатъ,
Ко полуночи сталъ со двора съѣзжать.
Отецъ-то и мать его, разудаленькаго
проводить пошли,
Провожали его, разудаленькаго, весь
родъ-племя.
Позади-то его идетъ горюшенька мо-
лода жена.
Молоду жену, бѣлую лебедушку, уго-
вариваетъ:
Воротись ты, жена, воротись, душа-
лебедь бѣлая,
Впереди-то у насъ все огни горять,
огни неугасимые.
— Разудалый добрый молодецъ, меня
не обманывай,
Горить у тебя, у молодца, ретиво
сердце.

* * *

Другъ мой милый, красно солнышко мое,
Соколы ясный, сизокрылый мой орелъ,
Ужъ недѣлю не видалась я съ тобой,
Ровно семь дней, какъ спозналась съ
горемъ я,
Мнѣ не взмилились подруженьки мои.
Игры, пляски, хороводы и...
Не по праву, не по мысли мнѣ пришли.
Я скиталась по темнымъ лѣсамъ,
Въ темномъ лѣсѣ канареечки покоятъ,
Мнѣ, дѣвчонкѣ, грусть-разлуку при-
даютъ.
Ты не пой, канареечка, въ саду,
Не давай тоски сердечку моему.

Мицкевичъ.

Онѣ между нами жилъ,
Средь племени ему чужого; злобы
Въ душѣ своей къ намъ не питалъ
онѣ; мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Онѣ посѣщалъ бесѣды наши. Съ нимѣ
Дѣлились мы и чистыми мечтами,
И пѣснями (онѣ вдохновенъ былъ свыше
И съ высоты взиралъ на жизнь). Не-
рѣдко

Онѣ говорилъ о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Онѣ
Ушелъ на Западъ—и благословеньемъ
Его мы проводили. Но теперь
Нашъ мирный гость намъ сталъ вра-
гомъ, и нынѣ
Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни
буйной,

Поетъ онѣ ненависть: издалека
Знакомый голосъ злобнаго поэта
Доходитъ къ намъ!.. О Боже! возврати
Твой миръ въ его озлобленную душу!

Изъ Анакреона.

Ода LV.

Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ;
Узнаемъ пареянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ;
Я любовниковъ счастливыхъ
Узнаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ сіяетъ пламень томный—
Наслажденій знакъ нескромный.

Ода LVI.

Порѣдѣли, побѣлѣли
Кудри—честь главы моей,
Зубы въ деснахъ ослабѣли,
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни мнѣ немного
Провожать осталось дней;
Парка счетъ ведетъ имъ строго,
Тартаръ тѣни ждетъ моей.
Страшенъ хладъ подземна свода:

Входъ въ него для всѣхъ открытъ,
Изъ него же нѣтъ исхода;
Всякъ навѣки тамъ забытъ.

Ода LVII.

Что же сухо въ чашѣ дно?
Наливай мнѣ, мальчикъ рѣзвый;
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не скнемъ; не люблю,
Други, пьянствовать безчинно.
Нѣтъ! за чашей я пою,
Иль бесѣдую невинно.

* * *

Богъ веселый винограда
Позволяетъ намъ три чаши
Выпивать въ пиру вечернемъ:
Чаша первая харитамъ
Обнаженнымъ и стыдливымъ
Посвящается; вторая—
Краснощекому здоровью;
Третья—дружбѣ многолѣтней.
Мудрый послѣ третьей чаши,
Всѣ вѣнки съ главы слагая,
Совершаетъ возліянье
Благодатному Морфею.

Полководецъ.

Барклай де Толли.

У русскаго царя въ чертогахъ есть
палата:
Она не золотомъ, не бархатомъ бо-
гата,
Не въ ней алмазъ вѣнца хранится
подъ стекломъ;
Но сверху до низу, во всю длину, кру-
гомъ,
Своею кистію, свободной и широкой,
Ее разрисовалъ художникъ быстро-
окій.
Тутъ нѣтъ ни сельскихъ нимфъ, ни
дѣвственныхъ мадоннъ,
Ни фавновъ съ чашами, ни полно-
грудыхъ женъ,
Ни плясокъ, ни охотъ, а все плащи,
да шпаги,
Да лица, полныя воинственной отваги.

Толпою тѣсною художникъ помѣстилъ
Сюда начальниковъ народныхъ на-
шихъ силъ,

Покрытыхъ славою чудеснаго похода
И вѣчной памятью двѣнадцатаго года.
Нерѣдко медленно межъ ними я брожу
И на знакомые ихъ образы гляжу,
И, мнится, слышу ихъ воинственные
клики.

Изъ нихъ ужъ многихъ нѣтъ; другіе,
коихъ лики

Еще такъ молоды на яркомъ полотнѣ,
Уже состарѣлись и никнуть въ ти-
шинѣ

Главою лавровой.

Но въ сей толпѣ суровой
Одинъ меня влечетъ всѣхъ больше.

Съ думой новой
Всегда остановлюсь предъ нимъ и не
свою

Съ него моихъ очей. Чѣмъ долѣе гляжу,
Тѣмъ болѣе томимъ я грустію тяжелой.

Онъ писанъ во весь ростъ. Чело,
какъ черепъ голый,

Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Тамъ грусть великая. Кругомъ—густая
мгла;

За нимъ—военный станъ. Спокойный
и угрюмый,

Онъ, кажется, глядитъ съ презритель-
ною думой.

Свою ли точно мысль художникъ об-
нажилъ,

Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
Или невольное то было вдохновенье—
Но Доу далъ ему такое выраженье.

О, вождь несчастливый! суровъ былъ
жребій твой:

Все въ жертву ты принесъ землѣ тебѣ
чужой.

Непроницаемый для взгляда черни ди-
кой,

Въ молчаньѣ шелъ одинъ ты съ мы-
слію великой;

И, въ имени твоёмъ звукъ чуждый не
взлюбя

Своими криками преслѣдуя тебя,
Народъ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался надъ твоей священной сѣди-
ною,

И тотъ, чей острый умъ тебя и пости-
галъ,

Въ угоду имъ, тебя лукаво порицалъ...
И долго, укрѣпленъ могущимъ убѣ-
жденьемъ,

Ты былъ неколебимъ предъ общимъ
заблужденьемъ;

И на полупути былъ долженъ, набо-
нецъ,

Безмолвно уступить и лавровый вѣ-
нецъ,

И власть, и замыселъ, обдуманнѣе
глубоко,

И въ полковыхъ рядахъ сокрыться оди-
ноко.

Тамъ, устарѣлый вождь, какъ ратникъ
молодой,

Свинца веселый свистъ слышавшій
впервой,

Бросался ты въ огонь, ища желанной
смерти,—

Вотще!—

О, люди! жалкій родъ, достойный
слезъ и смѣха!

Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ че-
ловѣкъ,

Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный
вѣкъ,

Но чей высокій ликъ въ грядущемъ
поколѣнѣ

Поэта приведетъ въ восторгъ и уми-
ленье!

Туча.

Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.

Ты небо недавно кругомъ облежала,
И молнія грозно тебя обвиняла,

И ты издавала таинственный громъ,
И алчную землю поила дождемъ.

Довольно, сокройся! Пора минова-
лась,

Земля освѣжилась и буря промчалась.
И вѣтеръ, лаская листочки деревьевъ,

Тебя съ успокоенныхъ гонить небесъ.

Пиръ Петра Великаго.

Надъ Невомъ рѣзво вьются
 Флаги пестрые судовъ;
 Звучно съ лодокъ раздаются
 Пѣсни дружныя гребцовъ;
 Въ царскомъ домѣ пиръ веселый;
 Рѣчь гостей хмельна, шумна;
 И Нева пальбой тяжелой
 Далеко потрясена.

Что пируетъ царь великій
 Въ Питербургѣ-городкѣ?
 Отчего пальба и клики,
 И эскадра на рѣкѣ?
 Озаренъ ли честью новой
 Русский штыкъ иль русский флагъ?
 Побѣжденъ ли шведъ суровый?
 Мира ль проситъ грозный врагъ?

Иль въ отъятый край у шведа
 Прибыль Брантовъ утлый ботъ,
 И пошелъ на встрѣчу дѣда
 Всей семьей нашъ юный флотъ,
 И воинственные внуки
 Стали въ строй предъ старикомъ,
 И раздался въ честь науки
 Пѣсень хоръ и пушекъ громъ?
 Годовщину ли Полтавы
 Торжествуетъ государь—
 День, какъ жизнь своей державы
 Спасъ отъ Карла русский царь?
 Родила ль Екатерина?
 Имениница ль она,
 Чудотворца-исполина
 Чернобровая жена?

Нѣтъ, онъ съ поданнымъ мирится:
 Винатому вину
 Отпуская, веселится,
 Кружку пѣнить съ нимъ одну,
 И въ чело его цѣлуетъ,
 Свѣтелъ сердцемъ и лицомъ,
 И прощенье торжествуетъ,
 Какъ побѣду надъ врагомъ.
 Оттого-то шумъ и клики
 Въ Питербургѣ-городкѣ,
 И пальба, и громъ музыки,
 И эскадра на рѣкѣ;
 Оттого-то въ часъ веселый
 Чаша царская полна,
 И Нева пальбой тяжелой
 Далеко потрясена.

* * *

Вновь я посѣтилъ
 Тотъ уголокъ земли, гдѣ я провелъ
 Отшельникомъ два года незамѣтныхъ.
 Ужъ десять лѣтъ ушло съ тѣхъ поръ,
 и много

Перемѣнилось въ жизни для меня,
 И самъ, покорный общему закону,
 Перемѣнился я; но здѣсь опять
 Минувшее меня объемлетъ живо—
 И кажется, вчера еще бродилъ
 Я въ этихъ рощахъ.

Вотъ опальный домикъ,
 Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моею.
 Уже старушки нѣтъ, ужъ за стѣною
 Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
 Ни утреннихъ ея дозоровъ...
 А вечеромъ, при завываньи бури,
 Ея разсказовъ, мною затверженныхъ
 Отъ малыхъ лѣтъ, но никогда не скуч-
 ныхъ...

Вотъ холмъ лѣсистый, надъ которымъ
 часто

Я сиживалъ недвижимъ и глядѣлъ
 На озеро, вспоминая съ грустью
 Иные берега, иныя волны...
 Межъ нивъ золотыхъ и пажитей зеле-
 ныхъ

Оно, синѣя, стелется широко:
 Черезъ его невѣдомыя воды
 Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собою
 Убогій неводъ. По берегамъ отлогимъ
 Разсыяны деревни; тамъ за ними
 Скривилась мельница, насилу крылья
 Ворочая при вѣтрѣ...

На границѣ
 Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,
 Гдѣ въ гору подымается дорога,
 Изрытая дождями, три сосны
 Стоять: одна поодаль, двѣ другія
 Другъ къ дружке близко. Здѣсь, когда
 ихъ мимо

Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лун-
 ной ночи,
 Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вер-
 шинъ
 Меня привѣтствовалъ. По той дорогѣ
 Теперь поѣхалъ я, и предъ собою

Увидѣлъ ихъ опять; онѣ все тѣ же,
Все тотъ же ихъ знакомый слухъ по-
рохъ,

Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленая семья кругомъ тѣснится
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти. А вдали
Стоитъ одинъ утрюмо ихъ товарищъ,
Какъ старый холостякъ, и вокругъ него
Попрежнему все пусто.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда переростешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой
внукъ

Услышитъ вашъ привѣтный шумъ,
когда,
Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ,
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракъ
ночи

И обо мнѣ вспомнятъ...

Въ разны годы
Подъ вашу сѣнь, Михайловскія рощи,
Являлся я. Когда вы въ первый разъ
Увидѣли меня, тогда я былъ
Веселымъ юношей. Безпечно, жадно
Я приступалъ лишь только къ жизни.

Годы
Промчались—и вы во мнѣ пріяли
Усталаго пришельца. Я еще
Былъ молодъ, но уже судьба
Меня борьбой неравной истомила;
Я былъ ожесточенъ. Въ уныньѣ, часто
Я помышлялъ о юности моей,
Утраченной въ безплодныхъ испы-

таньяхъ,
О строгости заслуженныхъ упрековъ,
О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной—
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства...

Художнику.

Грустенъ и веселъ вхожу, ваятель,
въ твою мастерскую:

Гипсу ты мысли даешь, мраморъ по-
слушенъ тебѣ.

Сколько боговъ и богинь, и героев!..

Вотъ Зевсъ-громовержецъ;
Вотъ исподлобья глядитъ, думъ въ цѣв-
ницу, сатиръ;

Здѣсь зачинатель Барклай, а здѣсь со-
вершитель Кутузовъ;

Тутъ Аполлонъ — идеаль, тамъ Ню-
бея—печаль...

Весело мнѣ! Но, межъ тѣмъ, въ толпѣ
молчаливыхъ кумировъ

Грустенъ гуляю: со мною добраго Дель-
вига нѣтъ;

Въ темной могилѣ почилъ художни-
ковъ другъ и совѣтникъ.

Какъ бы онъ обнялъ тебя, какъ бы
гордился тобой!

Изъ VI Пиндемонте.

Не дорого цѣню я громкія права,
Отъ коихъ не одна кружится голова.
Я не ропщу о томъ, что отказали боги
Мнѣ въ сладкой участи оспаривать

налоги,
Или мѣшать царямъ другъ съ другомъ
воевать;

И мало горя мнѣ—свободно ли печатъ
Морочить олуховъ, или чуткая цензура
Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ

балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова!
Иныя, лучшія мнѣ дороги права,
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...

Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ
народа—

Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать; для власти, для
ливрей

Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ,
ни шеи;

По прихоти своей скитаться здѣсь и
тамъ,

Дивясь божественнымъ природы кра-
сотамъ,

И предъ созданьями искусствъ и
вдохновенья

Безмолвно утопать въ восторгахъ уми-
ленья—
Вотъ счастье! вотъ права!..

Молитва.

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтобъ сердцемъ возлетать во обла-
сти заочны,
Чтобъ укрѣплять его средь дальнихъ
бурь и битвъ,
Сложили множество божественныхъ
молитвъ;
Но ни одна изъ нихъ меня не уми-
ляетъ,
Какъ та, которую священникъ повто-
ряетъ
Во дни печальные Великаго поста;
Всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на
уста—
И падшаго свѣжитъ невѣдомою силой:
„Владыка дней моихъ! духъ празд-
ности унылой,
Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
И празднословія не дай душѣ моей;
Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, пре-
грѣшенія,
Да братъ мой отъ меня не приметъ
осужденія,
И духъ смиренія, терпѣнія, любви
И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи“.

* * *

Elegi monumentum.

Я памятникъ себѣ воздвигъ неруко-
творный;
Къ нему не заростетъ народная тропа;
Вознесся выше онъ главою непокорной
Александрійскаго столпа.
Нѣтъ! весь я не умру! Душа въ за-
вѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣ-
жить—
И славенъ буду я, доколь въ подлун-
номъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ пиятъ.
Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси
великой,

И назоветъ меня всякъ сущій въ ней
языкъ:
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и
нынѣ дикій
Тунгузъ, и другъ степей калмыкъ.
И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробу-
ждалъ,
Что въ мой жестокий вѣкъ возславилъ
я свободу,
И милость къ падшимъ призывалъ.
Велѣнью Божию, о муза, будь по-
слушна:
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету приѣмлю равнодушно
И не оспаривай глупца.

* * *

Къ женѣ.

Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце
просить,
Летать за днями дни, и каждый день
уносить
Частицу бытія, а мы съ тобою вдвоемъ.
Располагаемъ жить. И глядь — все
прахъ: умремъ!
На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой
и воля.
Давно завидная мечтается мнѣ доля,
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я по-
бѣтъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чи-
стыхъ нѣтъ.

ПОЭМЫ.

Русланъ и Людмила.

Прологъ.

У лукоморья дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ:
И днемъ и ночью котъ ученый
Все ходитъ по цѣпи кругомъ:
Идетъ направо—пѣснь заводитъ,
Налѣво—сказку говоритъ.
Тамъ чудеса: тамъ лѣшій бродитъ,

Русалка на вѣтвяхъ сидить;
Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ
Слѣды невиданныхъ звѣрей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоить безъ оконъ, безъ дверей;
Тамъ лѣсъ и доль видѣній полны;
Тамъ о зарѣ прихлынуть волны
На брегъ песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасныхъ
Чредой изъ водъ выходить ясныхъ,
И съ ними дядька ихъ морской;
Тамъ королевичъ мимоходомъ
Плѣняетъ грознаго царя;
Тамъ въ облакахъ, передъ народомъ,
Черезъ лѣса, черезъ моря
Колдунъ несетъ богатыря;
Въ темницѣ тамъ царевна тужить,
А бурый волкъ ей вѣрно служить:
Тамъ ступа съ Бабою-Ягой
Идетъ-бредетъ сама собой;
Тамъ царь Кощей надъ златомъ чах-
нетъ:
Тамъ русскій духъ... тамъ Русью пах-
нетъ!

И тамъ я былъ, и медъ я пилъ,
У моря видѣлъ дубъ зеленый,
Подъ нимъ сидѣлъ и котъ ученый
Свой мнѣ сказки говорилъ.
Одну я помню—сказку эту
Повѣдаю теперь я свѣту...

Пѣснь первая.

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.

Въ толпѣ могучихъ сыновей,
Съ друзьями, въ гридницѣ высокой
Владиміръ-Солнце пировалъ;
Меньшую дочь онъ выдавалъ
За князя храбраго Руслана,
И медъ изъ тяжкаго стакана
За ихъ здоровье выпивалъ.
Не скоро ѣли предки наши,
Не скоро двигались кругомъ
Ковши, серебряныя чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ.
Они веселье въ сердце лили,
Шипѣла пѣна по краямъ,
Ихъ важно чашиники носили

И низко кланялись гостямъ.

Слилися рѣчи въ шумъ невятный;
Жужжитъ гостей веселый кругъ;
Но вдругъ раздался гласъ пріятный
И звонкихъ гуслей бѣглый звукъ.
Всѣ смолкли, слушаютъ баяна:
И славить сладостный пѣвецъ
Людмилу-прелесть и Руслана,
И, Лелемъ святой имъ, вѣнецъ.
Но страстью пылкой утомленный,
Не ѣстъ, не пьетъ Русланъ влюблен-
ный,

На друга милого глядитъ,
Вздыхаетъ, сердится, горитъ
И, щипля усь отъ нетерпѣнья,
Считаетъ каждая мгновенья...
Въ уныньи, съ пасмурнымъ челомъ,
За шумнымъ свадебнымъ столомъ
Сидятъ три витязя молодые;
Безмолвны, за ковшомъ пустымъ,
Забыли кубки круговые,
И брашна неприятны имъ;
Не слышатъ вѣщаго баяна,
Потупили смущенный взглядъ:
То три соперника Руслана;
Въ душѣ несчастные таятъ
Любви и ненависти ядъ.
Одинъ—Рогдай, воетель смѣлый,
Мечомъ раздвинувшій предѣлы
Богатыхъ кіевскихъ полей;
Другой—Фарлафъ, крикунъ надменный,
Въ пирахъ никѣмъ не побѣжденный,
Но воинъ скромный средѣ мечей;
Послѣдній, полный страстной думы,
Младой хазарскій ханъ Ратмиръ.
Всѣ трое блѣдны и угрюмы,
И пиръ веселый имъ не въ пиръ.

Послѣ свадебнаго пира волшебникъ
Черноморъ покидаетъ Людмилу, и всѣ со-
перники Руслана отправляются на поиски.

Соперники одной дорогой
Всѣ вмѣстѣ ѣдутъ цѣлый день.
Днѣпра сталъ темень брегъ отлогій:
Съ востока льется ночи тѣнь;
Туманы надъ Днѣпромъ глубокимъ;
Пора конямъ ихъ отдохнуть.
Вотъ подъ горой путемъ широкимъ
Широкій пересѣкъся путь.

„Разъѣдемся, пора!“ сказали,
„Безвѣстной вѣряться судьбѣ“.
И каждый конь, не чуя стали,
По волѣ путь избралъ себѣ.

Что дѣлаешь, Русланъ несчастный,
Одинъ въ пустынной тишинѣ?
Людмилу, свадьбы день ужасный,
Все, мнится, видѣлъ ты во снѣ!
На брови мѣдный шлемъ надвинувъ,
Изъ мощныхъ рукъ узду покинувъ,
Ты шагомъ ѣдешь межъ полей,
И медленно въ душѣ твоей
Надежда гибнетъ, гаснетъ вѣра...

Но вдругъ предъ витяземъ пещера;
Въ пещерѣ свѣтъ... Онъ прямо къ ней
Идетъ подъ дремлющіе своды,
Ровесники самой природы.
Вошелъ съ уныньемъ; что же зрить?
Въ пещерѣ старецъ: ясный видъ,
Спокойный взоръ, брада сѣдая;
Лампада передъ нимъ горитъ;
За древней книгой онъ сидитъ,
Ее внимательно читая.

„Добро пожаловать, мой сынъ!“
Сказалъ съ улыбкой онъ Руслану:
„Ужъ двадцать лѣтъ я здѣсь одинъ
Во мракѣ старой жизни вяну;
Но, наконецъ, дождался дня,
Давно предвидѣннаго мною.
Мы вмѣстѣ сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Русланъ, лишился ты Людмилы;
Твой твердый духъ теряетъ силы;
Но зла промчится быстрый мигъ:
На время рокъ тебя постигъ.
Съ надеждой, вѣрою веселой
Иди на все, не унывай:
Впередъ! мечомъ и грудью смѣлой
Свой путь на полночь пробивай.

„Узнай, Русланъ, твой оскорбитель—
Волшебникъ, страшный Черноморъ,
Красавицъ давній похититель,
Полнощныхъ обладатель горъ.
Еще ничей въ его обитель
Не проникалъ донынѣ взоръ;
Но ты, злыхъ козней истребитель,
Въ нее ты вступишь, и злодѣй
Погибнетъ отъ руки твоей!
Тебѣ сказать не долженъ болѣ.
Судьба твоихъ грядущихъ дней,

Мой сынъ, въ твоей отнынѣ волѣ“.

Русланъ на мягкій мохъ ложится
Предъ умирающимъ огнемъ;
Онъ ищетъ позабыться сномъ,
Вздыхаетъ, медленно вертится...
Напрасно! Витязь наконецъ:
„Не спится что-то, мой отецъ!
Что дѣлать! боленъ я душою,
И сонъ не въ сонъ, такъ тошно жить!
Позволь мнѣ сердце освѣжить
Твоей бесѣдою святою.
Прости мнѣ дерзостный вопросъ,
Откройся, кто ты, благодатный,
Судьбы наперсникъ непонятный?
Въ пустыню кто тебя занестъ?“

Финнъ рассказываетъ свою любовную
исторію. Когда онъ былъ юнымъ пасту-
хомъ, его любовь отвергла красавица-На-
ина. Онъ много лѣтъ изучалъ волшеб-
ство, чтобы очаровать непокорную краса-
вицу и побѣдить ея сердце. Когда онъ
постигъ тайную науку, прошло много
лѣтъ—она и онъ были уже стариками, при-
чемъ Наина сдѣлалась злой волшебницей.

Пѣснь вторая.

Когда Рогдай неукротимый,
Глухимъ предчувствіемъ томимый,
Оставя спутниковъ своихъ,
Пустился въ край уединенный
И ѣхалъ межъ пустынь лѣсныхъ.
Въ глубоку думу погруженный—
Злой духъ тревожилъ и смущалъ
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шепталъ:
„Убью!.. преграды всѣ разрушу...
Русланъ!.. узнаешь ты меня...
Теперь-то дѣвица поплачетъ...“
И вдругъ, поворотивъ коня,
Во весь опоръ назадъ онъ скачетъ.

Въ то время доблестный Фарлафъ,
Все утро сладко продремавъ,
Укрывшись отъ лучей полдневныхъ,
У ручейка наединѣ,
Для подкрѣпленія силъ душевныхъ,
Обѣдалъ въ мирной тишинѣ.

Рогдай налетаетъ на него, думая, что
это — Русланъ; трусливый Фарлафъ спа-
сается бѣгствомъ и падаетъ съ коня въ
оврагъ.

Рогдай къ оврагу подлетаетъ,
Жестокій мечъ ужъ занесенъ;
„Погибни, трусь! умри!“ вѣщаетъ...
Вдругъ узнаетъ Фарлафа онъ;
Глядитъ и руки опустилисъ;
Досада, изумленье, гнѣвъ
Въ его глазахъ изобразилисъ;
Скрипя зубами, онѣмѣвъ,
Герой, съ поникшею главою
Скорѣй отъѣхавъ ото рва,
Бѣсился... но едва-едва
Самъ не смѣлся надъ собою.

Тогда онъ встрѣтилъ подъ горой
Старушечку, чуть-чуть живую,
Горбатую, совсѣмъ сѣдую.
Она дорожною кляукой
Ему на сѣверъ указала:
„Ты тамъ найдешь его“, сказала.
Рогдай весельемъ закипѣлъ
И къ вѣрной смерти полетѣлъ.

А нашъ Фарлафъ? Во рву остался,
Дохнуть не смѣя; про себя
Онъ, лежа, думалъ: „живъ ли я?
Куда соперникъ злой дѣвался?“
Вдругъ слышитъ прямо надъ собою
Старухи голосъ гробовой:
„Встань, молодецъ, все тихо въ полѣ;
Ты никого не встрѣтишь болѣ;
Я привела тебѣ коня,—
Вставай, послушайся меня“.

Эта старушка и была Наина; она обѣ-
щаетъ Фарлафу добыть ему Людмилу, со-
вѣтуетъ никому не вѣдять и дожидаться
ея помощи.

Сказавъ, исчезла. Въ нетерпѣннѣй
Благоразумный нашъ герой
Тотчасъ отправился домой,
Сердечно позабывъ о славѣ
И даже о княжнѣ молодой;
И шумъ малѣйшій по дубравѣ,
Полетъ синицы, ропотъ водъ
Его бросали въ жаръ и въ потъ.

Межъ тѣмъ, Русланъ далеко мчится;
Въ глуши лѣсовъ, въ глуши полей
Привычною думою стремится
Къ Людмилѣ, радости своей,
И говоритъ: „найду ли друга?
Гдѣ ты, души моей супруга?
Увижу ль я твой свѣтлый взоръ?
Услышу ль нѣжный разговоръ?

Иль суждено, чтобъ чародѣя
Ты вѣчной плѣнницей была,
И скорбной дѣвою старѣя,
Въ темницѣ мрачной отпѣла?
Или соперникъ дерзновенный
Придетъ?.. Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ
безбѣдный,
Еще при мнѣ мой вѣрный мечъ,
Еще глава не пала съ плечъ“.

До утра юная княжна
Лежала, тягостнымъ забвеньемъ,
Какъ будто страшнымъ сновидѣньемъ,
Объята; наконецъ, она
Очнулася, пламеннымъ волненъемъ
И смутнымъ ужасомъ полна;
Душой летить за наслажденьемъ,
Кого-то ищетъ съ упоеньемъ:
„Гдѣ жъ милый, шепчетъ, гдѣ супругъ?“
Зоветь—и помертвѣла вдругъ.
Глядитъ съ боязнью вокругъ...
Людмила, гдѣ твоя свѣтлица?
Лежитъ несчастная дѣвица
Среди подушекъ пуховыхъ,
Подъ гордой сѣнью балдахина;
Завѣсы, пышная перина
Въ кистяхъ, въ узорахъ дорогихъ;
Повсюду ткани парчевыя;
Играютъ ахонты, какъ жаръ;
Кругомъ курильницы златыя
Подъемяютъ ароматный паръ.
Довольно... благо, мнѣ не надо
Описывать волшебный домъ:
Уже давно Шехеразада
Меня предупредила въ томъ.
Но свѣтлый теремъ—не отрада,
Когда не видимъ друга въ немъ.
Три дѣвы красоты чудесной,
Въ одеждѣ легкой и прелестной,
Княжнѣ явились, подошли
И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла,
Княжнѣ воздушными перстами
Златую косу заплела
Съ искусствомъ, въ наши дни не новымъ,
И обвила вѣнцомъ перловымъ
Окружность блѣднаго чела.
За нею, скромно взоръ склоняя,
Потомъ приблизилась другая—

Лазурный, пышный сарафанъ
 Одѣлъ Людмилы стройный станъ;
 Покрылись кудри золотыя
 И грудь, и плечи молодыя
 Фатой, прозрачной какъ туманъ.
 Покровъ завистливый лобзаетъ
 Красы, достойныя небесъ,
 И обувь легкая сжимаетъ
 Двѣ ножки, чудо изъ чудесъ.
 Княжнѣ послѣдняя дѣвица
 Жемчужный поясъ подаетъ.
 Межъ тѣмъ незримая пѣвица
 Веселы пѣсни ей поетъ.
 Увы, ни камни ожерелья,
 Ни сарафанъ, ни перловъ рядъ,
 Ни пѣсни лести и веселья
 Ея души не веселятъ.
 Напрасно зеркало рисуетъ
 Ея красы, ея нарядъ—
 Потупя неподвижный взглядъ,
 Она молчитъ, она тоскуетъ.

Не зная, что начать, она
 Къ окну рѣшетчату подходитъ,
 И взоръ ея печально бродитъ
 Въ пространствѣ пасмурной дали.
 Все мертво. Снѣжныя равнины
 Коврами яркими дегли;
 Стоять угрюмыхъ горъ вершины
 Въ однообразной бѣлизнѣ
 И дремлютъ въ вѣчной тишинѣ;
 Кругомъ не видно дымной кровли,
 Не видно путника въ снѣгахъ,
 И звонкій рогъ веселой ловли
 Въ пустынныхъ не трубятъ горахъ;
 Лишь изрѣдка съ унылымъ свистомъ
 Бунтуетъ вихоръ въ полѣ чистомъ
 И на краю сѣдыхъ небесъ
 Качаетъ обнаженный лѣсъ.

Въ слезахъ отчаянья, Людмила
 Отъ ужаса лицо закрыла.
 Увы, что ждетъ ее теперь?
 Бѣжить въ серебряную дверь;
 Она съ музыкой отворилась,
 И наша дѣва очутилась
 Въ саду. Плѣнительный предѣлъ,
 Прекраснѣе садовъ Армиды
 И тѣхъ, которыми владѣлъ
 Царь Соломонъ или князь Тавриды.
 Предъ нею зыблются, шумятъ

Великолѣпныя дубровы;
 Аллеи пальмъ и лѣсъ лавровый,
 И благовонныхъ миртовъ рядъ,
 И кедровъ гордыя вершины,
 И золотые апельсины
 Зерцаломъ водъ отражены;
 Пригорки, рощи и долины
 Весны огнемъ оживлены;
 Съ прохладой вѣется вѣтеръ майскій
 Средь очарованныхъ полей,
 И свичетъ соловей китайскій
 Во мракѣ трепетныхъ вѣтвей;
 Летятъ алмазные фонтаны
 Съ веселымъ шумомъ къ облакамъ;
 Подъ ними блещутъ истуканы,
 И, мнится, живы; Фидій самъ,
 Питомецъ Феба и Паллады,
 Любуясь ими, наконецъ,
 Свой очарованный рѣзецъ
 Изъ руцъ бы выронилъ съ досады.
 Дробясь о мраморныя преграды,
 Жемчужной, огненной дугой
 Валятся, плещутъ водопады.
 И ручейки въ тѣни лѣсной
 Чуть вьются сонною волной.
 Приютъ покоя и прохлады,
 Сквозь вѣчну зелень здѣсь и тамъ
 Мелькаютъ свѣтлыя бесѣдки;
 Повсюду розъ живыя вѣтки
 Цвѣтутъ и дышатъ по тропамъ.
 Но безутѣшная Людмила
 Идетъ, идетъ и не глядитъ;
 Волшебства роскошь ей постыла,
 Ей грустенъ нѣги свѣтлый видъ;
 Куда—сама не зная, бродитъ,
 Волшебный садъ кругомъ обходить,
 Свободу горькимъ давъ слезамъ,
 И взоры мрачные возводитъ
 Къ неумолимымъ небесамъ.
 Вдругъ освѣтился взоръ прекрасный;
 Къ устамъ она прижала перстъ;
 Казалось, умыселъ ужасный
 Рождался... Страшный путь отверстъ:
 Высокій мостикъ надъ потокомъ
 Предъ ней виситъ на двухъ скалахъ,
 Въ унынѣ тяжкомъ и глубокомъ
 Она подходитъ—и въ слезахъ
 На воды шумныя взглянула,
 Ударила, рыдая, въ грудь,
 Въ волнахъ рѣшилась утонуть—

Однако въ воды не прыгнула
И далѣ продолжала путь.

Моя прекрасная Людмила,
По солнцу бѣгая съ утра,
Устала, слезы осушила,
Въ душѣ подумала: пора!
На травку сѣла, оглянулась—
И вдругъ надъ нею сѣнь шатра,
Шумя, съ прохладой развернулася;
Обѣдъ роскошный передъ ней;
Приборъ изъ яркаго кристалла;
И въ тишинѣ изъ-за вѣтвей
Незрима арфа заиграла.
Дивится плѣнная княжна,
Но втайнѣ думаетъ она:
„Вдали отъ милого, въ неволѣ,
Зачѣмъ мнѣ жить на свѣтѣ болѣ?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзаетъ и летѣтъ!
Мнѣ не страшна злодѣя власть:
Людмила умереть умѣетъ!
Не нужно мнѣ твоихъ шатровъ,
Ни скучныхъ пѣсень, ни пировъ—
Не стану ѣсть, не буду слушать,
Умру среди твоихъ садовъ!“
Подумала—и стала кушать.

Княжна встаетъ, и вмигъ шатеръ,
И пышной роскоши приборъ,
И звуки арфы... все пропало;
Попрежнему все тихо стало;
Людмила вновь одна въ садахъ
Скитается изъ рощи въ рощи;
Межъ тѣмъ въ лазурныхъ небесахъ
Плыветъ луна, царица ночи;
Находить мгла со всѣхъ сторонъ
И тихо на холмахъ почила;
Княжну невольно клонитъ сонъ,
И вдругъ невѣдомая сила
Нѣжнѣй, чѣмъ вѣшній вѣтерокъ,
Ее на воздухъ поднимаетъ,
Несетъ по воздуху въ чертогъ
И осторожно опускаетъ,
Сквозь оиміамъ вечернихъ розъ,
На ложе грусти, ложе слезъ.
Три дѣвы вмигъ опять явились
И вокругъ нея засуетились,
Чтобъ на ночь пышный снять уборъ;
Но ихъ унылый, смутный взоръ
И принужденное молчанье
Являли втайнѣ состраданье

И немощный судьбамъ уеоръ.
Но поспѣшимъ: рукой ихъ нѣжной
Раздѣта сонная княжна;
Прелестна прелестью небрежной,
Въ одной сорочкѣ бѣлоснѣжной
Ложится почивать она.
Со вздохомъ дѣвы поклонились,
Скорѣй какъ можно удалились
И тихо притворили дверь.
Что жъ наша плѣнница теперь?
Дрожить какъ листъ, дохнуть не смѣтъ;
Хладѣютъ перси, взоръ темнѣтъ;
Мгновенный сонъ отъ глазъ бѣжитъ;
Не спитъ, удвоила вниманье,
Недвижно въ темноту глядитъ...
Все мрачно, мертвое молчанье!
Лишь сердца слышитъ трепетанье...
И мнитса... шепчетъ тишина;
Идутъ—идутъ къ ея постели;
Въ подушки прячется княжна,
И вдругъ... о страхъ!.. и въ самомъ
дѣлѣ

Раздался шумъ; озарена
Мгновеннымъ блескомъ тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Араповъ длинный рядъ идетъ
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушкахъ осторожно
Сѣдую бороду несетъ;
И входитъ съ важностью за нею,
Подъявъ величественно шею,
Горбатый харликъ изъ дверей:
Его-то головѣ обритой,
Высокимъ колпакомъ покрытой,
Принадлежала борода.
Ужъ онъ приблизился; тогда
Княжна съ постели соскочила,
Сѣдого карлу за колпакъ
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащей занесла кулакъ
И въ страхѣ завизжала такъ,
Что всѣхъ араповъ оглушила.
Трепеща скорчилась бѣднякъ,
Княжны испуганной блѣднѣе;
Зажавши уши поскорѣе,
Хотѣлъ бѣжать, но въ бородѣ
Запутался, упалъ и бьется;
Встаетъ, упалъ; въ такой бѣдѣ

Араповъ черный рой мятется;
Шумять, толкаются, бѣгутъ,
Хватаютъ колдуна въ охапку
И вонь распутывать несутъ,
Оставя у Людмилы шапку.

Рогдай нагоняетъ Руслана: между ними
происходить бой, окончившійся неудачно
для Рогдая: Русланъ его утопилъ въ рѣжѣ.

Между тѣмъ, Черноморъ не можетъ
найти Людмилы.

Читатель, расскажу ль тебѣ,
Куда красавица дѣвалась?
Всю ночь она своей судьбѣ
Въ слезахъ дивилась и—смѣялась.
Ее пугала борода;
Но Черноморъ ужъ былъ извѣстенъ
И былъ смѣшонъ, а никогда
Со смѣхомъ ужасъ несовмѣстенъ.
На встрѣчу утреннимъ лучамъ
Постель оставила Людмила
И взоръ невольный обратила
Къ высокимъ, чистымъ зеркаламъ;
Невольно кудри золотыя
Съ лилейныхъ плечъ приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;
Свои вчерашніе наряды
Нечаянно въ углу нашла;
Вздохнувъ, одѣлась, и съ досады
Тихонько плакать начала;
Однако съ вѣрнаго стекла,
Вздыхая, не сводила взора,
И дѣвицѣ пришло на умъ,
Въ волненьи своенравныхъ думъ,
Примѣрить шапку Черномора.
Все тихо, никого здѣсь нѣтъ,
Никто на дѣвушку не взглянетъ...
А дѣвушкѣ въ семнадцать лѣтъ
Какая шапка не пристанетъ!
Рядиться никогда не лѣнь!
Людмила шапкой завертѣла,
На брови, прямо, набекрень
И задомъ напередъ надѣла.
И что жъ? О, чудо старыхъ дней!
Людмила въ зеркалѣ пропала;
Перевернула—передъ ней
Людмила прежняя предстала;
Назадъ надѣла снова нѣтъ;
Сняла—и въ зеркалѣ! „Прекрасно!
Добро, колдунъ! добро, мой свѣтъ!

Теперь мнѣ здѣсь ужъ безопасно,
Теперь избавлюсь отъ хлопотъ!“
И шапку старого злодѣя
Княжна, отъ радости красѣя,
Надѣла задомъ напередъ.

Но возвратимся же къ герою.
Не стыдно ль заниматься намъ
Такъ долго шапкой, бороною,
Руслана поруча судьбамъ?
Свершивъ съ Рогдаемъ бой жестокий,
Проѣхалъ онъ дремучій лѣсъ;
Предъ нимъ открылся долъ широкій
При блескѣ утреннихъ небесъ.
Трепещетъ витязь поневолѣ:
Онъ видитъ старой битвы поле.
Вдали все пусто; здѣсь и тамъ
Желтѣютъ кости; по холмамъ
Разбросаны колчаны, латы;
Гдѣ сбуя, гдѣ заржавый щитъ;
Въ костяхъ руки здѣсь мечъ лежатъ;
Травой обросъ тамъ шлемъ косматый,
И старый черепъ тлѣетъ въ немъ;
Богатыря тамъ остовъ цѣлый
Съ его поверженнымъ конемъ
Лежитъ недвижный; копыя, стрѣлы
Въ сырую землю вонзены,
И мирный плющъ ихъ обвиваетъ...
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущаетъ,
И солнце съ ясной вышины
Долину смерти озаряетъ.

Со вздохомъ витязь вокругъ себя
Взираетъ грустными очами:
„О, поле, поле, кто тебя
Усыялъ мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топталъ
Въ послѣдній часъ кровавой битвы?
Кто на тебѣ со славой палъ?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачѣмъ же, поле, смогло ты
И поросло травой забвенья?..
Временъ отъ вѣчной темноты,
Быть можетъ, нѣтъ и мнѣ спасенья!
Быть можетъ, на холмѣ нѣмомъ
Поставятъ тихій гробъ Руслановъ,
И струны громкія баяновъ
Не будутъ говорить о немъ!“

Но вскорѣ вспомнилъ витязь мой,
Что добрый мечъ герою нуженъ

И даже панцырь, а герой
 Съ послѣдней битвы безоруженъ.
 Обходить поле онъ вокругъ:
 Въ кустахъ, среди костей забвенныхъ,
 Въ громадѣ тлѣющихъ кольчугъ,
 Мечей и племовъ раздробленныхъ
 Себѣ доспѣховъ ищетъ онъ.
 Проснулись гуль и степь нѣмая,
 Поднялся въ полѣ трескъ и звонъ;
 Онъ поднималъ щитъ, не выбирая,
 Нашелъ и шлемъ, и звонкій рогъ,
 Но лишь меча сыскать не могъ.
 Долину брани объѣзжая,
 Онъ видитъ множество мечей,
 Но всѣ легки, да слишкомъ малы,
 А князь красавецъ былъ не вялый,—
 Не то, что витязь нашихъ дней.
 Чтобъ чѣмъ-нибудь играть отъ скуки,
 Копье стальное взялъ онъ въ руки,
 Кольчугу онъ надѣлъ на грудь
 И далѣе пустился въ путь.

Ужъ поблѣднѣлъ закатъ румяный;
 Надъ усыпленную землей
 Дымятся синіе туманы
 И всходятъ мѣсяцъ золотой!
 Померкла степь. Тропою темной,
 Задумчивъ, ѣдетъ нашъ Русланъ,
 И видитъ: сквозь ночной туманъ
 Вдали чернѣетъ холмъ огромный,
 И что-то страшное храпитъ.
 Онъ ближе къ холму, ближе—слышитъ:
 Чудесный холмъ какъ будто дышитъ.
 Русланъ внимаетъ и глядитъ
 Безтрепетно, съ покойнымъ духомъ;
 Но, шевеля пугливымъ ухомъ,
 Конь упирается, дрожитъ,
 Трещетъ упрямой головою,
 И грива дыбомъ поднялась.
 Вдругъ холмъ, безоблачно луною
 Въ туманѣ блѣдно озарясь,
 Яснѣетъ. Смотритъ храбрый князь—
 И чудо видитъ предъ собою.
 Найду ли краски и слова?—
 Предъ нимъ живая голова.
 Огромны очи сномъ объаты,
 Храпитъ, качая шлемъ пернатый;
 И перья въ темной высотѣ
 Какъ тѣни ходятъ, раздвигаясь.
 Въ своей ужасной красотѣ
 Надъ мрачной степью возвышаясь,

Безмолвіемъ окружена,
 Пустыни сторожъ безымянный,
 Руслану предстоитъ она
 Громадой грозной и туманной.
 Въ недоумѣніи хочетъ онъ
 Тайнственный разрушить сонъ,
 Вблизи осматривая диво,
 Объѣхалъ голову кругомъ
 И, ставъ передъ носомъ молчаливо,
 Щекотитъ ноздри копіемъ.
 И, сморщась, голова зѣвнула,
 Глаза открыла и чихнула...
 Поднялся вихоръ, степь дрогнула,
 Взялась пылъ, съ рѣсницъ, съ усовъ.
 Съ бровей слетѣла стая совъ;
 Проснулись рожи молчаливы,
 Чихнуло эхо—конь ретивый
 Заржалъ, запрыгалъ, отлетѣлъ,
 Едва самъ витязь усидѣлъ;
 И вслѣдъ раздался голосъ шумный:
 „Куда ты, витязь неразумный?
 Ступай назадъ; я не шучу!
 Какъ разъ нахала проглочу!“
 Русланъ съ презрѣніемъ оглянулся,
 Браздами удержалъ коня
 И съ гордымъ видомъ усмѣхнулся.
 „Чего ты хочешь отъ меня?“
 Нахмуясь, голова вскричала:
 „Вотъ, гости мнѣ судьба послала!
 Послушай, убирайся прочь!
 Я спать хочу, теперь ужъ ночь,
 Прощай!“ Но витязь знаменитый,
 Услыша грубые слова
 Воскликнулъ съ важностью сердитой:
 „Молчи, пустая голова!
 Слыхалъ я истину, бывало:
 Хоть лобъ широкъ, да мозгу мало!
 Я ѣду, ѣду, не свищу,
 А какъ найду, не спущу!“
 Тогда, отъ ярости нѣмая,
 Стѣсненной злобой пламенѣя,
 Надулась голова; какъ жаръ,
 Кровавы очи засверкали;
 Напѣнясь, губы задрожали;
 Изъ устъ, ушей поднялся паръ;
 И вдругъ она, что было мочи,
 На встрѣчу князю стала дуть...
 Напрасно конь, зажмуря очи,
 Склонивъ главу, натужа грудь,
 Сквозь вихоръ, дождь и сумракъ ночи

Невѣрный продолжаетъ путь;
 Объятый страхомъ, ослѣпленный,
 Онъ мчится вновь, изнеможенный,
 Далече въ поле отдохнуть.
 Вновь обратиться витязь хочетъ—
 Вновь отраженъ, надежды нѣтъ!
 А голова ему вослѣдъ,
 Какъ сумасшедшая, хохочетъ,
 Гремить: „Ай, витязь! ай, герой!
 Куда ты? Тише, тише, стой!
 Эй, витязь, шею сломишь даромъ;
 Не трусь, наѣздникъ, и меня
 Порадуй хоть однимъ ударомъ,
 Пока не заморилъ коня“.
 И между тѣмъ она героя
 Дразнила страшнымъ языкомъ.
 Русланъ, досаду въ сердцѣ кроя,
 Грозить ей молча копьемъ,
 Трясетъ его рукой свободной,
 И, задрожавъ, булать холодный
 Вонзился въ дерзостный языкъ.
 И кровь изъ бѣшенана зѣва
 Рѣкою побѣжала вмигъ.
 Отъ удивленья, боли, гнѣва,
 Въ минуту дерзости лилась,
 На князя голова глядѣла,
 Желѣзо грызла и блѣднѣла.—
 Въ спокойномъ духѣ горячасъ,
 Счастливымъ пользуясь мгновеньемъ,
 Къ объятой головѣ смущеньемъ,
 Какъ ястребъ, богатырь летитъ
 Съ поднятой, грозною десницей,
 И въ щеку тяжелой рукавицей
 Съ размаху голову разить.
 И степь ударомъ огласилась;
 Кругомъ росистая трава
 Кровавой пѣной обагрилась,
 И, зашатавшись, голова
 Перевернулась, покатилась,
 И шлемъ чугунный застучалъ.
 Тогда на мѣстѣ опустѣломъ
 Мечъ богатырскій засверкалъ.
 Нашъ витязь въ трепетъ веселомъ
 Его схватилъ, и къ головѣ
 По окровавленной травѣ
 Бѣжитъ съ намѣреньемъ жестокимъ—
 Ей носъ и уши обрубить;
 Уже Русланъ готовъ разить,
 Уже взмахнулъ мечомъ широкимъ—
 Вдругъ, изумленный, внемлетъ онъ

Главы молящей жалкій стонъ...
 И тихо мечъ онъ опускаетъ;
 Въ немъ гнѣвъ свирѣпый умираетъ,
 И мщенье бурное падетъ
 Въ душѣ, моленьемъ усмиренной;
 Такъ на долину таетъ ледъ,
 Лучомъ полудня пораженный.

Голова рассказываетъ Руслану о коварствѣ Черномора, который погубилъ витязя, носившаго на плечахъ ее,—о томъ, что убить Черномора можно только этимъ мечомъ, и что сила Черномора заключена въ его бородѣ.

Юный Ратмиръ забылъ Людмилу, увлекшись красавицами.

Чтобы обмануть Людмилу, Черноморъ принимаетъ видъ Руслана. Людмила дается въ обманъ и снимаетъ шапку-невидимку.

Черноморъ овладѣваетъ Людмилой, но въ это время у воротъ его замка раздается трубный звукъ. Это подъѣхалъ Русланъ.

Бой для Черномора оказался неудачнымъ: Русланъ его побѣдилъ.

Русланъ, не говоря ни слова,
 Съ коня долой, къ нему спѣшить,
 Поймалъ, за бороду хватаетъ;
 Волшебникъ силится, кричитъ,
 И вдругъ съ Русланомъ улетаетъ...
 Ретивый конь вослѣдъ глядитъ:
 Уже колдунъ подъ облаками:
 На бородѣ герой виситъ;
 Летятъ надъ мрачными лѣсами,
 Летятъ надъ дикими горами,
 Летятъ надъ бездною морской;
 Отъ напряженья костенѣя,
 Русланъ за бороду злодѣя
 Упорной держится рукой.
 Межъ тѣмъ, на воздухъ слабѣя
 И силъ русской изумясь,
 Волшебникъ гордому Руслану
 Коварно молвитъ: „Слушай, князь!
 Тебѣ вредить я перестану;
 Младое мужество любя,
 Забуду все, прощу тебя,
 Спущусь, но только съ уговоромъ...“
 — Молчи, коварный чародѣй—
 Прервалъ нашъ витязь: — съ Черно-
 моромъ,
 Съ мучителемъ жены своей,
 Русланъ не знаетъ договора!

Сей грозный меч наважеть вора,
Лети хоть до ночной звѣзды,
А быть тебѣ безъ бороды!—
Боязнь объемлетъ Черномора;
Въ досадѣ, въ горести нѣмой,
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясаетъ:
Русланъ ея не выпускаетъ
И щиплетъ волосы порой.
Два дня колдунъ героя носить,
На третій онъ пощады просить:
„О, рыцарь, сжался надо мной;
Едва дышу; нѣтъ мочи болѣ;
Оставь мнѣ жизнь, въ твоей я волѣ;
Скажи—спущусь, куда велишь...“
— Теперь ты нашъ; ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй русской силѣ!
Неси меня къ моей Людмилѣ.

Русланъ находитъ Людмилу, погруженную въ волшебный сонъ и везетъ ее въ Кіевъ.

Русланъ встрѣчаетъ Ратмира, который живетъ уединенной жизнью, счастливый своею любовью къ одной пастушкѣ. Онъ забылъ Людмилу.

Фарлафъ, наученный Нанной, во время сна Руслана убилъ его, овладѣлъ Людмилой и привезъ ее въ Кіевъ, выдавъ себя за ея спасителя.

Никто не знаетъ, какъ разбудить ее. Финнъ оживилъ Руслана, и онъ вернулся въ Кіевъ, гдѣ и пробудилъ Людмилу.

Чѣмъ кончу длинный мой рассказъ?
Ты угадаешь, другъ мой милый!
Неправый старца гнѣвъ погасъ;
Фарлафъ предъ нимъ и предъ Людмилой

У ногъ Руслана объявилъ
Свой стыдъ и мрачное злодѣйство;
Счастливый князь ему простилъ;
Лишенный силы чародѣйства,
Былъ принятъ карла во дворецъ;
И, обдѣвѣвъ праздную конецъ,
Владиміръ въ гриднищѣ высокой
Запировавъ въ семьѣ своей.

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.

Кавказскій Плѣнникъ.

Подъ бурей рока — твердый
камень
Въ волненьяхъ страсти — лег-
кій листъ.

Посвященіе

Николаю Николаевичу Раев-
скому.

Прими съ улыбкою, мой другъ,
Свободной музы приношенье:
Тебѣ я посвятилъ изгнанной лиры
пѣнье

И вдохновенный свой досугъ.
Когда я погибалъ безвинный, безо-
традный,
И шопотъ клеветы внималъ со всѣхъ
сторонъ,

Когда кинжалъ измѣны хладный,
Когда любви тяжелый сонъ
Меня терзали и мѣрвили—
Я близъ тебя еще спокойство находилъ,
Я сердцемъ отдыхалъ: другъ друга мы
любили,
И бури надо мной свирѣлость уто-
мили—

Я въ мирной пристани боговъ благо-
словиль...

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мнѣ Кавказъ
Гдѣ пасмурный Бешту, пустынный
величавый,
Ауловъ и полей властитель пятигла-
вый

Былъ новый для меня Парнасъ.
Забуду ли кремнистыя вершины;
Гремучіе ключи, увядшія равнины,
Пустыни знойныя, края, гдѣ ты со
мною

Дѣлилъ души младыхъ впечатлѣнья.
Гдѣ рыскаетъ въ горахъ воинствен-
ный разбой,

И дикій геній вдохновенья
Таится въ тишинѣ глухой?
Ты здѣсь найдешь воспоминанья,
Быть можетъ, милыхъ сердцу дней,
Противорѣчія страстей,

Мечты знакомы, знакомы стра-
данья
И тайный гласъ души моей.
Мы въ жизни розно шли: въ объятіяхъ
покою
Едва-едва расцвѣлъ, и вслѣдъ отца-
героя,
Въ поля кровавыя, подъ тучи вра-
жьихъ стрѣлъ,
Младенецъ избранный, ты гордо по-
летѣлъ;
Отечество тебя ласкало съ умиленіемъ,
Какъ жертву милую, надежды вѣрный
цвѣтъ.
Я рано скорбь узналъ, постигнуть
былъ гоненіемъ,
Я — жертва клеветы и мстительныхъ
невѣждъ;
Но сердце укрѣпивъ свободой и тер-
пѣніемъ,
Я ждалъ безпечно лучшихъ дней,
И счастье моихъ друзей
Мнѣ было сладкимъ утѣшеніемъ.

Часть первая.

Въ аулѣ, на своихъ порогахъ,
Черкесы праздные сидятъ.
Сыны Кавказа говорятъ
О бранныхъ, гибельныхъ тревогахъ,
О красотѣ своихъ коней,
О наслажденіяхъ дикой нѣги;
Вспоминаютъ прежнихъ дней
Неотразимые набѣги,
Обманы хитрыхъ узденей,
Удары пашекъ ихъ жестокихъ,
И мѣткость неизбежныхъ стрѣлъ,
И пепелъ разоренныхъ селъ,
И ласки плѣнницъ черноокихъ.
Текутъ бесѣды въ тишинѣ;
Луна плыветъ въ ночномъ туманѣ...
И вдругъ предъ ними на конѣ
Черкесъ. Онъ быстро на арканѣ
Младого плѣнника влечилъ.
„Вотъ русскій!“ хищникъ возопилъ.
Аулъ на крикъ его сбѣжался
Ожесточенною толпою;
Но плѣнникъ, хладный и нѣмой,
Съ обезображенной главой,
Какъ трупъ, недвижимъ оставался.

Лица враговъ не видитъ онъ,
Угрозъ и криковъ онъ не слышитъ;
Надъ нимъ летаетъ смертный сонъ
И холодомъ тлетворнымъ дышитъ.

Очнувшись, плѣнникъ смотритъ съ
тоскою въ ту сторону,—

Въ Россію дальній путь ведетъ,—
Въ страну, гдѣ пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
Гдѣ первую позналъ онъ радость,
Гдѣ много милаго любилъ,
Гдѣ обнялъ грозное страданье,
Гдѣ бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ.

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
И зналъ невѣрной жизни цѣну.
Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви — безумный сонъ,
Наскучивъ жертвой бытъ привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы,—
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ,
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призвучомъ свободы.

Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ.
Страстями сердце погубя,
Охолодѣвъ къ мечтамъ и лирѣ,
Съ волненіемъ пѣсни онъ внималъ,
Одушевленные тобою,
И съ вѣрой, пламенной мольбою
Твой гордый идолъ обнималъ.

Свершилось... Цѣлью упованья
Не зрѣть онъ въ мірѣ ничего.
И вы, послѣднія мечтанья,
И вы сокрылись отъ него!..

Онъ—рабъ... Склоняясь главой на ка-
мень,

Онъ ждетъ, чтобъ съ сумрачной зарей
Погасъ печальной жизни пламень,
И жаждетъ сѣни гробовой.

Ужъ меркнетъ солнце за горами;
Вдали раздался шумный гулъ;
Съ полей народъ идетъ въ аулъ,
Сверкая свѣтлыми косами.

Пришли; въ домахъ зажглись огни,
И постепенно шумъ нестройный
Умолкнулъ; все въ ночной тѣни
Объято нѣгою спокойной;
Вдали сверкаетъ горный ключъ,
Сбѣгая съ каменной стремнины;
Одѣлись пеленою тучъ
Кавказа спящія вершины...
Но кто, въ сіяніи луны,
Среди глубокой тишины
Идетъ, украдкою ступая?
Очнулся русскій. Передъ нимъ,
Съ привѣтомъ нѣжнымъ и нѣмымъ,
Стоитъ черкешенка младая.
На дѣву молча смотреть онъ
И мыслить: это живой сонъ,
Усталыхъ чувствъ игра пустая...
Лунною чуть озарена,
Съ улыбкой жалости отрадной
Колѣна преклонивъ, она
Къ его устамъ кумысъ прохладный
Подноситъ тихою рукой.
Но онъ забылъ сосудъ цѣлебный,
Онъ ловить жадною душой
Пріятной рѣчи звукъ волшебный
И взоры дѣвы молодой.
Онъ чуждыхъ словъ не понимаетъ...
Но взоръ умильный, жаръ ланить,
Но голосъ нѣжный говоритъ:
Живи!—и плѣнникъ оживаетъ.
И онъ, собравъ остатокъ силъ,
Велѣнью милому покорный,
Привсталъ и чашей благотворной
Томленье жажды утолилъ.
Потомъ на камень вновь склонился
Отягощенною главой,
Но все къ черкешенкѣ молодой
Угасшій взоръ его стремился.
И долго, долго передъ нимъ
Она, задумчива, сидѣла,
Какъ бы участіемъ нѣмымъ
Утѣшить плѣнника хотѣла;
Уста невольно каждый часъ
Съ начатой рѣчью отрывались,
Она вздыхала, и не разъ
Слезамъ очи наполнялись.

Черкешенка полюбила его и стала
навѣщать,—она
Поетъ ему и пѣсни горъ,
И пѣсни Грузіи счастливой,

И памяти нетерпѣливой
Передастъ языкъ чужой.
Впервые дѣвственной душой
Она любила, знала счастье;
Но русскій жизни молодой
Давно утратилъ сладострастье:
Не могъ онъ сердцемъ отвѣчать
Любви младенческой, открытой—
Быть можетъ, сонъ любви забытой
Боялся онъ воспоминать.

Казалось, плѣнникъ безнадежный
Къ унылой жизни привыкалъ.
Тоску неволи, жаръ мятежный
Въ душѣ глубоко онъ скрывалъ.
Влачась межъ угрюмыхъ скалъ,
Въ часъ ранней утренней прохлады,
Вперялъ онъ неподвижный взоръ
На отдаленныя громады
Сѣдыхъ, румяныхъ, синихъ горъ.
Великолѣпныя картины!
Престолы вѣчные снѣговъ,
Очамъ казались ихъ вершины
Недвижной цѣпью облаковъ,
И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
Въ вѣнцѣ блистая ледяномъ,
Эльбрусъ огромный, величавый,
Бѣлѣлъ на небѣ голубомъ.

Когда, съ глухимъ сливаясь гуломъ,
Предтеча бури, громъ гремѣлъ,
Какъ часто плѣнникъ предъ ауломъ
Недвижимъ на горѣ сидѣлъ.
У ногъ его дымились тучи,
Въ степи взвивался паръ летучій;
Уже пріюта между скалъ
Елень испуганный искалъ;
Орлы съ утесовъ подымались
И въ небесахъ перекликались;
Шумъ табуновъ, мычанье стадъ
Ужъ гласомъ бури заглушались...
И вдругъ на доли—дождь и градъ
Изъ тучъ сквозь молніи извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вѣковые,
Текли потоки дождевые —
А плѣнникъ, съ горной вышины,
Одинъ, за тучей громовою,
Возврата солнечнаго ждалъ,
Недосягаемый грозною,
И бури немощному вою
Съ какой-то радостью внималъ.

Но европейца все вниманье
Народъ сей чудный привлекалъ.
Межъ горцевъ плѣнникъ наблюдалъ
Ихъ вѣру, нравы, воспитанье,
Любилъ ихъ жизни простоту,
Гостепріимство, жажду брани,
Движеній вольныхъ быстроту,
И легкость ногъ, и силу длани;
Смотрѣлъ по цѣлымъ онъ часамъ,
Какъ иногда черкесъ проворный,
Широкой степью, по горамъ,
Въ косматой шапкѣ, въ буркѣ черной,
Къ луцѣ склоняся, на стремяна
Ногою стройной опираясь,
Леталъ по волѣ скакуна,
Къ войнѣ заранѣ приучаясь.
Онъ любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкесъ оружіемъ обвѣшенъ;
Онъ имъ гордится, имъ утѣшенъ:
На немъ броня, пищаль, колчанъ,
Кубанскій лукъ, кинжалъ, арканъ,
И шапка, вѣчная подруга
Его трудовъ, его досуга.
Ничто его не тяготитъ,
Ничто не брякнетъ: пѣшій, конный—
Все тотъ же онъ, все тотъ же видъ,
Непобѣдимый, непреклонный.
Гроза безпечныхъ казаковъ,
Его богатство—конь ретивый,
Питомецъ горскихъ табуновъ,
Товарищъ вѣрный, терпѣливый.
Въ пещерѣ иль въ травѣ глухой
Коварный хищникъ съ нимъ таятся,—
И вдругъ, внезапною стрѣлой,
Завидя путника, стремится;
Въ одно мгновенье вѣрный бой
Рѣшить ударъ его могучій,
И странника въ ущелье горъ
Уже влечетъ арканъ летучій.
Стремится конь во весь опоръ,
Исполненъ огненной отваги,
Все путь ему—болото, боръ,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый слѣдъ за нимъ бѣжитъ,
Въ пустынѣ топотъ раздается;
Сѣдой потокъ предъ нимъ шумитъ—
Онъ въ глубь кипящую несется,
И путникъ, брошенный ко дну,
Глощаетъ мутную волну,

Изнемогая, смерти проситъ
И зрить ее передъ собой...
Но мощный конь его стрѣлой
На берегъ пѣнистый выносить.
Иль, ухвативъ рогатый пень,
Въ рѣку низверженный грозю,
Когда на холмахъ пеленою
Лежитъ безлунной ночи тѣнь,
Черкесъ на корни вѣковые,
На вѣтви вѣшаетъ кругомъ
Свои доспѣхи боевые—
Щитъ, бурку, панцырь и шоломъ,
Колчанъ и лукъ—и въ быстры волны
За нимъ бросается потомъ,
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Рѣка реветъ,
Могучій токъ его несетъ
Вдоль береговъ уединенныхъ,
Гдѣ на курганахъ возвышенныхъ,
Склоняся на копы, казаки
Глядятъ на темный бѣгъ рѣки—
И мимо ихъ, во мглѣ чернѣя,
Плыветъ оружіе злодѣя...
О чемъ ты думаешь, казакъ?
Вспоминаешь прежни битвы,
На смертномъ полѣ свой бивакъ,
Полковъ хвалебныя молитвы
И родину?.. Коварный сонъ!
Простите, вольныя станицы,
И домъ отцовъ, и тихій Донъ,
Война и красныя дѣвицы!
Къ брегамъ причалилъ тайный врагъ,
Стрѣла выходитъ изъ колчана,
Взвилась, и падаетъ казакъ
Съ окровавленнаго кургана.
Когда же съ мирною семьей
Черкесъ въ отеческомъ жилищѣ
Сидитъ ненастною порой,
И тлѣютъ угли въ пепелищѣ;
И, спрянувъ съ вѣрнаго коня,
Въ горахъ пустынныхъ запоздалый,
Къ нему войдетъ пришлецъ усталый
И робко сядетъ у огня—
Когда хозяинъ благосклонный,
Съ привѣтомъ, ласково встаетъ
И гостю въ чашѣ благоговой
Чихирь отрадный подаетъ.
Подъ влажной буркой, въ саклѣ дым-
ной,
Вкушаетъ путникъ мирный сонъ,

И утромъ оставляетъ онъ
Ночлега кровъ гостепріимный.

Бывало, въ свѣтлый Баирамъ,
Сберутся юноши толпою;
Игра смѣняется игрою:
То, полный разобравъ колчанъ,
Они крылатыми стрѣлами
Пронзаютъ въ облакахъ орловъ;
То, съ высоты крутыхъ холмовъ
Нетерпѣливыми рядами,
При данномъ знакѣ, вдругъ падутъ,
Какъ лани землю поражаютъ,
Равнину пылью покрываютъ
И съ дружнымъ топотомъ бѣгутъ.

Но скученъ миръ однообразный
Сердцамъ, рожденнымъ для войны,—
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нерѣдко шашки грозно блещутъ
Въ безумной рѣзвости пировъ,
И въ прахъ летятъ главы рабовъ,
И жены робкія трепещутъ.

Любовь черкешенки не встрѣтила от-
вѣтнаго чувства съ его стороны.

Но онъ съ безмолвнымъ сожалѣньемъ
На дѣву страстную взиралъ
И, полный тяжкимъ размышленьемъ,
Словамъ любви ея внималъ.
Онъ забывался: въ немъ тѣснились
Воспоминанья прошлыхъ дней,
И даже слезы изъ очей
Однажды градомъ покатались.
Лежала въ сердцѣ, какъ свинецъ,
Тоска любви безъ упованья.
Предъ юной дѣвой наконецъ
Онъ изліялъ свои страданья:

„Забудь меня: твоей любви,
Твоихъ восторговъ я не стою;
Безцѣнныхъ дней не трать со мною;
Другого юношу зови.

Его любовь тебѣ замѣнить
Моей души печальный хладъ:
Онъ будетъ вѣренъ, онъ оцѣнитъ
Твою красу, твой милый взглядъ,
И жаръ младенческихъ лобзаній,
И нѣжность пламенныхъ рѣчей;
Безъ упованья, безъ желаній,
Я рвану жертвою страстей.
Ты видишь слѣдъ любви несчастной,

Душевной бури слѣдъ ужасный;
Оставь меня, но пожалѣй
О скорбной участи моей!
Несчастный другъ, зачѣмъ не прежде
Явился ты моимъ очамъ,—
Въ тѣ дни, какъ вѣрилъ я надеждѣ
И упокѣйнымъ мечтамъ!
Въ тѣ дни, когда луна, дубравы,
Морей и бури вольный шумъ,
Дѣвичій голосъ, гимны славы
Еще плѣняли жадный умъ!
Но поздно... умеръ я для счастья,
Надежды призракъ улетѣлъ;
Твой другъ отвыкъ отъ сладострастья,
Для нѣжныхъ чувствъ окаменѣлъ...

„Какъ тяжело мертвыми устами
Живымъ лобзаньямъ отвѣчать
И очи, полныя слезами,
Улыбкой хладною встрѣчать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснувъ безчувственной душой,
Въ объятіяхъ подруги страстной,
Какъ тяжело мыслить о другой!..

„Когда такъ медленно, такъ нѣжно
Ты пѣешь лобзанія мои,
И для тебя часы любви
Проходятъ быстро, безмятежно:
Снѣдая слезы въ тишинѣ,
Тогда, разсѣянный, унылый,
Передъ собою, какъ во снѣ,
Я вижу образъ вѣчно милый:
Его зову, къ нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебѣ въ забвеньи предаюсь
И тайный призракъ обнимаю,
О немъ въ пустынѣ слезы лью;
Повсюду онъ со мною бродитъ
И мрачную тоску наводитъ
На душу сирую мою.

„Оставь же мнѣ мои желѣзы,
Уединенныя мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы—
Ихъ раздѣлить не можешь ты.
Ты сердца слышала признание;
Прости!.. дай руку на прощанье.
Недолго женскую любовь
Печалить хладная разлука—
Пройдетъ любовь, настанетъ скука,
Красавица полюбитъ вновь“.

Раскрывъ уста, безъ слезъ рыдая,

Сидѣла дѣва молодая.
Туманный, неподвижный взоръ
Безмолвный выражалъ укоръ.
Блѣдна, какъ тѣнь, она дрожала:
Въ рукахъ любовника лежала
Ея холодная рука,
И наконецъ любви тоска
Въ печальной рѣчи излилася.

„Ахъ, русскій, русскій, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебѣ навѣкъ я предалась!
Недолго на груди твоей
Въ забвеньи дѣва отдыхала,
Немного радостныхъ ночей
Судьба на долю ей послала!
Придутъ ли вновь когда-нибудь?
Ужель навѣкъ погибла радость?...
Ты могъ бы, плѣнникъ, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя бъ изъ жалости одной,
Молчаньемъ, ласкою притворной;
Я улаждала бъ жребій твой
Заботой нѣжной и покорной;
Я стерегла бъ минуты сна,
Покой тоскующаго друга;
Ты не хотѣлъ... Но кто жъ она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь, русскій? ты любимъ?...
Понятны мнѣ твои страданья...
Прости жъ и ты мои рыданья,
Не смѣйся горестямъ моимъ“.

Умолкла. Слезы и стенанья
Стѣснили бѣдной дѣвы грудь.
Уста безъ словъ роптали пени;
Безъ чувствъ, обнявъ его колѣни,
Она едва могладохнуть.
И плѣнникъ, тихою рукою
Поднявъ несчастную, сказалъ:
„Не плачь! и я гонимъ судьбою,
И муки сердца испыталъ.
Нѣтъ, я не зналъ любви взаимной,
Любилъ одинъ, страдалъ одинъ,
И гасну я, какъ пламень дымный,
Забитый средь пустыхъ долинъ.
Умру вдали бреговъ желанныхъ,
Мнѣ будетъ гробомъ эта степь;
Здѣсь, на костяхъ моихъ изгнанныхъ,
Заржавить тягостная цѣпь...“

Однажды черкесы ушли въ походъ.

Утихъ аулъ; на солнцѣ спать
У саклей псы сторожевыя.
Младенцы смуглыя, нагѣ,
Въ свободной рѣзвости шумятъ;
Ихъ прадѣды въ кругу сидятъ;
Изъ трубокъ дымъ, вѣясъ, синѣтъ,
Они безмолвно юныхъ дѣвъ
Знакомый слушаютъ припѣвъ—
И старцевъ сердце молодѣтъ.

Черкесская пѣсня.

1.

Въ рѣкѣ бѣжитъ гремучій валъ;
Въ горахъ безмолвіе ночное;
Казакъ усталый задремалъ,
Склонясь на копіе стальное.
Не спи, казакъ: во тьмѣ ночной
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

2.

Казакъ плыветъ на челнокѣ,
Влача по дну рѣчному сѣти;
Казакъ, утонешь ты въ рѣкѣ,
Какъ тонутъ маленькія дѣти,
Купаясь жаркою порой:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

3.

На берегу завѣтныхъ водъ
Цвѣтутъ богатые станицы;
Веселый пляшетъ хороводъ.
Бѣгите, русскія дѣвицы,
Спѣшите, красныя, домой:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

Черкешенка пришла къ нему, чтобы рас-
пилить кандалы.

„Бѣги! сказала дѣва горь,
Нигдѣ черкесъ тебя не встрѣтитъ.
Спѣши, не трать ночныхъ часовъ;
Возьми кинжалъ—твоихъ слѣдовъ
Никто во мракѣ не замѣтитъ“.

Пилу дрожащей взявъ рукою,
Къ его ногамъ она склонилась:
Вязжить желѣзо подъ пилою,
Слеза невольная скатилась—
И цѣпь распалась и греметь.
„Ты воленъ, дѣва говорить:

Вѣги! Но взгляды ея безумный
 Любви порывъ изобразилъ.
 Она страдала. Вѣтеръ шумный,
 Свиста, покровъ ея клубилъ.
 „О, другъ мой! русский возопилъ:
 Я твой на вѣкъ, я твой до гроба!—
 Ужасный край оставимъ оба,
 Бѣги со мной...“—Нѣтъ, русский, нѣтъ!
 Она исчезла, жизни сладость—
 Я знала все, я знала радость,
 И все прошло, пропалъ и слѣдъ.
 Возможно ль? ты любилъ другую...
 Найди ее, люби ее!
 О чемъ же я еще тоскую,
 О чемъ уныніе мое?..
 Прости! любви благословенья
 Съ тобою будутъ каждый часъ.
 Прости—забудь мои мученья,
 Дай руку мнѣ... въ послѣдній разъ.
 Къ черкешенкѣ простеръ онъ руки,
 Воскресшимъ сердцемъ къ ней летѣлъ,
 И долгій поцѣлуй разлуки
 Союзъ любви запечатлѣлъ.
 Рука съ рукой, унынья полны,
 Сошли ко брегу въ тишинѣ—
 И русскій въ шумной глубинѣ
 Уже плыветъ и пѣнитъ волны,
 Уже противныхъ скалъ достигъ,
 Уже хватается за нихъ...
 Вдругъ волны глухо зашумѣли,
 И слышенъ отдаленный стонъ...
 На дикій берегъ выходитъ онъ,
 Глядитъ назадъ... берега яснили
 И опѣненные бѣдѣли,
 Но нѣтъ черкешенки молодой
 Ни у береговъ, ни подъ горой...
 Все мертво... на берегахъ уснувшихъ
 Лишь вѣтра слышенъ легкой звукъ,
 И при лунѣ въ водахъ плеснувшихъ
 Струистый исчезаетъ кругъ...
 Все понялъ онъ... Прощальнымъ во-
 ромъ
 Объемлетъ онъ въ послѣдній разъ
 Пустой аулъ съ его заборомъ,
 Поля, гдѣ плѣнный стадо пасъ,
 Стремнины, гдѣ влачилъ оковы,
 Ручей, гдѣ въ полдень отдыхалъ,
 Когда въ горахъ черкесь суровый
 Свободы пѣсню запѣвалъ.
 Рѣдѣлъ на небѣ мракъ глубокий,

Ложился день на темный долъ,
 Взошла заря. Тропой далекой
 Освобожденный плѣнникъ шель,
 И передъ нимъ уже въ туманахъ
 Сверкали русскіе штыки,
 И окликались на курганахъ
 Сторожевые казаки.

Цыганы.

Цыганы шумною толпой
 По Бессарабіи кочуютъ.
 Они сегодня надъ рѣкой
 Въ шатрахъ изодранныхъ почуютъ.
 Какъ вольность, веселье ихъ почлеетъ
 И мирный сонъ подъ небесами.
 Между колесами телѣтъ,
 Полузавѣшенныхъ коврами,
 Горитъ огонь; семья крутомъ
 Готовитъ ужинъ: въ чистомъ полѣ
 Пасутся кони; за шатромъ
 Ручной медвѣдь лежитъ на волѣ.
 Все живо посреди степей;
 Заботы мирныхъ семей,
 Готовыхъ съ утромъ въ путь недалекий,
 И пѣсни женъ, и крикъ дѣтей,
 И звонъ походной наковальни.
 Но вотъ на таборъ кочевой
 Нисходитъ сонное молчанье,
 И слышно въ тишинѣ степной
 Лишь лай собакъ да коней ржанье.
 Огни вездѣ погашены,
 Спокойно все, луна сіяетъ
 Одна съ небесной вышины
 И тихій таборъ озаряетъ.
 Въ шатрѣ одномъ старикъ не спитъ;
 Онъ передъ углями сидитъ,
 Согрѣтый ихъ послѣднимъ жаромъ,
 И въ поле дальное глядитъ,
 Ночнымъ подернутое паромъ.
 Его молоденькая дочь
 Пошла гулять въ пустынномъ полѣ.
 Она привыкла къ рѣзвой волѣ,
 Она придетъ; но вотъ ужъ ночь,
 И скоро мѣсяцъ ужъ покинеть
 Небесъ далекихъ облака,
 Земфиры нѣтъ какъ нѣтъ, и стынетъ
 Убогій ужинъ старика.
 Но вотъ она. За нею слѣдомъ
 По степи юноша спѣшитъ:

Цыгану вовсе онъ невѣдомъ.
„Отецъ мой, дѣва говорить,
Веду я гостя: за курганомъ
Его въ пустынь я нашла
И въ таборъ на ночь зазвала.
Онъ хочетъ быть, какъ мы, цыганомъ;
Его преслѣдуетъ законъ,
Но я ему подругой буду.
Его зовутъ Алеко; онъ
Готовъ идти за мной повсюду“.

Старикъ принимаетъ Алеко; онъ остается съ цыганомъ. Утромъ таборъ проснулся.

Свѣтло. Старикъ тихонько бродитъ
Вокругъ безмолвнаго шатра.
„Вставай, Земфира, солнце всходитъ;
Проснись, мой гость, пора, пора!
Оставьте, дѣти, ложе нѣги!“
И съ шумомъ высыпалъ народъ;
Шатры разобраны; телѣги
Готовы двинуться въ походъ;
Все вмѣстѣ тронулось—и вотъ
Толпа валитъ въ пустыхъ равнинахъ.
Ослы въ перекидныхъ корзинахъ
Дѣтей играющихъ несутъ;
Мужья и братья, жены, дѣвы,
И старъ и младъ вослѣдъ идутъ;
Крикъ, шумъ, цыганскіе припѣвы,
Медвѣдя ревъ, его цѣпей
Нетерпѣливое бряцанье,
Лохмотьевъ яркихъ пестрота,
Дѣтей и старцевъ нагота,
Собаки и лай, и завыванье,
Волынки говоръ, скрипъ телѣгъ—
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо-непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной.

Уныло юноша глядѣлъ
На опустѣлую равнину,
И грусти тайную причину
Истолковать себѣ не смѣлъ.
Съ нимъ черноокая Земфира,
Теперь онъ вольный житель міра,
И солнце весело надъ нимъ
Полуденной краскою блещетъ;
Что жъ сердцу юноши трепещетъ?
Какой заботой онъ томимъ?

Птичка Божія не знаетъ
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свиваетъ
Долговѣчнаго гнѣзда;
Въ долгу ночь на вѣткѣ дремлетъ;
Солнце красное взойдетъ—
Птичка гласу Бога внемлетъ,
Встрепадется и поетъ.
За весной, красой природы,
Лѣто знойное пройдетъ—
И туманъ, и непогоды
Осень поздняя несетъ:
Людямъ скучно, людемъ горе;
Птичка въ дальнія страны,
Въ теплый край, за сине море,
Улетаетъ до весны.

Подобно птичкѣ беззаботной
И онъ, изгнанныкъ перелетный,
Гнѣзда надежнаго не зналъ
И ни къ чему не привыкалъ.
Ему вездѣ была дорога,
Вездѣ была ночлега сѣнь;
Проснувшись поутру, свой день
Онъ отдавалъ на волю Бога.
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лѣнь.
Его, порой, волшебной славой
Манила дальняя звѣзда,
Нежданно роскошь и забавы
Къ нему являлись иногда;
Надъ одинокой головою
И громъ нерѣдко грохоталъ;
Но онъ безпечно подъ грозвою
И въ ведро ясное дремалъ,
И жить, не признавая власти
Судьбы коварной и слѣпой;
Но, Боже, какъ играли страсти
Его послушною душой,
Съ какимъ волненіемъ кипѣли
Въ его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирѣли?
Онъ проснется: погоди.

Земфира. Скажи, мой другъ, ты не
жалѣешь

О томъ, что бросилъ навсегда?

Алеко. Что жъ бросилъ я?

Земфира. Ты разумѣешь:

Людей отчины, города.

А ле ко. О чемъ жалѣть? Когда бь ты знала,

Когда бы ты воображала

Неволю душныхъ городовъ!

Тамъ люди въ кучахъ, за оградой

Не дышать утренней прохладой,

Ни вешнимъ запахомъ луговъ,

Любви стыдятся, мысли гонять,

Торгуютъ волею своей,

Главы предъ идолами клонять

И просить денегъ да цѣпей.

Что бросилъ я? Измѣнъ волненье,

Предразсуждений приговоръ,

Толпы безумное гоненье,

Или блистательный позоръ?

Земфира. Но тамъ огромныя палаты,

Тамъ разноцвѣтные ковры,

Тамъ игры, шумные пиры,

Уборы дѣвъ тамъ такъ богаты!

А ле ко. Что шумъ веселій городскихъ?

Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ веселій;

А дѣвы... Какъ ты лучше ихъ

И безъ нарядовъ дорогихъ,

Безъ жемчуговъ, безъ ожерелій!

Не измѣнись, мой нѣжный другъ!

А я... одно мое желанье—

Съ тобой дѣлить любовь, досугъ

И добровольное изгнанье.

Старикъ говоритъ, что культурному человеку трудно сжиться съ ихъ жизнью, и рассказываетъ старое преданіе дѣдовъ объ Овидіи, который тосковалъ адѣсь, находясь въ ссылке...

Прошло два лѣта. Такъ же бродятъ Цыганы мирною толпой; Вездѣ, попрежнему, находятъ Гостепріимство и покой. Презрѣвъ оковы просвѣщенія, Алеко воленъ, какъ они: Онъ безъ заботы и сожалѣнья Ведетъ кочующіе дни. Все тотъ же онъ, семья все та же; Онъ, прежнихъ лѣтъ не помня даже, Къ бытью цыганскому привыкъ; Онъ любить ихъ ночлеговъ сѣни, И упоенье вѣчной лѣни, И бѣдный, звучный ихъ языкъ.

Медвѣдь, бѣглець родной берлоги,

Косматый гость его шатра,

Въ селеньяхъ, вдоль степной дороги,

Близъ молдаванскаго двора

Передъ толпою осторожной

И тяжко пляшетъ, и реветъ,

И цѣпь докучную грызетъ.

На посохъ опершись дорожный,

Старикъ лѣниво въ бубны бьетъ,

Алеко съ пѣньемъ звѣря водить,

Земфира поселянъ обходитъ

И дань ихъ вольную беретъ;

Настанетъ ночь; они всѣ трое

Варятъ нежатое пшено;

Старикъ уснулъ—и все въ покоѣ...

Въ шатрѣ и тихо, и темно.

Старикъ на вѣшнемъ солнцѣ грѣетъ

Ужъ остывающую кровь;

У люльки дочь поетъ любовь,

Алеко внемлетъ и блѣднѣетъ.

Земфира.

Старый мужъ, грозный мужъ,

Рѣжь меня, жги меня:

Я тверда, не боюсь

Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,

Презираю тебя;

Я другого люблю,

Умираю любя.

А ле ко. Молчи. Мнѣ пѣнье надоѣло,

Я дикихъ пѣсень не люблю.

Земфира. Не любишь? мнѣ какое дѣло!

Я пѣсню для себя пою.

Рѣжь меня, жги меня,—

Не скажу ничего;

Старый мужъ, грозный мужъ,—

Не узнаешь его.

Онъ свѣжѣ весны,

Жарче лѣтняго дня;

Какъ онъ молодъ и смѣлъ!

Какъ онъ любить меня!

Какъ ласкала его

Я въ ночной тишинѣ!

Какъ смѣялись тогда

Мы твоей сѣдинѣ!

А ле ко. Молчи, Земфира, я доволенъ...

Земфира. Такъ понялъ пѣсню ты мою?

А ле ко. Земфира!...

Земфира. Ты сердиться воленъ:
Я пѣсню про тебя пою.

Уходить и поеть: „Старый мужъ“ и проч.

Алеко тоскуетъ, что Земфира его раз-
любила, старикъ его утѣшаетъ.

Старикъ Утѣшься, другъ; она—
дитя;

Твое унынье безразсудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское—шута.
Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ
Гуляетъ вольная луна;
На всю природу мимоходъ
Равно сіянье льетъ она;
Заглянетъ въ облако любое,
Его такъ пышно озарить—
И вотъ ужъ перешла въ другое,
И то недолго посѣтитъ.
Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ,
Примолва: тамъ остановись!
Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:
Люби одно, не измѣнись!
Утѣшься!

И рассказываетъ свою собственную
исторію.

Послушай, расскажу тебѣ
Я повѣсть о самомъ себѣ.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожалъ еще москаль—
(Вотъ видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль),
Тогда боялись мы султана,
А правилъ Буджакомъ папа
Съ высокихъ башенъ Аккермана—
Я молодъ былъ, моя душа
Въ то время радостно кипѣла,
И ни одна въ кудряхъ моихъ
Меже сѣдинка не блѣбла.
Между красавицъ молодыхъ
Одна была... и долго ею,
Какъ солнцемъ, любовался я
И, наконецъ, назвалъ моею.

Ахъ, быстро молодость моя
Звѣздой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула!
Еще быстрѣе: только годъ
Меня любила Маріула.

Однажды близъ кагульскихъ водъ
Мы чуждый таборъ повстрѣчали;
Цыганы тѣ, свои шатры
Разбивъ близъ нашихъ, у горы,
Двѣ ночи вмѣстѣ ночевали.
Они ушли на третью ночь,
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Маріула.
Я мирно спалъ; заря блеснула;
Проснулся я—подруги нѣтъ!
Ищу, зову—пропалъ и слѣдъ.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакалъ!.. Съ этихъ поръ
Постыли мнѣ всѣ дѣвы міра;
Межъ ними никогда мой взоръ
Не выбиралъ себѣ подруги
И одинокіе досуги
Уже ни съ кѣмъ я не дѣлилъ.

Алеко. Да какъ же ты не поспѣ-
шилъ

Тотчасъ послѣдъ неблагодарной,
И хищнику, и ей, коварной,
Кинжала въ сердце не вонзилъ?

Старикъ. Къ чему? Вольнѣ птицы
младость.

Кто въ силахъ удержать любовь?

Чредою всѣмъ дается радость;

Что было, то не будетъ вновь.

Алеко. Я не таковъ. Нѣтъ, я, не
споря,

Отъ правъ моихъ не откажусь,
Или хотъ мщеньемъ наслажусь.
О, нѣтъ! когда бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодѣя:
Я въ волны моря, не блѣднѣя,
И беззащитнаго бъ толкнулъ;
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Алеко подстерегъ Земфиру, когда она
была въ обществѣ молодого цыгана, и
убилъ обоихъ.

Востокъ, денницей озаренный,
Сіялъ. Алеко за холмомъ,
Съ ножомъ въ рукахъ, окровавленный,
Сидѣлъ на камнѣ гробовомъ.

Два трупа передъ нимъ лежали;
Убийца страшнѣ былъ лицомъ;
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой;
Могилу въ сторонѣ копали,
Шли жены скорбной чередой
И въ очи мертвыхъ цѣловали.
Старикъ-отецъ одинъ сидѣлъ
И на погибшую глядѣлъ
Въ нѣмомъ бездѣйствіи печали;
Подняли трупы, понесли,
И въ лоно хладную земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрѣлъ
На все. Когда же ихъ зарыли
Послѣдней горстію земной,
Онъ молча, медленно склонился
И съ камня на траву свалился.

Тогда старикъ, приблизясь, рекъ:
„Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ,
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли:
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ.
Мы робки и добры душою,
Ты золь и смѣлъ—оставь же насъ;
Прости! да будетъ миръ съ тобою“.

Сказалъ—и шумною толпою
Поднялся таборъ кочевой
Съ долины страшнаго ночлега,
И скоро все въ дали степной
Сокрылось. Лишь одна телѣга,
Убогимъ крытая ковромъ,
Стояла въ полѣ роковомъ.
Такъ иногда, передъ зимою,
Туманной утренней порою,
Когда подѣмлетса съ полей
Стаица позднихъ журавлей
И съ крикомъ вдаль на югъ несется,—
Пронзенный гибельнымъ свинцомъ,
Одинъ печально остается,
Повиснувъ раненымъ крыломъ.
Настала ночь; въ телѣгѣ темной
Огня никто не разложилъ,
Никто подъ крышею подъемной
До утра сномъ не опочилъ...

Эпилогъ.

Волшебной силой пѣснопѣнья
Въ туманной памяти моей
Такъ оживляются видѣнья
То свѣтлыхъ, то печальныхъ дней.
Въ странѣ, гдѣ долго, долго брани
Ужасный гулъ не умолкалъ,
Гдѣ повелительныя грани
Стамбулу русскій указалъ,
Гдѣ старый нашъ орелъ двуглавый
Еще шумитъ минувшей славой,
Встрѣчалъ я посреди степей,
Надъ рубежами древнихъ становъ,
Телѣги мирныя цыгановъ,
Смиренной вольности дѣтей.
Но счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!—
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны;
И ваши сѣни кочевыя
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣды.
И всюду—страсти роковыя,
И отъ судьбы защиты нѣтъ.

Полтава.

Пѣснь первая.

Богатъ и славенъ Кочубей.
Его луга необозримы;
Тамъ табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Крутомъ Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мѣховъ, атласа, серебра
И на виду, и подъ замками.
Но Кочубей богатъ и гордъ
Не долгогривыми конями,
Не златомъ, данью крымскихъ ордъ,
Не родовыми хуторами—
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
И то сказать: въ Полтавѣ нѣтъ
Красавицы, Маріи равной.
Она свѣжа, какъ вешній цвѣтъ,
Взлелѣянный въ тѣни дубравной.
Какъ тополь кievскихъ высотъ,
Она стройна. Ея движенія
То лебедя пустынныхъ водъ

Напоминають плавный ходъ,
То лани быстрыя стремленья.
Какъ пѣна, грудь ея бѣла;
Вокругъ высокаго чела,
Какъ тучи, локоны чернѣютъ;
Звѣздой блестятъ ея глаза;
Ея уста, какъ роза, рдѣютъ.
Но не единая краса
(Мгновенный цвѣтъ!) молвою шумной
Въ молодой Маріи почтена:
Вездѣ прославилась она
Дѣвицей скромной и разумной.
За то завидныхъ жениховъ
Ей шлеть Украина и Россія;
Но отъ вѣнца, какъ отъ оковъ,
Бѣжить пугливая Марія.
Всѣмъ женихамъ отказъ—и вотъ
За ней самъ гетманъ сватовъ шлеть...

Онъ старъ, онъ удрученъ годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства въ немъ кипятъ, и вновь
Мазепа вѣдаетъ любовь.

Мазепа влюбился въ Марію; она—въ него. Зная, что отецъ съ матерью не согласится на бракъ, она убѣждала къ Мазепѣ. Мазепа мечталъ о томъ, чтобы, при помощи Карла, сбѣлаться владыкою Украйны; между тѣмъ украйны хотѣли независимости отъ Москвы. Мазепа долго умѣлъ скрывать свой расчетъ.

„Что жъ гетманъ? юноши твердили:
Онъ изнемогъ; онъ слишкомъ старъ;
Труды и годы угасили
Въ немъ прежній дѣятельный жаръ.
Зачѣмъ дрожащею рукою
Еще онъ носитъ булаву?
Теперь бы грянуть намъ войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко,
Иль Самойловичъ молодой,
Иль нашъ Палѣй, иль Гордѣенко
Владѣли силой войсковою;
Тогда бъ въ снѣгахъ чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссіи печальной
Освобождались ужъ полки“.

Такъ, своеволиемъ пылая,
Роптала юность удалая
Опасныхъ алча перемѣнъ,
Забывъ отчизны давній плѣнъ,

Богдана счастливые споры,
Святыя брани, договоры
И славу дѣдовскихъ временъ.
Но старость ходитъ осторожно
И подозрительно глядитъ:
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдругъ она рѣшитъ.
Кто снидетъ въ глубину морскую,
Покрытую недвижно льдомъ?
Кто испытующимъ умомъ
Проникнетъ бездну роковую
Души коварной? Думы въ ней,
Плоды подавленныхъ страстей,
Лежатъ погружены глубоко,
И замыселъ давнишнихъ дней,
Быть можетъ, зрѣетъ одиноко.
Какъ знать? Но чѣмъ Мазепа злѣй,
Чѣмъ сердце въ немъ хитрѣй и ложнѣй,
Тѣмъ съ виду онъ неосторожнѣй
И въ обхожденіи простѣй.
Какъ онъ умѣетъ самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужія тайны разрѣшать!
Съ какой довѣрчивостью лживой,
Какъ добродушно на пирахъ,
Со старцами старикъ болтливый,
Жалѣетъ онъ о прошлыхъ дняхъ.
Свободу славить съ своевольнымъ,
Поносить власти съ недовольнымъ,
Съ ожесточеннымъ слезы лить,
Съ глупцомъ разумну рѣчь вести!
Немногимъ, можетъ быть, извѣстно,
Что духъ его неукротимъ,
Что радъ и честно и безчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ;
Что ни единой онъ обиды,
Съ тѣхъ поръ какъ живъ, не забывалъ,
Что далеко преступны виды
Старикъ надменный простиралъ;
Что онъ не вѣдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нѣтъ отчизны для него.

Изданна умыселъ ужасный
Взлелѣялъ тайно злой старикъ
Въ душѣ своей. Но взоръ опасный,
Враждебный взоръ—его проникъ.

Кочубей рѣшился мстить; онъ написалъ къ царю Петру доносъ на Мазепу.

Пѣснь вторая.

Мазепа мраченъ. Умъ его
Смушенъ жестокими мечтами.
Марія нѣжными очами
Глядитъ на старца своего.
Она, обнявъ его колѣни,
Слова любви ему твердить;
Напрасно: черныхъ помышлений
Ея любовь не удалить.
Предъ бѣдной дѣвой съ невниманьемъ
Онъ хладно потупляетъ взоръ
И ей на ласковый укоръ
Однимъ отвѣтствуетъ молчаньемъ.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встаетъ она
И говоритъ съ негодованьемъ:
„Послушай, гетманъ: для тебя
Я позабыла все на свѣтѣ.
Навѣкъ однажды полюбя,
Одно имѣла я въ предметъ—
Твою любовь. Я для нея
Сгубила счастье мое.
Но ни о чемъ я не жалю—
Ты помнишь: въ страшной тишинѣ,
Въ ту ночь, какъ стала я твоею,
Меня любить ты клялся мнѣ.
Зачѣмъ же ты меня не любишь?“

Мазепа признается, что послѣднее время онъ занятъ мечтой, при помощи Карла, отложиться отъ Россіи и сдѣлаться самодержавнымъ повелителемъ Украйны.

Марія. О, милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоимъ сѣдинамъ какъ пристанетъ
Корона царская!
Мазепа. Постой,
Не все свершилось. Буря грянетъ...
Кто можетъ знать, что ждетъ меня?
Марія. Я близъ тебя не знаю страха—
Ты такъ могущъ! О, знаю я:
Тронъ ждетъ тебя.
Мазепа. А если плаха?..
Марія. Съ тобой на плаху, если такъ.
Ахъ, пережить тебя могу ли?

Но нѣтъ, ты носишь власти знакъ.
Мазепа. Меня ты любишь?
Марія. Я! люблю ли?
Мазепа. Скажи: отецъ или супругъ
Тебѣ дороже?
Марія. Милый другъ,
Къ чему вопросъ такой? Тревожить
Меня напрасно онъ. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей въ позоръ: быть можетъ
(Какая страшная мечта!),
Моимъ отцомъ я проклята,—
А за кого?
Мазепа. Такъ я дороже
Тебѣ отца? Молчишь...
Марія. О Боже!
Мазепа. Что жъ? Отвѣчай.
Марія. Рѣши ты самъ.
Мазепа. Послушай: если было бъ намъ,
Ему или мнѣ погибнуть надо,
А ты бы намъ судьей была—
Кого бъ ты въ жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?
Марія. Ахъ, полно! сердце не смущай!
Ты—искуситель.
Мазепа. Отвѣчай!
Марія. Ты блѣднѣе; рѣчь твоя сурова...
О, не сердись! всѣмъ, всѣмъ готова
Тебѣ я жертвовать, повѣрь;
Но страшны мнѣ слова такіа.
Довольно.
Мазепа. Помни же Марія,
Что ты сказала мнѣ теперь.
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Серебристыхъ тополой листы.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Бѣлой-Церковью сіяетъ
И пышныхъ гетмановъ сады,
И старый замокъ озаряетъ.
И тихо, тихо все кругомъ;
Но въ замкѣ шопотъ и смятенье.
Въ одной изъ башенъ, подъ окномъ,
Въ глубокомъ, тяжкомъ размысленьѣ,
Окованъ, Кочубей сидитъ
И мрачно на небо глядитъ.

Заутра казнѣ. Но безъ боязни
Онъ мыслить объ ужасной казни;
О жизни не жалѣеть онъ.
Что смерть ему? желанный сонъ.
Готовъ онъ лечь во гробъ крова-
вый.

Дрема долить. Но, Боже правый!
Къ ногамъ злодѣя, молча, пасть,
Какъ безсловесное созданье,
Царемъ быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь—и съ нею честь,
Друзей съ собой на плаху вестъ,
Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья;
Ложась безвиннымъ подъ топоръ,
Врага веселый встрѣтить взоръ
И смерти кинуться въ объятья,
Не завѣщая никому
Вражды къ злодѣю своему!..

И вспомнилъ онъ свою Полтаву,
Обычный кругъ семьи, друзей,
Минувшихъ дней богатство, славу,
И пѣсни дочери своей,
И старый домъ, гдѣ онъ родился,
Гдѣ зналъ и трудъ, и мирный сонъ,
И все, чѣмъ въ жизни наслаждался,
Что добровольно бросилъ онъ,
И для чего?—

Но ключъ въ заржавомъ
Замкѣ гремитъ—и, пробужденъ,
Несчастный думаетъ: „Вотъ онъ!
Вотъ на пути моемъ кровавомъ,
Мой вождь подъ знаменемъ креста,
Грѣховъ могучій разрѣшитель,
Духовной скорби врачъ, служитель
За насъ распятаго Христа,
Его святую кровь и тѣло
Принесшій мнѣ, да укрѣплюсь,
Да приступлю ко смерти смѣло
И жизни вѣчной приобщусь!“

И съ сокрушеніемъ сердечнымъ
Готовъ несчастный Кочубей
Передъ Всесильнымъ, Безконечнымъ
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святого,
Онъ гостя узнаетъ иного—
Свирѣпый Орликъ передъ нимъ.
И, отвращеніемъ томимъ,
Страдалецъ горько вопрошаетъ:
„Ты здѣсь, жестокий человѣкъ?

Зачѣмъ послѣдній мой ночлегъ
Еще Мазепа возмущаетъ?“
Орликъ. Допросъ не конченъ; отвѣчай!
Кочубей. Я отвѣчалъ уже; ступай,
Оставь меня.

Орликъ. Еще признанья
Панъ гетманъ требуетъ.
Кочубей. Но въ чемъ?
Давно сознался я во всемъ,
Что вы хотѣли. Показанья
Мои всѣ ложны. Я лукавъ,
Я строю козни. Гетманъ правъ.
Чего вамъ болѣе?

Орликъ. Мы знаемъ,
Что ты несчетно былъ богатъ;
Мы знаемъ: не единый кладъ
Тобой въ Диканькѣ укрываемъ.
Свершиться казнѣ твоей должна;
Твое имѣніе сполна
Въ казну поступить войсковую—
Таковъ законъ. Я указую
Тебѣ послѣдній долгъ: открой,
Гдѣ кладъ, скрытые тобой?
Кочубей. Такъ, не ошиблись вы: три
клада

Въ сей жизни мнѣ была отрада.
И первый кладъ мой—честь была:
Кладъ этотъ пытка отняла;
Другой былъ кладъ невозвратимый—
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь надъ нимъ дрожалъ:
Мазепа этотъ кладъ укралъ.
Но сохранилъ я кладъ послѣдній,
Мой третій кладъ—святую мѣсть:
Ее готовлюсь Богу снести.

Орликъ. Старикъ, оставь пустыя
бредни;

Сегодня покидая свѣтъ,
Питайся мыслию суровой.
Шутить не время. Дай отвѣтъ,
Когда не хочешь пытки новой:
Гдѣ спряталъ деньги?
Кочубей. Злой холопъ!
Окончишь ли допросъ нелѣпый?
Повремени: дай лечь мнѣ въ гробъ,
Тогда ступай себѣ съ Мазепой
Мое наслѣдіе считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады съ домами.

Съ собой возьмите дочь мою—
Она сама вамъ все расскажетъ,
Сама всѣ клады вамъ укажетъ;
Но ради Господа молю,
Теперь оставь меня въ покоѣ.
О р л и к ѣ. Гдѣ спряталъ деньги? укажи.
Не хочешь?—Деньги гдѣ? скажи,
Иль выйдетъ слѣдствіе плохое.
Подумай: мѣсто намъ назначъ.
Молчишь?—Ну, въ пытку. Гей, палачъ!
Палачъ вошелъ... О, ночь мученій!

Но гдѣ же гетманъ? Гдѣ злодѣй?
Куда бѣжалъ отъ угрызений
Змѣиной совѣсти своей?
Въ свѣтлицѣ дѣвы усыпленной,
Еще незнаніемъ блаженной,
Близъ ложа крестницы молодой
Сидитъ съ поникшею главой
Мазепа тихій и угрюмый.
Въ его душѣ проходятъ думы
Одна другой мрачнѣй, мрачнѣй.
„Умреть безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чѣмъ ближе
Цѣль гетмана, тѣмъ тверже онъ
Быть долженъ властью облеченъ,
Тѣмъ передъ нимъ склоняться ниже
Должна вражда. Спасенія нѣтъ:
Доносчикъ и его клеветы
Умрутъ“. Но, брося вѣрѣ на ложе,
Мазепа думаетъ: „О Боже!
Что будетъ съ ней, когда она
Услышитъ слово роковое?
Досель она еще въ покоѣ;
Но тайна быть сохранена
Не можетъ долѣе. Сѣкира,
Упавъ поутру, загремитъ
По всей Украинѣ. Голосъ міра
Вокругъ нея заговоритъ!..
Ахъ, вижу я: кому судьбою
Волненія жизни суждены,
Тотъ стой одинъ передъ грозой,
Не призывай къ себѣ жены;
Въ одну телѣгу впречъ не можно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно—
Теперь плачу безумства дань...
Все, что цѣны себѣ не знаетъ,
Все, все, чѣмъ жизнь мила бываетъ,
Бѣдняжка принесла мнѣ въ даръ,

Мнѣ, старцу мрачному—и что же?
Какой готовлю ей ударъ!..
И онъ глядитъ; на тихомъ ложѣ
Какъ сладокъ юности покой!
Какъ сонъ ее дѣлѣтъ нѣжно!
Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра... Содрагаясь,
Мазепа отвращаетъ взглядъ,
Встаетъ и, тихо пробираясь,
Въ уединенный сходитъ садъ.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ тополей листы.
Но мрачны страннныя мечты
Въ душѣ Мазепы: звѣзды ночи,
Какъ обвинительныя очи,
За нимъ насмѣшливо глядятъ.
И тополи, стѣснившись въ рядъ,
Качая тихо головою,
Какъ судьи, шепчутъ межъ собою,
И лѣтней, теплой ночи тьма
Душна, какъ черная тюрьма.

Вдругъ... слабый крикъ... невнятный
стонъ
Какъ бы изъ замка слышитъ онъ.
То былъ ли сонъ воображенія,
Иль плачь совы, иль звѣря вой,
Иль пытки стонъ, иль звукъ иной—
Но только своего волненія
Преодолѣть не могъ старикъ,
И на протяжный, слабый крикъ
Другимъ отвѣтствовалъ—тѣмъ крикомъ.
Которымъ онъ въ веселѣй дикомъ
Поля сраженія оглашалъ,
Когда съ Забѣлой, съ Гамалѣемъ,
И—съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ
Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Узнавъ о предстоящей казни Кочубея,
жена его, мать Марія, пробралась утромъ
къ дочери и сообщила ей о несчастіи отца;
та въ ужасѣ,—она ничего не знала о
судьбѣ отца; вмѣстѣ съ матерью, она по-
бѣжала на мѣсто казни, чтобы ее оста-
новить, но онѣ опоздали: казнь уже со-
вершилась. Тогда Марія оставила домъ
Мазепы; она сошла съ ума и бродила въ
степи.

Пѣсня третья.

Горить востокъ зарею новой;
Ужъ на равнинѣ, по холмамъ
Грохочутъ пушки. Дымъ багровый
Кругами всходитъ къ небесамъ
На встрѣчу утреннимъ лучамъ.
Полки ряды свои сомкнули;
Въ кустахъ разсыпались стрѣлки;
Катятся ядра, свищутъ пули;
Нависли холодные штывы.
Сыны любимые побѣды,
Сквозь огонь окоповъ рвутся шведы;
Волнуясь, конница летитъ;
Пѣхота движется за нею
И тяжелой твердостью своею
Ея стремленія крѣпить.
И битвы поле роковое
Гремитъ, пылаетъ здѣсь и тамъ;
Но явно счастье боевое
Служить ужъ начинаетъ намъ.
Пальбой отбитыя дружины,
Мѣшаясь, падаютъ во прахъ:
Уходитъ Розенъ сквозь тѣснины;
Сдается пылкій Шлиппенбахъ;
Тѣснимъ мы шведовъ рать за ратью,
Темнѣетъ слава ихъ знаменъ,
И Бога браней благодарю
Нашъ каждый шагъ запечатлѣвъ.
Тогда-то, свыше вдохновенный,
Раздался звучный гласъ Петра:
„За дѣло, съ Богомъ!“ Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры... Онъ прекрасенъ,—
Онъ весь—какъ Божія гроза.
Идетъ... Ему коня подводить.
Ретивъ и смиренъ вѣрный конь:
Почуя роковой огонь,
Дрожитъ, глазами косо водить,
И мчитъ въ прахъ боевомъ,
Гордясь могучимъ сѣдокомъ.
Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаетъ.
Какъ пахарь, битва отдыхаетъ.
Кой-гдѣ гарцуютъ казаки;
Равняясь, строятся полки;
Молчитъ музыка боевая;
На холмахъ пушки, присмирѣвъ,

Прервали свой голодный ревъ;
И се—равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидѣли Петра.

И онъ промчался предъ полками,
Могущъ и радостенъ, какъ бой.
Онъ поле пожиралъ очами.
За нимъ вослѣдъ неслись толпой
Сии птенцы гнѣзда Петрова—
Въ премѣнахъ счастья земного,
Въ трудахъ державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметевъ благородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпинъ,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелинъ.

И передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомый вѣрными слугами,
Въ качалкѣ, блѣденъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился.
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненье:
Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой въ недоумѣнье...
Вдругъ слабымъ маніемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки.

И съ ними царскія дружины
Сошлись въ дыму среди равнины—
И грянулъ бой, полтавскій бой!
Въ огнѣ, подъ градомъ раскаленнымъ,
Стѣной живою отраженнымъ,
Надъ падшимъ строемъ свѣжій строй
Штывы смыкаетъ. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся съ-плеча.
Бросая груды тѣлъ на груды,
Шары чугунные повсюду
Межъ ними прыгаютъ, разятъ,
Прахъ роютъ и въ крови шипятъ.
Шведъ, русскій—колетъ, рубитъ, рѣ-
жетъ;

Бой барабанный, клики, скрежетъ;
Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ,
И смерть, и адъ со всѣхъ сторонъ...

Среди тревоги и волненія,
На битву взоромъ вдохновенья

Вожди спокойные глядят,
Движенья ратныя слѣдятъ,
Предвидятъ гибель и побѣду
И въ тишинѣ ведутъ бесѣду.
Но близъ московскаго царя
Кто воинъ сей подъ сѣдинами?
Двумя поддержанъ казаками,
Сердечной ревностью горя,
Онъ окомъ опытнымъ горя
Взираетъ на волненье боя.
Ужъ на коня не вскочить онъ:
Одрахъ, въ изгнаньи сиротѣя,
И казаки на кличъ Палѣя
Не налетятъ со всѣхъ сторонъ!
Но что жъ его сверкнули очи,
И гнѣвомъ, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль онъ сквозъ бранный дымъ увидѣлъ
Врага Мазепу, и въ сей мигъ
Свои лѣта возненавидѣлъ
Обезоруженный старикъ?

Мазепа, въ думу погруженный,
Взиралъ на битву, окруженный
Толпой мятежныхъ казаковъ,
Родныхъ, старшинъ и сердюковъ.
Вдругъ выстрѣлъ. Старецъ обратился.
У Войнаровскаго въ рукахъ
Мушкетный стволъ еще дымился.
Сраженный въ нѣсколькихъ шагахъ,
Младой казакъ въ крови валялся,
А конь весь въ пѣнѣ и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь въ огненной дали.
Казакъ на гетмана стремился
Сквозъ битву, съ саблею въ рукахъ,
Съ безумной яростью въ очахъ.
Старикъ, подбѣжавъ, обратился
Къ нему съ вопросомъ. Но казакъ
Ужъ умиралъ. Потухшій зракъ
Еще грозилъ врагу Россіи;
Былъ мраченъ помертвѣлый ликъ,
И имя нѣжное Маріи
Чуть лепеталъ еще языкъ.

Но близко, близко мигъ побѣды.
Ура! мы ломимъ; гнутса шведы!
О славный часъ! о славный видъ!
Еще напоръ—и врагъ бѣжитъ;
И слѣдомъ конница пустилась,

Убийствомъ тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Какъ роємъ черной саранчи.

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ,
И славы полонъ взоръ его.
И царскій пиръ его прекрасенъ:
При кликахъ войска своего,
Въ шатрѣ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Но гдѣ же первый, званый гость?
Гдѣ первый, грозный нашъ учитель.
Чью долговременную злость
Смирилъ полтавскій побѣдитель?
И гдѣ жъ Мазепа? Гдѣ злодѣй?
Куда бѣжалъ Іуда въ страхъ?
Зачѣмъ король не межъ гостей?
Зачѣмъ измѣнникъ не на плахъ?

Верхомъ, въ глуши степей нагихъ,
Король и гетманъ мчатся оба.
Бѣгутъ... Судьба связала ихъ.
Опасность близкая и злоба
Даруютъ силу королю.
Онъ рану тяжкую свою
Забылъ. Поникнувъ головою,
Онъ скачетъ, русскими гонимъ,
И слуги вѣрные толпою
Чуть могутъ слѣдовать за нимъ.

Обозрѣвая зоркимъ взглядомъ
Степей широкій полукругъ,
Съ нимъ старый гетманъ скачетъ рядомъ.
Передъ ними хуторъ... Что же вдругъ
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Онъ стороной во весь опоръ?
Иль этотъ запустѣлый дворъ,
И домъ, и садъ уединенный,
И въ поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказъ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узналъ ли ты сію обитель,
Сей домъ, веселый прежде домъ,
Гдѣ ты, виномъ разгоряченный
Семьей счастливой окруженный,
Шутилъ, бывало, за столомъ?
Узналъ ли ты пріютъ укромный,

Гдѣ мирный ангелъ обиталъ,
И садъ, откуда ночью темной
Ты вывелъ въ степь... Узналъ, узналъ!

Ночныя тѣни степь объемлютъ.
На брегѣ синяго Днѣпра
Между скалами чутко дремлютъ
Враги Россіи и Петра.
Щадятъ мечты покой героя,
Уронъ Полтавы онъ забылъ.
Но сонъ Мазепы смутенъ былъ:
Въ немъ мрачный духъ не зналъ покоя.
И вдругъ въ безмолвіи nocturno
Его зовутъ. Онъ пробудился.
Глядитъ: надъ нимъ, грозя перстомъ,
Тихонько кто-то наклонился.
Онъ вздрогнулъ, какъ подъ топоромъ...
Предъ нимъ, съ развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся въ рубищѣ, худая, блѣдная,
Стоитъ, луной освѣщена...

„Иль это сонъ?.. Марія... ты ли?“

Марія. Ахъ, тише, тише, другъ!..
Сейчасъ

Отецъ и мать глаза закрыли...

Постой... услышать могутъ насъ.

Мазепа. Марія, бѣдная Марія!

Опомнись... Боже... Что съ тобой?

Марія. Послушай, хитрости какія!

Что за разсказъ у нихъ смѣшной?

Она за тайну мнѣ сказала,

Что умеръ бѣдный мой отецъ,

И мнѣ тихонько показала

Сѣдую голову—Творецъ!

Куда бѣжать намъ отъ злорѣчья?

Подумай: эта голова

Была совсѣмъ не человѣчья,

А волчья,—видишь, какова!

Чѣмъ обмануть меня хотѣла!

Не стыдно ль ей меня терзать?

И для чего? чтобъ я не смѣла

Съ тобой сегодня убѣжать!

Возможно ль?—Съ горестью глубокой

Любовникъ ей внималъ жестокий.

Но, вихрю мыслей предана,

„Однакожъ говорить она:

Я помню поле... праздникъ шумный...

И чернь... и мертвыя тѣла...

На праздникъ мать меня вела...

Но гдѣ жъ ты былъ?.. Съ тобою розно

Зачѣмъ въ ночи скитаюсь я?

Пойдемъ домой. Скорѣй... ужъ поздно...

Ахъ, вижу, голова моя

Полна волненія пустого:

Я принимала за другого

Тебя, старикъ. Оставь меня.

Твой взоръ насмѣшливъ и ужасенъ.

Ты безобразенъ,—онъ прекрасенъ;

Въ его глазахъ блеститъ любовь,

Въ его рѣчахъ такая нѣга!

Его усы бѣлые снѣга,

А на твоихъ засохла кровь“.

И съ дикимъ смѣхомъ завизжала,

И легче серны молодой

Она вспрыгнула, побѣжала

И скрылась въ темнотѣ nocturno.

Рѣдѣла тѣнь. Востокъ алѣлъ.

Огонь казачій пламенѣлъ:

Пшеницу казаки варили:

Драбанты у брега Днѣпра

Коней разсѣдланыхъ поили.

Проснулся Карлъ. „Ого, пора!

Вставай, Мазепа. Разсвѣтаетъ“.

Но гетманъ ужъ не спитъ давно.

Тоска, тоска его сѣдаетъ;

Въ груди дыханье стѣснено.

И молча онъ коня сѣдлаетъ,

И скачетъ съ бѣглымъ королемъ,

И страшно взоръ его сверкаетъ,

Съ роднымъ прощаясь рубежомъ.

Прошло сто лѣтъ и что жъ осталось

Отъ сильныхъ, гордыхъ, сѣхъ мужей,

Столь полныхъ волею страстей?

Ихъ поколѣнье миновалось—

И съ нимъ исчезъ кровавый слѣдъ

Насилій, бѣдствій и побѣдъ.

Въ гражданствѣ сѣверной державы,

Въ ея воинственной судьбѣ,

Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,

Огромный памятникъ себѣ,

Въ странѣ, гдѣ мельницъ рядъ крылатый

Оградой мирной обступилъ

Бендеръ пустынные раскаты,

Гдѣ бродятъ буйволы рогаты

Вокругъ воинственныхъ могилъ,—

Останки разоренной сѣни,

Три углубленныя въ землѣ

И мхомъ поросшія ступени

Гласятъ о шведскомъ королѣ.

Съ нихъ отражалъ герой безумный,

Одинъ, въ толпѣ домашнихъ слугъ,
Турецкой рати приступъ шумный
И бросилъ шпагу подъ бунчукъ.
И тщетно тамъ приплещъ унылый
Искалъ бы гетманской могилы:
Забывъ Мазепа съ давнихъ поръ;
Лишь въ торжествующей святинѣ,
Разъ въ годъ анаемой донинѣ
Гроза, гремитъ о немъ соборъ.
Но сохранилася могила,
Гдѣ двухъ страдальцевъ прахъ по-

чилъ:

Межъ древнихъ праведныхъ могилъ
Ихъ мирно перекопъ приютила.
Цвѣтетъ въ Диканькѣ древній рядъ
Дубовъ, друзьями насажденныхъ;
Они о праотцахъ казенныхъ
Донинѣ внукамъ говорятъ.
Но дочь-преступница... преданья
Объ ней молчать. Ея страданья,
Ея судьба, ея конецъ
Непроницаемою тьмою
Отъ насъ закрыты. Лишь порою
Слѣпой украинскій пѣвецъ,
Когда въ селѣ передъ народомъ
Онъ пѣсни гетмана бренчить,
О грѣшной дѣвѣ мимоходомъ
Казачкамъ юнымъ говорить.

Евгеній Онѣгинъ.

Романъ въ стихахъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

И жить торопится, и чувствовать
спѣшитъ.

К. Вяземскій.

I.

„Мой дядя самыхъ честныхъ пра-
вилъ:

Когда не въ шутку занемогъ,
Онъ уважать себя заставилъ,
И лучше выдумать не могъ.
Его примѣръ—другимъ наука!..
Но, Боже мой, какая скука
Съ больнымъ сидѣть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство—
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лѣкарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чортъ возьметъ тебя!“

II.

Такъ думалъ молодой повѣса,
Летя въ пыли на почтовыхъ,
Всевышней волею Зевеса
Наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ.—
Друзья Людмилы и Руслана!
Съ героемъ моего романа,
Безъ предисловія, сей же часъ,
Позвольте познакомить васъ:
Онѣгинъ, добрый мой пріятель,
Родился на берегахъ Невы,
Гдѣ, можетъ быть, родились вы,
Или блистали, мой читатель!
Тамъ нѣкогда гулялъ и я,
Но вреденъ сѣверъ для меня...

III.

Служивъ отлично, благородно,
Долгами жилъ его отецъ;
Давалъ три бала ежегодно,
И промотался наконецъ.
Судьба Евгенія хранила:
Сперва ma dame за нимъ ходила,
Потомъ monsieur ee смѣнилъ.
Ребенокъ былъ рѣзовъ, но милъ.
Monsieur l'Abbé, французъ убогій,
Чтобъ не измучилось дитя,
Училъ его всему путя,
Не докучалъ моралью строгой,
Слегка за шалости бранилъ,
И въ Лѣтній садъ гулять водилъ.

IV.

Когда же юности мятежной
Пришла Евгенію пора,
Пора надеждъ и грусти нѣжной,
Monsieur прогнали со двора.
Вотъ, мой Онѣгинъ на свободѣ,
Остриженъ по послѣдней модѣ,
Какъ дэнди лондонскій одѣтъ,
И наконецъ увидѣлъ свѣтъ.
Онъ по-французски совершенно

Могъ изъясняться и писалъ;
Легко мазурку танцовалъ
И кланялся непринужденно:
Чего жъ вамъ больше? Свѣтъ рѣшилъ,
Что онъ умёнъ и очень милъ.

V.

Мы всѣ учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь,
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,
У насъ немудрено блеснуть.
Онѣгинъ былъ, по мнѣнью многихъ
(Судей рѣшительныхъ и строгихъ),
Ученый малый, но педантъ.
Имѣлъ онъ счастливый талантъ —
Безъ принужденія въ разговорѣ
Коснуться до всего слегка,
Съ ученымъ видомъ знатока
Хранить молчанье въ важномъ спорѣ
И возбуждать улыбку дамъ
Огнемъ неожиданныхъ эпиграммъ.

VI.

Латынь изъ моды вышла нынѣ;
Такъ, если правду вамъ сказать,
Онъ зналъ довольно по-латынѣ,
Чтобъ эпиграфы разбирать,
Потолковать объ Ювеналѣ,
Въ концѣ письма поставить *va le*,
Да помнилъ, хоть не безъ грѣха,
Изъ Энеиды два стиха.
Онъ рыться не имѣлъ охоты
Въ хронологической пыли
Бытописанія земли;
Но дней минувшихъ анекдоты,
Отъ Ромула до нашихъ дней,
Хранилъ онъ въ памяти своей.

VII.

Высокой страсти не имѣя
Для звуковъ жизни не щадить,
Не могъ онъ ямба отъ хорея,
Какъ мы ни бились, отличить.
Бранилъ Гомера, Теокрита;
За то читалъ Адама Смита
И былъ глубокой экономъ,
То есть умѣлъ судить о томъ,

Какъ государство богатѣетъ,
И чѣмъ живетъ, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продуктъ имѣетъ.
Отецъ понять его не могъ,
И земли отдавалъ въ залогъ.

VIII.

Всего, что зналъ еще Евгений,
Пересказать мнѣ недосугъ;
Но въ чемъ онъ истинный былъ гений,
Что зналъ онъ тверже всѣхъ наукъ,
Что было для него измлада
И трудъ, и мука, и отрада,
Что занимало цѣлый день
Его тоскующую лѣнь —
Была наука страсти нѣжной,
Которую воспѣлъ Назонъ,
За что страдальцемъ кончилъ онъ
Свой вѣкъ блестящій и мятежный
Въ Молдавіи, въ глуши степей,
Вдали Италіи своей.

X.

Какъ рано могъ онъ лицемѣрить,
Таить надежду, ревновать,
Разувѣрять, заставить вѣрять,
Казаться мрачнымъ, изнывать,
Являться гордымъ и послушнымъ,
Внимательнымъ и равнодушнымъ!
Какъ томно былъ онъ молчаливъ,
Какъ пламенно краснорѣчивъ,
Въ сердечныхъ письмахъ какъ небре-
женъ!

Однимъ дыша, одно любя,
Какъ онъ умѣлъ забыть себя!
Какъ взоръ его былъ быстръ и нѣженъ,
Стыдливъ и дерзокъ, а порой
Блисталъ послушною слезой!

XI.

Какъ онъ умѣлъ казаться новымъ,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньемъ готовымъ,
Пріятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленія,
Невинныхъ лѣтъ предубѣжденія

Умомъ и страстью побѣждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звукъ,
Преслѣдовать любовь—и вдругъ
Добиться тайнаго свиданья,
И послѣ ей наединѣ
Давать уроки въ тишинѣ!

XII.

Какъ рано могъ ужъ онъ тревожить
Сердца кокетокъ записныхъ!
Когда жъ хотѣлось уничтожить
Ему соперниковъ своихъ,
Какъ онъ язвительно злословилъ!
Какія сѣти имъ готовилъ!
Но вы, блаженные мужья,
Съ нимъ оставались вы друзья:
Его ласкалъ супругъ лукавый,
Фоблаза давній ученикъ,
И недовѣрчивый старикъ,
И роконосецъ величавый,
Всегда довольный самъ собой,
Своимъ обѣдомъ и женой.

XV.

Бывало, онъ еще въ постели:
Къ нему записочки несутъ.
Что? Приглашенья? Въ самомъ дѣлѣ,
Три дома на вечеръ зовутъ:
Тамъ будетъ балъ, тамъ—дѣтскій празд-
никъ.
Куда жъ поскачетъ мой проказникъ?
Съ кого начнетъ онъ? Все равно—
Вездѣ поспѣтъ немудрено.
Покажѣсть, въ утреннемъ уборѣ,
Надѣвъ широкій боливаръ,
Онѣгинъ ѣдетъ на бульваръ
И тамъ гуляетъ на просторѣ,
Пока недремлющій брегетъ
Не прозвонитъ ему обѣдъ.

XVI.

Ужъ темно; въ санки онъ садится;
„Поди! поди!“ раздался крикъ;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротникъ.

Къ Talon помчался: онъ увѣренъ,
Что тамъ ужъ ждетъ его Каверинъ;
Вошелъ—и пробка въ потолокъ,
Вина кометы брызнулъ токъ;
Предъ нимъ roast-beef окровавлен-
ный,

И трюфли—роскошь юныхъ лѣтъ,
Французской кухни лучшій цвѣтъ,
И Страсбурга пирогъ нетлѣнный
Межъ сыромъ лимбургскимъ живымъ
И ананасомъ золотымъ.

XVII.

Еще бокаловъ жажда просить
Залить горячій жиръ котлетъ;
Но звонъ брегета имъ доносить,
Что новый начался балетъ.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательныхъ актрисъ,
Почетный гражданинъ кулисъ,
Онѣгинъ полетѣлъ къ театру,
Гдѣ каждый, критикой дыша,
Готовъ хлопотъ entreschat,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Мояну вызвать—для того,
Чтобъ только слышали его.

XX.

Театръ ужъ полонъ; ложи блещутъ;
Партеръ и кресла, все кипитъ;
Въ райкѣ нетерпѣливо плещутъ,
И, взвившись, занавѣсъ шумитъ.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимфъ окружена,
Стоитъ Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружить,
И вдругъ прыжокъ, и вдругъ летитъ,
Летитъ, какъ пухъ отъ устъ Эола;
То стань советъ, то разовѣтъ,
И быстрой ножкой ножку бьетъ.

XXI.

Все хлопаютъ. Онѣгинъ входитъ:
Идетъ межъ креселъ по ногамъ,

Двойной лорнетъ, спюсясь, наводитъ
На ложи незнакомыхъ дамъ;
Всѣ ярусы окинулъ взоромъ,
Все видѣлъ: лицами, уборомъ
Ужасно недоволенъ онъ;
Съ мужчинами со всѣхъ сторонъ
Раскланялся, потомъ на сцену
Въ большомъ разсѣяньи взглянулъ,
Отворотился и зѣвнулъ,
И молвилъ: „Всѣхъ пора на смѣну;
Балеты долго я терпѣлъ,
Но и Дидло мнѣ надоѣлъ“.

Не дождавшись конца представленія,
Онѣгинъ ѣдетъ домой, чтобы переодѣться
для бала.

XXIII.

Изображу ль въ картинѣ вѣрной
Уединенный кабинетъ,
Гдѣ модъ воспитаникъ примѣрный
Одѣтъ, раздѣтъ и вновь одѣтъ?
Все, чѣмъ для прихоти обильной
Торгуешь Лондонъ щепетильный
И по балтическимъ волнамъ
За лѣсъ и сало возить намъ;
Все, что въ Парижѣ вѣкусъ голодный,
Полезный промыселъ избравъ,
Изобрѣтаетъ для забавъ,
Для роскоши, для нѣги модной,—
Все украшало кабинетъ
Философа въ осьмнадцать лѣтъ.

XXIV.

Янтаръ на трубкахъ Пареграда,
Фарфоръ и бронза на столѣ,
И, чувствуя изгнѣженныхъ отрада,
Духи въ граненомъ хрусталѣ;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривыя,
И щетки тридцати родовъ—
И для ногтей, и для зубовъ.

XXV.

Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ
И думать о красѣ ногтей:
Къ чему бесполезно спорить съ вѣкомъ?
Обычай деспотъ межъ людей.
Второй Каверинъ, мой Евгенийъ,
Боясь ревнивыхъ осужденій,

Въ своей одеждѣ былъ педантъ
И то, что мы называли франтъ.
Онъ три часа, по крайней мѣрѣ,
Предъ зеркалами проводилъ,
И изъ уборной выходилъ
Подобный вѣтренной Венерѣ,
Когда, надѣвъ мужской нарядъ,
Вогиня ѣдетъ въ маскарадъ.

XXXV.

Полусонный

Въ постелю съ бала ѣдетъ онъ,
А Петербургъ неугомонный
Ужъ барабаномъ пробужденъ.
Встаетъ купецъ, идетъ разносчикъ,
На биржу тянется извозчикъ,
Съ кувшиномъ охтенка спѣшить,
Подъ ней снѣгъ утренній хруститъ.
Проснулся утра шумъ пріятный;
Открыты ставни; трубный дымъ
Столбомъ восходитъ голубымъ,
И хлѣбникъ, нѣмецъ аккуратный,
Въ бумажномъ колпакѣ, не разъ
Ужъ отворялъ свой васисдасъ.

XXXVI.

Но, шумомъ бала утомленный,
И утро въ полночь обратя,
Спокойно спать въ тѣни блаженной
Забавъ и роскоши дитя.
Проснется за-полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,
И завтра то же, что вчера.
Но былъ ли счастливъ мой Евгенийъ,
Свободный, въ цвѣтъ лучшихъ лѣтъ,
Среди блистательныхъ побѣдъ,
Среди всеневныхъ наслажденій?
Вотще ли былъ онъ среди пировъ
Неостороженъ и здоровъ?

XXXVII.

Нѣтъ, рано чувства въ немъ остыли;
Ему наскучили свѣта шумъ;
Красавицы недолго были
Предметъ его привычныхъ думъ;
Измѣны утомить успѣли;
Друзья и дружба надоѣли,

Затѣмъ, что не всегда же могъ
Beef-steaks и страсбургскій пирогъ
Шампанской обливать бутылкой,
И сыпать острыя слова,
Когда болѣла голова;
И хотѣ онъ быть повѣса пылкій,
Но разлюбилъ онъ, наконецъ,
И брань, и саблю, и свинецъ

XXXVIII.

Недугъ, котораго причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный англійскому сплину,
Короче—русская хандра
Имъ овладѣла понемногу;
Онъ застрѣлится, славу Богу,
Попробовать не захотѣлъ.
Но къ жизни вовсе охладѣлъ.
Какъ Child-Harold, угрюмый,
томный,
Въ гостинныхъ появлялся онъ;
Ни сплетни свѣта, ни бостонъ,
Ни милый взглядъ, ни вздохъ нескром-
ный,
Ничто не трогало его,
Не замѣчалъ онъ ничего.

XLII.

Причудницы большого свѣта!
Всѣхъ прежде васъ оставилъ онъ.
И правда то, что въ наши лѣта
Довольно скученъ высшій тонъ.
Хоть, можетъ быть, иная дама
Толкуетъ Сея и Бентама;
Но вообще ихъ разговоръ—
Несносный, хотъ невинный вздоръ.
Къ тому жъ онъ такъ непорочны,
Такъ величавы, такъ умны,
Такъ благочестія полны,
Такъ осмотрительны, такъ точны,
Такъ неприступны для мужчинъ,
Что видъ ихъ ужъ рождаетъ сплинь.

XLIII.

Отступникъ бурныхъ наслажденій,
Онѣгинь дома заперся,

Зѣвая, за перо взялся,
Хотѣлъ писать, но трудъ упорный
Ему былъ тошенъ; ничего
Не вышло изъ пера его,
И не попалъ онъ въ цехъ зазорный
Людей, о коихъ не сузу
Затѣмъ, что къ нимъ принадлежу.

XLIV.

И снова преданный бездѣлю,
Томясь душевной пустотой,
Усѣлся онъ съ похвальной цѣлью
Себѣ присвоить умъ чужой;
Отрядомъ книгъ уставилъ полку,
Читалъ, читалъ, а все безъ толку:
Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ;
Въ томъ совѣсти, въ томъ смысла
нѣтъ;
На всѣхъ различныя вериги;
И устарѣла старина,
И старымъ бредить новизна.
Какъ женщинъ, онъ отставилъ книги,
И полку съ пыльной ихъ семьей
Задержнулъ траурной тафтой.

XLV.

Условій свѣта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ подружился я въ то время.
Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ—онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба.
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.

XLVI.

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не мо-
жетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто чувствовалъ, того тревожить

Призракъ невозвратимыхъ дней—
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змѣя воспоминаній,
Того раскаянне грызетъ.
Все это часто придаетъ
Большую прелесть разговору.
Сперва Онѣгина языкъ
Меня смущалъ, но я привыкъ
Къ его язвительному спору,
И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.

XLVII.

Какъ часто лѣтнею порою,
Когда прозрачно и свѣтло
Ночное небо надъ Невоею,
И водъ веселое стекло
Не отражаетъ ликъ Діаны,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрмы
Перенесенъ комодинъ сонный,
Такъ уносились мы мечтой
Къ началу жизни молодой.

XLVIII.

Съ душою, полной сожалѣній,
И опершись на гранитъ,
Стоялъ задумчиво Евгенийъ,
Какъ описалъ себя пѣтъ.
Все было тихо; лишь ночные
Перекинулись часовые,
Да дрожекъ отдаленный стукъ
Съ Миллионной раздавался вдругъ;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей рѣкѣ,
И насъ плѣняли вдалекѣ
Рожокъ и пѣсня удалая.
Но слаще, средь ночныхъ забавъ,
Напѣвъ Торкватовыхъ октавъ!

XLIX.

Адріатическія волны!
О, Брента! нѣтъ, увижу васъ,
И, вдохновенья снова полный,

Услышу вашъ волшебный гласъ!
Онъ святъ для внуковъ Аполлона;
По гордой лирѣ Альбіона
Онъ мнѣ знакомъ, онъ мнѣ родной.
Ночей Италиі влатой
Я нѣгой наслажусь на волѣ,
Съ венеціанкою молодой,
То говорливой, то нѣмой,
Плывя въ таинственной гондолѣ;
Съ ней обрѣтутъ уста мои
Языкъ Петрарки и любви.

Но въ это время опасно заболѣлъ въ
деревнѣ его дядя, и Онѣгинъ, вмѣсто
Италиі, поѣхалъ въ деревню; дядю засталъ
онъ уже покойникомъ.

LIII.

Нашелъ онъ помостъ дворъ услуги;
Къ покойнику со всѣхъ сторонъ
Съѣзжались недруги и други,
Охотники до похоронъ.
Покойника похоронили;
Попы и гости ѣли, пили
И послѣ важно разошлись,
Какъ будто дѣломъ занялись.
Вотъ нашъ Онѣгинъ—сельскій житель,
Заводовъ, водъ, лѣсовъ, земель
Хозяинъ полный, а досель
Порядка врагъ и расточитель,
И очень радъ, что прежній путь
Перемѣнитъ на что-нибудь.

LIV.

Два дня ему казались новы
Уединенныя поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихаго ручья;
На третій—роща, холмъ и поле
Его не занимали болѣ;
Потомъ ужъ наводили сонъ;
Потомъ увидѣлъ ясно онъ,
Что и въ деревнѣ скука та же,
Хоть нѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ,
Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ.
Хандра ждала его на стражѣ,
И бѣгала за нимъ она,
Какъ тѣнь, иль вѣрная жена.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

„О, рус!“ *Hor.* О, Русь!

I.

Деревня, гдѣ скучалъ Евгений,
Была прелестный уголокъ;
Тамъ другъ невинныхъ наслажденій
Благословить бы небо могъ.
Господскій домъ уединенный,
Горой отъ вѣтровъ огражденный,
Стоялъ надъ рѣчкою; вдали
Продъ нимъ пестрѣли и цвѣли
Луга и нивы золотыя,
Мелькали села здѣсь и тамъ,
Стада бродили по лугамъ,
И сѣни расширялъ густыя
Огромный, запущенный садъ,
Пріютъ задумчивыхъ дріадъ.

II.

Почтенный замокъ былъ построенъ,
Какъ замки строиться должны:
Отмѣнно проченъ и спокоенъ,
Во вкусъ умной старины.
Вездѣ высокіе покои,
Въ гостиной штофные обои,
Царей портреты на стѣнахъ,
И печи въ пестрыхъ изразцахъ.
Все это нынѣ обветшало,
Не знаю, право, почему,
Да, впрочемъ, другу моему
Въ томъ нужды было очень мало,
Затѣмъ, что онъ равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

III.

Онъ въ томъ покоѣ поселился,
Гдѣ деревенскій старожилъ
Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ.
Все было просто: полъ дубовый,
Два шкафа, столъ, диванъ пуховый,
Нигдѣ ни пятнышка чернилъ.
Онѣгинъ шкафы отворилъ:
Въ одномъ нашелъ тетрадь расхода,
Въ другомъ—наливокъ цѣлый строй,
Кувшины съ яблочной водой
И календарь осьмого года:

Старикъ, имѣя много дѣлъ,
Въ инныя книги не глядѣлъ.

IV.

Одинъ среди своихъ владѣній,
Чтобъ только время проводить,
Сперва задумалъ нашъ Евгений
Порядокъ новый учредить.
Въ своей глуши мудрецъ пустынный.
Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ—
И небо рабъ благословилъ.
За то въ углу своемъ надулъ,
Увидя въ этомъ страшный вредъ,
Его расчетливый сосѣдъ;
Другой лукаво улыбнулся,
И въ голосъ всѣ рѣшили такъ,
Что онъ—опаснѣйшій чудакъ.

V.

Сначала всѣ къ нему ѣзжали;
Но такъ какъ съ задняго крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги,
Заслышать ихъ домашни дроги,—
Поступкомъ оскорблясь такимъ,
Всѣ дружбу прекратили съ нимъ.
„Сосѣдъ нашъ неучъ, сумасбродитъ;
Онъ—фармазонъ; онъ пьетъ одно
Стаканомъ красное вино;
Онъ дамамъ къ ручкѣ не подходитъ;
Все да, да нѣтъ, не скажетъ да-съ
Иль нѣтъ-съ“. Таковъ былъ общій
гласъ.

VI.

Въ свою деревню въ ту же пору
Помѣщикъ новый прискакалъ,
И столь же строгому разбору
Въ сосѣдствѣ поводъ подавалъ:
По имени Владиміръ Ленскій,
Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэтъ.
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,

Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ.

VII.

Отъ хладнаго разврата свѣта
Еще увянуть не успѣвъ,
Его душа была согрѣта
Привѣтомъ друга, лаской дѣвъ.
Онъ сердцемъ милый былъ невѣжда;
Его лелѣяла надежда,
И міра новый блескъ и шумъ
Еще плѣняли юный умъ.
Онъ забавлялъ мечтою сладкой
Сомнѣнья сердца своего;
Пѣлъ жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой;
Надъ ней онъ голову ломалъ,
И чудеса подозрѣвалъ.

VIII.

Онъ вѣрилъ, что душа родная
Соединиться съ нимъ должна;
Что, безотрадно изнывая,
Его всеневно ждетъ она;
Онъ вѣрилъ, что друзья готовы
За честь его принять оковы,
И что не дрогнетъ ихъ рука
Разбить сосудъ клеветника;
Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что ихъ бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь насъ озаритъ
И міръ блаженствомъ одаритъ.

IX.

Негодованье, сожалѣнье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
Въ немъ рано волновали кровь.
Онъ съ лирой странствовалъ на свѣтѣ;
Подъ небомъ Шиллера и Гёте,
Ихъ поэтическимъ огнемъ
Душа воспламенилась въ немъ;
И музъ возвышенныхъ искусства,
Счастливецъ, онъ не постыдилъ:
Онъ въ пѣсняхъ гордо сохранилъ
Всегда возвышенныя чувства,

Порывы дѣвственной мечты
И прелесть важной простоты.

X.

Онъ пѣлъ любовь, любви послушный,
И пѣснь его была ясна,
Какъ мысли дѣвы простодушной,
Какъ сонъ младенца, какъ луна
Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ,
Богиня тайнъ и вздоховъ нѣжныхъ.
Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,
И романтическія розы;
Онъ пѣлъ тѣ дальнія страны,
Гдѣ долго въ лоно тишины
Лились его живыя слезы;
Онъ пѣлъ поблѣкшій жизни цвѣтъ,
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ.

XI.

Въ пустынѣ, гдѣ одинъ Евгений
Могъ оцѣнить его дары,
Господь сосѣдственныхъ селеній
Ему не нравились пиры;
Бѣжалъ онъ ихъ бесѣды шумной!
Ихъ разговоръ благоразумный
О сѣнокосѣ, о винѣ,
О псарнѣ, о своей роднѣ,
Конечно, не блисталъ ни чувствомъ,
Ни поэтическимъ огнемъ,
Ни острою, ни умомъ,
Ни общежитію искусствомъ;
Но разговоръ ихъ милыхъ женъ
Гораздо меньше былъ уменъ.

XII.

Богатъ, хорошъ собою, Ленскій
Вездѣ былъ принятъ, какъ женихъ—
Таковъ обычай деревенскій:
Всѣ дочекъ прочили своихъ
За пол у русскаго сосѣда.
Войдетъ ли онъ—тотчасъ бесѣда
Заводить словно стороной
О скукѣ жизни холостой;
Зовутъ сосѣда къ самовару,
А Дуня разливаетъ чай;
Ей шепчутъ: „Дуня, примѣчай!“
Потомъ приносятъ и гитару,
И запищитъ она (Богъ мой!):
„Приди въ чертогъ ко мнѣ златой!..“

XIII.

Но Ленскій, не имѣвъ, конечно,
Охоты узы брака несть,
Съ Онѣгинымъ желалъ сердечно
Знакомство покорооче свести.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, ледъ и пламень
Не столь различны межъ собой.
Сперва взаимной разнотой
Они другъ другу были скучны;
Потомъ понравились; потомъ
Съѣзжались каждый день верхомъ,
И скоро стали неразлучны.
Такъ люди (первый каюсъ я)—
Отъ дѣлать нечего друзья.

XIV.

Но дружбы нѣтъ и той межъ нами;
Всѣ предразсудки истребя,
Мы почитаемъ всѣхъ—нулями,
А единицами—себя;
Мы всѣ глядимъ въ Наполеоны;
Двуногихъ тварей миллионы
Для насъ—орудіе одно;
Намъ чувство дико и смѣшно.
Сносилъ многихъ былъ Евгеній;
Хоть онъ людей, конечно, зналъ,
И вообще ихъ презиралъ;
Но (правилъ нѣтъ безъ исключеній)
Иныхъ онъ очень отличалъ,
И вчуужъ чувство уважалъ.

XV.

Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой;
Поэта пылкій разговоръ,
И умъ, еще въ сужденьяхъ зыбкій,
И вѣчно вдохновенный взоръ—
Онѣгину все было ново;
Онъ охладительное слово
Въ устахъ старался удержать
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать
Его минутному блаженству;
И безъ меня пора придетъ;
Пускай покажѣтъ онъ живетъ,
Да вѣрить міра совершенству;
Простимъ горячѣ юныхъ лѣтъ
И юный жаръ, и юный бредъ.

XVI.

Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племень минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду.
Поэтъ, въ жару своихъ сужденій,
Читалъ, забывшись, между тѣмъ,
Отрывки сѣверныхъ поэмъ;
И снисходительный Евгеній,
Хоть ихъ не много понималъ,
Прилежно юношѣ внималъ.

Откровенный Ленскій рассказалъ Онѣгину и о своей любви.

XX.

Ахъ, онъ любилъ, какъ въ наши
лѣта

Уже не любятъ, какъ одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, вездѣ одно мечтанье,
Одна привычная печаль!
Ни охлаждающая даль,
Ни долгія лѣта разлуки,
Ни музамъ данные часы,
Ни чужеземныя красы,
Ни шумъ веселій, ни науки
Души не измѣнили въ немъ,
Согрѣтой дѣвственнымъ огнемъ.

XXIII.

Всегда скромна, всег а послушна,
Всегда какъ утро весела,
Какъ жизнь поэта простодушна,
Какъ поцѣлуй любви мила.
Глаза какъ небо голубые,
Улыбка, лаконы льняные,
Движенья, голосъ, легкій станъ,
Все въ Ольгѣ... но любой романъ
Возьмите, и найдете, вѣрно,
Ея портретъ: онъ очень милъ;
Я прежде самъ его любилъ;

Но надоѣлъ онъ мнѣ безмѣрно.
Позвольте мнѣ, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV.

Ея сестра звалась Татьяна...
Впервые именемъ такимъ
Страницы нѣжныя романа
Мы своевольно освятимъ.
И что жъ? Оно пріятно, звучно,
Но съ нимъ, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины,
Иль дѣвичей. Мы всѣ должны
Признаться, вкуса очень мало
У насъ и въ нашихъ именахъ
(Не говоримъ ужъ о стихахъ);
Намъ просвѣщенье не пристало
И намъ досталось отъ него
Жеманство—больше ничего.

XXV.

Итакъ, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свѣжестью ея румяной
Не привлекла бъ она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Какъ лань лѣсная, боязлива,
Она въ семьѣ своей родной
Казалась дѣвочкой чужой.
Она ласкаться не умѣла
Къ отцу, ни къ матери своей;
Дитя сама, въ толпѣ дѣтей
Играть и прыгать не хотѣла,
И часто цѣлый день одна
Сидѣла молча у окна.

XXVI.

Задумчивость—ея подруга
Отъ самыхъ колыбельныхъ дней—
Течение сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ея изнѣженные пальцы
Не знали иглъ; склоняся на пальцы,
Узоромъ шелковымъ она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примѣта:
Съ послушной куклою дитя
Приготавливается шута
Къ приличію—закону свѣта—
И важно повторяетъ ей
Уроки маменьки своей.

XXVII.

Но куклы, даже въ эти годы,
Татьяна къ руки не брала;
Про вѣсти города, про моды
Бесѣды съ нею не вела.
И были дѣтскія проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою, въ темнотѣ ночей,
Плѣняли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги, на широкій лугъ,
Всѣхъ маленькихъ ея подругъ,
Она въ горѣлки не играла,—
Ей скученъ былъ и звонкій смѣхъ,
И шумъ ихъ вѣтренныхъ утѣхъ.

XXVIII.

Она любила на балконѣ
Предупреждать зари восходъ,
Когда на блѣдномъ небосклонѣ
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ,
И тихо край земли свѣтлѣетъ,
И вѣстникъ, ура, вѣтеръ вѣетъ,
И всходитъ постепенно день.
Зимою, когда ночная тѣнь
Полміромъ долѣ обладаетъ.
И долѣ въ празднои тишинѣ,
При отуманенной лунѣ,
Востокъ лѣниво почиваетъ,—
Въ привычный часъ пробуждена,
Вставала при свѣчахъ она,

XXIX.

Ей рано нравились романы;
Они ей замѣняли все;
Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона, и Руссо.
Отецъ ея былъ добрый малый,
Въ прошедшемъ вѣкъ заповдалый,
Но въ книгахъ не видалъ вреда;
Онъ, не читая никогда,
Ихъ почиталъ пустой игрушкой
И не заботился о томъ,
Какой у дочки тайный томъ
Дремалъ до утра подъ подушкой.
Жена жъ его была сама
Отъ Ричардсона безъ ума.

XXX.

Она любила Ричардсона
 Не потому, чтобы прочла,
 Не потому, чтобы Грандисона
 Она Ловласу предпochaла,
 Но въ старину княжна Полина,
 Ея московская кузина,
 Твердила часто ей объ нихъ.
 Въ то время былъ еще женихъ
 Ея супругъ, по поневолѣ
 Она вздыхала о другомъ,
 Который сердцемъ и умомъ
 Ей нравился гораздо болѣе—
 Сей Грандисонъ былъ славный франтъ,
 Игрокъ и гвардіи сержантъ.

XXXI.

Какъ онъ, она была одѣта
 Всегда по модѣ и къ лицу.
 Но, не спросяся ея совѣта,
 Дѣвицу повезли къ вѣнцу.
 И чтобъ ея разсѣять горе,
 Разумный мужъ уѣхалъ вскорѣ
 Въ свою деревню, гдѣ она,
 Богъ знаетъ кѣмъ окружена,
 Рвалась и плакала сначала,
 Съ супругомъ чуть не развелась,
 Потомъ хозяйствомъ занялась,
 Привыкла, и довольна стала.
 Привычка свѣше намъ дана—
 Замѣна счастью она.

XXXII.

Привычка уладила горе,
 Неотразимое ничѣмъ;
 Открытіе большое вскорѣ
 Ее утѣшило совсѣмъ!
 Она межъ дѣломъ и досугомъ
 Открыла тайну, какъ супругомъ
 Единовластно управлять,—
 И все тогда пошло на стать.
 Она ѣзжала по работамъ,
 Солила на зиму грибы,
 Вела расходы, брила лбы,
 Ходила въ баню по субботамъ,
 Служанокъ била осердясь—
 Все это, мужа не спросяся.

XXXIII.

Бывало, писывала кровью
 Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ,
 Звала Полиною Прасковью
 И говорила нараспѣвъ;
 Корсетъ носила очень узкій,
 И русскій Н, какъ N французскій,
 Произносить умѣла въ носъ;
 Но скоро все перевелось:
 Корсетъ, альбомъ, княжну Полину,
 Стишковъ чувствительныхъ тетрадь
 Она забыла— стала звать
 Акулькой прежнюю Селину,
 И обновила, наконецъ,
 На ватъ шафортъ и чепецъ.

XXXIV.

Но мужъ любилъ ее сердечно,
 Въ ея затѣи не входилъ,
 Во всемъ ей вѣровалъ безпечно,
 А самъ въ халатѣ ѣлъ и пилъ.
 Покойно жизнь его катилась;
 Подъ вечеръ иногда сходилась
 Сосѣдей добрая семья,
 Неперемонные друзья,—
 И потужить, и позлословить,
 И посмѣяться кой о чемъ.
 Проходить время; между тѣмъ
 Прикажутъ Ольгѣ чай готовить;
 Тамъ ужинъ, тамъ и спать пора,
 И гости ѣдутъ со двора.

XXXV.

Они хранили въ жизни мирной
 Привычки милой старины:
 У нихъ на масленицѣ жирной
 Водились русскіе блины;
 Два раза въ годъ они говѣли;
 Любили круглыя качели,
 Подблюдны пѣсни; хороводъ;
 Въ день Троицынъ, когда народъ,
 Зѣвая, слушаетъ молебень,
 Умильно на пучокъ зари
 Они роняли слезки три;
 Имъ квасъ, какъ воздухъ, былъ потре-
 бенъ,

И за столомъ у нихъ гостямъ
Носили блюда по чинамъ.

XXXVI.

И такъ они старѣли оба.
И отворились, наконецъ,
Передъ супругомъ двери гроба,
И новый онъ пріялъ вѣнецъ.
Онъ умеръ въ часъ передъ обѣдомъ,
Оплаканный своимъ сосѣдомъ,
Дѣтymi и вѣрною женой
Чистосердечнѣй, чѣмъ иной.
Онъ былъ простой и добрый баринъ,
И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ,
Надгробный памятникъ гласитъ:
„Смиранный грѣшникъ, Дмитрій Ла-
ринъ,
Господній рабъ и бригадиръ,
Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ“.

XXXVII.

Своимъ пенатамъ возвращенный,
Владиміръ Ленскій посѣтилъ
Сосѣда памятникъ смиренный,
И вздохъ онъ пеллу посвятилъ;
И долго сердцу грустно было.
„Roog Yorigsk“, молвилъ онъ уны-
ло;

„Онъ на рукахъ меня держалъ.
Какъ часто въ дѣтствѣ я игралъ
Его очаковской медалью!
Онъ Ольгу прочилъ за меня,
Онъ говорилъ: дождусь ли дня...“
И, полный искренней печалью,
Владиміръ тутъ же начерталъ
Ему надгробный мадригалъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Elle était fille, elle était amoureuse.
Malfilatre.

I.

Куда? Ужъ эти мнѣ поэты!“
— Прощай, Онѣгинъ, мнѣ пора.—
„Я не держу тебя; но гдѣ ты
Свои проводишь вечера?“
— У Лариныхъ.— „Вотъ это чудно.
Помилуй! и тебѣ не трудно

Такъ каждый вечеръ убивать?“
— Нимало.— „Не могу понять.
Отселѣ вижу, что такое:
Во-первыхъ—слушай, правъ ли я?—
Простая русская семья,
Къ гостямъ усердіе большое,
Варенье, вѣчный разговоръ
Про дождь, про лень, про скотный
дворъ...“

II.

— Я тутъ еще бѣды не вижу.—
„Да скука, вотъ бѣда, мой другъ“.
— Я модный свѣтъ вашъ ненавижу;
Милѣ мнѣ домашній кругъ,
Гдѣ я могу...— „Опять эклога!
Да полно, милый, ради Бога.
Ну, что жъ? ты ѣдешь? очень жаль.
Ахъ, слушай, Ленскій: да нельзя ль
Увидѣть мнѣ Филиду эту,
Предметъ и мыслей, и пера,
И слезъ, и приемъ, et cetera?
Представь меня“. — Ты шутишь! —
„Нѣту“.
— Я радъ.— „Когда же?“— „Хоть сей-
часъ“.
Онъ съ охотой примутъ насъ.—

III.

Поѣдемъ. Поскакали други,
Явились; имъ расточены
Порой тяжелыя услуги
Гостепріимной старины.
Обрядъ извѣстный угощенья:
Несутъ на блюдечкахъ варенья,
На столикахъ ставятъ вощаной
Кувшинъ съ брусничною водой.

.....

IV.

Они дорогой самой краткой
Домой летятъ во весь опоръ.
Теперь, подслушаемъ украдкой
Героевъ нашихъ разговоръ.
— Ну, что жъ, Онѣгинъ? — Ты зѣва-
ешь? —
„Привычка, Ленскій“. — Но скучаешь

Ты какъ-то больше, — „Нѣтъ, равно.
Однако въ полѣ ужъ темно;
Скорѣй! пошелъ, пошелъ, Андрюшка!
Какія глупыя мѣста!
А, кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка;
Боюсь, брусничная вода
Мнѣ не надѣлала бъ вреда.

V.

„Скажи, которая Татьяна?“
— Да та, которая грустна
И молчалива какъ Свѣтлана,
Вошла и сѣла у окна. —
„Неужто ты влюбленъ въ меньшую?“
— А что? — „Я выбралъ бы другую?“
Когда бъ я былъ, какъ ты, поэтъ.
Въ чертахъ у Ольги жизни нѣтъ,
Точь въ точь въ Вандиковой Мадоннѣ.
Кругла, красна лицомъ она,
Какъ эта глупая луна
На этомъ глупомъ небосклонѣ.“
Владиміръ сухо отвѣчалъ,
И послѣ во весь путь молчалъ.

VI.

Межъ тѣмъ Онѣгина явленье
У Ларина произвело
На всѣхъ большое впечатлѣнье
И всѣхъ сосѣдей развлекло.
Пошла догадка за догадкой;
Всѣ стали толковать украдкой,
Шутить, судить не безъ грѣха,
Татьянѣ прочить жениха;
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсѣмъ,
Но остановлена затѣмъ,
Что модныхъ колецъ не достали.
О свадьбѣ Ленскаго давно
У нихъ ужъ было рѣшено.

VII.

Татьяна слушала съ досадой
Такія сплетни; но тайкомъ
Съ неизъяснимою отрадой
Невольно думала о томъ;
И въ сердце дума заронилась:

Пора пришла — она влюбилась...
Такъ въ землю падшее зерно
Весны огнемъ оживлено.
Давно ея воображенье,
Сгорая нѣгой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Тѣснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь.

VIII.

И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это онъ!
Увы! теперь и дни, и ночи,
И жаркій, одинокій сонъ, —
Все полно имъ; все дѣвъ милой
Безъ умолку волшебной силой
Твердить о немъ. Докучны ей
И звуки ласковыхъ рѣчей,
И взоръ заботливой прислуги.
Въ уныніе погружена,
Гостей не слушаетъ она,
И проклиная ихъ досуги,
Ихъ неожиданный пріѣздъ.
И продолжительный пріѣздъ.

IX.

Теперь съ какимъ она вниманьемъ
Читаетъ сладостный романъ,
Съ какимъ живымъ очарованьемъ
Пьетъ обольстительный обманъ!
Счастливей силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовники Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ, —
Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились.

X.

Воображаясь героиней
Своихъ возлюбленныхъ творцовъ,
Кларисой, Юліей, Дельфиной,
Татьяна въ тишинѣ лѣсовъ

Одна съ опасной книгой бродить;
Она въ ней ищетъ и находитъ
Свой тайный жаръ, свои мечты,—
Плоды сердечной полноты;
Вдыхаетъ и, себя присвоя
Чужой восторгъ, чужую грусть,
Въ забвеньи шепчетъ наизусть
Письмо для милаго героя...
Но нашъ герой, кто бъ ни былъ онъ,
Ужъ вѣрно былъ не Грандисонъ.

XI.

Свой слогъ на важный ладъ настроя,
Бывало, пламенный творецъ
Являлъ намъ своего героя,
Какъ совершенства образецъ.
Онъ одарялъ предметъ любимый,
Всегда несправедно гонимый,
Душой чувствительной, умомъ
И привлекательнымъ лицомъ.
Питая жаръ чистѣйшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готовъ былъ жертвовать собой
И, при концѣ послѣдней части,
Всегда наказанъ былъ порокомъ,
Добру достойный былъ вѣнокъ.

XII.

А нынче всѣ умы въ туманѣ,
Мораль на насъ наводитъ сонъ,
Порокъ любезенъ и въ романѣ,
И тамъ ужъ торжествуетъ онъ.
Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы,
И сталъ теперь ея кумиръ —
Или задумчивый Вампиръ,
Или Мельмотъ, бродяга мрачный,
Иль Вѣчный Жидъ, или Корсаръ,
Или таинственный Сбогаръ.
Лордъ Байронъ, прихотью удачной,
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ.

«Татьяна, побѣжденная любовью, рѣшилась написать письмо Онегину. Она проситъ няню письмо это переслать Евгению».

XVII.

«Не спится, няня: здѣсь такъ душно!
Открой окно, да сядь ко мнѣ».

— Что, Таня, что съ тобой?— „Мнѣ скучно;

Поговоримъ о старинѣ“.

— О чемъ же, Таня? Я, бывало,
Хранила въ памяти не мало
Старинныхъ былей, небылицъ
Про злыхъ духовъ и про дѣвицъ;
А нынѣ все мнѣ темно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло...— „Разкажи мнѣ, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?“

XVIII.

— И, полно, Таня! въ эти лѣта
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со свѣта
Меня покойница свекровь.—
„Да какъ же ты вѣчалась, няня?“
— Такъ, видно, Богъ велѣлъ. Мой Ваня
Моложе былъ меня, мой свѣтъ,
А было мнѣ тринадцать лѣтъ.
Недѣли двѣ ходила сваха
Къ моей роднѣ, и наконецъ
Благословилъ меня отецъ.
Я горько плакала со страха;
Мнѣ съ плачемъ косу расплели
И съ пѣньемъ въ церковь повели.

XIX.

— И вотъ, ввели въ семью чужую...
Да ты не слушаешь меня...—
„Ахъ, няня, няня, я тоскую,
Мнѣ тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..“
— Дитя мое, ты недорова;
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай, окроплю святой водою,
Ты вся горишь...— „Я не больна;
Я... знаешь, няня... влюблена“.
— Дитя мое, Господь съ тобой!—
И няня дѣвушку съ мольбой
Крестила дрожащею рукой.

XX.

„Я влюблена“, шептала снова
Старушкѣ съ горестью она.
— Сердечный другъ, ты нездорова.—
„Оставь меня: я влюблена“.
И между тѣмъ луна сіяла
И томнымъ свѣтомъ озаряла
Татьяны блѣдныя красы,
И распушенные волосы,
И капли слезъ, и на скамейкѣ
Предъ героиней молодой,
Съ платкомъ на головѣ сѣдой,
Старушку въ длинной тѣлогрѣйкѣ;
И все дремало въ тишинѣ
При вдохновительной лунѣ.

XXI.

И сердцемъ далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
Вдругъ мысль въ умѣ ея родилась...
„Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мнѣ перо, бумагу,
Да столъ подвинь; я скоро лягу;
Прости“. И вотъ она одна.
Все тихо. Свѣтитъ ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишетъ,
И все Евгений на умѣ,
И въ необдуманномъ письмѣ
Любовь невинной дѣвы дышетъ.
Письмо готово, сложено...
Татьяна! для кого жъ оно?

XXXI.

Письмо Татьяны предо мною,
Его я свято берегу,
Читаю съ тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушалъ и эту нѣжность,
И словъ любовную небрежность?
Кто ей внушалъ умильный вадоръ,
Безумный сердца разговоръ,
И увлекательный, и вредный?
Я не могу понять. Но вотъ
Неполный, слабый переводъ,
Съ живой картины списокъ блѣдный,
Или разыгранный Фрейшицъ
Перстами робкихъ ученицъ:

Письмо Татьяны къ Онѣгину.

„Я вамъ пишу—чего же болѣ?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, въ вашей волѣ
Меня презрѣньемъ наказать.
Но вы, къ моей несчастной долѣ
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотѣла;
Повѣрьте: моего стыда
Вы не узнали бъ никогда,
Когда-бъ надежду я имѣла
Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ,
Въ деревнѣ нашей видѣть васъ,
Чтобъ только слышать ваши рѣчи,
Вамъ слово молвить, и потомъ
Все думать, думать объ одномъ,
И день, и ночь, до новой встрѣчи.
Но, говорятъ, вы немилосерды:
Въ глуши, въ деревнѣ, все вамъ скучно;
А мы... ничѣмъ мы не блестимъ,
Хоть вамъ и рады простодушно.
„Зачѣмъ вы посѣтили насъ?
Въ глуши забытаго селенья
Я никогда не знала бъ васъ,
Не знала-бъ горькаго мученья.
Души неопытной волненья
Смиривъ современемъ (какъ знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы вѣрная супруга
И добродѣтельная мать.

„Другой!.. Нѣтъ никому на свѣтѣ
Не отдала бы сердца я!
То въ высшемъ суждено совѣтѣ...
То воля Неба—я твоя;
Вся жизнь моя была залогомъ
Свиданья вѣрнаго съ тобой:
Я знаю, ты мнѣ посланъ Богомъ,
До гроба ты—хранитель мой...
Ты въ сновидѣньяхъ мнѣ являлся;
Незримый, ты мнѣ былъ ужъ милъ,
Твой чудный взглядъ меня томилъ,
Въ душѣ твоей голосъ раздавался
Давно... нѣтъ, это былъ не сонъ!
Ты чуть вошелъ, я вмигъ узнала,
Вся обомлѣла, запылала,
И въ мысляхъ молвила: вотъ онъ!
Не правда ль? я тебя слыхала:

Ты говорилъ со мной въ тиши,
Когда я бѣднымъ помогала,
Или молитвой улаживала
Тоску волнуемой души?
И въ это самое мгновенье
Не ты ли, милое видѣнье,
Въ прозрачной темнотѣ мелькнулъ,
Приникнуль тихо къ изголовью?
Не ты ль съ отрадой и любовью
Слова надежды мнѣ шепнулъ?
Кто ты: мой ангелъ ли хранитель,
Или коварный искушитель?
Мои сомнѣнья разрѣши.
Быть можетъ, это все пустое,
Обманъ неопытной души,
И суждено совсѣмъ иное...
Но такъ и быть! судьбу мою
Отнынѣ я тебѣ вручаю,
Передъ тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здѣсь одна,
Никто меня не понимаетъ,
Разсудокъ мой изнемогаетъ,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единымъ взоромъ
Надежды сердца оживи,
Иль сонъ тяжелый перерви,
Увы, заслуженнымъ укоромъ!

„Кончаю! страшно перечестъ...
Стыдомъ и страхомъ замираю...
Но мнѣ порукой ваша честь,
И смѣло ей себя ввѣряю...“

XXXII.

Татьяна то вздохнетъ, то охнетъ;
Письмо дрожитъ въ ея рукѣ;
Облатка розовая сохнетъ
На воспаленномъ языкѣ.
Къ плечу головушкой склонилась,
Сорочка легкая спустилась
Съ ея прелестнаго плеча.
Но вотъ ужъ луннаго луча
Сіянье гаснетъ. Тамъ долина
Сквозь паръ яснѣетъ. Тамъ потокъ
Засеребрился; тамъ рожокъ
Пастушій будить селянина.
Вотъ утро; встали всѣ давно:
Моей Татьянѣ все равно.

XXXIII.

Она зари не замѣчаетъ.
Сидить съ поникшею главою
И на письмо не напираетъ
Своей печати вырѣзной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Ужъ ей Филипповна сѣдая
Приносить на подносѣ чай.
— Пора, дитя мое, вставай!
Да ты, красавица, готова!
О, пташка ранняя моя!
Вечоръ ужъ какъ боялся я!
Да, слава Богу, ты здорова!
Тоски ночной и слѣду нѣтъ!
Лицо твое—какъ маковъ цвѣтъ.

XXXIV.

„Ахъ! няня, сдѣлай одолженъе...“
— Изволь, родная, прикажи.—
„Не думай... право... подозрѣнье...
Но видишь... Ахъ! не откажи.“
— Мой другъ, вотъ Богъ тебѣ порука.—
„Итакъ, пошли тихонько внука
Съ запиской этой къ О... къ тому...
Къ сосѣду... да велѣть ему,
Чтобъ онъ не говорилъ ни слова,
Чтобъ онъ не называлъ меня...“
— Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругомъ сосѣдей много есть:
Куда мнѣ ихъ и перечестъ.—

XXXV.

„Какъ недогадлива ты, няня!“
— Сердечный другъ, ужъ я стара,
Стара; тупѣетъ разумъ, Таня;
А то, бывало, я востра:
Бывало, слово барской воли...—
„Ахъ, няня, няня! до того ли?
Что нужды мнѣ въ твоёмъ умѣ?
Ты видишь, дѣло о письмѣ
Къ Онѣгину“.—Ну, дѣло, дѣло.
Не гнѣвайся, душа моя,
Ты знаешь, непонятна я...
Да что жъ ты снова поблѣднѣла?—
„Такъ, няня, право, ничего...
Пошли же внука своего.“

Долго Татьяна ждала отвѣта. Отвѣта все не было. Наконецъ, однажды Евгений пришель къ нимъ. Узнавъ объ его приходѣ, Татьяна взволновалась.

XXXIX.

„Здѣсь онъ! здѣсь Евгений!
О Боже! что подумалъ онъ!“
Въ ней сердце, полное мученій,
Хранить надежды темный сонъ;
Она дрожитъ и жаромъ пышетъ,
И ждетъ, нейдетъ ли? Но не слышитъ.
Въ саду служанки, на грядахъ,
Сбирали ягоды въ кустахъ
И хоромъ по наказу пѣли
(Наказъ, основанный на томъ,
Чтобъ барской ягоды тайкомъ
Уста лукавыя не ѣли,
И пѣньемъ были заняты:
Затѣя сельской остроты!)

Пѣсня дѣвушекъ.

„Дѣвицы-красавицы,
Душеньки-подруженьки,
Разыграйтесь, дѣвицы,
Разгуляйтесь, милыя!
Затяните пѣсенку,
Пѣсенку завѣтную,
Заманите молодца
Къ хороводу нашему.
Какъ заманимъ молодца,
Какъ завидимъ издали,
Разбѣжимтесь, милыя,
Закидаемъ вишенъемъ,
Вишенъемъ, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Пѣсенки завѣтныя,
Не ходи подсматривать
Игры наши дѣвичьи“.

XL.

Онъ поютъ, и съ небреженьемъ
Внимая звонкій голосъ ихъ,
Ждала Татьяна съ нетерпѣньемъ,
Чтобъ трепетъ сердца въ ней затихъ,

Чтобы прошло ланить пыланье;
Но въ персяхъ то же трепетанье,
И не проходитъ жаръ ланить,
Но ярче, ярче лишь горитъ.
Такъ бѣдный мотылекъ и блещетъ,
И бьется радужнымъ крыломъ,
Плѣненный школьнымъ шалуномъ;
Такъ зайчикъ въ озими трепещетъ;
Увидя вдругъ издалика
Въ кусты припаднаго стрѣлка.

XLI.

Но наконецъ она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
Въ аллею—прямо передъ ней,
Блестая взорами, Евгений
Стоитъ, подобно грозной тѣни,
И, какъ огнемъ обожжена,
Остановилась она.
Но слѣдствія нежданной встрѣчи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не въ силахъ я;
Мнѣ должно послѣ долгой рѣчи
И погулять, и отдохнуть:
Докончу послѣ какъ-нибудь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

VII.

Чѣмъ меньше женщину мы любимъ,
Тѣмъ больше нравимся мы ей
И тѣмъ ее вѣрнѣе губимъ
Средь обольстительныхъ сѣтей.
Развратъ, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Самъ о себѣ вездѣ трубя
И наслаждаясь, не любя.
Но эта важная забава
Достойна старыхъ обезьянъ
Хваленыхъ дѣдовскихъ временъ:
Ловласовъ обветшала слава
Со славой красныхъ каблучковъ
И величавыхъ париковъ.

VIII.

Кому не скучно лицемѣрить,
Различно повторять одно,
Стараться важно въ томъ увѣрить,
Въ чемъ всѣ увѣрены давно;
Все тѣ же слышать возраженья,
Уничтожать предразсужденья,
Которыхъ не было и нѣтъ
У дѣвочки въ тринадцать лѣтъ!
Кого не утомятъ угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страхъ,
Записки на шести листахъ,
Обманы, сплетни, кольца, слезы,
Надзоры тетокъ, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX.

Но, получивъ посланье Тани,
Онѣгинъ живо тронуть былъ:
Явись дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роємъ возмутилъ;
И вспомнилъ онъ Татьяны милой
И блѣдный цвѣтъ, и видъ унылый;
И въ сладостный, безгрѣшный сонъ
Душою погрузился онъ.
Быть можетъ, чувствій пылъ старинный
Имъ на минуту овладѣлъ;
Но обмануть онъ не хотѣлъ
Довѣрчивость души невинной.
Теперь мы въ садъ перелетимъ,
Гдѣ встрѣтилась Татьяна съ нимъ.

X.

Минуты двѣ они молчали,
Но къ ней Онѣгинъ подошелъ
И молилъ: „Вы ко мнѣ писали,—
Не отпирайтесь. Я прочелъ
Души довѣрчивой признанья,
Любви невинной изліанья;
Мнѣ ваша искренность мила;
Она въ волненье привела
Давно умолкнувшія чувства;
Но васъ хвалить я не хочу;
Я за нее вамъ отплачу
Признаньемъ также безъ искусства;
Примите исповѣдь мою,—
Себя на судъ вамъ отдаю.

XIII.

„Когда бы жизнь домашнимъ кругомъ
Я ограничить захотѣлъ;
Когда бъ мнѣ быть отцомъ, супругомъ
Пріятный жребій повелѣлъ;
Когда бъ семейственной картиной
Плѣнился я хоть мигъ единый—
То вѣрно бъ, кромѣ васъ одной,
Невѣсты не искалъ иной.
Скажу безъ блескоу мадригалныхъ:
Нашедъ мой прежній идеалъ,
Я вѣрно бъ васъ одну избралъ
Въ подруги дней моихъ печальныхъ,
Всего прекраснаго въ залогъ.
Я былъ бы счастливъ... сколько могъ.

XIV.

„Но я не созданъ для блаженства:
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства—
Ихъ вовсе ни достоинъ я.
Повѣрьте (совѣсть въ томъ порукой),
Супружество намъ будетъ мукой.
Я, сколько ни любилъ бы васъ,
Привыкнувъ, разлюблю тотчасъ;
Начнете плакать—ваши слезы
Не тронутъ сердца моего,
А будутъ лишь бѣсить его.
Судите жъ вы, какія розы
Намъ приготовить Гименей
И, можетъ быть, на много дней!

XV.

„Что можетъ быть на свѣтѣ хуже
Семьи, гдѣ бѣдная жена
Груститъ о недостойномъ мужѣ,
И днемъ, и вечеромъ одна;
Гдѣ скучный мужъ, ей цѣну зная
(Судьбу, однакожъ, проклиная),
Всегда нахмуренъ, молчаливъ,
Сердить и холодно ревнивъ!
Таковъ я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда съ такою простотою,
Съ такимъ умомъ ко мнѣ писали?

Ужели жребій вамъ такой
Назначенъ строгою судьбой?

XVI.

„Мечтамъ и годамъ нѣтъ возврата;
Не обновлю души моеѣ...
Я васъ люблю любовью брата
И, можетъ быть, еще нѣжнѣй.
Послушайте жъ меня безъ гнѣва;
Смѣнить не разъ младая дѣва
Мечтами легкія мечты;
Такъ деревцо свои листы
Мѣняетъ съ каждою весною.
Такъ, видно, Небомъ суждено.
Полюбите вы снова, но...
Учитесь властвовать собою,
Не всякій васъ, какъ я, пойметъ;
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ“.

XXIII.

Что было слѣдствіемъ свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумныя страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нѣтъ, пуще страстью безотрадной
Татьяна бѣдная горитъ;
Ея постели сонъ бѣжить;
Здоровье, жизни цвѣтъ и сладость,
Улыбка, дѣвственный покой—
Пропало все, что звукъ пустой,
И меркнетъ милой Тани младость:
Такъ одѣваетъ бури тѣнь
Едва рождающійся день.

XL.

Ужъ небо осенью дышало,
Ужъ рѣже солнышко блистало,
Короче становился день;
Лѣсовъ таинственная сѣнь
Съ печальнымъ шумомъ обнажалась;
Ложился на поля туманъ;
Гусей крикливыхъ караванъ
Тянулся къ югу: приближалась
Довольно скучная пора—
Стоялъ ноябрь ужъ у двора.

XLII.

Встаетъ заря во мглѣ холодной;
На нивахъ шумъ работъ умолкъ;
Съ своею волчиhoю голодной
Выходить на дорогу волкъ;
Его почуя, конь дорожный
Храпнетъ—и путникъ осторожный
Несется въ гору во весь духъ;
На утренней зарѣ пастухъ
Не гонитъ ужъ коровъ изъ хлѣва,
И въ часъ полуденный въ кружокъ
Ихъ не зоветъ его рожокъ;
Въ избушкѣ распѣвая, дѣва
Прядетъ, и, зимнихъ другъ ночей,
Трепещитъ лучина передъ ней.

XLII.

И вотъ уже трещать морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждетъ ужъ рѣмы—розы:
На вотъ, возьми ее скорѣй!)
Опрятнѣй моднаго паркета,
Блится рѣчка, льдомъ одѣта;
Мальчишекъ радостный народъ
Коньками звучно рѣжетъ ледъ;
На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый,
Задумавъ плыть по лону воды,
Ступаетъ бережно на ледъ,
Скользитъ и падаетъ; веселый
Мелькаетъ, вьется первый снѣгъ,
Звѣздами падая на брегъ.

XLIII.

Въ глуши что дѣлать въ эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучаетъ взору
Однообразной наготой.

XLIV.

Прямымъ Онѣгинъ Чайльдъ-Гарольдъ
домъ
Вдался въ задумчивую лѣнь:
Со сна садится въ ванну со льдомъ,

И послѣ, дома цѣлый день,
Одинъ, въ расчеты погруженный,
Тупымъ кіемъ вооруженный,
Онъ на бильярдѣ въ два шара
Играетъ съ самаго утра;
Настанетъ вечеръ деревенскій,
Бильярдъ оставленъ, кій забытъ,
Передъ каминомъ столъ накрытъ.
Евгеній ждетъ: вотъ ѣдетъ Ленскій
На тройкѣ чалыхъ лошадей;
Давай обѣдать поскорѣй!

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Въ тотъ годъ осенняя погода
Стояла долго на дворѣ;
Зимы ждала-ждала природа:
Снѣгъ выпалъ только въ январѣ,
На третье въ ночь. Проснувшись рано,
Въ окно увидѣла Татьяна
По-утру побѣлѣвшій дворъ,
Куртины, кровли и заборъ;
На стеклахъ легкіе узоры,
Деревья въ зимнемъ серебрѣ,
Сорокъ веселыхъ на дворѣ,
И мягко усталыя горы
Зимы блистательнымъ ковромъ.
Все ярко, все бѣло кругомъ.

II.

Зима... Крестьянинъ, торжествуя,
На дровняхъ обновляетъ путь;
Его лошадка, снѣгъ почуя,
Плетется рысью какъ-нибудь;
Бразды пушистыя взрывая,
Летитъ кибитка удалая;
Ямщикъ сидитъ на облучкѣ
Въ тулупѣ, въ красномъ кушакѣ.
Вотъ бѣгаетъ дворовый мальчикъ,
Въ салазки жучку посадивъ,
Себя въ коня преобразивъ;
Шалунъ ужъ заморозилъ пальчикъ:
Ему и больно, и смѣшно,
А мать грозитъ ему въ окно...

III.

Но, можетъ быть, такого рода
Картины васъ не привлекутъ:
Все это—низкая природа,
Изящнаго не много тутъ.
Согрѣтый вдохновенія богомъ,
Другой поэтъ роскошнымъ слогомъ
Живописалъ намъ первый снѣгъ
И всѣ оттѣнки зимнихъ нѣгъ:
Онъ васъ плѣнитъ, а въ томъ увѣренъ,
Рисуя въ пламенныхъ стихахъ
Прогулки тайныя въ саняхъ;
Но я бороться не намѣренъ
Ни съ нимъ покаместъ, ни съ тобой,
Пѣвецъ финляндки молодой!

IV.

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
Съ ея холодною краскою
Любила русскую зиму,
На солнцѣ иней въ день морозный,
И сани, и зарю поздней
Сіянье розовыхъ снѣговъ,
И мглу крещенскихъ вечеровъ.
По старинѣ торжествовали
Въ ихъ домѣ эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своихъ гадали,
И имъ сулили каждый годъ
Мужьевъ военныхъ и походъ.

V.

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примѣты;
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.
Жеманный котъ, на печкѣ сидя,
Мурлыча, лапкой рыльцо мылъ:
То несомнѣнный знакъ ей былъ,
Что ѣдутъ гости. Вдругъ увидя
Младой двурогій ликъ луны
На небѣ съ лѣвой стороны,

VI.

Она дрожала и блѣднѣла;
Когда жъ падучая звѣзда
По небу темному летѣла
И рассыпалася, тогда
Въ смятеніи Тая торопилась,
Пока звѣзда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случилось гдѣ-нибудь
Ей встрѣтить чернаго монаха,
Иль быстрый заяцъ межъ полей
Перебѣгалъ дорогу ей—
Не зная, что начать со страха,
Предчувствій горестныхъ полна,
Ждала несчастья ужъ она.

VII.

Что жъ? Тайну прелесть находила
И въ самомъ ужасѣ она:
Такъ насъ природа сотворила,
Къ противорѣчію склонна.
Настали святки. То-то радости!
Гадаеть вѣтрена младость,
Которой ничего не жалъ,
Передъ которой жизни даль
Лежитъ свѣтла, необозрима;
Гадаеть старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потерявъ невозвратно;
И все равно: надежда имъ
Лжетъ дѣтскимъ лепетомъ своимъ.

VIII.

Татьяна любопытнымъ взоромъ
На воскъ потопленный глядитъ:
Онъ чудно вылитымъ узоромъ
Ей что-то чудное гласитъ;
Изъ блюда, полнаго водою,
Выходятъ кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Подъ пѣсенку старинныхъ дней:
„Тамъ мужички-то все богаты,
Гребутъ лопатой серебро;
Кому поемъ, тому добро
И слава!“ Но сулить утраты
Сей пѣсни жалостный напѣвъ;
Милѣй кошурка сердцу дѣвъ.

IX.

Морозна ночь; все небо ясно;
Свѣтилъ небесныхъ дивный хоръ
Течетъ такъ тихо, такъ согласно...
Татьяна на широкій дворъ
Въ открытомъ платицѣ выходитъ,
На мѣсяцъ зеркало наводитъ;
Но въ темномъ зеркалѣ одна
Дрожить печальная луна...
Чу... снѣгъ хруститъ... прохожій; дѣва
Къ нему на цыпочкахъ летитъ,
И голосокъ ея звучитъ
Нѣжный свирѣльнаго напѣва:
„Какъ ваше имя?“ Смотритъ онъ
И отвѣчаетъ:—Агафонъ.—

X.

Татьяна, по совѣту няни,
Сбиралась ночью ворожить,
Тихонько приказала въ банѣ
На два прибора столъ накрыть;
Но стало страшно вдругъ Татьянѣ...
И я—при мысли о Свѣтланѣ
Мнѣ стало страшно—такъ и быть,
Съ Татьяной намъ не ворожить.
Татьяна поясокъ шелковый
Сняла, раздѣлась и въ постель
Легла. Надъ нею вѣется Лель,
А подъ подушкою пуховой
Дѣвчье зеркало лежитъ.
Утихло все. Татьяна спитъ.

XI.

И снится чудный сонъ Татьянѣ.
Ей снится, будто бы она
Идетъ по снѣговой полянѣ,
Печальной мглой окружена;
Въ сугробахъ снѣжныхъ передъ нею
Шумитъ, клубитъ волной своею
Кипучій, темный и сѣдой
Потокъ, не скованный зимой;
Двѣ жердочки, склеенны льдиной,
Дрожащій, гибельный мостокъ,
Положены черезъ потокъ;
И предъ шумящею пучиной,
Недоумѣнія полна,
Остановилася она.

XII.

Какъ на досадную разлуку,
Татьяна ропщетъ на ручей,
Не видитъ никого, кто руку
Съ той стороны подалъ бы ей;
Но вдругъ сугробъ зашевелился,
И кто жъ изъ-подъ него явился?—
Большой, взъерошенный медвѣдь;
Татьяна—ахъ! а онъ реветъ,
И лапу съ острыми когтями
Ей протянулъ; она, скрѣпясь,
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась черезъ ручей;
Пошла—и что жъ? медвѣдь за ней.

XIII.

Она, взглянуть назадъ не смѣя,
Поспѣшнѣй ускоряетъ шагъ,
Но отъ косматого лакея
Не можетъ убѣжать никакъ;
Кряхтя, валитъ медвѣдь несносный;
Предъ ними лѣсъ; недвижны сосны
Въ своей нахмуренной красѣ;
Отягчены ихъ вѣтви всѣ
Клоками снѣга; сквозь вершины
Осинъ, березъ и липъ нагихъ
Сияетъ лучъ свѣтлѣй ночныхъ;
Дороги нѣтъ; кусты, стремнины
Метелью всѣ занесены,
Глубоко въ снѣгъ погружены.

XIV.

Татьяна въ лѣсъ; медвѣдь за нею;
Снѣгъ рыхлый по колѣно ей;
То длинный сукъ ее за шею
Зацѣпить вдругъ, то изъ ушей
Златныя серьги вырветъ силой;
То въ хрупкомъ снѣгѣ съ ножки милой
Увязнетъ мокрый башмачокъ;
То выронитъ она платокъ;
Поднять ей некогда; боится,
Медвѣдя слышитъ за собой
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бѣжитъ, онъ все вослѣдъ;
И силъ уже бѣжать ей нѣтъ.

XV.

Упала въ снѣгъ; медвѣдь проворно
Ее хватаетъ и несетъ;
Она безчувственно-покорна,
Не шевелится, не дохнетъ;
Онъ мчитъ ее лѣсной дорогой;
Вдругъ межъ деревьевъ шалашъ убогій;
Кругомъ все глушь; отсюду онъ
Пустыннымъ снѣгомъ занесенъ,
И ярко свѣтится окошко,
И въ шалашѣ и крикъ, и шумъ;
Медвѣдь промолвилъ: „здесь мой кумъ:
Погрѣйся у него немножко!“
И въ сѣни прямо онъ идетъ,
И на порогъ ее кладетъ.

XVI.

Опомнилась, глядитъ Татьяна:
Медвѣдя нѣтъ; она въ сѣняхъ;
За дверью крикъ и звонъ стакана,
Какъ на большихъ похоронахъ;
Не видя тутъ ни капли толку,
Глядитъ она тихонько въ щелку,
И что же! видитъ... за столомъ
Сидятъ чудовища кругомъ;
Одинъ въ рогахъ съ собачьей мордой,
Другой съ пѣтушьей головой,
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,
Тутъ остовъ чопорный и гордый,
Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ —
Полу-журавль и полу-котъ.

XVII.

Еще страшнѣй, еще чуднѣе:
Вотъ ракъ верхомъ на паукѣ,
Вотъ черепъ на гусиной шеѣ
Вертится въ красномъ колпакѣ,
Вотъ мельница въ присядку пляшетъ
И крыльями трещитъ и машетъ;
Лай, хохотъ, пѣнье, свистъ и хлопъ,
Людская молю и конскій топъ!
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала межъ гостей
Того, кто милъ и страшенъ ей,—
Героя нашего романа!
Онѣгинъ за столомъ сидитъ
И въ дверь украдкой глядитъ.

XVIII.

Онъ знакъ подастъ—и всѣ хлопочутъ;
Онъ пьетъ—всѣ пьютъ и всѣ кричатъ;
Онъ засмѣется—всѣ хохочутъ;
Нахмурить брови—всѣ молчатъ;
Онъ тамъ хозяинъ, это ясно.
И Такъ ужъ не такъ ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдругъ вѣтеръ дунулъ, загашая
Огонь свѣтильниковъ ночныхъ;
Смутилась шайка домовыхъ;
Онѣгинъ, взорами сверкая,
Изъ-за стола гремя встаетъ;
Всѣ встали. Онъ къ дверямъ идетъ.

XIX.

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бѣжать—
Нельзя никакъ; нетерпѣливо
Метаясь, хочеть закричать—
Не можетъ; дверь толкнулъ Евгенийъ—
И взорамъ адскихъ привидѣній
Явилась дѣва; ярый смѣхъ
Раздался дико; очи всѣхъ,
Копыта, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавыя языки,
Рога и пальцы костяные—
Все указываетъ на нее,
И всѣ кричатъ: „мое! мое!“

XX.

— Мое!—сказалъ Евгенийъ грозно,
И шайка вся сокрылась вдругъ;
Осталась во тьмѣ морозной
Младая дѣва съ нимъ самъ-другъ;
Онѣгинъ тихо увлекаетъ
Татьяну въ уголъ и слагаетъ
Ее на шаткую скамью,
И клонить голову свою
Къ ней на плечо; вдругъ Ольга вхо-
дитъ,
За нею Ленскій; свѣтъ блеснулъ;
Онѣгинъ руку замаянулъ

И дико онъ очами бродить,
И незванныхъ гостей бранить;
Татьяна чуть жива лежитъ.

XXI.

Споръ громче, громче; вдругъ Ев-
геній
Хватаетъ длинный ножъ—и вмигъ
Поверженъ Ленскій. Страшно тѣни
Стустились; нестерпимый крикъ
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня въ ужасѣ проснулась...
Глядитъ, ужъ въ комнатѣ свѣтло;
Въ окнѣ сквозъ мерзлое стекло
Зари багряный лучъ играетъ;
Дверь отворилась. Ольга къ ней,
Авроры сѣверной алѣй
И легче ласточки, влетаетъ;
„Ну, говорить: скажи жъ ты мнѣ,
Кого ты видѣла во снѣ?“

XXV.

Но вотъ багряною рукою
Заря отъ утреннихъ долинъ
Выводитъ съ солнцемъ за собою
Веселый праздникъ именинъ.
Съ утра домъ Лариной гостями
Весь полонъ; цѣлыми семьями
Сосѣди сѣхались въ возкахъ,
Въ кибиткахъ, въ бричкахъ и въ са-
няхъ.
Въ передней толкотня, тревога;
Въ гостиной встрѣча новыхъ лицъ;
Лай мосекъ, чмоканье дѣвицъ,
Шумъ, хохотъ, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилицъ крикъ и плачь дѣтей.

XXVI.

Съ своею супругою дородной
Приѣхалъ толстый Пустяковъ;
Гвоздинъ, хозяинъ превосходный,
Владѣлецъ нищихъ мужиковъ;
Скотинины, чета сѣдая,
Съ дѣтьми всѣхъ возрастовъ, считая
Отъ тридцати до двухъ годовъ;
Уѣздный франтикъ Пѣтушковъ;

Мой братъ двоюродный, Буяновъ,
Въ пуху, въ картузѣ съ козырькомъ
(Какъ вамъ, конечно, онъ знакомъ),
И отставной совѣтникъ Фляновъ,
Тяжелый сплетникъ, старый плутъ,
Обжора, ваяточникъ и шутъ.

XXVII.

Съ семьей Панфила Харликова
Пріѣхалъ и москѣ Трике,
Острякъ, недавно изъ Тамбова,
Въ очкахъ и въ рыжемъ парикѣ.
Какъ истинный французъ, въ карманѣ
Трике привезъ куплетъ Татьянѣ
На голосъ, знаемый дѣтми:
Reveillez-vous, belle endormie.
Межъ ветхихъ пѣсенъ альманаха
Былъ напечатанъ сей куплетъ;
Трике, догадливый поэтъ,
Его на свѣтъ явилъ изъ праха,
И смѣло—вмѣсто *belle Nina*—
Поставилъ *belle Tatiana*.

XXVIII.

И вотъ изъ ближняго посада,
Созрѣвшихъ барышень кумиръ,
Уздныхъ матушекъ отрада,
Пріѣхалъ ротный командиръ;
Вошелъ... Ахъ, новость, да какая!
Музыка будетъ полковая!
Полковникъ самъ ее послалъ.
Какая радость: будетъ балъ!
Дѣвчонки прыгаютъ заранѣ;
Но кушать подали. Четой
Идутъ за столъ рука съ рукой;
Тѣснятся барышни къ Татьянѣ,
Мужчины противъ и, крестясь,
Толпа жужжитъ, за столъ садясь.

XXIX.

На мигъ умолки разговоры;
Уста жуютъ. Со всѣхъ сторонъ
Гремятъ тарелки и приборы,
Да рюмокъ раздается звонъ,
Но скорѣ гости понемногу
Подъемяютъ общую тревогу.
Никто не слушаетъ, кричатъ,
Смѣются, спорятъ и пищатъ.
Вдругъ двери настежь. Ленскій входитъ

И съ нимъ Онѣгинъ. „Ахъ, Творецъ!“
Кричитъ хозяйка: „наконецъ!“
Тѣснятся гости; всякъ отводитъ
Приборы, стулья поскорѣй;
Зовутъ, сажаютъ двухъ друзей.

XXX.

Сажаютъ прямо противъ Тани,
И утренней луны блѣднѣй,
И трепетнѣй гонимой лани,
Она темнѣющихъ очей
Не подымаетъ: пышетъ бурно
Въ ней страстный жаръ; ей душно, дурно;
Она привѣтствій двухъ друзей
Не слышитъ; слезы изъ очей
Хотятъ ужъ капать; ужъ готова
Бѣдняжка въ обморокъ упасть,
Но воля и разсудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишекомъ
И усидѣла за столомъ.

XXXI.

Трагичервическихъ явленій,
Дѣвичьихъ обмороковъ, слезъ
Давно терпѣть не могъ Евгений:
Довольно онъ ихъ перенесъ.
Чудакъ, попавъ на пиръ огромный,
Ужъ былъ сердитъ. Но дѣвы томной
Замѣтя трепетный порывъ,
Съ досады взоры опустивъ,
Надулся онъ и, негодуя,
Поклялся Ленскаго забѣсить
И ужъ порядкомъ отомстить.
Теперь, заранѣ торжествуя,
Онъ сталъ чертить въ душѣ своей
Карикатуры всѣхъ гостей.

Чтобъ сорвать на Ленскомъ свою
влость, Онѣгинъ сталъ ухаживать
за Ольгой. Ленскій увидалъ въ этомъ желаніе
Онѣгина соблазнить любимую имъ
дѣвушку. Возмущенный его низостью, желая
опаси Ольгу, онъ вызвалъ Онѣгина
на дуэль.

Онѣгинъ былъ недоволенъ такимъ
серьезнымъ оборотомъ дѣла и пенялъ на
себя за свое поведеніе, но исправить своей
ошибки онъ не видѣлъ возможности,—
отказаться отъ дуэли онъ считалъ не-
приличнымъ.

Онъ могъ бы чувства обнаружить,
А не щетиниться какъ звѣрь;
Онъ долженъ былъ обезоружить
Младое сердце. „Но теперь
Ужъ поздно; время улетѣло...
Къ тому жь—онъ мыслить—въ это дѣло
Вмѣшался старый дуэлистъ;
Онъ золь, онъ сплетникъ, онъ рѣчишь...
Конечно, быть должно презрѣнье
Цѣной его забавныхъ словъ;
Но шопотъ, хохотня глупцовъ...“
И вотъ общественное мнѣнье!
Пружина чести—нашъ кумиръ!
И вотъ на чемъ вертится мѣръ!

Онѣгинъ принялъ вызовъ Ленскаго.
Ленскій весь вечеръ наканунѣ дуэли былъ
заволнованъ; между прочимъ, онъ сочи-
нилъ стихи:

„Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущій мнѣ готовитъ?
Его мой взоръ напрасно ловить;
Въ глубокой мглѣ таится онъ.
Нѣтъ нужды; правъ судьбы законъ.
Паду ли я стрѣлой прозвенный,
Иль мимо пролетитъ она,
Все благо: бдѣнія и сна
Приходить часъ опредѣленный;
Благословенъ и день заботъ,
Благословенъ и тьмы приходъ!

XXII.

„Блеснетъ завтра лучъ денницы
И заиграетъ яркій день;
А я, быть можетъ, я гробницы
Сойду въ таинственную сѣнь,
И память юнаго поэта
Поглотитъ медленная Лета,
Забудетъ мѣръ меня; но ты
Придешь ли, дѣва красоты,
Слезу пролить надъ ранней урной
И думать: онъ меня любилъ,
Онъ мнѣ единой посвятилъ
Разсвѣтъ печальный жизни бурной!..
Сердечный другъ, желанный другъ,
Приди, приди: я—твой супругъ!...“

XXIII.

Такъ онъ писалъ темно и вяло
(Что романтизмомъ мы зовемъ,
Хоть романтизма тутъ нисколько
Не вижу я; да что намъ въ томъ?)
И наконецъ, передъ зарею,
Склонясь усталой головою,
На модномъ словѣ идеалъ
Тихонько Ленскій задремалъ;
Но только соннымъ обаяньемъ
Онъ позабылся,—ужъ сосѣдъ
Въ безмолвный входитъ кабинетъ
И будить Ленскаго воззваньемъ:
„Пора вставать: седьмой ужъ часъ!
Онѣгинъ, вѣрно, ждетъ ужъ насъ“...

На дуэли Ленскій былъ убитъ.

XXXI.

На грудь кладетъ тихонько руку
И падаетъ. Туманный взоръ
Изображаетъ смерть, не муку.
Такъ медленно по скату горъ,
На солнцѣ искрами блистая,
Спадаетъ глыба снѣговая.
Мгновеннымъ холодомъ облитъ,
Онѣгинъ къ юношѣ спѣшитъ,
Глядитъ, зоветъ его... напрасно:
Его ужъ нѣтъ. Младой пѣвецъ
Нашелъ безвременный конецъ!
Дохнула буря, цвѣтъ прекрасный
Увялъ на утренней зарѣ,
Потухъ огонь на алтарѣ!

XXXII.

Недвижимъ онъ лежалъ, и страненъ
Былъ томный взоръ его чела.
Подъ грудь онъ былъ на вылетъ ра-
ненъ;
Дымясь, изъ раны кровь текла.
Тому назадъ одно мгновенье,
Въ семь сердецъ билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипѣла кровь;
Теперь, какъ въ домѣ опустѣломъ,
Все въ немъ и тихо, и темно—

Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окна мѣломъ
Забѣлены. Хозяйки нѣтъ.
А гдѣ? Богъ вѣсть. Пропалъ и слѣдъ!

XXXVI.

Друзья мои, вамъ жаль поэта:
Во цвѣтѣ радостныхъ надеждъ,
Ихъ не свершивъ еще для свѣта,
Чуть изъ младенческихъ одеждъ—
Увялъ! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье
И чувствъ, и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ?
Гдѣ бурныя любви желанья
И жажда знаній и труда,
И страхъ порока и стыда,
И вы, завитыя мечтанья,
Вы, призракъ жизни неземной,
Вы, сны поэзіи святой!

XXXVII.

Быть можетъ, онъ для блага міра,
Иль хотъ для славы былъ рожденъ;
Его умолкнувшая лира
Гремучій, непрерывный звонъ
Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гимнъ временъ,
Благословенія племенъ.

XXXVIII.

А можетъ быть и то: поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.
Прошли бы юношества лѣта,
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ.
Во многомъ онъ бы измѣнился,
Разстался бъ съ музами, женился;
Въ деревнѣ, счастливъ и рогатъ,
Носилъ бы стеганный халатъ;
Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,
Попагру бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,

Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ,
И наконецъ въ своей постели
Скончался бъ посреди дѣтей,
Плаксивыхъ бабъ и лѣкарей.

XL.

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовникъ молодой,
Поэтъ, задумчивый мечтатель,
Убить пріятельской рукою!
Есть мѣсто: влѣво отъ селенья,
Гдѣ жилъ питомецъ вдохновенья,
Двѣ сосны корнями срослись;
Подъ ними струйки явились
Ручья сосѣдственной долины.
Тамъ пахарь любить отдыхать,
И жницы въ волны погружать.
Приходятъ звонкіе кубшники;
Тамъ, у ручья, въ тѣни густой,
Поставленъ памятникъ простой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

VI.

Тамъ виденъ камень гробовой
Въ тѣни двухъ сосенъ устарѣлыхъ.
Пришельцу надпись говоритъ:
„Владиміръ Ленскій здѣсь лежитъ,
Погибшій рано смертью смѣлыхъ,
Въ такой-то годъ, такихъ-то лѣтъ.
Покойся, юноша-поэтъ!“

.

VII.

На вѣтви сосны преклоненной,
Бывало, ранній вѣтерокъ
Надъ этой урною смиренной
Качалъ таинственный вѣнокъ;
Бывало, въ поздніе досуги
Сюда ходили двѣ подруги,
И на могилѣ, при лунѣ,
Обнявшись, плакали онѣ.
Но нынѣ... памятникъ умный
Забуть. Къ нему привычный слѣдъ
Заглохъ. Вѣнка на вѣтви нѣтъ;
Одинъ подъ нимъ, сѣдой и хилый,
Пастухъ попрежнему поетъ
И обувь бѣдную плететъ.

VIII. IX. X.

Мой бѣдный Ленскій! называя,
Недолго плакала она.
Увы! невѣста молодая
Своей печали не вѣрна.
Другой увлекъ ея вниманье,
Другой успѣлъ ея страданье
Любовной лестью усыпить;
Уланъ умѣлъ ее плѣнить,
Уланъ любимъ ея душою...
И вотъ, ужъ съ нимъ передъ алтаремъ
Она стыдливо подъ вѣнцомъ
Стоитъ съ поникшей головою,
Съ огнемъ въ потушенныхъ очахъ,
Съ улыбкой легкой на устахъ.

XI.

Мой бѣдный Ленскій! за могилой,
Въ предѣлахъ вѣчности глухой,
Смутился ли пѣвецъ унылый
Измѣны властью роковой?
Или надъ Летою усыпленный,
Поэтъ, безчувствіемъ блаженный,
Ужъ не смущается ничѣмъ,
И міръ ему закрыть и нѣтъ?..
Такъ равнодушное забвенье
За гробомъ ожидаетъ насъ.
Враговъ, друзей, любовницъ гласъ
Вдругъ молкнетъ. Про одно имѣнье
Наслѣдниковъ сердитый хоръ
Заводитъ непристойный споръ.

Татьяна проникаетъ въ пустой домъ
Онѣгина и пересматриваетъ его библіотеку.

XXI.

... Черезъ день
Ужъ утромъ рано вновь явилась
Она въ оставленную сѣнь,
И въ молчаливомъ кабинетѣ,
Забывъ на время все на свѣтѣ,
Осталась наконецъ одна,
И долго плакала она.
Потомъ за книги принялася.
Сперва ей было не до нихъ;
Но показался выборъ ихъ
Ей страненъ. Чтенью предалася

Татьяна жадною душой:
И ей открылся міръ иной.

XXII.

Хотя мы знаемъ, что Евгений
Издавна чтенье разлюбилъ;
Однакожъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ;
Пѣвца Гаура и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безправственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданный безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящій въ дѣйствиіи пустомъ.

XXIV.

И начинается понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чуждаеъ печальный и опасный,
Созданье ада, иль небесъ;
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?..
Ужъ не пародія ли онъ?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I.

Въ тѣ дни, когда въ садахъ лица
Я безмятежно распѣвалъ,
Читалъ охотно Апудея,
А Цицерона не читалъ;
Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ,
Весной, при кликахъ лебединыхъ,
Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ,

Являться муза стала мнѣ.
Моя студенческая келья
Вдругъ оварилась: муза въ ней
Открыла пиръ молодыхъ затѣй,
Воспѣла дѣтскія веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

II.

И свѣтъ ее съ улыбкой встрѣтилъ:
Успѣхъ насъ первый окрылилъ;
Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ.

III.

И я, въ законъ себя вмѣняя
Страстей единый производъ,
Съ толпою чувства раздѣляя,
Я музу рѣвую привелъ
На шумъ пировъ и буйныхъ споровъ,
Грозы полуночныхъ дозоровъ;
И къ нимъ въ безумные пиры
Она несла свои дары,
И, какъ вакханочка, рѣвилась,
За чашей пѣла для гостей,
И молодежь минувшихъ дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился межъ друзей
Подругой вѣтренной моей.

IV.

Но я отсталъ отъ ихъ союза
И вдалѣ бѣжалъ... она за мной.
Какъ часто ласковая муза
Мнѣ улаждала путь нѣмой
Волшебствомъ тайнаго разказа!
Какъ часто по скаламъ Кавказа,
Она Ленорой, при лунѣ,
Со мной сказала на конѣ!
Какъ часто по брегамъ Тавриды
Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шумъ морской,
Немолчный шопотъ Нереиды,
Глубокій, вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ отцу міровъ.

V.

И, позабывъ столицы дальнѣй
И блескъ, и шумные пиры,
Въ глуши Молдавіи печальной
Она смиренные шатры
Племень бродящихъ посѣщала,
И между ними одичала,
И позабыла рѣчь боговъ
Для скудныхъ странныхъ языковъ,
Для пѣсень степи, ей любовной...
Вдругъ измѣнилось все кругомъ:
И вотъ она въ саду моемъ
Явилась барышней узадной,
Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французскою книжкою въ рукахъ.

Мать повела тоскующую Татьяну въ
Москву, гдѣ она скоро и вышла замужъ
за важнаго генерала и перѣехала въ Пе-
тербургъ. Прошло нѣсколько лѣтъ.

Убѣжавъ изъ деревни послѣ смерти
Ленскаго, Онѣгинъ нигдѣ не могъ найти
себя мѣста, много странствовалъ; случайно
встрѣтился онъ съ Татьяной на балу въ
Петербургъ.

VI.

И нынѣ музу я впервые
На свѣтскій раутъ привожу,
На прелести ея степныя
Съ ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тѣсный рядъ аристократовъ,
Военныхъ франтовъ, дипломатовъ
И гордыхъ дамъ она скользитъ;
Вотъ, сѣла тихо и глядитъ,
Любуясь шумной тѣснотою,
Мельканьемъ платьевъ и рѣчей,
Явленьемъ медленныхъ гостей,
Передъ хозяйкой молодою,
И темной рамою мужчинъ
Вкругъ дамъ, какъ около картинъ.

XIV.

Но вотъ толпа заколебалась,
По залѣ шопотъ пробѣжалъ...
Къ хозяйкѣ дама приближалась,
За нею важный генералъ.

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Безъ взора наглаго для всѣхъ,
Безъ притязаній на успѣхъ,
Безъ этихъ маленькихъ ужимокъ,
Безъ подражательныхъ затѣй...
Все тихо, просто было въ ней.
Она казалась вѣрный снимокъ
Du comme il faut... Шишковъ! прости:
Не знаю, какъ перевести.

XVII.

„Ужели, думаетъ Евгений:
„Ужели она? Но точно... Нѣтъ...
Какъ? изъ глуши степныхъ селеній...“
И неотвязчивый лорнетъ
Онъ обращаетъ поминутно
На ту, чей видъ напомнилъ смутно
Ему забытыя черты.
„Скажи мнѣ, князь, не знаешь ты,
Кто тамъ въ малиновомъ беретѣ
Съ посломъ испанскимъ говорить?“
Князь на Олѣгина глядитъ:
—Ага! давно жъ ты не былъ въ свѣтѣ.
Постой, тебя представляю я.—
„Да кто жъ она?“—Жена моя.

XVIII.

„Такъ ты женатъ! не зналъ я ранѣ!
Давно ли?—Около двухъ лѣтъ.—
„На комъ?“—На Лариной.—„Татьянѣ?“
—Ты ей знакомъ?—„Я имъ сосѣдъ“.
—О, такъ пойдемъ же.—Князь подхо-
дитъ
Къ своей женѣ, и ей подводитъ
Родню и друга своего.
Княгиня смотритъ на него...
И что ей душу ни смутило,
Какъ сильно ни была она
Увлечена, поражена,
Но ей ничто не измѣнило:
Въ ней сохранился тотъ же тонъ,
Былъ такъ же тихъ ея поклонъ.

XXVIII.

Какъ измѣнилася Татьяна!
Какъ твердо въ роль свою вошла!

Какъ утѣснительнаго сана
Приемы скоро приняла!
Кто бъ смѣлъ искать дѣвчонки нѣжной
Въ сей величавой, въ сей небрежной
Законодательницѣ залъ?
И онъ ей сердце волновалъ!
Объ немъ она во мракѣ ночи,
Пока Морфей не прилетитъ,
Бывало, дѣвственно грустить,
Къ лунѣ подымаетъ томны очи,
Мечтая съ нимъ когда-нибудь
Свершить смиренной жизни путь!

XXXIX.

Любви всѣ возрасты покорны;
Но юнымъ, дѣвственнымъ сердцамъ
Ея порывы благотворны,
Какъ бури вѣсныя полямъ.
Въ дождѣ страстей они свѣжѣютъ,
И обновляются, и зрѣютъ—
И жизнь могучая даетъ
И пышный цвѣтъ, и сладкій плодъ.
Но въ возрастъ поздній и бесплодный,
На поворотѣ нашихъ лѣтъ,
Печаленъ страсти мертвый слѣдъ:
Такъ бури осени холодной
Въ болото обращаютъ лугъ
И обнажаютъ лѣсъ вокругъ.

XXX.

Сомнѣнья нѣтъ: увы! Евгений
Въ Татьяну, какъ дитя, влюбленъ;
Въ тоскѣ любовныхъ помышлений
И день, и ночь проводить онъ.
Ума не внемля строгимъ пенямъ,
Къ ея крыльцу, стекляннымъ снѣгамъ
Онъ подъѣзжаетъ каждый день;
За ней онъ гонится, какъ тѣнь:
Онъ счастливъ, если ей накинеть
Боя пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ея руки, или раздвинетъ
Предъ нею пестрый полкъ ливрей,
Или платокъ подниметъ ей.

Олѣгинъ пишетъ къ ней письмо.

Письмо Онѣгина къ Татьянѣ.

„Предвижу все: васъ оскорбить
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презрѣнье
Вашъ гордый взглядъ изобразить!
Чего хочу? Съ какою цѣлью
Открою душу вамъ свою?
Какому злобному веселью,
Быть можетъ, поводъ подаю!

„Случайно васъ когда-то встрѣта,
Въ васъ искру нѣжности замѣта,
Я ей повѣрить не посмѣлъ,
Привычекъ милой не далъ ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотѣлъ.
Еще одно насъ разлучило...
Несчастной жертвой Ленскій палъ...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвалъ;
Чужой для всѣхъ, ничѣмъ не связанъ,
Я думалъ: вольность и покой—
Замѣна счастью. Боже мой!
Какъ я ошибся, какъ наказанъ!

„Нѣтъ, поминутно видѣть васъ,
Повсюду слѣдовать за вами,
Улыбку устъ, движеніе глазъ
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вамъ долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Предъ вами въ мукахъ замирать,
Блѣднѣть и гаснуть... вотъ блаженство!

„И я лишень того: для васъ
Тащусь повсюду наудачу;
Мнѣ дорогъ день, мнѣ дорогъ часъ;
А я въ напрасной скукѣ трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И такъ ужъ тягостны они.
Я знаю: вѣкъ ужъ мой измѣренъ;
Но, чтобъ продлилась жизнь моя,
Я утромъ долженъ быть увѣренъ,
Что съ вами днемъ увижусь я...

„Боюсь: въ мольбѣ моей смиренной
Увидить вашъ суровый взоръ
Затѣи хитрости презрѣнной—
И слышу гнѣвный вашъ укоръ.
Когда бъ вы знали, какъ ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать—и разумомъ всечасно

Смирять волненіе въ крови;
Желать обнять у васъ колѣни
И, зарыдавъ, у вашихъ ногъ
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы могъ;
А между тѣмъ притворнымъ хладомъ
Вооружить и рѣчь, и взоръ,
Вести спокойный разговоръ,
Глядѣть на васъ веселымъ взглядомъ!...

„Но такъ и быть: я самъ себя
Противиться не въ силахъ болѣ;
Все рѣшено: я въ вашей волѣ,
И предаюсь моей судьбѣ“.

XXXIII.

Отвѣта нѣтъ. Онъ вновь посланье.
Второму, третьему письму
Отвѣта нѣтъ. Въ одно собранье
Онъ ѣдетъ; лишь вошелъ... ему
Она на встрѣчу. Какъ сурова!
Его ни видить, съ нимъ ни слова;
У! какъ теперь окружена
Крещенскимъ холодомъ она!
Какъ удержать негодованье
Уста упрямые хотятъ!
Вперилъ Онѣгинъ зоркій взглядъ:
Гдѣ, гдѣ смятенье, состраданье?
Гдѣ пятна слезъ?... Ихъ нѣтъ, ихъ
нѣтъ!
На семъ лицѣ лишь гнѣва слѣдъ...

XXXIX.

Дни мчались; въ воздухѣ нагрѣтомъ
Ужъ разрѣшалася зима.
И онъ не сдѣлался поэтомъ,
Не умеръ, не сошелъ съ ума.
Весна живить его: впервые
Свои покои запертые,
Гдѣ зимовалъ онъ, какъ сурокъ,
Двойныя окна, камелекъ
Онъ яснымъ утромъ оставляетъ—
Несется вдоль Невы въ саняхъ.
На синихъ, изсѣченныхъ льдахъ
Играетъ солнце; грязно таетъ
На улицахъ разрытый снѣгъ.
Куда по немъ свой быстрый бѣгъ

XI.

Стремить Онѣгинъ? Вы заранѣ
Ужъ угадали; точно такъ:
Примчался къ ней; къ своей Татьянѣ,
Мой неисправленный чудакъ.
Идетъ, на мертвеца похожій.
Нѣтъ ни одной души въ прихожей.
Онъ въ залу, дальше—никого.
Дверь отворилъ онъ. Что жъ его
Съ такою силой поражаетъ?
Княгиня передъ нимъ, одна,
Сидитъ неубрана, блѣдна,
Письмо какое-то читаетъ,
И тихо слезы льетъ рѣкой,
Опершись на руку щекой.

XII.

О, кто бъ нѣмыхъ ея страданій
Въ сей быстрый мигъ не прочиталъ?
Кто прежней Тани, бѣдной Тани
Теперь въ княгинѣ бъ не узналъ!
Въ тоскѣ безумныхъ сожалѣній
Къ ея ногамъ упалъ Евгений;
Она вздрогнула, и молчитъ,
И на Онѣгина глядитъ
Безъ удивленія, безъ гнѣва...
Его больной, угасшій взоръ,
Молящій видъ, нѣмой укоръ—
Ей внятно все. Простая дѣва,
Съ мечтами, сердцемъ прежнихъ дней,
Теперь опять воскресла въ ней!

XLXII.

Она его не подымаетъ
И, не сводя съ него очей,
Отъ жадныхъ устъ не отнимаетъ
Безчувственной руки своей...
О чемъ теперь ея мечтанье?
Проходитъ долгое молчанье,
И тихо, наконецъ, она:
„Довольно, встаньте. Я должна
Вамъ объясниться откровенно.
Онѣгинъ, помните ль тотъ часъ,
Когда въ саду, въ аллеѣ, насъ
Судьба свела, и такъ смиренно
Урокъ вашъ выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII.

„Онѣгинъ, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила васъ; и что же?
Что въ сердцѣ вашемъ я нашла,
Какой отвѣтъ? Одну суровость.
Не правда ль? Вамъ была не новость
Смирненной дѣвочки любовь?
И нынче—Боже!—стынетъ кровь,
Какъ только вспомню взглядъ холод-
ный

И эту проповѣдь... Но васъ
Я не виню; въ тотъ страшный часъ
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV.

„Тогда—не правда ли?—въ пустынѣ,
Вдали отъ суетной молвы,
Я вамъ не правила... Что жъ нынѣ
Меня преслѣдуете вы?
Зачѣмъ у васъ я на примѣтъ?
Не потому ль, что въ высшемъ свѣтѣ
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна;
Что мужъ въ сраженьяхъ изувѣченъ;
Что насъ за то ласкаетъ дворъ?
Не потому ль, что мой позоръ
Теперь бы всѣми былъ замѣченъ,
И могъ бы въ обществѣ принести
Вамъ соблазнительную честь?

XLV.

„Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сихъ поръ,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгій разговоръ,
Когда бъ въ моей лишь было власти,
Я предпочла бъ обидной страсти
И этимъ письмамъ, и слезамъ.
Къ моимъ младенческимъ мечтамъ
Тогда имѣли вы хоть жалость,
Хоть уваженіе къ лѣтамъ...
А нынче!.. Что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? Какая малость!
Какъ, съ вашимъ сердцемъ и умомъ,
Быть чувства мелкаго рабомъ?

XLVI.

„А мнѣ, Онѣгинъ пышность эта—
Постылой жизни мишура,
Мои успѣхи въ вихрѣ свѣта,
Мой модный домъ и вечера,—
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ,
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище,
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ,
Онѣгинъ, видѣла я васъ,
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моею..

XLVII.

„А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!.. Но судьба моя
Ужъ рѣшена. Неосторожно,
Быть можетъ, поступила я:
Меня съ слезами заклинаній
Молила мать; для бѣдной Тани
Всѣ были жребіи равны...
Я вышла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу, меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть
И гордость, и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду вѣкъ ему вѣрна“.

XLIX.

Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,
Другъ, недругъ, я хочу съ тобой
Разстаться нынче, какъ пріятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здѣсь ни искалъ въ строфахъ не-
брежныхъ,—
Воспоминаній ли мятежныхъ,
Отдохновенья ль отъ трудовъ,
Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,
Иль грамматическихъ ошибокъ,—
Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты,
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальныхъ ошибокъ,
Хотя крупицу могъ найти.
Засимъ—разстанемся, прости!

L.

Прости жъ и ты, мой спутникъ стран-
ный,
И ты, мой вѣрный идеалъ,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый трудъ. Я съ вами зналъ
Все, что завидно для поэта:
Забвеніе жизни въ буряхъ свѣта,
Бесѣду сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ снѣ
Явились впервые мнѣ—
И далъ свободного романа
Я сквозь магическій кристаллъ
Еще неясно различалъ.

Мѣдный Всадникъ.

Петербургская повѣсть.

Вступленіе.

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ волнъ
И вдаль глядѣлъ. Предъ нимъ широкое
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ.

И думалъ Онъ:

„Отсель грозить мы будемъ шведу;
Здѣсь будетъ городъ заложень,
На-зло надменному сосѣду;
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ—
И запируемъ на просторѣ“.

Прошло сто лѣтъ—и юный градъ,
Полночныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:

Гдѣ прежде финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ, нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ
Громады стройныя тѣнятся
Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одѣлася Нева;
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова—
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфиросная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье;
Люблю твой строгій, стройный видъ,
Невы державное теченье,
Береговой ея гранитъ,
Твоихъ оградъ узоръ чугунный,
Твоихъ задумчивыхъ ночей
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный,
Когда я въ комнатѣ моей
Пишу, читаю безъ лампы,
И ясны спящія громады
Пустынныхъ улицъ, и свѣтла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотыя небеса,
Одна заря смѣнить другую
Спѣшитъ, давъ ночи полчася;
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздухъ и морозъ,
Вѣтъ санокъ вдоль Невы широкой,
Дѣвочки лица ярче розъ,
И блескъ, и шумъ, и говоръ бѣловъ,
А въ часъ пирушки холостой—
Шипѣнье пѣнистыхъ бокаловъ
И пунша пламень голубой;
Люблю воинственную живость
Потѣшныхъ Марсовыхъ полей,
Пѣхотныхъ ратей и коней
Однообразную красоту;
Въ ихъ стройно-зыблемомъ строю
Лоскутья сихъ знаменъ побѣдныхъ,
Сіянье шапокъ этихъ мѣдныхъ,
Насквозь прострѣленныхъ въ бою;

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дымъ и громъ,
Когда полнощная царица
Даруетъ сына въ царскій домъ,
Или побѣду надъ врагомъ
Россія снова торжествуетъ,
Или, взломавъ свой синій ледъ,
Нева къ морямъ его несетъ.
И, чуя вѣсни дни, ликуеть.

Красуйся, градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Россія!
Да умирится же съ тобой
И побѣжденная стихія:
Вражду и плѣтъ старинный свой
Пусть волны финскія забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вѣчный сонъ Петра!

Была ужасная пора:
Объ ней свѣжо воспоминанье...
Объ ней, друзья мои, для васъ
Начну свое повѣствованье.
Печалень будетъ мой разсказъ...

Часть первая.

Надъ омраченнымъ Петроградомъ
Дышалъ ноябрь осеннимъ хладомъ;

Плеская шумною волной
Въ края своей ограды стройной,
Нева металася, какъ больной
Въ своей постели безпокойной.
Ужъ было поздно и темно;
Сердито бился дождь въ окно,
И вѣтеръ дулъ, печально воя.
Въ то время изъ гостей домой
Пришелъ Евгенийъ молодой...
Мы будемъ нашего героя
Звать этимъ именемъ. Оно
Звучитъ пріятно; съ нимъ давно
Мое перо ужъ какъ-то дружно;
Прозванья намъ его не нужно—
Хотя въ минувши времена
Оно, быть можетъ, и блистало
И подъ перомъ Карамзина
Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало;
Но нынѣ свѣтомъ и молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ въ Колоннѣ, гдѣ-то служить.

Дичится знатныхъ и не тужить
Ни о покойницѣ роднѣ,
Ни о забытой старинѣ.

И такъ, домой пришедъ, Евгенийъ
Страхнулъ шинель, раздѣлся, легъ—
Но долго онъ заснуть не могъ
Въ волненіи разныхъ размышлений.
О чемъ же думалъ онъ? О томъ,
Что былъ онъ бѣденъ; что трудомъ
Онъ долженъ былъ себѣ доставить
И независимость, и честь;
Что могъ бы Богъ ему прибавить
Ума и денегъ; что вѣдь есть
Такіе праздные счастливы,
Ума недалняго, лѣнны,
Которымъ жизнь куда легка!

Что служить онъ всего два года...
Онъ также думалъ, что погода
Не унималась; что рѣка
Все прибывала; что едва ли
Съ Невы мостовъ уже не сняли,
И что съ Парашей будетъ онъ
Дня на два, на три разлученъ.

Такъ онъ мечталъ. И грустно было
Ему въ ту ночь, и онъ желалъ,
Чтобъ вѣтеръ вылъ не такъ уныло,
И чтобы дождь въ окно стучалъ
Не такъ сердито...

Сонны очи

Онъ наконецъ закрылъ. И вотъ,
Рѣдѣетъ мгла ненастной ночи,
И блѣдный день ужъ настаётъ...
Ужасный день!

Нева всю ночь

Рвалась къ морю противъ бури,
Не одолѣвъ ихъ буйной дури...
И спорить стало ей не въ мочь...
Потру надъ ея берегами
Тѣснился кучами народъ,
Любуясь брызгами, горами
И пѣной разъяренныхъ водъ.
Но силой вѣтра отъ залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гнѣвна, бурлива,
И затопляла острова;
Погода пуще свирѣпѣла;
Нева надувалась и ревѣла,
Котломъ хлопоча и клубясь—
И вдругъ, какъ звѣрь, остервенясь,
На городъ кинулась. Предъ нею

Все побѣжало, все вокругъ
Вдругъ опустѣло... Воды вдругъ
Втекли въ подземные подвалы;
Къ рѣшеткамъ хлынули каналы—
И всплылъ Петрополь, какъ Тритонъ,
По поясъ въ воду погруженъ.

Осада! приступъ! Злая волны,
Какъ вору, лѣзутъ въ окна; челны
Съ-разбѣга стекла бьютъ кормой;
Садки подъ мокрой пеленой,
Обломки хижинъ, бревна, кровли,
Товаръ запасливой торговли,
Пожитки блѣдной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба съ размытаго кладбища
Плывутъ по улицамъ!..

Народъ

Зрять Божій гнѣвъ и казни ждеть.
Увы! все гибнетъ: кровь и пища.
Гдѣ будетъ взята?

Въ тотъ грозный годъ

Покойный царь еще Россіей
Со славой правилъ. На балконъ,
Печаленъ, смутенъ, вышелъ онъ,
И молвилъ: „Съ Божіей стихіей
Царямъ не совладать“. Онъ сѣлъ
И, въ думѣ, скорбными очами
На злое бѣдствіе глядѣлъ.
Стояли стогны озерами,
И въ нихъ широкими рѣками
Вливались улицы. Дворецъ
Казался островомъ печальнымъ.
Царь молвилъ—изъ конца въ конецъ,
По ближнимъ улицамъ и дальнымъ,
Въ опасный путь средь бурныхъ водъ
Его пустились генералы
Спасать и страхомъ обуяный,
И дома тонущій народъ.

Тогда на площади Петровой—
Гдѣ домъ въ углу вознесся новый,
Гдѣ надъ возвышеннымъ крыльцомъ
Съ поднятой лапой, какъ живые,
Стоятъ два льва сторожевые—
На звѣрѣ мраморномъ верхомъ,
Безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ,
Сидѣлъ недвижный, страшно блѣдный
Евгений. Онъ страшился, бѣдный,
Не за себя. Онъ не слыхалъ,
Какъ подымался жадный вахъ,
Ему подошвы подмывая,

Какъ дождь ему въ лицо хлесталъ,
Какъ вѣтеръ, буйно завывая,
Съ него и шляпу вдругъ сорвалъ.
Его отчаянные взоры
На край одинъ наведены
Недвижно были. словно горы,
Изъ возмущенной глубины
Вставали волны тамъ и злились;
Тамъ буря выла; тамъ носились
Обломки... Боже, Боже! тамъ—
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива—
Заборъ некрашенный, да ива
И ветхій домикъ: тамъ онъ,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во снѣ
Онъ это видитъ? Иль вся наша
И жизнь ничто, какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землею?
И онъ, какъ будто околдованъ,
Какъ будто къ мрамору прикованъ,
Сойти не можетъ! Вкругъ него
Вода—и больше ничего.
И, обращенъ къ нему спиною
Въ неколебимой вышнѣ
Надъ возмущенною Невой,
Сидитъ съ простертою рукою
Гигантъ на бронзовомъ конѣ.

Часть вторая.

Евгеній пробрался на островъ, гдѣ
былъ домъ его Параша, но дома не ока-
залось Евгенію—

... остановился;
Пошелъ назадъ—и воротился.
Глядѣть... идеть... еще глядѣть:
Вотъ мѣсто, гдѣ ихъ домъ стоитъ;
Вотъ ива. Были здѣсь ворота;
Снесло ихъ, видно. Гдѣ же домъ?
И, полонъ сумрачной заботы,
Все ходитъ, ходитъ онъ кругомъ,
Толкуетъ громко самъ съ собою—
И вдругъ, удара въ лобъ рукою,
Захотѣлъ.

Ночная мгла
На городъ трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И межъ собою толковали
О днѣ минувшемъ.

Утра лучъ

Изъ-за усталыхъ блѣдныхъ тучъ
Блеснулъ надъ тихою столицей—
И не нашелъ уже слѣдовъ
Вѣды вчерашней. Багряницею
Уже покрыто было зло.
Въ порядокъ прежній все вошло.
Уже по улицамъ свободнымъ,
Съ своимъ безчувствіемъ холоднымъ,
Ходилъ народъ. Чиновный людъ,
Покинувъ свой ночной пріютъ,
На службу шелъ. Торгашъ отважный,
Не унывая, открывалъ
Невой ограбленный подвалъ,
Сбираясь свой убытокъ важный
На ближнемъ выместить. Съ дворовъ
Своили лодки.

Графъ Хвостовъ,
Повѣтъ, любимый небесами,
Ужъ пѣлъ безсмертными стихами
Несчастье невскихъ береговъ.
Но бѣдный, бѣдный мой Евгений...
Увы! его смятанный умъ
Противъ ужасныхъ потрясеній
Не устоялъ. Мятѣжный шумъ
Невы и вѣтровъ раздавался
Въ его ухахъ. Ужасныхъ думъ
Безмолвно полонъ, онъ скитался;
Его терзалъ какой-то сонъ.
Прошла недѣля, мѣсяцъ—онъ
Къ себѣ домой не возвращался.

Разъ онъ спалъ
У невской пристани. Дни лѣта
Клонились къ осени. Дышалъ
Ненастный вѣтеръ. Мрачный валъ
Плескалъ на пристань, ропща пени
И бѣясь о гладкія ступени,
Какъ челобитчикъ у дверей
Ему не внемлющихъ судей.
Вѣднѣкъ проснулся. Мрачно было;
Дождь капалъ: вѣтеръ вылъ уныло—
И съ нимъ вдали, во тьмѣ ночной,
Перекинулся часовой...
Вскочилъ Евгений, вспомнилъ живо
Онъ прошлый ужасъ; торопливо
Онъ всталъ, пошелъ бродить, и вдругъ
Остановился и вокругъ
Тихонько сталъ водить очами
Съ боязнью дикой на лицѣ.
Онъ очутился подъ столбами

Большого дома. На крыльцѣ
Съ поднятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо въ темной вышинѣ,
Надъ огражденною скалою,
Гигантъ съ простертою рукою
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ.

Евгеній вздрогнулъ. Прояснились
Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
И мѣсто, гдѣ потопъ игралъ,
Гдѣ волны хищныя толпились,
Бунтуя злобно веруъ него,
И львовъ, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мракѣ мѣдною главою,
Того, чей волей роковой
Надъ моремъ городъ основался...
Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума не чель!
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы?

Кругомъ подножія кумира
Безумецъ бѣдный обошелъ
И взоры дикіе навелъ
На ликъ державца полуміра.
Стѣснилась грудь его. Чело
Къ рѣшеткѣ хладной прилегло,
Глаза подернулись туманомъ,
По сердцу пламень пробѣжалъ,
Вскипѣла кровь, онъ мрачно сталъ
Предъ горделивымъ истуканомъ —
И, зубы стиснувъ, пальцы сжавъ,
Какъ обуянный силой черной:
„Добро, строитель чудотворный!“
Шепнулъ онъ, злобно задрожавъ:
„Ужо тебѣ!“ И вдругъ стремглавъ
Бѣжать пустился. Показалось
Ему, что грознаго царя,
Мгновенно гнѣвомъ возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И онъ по площади пустой
Бѣжить, и слышитъ за собой,
Какъ будто грома грохотанье, —
Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой —
И, озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку въ вышинѣ,
За нимъ несется всадникъ мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ.
И во всю ночь, безумецъ бѣдный
Куда стопы ни обращалъ,
За нимъ повсюду всадникъ мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.

И съ той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
Въ его лицѣ изображалось
Смятеніе; къ сердцу своему
Онъ прижималъ поспѣшно руку,
Какъ бы смирая его муку;
Картузъ изношенный снималъ,
Смущенныхъ глазъ не подымалъ
И шелъ сторонкой. — Островъ малый
На взморье виденъ. Иногда
Причалить съ неводомъ туда
Рыбакъ, на ловлѣ запоздалый,
И бѣдный ужинъ свой варить;
Или чиновникъ посѣтитъ,
Гуляя въ лодкѣ въ воскресенье,
Пустынный островъ. Не взросло
Тамъ ни былинки. Наводненіе
Туда, играя, занесло
Домишко ветхій. Надъ водою
Остался онъ, какъ черный кустъ —
Его прошедшею весною
Свели на баркѣ. Былъ онъ пустъ
И весь разрушенъ. У порога
Нашли безумца моего...
И тутъ же хладный трупъ его
Похоронили — ради Бога.

Сказна о царѣ Салтанѣ, о сынѣ его, славномъ и могучемъ богатырѣ князѣ Гайдонѣ Салтановичѣ, и о прекрасной царевнѣ Лебеди.

Три дѣвицы подѣ окномъ
Пряли поздно вечеркомъ.
„Кабы я была парница,
Говорить одна дѣвица,
То сама на весь бы міръ
Приготовила я пиръ“.
„Кабы я была парница,

Говорить ея сестрица,
То на весь бы міръ одна
Наткала я полотна“.
„Кабы я была царица,
Третья молвила сестрица,
Я бѣ для батюшки-царя
Родила богатыря“.
Только вымолвить успѣла,
Дверь тихонько заскрипѣла,
И въ свѣтлицу входитъ царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Онъ стоялъ позадь забора;
Рѣчь послѣдней по всему
Полюбилася ему.
„Здравствуй, красная дѣвица,
Говорить онъ: будь царица
И роди богатыря
Мнѣ къ исходу сентября.
Вы жѣ, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь изъ свѣтлицы,
Повъжайте вслѣдъ за мной,
Вслѣдъ за мной и за сестрой:
Будь одна изъ васъ ткачиха,
А другая—повариха“.
Въ сѣни вышелъ царь-отецъ.
Всѣ пустились во дворецъ.
Царь недолго собирался:
Въ тотъ же вечеръ обвѣнчался.

Старшія сестры завидовали младшей; между тѣмъ, царь пошелъ на войну; въ его отсутствіе у царицы родился сынъ; Она послала царю радостную вѣсть съ гонцомъ; но ея письмо завистливыя сестры перехватили и написали другое, въ которомъ извѣщали царя, что—

„Родила царица въ ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышенка, не лягушку,
А неведому звѣрюшку“.

Царь, въ отвѣтъ на это извѣстіе, приказалъ подождать его пріѣзда; но сестры и царское письмо подмѣнили другимъ, въ которомъ приказано было погубить царицу съ сыномъ:

И царицу въ тотъ же часъ
Въ бочку съ сыномъ посадили,
Засмолили, покатили
И пустили въ окіянь—
Такъ велѣлъ де царь Салтанъ.

Въ синемъ небѣ звѣзды блещутъ;
Въ синемъ морѣ волны хлещутъ;
Туча по небу идетъ,
Бочка по морю плыветъ.
Словно горькая вдовица,
Плачетъ, бьется въ ней царица;
И растетъ ребенокъ тамъ
Не по днямъ, а по часамъ.
День прошелъ, царица вопить...
А дитя волну торопить:
„Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна:
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морскіе камни точишь,
Топишь берегъ ты земли,
Подымаешь корабли—
Не губи ты нашу душу,
Выплесни ты насъ на сушу!“
И послушалась волна:
Тутъ же на берегъ она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать съ младенцемъ спасена;
Землю чувствуетъ она.
Но изъ бочки кто ихъ вынетъ?
Богъ неужто ихъ покинетъ?
Сынъ на ножки поднялся,
Въ дно головой уперся,
Понатужился немножко:
„Какъ бы здѣсь на дворъ окошко
Намъ продѣлать?“ молвилъ онъ,
Вышибъ дно и вышелъ вонъ.

Царевичъ дѣлаетъ себѣ лужъ; ему удается убить коршуна, который, чуть было не погубилъ лебедь. Спасенная лебедь провѣщала себѣ царевичу:

„Ты, царевичъ—мой спаситель,
Мой могучій избвитель,
Не тужи, что за меня
Бѣсть не будешь ты три дня,
Что стрѣла пропала въ морѣ;
Это горе—все не горе.
Отплачу тебѣ добромъ,
Сослужу тебѣ потомъ:
Ты не лебедь вѣдь избавилъ,—
Дѣвицу въ живыхъ оставилъ,
Ты не коршуна убилъ,—
Чародѣя пострѣлилъ.
Ввѣкъ тебя я не забуду,

Ты найдешь меня повсюду.
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись“.

Улетѣла лебедь-птица,
А царевичъ и царица,
Цѣлый день проводивъ такъ,
Лечь рѣшились натошакъ.—
Вотъ, открылъ царевичъ очи,
Отрясая грезы ночи,
И, дивясь, предъ собой
Видитъ городъ онъ большой;
Стѣны съ частыми зубцами,
И за бѣлыми стѣнами
Блещутъ маковки церквей
И святыхъ монастырей.
Онъ скорѣй царицу будить;
Та какъ ахнетъ!.. „То ли будетъ!
Говоритъ онъ: вижу я—
Лебедь тѣшится моя“.
Мать и сынъ идутъ ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Отглушительный трезвонъ
Поднялся со всѣхъ сторонъ:
Къ нимъ народъ на встрѣчу валить,
Хоръ церковный Бога хвалить;
Въ колымагахъ золотыхъ
Пышный дворъ встрѣчаетъ ихъ;
Всѣ ихъ громко величаютъ
И царевича вѣнчаютъ
Князей шапкой, и главой
Возглашаютъ надъ собой;
И среди своей столицы,
Съ разрѣшенія царицы,
Въ тотъ же день сталъ княжить онъ,
И нарека: князь Гвидонъ.

Царевичъ соскучился по отцѣ. Лебедь
обратила его въ комара, и онъ на кораблѣ
добрался до царства Салтана:

Вѣтеръ весело шумитъ;
Судно весело бѣжитъ
Мимо острова Баяна,
Къ царству славнаго Салтана,
И желанная страна
Вотъ ужъ издали видна.
Вотъ на берегъ вышли гости;
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости—
И за ними во дворецъ
Полетѣлъ нашъ удалецъ.

Видитъ: весь сіяя въ златѣ,
Царь Салтанъ сидитъ въ палатѣ
На престолѣ и вѣнцѣ,
Съ грустной думой на лицѣ;
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидятъ
И въ глаза ему глядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаетъ
За свой столъ и вопрошаетъ:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ѣздили? куда?
Ладно ль за моремъ, или худо?
И какое въ свѣтѣ чудо?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
„Мы объѣхали весь свѣтъ;
За моремъ житье не худо,
Въ свѣтѣ жъ вотъ какое чудо:
Въ морѣ островъ былъ крутой,
Непривольный, нежилой;
Онъ лежалъ пустой равниной;
Росъ на немъ дубокъ единый;
А теперь стоитъ на немъ
Новый городъ со дворцомъ,
Съ златоглавыми церквами,
Съ теремами и садами,
А сидитъ въ немъ князь Гвидонъ;
Онъ прислалъ тебѣ поклонъ“.
Царь Салтанъ дивится чуду;
Молвитъ онъ: „Коль живъ я буду,
Чудный островъ навѣщу,
У Гвидона погощу“.
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотятъ его пустить
Чудный островъ навѣстить.
„Ужъ диковинка, ну, право“,
Подмигнувъ другимъ лукаво,
Повариха говоритъ:
„Городъ у моря стоять!
Знайте, вотъ, что не бездѣлка:
Ель въ лѣсу, подъ елью бѣлка;
Бѣлка пѣсенки поетъ
И орѣшки все грызетъ,
А орѣшки не простые,—
Все скорлупки золотыя,—
Ядра—чистый изумрудъ.
Вотъ, что чудомъ-то зовутъ“.
Чуду царь Салтанъ дивится;
А комаръ-то злится, злится—

И впился комаръ какъ-разъ
Тетей прямо въ правый глазъ.
Повариха поблѣднѣла,
Обмерла и окривѣла.
Слуги, сватья и сестра
Съ крикомъ ловятъ комара.
„Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!“ А онъ въ окошко,
Да спокойно въ свой удѣлъ
Черезъ море полетѣлъ.

Лебедь добываетъ царевичу чудесную
бѣлку, которая—

Измурдець вынимаетъ,
А скорлупку собираетъ,
Кучки ровныя кладетъ,
И съ присвисточкой поетъ
При честномъ при всемъ народѣ:
„Во саду ли, въ огородѣ“.
Измумился князь Гвидонъ.
„Ну, спасибо, молвилъ онъ:
Ай-да лебедь—дай ей, Боже,
Что и мнѣ, веселье то же“.—
Князь для бѣлочки потомъ
Выстроилъ хрустальный домъ,
Караулъ къ нему приставилъ
И притомъ дѣла заставилъ
Строгий счетъ орѣхамъ вестъ:
Князю—прибылъ, бѣлкѣ—честь.

Во второй разъ царевичъ въ видѣ ко-
мара посѣтилъ отца. Салтанъ выслушалъ
рассказъ корабельщиковъ о чудесной
бѣлкѣ и хотѣлъ поѣхать и посмотреть,

А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотѣть его пустить
Чудный островъ навѣстить.
Усмѣхнувшись исподтиха,
Говорить царю ткачиха:
„Что тутъ дивнаго? ну, вотъ!
Бѣлка камушки грыветъ,
Мечетъ золото, и въ груди
Загребаетъ изумруды;
Этимъ насъ не удивишь.
Правду ль, нѣтъ ли говоришь,
Въ свѣтѣ есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипитъ, подыметъ вой,
Хлынетъ на берегъ пустой,

Разольется въ шумномъ бѣгѣ,
И очутятся на брегѣ,
Въ чешуѣ, какъ жаръ горя,
Тридцать три богатыря,
Всѣ—красавицы удалые,
Великаны молодые,
Всѣ равны, какъ на-подборъ,—
Съ ними дядька Черноморъ.
Это диво, такъ ужъ диво,
Можно молвить справедливо!“
Гости умные молчатъ,
Спорить съ нею не хотятъ.
Диву царь Салтанъ дивится,
А Гвидонъ-то злится, злится...
Зажужжалъ онъ и какъ-разъ
Тетей сѣлъ на лѣвый глазъ.
И ткачиха поблѣднѣла—
„Ай!“ и тутъ же окривѣла;
Всѣ кричатъ: „Лови, лови,
Да дави ее, дави...
Вотъ, ужо! постой немножко,
Погоди...“ А князь въ окошко,
Да спокойно въ свой удѣлъ
Черезъ море прилетѣлъ.

Царевичъ сталъ тосковать, желая имѣть
у себя стражей этихъ витязей; Лебедь
присылаетъ ихъ къ нему.

Въ третій разъ полетѣлъ царевичъ къ
отцу; корабельщики рассказываютъ Сал-
тану о бѣлкѣ, о витязяхъ. Салтанъ хочетъ
самъ посмотреть чудеса, а—

Повариха и ткачиха
Ни гу-гу—но Бабариха,
Усмѣхнувшись, говоритъ:
„Кто насъ этимъ удивитъ?
Люди изъ моря выходятъ
И себѣ дозоромъ бродятъ!
Правду ль баютъ или лгутъ,
Дива я не вижу тутъ.
Въ свѣтѣ есть такіа ль дива?
Вотъ идетъ молва правдива:
За моремъ царевна есть,
Что не можно глазъ отвѣсть—
Днемъ свѣтъ Божій затмеваетъ,
Ночью землю освѣщаетъ,
Мѣсяцъ подъ косой блеститъ,
А во лбу звѣзда горитъ.
А сама-то величава,
Выплываетъ, будто пава;

А какъ рѣчь-то говорить,
Словно рѣченька журчить.
Молвить можно справедливо,
Это диво, такъ ужъ диво“.
Гости умные молчать:
Спорить съ бабой не хотять.
Чуду царь Салтанъ дивится,
А царевичъ хотъ и злится,
Но жалѣеть онъ очей
Старой бабушки своей.
Онъ надъ ней жужитъ, кружится—
Прямо на носъ къ ней садится,
Носъ ужалилъ богатырь:
На носу вскочилъ волдырь.
И опять пошла тревога:
„Помогите, ради Бога!
Караулъ! лови, лови;
Да дави его, дави...
Вотъ ужо! пожди немножко,
Погоди!..“ А шмель въ окошко,
Да спокойно въ свой удѣлъ
Черезъ море полетѣлъ.

Царевичъ востосковалъ объ этой красави-
цѣ и сталъ просить Лебедь достать ему ее—

Лебедь тутъ, вздохнувъ глубоко,
Молвила: „Зачѣмъ далеко?
Знай, близка судьба твоя.
Вѣдь царевна эта—я“.
Тутъ она, взмахнувъ крылами,
Полетѣла надъ волнами
И на берегъ, съ высоты,
Опустилася въ кусты,
Встрепенулася, отряхнулася
И царевной обернулася:
Мѣсяцъ подъ косой блестятъ,
А во лбу звѣзда горитъ;
А сама-то величава,
Выступаетъ, будто пава;
А какъ рѣчь-то говорить,
Словно рѣченька журчить.
Князь царевну обнимаетъ,
Къ бѣлой груди прижимаетъ
И ведетъ ей скорѣй
Къ милой матушкѣ своей.
Князь ей въ ноги, умолая:
„Государыня родная!
Выбралъ я жену себѣ,
Дочь послушную тебѣ;
Просимъ оба разрѣшенья,

Твоего благословенья:
Ты дѣтей благослови
Жить въ совѣтѣ и въ любви“.
Надъ главою ихъ покорной
Мать съ иконой чудотворной
Слезы льетъ и говоритъ:
„Богъ васъ, дѣти, наградитъ“.
Князь недолго собирался,
На царевнѣ обвинчался.

Услышавъ разсказъ корабельщиковъ о
чудесной красавицѣ-царицѣ, Салтанъ рѣ-
шился посѣтить Гвидона—

Тутъ ужъ онъ не утерпѣлъ,
Снарядить онъ флотъ велѣлъ.
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотять царя пустить
Чудный островъ навѣстить.
Но Салтанъ имъ не внимаетъ
И какъ-разъ ихъ унимаетъ:
„Что я? царь или дитя?“
Говоритъ онъ не шутя.
„Нынче жъ ѣду!“—Тутъ онъ топнулъ,
Вышелъ вонъ и дверь хлопнулъ.

Подъ окномъ Гвидонъ сидитъ,
Молча на море глядитъ:
Не шумитъ оно, не хлещетъ,
Лишь едва-едва трепещетъ,
И въ лазоревой дали
Показались корабли;
По равнинамъ окіяна
Ѣдетъ флотъ царя Салтана.
Князь Гвидонъ тогда вскочилъ,
Громогласно возопилъ:
„Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Ѣдетъ батюшка сюда“.
Флотъ ужъ къ острову подходитъ.
Князь Гвидонъ трубу наводитъ:
Царь на палубѣ стоитъ
И въ трубу на нихъ глядитъ;
Съ нимъ ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются онѣ
Незнакомой сторонѣ.
Разомъ пушки запалили,
Въ колокольныхъ зазвонили;
Къ морю самъ идетъ Гвидонъ;

Тамъ царя встрѣчаетъ онъ
Съ поварихой и ткачихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой;
Въ городъ онъ повелъ царя,
Ничего не говоря.

Всѣ теперь идутъ въ палаты.
У воротъ блистаютъ латы,
И стоятъ въ глазахъ царя
Тридцать три богатыря,
Всѣ—красавцы молодые,
Великаны удалые,
Всѣ равны, какъ на-подборъ,
Съ ними дядька Черноморъ.
Царь вступилъ на дворъ широкій:
Тамъ подъ елкою высокой
Бѣлка пѣсенку поетъ,
Золотой орѣхъ грызетъ,
Изумрудецъ вынимаетъ
И въ мѣшочекъ опускаетъ;
И засѣянъ дворъ большой
Золотою скорлупой.
Гости далѣ—торопливо
Смотрять—что жь? Княгиня—диво:
Подъ косою луна блеститъ,
А во лбу звѣзда горитъ;
А сама-то величава,
Выступаетъ, будто пава,
И свекровь свою ведетъ.
Царь глядитъ—и узнаетъ...
Въ немъ разыграло ретивое!
„Что я вижу? Что такое?
Какъ!“—и духъ въ немъ занялся...
Царь слезами залился,
Обнимаетъ онъ царицу,
И сына, и молодцу;
И садятся всѣ за столъ,
И веселый пиръ пошелъ.
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Разбѣжались по угламъ;
Ихъ нашли насилу тамъ.
Тутъ во всемъ онъ признались,
Повинились, разрыдались...
Царь для радости такой
Отпустилъ всѣхъ трехъ домой.
День прошелъ—царя Салтана
Уложили спать въ полъяна.
Я тамъ былъ: медъ, пиво пилъ—
И усы лишь обмочилъ.

Сказка о рыбацѣ и рыбѣ.

Жилъ старикъ со своею старухой
У самаго синяго моря;
Они жили въ ветхой землянкѣ
Ровно тридцать лѣтъ и три года.
Старикъ ловилъ неведомъ рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Разъ онъ въ море закинулъ неводъ—
Пришелъ неводъ съ одною тиной;
Онъ въ другой разъ закинулъ неводъ—
Пришелъ неводъ съ травой морскою;
Въ третій разъ закинулъ онъ неводъ,—
Пришелъ неводъ съ золотою рыбкой,
Съ не простою рыбкой, золотою.
Какъ взмолился золотая рыба,
Голосомъ молвить человѣчьимъ:
„Отпусти ты, старче, меня въ море,
Дорогой за себя дамъ откупъ:
Откуплюсь, чѣмъ только пожелаешь“.
Удивился старикъ, испугался:
Онъ рыбачилъ тридцать лѣтъ и три года
И не слыхивалъ, чтобъ рыба говорила.
Отпустилъ онъ рыбку золотую
И сказалъ ей ласковое слово:
„Богъ съ тобою, золотая рыбка!
Твоего мнѣ откупа не надо;
Ступай себѣ въ синее море,
Гуляй тамъ себѣ на просторѣ“.
Воротился старикъ ко старухѣ,
Разсказалъ ей великое чудо:
„Я сегодня поймалъ-было рыбку,—
Золотую рыбку, не простую;
По нашему говорила рыбка,
Домой, въ море синее просилась,
Дорогою цѣною откупалась:
Откупалась, чѣмъ только пожелаю.
Не посмѣлъ я взять съ нея выкупъ,—
Такъ пустилъ ее въ синее море“.
Старика старуха забранила:
— Дурачина ты, простофиля!
Не умѣлъ ты взять выкупа съ рыбки!
Хоть бы взялъ ты съ нея корыто:
Наше-то совсѣмъ раскололось.—
Вотъ пошелъ онъ къ синему морю;
Видитъ: море слегка разыгралось.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка и спросила:

„Чего тебѣ надобно, старче?“
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня-рыбка!
Разбранила меня моя старуха,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Надобно ей новое корыто,—
Наше-то совсѣмъ раскололось.—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Будетъ вамъ новое корыто“.
Воротился старикъ ко старухѣ—
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
— Дурачина ты, простофиля!
Выпросилъ, дурачина, корыто!
Въ корытѣ много ли корысти?
Воротись, дурачина, ты къ рыбкѣ,
Поклонись ей, выпроси ужъ избу.—
Вотъ пошелъ онъ къ синему морю:
Помутилось синее море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
„Что тебѣ надобно, старче?“
Ей старикъ съ поклономъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня-рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Избу просить сварливая баба.—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Такъ и быть: изба вамъ ужъ будетъ“.
Пошелъ онъ ко своей землянкѣ,
А землянки нѣтъ ужъ и слѣда;
Передъ ними изба со свѣтелкой,
Съ кирпичною, бѣленою трубою,
Съ дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидитъ подъ овечьимъ,
На чемъ свѣтъ стоитъ мужа ругаетъ:
— Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросилъ, простофиля, избу!
Воротись, поклонись рыбкѣ:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой.—
Пошелъ старикъ къ синему морю:
Неспокойно синее море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
„Чего тебѣ надобно, старче?“
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
„Смилуйся, государыня-рыбка!

Пуще прежняго старуха вздурилась,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Ужъ не хочетъ быть она крестьянкой,
Хочетъ быть столбовою дворянкой“.
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!“
Воротился старикъ ко старухѣ;
Что жъ онъ видитъ? Высокій теремъ;
На крыльцѣ стоятъ его старуха
Въ дорогой собольей душегрѣйкѣ,
Парчевая на маковѣй кичка,
Жемчуги окружили шею,
На рукахъ золотые перстни.
На ногахъ красные сапожки.
Передъ нею усердные слуги,—
Она бьетъ ихъ, за чупрунъ таскаетъ.
Говоритъ старикъ своей старухѣ:
„Здравствуй, барыня-сударыня дво-
рянка!“
Чай, теперь твоя душенька довольна?“
На него прикрикнула старуха,
На конюшню служить его послала.
Вотъ недѣля, другая проходитъ,
Еще пуще старуха вздурилась,—
Опять къ рыбкѣ старика посылаетъ:
„Воротись, поклонись рыбкѣ:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей“.
Испугался старикъ, взмолился:
— Что ты, баба, белены объѣлась?
Ни ступить, ни молвить не умѣешь—
Насмѣшишь ты цѣлое царство.—
Осердилась пуще старуха,
По щекѣ ударила мужа.
„Какъ ты смѣешь, мужикъ, спорить
со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?
Ступай къ морю, говорятъ тебѣ чество,
Не пойдешь,—поведутъ поневолѣ“.
Старичокъ отправился къ морю:
Почернѣло синее море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
„Чего тебѣ надобно, старче?“
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня-рыбка!
Опять моя старуха бунтуетъ:
Ужъ не хочетъ быть она дворянкой,
Хочетъ быть вольною царицей.—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:

„Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Добро, будетъ старуха царицей!“

Старичокъ къ старухѣ воротился.
Что жъ? Предъ нимъ царскія палаты;
Въ палатахъ видитъ свою старуху:
За столомъ сидитъ она царицей,
Служать ей бояре да дворяне,
Наливаютъ ей заморскія вина,
Заѣдаетъ она пряникомъ печатнымъ;
Вокругъ стоитъ ея грозная стража,
На плечахъ топорики держатъ.
Какъ увидѣлъ старикъ—испугался;
Въ ноги онъ старухѣ поклонился,
Молвилъ: „Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душевья довольна?“
На него старуха не взглянула,
Лишь съ очей прогнать его велѣла.
Подбѣжали бояре и дворяне,
Старика въ зашеи затолкали;
А въ дверяхъ-то стража подбѣжала,
Топорами чуть не изрубилъ;
А народъ-то надъ нимъ насмѣялся:
„Подѣломъ тебѣ, старый невѣжа!
Впредъ тебѣ, невѣжа, наука—
Не садися не въ свои сани!“

Вотъ недѣля, другая проходитъ
Еще пуше старуха вздурилась:
Паредворцевъ за мужемъ посылаетъ.
Отыскали старика, привели къ ней.
Говоритъ старику старуха:
„Воротись, поклонися рыбѣ;
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мнѣ въ окіанѣ-морѣ,
Чтобъ служила мнѣ рыба золотая
И была бъ у меня на посылкахъ“.

Старикъ не осмѣлился перечить,
Не дерзнулъ поперекъ слова молвить.
Вотъ идетъ онъ къ синему морю;
Видитъ: на морѣ черная буря—
Такъ и вздулись сердитыя волны,
Такъ и ходятъ, такъ воемъ и воютъ.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку.
Приплыла къ нему рыба и спросила:
„Чего тебѣ надобно, старче?“
Ей старикъ съ поклономъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня-рыбка!
Что мнѣ дѣлать съ проклятою бабой?
Ужъ не хочетъ быть она царицей,
Хочетъ быть владычицей морскою,

Чтобы жить ей въ окіанѣ-морѣ,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылкахъ.—
Ничего не сказала рыба,
Лишь хвостомъ по водѣ плеснула
И ушла въ глубокое море.
Долго у моря ждалъ онъ отвѣта,
Не дождался, къ старухѣ воротился—
Глядь: опять передъ нимъ землянка,
На порогѣ сидитъ его старуха,
А предъ нею разбитое корыто.

Изъ драмы: „Борисъ Годуновъ“.

Ночь, келья въ Чудовомъ монастырѣ.

(1603).

Отецъ Пименъ, Григорій (спящій).

Пименъ (пишетъ предъ лампадой).
Еще одно, послѣднее сказанье—
И лѣтопись окончена моя,
Исполненъ долгъ, завѣщанный отъ
Бога
Мнѣ, грѣшному. Недаромъ многихъ
лѣтъ

Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ
И книжному искусству вразумилъ:
Когда-нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безы-
менный:

Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду,
И пылъ вѣковъ отъ хартій отряхнувъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ,—
Да вѣдаютъ потомки православныхъ
Земли родной минувшую судьбу,
Своихъ царей великихъ поминаютъ
За ихъ труды, за славу, за добро;
А за грѣхи, за темныя дѣянья
Спасителя смиренно умоляютъ...

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходитъ предо мною...
Давно ль оно неслось, событій полно,
Волнуясь, какъ море-окіанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Немного лишь мнѣ память сохранила,
Немного словъ доходитъ до меня,

А прочее погубило невозвратно!..
Но близькъ день, лампада догораетъ—
Еще одно, послѣднее сказанье (Пишетъ).

Григорій (пробуждается). Все тотъ же сонъ!

Возможно ль Въ третій разъ?

Проклятый сонъ!.. А все передъ лампадой

Старикъ сидитъ да пишетъ — и дремотой,

Знать, во всю ночь онъ не смыкалъ очей.

Какъ я люблю его спокойный видъ,
Когда, душой въ минувшемъ погруженный,

Онъ лѣтопись свою ведетъ; и часто
Я угадать хотѣлъ, о чемъ онъ пишетъ:

О темномъ ли владычествѣ татаръ?

О казняхъ ли свирѣпыхъ Іоанна?

О бурномъ ли новгородскомъ вѣтѣ?

О славѣ ли отечества? Напрасно!

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ

Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;

Все тотъ же видъ—смиранный, величавый...

Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый,

Спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ,

Добру и злу внимая равнодушно,

Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва,

Пименъ. Проснулся, братъ.

Григорій. Благослови меня, Честный отецъ.

Пименъ. Благослови Господь Тебя и днесь, и присно, и вѣки.

Григорій. Ты все писалъ, и сномъ не позабылся,

А мой покой бѣсовское мечтанье Тревожило, и врагъ меня мучилъ:

Мнѣ снилось, что лѣстница крутая

Меня вела на башню; съ высоты

Мнѣ видѣлась Москва, что муравейникъ;

Внизу народъ на площади кипѣлъ

И на меня указывалъ со смѣхомъ;

И стыдно мнѣ, и страшно становилось,—

И, падая стремглавъ, я пробуждался...
И три раза мнѣ снился тотъ же сонъ.
Не чудно ли?

Пименъ. Младая кровь играетъ;
Смирый себя молитвой и постомъ,
И сны твоихъ видѣній легкихъ будутъ

Исполнены. Донынѣ—если я,
Невольною дремотой обезсиленъ,
Не сотворю молитвы долгой къ ночи—
Мой старый сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ:

Мнѣ чудятся то шумные пиры,
То ратный станъ, то схватки боевыя,
Безумныя потѣхи юныхъ лѣтъ!

Григорій. Какъ весело провелъ свою ты младость!

Ты воевалъ подъ башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ,

Ты видѣлъ дворъ и роскошь Іоанна!

Счастливъ! А я отъ отроческихъ лѣтъ

По келіямъ скитаюсь, бѣдный инокъ!

Зачѣмъ и мнѣ не тѣшиться въ бояхъ,

Не пировать за царскою трапезой?

Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ

Отъ суеты, отъ міра отложиться,

Пронзнести монашества обѣтъ

И въ тихую обитель затвориться.

Пименъ. Не сѣтуй, братъ, что рано грѣшный свѣтъ

Покинулъ ты, что мало искушеній

Послалъ тебѣ Всевышній. Вѣрь ты мнѣ:

Насъ издали плѣняютъ слава, роскошь
И женская лукавая любовь.

Я долго жилъ и многимъ наслаждался;

Но съ той поры лишь вѣдаю блаженство,

Какъ въ монастырь Господь меня привелъ.

Подумай, сынъ, ты о царяхъ великихъ:

Кто выше ихъ? Единный Богъ. Кто смѣетъ

Противу нихъ? Никто. А что же? Часто

Златой вѣнецъ тяжель имъ становился:

Они его мѣняли на клубокъ.

Царь Іоаннъ искалъ успокоенья

Въ подобіи монашескихъ трудовъ;

Его дворець, любимцевъ гордыхъ пол-
ный,
Монастыря видъ новый принималъ:
Кромѣшники въ тафьяхъ и власни-
цахъ
Послушными являлись чернецами,
А грозный царь—игумною богомоль-
нымъ.
Я видѣлъ здѣсь, вотъ въ этой самой
кельѣ
(Въ ней жилъ тогда Кириллъ много-
страдальный,
Мужъ праведный; тогда ужъ и меня
Сподобилъ Богъ уразумѣть ничтож-
ность
Мірскихъ суетъ), здѣсь видѣлъ я царя,
Усталаго отъ гнѣвныхъ думъ и казней:
Задумчивъ, тихъ сидѣлъ межъ нами
Грозный;
Мы передъ нимъ недвижимо стояли,
И тихо онъ бесѣду съ нами велъ.
Онъ говорилъ игумену и всей братьѣ:
„Отцы мой..., желанный день придетъ—
Предстану здѣсь, алкающій спасенья;
Ты, Никодимъ, ты, Сергій, ты, Кириллъ,
Вы всѣ—обѣтъ примите мой духовный:
Прииду къ вамъ, преступникъ океан-
ный,
И схиму здѣсь честную восприму,
Къ стопамъ твоимъ, святой отецъ,
припадши“.
Такъ говорилъ державный государь,
И сладко рѣчь изъ устъ его лилася,
И плакалъ онъ. А мы въ слезахъ
молились,
Да ниспошлетъ Господь любовь и миръ
Его душѣ, страдающей и бурной.
А сынъ его Θεодоръ? На престолѣ
Онъ воздыхалъ о мирномъ житіи
Молчальника. Онъ царскіе чертоги
Преобразилъ въ молитвенную келью;
Тамъ тяжкія державныя печали
Святой души его не возмущали.
Богъ возлюбилъ смиреніе царя,
И Русь при немъ во славѣ безмятеж-
ной
Утѣшилась,—а въ часъ его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
Къ его одру, царю едину зримый,
Явился мужъ необычайно свѣтелъ,

И началъ съ нимъ бесѣдовать Θεодоръ
И называть великимъ патріархомъ...
И всѣ кругомъ объаты были страхомъ,
Уразумѣвъ небесное видѣнье,
Зане святой владыка предъ царемъ
Во храминѣ тогда не находился.
Когда же онъ преставился, палаты
Исполнились святымъ благоуханьемъ,
И ликъ его, какъ солнце, просіялъ.
Ужъ не видать такого намъ царя...
О, страшное, невиданное горе!
Прогнѣвали мы Бога, согрѣшили:
Владыкою себѣ цареубійцу
Мы нарекли.

Григорій. Давно, честный отецъ,
Хотѣлось мнѣ тебя спросить о смерти
Димитрія-царевича; въ то время
Ты, говорятъ, былъ въ Угличѣ.

Пименъ. Охъ, помню!
Привелъ меня Богъ видѣть злое дѣло,
Кровавый грѣхъ. Тогда я въ дальній
Угличъ

На нѣкое былъ посланъ послушанье.
Пришелъ я въ ночь. Наутро, въ часъ
обѣдни,

Вдругъ слышу звонъ; ударили въ набатъ;
Крикъ, шумъ... Бѣгутъ на дворъ ца-
рицы. Я

Спѣшу туда жъ,—а тамъ уже весь
городъ.

Гляжу: лежитъ зарѣзанный царевичъ,
Царица-мать въ безпамятствѣ надъ
нимъ,

Кормилица въ отчаяннѣ рыдаетъ,
А тутъ народъ, остервенясь, волочить
Безбожную предательницу-мамку...

Вдругъ между насъ, свирѣпъ, отъ
злости блѣденъ,

Является Іуда-Витяговскій.

„Вотъ, вотъ злодѣй!“ раздался общій
воплъ,

И вмигъ его не стало. Тутъ народъ
Вслѣдъ бросился бѣжавшимъ тремъ
убійцамъ;

Укрывшихся злодѣевъ захватили
И привели предъ теплый трупъ мла-
денца,

И чудо—вдругъ мертвецъ затрепеталъ!
„Покайтесь!“ народъ имъ завопилъ:
И въ ужасѣ, подъ топоромъ, злодѣи

Покаялись—и называли Бориса.

Григорій. Какихъ былъ лѣтъ царевичъ убіенный?

Пименъ. Да лѣтъ семи; ему бынынѣ было—
(Тому прошло ужъ десять лѣтъ... нѣтъ, больше:

Двѣнадцать лѣтъ)—онъ былъ бы твой ровесникъ

И царствовалъ; но Богъ судилъ иное.

Сей повѣстью плачевной заключаю Я лѣтопись свою; съ тѣхъ поръ я мало Вникалъ въ дѣла мірскія. Братъ Григорій,

Ты грамотой свой разумъ просвѣтилъ: Тебѣ свой трудъ передаю. Въ часы, Свободные отъ подвиговъ духовныхъ, Описывай, не мудрствуя лукаво, Все то, чему свидѣтель въ жизни будешь:

Войну и миръ, управу государей, Угодниковъ святыхъ чудеса, Пророчества и знаменья небесны— А мнѣ пора, пора ужъ отдохнуть И погасить лампаду... Но звонятъ Къ заутренѣ... Благослови, Господь, Своихъ рабовъ!.. Подай костью, Григорій. (Уходитъ).

Григорій. Борисъ, Борисъ! все предъ тобою трепещеть, Никто тебѣ не смѣетъ и напомнить О жребіи несчастнаго младенца; А между тѣмъ отшельникъ въ темной кельѣ

Здѣсь на тебя доносъ ужасный пишетъ: И не уйдешь ты отъ суда мірскаго, Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда.

Палаты патріарха.

Патріархъ, игуменъ Чудова монастыря.

Патріархъ. И онъ убѣжалъ, отецъ игуменъ?

Игуменъ. Убѣжалъ, святой владыка, вотъ ужъ тому третій день.

Патріархъ. Пострѣлъ окаянный! Да какого онъ роду?

Игуменъ. Изъ роду Отрепьевыхъ, галицкихъ боярскихъ дѣтей; смолоду

постригся невѣдомо гдѣ, жилъ въ Суздали, въ Ефимьевскомъ монастырѣ; ушелъ оттуда, патался по разнымъ обителямъ, наконецъ пришелъ къ моему чудовской братіи; а я, видя, что онъ еще младъ и неразуменъ, отдалъ его подъ начало отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; и былъ онъ весьма грамотенъ, читалъ наши лѣтописи, сочинялъ каноны святымъ; но, зная, грамота далася ему не отъ Господа Бога...

Патріархъ. Ужъ эти мнѣ грамоты! Что еще выдумалъ: буду царемъ на Москвѣ! Ахъ, онъ—сосудъ дьявольскій! Однако, нечего царю и докладывать объ этомъ: что тревожить отцегосударя? Довольно будетъ объявить о побѣгѣ дьяку Смирнову или дьяку Ефимьеву. Этакая ересь; буду царемъ на Москвѣ!.. Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать въ Соловецкій на вѣчное покаяніе. Вѣдь это—ересь, отецъ игуменъ?

Игуменъ. Ересь, святой владыка, сушая ересь.

Царскія палаты.

Два столѣнника.

Первый. Гдѣ государь?

Второй. Въ своей опочивальнѣ.

Онъ заперся съ какимъ-то колдуномъ.

Первый. Такъ; вотъ его любимая бесѣда:

Кудесники, гадатели, колдуны.

Все ворожить, что красная невѣста.

Желалъ бы знать, о чемъ гадаютъ онъ?

Второй. Вотъ онъ идетъ. Угодно ли спросить? (Уходитъ).

Первый. Какъ онъ угрюмъ!

Царь (входитъ). Достигъ я высшей власти...

Шестой ужъ годъ я царствую спокойно;

Но счастья нѣтъ моей душѣ. Не такъ ли

Мы смолоду влюбляемся и алчемъ

Утѣхъ любви, но только утолимъ

Сердечный гладъ мгновеннымъ обла-

даньемъ,

Ужъ, охладѣвъ, скучаемъ и томимся!..

Напрасно мнѣ чудесники сулятъ
Дни долгиѣ, дни власти безмятежной—
Ни власть, ни жизнь меня не веселятъ.
Предчувствую небесный громъ и горе:
Мнѣ счастья нѣтъ. Я думалъ свой на-
родъ

Въ довольствіи, во славѣ успокоитъ,
Щедротами любовь его снискать,—
Но отложилъ пустое попеченье;
Живая власть для черни ненавистна,—
Они любятъ умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ,
Иль ярый вопль тревожитъ сердце
наше.

Богъ насыпалъ на землю нашу гладъ;
Народъ завылъ, въ мучельяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:
Они жъ меня, бѣснуясь, проклинали!
Пожарный огонь ихъ дома истребилъ;
Я выстроилъ имъ новыя жилища:
Они жъ меня пожаромъ упрекали!
Вотъ черни судъ: ищи жъ ея любви!
Въ семьѣ моей я мнилъ найти отраду,
Я дочь мою мнилъ ошастливить бра-
комъ;

Какъ буря, смерть уноситъ жениха...
И тутъ молва лукаво нарекаетъ
Виновникомъ дочерняго вдовства
Меня, меня, несчастнаго отца!...
Кто ни умереть—я всѣхъ убійца тайный:
Я ускорилъ Θεодора кончину,
Я отравилъ свою сестру-царицу,
Монахиню смиренную... все я!
Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ
Среди мірскихъ печалей успокоитъ;
Ничто, ничто... едина развѣ совѣсть!
Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветою;
Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелось,
Тогда бѣда: какъ язвой моровой
Душа спорить, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ, стучить въ ушахъ
упрекомъ

И все тошнить, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда... Ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть не-
чиста!

Норчма на Литовской границѣ.

Мисаилъ и Варлаамъ, бро-
дяги въ видѣ чернецовъ; Гри-
горій Отрепьевъ мірянникомъ.
Хозяйка.

Хозяйка. Чѣмъ-то мнѣ васъ пот-
чивать, старцы честные?

Варлаамъ. Чѣмъ Богъ пошлетъ,
хозяйшечка. Нѣтъ ли вина?

Хозяйка. Какъ не быть, отцы мои!
сейчасъ вынесу. (Уходитъ).

Мисаилъ. Что жъ ты закручинился,
товарищъ? Вотъ и граница Литовская,
до которой такъ хотѣлось тебѣ до-
браться.

Григорій. Пока не буду въ Литвѣ,
до тѣхъ поръ не буду спокоенъ.

Варлаамъ. Что тебѣ Литва такъ
любилась? Вотъ мы, отецъ Мисаилъ
да я грѣшный, какъ утекли изъ мона-
стыря, такъ ни о чемъ и не думаемъ:
Литва ли, Русь ли, что гудокъ, что
гусли, все намъ равно, было бы вино...
да вотъ и оно!...

Мисаилъ. Складно сказано, отецъ
Варлаамъ.

Хозяйка (входитъ). Вотъ вамъ,
отцы мои. Пейте на здоровье.

Мисаилъ. Спасибо, родная, Богъ
тебя благослови. (Пьютъ. Варлаамъ за-
тягиваетъ пѣсню: „Какъ во городъ было
во Казани“...) Что же ты не подтяги-
ваешь, да и не потягиваешь?

Григорій. Не хочу.

Мисаилъ. Вольному воля...

Варлаамъ. А пьяному рай, отецъ
Мисаилъ! Выпьемъ же чарочку за шин-
карочку... (Пьютъ). Однако, отецъ Ми-
саилъ, когда я пью, такъ трезвыхъ не
люблю: иное дѣло—пьянство, а иное—
чванство; хочешь жить, какъ мы,—
милости просимъ,—нѣтъ, такъ убирайся,
проваливай: скоморохъ попу не то-
варищъ.

Григорій. Пей, да про себя ра-
зумѣй, отецъ Варлаамъ!.. Видишь, и я
порой складно говорить умѣю.

Варлаамъ. А что мнѣ про себя разуметь?

Мисаилъ. Оставь его, отецъ Варлаамъ.

Варлаамъ. Да что онъ за пошлый? Самъ же къ намъ назвался въ товарищи, невѣдомо кто, невѣдомо откуда—да еще и спѣсивится; можетъ быть, кобылу нюхалъ... (Пьетъ и поетъ: „Молодой чернецъ пострится“).

Григорій (хозяйкъ). Куда ведетъ эта дорога?

Хозяйка. Въ Литву, мой кормилецъ, къ Луевымъ горамъ.

Григорій. А далече ли до Луевыхъ горъ?

Хозяйка. Недалече, къ вечеру можно бы туда поспѣть, кабы не заставы царскія да сторожевыя приставы.

Григорій. Какъ, заставы! что это значитъ?

Хозяйка. Кто-то бѣжалъ изъ Москвы, а велѣно всѣхъ задерживать, да осматривать.

Григорій (про себя). Вотъ тебѣ, бабушка, Юрьевъ день!

Варлаамъ. Эй, товарищъ! да ты къ хозяйкѣ присусѣдился. Знать, не нужна тебѣ водка, а нужна молодка; дѣло, братъ, дѣло! У всякаго свой обычай, а у насъ съ отцомъ Мисаиломъ одна заботушка—пьемъ до донушка, выпьемъ, поворотимъ и въ донушко поколотимъ.

Мисаилъ. Складно сказано, отецъ Варлаамъ.

Григорій (хозяйкъ). Да кого жъ имъ надобно? Кто бѣжалъ изъ Москвы?

Хозяйка. А Господь его вѣдаетъ, воръ ли, разбойникъ, только здѣсь и добрымъ людямъ нынѣ прохода нѣтъ. А что изъ того будетъ? Ничего; ни лысаго бѣса не поймають: будто въ Литву нѣтъ и другого пути, какъ столбовая дорога! Вотъ хоть отсюда свороти влѣво, да боромъ иди по тропинкѣ до часовни, что на Чеканскомъ ручью, а тамъ прямо черезъ болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тутъ ужъ всякій мальчишка дове-

детъ до Луевыхъ горъ. Отъ этихъ приставовъ только и толку, что притѣсняють прохожихъ да обирають насъ, бѣдныхъ (Слышенъ шумъ). Что тамъ еще? Ахъ вотъ они, проклятые! дозоромъ идутъ.

Григорій. Хозяйка! нѣтъ ли въ избѣ другого угла?

Хозяйка. Нѣту, родимый, рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозоромъ ходятъ, а подавай имъ и вина, и хлѣба, и невѣдомо чего—чтобъ имъ издохнуть, окаяннымъ! чтобъ имъ... (Входятъ приставы).

Приставъ. Здорово, хозяйка!

Хозяйка. Добро пожаловать, гости дорогие, милости просимъ!

Одинъ приставъ (другому). Ба! да здѣсь попойка идетъ; будетъ чѣмъ поживиться. (Монахамъ). Вы что за люди?

Варлаамъ. Мы—Божіи старцы, иноки смиренныя, ходимъ по селеніямъ, да собираемъ милостыню христіанскую на монастырь.

Приставъ (Григорію). А ты?

Мисаилъ. Нашъ товарищъ...

Григорій. Мирянинъ изъ пригорода; проводилъ старцевъ до рубежа; отселъ иду во-свося.

Мисаилъ. Такъ ты раздумалъ...

Григорій (тихо). Молчи.

Приставъ. Хозяйка, выставь-ка еще вина, а мы здѣсь со старцами попьемъ, да побесѣдуемъ.

Другой приставъ (тихо). Парень-то, кажется, голъ; съ него взять нечего; зато старцы...

Первый. Молчи, сейчасъ до нихъ доберемся.—Что, отцы мои, каково промышляете?

Варлаамъ. Плохо, сыне, плохо! нынѣ христіане стали скупы; деньгу любить, деньгу прачутъ. Мало Богу даютъ. Приде грѣхъ велий на языци земніи. Всѣ пустилися въ торги, въ мытарства; думаютъ о мірскомъ богатствѣ, не о спасеніи души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда въ три дня трехъ полушекъ не вымо-

лишь. Такой грѣхъ! Пройдетъ недѣля, другая, заглянешь въ мошонку, анъ въ ней такъ мало, что совѣстно въ монастырь показаться; что дѣлать? съ горя и остальное прощешь; бѣда да и только.—Охъ, плохо! знать, пришли наши послѣднія времена...

Хозяйка (плачетъ). Господь, помилуй и спаси!

(Въ продолженіе Варлаамовой рѣчи, первый приставъ значительно всматривается въ Масаила).

Первый приставъ. Алеха! при тебѣ ли царскій указъ?

Второй. При мнѣ.

Первый. Подай-ко сюда.

Мисаилъ. Что ты на меня такъ пристально смотришь?

Первый приставъ. А вотъ что: изъ Москвы бѣжалъ нѣкоторый злой еретикъ, Гришка Отрепьевъ. Слыхалъ ли ты это?

Мисаилъ. Не слыхалъ.

Приставъ. Не слыхалъ? Ладно. А того бѣглаго еретика царь приказалъ изловить и повѣсить. Знаешь ли ты это?

Мисаилъ. Не знаю.

Приставъ (Варлааму). Умѣешь ли ты читать?

Варлаамъ. Смолоду зналъ, да разучился.

Приставъ (Мисаилу). А ты?

Мисаилъ. Не умудрилъ Господь.

Приставъ. Такъ вотъ тебѣ царскій указъ.

Мисаилъ. На что мнѣ его?

Приставъ. Мнѣ сдается, что этотъ бѣглый еретикъ, воръ, мошенникъ—ты.

Мисаилъ. Я? Помилуй! что ты!

Приставъ. Постой! держи двери. Вотъ мы сейчасъ и справимся.

Хозяйка. Ахъ, они, окаянные мучители! и старца-то въ покоѣ не оставляютъ!

Приставъ. Кто здѣсь грамотный?

Григорій (выступаетъ впередъ). Я грамотный.

Приставъ. Вотъ-на... А у кого же ты научился?

Григорій. У нашего пономаря.

Приставъ (дастъ ему указъ). Читай же вслухъ!

Григорій (читаетъ). „Чудова монастыря недостойный чернецъ Григорій, изъ роду Отрепьевыхъ, впалъ въ ересь и дерзнулъ, наученный дьяволомъ, возмущать святую братію всякими соблазнами и беззаконіями. А по справкамъ оказалось, отбѣжалъ онъ, окаянный Гришка, къ границѣ Литовской“.

Приставъ (Мисаилу). Какъ же нетъ?

Григорій. „Царь повелѣлъ изловить его...“

Приставъ. И повѣсить!

Григорій. Тутъ не сказано: повѣсить.

Приставъ. Врешь! не всяко слово въ строку пишется. Читай: изловить и повѣсить.

Григорій. „И повѣсить. А лѣтъ ему, вору Гришкѣ, отъ роду... (смотря на Варлаама) за 50, а росту онъ средняго, лобъ имѣетъ плѣшивый, бороду сѣдую, брюхо толстое“. (Всѣ глядятъ на Варлаама).

1-й приставъ. Ребята! здѣсь Гришка! держите, вяжите его! Вотъ ужъ не думалъ, не гадалъ.

Варлаамъ (вырывая бумагу). Отстаньте, пострѣлы, что я за Гришка? Какъ! 50 лѣтъ, борода сѣдая! брюхо толстое! Нѣтъ братъ, молодъ еще надо мною шутки шутить. Я давно не читывалъ и худо разбираю, а тутъ ужъ разберу, какъ дѣло допетли доходить. (Читаетъ по складамъ). „А лѣтъ е-му отъ ро-ду 20“.—Что, братъ, гдѣ тутъ 50? видишь—20?

2-й приставъ. Да, помнится, двадцать; такъ и намъ было сказано.

1-й приставъ (Григорію). Да ты, братъ, видно, забавникъ. (Во время чтенія, Григорій стоитъ, потупя голову, съ рукою за пазухой).

Варлаамъ (продолжаетъ). „А ро-

стомъ онъ малъ, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжіе, на щекѣ бородавка, на лбу другая". Да это, другъ, ужъ не ты ли?

(Григорій вдругъ вынимаетъ книжку; всѣ передъ нимъ разступаются; онъ бросается въ окно).

Приставы. Держи! держи! (Всѣ бѣгутъ въ беспорядкѣ).

Царскія палаты.

Царевичъ чертитъ географическую карту. Царевна, мамка царевны.

Ксенія (цѣлуетъ портретъ). Милый мой женихъ, прекрасный королевичъ, не мнѣ ты достался, не своей невѣстѣ, а темной могилкѣ, на чужой сторонѣ; никогда не утѣшусь, вѣчно по тебѣ буду плакать.

Мамка. И, царевна! Дѣвица плачетъ, что роса падаетъ: взойдетъ солнце, росу высушитъ. Будетъ у тебя другой женихъ—и прекрасный, и привѣтливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь Ивана-Королевича.

Ксенія. Нѣтъ, мамушка, я и мертвому буду ему вѣрна. (Входитъ Борисъ).

Царь. Что, Ксенія? Что, милая моя?

Въ невѣстахъ ужъ печальная вдовица! Все плачешь ты о мертвомъ женихѣ. Дитя мое! судьба мнѣ не судила виновникомъ быть вашего блаженства. Я, можетъ быть, прогнѣвалъ небеса, Я счастье твое не могъ устроить; Безвинная! зачѣмъ же ты страдаешь? А ты, мой сынъ, чѣмъ занять? Это что?

Евдодоръ. Чертежъ земли Московской; наше царство Изъ края въ край. Вотъ видишь: тутъ Москва, Тутъ Новгородъ, тутъ Астрахань. Вотъ море,

Вотъ Пермскіе дремучіе лѣса, А вотъ Сибирь.

Царь. А это что такое?

Узоромъ здѣсь вѣется?

Евдодоръ. Это Волга.

Царь. Какъ хорошо! вотъ сладкій плодъ ученья!

Какъ съ облаковъ ты можешь обозрѣть Все царство вдругъ: границы, грады, рѣки.

Учись, мой сынъ: наука сокращаетъ Намъ опыты быстротекущей жизни. Когда-нибудь, и скоро, можетъ быть, Всѣ области, которыя ты нынѣ Изобразилъ такъ хитро на бумагѣ, Всѣ подъ руку достанутся твою. Учись, мой сынъ—и легче, и яснѣе Державный трудъ ты будешь постигать.

(Входитъ Семенъ Годуновъ).

Вотъ Годуновъ идетъ ко мнѣ съ докладомъ.

(Ксенія). Душа моя, поди въ свѣтлицу; Прости, мой другъ; утѣшь тебя Господь.

(Ксенія съ мамкою уходитъ).

Что скажешь мнѣ, Семенъ Никитичъ? Семенъ Годуновъ. Нынче. Ко мнѣ, чѣмъ свѣтъ, дворецкій князь Василья

И Пушкина слуга пришли съ доносомъ.

Царь. Ну?

Семенъ Годуновъ. Пушкина слуга донесъ сперва, Что поутру вчера къ нимъ въ домъ пріѣхалъ

Изъ Кракова гонецъ—и черезъ часъ Безъ грамоты отосланъ былъ обратно.

Царь. Гонца схватить.

Семенъ Годуновъ. Ужъ послано въ догоню.

Царь. О Шуйскомъ что?

Семенъ Годуновъ. Вечоръ онъ угощалъ

Своихъ друзей: обоихъ Мирославскихъ, Бутурлиныхъ, Михайла Салтыкова, Да Пушкина, да нѣсколько другихъ; А разошлись ужъ поздно. Только Пушкинъ

Наединѣ съ хозяиномъ остался

И долго съ нимъ бесѣдовать еще.

Царь. Сейчасъ послать за Шуйскимъ.

Семенъ Годуновъ. Государы! Онъ здѣсь уже.

Царь. Позвать его сюда.

(Годуновъ уходитъ).

Царь. Сношенія съ Литвою! это что?..

Противенъ мнѣ родъ Пушкина мятежный,

А Шуйскому не должно довѣрять:
Уклончивый, но смѣлый и лукавый...
(Входятъ Шуйскій)

Мнѣ нужно, князь, съ тобою говорить.
Но, кажется, ты самъ пришелъ за дѣломъ,

И выслушать хочу тебя сперва.

Шуйскій. Такъ, государь: мой долгъ тебѣ повѣдать

Вѣсть важную.

Царь. Я слушаю тебя.

Шуйскій (тихо, указывая на Θεодора). Но, государь...

Царь. Царевичъ можетъ знать, что вѣдаетъ князь Шуйскій. Говори.

Шуйскій. Царь, изъ Литвы пришла намъ вѣсть...

Царь. Не та ли, что Пушкину привезъ вѣчоръ гонецъ?

Шуйскій. Все знаетъ онъ!.. Я думалъ, государь,

Что ты еще не вѣдаешь сей тайны.

Царь. Нѣтъ нужды, князь: хочу сообразить

Извѣстiя; иначе не узнаемъ

Мы истинны.

Шуйскій. Я знаю только то, что въ Краковѣ явился самозванецъ, и что король и паны за него.

Царь. Что жъ говорятъ? Кто этотъ самозванецъ?

Шуйскій. Не вѣдаю.

Царь. Но... чѣмъ опасенъ онъ?

Шуйскій. Конечно, царь, сильна твоя держава,

Ты милостью, радѣньемъ и щедротой

Усыновилъ сердца своихъ рабовъ;

Но знаешь самъ: бессмысленная чернь

Иамѣнчива, мятежна, суевѣрна,
Легко пустой надеждѣ предана,
Мгновенному внушенію послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.

Ей нравится безстыдная отвага;
Такъ если сей невѣдомый бродяга
Литовскую границу перейдетъ,—
Къ нему толпу безумцевъ привлечетъ
Дмитрія воскреснувшее имя.

Царь. Дмитрія!.. Какъ? Этого младенца?

Дмитрія... Царевичъ, удались.

Шуйскій (про себя). Онъ покраснѣлъ: быть бурѣ!..

Θеодоръ. Государь,

Дозволишь ли...

Царь. Нельзя, мой сынъ, поди.

(Θеодоръ уходитъ).

Дмитрія!..

Шуйскій (про себя). Онъ ничего не зналъ.

Царь. Послушай, князь: взять мѣры сей же часъ;

Чтобъ отъ Литвы Россія оградилась
Заставами: чтобъ ни одна душа

Не перешла за эту грань; чтобъ заяцъ
Не прибѣжалъ изъ Польши къ намъ;

чтобъ воронъ
Не прилетѣлъ изъ Кракова. Ступай!

Шуйскій. Иду.

Царь. Постой. Не правда ли, эта вѣсть

Затѣйлива? Слыхалъ ли ты когда,
Чтобъ мертвые изъ гроба выходили
Допрашивать царей, царей законныхъ,
Назначенныхъ, избранныхъ всенародно,
Увѣнчанныхъ великимъ патріархомъ?
Смѣшно? а? что? Что жъ не смѣешься ты?

Шуйскій. Я, государь?..

Царь. Послушай, князь Василій: Какъ я узналъ, что отрока сего...

Что отрокъ сей лишился какъ-то жизни,

Ты посланъ былъ на слѣдствіе; теперь

Тебя крестомъ и Богомъ заклинаю,

По совѣсти мнѣ правду объяви:

Узналъ ли ты убитого младенца
И не было ль подмѣна? Отвѣчай.

Шуйскій. Клянусь тебѣ...

Царь. Нѣтъ, Шуйскій, не клянись,
Но отвѣчай: то былъ царевичъ?

Шуйскій. Онь.

Царь. Подумай, князь. Я милость
обѣщаю,

Прошедшей жи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь—тебя постигнетъ злая казнь,
Такая казнь, что царь Иванъ Васильичъ
Отъ ужаса во гробѣ содрогнется.

Шуйскій. Не казнь страшна—
страшна твоя немилость;
Передъ тобой дерзну ли я лукавить?
И могъ ли я такъ слѣпо обмануться,
Что не узналъ Димитрія? Три дня
Я трупъ его въ соборѣ посѣщалъ,
Всѣмъ Угличемъ туда сопровождаемый.
Вокругъ него тринадцать тѣлъ лежало,
Растерзанныхъ народомъ, и по нимъ
Ужъ тѣніе примѣтно проступало;
Но дѣтскій ликъ царевича былъ ясенъ
И свѣжъ, и тихъ, какъ будто усы-
пленный;

Глубокая не запекалась язва,
Черты жъ лица совсѣмъ не измѣнились.
Нѣтъ, государь, сомнѣнья нѣтъ.
Димитрій

Во гробѣ спить.

Царь. Довольно, удались.

(Шуйскій уходитъ).

Ухъ, тяжело!.. дай, духъ переведу!
Я чувствовалъ: вся кровь моя въ лицо
Мнѣ кинулась и тяжело опускалась...
Такъ вотъ зачѣмъ тринадцать лѣтъ
мнѣ сраду

Все снилось убитое дитя!
Да, да—вотъ чтó! Теперь я понимаю.
Но кто же онъ, мой грозный супостатъ?
Кто на меня? Пустое имя, тѣнь—
Ужели тѣнь сорветъ съ меня порфиру,
Иль звукъ лишитъ дѣтей моихъ на-
слѣдства?

Безумецъ я! чего жъ я испугался?
На призракъ сей подуй—и нѣтъ его.
Такъ, рѣшено: не окажу я страха—

Но презирать не должно ничего...
Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха!

Ночь. Садъ. Фонтанъ.

Самозванецъ (входитъ). Вотъ и
фонтанъ; она сюда придетъ.
Я, кажется, рожденъ небожливимъ;
Передъ собой волнаи видалъ я смерть:
Предъ смертію душа не содрогалась;
Мнѣ вѣчная неволя угрожала,
За мной гнались—я духомъ не сму-
тился

И дерзостью неволи набѣжалъ.
Но чтó жъ теперь тѣснитъ мое дыханье?
Чтó значить сей неодолимый трепетъ?
Иль это дрожь желаній напряженныхъ?
Нѣтъ, это—страхъ. День цѣлый ожи-
далъ

Я тайнаго свиданія съ Мариной,
Обдумывалъ все то, чтó ей скажу,
Какъ оболъбу ея надменный умъ,
Какъ назову московскою царницей;
Но часъ насталъ,—и ничего не помню,
Не нахожу затверженныхъ рѣчей;
Любовь мутитъ мое воображенье...
Но что-то вдругъ мелькнуло... шорохъ...
тише...

Нѣтъ, это—свѣтъ обманчивой луны,
И прошумѣлъ здѣсь вѣтерокъ.
Марина (входитъ). Царевичъ!
Самозванецъ. Она!.. Вся кровь
во мнѣ остановилась.
Марина. Димитрій! вы?
Самозванецъ. Волшебный, слад-
кій голосъ!

(Идетъ къ ней).

Ты ль, наконецъ? Тебя ли вижу я,
Одну со мной, подъ сѣнью тихой ночи?
Какъ медленно катился скучный день!
Какъ медленно заря вечерня гасла!
Какъ долго ждалъ во мракѣ я nocturnum!
Марина. Часы бѣгутъ, и дорого
мнѣ время—

Я здѣсь тебѣ назначила свиданье
Не для того, чтобъ слушать нѣжны
рѣчи
Любовника. Слова не нужны. Вѣрю,
Чтó любишь ты; но слушай: я рѣши-
лась

Съ твоей судьбой, и бурной, и не-
вѣрной,
Соединить судьбу мою; то въ правѣ
Я требовать, Димитрій, одного:
Я требую, чтобъ ты души своей
Мнѣ тайныя открылъ теперь надежды,
Намѣренья и даже опасенья;
Чтобъ объ руку съ тобой могла я смѣло
Пуститься въ жизнь—не съ дѣтской
слѣпотой,

Не какъ раба желаній легкихъ мужа,
Наложница безмолвная твоя;
Но какъ тебя достойная супруга,
Помощница московскаго царя.

Самозванецъ. О, дай забыть
хоть на единый часъ
Моей судьбы заботы и тревоги!
Забудь сама, что видишь предъ собой
Царевича. Марина! зри во мнѣ
Любовника, избраннаго тобою,
Счастливаго твоимъ единымъ взоромъ.
О, выслушай моленія любви!
Дай высказать все то, чѣмъ сердце
полно!

Марина. Не время, князь; ты мед-
лишь, и межъ тѣмъ
Приверженность твоихъ клеветовъ
стынетъ;
Часъ-отъ-часу опасность и труды
Становятся опаснѣй и труднѣе;
Ужъ носятъ сомнительные слухи,
Ужъ новизна смѣняетъ новизну;
А Годуновъ свои пріемлетъ мѣры...

Самозванецъ. Что Годуновъ? Во
власти ли Бориса
Твоя любовь, одно мое блаженство?
Нѣтъ, нѣтъ. Теперь гляжу я равно-
душно
На тронъ его, на царственную власть.
Твоя любовь... что безъ нея мнѣ жизнь,
И славы блескъ, и русская держава?
Въ глухой степи, въ землянкѣ бѣд-
ной—ты,
Ты замѣнишь мнѣ царскую корону;
Твоя любовь...

Марина. Стыдись! не забывай
Высокаго, святого назначенія:
Тебѣ твой санъ дороже долженъ быть
Всѣхъ радостей, всѣхъ обольщеній
жизни.

Его ни съ чѣмъ не можешь ты равнять.
Не юношѣ, кипящему безумью,
Плѣненному моею красотой—
Знай, отдаю торжественно я руку
Наслѣднику московскаго престола,
Царевичу, спасенному судьбой.

Самозванецъ. Не мучь меня,
прелестная Марина,
Не говори, что санъ, а не меня
Избрала ты. Марина! ты не знаешь,
Какъ больно тѣмъ ты сердце мнѣ
язвишь.

Какъ! ежели... о, страшное сомнѣнье!
Скажи: когда бъ не царское рожденіе
Назначила слѣпая мнѣ судьба,
Когда бъ я былъ не Іоанновъ сынъ,
Не сей, давно забытый міромъ отрокъ,
Тогда бъ... тогда бъ любила ль ты меня?

Марина. Димитрій ты, и быть
инымъ не можешь;

Другого мнѣ любить нельзя.

Самозванецъ. Нѣтъ! полно—
Я не хочу дѣлиться съ мертвецомъ
Любовницей, ему принадлежащей;
Нѣтъ,—полно мнѣ притворствоваться!—
скажу

Всю истину; такъ знай же: твой Ди-
митрій

Давно погибъ, зарытъ—и не воскрес-
нетъ;

А хочешь ли ты знать, кто я таковъ?
Изволь, скажу: я—бѣдный черноризецъ;
Монашеской неволею скучая,
Подъ клобукомъ свой замыселъ от-
важный

Обдумалъ я; готовилъ міру чудо—
И наконецъ изъ келіи бѣжалъ
Къ украинцамъ, въ ихъ буйные курени;
Владѣть конемъ и саблей научился;
Явился къ вамъ, Димитріемъ назвался—
И поляковъ безмозглыхъ обманулъ.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признаніемъ моимъ?
Что жъ ты молчишь?

Марина. О стыдъ! о горе мнѣ!
(Молчаніе).

Самозванецъ (тихо). Куда за-
влекъ меня порывъ досады!
Съ такимъ трудомъ устроенное счастье
Я, можетъ быть, навѣки погубилъ.

Что сдѣлалъ я, безумецъ? (Вслухъ).
Вижу, вижу:
Стыдился ты не княжеской любви;
Такъ вымолви жъ мнѣ роковое слово;
Въ твоихъ рукахъ теперь моя судьба;
Рѣши: я жду. (Бросается на колѣна).

Марина. Встань, бѣдный самозванецъ!

Не мнишь ли ты колѣнопреклоненъемъ,
Какъ дѣвочки довѣрчивой и слабой,
Тщеславное мнѣ сердце умилишь?
Ошибся, другъ: у ногъ своихъ видала
Я рыцарей и графовъ благородныхъ;
Но ихъ мольбы я хладно отвергала
Не для того, чтобъ бѣгло монаха...

Самозванецъ (встаетъ). Не презирай младого самозванца;
Въ немъ доблести таятся, можетъ быть,
Достойныя московскаго престола,
Достойныя руки твоей безцѣнной...

Марина. Достойныя поворной
петли, дерзкій!

Самозванецъ. Виновенъ я; гордыней обуянный,

Обманывалъ я Бога и царей—
Я міру лгалъ; но не тебѣ, Марина,
Меня казнить: я правъ передъ тобою.
Нѣтъ, я не могъ обманывать тебя.
Ты мнѣ была единственной святыней,
Предъ ней же я притворствовать не смѣлъ:

Любовь, любовь ревнивая, слѣпая,
Одна любовь принудила меня
Все высказать.

Марина. Чѣмъ хвалится, безумецъ!

Кто требовалъ признанья твоего?
Ужъ если ты, бродяга безымянный,
Могъ ослѣпить чудесно два народа;
Такъ долженъ ужъ, по крайней мѣрѣ,
ты

Достойнъ быть успѣха своего
И свой обманъ отважный обезпечить
Упорною, глубокой, вѣчной тайной.
Могу ль, скажи, предаться я тебѣ,
Могу ль, забывъ свой родъ и стыдъ
дѣвичій,

Соединить судьбу мою съ твоею,
Когда ты самъ съ такою простотою,
Такъ вѣтрено поворъ свой обличаешь?

Онъ изъ любви со мною проболтался!
Дивлюся, какъ передъ моимъ отцомъ
Изъ дружбы ты доселѣ не открылся,
Отъ радости предъ нашимъ королемъ,
Или еще предъ паномъ Вишневецкимъ

Изъ вѣрнаго усердія слуги.

Самозванецъ. Клянусь тебѣ,
что сердца моего

Ты вымучить одна могла признанье;
Клянусь тебѣ, что никогда, нигдѣ,
Ни въ пиршествѣ, за чашею безумства,

Ни въ дружескомъ, завѣтномъ разговорѣ,

Ни подъ ножомъ, ни въ мукахъ истязаній,

Сихъ тяжкихъ тайнъ не выдастъ мой языкъ.

Марина. Клянешься ты! и такъ,
должна я вѣрить.

О, вѣрю я! но чѣмъ, нельзя ль узнать,
Клянешься ты? Не именемъ ли Бога,
Какъ набожный приемышь езуитовъ?
Иль честію, какъ витязъ благородный,
Иль, можетъ быть, единымъ царскимъ
словомъ,

Какъ царскій сынъ? Не такъ ли? Говори!

Самозванецъ (гордо). Тѣнь Грознаго
меня усыновила,

Дмитріемъ изъ гроба нарекла,
Вокругъ меня народы возмутила
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.

Царевичъ—я. Довольно. Стыдно мнѣ
Предъ гордою полячкою унижаться.
Прощай навѣкъ: игра войны кровавой,
Судьбы моей обширныя заботы
Тоску любви, надѣюсь, заглушатъ.
О, какъ тебя я стану ненавидѣть,
Когда пройдетъ постыдной страсти
жаръ!

Теперь иду—погибель иль вѣнецъ
Мою главу въ Россіи ожидаетъ;
Найду ли смерть, какъ воинъ, въ битвѣ
честной,

Иль, какъ злодѣй, на плахѣ площадной,

Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не раздѣлишь со мною;

Но, можетъ быть, ты будешь сожалѣть
Объ участи, отвергнутой тобою.

Марина. А если я твой дерзост-
ный обманъ

Заранѣ предъ всѣми обнаружу?

Самозванецъ. Не мнишь ли ты,
что я тебя боюсь?

Что болѣе повѣрять польской дѣвѣ,
Чѣмъ русскому царевичу? Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думаютъ о правдѣ словъ моихъ.
Дмитрій я, или нѣтъ—что имъ за
дѣло?

Но я предложу раздоровъ и войны.
Имъ это лишь и нужно; и тебя,
Мятежница, повѣрь, молчать заставить.
Прощай.

Марина. Пойди, царевичъ. Нако-
нецъ

Я слышу рѣчь не мальчика, но мужа.
Съ тобою, князь, она меня миритъ.
Безумный твой порывъ я забываю.
И вижу вновь Дмитрія. Но слушай:
Пора, пора! проснись, не медли болѣ,
Веди полки скорѣе на Москву;
Очисти Кремль, садись на тронъ мо-
сковскій—

Тогда за мной или брачнаго посла;
Но, слышитъ Богъ, пока твоя нога
Не оперлась на тронныя ступени,
Пока тобой не сверженъ Годуновъ,
Любви рѣчей не буду слушать я.
(Уходитъ).

Самозванецъ. Нѣтъ—легче мнѣ
сражаться съ Годуновымъ,
Или хитрить съ придворнымъ езу-
томъ,
Чѣмъ съ женщиной. Чортъ съ ними;
мочи нѣтъ:

И путаетъ, и вьется, и ползетъ,
Сколзнуть изъ рукъ, шипитъ, грозитъ
и жалитъ.

Змѣя, змѣя!.. Недаромъ я дрожалъ.
Она меня чуть-чуть не погубила.
Но рѣшено: завтра двину рать.

Граница Литовская.

1604 года 16 октября.

Князь Курбскій и Самозва-
нецъ, оба верхами. Полки
приближаются къ границѣ.

Курбскій (прискакавъ первый). Вотъ,
вотъ она, вотъ русская граница!
Святая Русь! отечество! я твой!

Чужбины прахъ съ презрѣньемъ от-
ряхну
Съ моихъ одеждъ; пью жадно воздухъ
новый:

Онъ мнѣ родной! Теперь твоя душа,
О, мой отецъ, утѣшилась, и въ гробѣ
Опальныя возрадуются кости!

Влеснулъ опять наслѣдственный нашъ
мечъ,

Сей славный мечъ—гроза Казани тем-
ной,

Сей добрый мечъ—слуга царей мо-
сковскихъ!

Въ своемъ пиру теперь онъ загу-
ляетъ

За своего надежу-государя!..

Самозванецъ (идетъ тихо, съ по-
ниженной головой). Какъ счастливъ онъ!
какъ чистая душа

Въ немъ радостью и славой разы-
гралась!

О, витязь мой, завидую тебѣ!

Сынъ Курбскаго, воспитанный въ из-
гнанъѣ,

Забывъ отцомъ снесенныя обиды,

Его вину за гробомъ искупивъ,

Ты кровь излитъ за сына Іоанна

Готовишься, законнаго царя

Ты возвратитъ отечеству... Ты правъ,
Душа твоя должна пылать весельемъ.

Курбскій. Ужежъ и ты не весе-
лишься духомъ?

Вотъ наша Русь: она—твоя, царевичъ!
Тамъ ждутъ тебя сердца твоихъ лю-
дей,

Твоя Москва, твой Кремль, твоя дер-
жава.

Самозванецъ. Кровь русская, о,
Курбскій, потечетъ!

Вы за царя подъяли мечъ, вы чисты;
Я жъ васъ веду на братьевъ; я Литву
Позвалъ на Русь; я въ красную Мо-
ску
Кажу врагамъ завѣтную дорогу!
Но пусть мой грѣхъ падеть не на
меня,

А на тебя, Борисъ-цареубійца!
Впередъ!

Курбскій. Впередъ! и горе Году-
нову!

(Скочутъ. Полки переходятъ границу).

Царская дума.

Царь, Патріархъ и бояре.

Царь. Возможно ли? Разстрига,
бѣглый инекъ

На насъ ведетъ злодѣйскія дружины,
Держаетъ намъ писать угрозы! Полю,
Пора смирить безумца! Поѣзжайте,
Ты, Трубецкой, и ты, Басмановъ; по-
мощь

Нужна моимъ усерднымъ воеводамъ.
Бунтовщикомъ Черниговъ осажденъ:
Спасайте градъ и гражданъ.

Басмановъ. Государь,
Трехъ мѣсяцевъ отнынѣ не пройдетъ—
И замолчить и слухъ осамозванцѣ;
Его въ Москву мы привеземъ, какъ
звѣря
Заморскаго, въ желѣзной клѣткѣ. Бо-
гомъ

Тебѣ клянусь.

(Уходитъ съ Трубецкимъ).

Царь. Мнѣ швейскій государь
Черезъ пословъ союзъ свой предло-
жилъ;

Но не нужна намъ чуждая помощь:
Своихъ людей у насъ довольно рат-
ныхъ,

Чтобъ отразить измѣнниковъ и ляха.
Я отказалъ.

Щелкаловъ! разослать
Во всѣ концы указы къ воеводамъ,
Чтобъ на коня сажались и людей
По старинѣ на службу высматывали;
Въ монастыряхъ подобно отобрать
Служителей причетныхъ. Въ прежни
годы,

Когда бѣдой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли;
Но не хотимъ тревожить нынѣ ихъ—
Пусть молятся за насъ они: таковъ
Указъ царя и приговоръ боярскій.
Теперь вопросъ мы важный разрѣ-
шимъ:

Вы знаете, что наглый самозванецъ
Коварные промчалъ повсюду слухи;
Повсюду имъ разосланныя письма
Посылали тревогу и сомнѣнье;
На площадяхъ мятежный бродить по-
потъ,

Умы кипятъ... ихъ нужно остудить;
Предупредить желалъ бы казни я,
Но чѣмъ и какъ? рѣшимъ теперь. Ты
первый,

Святой отецъ, свою повѣдай мысль.

Патріархъ. Благословенъ Все-
вышній, поселившій

Духъ милости и кроткаго терпѣнья
Въ душѣ твоей, великій государь;
Ты грѣшному погибели не хочешь,
Ты тихо ждешь, да пройдетъ заблу-
жденъе:

Оно пройдетъ, и солнце правды вѣч-
ной

Всѣхъ озарить.

Твой вѣрный богомолецъ,
Въ дѣлахъ мірскихъ не мудрый судія,
Держаетъ днесъ подать тебѣ свой го-
лось:

Бѣсовскій сынъ, разстрига окаян-
ный,

Прослыть умѣлъ Дмитріемъ въ народѣ;
Онъ именемъ царевича, какъ ризой
Украденной, безстыдно облачился;
Но стоитъ лишь ее раздрать—и самъ
Онъ наготой своею посрамится.

Самъ Богъ на то намъ средство по-
сылаетъ:

Знай, государь, тому прошло шесть
лѣтъ,

Въ тотъ самый годъ, когда тебя Го-
сподь

Благословилъ на царскую державу—
Въ вечерній часъ ко мнѣ пришелъ
однажды

Простой пастухъ, уже маститый ста-
рецъ,

И чудную повѣдалъ онъ мнѣ тайну:
„Въ младыхъ лѣтахъ“, сказалъ онъ,
„я ослѣпъ,
И съ той поры не зналъ ни дня, ни
ночи
До старости: напрасно я лѣчился
И зеліемъ, и тайнымъ нашенщаньемъ;
Напрасно я ходилъ на поклоненье
Въ обители къ великимъ чудотвор-
цамъ;
Напрасно я съ кладевой святыхъ
Кропилъ водой цѣлебной темны очи—
Не посылалъ Господь мнѣ исцѣленья.
Вотъ, наконецъ, утратилъ я надежду,
И къ тѣмъ своей привыкъ, и даже
сны
Мнѣ виданныхъ вещей ужъ не являли,
А снилися мнѣ только звуки. Разъ,
Въ глубокомъ снѣ, я слышу, дѣтскій
голосъ
Мнѣ говорить: „Встань, дѣдушка, поди
Ты въ Угличъ-градъ, въ соборъ Пре-
ображенья;
Тамъ помолись ты надъ моей могилой,
Богъ милостивъ—и я тебя прошу“.
„Но кто же ты?“ спросилъ я дѣтскій
голосъ.
„Царевичъ я Дмитрій. Царь небесный
Пріялъ меня въ ликъ ангеловъ сво-
ихъ,
И я теперь великій чудотворецъ.
Иди, старикъ“.—Проснулся я и думалъ:
Что жъ? можетъ быть, и въ самомъ
дѣлѣ Богъ
Мнѣ позднее даруетъ исцѣленье.
Пойду—и въ путь отправился дале-
кій.
Вотъ Углича достигъ я, прихожу
Въ святыи соборъ и слушаю обѣдню,
И, разгораясь душой усердной, плачу
Такъ сладостно, какъ будто слѣзота
Изъ глазъ моихъ слезами вытекала.
Когда народъ сталъ выходить, я внуку
Сказалъ: „Иванъ, веди меня на гробъ
Царевича Дмитрія“. И мальчикъ
Повелъ меня—и только передъ гро-
бомъ
Я тихую молитву сотворилъ,
Глаза мои прозрѣли: я увидѣлъ
И Божій свѣтъ, и внука, и могилку“.

Вотъ, государь, что мнѣ повѣдалъ ста-
рецъ.
(Общее смущеніе. Въ продолженіе сей
рѣчи Борисъ нѣсколько разъ отираетъ
лицо платкомъ).
Я посылалъ тогда нарочно въ Угличъ,
И свѣдано, что многіе страдальцы
Спасеніе подобно обрѣтали
У гробовой царевича доски.
Вотъ мой совѣтъ; во Кремль святыя
мощи
Перенести, поставить ихъ въ соборѣ
Архангельскомъ; народъ увидитъ ясно
Тогда обманъ безбожнаго злодѣя,
И мощь бѣсовъ исчезнетъ, яко прахъ.
(Молчаніе).
Князь Шуйскій. Святыи отецъ,
кто вѣдаетъ пути
Всевышняго? Не мнѣ его судить.
Нетлѣнный сонъ и силу чудотворца
Онъ можетъ дать младенческимъ остан-
камъ;
Но надлежитъ народную молву
Исслѣдовать прилежно и безстрастно;
А въ бурныя ль смятеній времена
Намъ помышлять о столь великомъ
дѣлѣ?
Не скажутъ ли, что мы святыню
дерево
Въ дѣлахъ мірскихъ орудіемъ творимъ?
Народъ и такъ колеблется безумно,
И такъ ужъ есть довольно шумныхъ
толковъ:
Умы людей не время волновать
Нежданною столь важной повизною.
Самъ вижу я: необходимо слухъ,
Разсѣянный разстригой, уничтожить;
Но есть на то иныя средства—проще.
Такъ, государь, когда изволишь ты,
Я самъ явлюсь на площади народной,
Уговорю, усовѣшшу безумство
И злой обманъ бродяги обнаружу.
Царь. Да будетъ такъ! Владыка
патріархъ,
Прошу тебя пожаловать въ палату:
Сегодня мнѣ нужна твоя бесѣда.
(Уходить, за нимъ и всѣ бояре).
Одинъ бояринъ (тихо другому). За-
мѣтилъ ты, какъ государь блѣднѣлъ,
И крупный потъ съ лица его закапалъ?

Второй. Я, признаюсь, не смѣлъ
поднять очей,
Не смѣлъ вдохнуть, не только шевелиться.

Первый. А выручилъ князь Шуй-
скій. Молодецъ!

Площадь передъ соборомъ въ Москвѣ.

Народъ.

Одинъ. Скоро ли царь выйдетъ
изъ собора?

Другой. Обѣдня кончилась; те-
перь идетъ молебствіе.

Первый. Что? ужъ проклинали
того?

Другой. Я стоялъ на паперти и
слышалъ, какъ дьяконъ завопилъ:
Гришка Отрепьевъ—анаема!

Первый. Пускай себѣ прокли-
наетъ; царевичу дѣла нѣтъ до Отре-
пьева.

Другой. А царевичу поютъ теперь
вѣчную память.

Первый. Вѣчную память живому!
Вотъ ужъ имъ будетъ, безбожникамъ.

Третій. Чу! шумъ. Не царь ли?

Четвертый. Нѣтъ, это юроди-
вый.

(Входитъ юродивый въ желѣзной шапкѣ,
обвѣшенный веригами и окруженный
мальчишками).

Мальчишки. Николка, Николка,
желѣзный колпакъ!.. тррр...

Старуха. Отвяжитесь отъ него,
бѣсенята. Помолись, блаженный, за
меня грѣшную.

Юродивый. Дай, дай, дай ко-
пѣчку.

Старуха. Вотъ тебѣ копѣчка;
помяни же меня.

Юродивый (Садится на землю и
поетъ).

Мѣсяцъ ѣдетъ,
Котенокъ плачетъ,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!

(Мальчишки окружаютъ его снова).

Одинъ изъ нихъ. Здравствуй,
юродивый, что же ты шапки не сни-
маешь? (Щелкаетъ его по желѣзной
шапкѣ). Экъ она звонитъ!

Юродивый. А у меня копѣчка
есть.

Мальчикъ. Неправда; ну, покажи.
(Вырываетъ копѣчку и убѣгаетъ).

Юродивый (плачетъ). Взяли мою
копѣчку, обижаютъ юродиваго.

Народъ. Царь, царь идетъ!

(Царь выходитъ изъ собора; бояринъ
впереди раздаетъ нищимъ милостыню.
Бояре).

Юродивый. Борисъ, Борисъ! Ни-
колку дѣти обижаютъ!

Царь. Подать ему милостыню! О
чемъ онъ плачетъ?

Юродивый. Николку маленькія
дѣти обижаютъ... Вели ихъ зарѣзать,
какъ зарѣзалъ ты маленькаго царе-
вича.

Бояре. Поди прочь, дуракъ! схва-
тите дурака!

Царь. Оставьте его. Молись за
меня, бѣдный Николка! (Уходитъ).

Юродивый (ему вслѣдъ). Нѣтъ,
нѣтъ! нельзя молиться за царя-Ирода:
Богородица не велитъ.

Москва. Царскія палаты.

Борисъ, Васмановъ.

Царь. Онъ побѣжденъ, какая польза
въ томъ?

Мы тщетною побѣдой увѣнчались:
Онъ вновь собралъ разбѣянное войско
И намъ со стѣнъ Путивля угрожаетъ.
Что дѣлаютъ межъ тѣмъ герои наши?
Стоять у Кромъ, гдѣ кучка казаковъ
Смѣется имъ изъ-подъ гнилой ограды.
Вотъ слава! нѣтъ, я ими недоволенъ;
Пошлю тебя начальствовать надъ
ними—

Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы;
Пускай ихъ спѣсь о мѣстничествѣ ту-
жить!

Пора презрѣть мнѣ ропотъ знатной
черни

И гибельный обычай уничтожить.

Басмановъ. Ахъ, государь, сто-
кратъ благословенъ
Тотъ будетъ день, когда Разрядны
книги

Съ раздорами, съ гордыней родословной
Пожретъ огонь.

Царь. День этотъ недалекъ;
Лишь дай сперва смятеніе народа
Мнѣ усмирить.

Басмановъ. Что на него смотрѣть?
Всегда народъ къ смятенію тайно
склоненъ:

Такъ борзый конь гриветъ свои бразды,
На власть отца такъ отрокъ негодуетъ;
Но чтó жъ? Конемъ спокойно всадникъ
править,

И отрокомъ отецъ повелѣваетъ.

Царь. Конь иногда сбиваетъ сѣдока,
Сынъ у отца не вѣчно въ полной волѣ;
Лишь строгостью мы можемъ неуспыной
Сдержатъ народъ. Такъ думалъ Іоаннъ,
Смиритель бурь, разумный самодер-
жецъ,

Такъ думалъ и его свирѣпый внукъ.
Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ:
Твори добро—не скажетъ онъ спасибо;
Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже.

(Входитъ бояринъ).

Что?

Бояринъ. Привели гостей ино-
племенныхъ.

Царь. Иду принять; Басмановъ;
погоди,

Останься здѣсь: съ тобой еще мнѣ
нужно

Поговорить (Уходитъ).

Басмановъ. Высокій духъ дер-
жавный!

Дай Богъ ему съ Отрепьевымъ прокля-
тымъ

Управиться; и много, много онъ

Еще добра Россіи сотворить.

Мысль важная въ умѣ его родилась;

Ненадобно ей дать остыть. Какое

Мнѣ поприще откроется, когда

Онъ сломить рогъ боярству родовому!

Соперниковъ во брани я не знаю;

У царскаго престола стану первый...

И можетъ быть... Но что за чудный
шумъ?

Тревога. Бояре, придворные служители
въ безпорядкѣ бѣгутъ, встрѣчаются и
шепчутъ.

Одинъ. За лѣкаремъ!

Другой. Скорѣе къ патриарху!

Третій. Царевича, царевича зоветь!

Четвертый. Духовника!

Басмановъ. Что сдѣлалось такое?

Пятый и шестой. Царь зане-
могъ, царь умираетъ.

Басмановъ. Боже!

Пятый. На тронѣ онъ сидѣлъ и
вдругъ упалъ;

Кровь хлынула изъ устъ и изъ ушей.

(Царя выносятъ на стулѣ; около него
все царское семейство; всѣ бояре).

Царь. Подите всѣ—оставьте одного
Царевича со мною. (Всѣ удаляются).
Умираю;

Обнимемся. Прощай, мой сынъ: сейчасъ
Ты царствовать начнешь... О, Боже,
Боже!

Сейчасъ явлюсь передъ Тобой—и душу
Мнѣ некогда очистить покаяньемъ!
Но чувствую—мой сынъ, ты мнѣ дороже
Душевнаго спасенья... такъ и быть!
Я подданнымъ рожденъ, и умереть
Мнѣ подданнымъ во мракѣ бѣ надле-
жало;

Но я достигъ верховной власти—чѣмъ?
Не спрашивай. Довольно: ты невиненъ,
Ты царствовать теперь по праву ста-
нешь;

А я за все одинъ отвѣчу Богу.

О, милый сынъ, не обольщайся ложно,

Не ослѣпшій себя ты добровольно.

Въ дни бурные державу ты приемишь:

Опасенъ онъ, сей чудный самозванецъ—

Онъ именемъ ужаснымъ ополченъ.

Я, съ давнихъ лѣтъ въ правленъ
искусанный,

Могъ удержать смятеніе и мятежъ;

Передо мной они дрожали въ страхѣ,

Возвыситъ гласъ измѣна не дѣрзала;

Но ты—младой, неопытный властитель,

Какъ управлять ты будешь подъ грозой,

Тушить мятежъ, опутывать измѣну?

Но Богъ великъ! онъ умудряетъ юность,

Онъ слабости даруетъ силу... Слушай:
Совѣтника, во-первыхъ, избери
Надежнаго, холодина, зрѣлыхъ лѣтъ,
Любимаго народомъ, а въ боярахъ
Почтеннаго породой или славой,—
Хоть Шуйскаго. Для войска нынѣ ну-

женъ
Искусный вождь: Басманова пошли
И съ твердостью снеси боярскій ропотъ.
Ты съ малыхъ лѣтъ сидѣлъ со мною
въ Думѣ,

Ты знаешь ходъ державнаго правленія;
Не измѣняй теченія дѣлъ. Привычка—
Душа державы. Я нынѣ долженъ былъ
Возстановить опалы, казни—можешь
Ихъ отмѣнить; тебя благословлять,
Какъ твоего благословляли дядю,
Когда престолъ онъ Грознаго пріялъ.
Современемъ и понемногу снова
Затягивай державныя бразды.
Теперь ослабь, изъ рукъ не выпуская.
Будь милостивъ, доступенъ къ ино-

земцамъ,
Довѣрчиво ихъ службу принимай.
Со строгостью храни уставъ церковный,
Будь молчаливъ: не долженъ царскій
голосъ

На воздухъ теряться по пустому;
Какъ звонъ святой, онъ долженъ лишь
вѣщать
Велику скорбь или великій праздникъ.
О, милый сынъ! ты входишь въ тѣ
лѣта,
Когда намъ кровь волнуется женскій
ликъ.

Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами въ порочныхъ насла-

жденяхъ
Въ молодые дни привыкнулъ утопать,
Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожа-

денъ,
И умъ его безвременно темнѣетъ.
Въ семьѣ своей будь всегда главой;
Мать почитай, но властвуй самъ собою;
Ты мужъ и царь; люби свою сестру—
Ты ей одинъ хранитель остаешься.

Θеодоръ (на колѣняхъ) Нѣтъ, нѣтъ,
живи и царствуй долговѣчно—
Народъ и мы погибли безъ тебя.

Царь. Все кончено — глаза мои
темнѣютъ,
Я чувствую могильный холодъ...

(Входятъ патріархъ, святители; за ними
всѣ бояре; царю ведутъ подъ руки;
царевна рыдаетъ).

Кто тамъ?

А! схима... такъ! святое постриженье...
Ударилъ часъ! въ монахи царь идетъ—
И темный гробъ моею будетъ кельей.
Повремени, владыка патріархъ,
Я—царь еще... Внемлите вы, бояре:
Се тотъ, кому приказываю царство;
Цѣлуйте крестъ Θеодору... Басмановъ,
Друзья мои... при гробѣ васъ молю
Ему служить усердіемъ и правдой!
Онъ такъ еще и младъ, и непорченъ.
Клянется ли?

Бояре. Клянемся.

Царь. Я доволенъ.

Простите жъ мнѣ соблазны и грѣхи
И вольныя, и тайныя обиды...
Святыи отецъ, приближься, я готовъ.

(Начинается обрядъ постриженія. Жен-

щины въ обморокъ выносятся).

Лѣбное мѣсто.

Пушкинъ идетъ, окружен-
ный народомъ.

Народъ. Царевичъ намъ боярина
прислалъ.

Послушаемъ, что скажетъ намъ боя-
ринъ.

Сюда! Сюда!

Пушкинъ (на амвонѣ). Москов-
скіе граждане!

Вамъ кланяться царевичъ приказалъ.
(Кланяется).

Вы знаете, какъ Промыслъ небесный
Царевича отъ рукъ убійцы спасъ;
Онъ шелъ казнить влодѣя своего,
Но Божій судъ ужъ поразилъ Бориса.
Димитрію Россія покорилась;
Басмановъ съ раскаяньемъ усерднымъ
Свои полки привелъ ему къ присягѣ.
Димитрій къ вамъ идетъ съ любовью,
съ миромъ.

Въ угоду ли семейству Годуновыхъ
Подымете вы руку на царя
Законнаго, на внука Мономаха?

Н а р о д ъ. Вѣстимо, нѣтъ.

П у ш к и н ъ. Московскіе граждане!
Миръ вѣдаетъ, сколь много вы терпѣли
Подъ властію жестокаго прищельца:
Опалу, казнь, безчестіе, налоги,
И трудъ, и гладъ—все испытали вы,
Димитрій же васъ жаловать намѣренъ,
Бояръ, дворянъ, людей приказныхъ,
ратныхъ,

Гостей, купцовъ—ивесь честной народъ!
Вы ль станете упрямыться безумно
И милостей кичливо убѣгать?
Но онъ идетъ на царственный престолъ
Своихъ отцовъ въ сопровожденіи гроз-
номъ.

Не гнѣвайте жъ царя и бойтесь Бога,
Цѣлуйте крестъ законному владыкѣ;
Смиритесь; немедленно пошлите
Къ Димитрію во станъ митрополита,
Бояръ, дьяковъ и выборныхъ людей,
Да бьютъ челомъ отцу и государю.

(Сходить. Шумъ народныхъ).

Н а р о д ъ. Чтѣ толковать? Бояринъ
правду молвилъ,
Да здравствуетъ Димитрій, нашъ отецъ!
Мужикъ на амвонѣ. Народъ!
народъ! въ Кремль! въ царскія
палаты!

Ступай вязать Борисова щенка!

Н а р о д ъ (несется толпою). Вязать!
топить! Да здравствуетъ Димитрій!
Да гибнетъ родъ Бориса Годунова!

Кремль, домъ Борисовъ. Стра-
жа у крыльца.

Θеодоръ подѣ окномъ.

Н и щ і й. Дайте милостыню Христа
ради!

Стража. Поди прочь! не велѣно
говорить съ заключенными.

Θеодоръ. Поди, старикъ, я бѣд-
нѣ тебя: ты на волю.

(Ксенія, подѣ покрываломъ, подходитъ
также къ окну).

Одинъ изъ народа. Братъ да
сестра—бѣдныя дѣти, что птички въ
клеткѣ.

Другой. Есть окомъ жалѣть? Про-
клятое племя!

Первый. Отецъ былъ злодѣй, а
дѣтки невинны.

Другой. Яблоко отъ яблони не
далеко падаетъ!

Ксенія. Братецъ! братецъ! ка-
жется, къ намъ бояре идутъ.

Θеодоръ. Это Голицынъ, Мосаль-
скій. Другіе мнѣ незнакомы.

Ксенія. Ахъ, братецъ, сердце за-
мираетъ.

(Голицынъ, Мосальскій, Молчановъ и Ше-
рефединовъ; за ними трое стрѣльцовъ).

Н а р о д ъ. Разступитесь, разступи-
тесь: бояре идутъ. (Они входятъ въ
домъ).

Одинъ изъ народа. Зачѣмъ
они пришли?

Другой. А, вѣрно, приводятъ къ
присягѣ Θеодора Годунова.

Третій. Въ самомъ дѣлѣ. Слы-
шишь, какой въ домѣ шумъ!... Тре-
вога... дерутся!

Н а р о д ъ. Слышишь? визгъ! Это—
женскій голосъ... Взойдемъ... Двери за-
перты—крики замолкли — шумъ про-
должается.

(Отворяются двери. Мосальскій является
на крыльцѣ).

Мосальскій. Народъ! Марія Го-
дунова и сынъ ея Θеодоръ отравили себя
ядомъ. Мы видѣли ихъ мертвые тру-
пы. (Народъ въ ужасѣ молчитъ). Чтѣ
жъ вы молчите? Кричите: да здрав-
ствуетъ царь Димитрій Ивановичъ!

(Народъ безмолвствуетъ).

Скупой рыцарь.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Въ башнѣ.

Альберъ и Иванъ.

Альберъ. Во что бы то ни стало,
на турнирѣ
Явлюсь я. Покажи мнѣ шлемъ, Иванъ.
(Иванъ подаетъ ему шлемъ).
Пробить насквозь, испорченъ. Невоз-
можно
Его надѣть. Достать мнѣ надо новый.
Какой ударъ! Проклятый графъ Де-
лоржъ!

Иванъ. И вы ему порядкомъ от-
платили:
Какъ изъ стремянъ вы вышибли его,
Онъ сутки за мертвое лежалъ—и врядъ ли
Оправился.

Альберъ. А все жъ онъ не въ
убыткѣ:
Его нагрудникъ цѣлъ венеціанскій,
А грудь своя гроша ему не стоитъ—
Другой себѣ не станетъ покупать.
Зачѣмъ съ него не снялъ я шлема
тутъ же!
А снялъ бы я, когда бъ не было
стыдно
Мнѣ дамъ и герцога. Проклятый графъ!
Онъ лучше бы мнѣ голову пробилъ.
И платье нужно мнѣ. Въ послѣдній
разъ

Всѣ рыцари сидѣли тутъ въ алтаѣ
Да бархатѣ; я въ латахъ былъ одинъ
За герцогскимъ столомъ. Отговорился
Я тѣмъ, что на турниръ попалъ слу-
чайно.

А нынче что скажу? О, бѣдность, бѣд-
ности!

Какъ унижаетъ сердце намъ она!
Когда Делоржъ копьемъ своимъ тя-
желымъ
Пробилъ мнѣ шлемъ и мимо проска-
калъ,
А я съ открытой головой припиорилъ
Эмира моего, помчался вихремъ

И бросилъ графа на двадцать шаговъ,
Какъ маленькаго пажу; какъ всѣ дамы
Привстали съ мѣстъ, когда сама Кло-
тильда,

Закрывъ лицо, невольно закричала,
И славили герольды мой ударъ,—
Тогда никто не думалъ о причинѣ
И храбрости моей, и силы дивной!
Взбѣсился я за поврежденный шлемъ;
Героизму что виною было?—Скупость.
Да! заразиться здѣсь не трудно ею
Подъ кровлею одной съ моимъ отцомъ.
Что бѣдный мой Эмиръ?

Иванъ. Онъ все хромаетъ.
Вамъ выхъать на немъ еще нельзя.

Альберъ. Ну, дѣлать нечего,
куплю гнѣдого.

Недорого и просить за него..

Иванъ. Недорого, да денегъ нѣтъ
у насъ.

Альберъ. Что жъ говорить без-
дѣльнигъ Соломонъ?

Иванъ. Онъ говоритъ, что болѣе
не можетъ

Взаимы давать вамъ денегъ безъ за-
клада.

Альберъ. Закладъ! а гдѣ мнѣ
взять заклада, дьяволъ!

Иванъ. Я сказывалъ.

Альберъ. Что жъ онъ?

Иванъ. Крихтять да жметса.

Альберъ. Да ты бъ ему сказалъ,
что мой отецъ

Богатъ и самъ, какъ жидъ, что рано ль,
поздно ль

Всему наслѣдую.

Иванъ. Я говорилъ.

Альберъ. Что жъ?

Иванъ. Жметса да крихтять.

Альберъ. Какое горе!

Иванъ. Онъ самъ хотѣлъ придти.

Альберъ. Ну, слава Богу.
Безъ выкупа не выпущу его.

(Стучать въ дверь).

Кто тамъ? (Входитъ жидъ).

Жидъ. Слуга вашъ низкій.

Альберъ. А, пріятель!

Проклятый жидъ, почтенный Соломонъ,
Пожалуй-ка сюда: такъ ты, я слышу,
Не вѣришь въ долгъ?

Жидъ. Ахъ, милостивый рыцарь,
Клянусь вамъ, радъ бы... право, не
могу.

Гдѣ денегъ взять? Весь разорился я,
Все рыцарямъ усердно помогая.

Никто не платить. Васъ хотѣлъ про-
сить,

Не можете ль хоть часть отдать...

Альберъ. Разбойникъ!
Да если бъ у меня водились деньги,
Съ тобою сталъ ли бъ я возиться?

Полно,
Не будь упрямъ, мой милый Соломонъ,
Давай червонцы. Высыпи мнѣ сотню,
Пока тебя не обыскали.

Жидъ. Сотню!
Когда бъ имѣлъ я сто червонцевъ!

Альберъ. Слушай!
Не стыдно ли тебѣ своихъ друзей
Не выручать?

Жидъ. Клянусь вамъ...

Альберъ. Полно, полно.
Ты требуешь заклада? что за вздоръ!
Что дамъ тебѣ въ закладъ?—свиную
кожу?

Когда бъ я могъ что заложить, давно
Ужъ продалъ бы. Иль рыцарскаго слова
Тебѣ, собака, мало?

Жидъ. Ваше слово,
Пока вы живы, много, много значить.
Всѣ сундуки фламандскихъ богачей,
Какъ талисманъ, оно вамъ отпопретъ.
Но если вы его передадите
Мнѣ, бѣдному еврею, а межъ тѣмъ
Умрете (Боже сохрани), тогда
Въ моихъ рукахъ оно подобно будетъ
Ключу отъ брошенной шкатулки въ
море.

Альберъ. Ужель отецъ меня пе-
реживетъ?

Жидъ. Какъ знать? Дни наши со-
чтены не нами:

Цвѣлъ юноша вѣчоръ, а нынче умеръ,
И вотъ, его четыре старика

Несутъ на сгорбленныхъ плечахъ въ
могилу.

Баронъ здоровъ. Богъ дастъ, лѣтъ де-
сять, двадцать

И двадцать пять, и тридцать прожи-
ветъ онъ.

Альберъ. Ты врешь, еврей! Да
черезъ тридцать лѣтъ
Мнѣ стукнетъ пятьдесятъ, тогда и
деньги

На что мнѣ пригодятся?

Жидъ. Деньги?—Деньги
Всегда, во всякій возрастъ намъ при-
годны;

Но юноша въ нихъ ищетъ слугъ про-
ворныхъ

И, не жалѣя, шлетъ туда-сюда,
Старикъ же видитъ въ нихъ друзей
надежныхъ

И бережетъ ихъ, какъ зѣницу ока.

Альберъ. О! мой отецъ не слугъ
и не друзей

Въ нихъ видитъ, а господь, и самъ
имъ служить;

И какъ же служить? какъ алжирскій
рабъ,

Какъ песъ цѣпной! Въ неопленной
конурѣ

Живетъ, пьетъ воду, ѣстъ сухія корки,
Всю ночь не спитъ, все бѣгаетъ да
лаетъ.

А золото спокойно въ сундукахъ
Лежитъ себѣ. Молчи! когда-нибудь
Оно послужитъ мнѣ, лежать забудетъ.

Жидъ. Да, на бароновыхъ похоро-
нахъ

Промется больше денегъ, нежели
слезъ.

Пошли вамъ Богъ скорѣй наслѣдство.

Альберъ. Амен!

Жидъ. А можно бъ...

Альберъ. Что?

Жидъ. Такъ, думалъ я, что сред-
ство

Такое есть...

Альберъ. Какое средство?

Жидъ. Такъ—

Есть у меня знакомый старичокъ,
Еврей, аптекаръ бѣдный...

Альберъ. Ростовщикъ

Такой же, какъ и ты, иль почестнѣе?

Жидъ. Нѣтъ, рыцарь. Товій торгъ
ведетъ иной:

Онъ составляетъ капли... право, чудно,
Какъ дѣйствуютъ онѣ.

Альберъ. А что мнѣ въ нихъ?

Жидъ. Въ стаканъ воды подлить...
трехъ капель будетъ,
Ни вкуса въ нихъ, ни цвѣта не за-
мѣтно;

А человекъ безъ рѣзы въ животѣ,
Безъ тошноты, безъ боли умираетъ.

Альберъ. Твой старичокъ тор-
гуетъ ядомъ.

Жидъ. Да—
И ядомъ.

Альберъ. Что жъ? Взаимы, на
мѣсто денегъ,
Ты мнѣ предложишь стклянокъ двѣсти
яду—
За стклянку по червонцу. Такъ ли,
что ли?

Жидъ. Смѣяться вамъ угодно надо
мною.

Нѣтъ; я хотѣлъ... быть можетъ, вы...
я думалъ,

Что ужъ барону время умереть.

Альберъ. Какъ! отравить отца!
и смѣлъ ты сыну...

Иванъ! держи его. И смѣлъ ты мнѣ!..
Да знаешь ли, жидовская душа,
Собака, змѣй, что я тебя сейчасъ же
На воротахъ повѣшу!

Жидъ. Виноваты!

Простите я шутилъ.

Альберъ. Иванъ, веревку!

Жидъ. Я... я шутилъ. Я деньги
вамъ принесъ.

Альберъ. Вонъ, песь!

(Жидъ уходитъ).

Вотъ до чего меня доводитъ

Отца родного скупость! Жидъ мнѣ
смѣлъ

Что предложить! Дай мнѣ стаканъ вина!

Я весь дрожу... Иванъ, однакожъ
деньги

Мнѣ нужны... Сбѣгай за жидомъ про-
клятымъ,

Возьми его червонцы. Да сюда

Мнѣ принеси чернильницу... Я плуту

Росписку дамъ. Да не вводи сюда

Гуду этого... Иль нѣтъ, постой—

Его червонцы будутъ пахнуть ядомъ,

Какъ сребреники пращура его...

Я спрашивалъ вина.

Иванъ. У насъ вина

Ни капли нѣтъ.

Альберъ. А то, что мнѣ прислалъ
Въ подарокъ изъ Испаніи Ремонъ?

Иванъ. Вечоръ я снесъ послѣднюю
бутылку

Больному кузнецу.

Альберъ. Да, помню, знаю...
Такъ дай воды. Проклятое житье!

Нѣтъ, рѣшено—пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставляютъ

Меня держать, какъ сына, не какъ
мышь,

Рожденную въ подпольѣ.

ОЦЕНА ВТОРАЯ

Подвалъ.

Баронъ. Какъ молодой повѣса
ждетъ свиданья

Съ какой-нибудь развратницей лука-
вой,

Иль дурой, имъ обманутой, такъ я
Весь день минуты ждалъ, когда сойду

Въ подвалъ мой тайный, къ вѣрнымъ
сундукамъ.

Счастливыи день! Могу сегодня я
Въ шестой сундукъ (въ сундукъ еще
неполный)

Горсть золота накопленного высыпать.

Немного, кажется, по немногу

Сокровища растутъ. Читалъ я гдѣ-то,

Что царь однажды воинамъ своимъ

Велѣлъ снести земли по горсти въ
кучу,—

И горный холмъ вовысился, и царь
Могъ съ вышины съ весельемъ озн-
рать

И долъ, покрытый бѣлыми шатрами,

И море, гдѣ бѣжали корабли.

Такъ я, по горсти бѣдной принося

Привычну дань мою сюда, въ подвалъ,

Вознесъ мой холмъ—и съ высоты его

Могу взирать на все, что мнѣ под-
властно.

Что не подвластно мнѣ?.. Какъ нѣкій

демонъ,

Отселѣ править я могу;

Лишь захочу—воздвигнутся чертоги;

Въ великолѣпные мои сады

Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою;
И музы дань свою мнѣ принесутъ,
И вольный геній мнѣ поработится,
И добродѣтель, и бессонный трудъ
Смирненно будутъ ждать моей награды.
Я свисну—и ко мнѣ послушно, робко
Впользеть окровавленное злодѣйство,
И руку будетъ мнѣ лизать, и въ очи
Смотрѣть, въ нихъ знакъ моей читая
воли.

Мнѣ все послушно, я же—ничему;
Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ;
Я знаю мощь мою: съ меня довольно
Сего сознанья... (Смотреть на свое зо-
лото). Кажется, не много,
А сколькихъ человѣческихъ заботъ,
Обмановъ, слезъ, моленій и проклятій
Оно тяжеловѣсный представитель!
Тутъ есть дублонъ старинный... вотъ
онъ. Нынче

Вдова мнѣ отдала его, но прежде
Съ тремя дѣтьми полдня передъ
окномъ
Она стояла на колѣняхъ, воя.
Шелъ дождь, и пересталъ, и вновь
пошелъ,—

Притворщица не трогалась; я могъ бы
Ее прогнать, но что-то мнѣ шептало,
Что мужикъ долъгъ она мнѣ принесла
И не захочетъ завтра быть въ тюрьмѣ.
А этоть? Этоть мнѣ принесъ Тибо.
Гдѣ было взять ему, лѣнивцу, плуту?
Украсть, конечно, или, можетъ быть,
Тамъ, на большой дорогѣ, ночью, въ
рощѣ...

Да! если бы всѣ слезы, кровь и потъ,
Пролитые за все, что здѣсь хранится,
Изъ нѣдръ земныхъ всѣ выступили
вдругъ,

То былъ бы вновь потопъ—я захлеб-
нулся бъ

Въ моихъ подвалахъ вѣрныхъ. Но пора.
(Хочетъ отпереть сундукъ).

Я каждый разъ, когда хочу сундукъ
Мой отпереть, выпадаю въ жаръ и тре-
петъ.

Не страхъ (о, нѣтъ! кого бояться мнѣ?
При мнѣ мой мечъ: за алато отвѣ-
чаешь

Честной булатъ), но сердце мнѣ тѣс-
нить

Какое-то невѣдомое чувство...

Насъ увѣряютъ медики: есть люди,
Въ убійствѣхъ находящіе пріятность.

Когда я ключъ въ замокъ влагаю,
то же

Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая въ жертву ножъ: пріятно
И страшно вмѣстѣ. (Отпираетъ сундукъ).

Вотъ мое блаженство! (Высыпаетъ
деньги).

Ступайте, полно вамъ по свѣту ры-
скавъ,

Служа страстямъ и нуждамъ человѣка.
Усните здѣсь сномъ силы и покоя,
Какъ боги спать въ глубокихъ небе-
сахъ!

Хочу себѣ сегодня пиръ устроить:
Зажгу свѣчу предъ каждымъ сунду-
комъ,

И всѣ ихъ отопру, и стану самъ
Средь нихъ глядѣть на блестящія
груды.

(Зажигаетъ свѣчи и отпираетъ сундуки
одинъ за другимъ).

Я царствую!.. Какой волшебный блескъ!
Послушна мнѣ, сильна моя держава;
Въ ней счастье, въ ней честь моя и
слава!

Я царствую!.. Но кто вослѣдъ за мною
Приметь власть надъ нею? Мой на-
слѣдникъ!

Безумецъ, расточитель молодой!
Развратниковъ разгульных собесѣд-
никъ!

Едва умру, онъ, онъ сойдетъ сюда,
Подъ эти мирные, нѣмые своды,
Съ толпой ласкателей, придворныхъ
жадныхъ!

Укравъ ключи у трупа моего,
Онъ сундуки со смѣхомъ отопретъ—
И потекутъ сокровища моя
Въ атласные, дырявые карманы.

Онъ разобьетъ священные сосуды,
Онъ грязь елеемъ царскимъ наночетъ—
Онъ расточитъ... А по какому праву?
Мнѣ развѣ даромъ все досталось,
Или шута, какъ игроку, который

Гремитъ костью да груды загребаешь?
 Кто знаетъ, сколько горькихъ воздер-
 жаний,
 Обузданныхъ страстей, тяжелыхъ
 думъ,
 Дневныхъ заботъ, ночей безсонныхъ
 мнѣ
 Все это стоило? Иль скажетъ сынъ,
 Что сердце у меня обросло мохомъ,
 Что я не зналъ желаній, что меня
 И совѣсть никогда не грызла,—со-
 вѣсть,
 Когтистый звѣрь, скребящій сердце,—
 совѣсть,
 Незванный гость, докучный собесѣд-
 никъ,
 Займодавецъ грубый; эта вѣдьма,
 Отъ коей меркнетъ мѣсяцъ, и могилы
 Смущаются и мертвыхъ высылаютъ!..
 Нѣтъ, выстрадай сперва себѣ богат-
 ство,
 А тамъ посмотримъ, станетъ ли не-
 счастный
 То расточать, чтó кровью приобрѣлъ.
 О, если бѣ могъ отъ взоровъ недо-
 стойныхъ
 Я скрыть подвалъ!.. о, если бѣ изъ
 могилы
 Придти я могъ, сторожевою тѣнью
 Сидѣть на сундукѣ и отъ живыхъ
 Сокровища мои хранить, какъ нынѣ!..

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Во дворцѣ.

Альберъ, Герцогъ.

Альберъ. Повѣрьте, государь, тер-
 пѣлъ я долго
 Стыдъ горькой бѣдности. Когда бѣ не
 крайность,
 Вы бѣ жалобы моей не услышали.

Герцогъ. Я вѣрю, вѣрю: благо-
 родный рыцарь,
 Таковъ, какъ вы, отца не обвинить
 Безъ крайности. Такихъ развратныхъ
 мало...

Спокойны будьте: вашего отца
 Усовѣщу наединѣ, безъ шуму.

Я жду его. Давно мы не видались.
 Онъ былъ другъ дѣду моему. Я помню,
 Когда я былъ еще ребенкомъ, онъ
 Меня сажалъ на своего коня
 И покрывалъ своимъ тяжелымъ пле-
 момъ,
 Какъ будто колоколомъ. (Смотритъ въ
 окно). Это кто?

Не онъ ли?

Альберъ. Такъ—онъ, государь.
 Герцогъ. Подите жѣ
 Въ ту комнату. Я кликну васъ.
 (Альберъ уходитъ; входитъ баронъ).
 Баронъ,
 Я радъ васъ видѣть бодрымъ и здоро-
 вымъ.

Баронъ. Я счастливъ, государь,
 что въ силахъ былъ
 По приказанью вашему явиться.

Герцогъ. Давно, баронъ, давно
 разстались мы.

Вы помните меня?

Баронъ. Я, государь?
 Я, какъ теперь, васъ вижу. О, вы были
 Ребенокъ рѣзвый.—Мнѣ покойный гер-
 цогъ

Говаривалъ: Филиппъ (онъ звалъ меня
 Всегда Филиппомъ), чтó скажешь? а?
 Лѣтъ черезъ двадцать, право, ты да я,
 Мы будемъ глупы передъ этимъ ма-
 лымъ...

Предъ вами, то-есть...

Герцогъ. Мы теперь знакомство
 Возобновимъ. Вы дворъ забыли мой.

Баронъ. Старъ, государь, я нынче:
 при дворѣ

Чтó дѣлать мнѣ? Вы молоды; вамъ любы
 Турниры, праздники. А я на нихъ
 Ужъ не гожусь. Богъ дастъ войну,
 такъ я

Готовъ, крахтя, взлѣзть снова на
 коня;

Еще достанетъ силы старый мечъ
 За васъ рукой дрожащей обнажить.

Герцогъ. Баронъ, усердье ваше
 намъ извѣстно;

Вы дѣду были другомъ; мой отецъ
 Васъ уважалъ. И я всегда считалъ
 Васъ вѣрнымъ, храбрымъ рыцаремъ;
 но сядемъ.

У васъ, баронъ, есть дѣти?

Баронъ. Сынъ одинъ.

Герцогъ. Зачѣмъ его я при себѣ не вижу?

Вамъ дворъ наскучилъ, но ему прилично

Въ его лѣтахъ и званьи быть при насъ.

Баронъ. Мой сынъ не любитъ шумной, свѣтской жизни;

Онъ дикаго и сумрачнаго права—

Вкругъ замка по лѣсамъ онъ вѣчно бродить,

Какъ молодой олень.

Герцогъ. Не хорошо ему дичиться. Мы тотчасъ приучимъ его къ весельямъ, къ баламъ и тур-нирамъ.

Пришлите мнѣ его; назначьте сыну Приличное по званью содержанье... Вы хмуритесь—устали вы съ дороги, быть можетъ?

Баронъ. Государь, я не усталъ; Но вы меня смутили. Передъ вами Я бъ не хотѣлъ сознаться, но меня Вы принуждаете сказать о сынѣ То, чтб желалъ отъ васъ бы утаить. Онъ, государь, къ несчастью, недостойнъ

Ни милостей, ни вашего вниманья. Онъ молодость свою проводить въ буйствѣ,

Въ порокахъ низкихъ.

Герцогъ. Это потому, Баронъ, что онъ одинъ. Уединенье И праздность губятъ молодыхъ людей. Пришлите къ намъ его: онъ позабудетъ

Привычки, зарожденныя въ глуши.

Баронъ. Простите мнѣ, но, право, государь,

Я согласиться не могу на это...

Герцогъ. Но почему же?

Баронъ. Увольте старика...

Герцогъ. Я требую: откройте мнѣ причину

Отказа вашего.

Баронъ. На сына я

Сердить

Герцогъ. За что?

Баронъ. За злое преступленье.

Герцогъ. А въ чемъ оно, скажите, состоитъ?

Баронъ. Увольте, герцогъ...

Герцогъ. Это очень странно! Или вамъ стыдно за него.

Баронъ. Да... стыдно....

Герцогъ. Но что же сдѣлалъ онъ?

Баронъ. Онъ... онъ меня Хотѣлъ убить.

Герцогъ. Убить! Такъ я суду Его предамъ, какъ чернаго злодѣя.

Баронъ. Доказывать не стану я, хоть знаю, Что точно смерти жаждетъ онъ моей, Хоть знаю то, что покушался онъ Меня...

Герцогъ. Что?

Баронъ. Обокрасть. (Альберъ бросается въ комнату).

Альберъ. Баронъ, вы лжете!

Герцогъ (сыну). Какъ смѣли вы?..

Баронъ. Ты здѣсь! ты, ты мнѣ смѣлъ!..

Ты могъ отцу такое слово молвить!.. Я лгу? и передъ нашимъ государемъ!..

Мнѣ, мнѣ... иль ужъ не рыцарь я?..

Альберъ. Вы—лжецъ!

Баронъ. И громъ еще не грянулъ, Боже правый!

Такъ подыми жъ, и мечъ насъ рассуди!

(Бросаетъ перчатку; сынъ поспѣшно ее поднимаетъ).

Альберъ. Благодарю. Вотъ первый даръ отца!

Герцогъ. Что видѣлъ я? Что было предо мною?

Сынъ принялъ вызовъ стараго отца! Въ какіе дни надѣлъ я на себя

Цѣпь герцоговъ! Молчите: вы, безумецъ, И ты, тигренокъ! — Полно. (Сыну).

Бросьте это; Отдайте мнѣ перчатку. (Отнимаетъ ее).

Альберъ (въ сторону). Жаль!

Герцогъ. Такъ и впился въ нее когтями!.. Извергъ!

Подите: на глаза мои не смѣйте Являться до тѣхъ поръ, пока я самъ

Не призову васъ. (Альберъ выходитъ).
Вы, старикъ несчастный,
Не стыдно ль вамъ?..

Баронъ. Простите, государь...
Стоять я не могу... моя колѣна
Слабѣютъ... душно!.. душно!.. Гдѣ ключи?
Ключи, ключи мои!

Герцогъ. Онъ умеръ. Боже!
Ужасный вѣкъ, ужасныя сердца!

Моцартъ и Сальери.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Комната.

Сальери. Всѣ говорятъ: нѣтъ
правды на землѣ.
Но правды нѣтъ—и выше. Для меня
Такъ это ясно, какъ простая гамма.
Родился я съ любовію къ искусству;
Ребенкомъ будучи, когда высоко
Звучалъ органъ въ старинной церкви
нашей.

Я слушалъ и заслушивался—слезы
Невольныя и сладкія текли.
Отвергъ я рано праздныя забавы;
Науки, чуждыя музыкѣ, были
Постылы мнѣ; упрямо и надменно
Отъ нихъ отрекся я и предался
Одной музыкѣ. Труденъ первый шагъ
И скученъ первый путь. Преодолѣлъ
Я раннія невзгоды. Ремесло
Поставилъ я подножіемъ искусству;
Я сдѣлался ремесленникъ: перстамъ
Придалъ послушную, сухую бѣглость,
И вѣрность уху. Звуки умертвивъ,
Музыку я разъялъ, какъ трупъ. Повѣ-
рилъ

Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнулъ, въ наукѣ искушенный,
Предаться нѣгѣ творческой мечты.
Я сталъ творить, но въ тишинѣ, но
втайнѣ,
Не смѣя помышлять еще о славѣ.
Нерѣдко, просидѣвъ въ безмолвной
кельѣ
Два-три дня, позабывъ и сонъ, и пищу,

Вкусивъ восторгъ и слезы вдохновенья,
Я жегъ мой трудъ и холодно смотрѣлъ,
Какъ мысль моя и звуки, мной ро-
жденны,

Пылая, съ легкимъ дымомъ исчезали!..
Что говорю? Когда великій Глюкъ
Явился и открылъ намъ новы тайны
(Глубокія, плѣнительныя тайны!)

Не бросилъ ли я все, что прежде
зналъ,

Что такъ любилъ, чему такъ жарко
вѣрилъ,

И не пошелъ ли бодро вслѣдъ за нимъ
Безропотно, какъ тотъ, кто заблуждался
И встрѣчнымъ посланъ въ сторону
иную?

Усиленнымъ, напряженнымъ постоян-
ствомъ

Я наконецъ въ искусствѣ безгранич-
номъ

Достигнулъ степени высокой. Слава
Мнѣ улыбнулась; я въ сердцахъ людей
Нашелъ созвучія своимъ созданьямъ.
Я счастливъ былъ: я наслаждался

мирно
Своимъ трудомъ, успѣхомъ, славой;
также

Трудами и успѣхами друзей,
Товарищей моихъ въ искусствѣ див-
номъ.

Нѣтъ! никогда я зависти не зналъ!
О, никогда!—ниже, когда Пиччини
Плѣнить умѣлъ слухъ дикихъ пари-
жанъ,

Ниже, когда услышалъ въ первый разъ
Я Ифигеніи начальны звуки.

Кто скажетъ, чтобъ Сальери гордый
былъ

Когда-нибудь завистникомъ презрѣн-
нымъ,

Змѣей, людьми растоптанною, вживѣ
Песокъ и пыль грызущую бесцельно?
Никто!.. А нынѣ—самъ скажу—я нынѣ
Завистникъ! Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.—О, небо!

Гдѣ жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній — не въ на-
граду

Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,

А оваряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?... О, Моцартъ! Мо-
цартъ! (Входитъ Моцартъ).

Моцартъ. Ага! увидѣлъ ты! а мнѣ
хотѣлось
Тебя неожиданной шуткой угостить.

Сальери. Ты здѣсь!—Давно ль?
Моцартъ. Сейчасъ. Я шелъ къ
тебѣ,

Несъ кое-что тебѣ я показать;
Но, проходя передъ трактиромъ, вдругъ
Услышалъ скрипку... Нѣтъ, мой другъ
Сальери!

Смѣшнѣе отроду ты ничего
Не слыхивалъ!.. Слѣпой скрипачъ въ
трактирѣ
Разыгрывалъ *voilà* зарете. Чудо!
Не вытерпѣлъ, привелъ я скрипача,
Чтобъ угостить тебя его искусствомъ.
Войди! (Входитъ слѣпой старикъ со скрип-
кой).

Изъ Моцарта намъ что-нибудь!
(Старикъ играетъ арію изъ „Донъ-Жуана“;
Моцартъ хохочетъ).

Сальери. И ты смѣяться можешь?
Моцартъ. Ахъ, Сальери!
Ужель и самъ ты не смѣешься!

Сальери. Нѣтъ,
Мнѣ не смѣшно, когда маляръ негод-
ный

Мнѣ пачкаетъ Мадонну Рафаэля;
Мнѣ не смѣшно, когда фигляръ пре-
зрѣнный

Пародіей безчеститъ Алигьери.
Пошелъ, старикъ!

Моцартъ. Постой же: вотъ тебѣ;
Пей за мое здоровье. (Старикъ уходитъ).

Ты, Сальери,
Не въ духѣ нынче. Я приду къ тебѣ
Въ другое время.

Сальери. Что ты мнѣ принесъ?
Моцартъ. Нѣтъ—такъ, бездѣлицу.

Намедни ночью
Безсонница моя меня томила,
И въ голову пришли мнѣ двѣ-три мысли.
Сегодня я ихъ набросалъ. Хотѣлось
Твое мнѣ слышать мнѣнье; но теперь
Тебѣ не до меня.

Сальери. Ахъ, Моцартъ, Моцартъ!

Когда же мнѣ не до тебя? Садись;
Я слушаю.

Моцартъ (за фортепiano). Пред-
ставь себѣ... кого бы?

Ну, хотъ меня—немного помоложе;
Влюбленнаго—не слишкомъ, а слегка;
Съ красоткой, или съ другомъ—хотъ
съ тобой;

Я веселъ... Вдругъ: видѣнье гробовое,
Незапный мракъ или что-нибудь такое...
Ну, слушай же. (Играетъ).

Сальери. Ты съ этимъ шелъ ко
мнѣ,

И могъ остановиться у трактира
И слушать скрипача слѣпого!—Боже!
Ты, Моцартъ, недостойнъ самъ себя.

Моцартъ. Что жъ, хорошо?
Сальери. Какая глубина!

Какая смѣлость и какая стройность!
Ты, Моцартъ, богъ, и самъ того не
знаешь;

Я знаю, я!
Моцартъ. Ва! право? можетъ быть...
Но божество мое проголодалось.

Сальери. Послушай: отобѣдаемъ
мы вмѣстѣ

Въ трактирѣ Золотого Льва.
Моцартъ. Пожалуй;

Я радъ. Но дай, схожу домой, сказать
Женѣ, чтобы меня она къ обѣду
Не дожидалась. (Уходитъ).

Сальери. Жду тебя; смотри жъ.—
Нѣтъ! не могу противиться я долѣ
Судьбѣ моей: я избранъ, чтобъ его
Остановить—не то, мы всѣ погибли,

Мы всѣ, жрецы, служители музыки,
Не я одинъ съ моею глухою славой...

Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметь ли онъ тѣмъ искусство?

Нѣтъ!
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ:

Наслѣдника намъ не оставитъ онъ.
Что пользы въ немъ? Какъ нѣкій херу-
вимъ,

Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсень
райскихъ,

Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ уле-
тѣтъ!

Такъ улетай же! чѣмъ скорѣй, тѣмъ
лучше!

Вотъ ядъ, послѣдній даръ моей Изоры.
Осмынадцать лѣтъ ношу его съ собою—
И часто жизнь казалась мнѣ съ тѣхъ
поръ

Несносной раной, и сидѣлъ я часто
Съ врагомъ безпечнымъ за одной тра-
пезой,

И никогда на шопотъ искушенья
Не преклонился я, хоть я не трусь,
Хоть обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
Какъ жажда смерти мучила меня—
Что умирать? я мнилъ: быть можетъ,
жизнь

Мнѣ принесетъ незапные дары;
Быть можетъ, посѣтитъ меня восторгъ
И творческая ночь, и вдохновенье;
Быть можетъ, новый Гайднъ сотворитъ
Великое—и наслажуся имъ...

Какъ пировалъ я съ гостемъ нена-
вистнымъ—

Быть можетъ, мнилъ я, злѣйшаго врага
Найду; быть можетъ, злѣйшая обида
Въ меня съ надменной грянетъ вы-
соты—

Тогда не пропадешь ты, даръ Изоры.
И я былъ правъ! и наконецъ нашелъ
Я моего врага, и новый Гайднъ
Меня восторгомъ дивно упоилъ!
Теперь—пора! Завѣтный даръ любви,
Переходи сегодня въ чашу дружбы.

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Особая комната въ трактирѣ; фортепіано.

Моцартъ и Сальери (за сто-
ломъ).

Сальери. Что ты сегодня пасму-
ренъ?

Моцартъ. Я? Нѣтъ

Сальери. Ты, вѣрно, Моцартъ,
чѣмъ-нибудь разстроень?

Обѣдъ хорошій, славное вино.

А ты молчишь и хмуришься.

Моцартъ. Признаться,

Мой Requiem меня тревожитъ.

Сальери. А!

Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцартъ. Давно, недѣли три.

Но странный случай...

Не сказывалъ тебѣ я?

Сальери. Нѣтъ.

Моцартъ. Такъ слушай:

Недѣли три тому, пришелъ я поздно
Домой. Сказали мнѣ, что заходилъ
За мною кто-то. Отчего—не знаю,
Всю ночь я думалъ: кто бы это былъ?
И что ему во мнѣ? На завтра тотъ же
Зашелъ я не засталъ опять меня.
На третій день игралъ я на полу
Съ моимъ мальчишкой. Кликнули
меня;

Я вышелъ. Человѣкъ, одѣтый въ чер-
номъ,

Учтиво поклонившись, заказалъ
Мнѣ Requiem и скрылся. Сѣлъ я тот-
часъ

И сталъ писать—и съ той поры за
мною

Не приходилъ мой черный человѣкъ:
А я и радъ: мнѣ было бъ жаль раз-
статься

Съ моей работой, хоть совсѣмъ готовъ
Ужъ Requiem. Но между тѣмъ я...

Сальери. Что?

Моцартъ. Мнѣ совѣстно признать-
ся въ этомъ...

Сальери. Въ чемъ же?

Моцартъ. Мнѣ день и ночь по-
кой не даетъ

Мой черный человѣкъ. За мною всюду,
Какъ тѣнь, онъ гонится. Вотъ и теперь
Мнѣ кажется, онъ съ нами самъ-третей
Сидитъ.

Сальери. И, полно! что за страхъ
ребячій!

Разсѣй пустую думу. Бомарше
Говаривалъ мнѣ: „Слушай, братъ

Сальери,
Какъ мысли черныя къ тебѣ придутъ,
Откупори шампанскаго бутылку,
Иль перечти „Женитьбу Фригаро“.

Моцартъ. Да! Бомарше вѣдь
былъ тебѣ пріятель;

Ты для него Тарара сочинилъ,

Вещь славную. Тамъ есть одинъ мо-
тивъ... Надомго, Моцартъ!... Но ужель онъ правъ,

Я все твержу его, когда я счастливъ. И я—не геній? Геній и злодѣйство—
Ла-ла-ла-ла... Ахъ, правда ли, Сальери, Двѣ вещи несовмѣстныя. Неправда:
Что Бомарше кого-то отравилъ? А Бонаротти?.. Или это сказка

Сальери. Не думаю: онъ слишкомъ былъ смѣшонъ? Тупой, бессмысленной толпы — и не былъ

Для ремесла такого. Убийцею создатель Ватикана?

Моцартъ. Онъ же геній,
Какъ ты да я. А геній и злодѣйство—
Двѣ вещи несовмѣстныя. Не правда ль?

Сальери. Ты думаешь? (Бросаетъ
ялъ въ стаканъ Моцарта). Ну, пей же.

Моцартъ. За твоё
Здоровье, другъ, за искреннй союзъ,
Связующй Моцарта и Сальери,
Двухъ сыновой гармоніи (Пьетъ).

Сальери. Постой,
Постой, постой!.. Ты выпилъ безъ меня?

Моцартъ (бросаетъ салфетку на
столъ).

Довольно, сытъ я. (Идетъ къ фортепiano).
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem. (Играетъ).

Ты плачешь?

Сальери. Эти слезы
Впервые лью: и больно, и пріятно,
Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ цѣлебный мнѣ от-
сѣкъ

Страдавшй членъ! Другъ Моцартъ,
эти слезы...

Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши
Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Моцартъ. Когда бы всѣ такъ
чувствовали силу

Гармоніи! Но нѣтъ: тогда бъ не могъ
И мйръ существовать; никто бъ не
сталъ

Заботиться о нуждахъ низкой жизни—
Всѣ предались бы вольному искусству!
Насъ мало избранныхъ, счастливыхъ
праздныхъ,

Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единого прекраснаго жрецовъ.

Не правда ль? Но я нынче нездоровъ,
Мнѣ что-то тяжело; пойду, засну.

Прощай же.

Сальери. До свиданья. (Одинъ).
Ты заснешь

И я—не геній? Геній и злодѣйство—
Двѣ вещи несовмѣстныя. Неправда:

А Бонаротти?.. Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не

Убийцею создатель Ватикана?

Изъ „Каменнаго гостя“.

СЦЕНА I.

Ночь. Кладбище близъ Мадрита.

Донъ-Жуанъ и Лепорелло.

Донъ-Жуанъ. Дождемся ночи
здѣсь. Уфъ! наконецъ

Достигли мы воротъ Мадрита. Скоро
Я полечу по улицамъ знакомымъ,
Усы плащемъ закрывъ, а брови
шляпой.

Какъ думаешь: узнать меня нельзя?

Лепорелло. Да, Донъ-Жуана
мудрено признать!

Такихъ, какъ онъ, такая беда!

Донъ-Жуанъ. Шутить?

Да кто жъ меня узнаетъ?

Лепорелло. Первый сторожъ,
Гитана, или пьяный музыкантъ,
Иль свой же братъ, нахальный кавалеръ,

Въ плащѣ, со шпагою подъ мышкой,
въ шляпѣ.

Донъ-Жуанъ. Чтò за бѣда, хотъ
и узнаютъ! Только бъ

Не встрѣтился мнѣ самъ король, а
впрочемъ

Я никого въ Мадритѣ не боюсь.

Лепорелло. А завтра же до ко-
роля дойдемъ,

Что Донъ-Жуанъ изъ ссылки самовольно
Въ Мадритѣ явился—чтò тогда, ска-
жите,

Онъ съ вами сдѣлаетъ?

Донъ-Жуанъ. Пошлетъ назадъ:
Ужъ вѣрно головы мнѣ не отрубятъ.
Вѣдь я не государственный преступ-
никъ!

Меня онъ удалилъ, меня жъ любя,
Чтобы меня оставила въ покоѣ
Семья убитаго.

Лепорелло. Ну, то-то жъ!
Сидѣли бъ вы себѣ спокойно тамъ!

Донъ-Жуанъ. Слуга покорный!
Я едва-едва
Не умеръ тамъ со скуки. Что за люди!
Что за земля! А небо... точный
дымъ;

А женщины?.. Да я не промѣняю,
Вотъ видишь ли, мой милый Лепо-
релло,
Послѣдней въ Андалузiи крестыянки
На первыхъ тамошнихъ красавицъ—
право.

Онъ сначала нравились мнѣ
Глазами синими, да бѣлизною,
Да скромностью—а пуще новизною;
Да, слава Богу, скоро догадался:
Увидѣлъ я, что съ ними грѣхъ и
знаться;

Въ нихъ жизни нѣтъ—все куклы во-
сковыя...

А наши!.. Но послушай, это мѣсто
Знакомо намъ; узналъ ли ты его?

Лепорелло. Какъ не узнать! Ан-
тоньевъ монастырь

Мнѣ памятенъ. Вѣжали вы сюда,
А лошадей держалъ я въ этой рошѣ...
Проклятая, признаться, должность! Вы
Прiятнѣе здѣсь время проводили,
Чѣмъ я, повѣрьте.

Донъ-Жуанъ (Задумчиво). Бѣдная
Инеза!

Ея ужъ нѣтъ! Какъ я любилъ ее!
Лепорелло. Инезу — черногла-
зую?.. О, помню!

Три мѣсяца ухаживали вы
За ней: насилу-то помогъ лукавый.

Донъ-Жуанъ. Въ июлѣ... ночью.

Странную прiятность
Я находилъ въ ея печальномъ взорѣ
И помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно.
Ты, кажется, ее не находилъ
Красавицей. И точно—мало было

Въ ней истинно-прекраснаго. Глаза,
Одни глаза, да взглядъ... такого взгляда
Ужъ никогда я не встрѣчалъ! А го-
лосъ

У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у
больной...

А мужъ ея былъ негодный суровый—
Узналъ я поздно... Бѣдная Инеза!..

Лепорелло. Что жъ вслѣдъ за ней
другія были.

Донъ-Жуанъ. Правда.
Лепорелло. А живы бу-
демъ, будутъ и другія.

Донъ-Жуанъ. И то.
Лепорелло. Теперь которую въ
Мадритѣ

Отыскивать мы будемъ?

Донъ-Жуанъ. О, Лауру!
Я прямо къ ней бѣгу явиться.

Лепорелло. Дѣло.
Донъ-Жуанъ. Къ ней прямо въ
дверь; а если кто-нибудь

Ужъ у нея—прошу въ окно прыгнуть.

Лепорелло. Конечно. Ну, раз-
веселились мы.

Недолго насъ покойницы тревожатъ.
Кто къ намъ идетъ? (Входитъ монахъ).

Монахъ. Сейчасъ она прiѣдетъ
Сюда. Кто здѣсь? Не люди ль донны-
Анны?

Лепорелло. Нѣтъ, сами по себѣ
мы господа.

Мы здѣсь гуляемъ.

Донъ-Жуанъ. А кого вы ждете?
Монахъ. Сейчасъ должна прiѣ-
хать донна-Анна

На мужнину гробницу.

Донъ-Жуанъ. Донна-Анна
Де-Сольва? Какъ? Супруга командора,
Убитаго... не помню кѣмъ.

Монахъ. Развратнымъ,
Безсовѣстнымъ, безбожнымъ донъ-Жу-
аномъ.

Лепорелло. Ого! вотъ какъ!
Молва о донъ-Жуанѣ

И въ мирный монастырь проникла
даже:

Отшельники хвалы ему поютъ.

Монахъ. Онъ вамъ знакомъ, быть
можетъ?

Лепорелло. Намъ? Нимало.
А гдѣ-то онъ теперь?

Монахъ. Его здѣсь нѣтъ.
Онъ въ ссылкѣ, далеко.

Лепорелло. И слава Богу!
Чѣмъ далѣе, тѣмъ лучше. Всѣхъ бы
ихъ,

Развратниковъ, въ одинъ мѣшокъ да
въ море.

Донъ-Жуанъ. Чтѣ, чтѣ ты врешь?

Лепорелло. Молчите: я нарочно...

Донъ-Жуанъ. Такъ здѣсь похоро-
нили командора?

Монахъ. Здѣсь. Памятникъ жена
ему воздвигла,

И прѣзжаетъ каждый день сюда

За упокой души его молиться

И плакать.

Донъ-Жуанъ. Чтѣ за странная
вдова!

Недаромъ же покойникъ былъ ревнивъ;

Онъ донну-Анну взаперти держалъ:

Никто изъ насъ не видывалъ ея.

И недурна?

Монахъ. Мы красотою женской,
Отшельники, прельщаться не должны;

Но лгать грѣшно: не можете и угод-
никъ

Въ ея красѣ чудесной не сознаться,

Донъ-Жуанъ. Я съ нею бы хо-
тѣлъ поговорить.

Монахъ. О, донна-Анна никогда съ
мужчиной

Не говоритъ.

Донъ-Жуанъ. А съ вами, мой
отецъ?

Монахъ. Со мной иное дѣло—я
монахъ.

Да вотъ она. (Входитъ донна-Анна).

Донна-Анна. Отецъ мой, отойдите.

Монахъ. Сейчасъ, сенбора; я васъ
ожидать.

(Донна-Анна идетъ за монахомъ).

Лепорелло. Чтѣ, какова?

Донъ-Жуанъ. Ея совѣтъ не видно
Подъ этимъ вдовьимъ чернымъ по-
крываломъ;

Чуть узенькую пятку я замѣтилъ.

Лепорелло. Довольно съ васъ. У
васъ воображенье

Въ минуту дорисуетъ остальное;
Оно у васъ проворнѣй живописца.
Вамъ все равно, съ чего бы ни начать—
Съ бровей ли, съ ногъ ли.

Донъ-Жуанъ. Слушай, Лепорелло;
Я съ нею познакомлюсь.

Лепорелло (про себя). Вотъ еще!
Куда какъ нужно! Мужа повалилъ,
Да хотеть поглядѣть на вдовьи слезы.
Безсовѣстный!

Донъ-Жуанъ. Однако ужъ и смер-
клось.

Пока луна надъ нами не взошла

И въ свѣтлый сумракъ тѣмы не об-
ратила,

Войдемъ въ Мадритъ.

Лепорелло. Испанскій грандъ,
какъ воръ,

Ждетъ ночи—и луны боится, Боже!
Проклятое житье! Да долго ль будетъ

Мнѣ съ нимъ возиться? Право, нѣтъ
ужъ силъ!

СПЕНА II.

Комната. Ужинъ у Лауры.

Первый гость. Клянусь тебѣ,
Лаура, никогда

Съ такимъ ты совершенствомъ не иг-
рала!

Какъ роль свою ты вѣрно поняла!

Второй. Какъ развила ее! съ ка-
кою силой!

Третій. Съ какимъ искусствомъ!

Лаура. Да, мнѣ удавалось

Сегодня каждое движеніе, слово;

Я вольно предавалась вдохновенью;

Слова лились, какъ будто ихъ ро-
ждала

Не память робкая но сердце...

Первый. Правда.

Да и теперь глаза твои блестятъ

И щеки разгорѣлись—не проходитъ

Въ тебѣ восторгъ. Лаура, не давай

Остыть ему безплодно: спой, Лаура,

Спой что-нибудь!

Лаура. Подайте мнѣ гитару. (Поетъ).

Всѣ. О, bravo! bravo! чудно! безпо-
добно!

Первый. Благодаримъ, волшебница! Ты сердце
Чаруешь намъ. Изъ наслажденій
жизни

Одной любви музыка уступаетъ;
Но и любовь—мелодія... Взгляни:
Самъ Карлосъ тронуть, твой угрюмый
гость!

Второй. Какіе звуки! сколько въ
нихъ души!

А чьи слова, Лаура?

Лаура. Донъ-Жуана.

Донъ-Карлосъ. Что? Донъ-Жуанъ!

Лаура. Ихъ сочинилъ когда-то
Мой вѣрный другъ, мой вѣтреный любовникъ.

Донъ-Карлосъ. Твой Донъ-Жуанъ—безбожникъ и мерзавецъ;

А ты, ты—дура.

Лаура. Ты съ ума сошелъ!
Да я сейчасъ велю тебя зарѣзать
Моиъ слугамъ, хоть ты испанскій
грандъ.

Донъ-Карлосъ (встаетъ). Зови же
ихъ.

Первый. Лаура, перестань!
Донъ-Карлосъ, не сердись, Она забыла...

Лаура. Что?.. Что Жуанъ на поединкѣ честно
Убилъ его родного брата? Правда,
жаль,

Что не его.

Донъ-Карлосъ. Я глупъ, что
осердился.

Лаура. Ага! самъ сознаешься, что
ты глупъ—

Такъ помиримся.

Донъ-Карлосъ. Виноватъ, Лаура!
Прости меня. Но знаешь: не могу
Я слышать это имя равнодушно...

Лаура. А виновата ль я, что поминутно
Мнѣ на языкъ приходитъ это имя?

Гость. Ну, въ знакъ, что ты
всѣмъ ужъ не сердита,
Лаура, спой еще!

Лаура. Да на прощанье.
Пора—ужъ ночь. Но что же я спую?
А, слушайте! (Поетъ).

Всѣ. Прелестно, безподобно!

Лаура. Прощайте жъ, господа.

Гости. Прощай, Лаура.

(Выходить. Лаура останавливаетъ Донъ-Карлоса).

Лаура. Ты, бѣшенный, останься у
меня.

Ты мнѣ понравился. Ты Донъ-Жуана
Напомнилъ мнѣ, какъ выбрали меня
И стиснулъ зубы съ скрежетомъ.

Донъ-Карлосъ. Счастливецъ!
Такъ ты его любила?
(Лаура дѣлаетъ утвердительный знакъ).

Очень?

Лаура. Очень...

Донъ-Карлосъ. И любишь и теперь?

Лаура. Въ сію минуту?
Нѣтъ, не люблю. Мнѣ двухъ любить
нельзя.

Теперь люблю тебя.

Донъ-Карлосъ. Скажи, Лаура,
Который годъ тебѣ?

Лаура. Осьмнадцать лѣтъ.

Донъ-Карлосъ. Такъ молода... и
будешь молода
Еще лѣтъ пять или шесть. Вокругъ
тебя

Еще лѣтъ шесть они толпиться будутъ,
Тебя ласкать, лелѣять и дарить,
И серенадами ночными тѣшить,
И за тебя другъ друга убивать
На перекресткахъ ночью. Но когда
Пора пройдетъ, когда твои глаза
Впадутъ, и вѣки, сморщась, почеркнутъ,

И сѣдина въ косѣ твоей мелькнетъ,
И будутъ называть тебя старухой,
Тогда—что скажешь ты?

Лаура. Тогда... Затѣмъ
Объ этомъ думать? Что за разговоръ?
Или у тебя всегда такія мысли?
Приди—открой балконъ. Какъ небо
тихо!

Недвижимъ теплый воздухъ; ночь
ли-мономъ

И лавромъ пахнетъ; яркая луна
Блеститъ на синевѣ густой и темной,
И сторожа кричатъ протяжно, ясно!..

А далеко, на сѣверѣ—въ Парижѣ—
Быть можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ.
А намъ какое дѣло? Слушай, Кар-
лосъ:

Я требую, чтобъ улыбнулся ты.
Ну! то-то-жъ!

Донъ-Карлосъ. Милый демонъ!
(Стучать).

Донъ-Жуанъ. Гей, Лаура!
Лаура. Кто тамъ? Чей это голосъ?
Донъ-Жуанъ. Отопри...
Лаура. Ужели!.. Боже!..

(Отпираетъ двери; входитъ Донъ-Жуанъ).

Донъ-Жуанъ. Здравствуй!
Лаура. Донъ-Жуанъ!
(Лаура кидается ему на шею).

Донъ-Карлосъ. Какъ! Донъ-Жу-
анъ!

Донъ-Жуанъ. Лаура, милый другъ!
(Цѣлуетъ ее).

Кто у тебя, моя Лаура?

Донъ-Карлосъ. Я,—
Донъ-Карлосъ.

Донъ-Жуанъ. Вотъ нечаянная
встрѣча!

Я завтра весь къ твоимъ услугамъ...
Донъ-Карлосъ. Нѣтъ!
Теперь—сейчасъ.

Лаура. Донъ-Карлосъ, перестаньте!
Вы не на улицѣ, вы у меня—
Извольте выйти вонъ.

Донъ-Карлосъ (не слушая ея). Я
жду. Ну, что жъ?
Вѣдь ты при шпигѣ.

Донъ-Жуанъ. Ежели тебѣ
Не терпится, изволь. (Бьются).

Лаура. Ай, ай! Жуанъ!
(Кидается на постель. Донъ-Карлосъ па-
даетъ).

Донъ-Жуанъ. Вставай, Лаура, кон-
чено.

Лаура. Что тамъ?
Убить? Прекрасно! въ комнатѣ моей!
Что дѣлать мнѣ теперь, повѣса, дья-
волъ?

Куда я выброшу его?

Донъ-Жуанъ. Быть можетъ,
Онъ живъ еще. (Осматриваетъ тѣло).

Лаура. Да, живъ! Гляди, прокля-
тый!

Ты прямо въ сердце ткнулъ—небось,
не мимо.

И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки,
А ужъ не дышитъ—каково?

Донъ-Жуанъ. Что дѣлать?
Онъ самъ того хотѣлъ.

Лаура. Эхъ, Донъ-Жуанъ,
Досадно, право. Вѣчныя проказы!..
А все не виновать... Откуда ты?
Давно ли здѣсь?

Донъ-Жуанъ. Я только-что при-
ѣхалъ

И то тихонько—я вѣдь не прощенъ.

Лаура. И вспомнилъ тотчасъ о
своей Лаурѣ?

Что хорошо, то хорошо. Да полно,
Не вѣрю я. Ты мимо шелъ случайно,
И домъ увидѣлъ.

Донъ-Жуанъ. Нѣтъ, моя Лаура,
Спроси у Лепорелло. Я стою
За городомъ, въ проклятой вентѣ. Я
Лауры

Пришелъ искать въ Мадритѣ.
(Цѣлуетъ ее).

Лаура. Другъ ты мой!
Постой... при мертвомъ!.. Что намъ
дѣлать съ нимъ?

Донъ-Жуанъ. Оставь его—передъ
разсвѣтомъ, рано,
Я вынесу его подъ епанчею
И положу на перекресткѣ.

Лаура. Только
Смотри, чтобъ не увидѣли тебя.
Какъ хорошо ты сдѣлалъ, что явился
Одной минутой позже! У меня
Твои друзья здѣсь ужинали. Только
Что вышли вонъ. Когда бъ ты ихъ за-
сталъ!

Донъ-Жуанъ. Лаура, и давно его
ты любишь?

Лаура. Кого? ты бредишь.
Донъ-Жуанъ. Милая плутовка!
А сколько разъ ты измѣняла мнѣ
Въ моемъ отсутствіи?

Лаура. А ты, повѣса?
Донъ-Жуанъ. Скажи жъ... Нѣтъ,
послѣ переговоровъ!..

Донъ-Жуанъ на кладбищѣ, переодѣтый монахомъ, знакомится съ донной Анной, назвавъ себя Дономъ Диего; въ пламенной рѣчи открываетъ онъ ей свое сердце и добивается разрѣшенія придти къ ней.

Донъ-Жуанъ. Милый Лепорелло! Я счастливъ!— „Завтра—вечеромъ, поз-
днѣе“...

Мой Лепорелло, завтра!.. приготовь... Я счастливъ, какъ ребенокъ!

Лепорелло. Съ донной-Анной Вы говорили? Можеть быть, она сказала вамъ два ласковыя слова, Или ее благословили вы?

Донъ-Жуанъ. Нѣтъ, Лепорелло, нѣтъ! Она свиданье, Свиданье мнѣ назначила!

Лепорелло. Неужто? О, вдовы! всѣ вы таковы.

Донъ-Жуанъ. Я счастливъ! Я нѣтъ готовъ, я радъ весь міръ обнять!

Лепорелло. А командоръ? Что скажетъ онъ объ этомъ?

Д.-Жуанъ. Ты думаешь, онъ станетъ ревновать?

Ужъ, вѣрно, нѣтъ: онъ—человѣкъ раз-
зумный,

И, вѣрно, присмирѣлъ съ тѣхъ поръ, какъ умеръ.

Лепорелло. Нѣтъ, посмотрите на его статую.

Донъ-Жуанъ. Что жъ?

Лепорелло. Кажется, на васъ она глядитъ

И сердится.

Донъ-Жуанъ. Ступай же, Лепорелло,

Проси ее пожаловать ко мнѣ—

Нѣтъ, не ко мнѣ, а къ доннѣ-Аннѣ, завтра.

Леп. Статуя въ гости знаетъ! Зачѣмъ?

Донъ-Жуанъ. Ужъ, вѣрно, Не для того, чтобъ съ нею говорить.

Проси статуя завтра къ доннѣ-Аннѣ Придти попозже вечеромъ и стать

У двери на часахъ. Лепорелло. Охота вамъ

Шутить, и съ кѣмъ! Донъ-Жуанъ. Ступай же! Лепорелло. Но...

Донъ-Жуанъ. Ступай!

Лепорелло. Преславная, пре-
красная статуя!

Мой баринъ, Донъ-Жуанъ, покорно про-
ситъ

Пожаловать... Ей-Богу, не могу: Мнѣ страшно.

Донъ-Жуанъ. Трусъ! вотъ я тебя. Лепорелло. Позвольте.

Мой баринъ, Донъ-Жуанъ, васъ про-
ситъ завтра

Приди попозже въ домъ супруги вашей И стать у двери...

(Статуя киваетъ головой въ знакъ со-
гласія).

Ай!

Донъ-Жуанъ. Что тамъ?

Лепорелло. Ай, ай!..

Ай, ай!.. умру!

Донъ-Жуанъ. Что сдѣлалось съ тобою?

Леп. (живая головой). Статуя... ай!..

Донъ-Жуанъ. Ты кланяешься?

Лепорелло. Нѣтъ,

Не я—она!

Донъ-Жуанъ. Какой ты вздоръ несешь!

Леп. Подите сами.

Донъ-Жуанъ. Ну, смотри жъ, бездѣльникъ!

(Статуя) Я, командоръ, прошу тебя придти

Къ твоей вдовѣ, гдѣ завтра буду я, И стать у двери на часахъ. Что? будешь?

(Статуя киваетъ опять)

О, Боже!

Лепорелло. Что? я говорилъ...

Донъ-Жуанъ. Уйдемъ!..

СЦЕНА IV.

Комната донны-Анны.

Донъ-Жуанъ и донна-Анна.

Донна-Анна. Я приняла васъ, Донъ-
Диего! только

Боюсь, моя печальная бесѣда Скучна вамъ будетъ. Бѣдная вдова, Все помню я свою потерю: слезы Съ улыбкою мѣшаю, какъ апрѣль. Что жъ вы молчите?

Донна-Анна. Тогда бы я злодѣю
Кинжалъ вонзила въ сердце.

Донъ-Жуанъ. Донна-Анна,
Гдѣ твой кинжалъ?—Вотъ грудь моя.

Донна-Анна. Діего,
Что вы?

Донъ-Жуанъ. Я не Діего—я
Жуанъ.

Донна-Анна. О, Боже! нѣтъ, не
можетъ быть, не вѣрю.

Д.-Жуанъ. Я Донъ-Жуанъ.

Донна-Анна. Неправда,

Донъ-Жуанъ. Я убилъ

Супруга твоего; и не жалѣю

О томъ—и нѣтъ раскаянья во мнѣ.

Донна-Анна. Чтѣ слышу я? Нѣтъ,
нѣтъ, не можетъ быть.

Донъ-Жуанъ. Я Донъ-Жуанъ, и
я тебя люблю.

Д.-Анна (падая). Гдѣ я? Гдѣ я?..
Мнѣ дурно, дурно!

Донъ-Жуанъ. Небо!

Чтѣ съ нею? Чтѣ съ тобою, донна-Анна?

Проснись, опомнись: твой Діего,

Твой рабъ у ногъ твоихъ!

Донна-Анна. Оставь меня!
(Слабо). Ты, ты мнѣ врагъ—ты отнялъ
у меня

Все, все, чтѣ въ жизни...

Донъ-Жуанъ. Милое созданье!
Я всѣмъ готовъ ударъ мой искупить;
У ногъ твоихъ жду только приказанья:
Вели—умру; вели—дышать я буду
Лишь для тебя...

Донна-Анна. Такъ это Донъ-Жуанъ?

Донъ-Жуанъ. Не правда ли онъ
былъ описанъ вамъ

Злодѣемъ, извергомъ? О, донна-Анна!
Молва, быть можетъ, не совсѣмъ не-
права;

На совѣсти усталой много зла,
Быть можетъ, тяготѣтъ; но съ тѣхъ
поръ,

Какъ васъ увидѣлъ я—все измѣнилось:
Мнѣ кажется, я весь переродился!
Васъ полюба, люблю я добродѣтель—
И въ первый разъ смиренно передъ ней
Дрожащія колѣна преклоняю.

Донна-Анна. О, донъ-Жуанъ крас-
норѣчивъ—я знаю!

Слышала я: онъ хитрый челоувѣкъ...
Вы, говорятъ, безбожный развратитель,
Вы сущій демонъ. Сколько бѣдныхъ
женщинъ

Вы погубили?

Донъ-Жуанъ. Ни одной донны
Изъ нихъ я не любилъ.

Донна-Анна. И я повѣрю,
Чтобъ донъ-Жуанъ влюбился въ пер-
вый разъ,

Чтобъ не искалъ во мнѣ онъ жертвы
новой!

Донъ-Жуанъ. Когда бъ я васъ
обманывать хотѣлъ,

Признался ль я, сказалъ бы то имя,
Котораго не можете вы слышать?

Гдѣ жъ видны тутъ обдуманность, ко-
варство?

Донна-Анна. Кто знаетъ васъ? Но
какъ могли придти

Сюда вы? здѣсь узнать могли бы васъ
И ваша смерть была бы неизбѣжна.

Донъ-Жуанъ. Чтѣ значить смерть?
За сладкій мигъ свиданья

Безропотно отдамъ я жизнь.

Донна-Анна. Но какъ же
Отсюда выйти вамъ, неосторожный?

Донъ-Жуанъ (плѣвая ей руку). И
вы о жизни бѣднаго Жуана

Забываетесь! Такъ ненависти нѣтъ
Въ душѣ твоей небесной, донна-Анна?

Донна-Анна. Ахъ, если бъ васъ
могла я ненавидѣть!

Однакожъ надобно разстаться намъ.

Д.-Жуанъ. Когда жъ опять уви-
димся?

Донна-Анна. Не знаю,
Когда-нибудь.

Донъ-Жуанъ. А завтра?

Донна-Анна. Гдѣ же?

Донъ-Жуанъ. Здѣсь.

Д.-Анна. О, Донъ-Жуанъ! какъ серд-
цемъ я слаба!

Донъ-Жуанъ. Въ залогъ прощанья
мирный поцѣлуй...

Донна-Анна. Поди, пора.

Донъ-Жуанъ. Одинъ холодный,
мирный...

Донна-Анна. Какой ты неотвяз-
ный! на, вотъ онъ... (Стучать).

Что тамъ за стукъ?.. О, скройся, донъ-Жуанъ!

Донъ-Жуанъ. Прощай же, до свиданья, другъ мой милый.
(Уходитъ и въбѣгаетъ опять).

А!..

Донна-Анна. Чтѣ съ тобой? А!..
(Входитъ статуя командора; донна-Анна падаетъ).

Статуя. Я на зовъ явился.

Донъ-Жуанъ. О, Боже! донна-Анна!

Статуя. Брось ее.

Все кончено. Дрожишь ты, донъ-Жуанъ?

Донъ-Жуанъ. Я? нѣтъ!.. Я звалъ тебя и радъ, что вижу.

Статуя. Дай руку.

Донъ-Жуанъ. Вотъ она... О, тяжело Пожатые каменной его десницы!

Оставь меня, пусти, пусти, мнѣ руку!.. Я гибну—кончено—о, донна-Анна!..
(Проваливается).

Русалла.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Берегъ Днѣпра. Мельница.

Мельникъ и дочь.

Мельникъ. Охъ, то-то всѣ вы, дѣвки молодцы,

Всѣ глупы вы! Ужъ если подвернулся Къ вамъ человѣкъ завидный, не простой, Такъ должно вамъ его себѣ упрочить. А чѣмъ? Разумнымъ, честнымъ поведениемъ;

Заманивать то строгостью, то лаской; Пороку исподволь, обинякомъ О свадьбѣ заговаривать, а पुще Беречь свою дѣвическую честь— Безцѣнное сокровище; она—

Чтѣ слово: разъ упустишь, не воротишь. А коли нѣтъ на свадьбу ужъ надежды, То все-таки, по крайней мѣрѣ, можно Какой-нибудь барышъ себѣ, или пользу Роднымъ да выгадать; подумать надо: „Не вѣчно жъ будетъ онъ меня любить И баловать меня“. Да нѣтъ! куда Вамъ помышлять о добромъ дѣлѣ!

Кстати ль?

Вы тотчасъ одурѣете: вы рады

Исполнить даромъ прихоти его, Готовы цѣлый день висѣть на шеѣ У милаго дружка; а милый другъ Глядь—и пропасть, и слѣдъ простылъ; а вы

Остались ни съ чѣмъ... Охъ, всѣ вы глупы!

Не говорилъ ли я тебѣ сто разъ: Эй, дочь, смотри, не будь такая дура, Не прозѣвай ты счастья своего, Не упускай ты князя, да спроста Не погуби самой себя“. Что жъ вышло? Сиди теперь, да вѣчно плачь о томъ, Чего ужъ не воротишь.

Дочь.

Почему же

Ты думаешь, что бросилъ онъ меня?

Мельникъ. Какъ почему? Да сколько разъ, бывало,

Въ недѣлю онъ на мельницу ѣзжалъ? А?.. всякій Божій день, а иногда И дважды въ день; а тамъ все рѣже, рѣже Сталъ приѣзжать—и вотъ девятый день, Какъ не видали мы его. Чтѣ скажешь?

Дочь. Онъ занятъ; мало ль у него заботы?

Вѣдь онъ—не мельникъ; за него не станетъ

Вода работать! Часто онъ твердитъ, Что всѣхъ трудовъ его труды тяжеле.

Мельникъ. Да, вѣрь ему! Когда князя трудятся?

И чтѣ ихъ трудъ? Травить лисицъ и зайцевъ,

Да пировать, да обирать сосѣдей, Да подговаривать васъ, бѣдныхъ дурь.

Онъ самъ работаетъ—куда какъ жалко!

А за меня вода!.. А мнѣ покою

Ни днемъ, ни ночью нѣтъ: а тамъ по-смотришь:

То здѣсь, то тамъ нужна еще починка, Гдѣ гниль, гдѣ течъ. Вотъ, если бъ ты у князя

Умѣла выпросить на перестройку Хотя нѣсколько денежонокъ, было бъ

лучше.

Дочь. Ахъ!

Мельникъ. Чтѣ такое?

Дочь. Чу! я слышу топотъ

Его коня... Онъ! Онъ!

Мельникъ. Смотри же, дочь,

Не забывай моихъ совѣтовъ, помни...

Дочь. Вотъ онъ, вотъ онъ!
(Входитъ князь. Конюшнй уводитъ его коня).

Князь. Здорово, милый другъ!
Здорово, мельникъ!

Мельникъ. Милостивый князь,
Добро пожаловать! Давно, давно
Твоихъ очей мы свѣтлыхъ не видали.
Пойду тебѣ готовить угощенье.
(Уходитъ).

Дочь. Ахъ, наконецъ ты вспомнилъ
обо мнѣ!

Не стыдно ли тебѣ такъ долго мучить
Меня пустымъ, жестокимъ ожиданьемъ?
Чего мнѣ въ голову не приходило?
Какимъ себя я страхомъ не пугала?
То думала, что конь тебя занесъ
Въ болото или пропасть; что медвѣдь
Тебя въ лѣсу дремучемъ одолѣлъ;
Что боленъ ты; что разлюбилъ меня...
Но, слава Богу, живъ ты, невредимъ...
И любишь все по-прежнему меня,
Не правда ли?

Князь. По-прежнему, мой ангелъ!
Нѣтъ, больше прежняго.

Она. Однако ты
Печаленъ; что съ тобою?

Князь. Я печаленъ?
Тебѣ такъ показалось. Нѣтъ, я веселъ
Всегда, когда тебя лишь вижу.

Она. Нѣтъ,
Когда ты веселъ, издали ко мнѣ
Спѣшишь и кличешь: гдѣ моя голубка?
Что дѣлаетъ она? А тамъ цѣлуешь
И вопрошаешь: рада ль я тебѣ
И ожидала ли тебя такъ рано?..
А нынче—слушаешь меня ты молча,
Не обнимаешь, не цѣлуешь въ очи.
Ты чѣмъ-нибудь встревоженъ, вѣрно?
Чѣмъ же?

Ужъ не сердить ли на меня?

Князь. Я не хочу притворствовать
напрасно:

Ты права: въ сердцѣ я ношу печаль
Тяжелую,—и ты ея не можешь
Ни ласками любовными разсѣять,
Ни облегчить, ни даже раздѣлить.

Она. Но больно мнѣ съ тобою не
грустить

Одною грустью. Тайну мнѣ повѣдай.
Позволишь—буду плакать, не позво-
лишь—

Ни слезкой я тебѣ не досажу.

Князь. Зачѣмъ мнѣ медлить? Чѣмъ
скорѣй, тѣмъ лучше.
Мой милый другъ, ты знаешь, нѣтъ
на свѣтѣ

Блаженства прочнаго: ни знатный родъ,
Ни красота, ни сила, ни богатство,
Ничто бѣды не можетъ миновать.

И мы—не правда ли, моя голубка?—
Мы были счастливы!—По крайней мѣрѣ
Я счастливъ былъ тобою, твоей любовью;
И что впередъ со мною ни случится,
Гдѣ бъ ни былъ я, всегда я буду помнить
Тебя, мой другъ; того, что я теряю;
Ничто на свѣтѣ мнѣ не замѣнитъ!

Она. Я словъ твоихъ еще не по-
нимаю,

Но ужъ мнѣ страшно. Намъ судьба
грозится,

Готовить намъ невѣдомое горе—
Разлуку, можетъ быть...

Князь. Ты угадала.
Разлука намъ судьбою суждена.

Она. Кто насъ разлучитъ? Развѣ за
тобою

Идти вослѣдъ я всюду не властна?
Я мальчишкомъ одѣнусь; вѣрно буду
Тебѣ служить дорогомъ, въ походѣ
Иль на войнѣ; войны я не боюсь,
Лишь видѣла бъ тебя. Нѣтъ, нѣтъ, не
вѣрю!

Иль вывѣдать мои ты мысли хочешь,
Или со мной пустую шутку шутишь...

Князь. Нѣтъ, шутки мнѣ на умъ
нейдутъ сегодня;

Вывѣдывать тебя не нужно мнѣ;
Не снаряжаюсь я ни въ дальній путь,
Ни на войну; я дома остаюсь,
Но долженъ я съ тобою навѣкъ про-
ститься.

Она. Постой, теперь я понимаю все:
Ты женишься? (Князь молчать). Ты
женишься?

Князь. Что дѣлать?
Сама ты разсуди. Князья не вольны,
Какъ дѣвицы: не по сердцу они
Себѣ подругъ берутъ, а по расчетамъ

Иныхъ людей, для выгоды чужой...
Твою печаль утѣшить Богъ и время!
Не забывай меня! Возьми на память
Повязку—дай, тебѣ я самъ надѣну.
Еще привезъ съ собою ожерелье—
Возьми его. Да вотъ еще: отцу
Я это посулилъ—отдай ему.
(Даетъ ей въ руки мѣшокъ съ золотомъ).
Прощай!

Она. Постой, тебѣ сказать должна—
Не помню чтó...

Князь. Припомни.

Она. Для тебя
Я все готова... Нѣтъ, не то... Постой...
Нелзя, чтобы навѣки, въ самомъ дѣлѣ,
Меня ты могъ покинуть... Все не то...
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевель-
нулся.

Князь. Несчастная! Какъ бить?

Хоть для него

Побереги себя! Я не оставляю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Современемъ, быть можетъ, самъ приѣду
Васъ навѣстить. Утѣшься, не крушися.
Дай обниму тебя въ послѣдній разъ.
(Уходя). Ухъ, конечно! Душѣ какъ будто
легче.

Я бури ждалъ, но дѣло обошлось

Довольно тихо.

(Уходитъ. Она остается неподвижною).

Мельникъ (входитъ). Не угодно ль
будетъ

Пожаловать на мель... Да гдѣ же онъ?

Скажи, гдѣ князь нашъ? Ба, ба, ба!

Какая

Повязка! Вся въ камняхъ дорогихъ!

Такъ и горитъ! И бусы!.. Ну, скажу,

Подарокъ царскій. Ахъ онъ, благодѣ-

тель!..

А это чтó? мѣшочекъ! Ужъ не деньги ль?

Да чтó же ты стоишь, не отвѣчаешь,

Не вымолвишь словечка? Али ты

Отъ радости неожиданной одурѣла,

Иль на тебя столбнякъ нашелъ?

Дочь. Не вѣрю,

Не можетъ быть. Я такъ его любила...

Или онъ завѣр? Иль сердце у него

Косматое?

Мельникъ. О комъ ты говоришь?

Дочь. Скажи, родимый: какъ могла
его

Я прогнѣвить? Въ одну недѣлю равнѣ

Моя краса пропала? Иль его

Отравой опояли?

Мельникъ. Чтó съ тобою?

Дочь. Родимый, онъ уѣхалъ! Вонъ
онъ скачетъ!

И я, безумная, его пустила!

Я за полы его не уцѣпилась!

Я не повисла на уздѣ коня!

Пускай же бѣ онъ съ досады отрубилъ

Мнѣ руки по-локоть; пускай бы тутъ же

Онъ растопталъ меня своимъ конемъ!

Мельникъ. Чтó съ нею?

Дочь. Видишь ли—князя не вольны,

Какъ дѣвицы: не по сердцу они

Берутъ жену себѣ... А вольно имъ,

Небось, подманивать, божиться, пла-
кать

И говорить: „тебя я повезу

Въ мой свѣтлый теремъ, въ тайную
свѣтлицу,

И наряжу въ парчу и въ бархатъ алы!“

Имъ вольно бѣдныхъ дѣвочекъ учить

Съ полуночи на свистъ ихъ подыматься,

И до зари за мельницей сидѣть!

Имъ любо сердце княжеское тѣшить

Бѣдами нашими! А тамъ—прощай:

Ступай, голубушка, куда захочешь;

Люби, кого замыслишь!

Мельникъ. Вотъ въ чемъ дѣло!..

Дочь. Да кто же, кто невѣста? На

кого

Онъ промѣнялъ меня? О, я узнаю!

Я доберусь; я ей скажу, злодѣйкѣ:

Отстань отъ насъ! ты видишь: двѣ

волчихи.

Не водятся въ одномъ оврагѣ...

Мельникъ. Дура!

Ужъ если князь беретъ себѣ невѣсту,

Кто можетъ помѣшать ему? Вотъ то-то!

Не говорилъ ли я тебѣ...

Дочь. И могъ онъ,

Какъ добрый человѣкъ, со мной про-

щаться

И мнѣ давать подарки! Каково?

И деньги! Выкупить себя онъ думалъ!

Онъ мнѣ хотѣлъ языкъ засеребрить,

Чтóбъ не прошла о немъ худая слава

И не дошла до молодой жены!..
Да, бишь, забыла я: тебѣ отдать
Велѣлъ онъ это серебро, за то,
Что былъ хорошъ ты до него, что дочку
За нимъ пускалъ таскаться, что ее
Держалъ не строго... Впродъ тебѣ пой-

детъ
Моя погибелъ! (Отдаетъ ему мѣшокъ).
Мельникъ (въ слезахъ). До чего
я дожилъ
Что Богъ привелъ услышать! Грѣхъ
тебѣ

Такъ горько упрекать отца родного,
Одно дитя ты у меня на свѣтѣ,
Одна отрада въ старости моей:
Какъ было мнѣ тебя не баловать?
Богъ наказалъ меня за то, что слабо
Я выполнилъ отцовскій долгъ.

Дочь. Охъ душно!
Холодная змѣя мнѣ шею давить...
Змѣей, змѣю онъ меня—
Не жемчугомъ опуталъ... (Рветъ съ себя
жемчугъ).

Такъ бы я
Разорвала тебя, змѣю-злодѣйку.
Проклятую разлучницу мою!

Мельникъ. Ты бредишь, право,
бредишь.

Дочь (снимаетъ съ себя повязку).
Вотъ вѣнецъ мой,
Вѣнецъ позорный! Вотъ чѣмъ насъ
вѣнчалъ

Лукавый врагъ, когда я отреклася
Ото всего, чѣмъ прежде дорожила!
Мы развѣнчались. Сгинь ты, мой вѣ-
нецъ!

(Бросаетъ повязку въ Днѣпръ).
Теперь все кончено... (Вбрасывается въ рѣку).

Старикъ (падая). Охъ, горе, горе!

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Княжескій теремъ.

Свадьба. Молодые сидятъ за
столомъ. Гости. Хоръ дѣву-
шекъ.

Сватъ. Веселую мы свадебку сы-
грали.

Ну, здравствуй, князь съ княгиней мо-
лодой!

Дай Богъ вамъ жить въ любви да со-
вѣтѣ,

А намъ у васъ почаше пировать.

Что жъ, красныя дѣвицы вы примолели?

Что жъ, бѣлыя лебедушки притихли?

Али всѣ пѣсенки вы перепѣли?

Аль горлышки отъ пѣнья пересохли?

Хоръ. Сватушка, сватушка,

Безтолковый сватушка!

По невѣсту ѣхали—

Въ огородъ заѣхали,

Пива бочку пролили,

Всю капусту полили,

Тыну поклонились,

Вереѣ молились:

Верея ль, вереюшка,

Укажи дороженьку

По невѣсту ѣхати.

Сватушка, догадайся,

За мошочку принимайся:

Въ мошнѣ денежка шевелится,

Краснымъ дѣвушкамъ норовится.

Сватъ. Насмѣшницы, ужъ выбрали
вы пѣсню!

На, на, возьмите, не корите свата.

(Даритъ дѣвушкамъ).

Одинъ голосъ. По камушкамъ,
по желтому песочку

Пробѣгала быстрая рѣчка:

Въ быстрой рѣчкѣ гуляютъ двѣ рыбки,

Двѣ рыбки, двѣ малыя плотицы.

А слыхала ль ты, рыба-сестрица,

Про вѣсти-то наши, про рѣчныя?

Какъ вечеръ у насъ красная дѣвица
утопилась,

Утопая, милаго друга проклинала?

Сватъ. Красавицы! да это что за
пѣсня?

Она, кажись, не свадебная, нѣтъ.

Кто выбралъ эту пѣсню? а?

Дѣвушки. Не я;

Не я, не мы...

Сватъ. Да кто жъ пропѣлъ ее?
(Шопотъ и смятеніе между дѣвушками).

Князь. Я знаю кто.

(Встаетъ изъ-за стола и говоритъ тихо
конюшему):

Вѣдь мельничиха здѣсь.

Скорѣ выведи ее. Да свѣдай,

Кто смѣлъ ее впустить?

(Конюшій подходитъ къ дѣвушкамъ).

Князь (про себя). Она, пожалуй, Готова здѣсь надѣлать столько шуму, Что со стыда не буду знать, куда И спрятаться...

Конюшій. Я не нашелъ ея.

Князь. Ищи. Она, я знаю, здѣсь. Она

Пропѣла эту пѣсню.

Гость. Ай да медь! И въ голову, и въ ноги такъ и бьетъ! Жаль, горекъ: подсластить его бъ не худо...

(Молодые пѣлуются. Слышенъ слабый крикъ).

Князь. Она! Вотъ крикъ ея ревни- вый! Что?

Конюшій. Я не нашелъ ея нигдѣ.

Князь. Дуракъ.

Дружко (вставая). Не время ль намъ княгиню выдать мужу, Да молодыхъ въ дверяхъ осыпать хме- лемъ?

(Все встаетъ).

Сваха. Вѣстимо, время. Дайте жъ пѣтуха.

(Молодыхъ кормятъ жаренымъ пѣтухомъ, осыпаютъ хмелемъ и ведутъ въ спальню).

Сваха. Княгиня - душенька, не плачь, не бойся,

Послушна будь.

(Молодые уходятъ въ спальню. Все рас- ходятся, кромѣ свахи и дружка).

Дружко. Гдѣ чарочка? Всю ночь Подъ окнами я буду развѣзжать, Такъ укрѣпиться мнѣ виномъ не худо.

Сваха (наливаетъ ему чарку). На, ку- шай на здоровье.

Дружко. Ухъ, спасибо! Все хорошо, не правда ль, обошлось? И свадьба хоть куда!

Сваха. Да, слава Богу, Все хорошо; одно не хорошо...

Дружко. А что?

Сваха. Да не къ добру пропѣли эту пѣсню,

Не свадебную, а Богъ вѣсть какую.

Дружко. Ужъ эти дѣвушки! ни- какъ нельзя имъ

Не попоказитъ. Статочно ли дѣло Мутить нарочно княжескую свадьбу! (Слышенъ крикъ).

Ба! это что! Да это голосъ князя... (Дѣвушка подъ покрываломъ переходитъ черезъ комнату).

Ты видѣла?

Сваха. Да, видѣла.

Князь (выбѣгаетъ). Держите! Гоните со двора ее долой!

Вотъ слѣдъ ея—съ нея вода течетъ.

Дружко. Юродивая, можетъ стать- ся. Слуги,

Смѣясь надъ ней, ее, знать, окатили.

Князь. Ступай, прикрики ты на нихъ. Какъ смѣли

Надъ нею издѣваться и ко мнѣ

Впустить ее! (Уходитъ).

Дружко. Ей-Богу, это странно.

Кто тамъ? (Входятъ слуги). Зачѣмъ пу- стили эту дѣвку?

Слуга. Какую?

Дружко. Мокрую.

Слуга. Мы мокрыхъ дѣвокъ

Не видали...

Дружко. Куда жъ она дѣвалась?

Слуга. Не вѣдаемъ.

Сваха. Охъ, сердце замираетъ. Нѣтъ, это не къ добру.

Дружко. Ступайте вонъ, Да никого, смотрите, не выпускайте.

Пойти-ка мнѣ садиться на коня.

Прощай, кума!

Сваха. Охъ, сердце не на мѣстѣ. Не въ-пору сладили мы эту свадьбу.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Днѣпръ. Ночь.

Русалки. Веселой толпою,

Съ глубокаго дна,

Мы ночью всплываемъ;

Насъ грѣетъ луна!..

Любо намъ порой ночною

Дно рѣчное покидать,

Любо вольной головою

Высь рѣчную разрѣзать,

Подавать другъ дружки голосъ,

Воздухъ звонкій раздражать, ;

И зеленый, влажный волосъ
Въ немъ сушить и отряхатъ.

Одна. Тише! птичка подъ кустами
Встрепенулася во мглѣ.

Другая. Между мѣсяцемъ и нами
Кто-то ходитъ по землѣ. (Прячутся).

Князь. Невольно къ этимъ груст-
нымъ берегамъ

Меня влечетъ невѣдомая сила...

Знакомны, печальныя мѣста!

Я узнаю окрестныя предметы:

Вотъ мельница... Она ужъ развалилась;

Веселый шумъ ея колесъ умолкнулъ;

Сталъ жорновъ; видно, умеръ и ста-

рихъ!

Дочь бѣдную оплакивалъ онъ долго!

Тропинка тутъ вилась—она заглохла...

Давно, давно сюда никто не ходитъ,

Тутъ садикъ былъ съ заборомъ — не-

ужели

Разросся онъ кудрявой этой рощей?

Ахъ, вотъ и дубъ завѣтный! Здѣсь она,

Обнявъ меня, поникла и умолкла...

Возможно ли?..

(Идетъ къ дверямъ; листья сыплются).

Что это значитъ? Листья,

Поблекнувъ, вдругъ свернулись, и съ

шумомъ,

Какъ дождь, посыпалися на меня!

Передо мной стоитъ онъ голъ и черенъ,

Какъ дерево проклятое.

(Входитъ старикъ въ лохмотьяхъ и полу-
нагой).

Старикъ. Здорово,

Здорово, зять!

Князь. Кто ты?

Старикъ. Я здѣшній воронъ

Князь. Возможно ль? Это мельникъ!

Старикъ. Что за мельникъ?

Я продалъ мельницу бѣсамъ запечнымъ,

А денежки отдалъ на сохраненье

Русалкѣ, вѣщей дочери моеи;

Онъ въ песку Дѣйпра-рѣки зарыты,

Ихъ рыбка-одноглазка сторожить.

Князь. Несчастный, онъ помѣшанъ!

Мысли въ немъ

Разсѣяны, какъ тучи послѣ бури.

Старикъ. Зачѣмъ вѣчоръ ты не

пріѣхалъ къ намъ?

У насъ былъ пиръ, тебя мы долго ждали.

Князь. Кто ждалъ меня?

Старикъ. Кто ждалъ? Вѣстимо,

дочь.

Ты знаешь, я на все гляжу сквозъ

пальцы

И волю вамъ даю: сиди она

Съ тобою хоть всю ночь, до пѣтуховъ—

Ни слова не скажу я.

Князь. Бѣдный мельникъ!

Старикъ. Какой я мельникъ! Го-

ворять тебѣ,

Я—воронъ, а не мельникъ. Чудный

случай:

Когда (ты помнишь?) бросилась она

Въ рѣку, я побѣжалъ за нею слѣдомъ

И съ той скалы прыгнуть хотѣлъ, да

вдругъ

Почувствовалъ: два сильныя крыла

Мнѣ выросли внезапно изъ-подъ мышекъ

И въ воздухъ сдержали. Съ той поры

То здѣсь, то тамъ летаю, то клюю

Корову мертвую, то на могилѣ

Сажу да карею.

Князь. Какая жалость!

Кто жъ за тобою смотреть?

Старикъ. Да, за мною

Присматривать не худо: старъ я сталъ

И шаловливъ. Замной, спасибо, смотреть

Русалочка.

Князь. Кто?

Старикъ. Внучка.

Князь. Невозможно

Понять его! Старикъ, ты здѣсь въ лѣсу

Иль съ голоду умрешь, иль звѣрь тебя

Заѣстъ. Не хочешь ли пойти въ мой

теремъ,

Со мною жить?

Старикъ. Въ твой теремъ?

Нѣтъ, спасибо!

Заманишь, а потомъ меня, пожалуй,

Удавишь ожерельемъ. Здѣсь я живъ,

И сытъ, и воленъ. Не хочу въ твой

теремъ.

(Уходитъ).

Князь. И этому все я виною!

Страшно

Ума лишиться! Легче умереть:

На мертвеца глядимъ мы съ ува-

женьемъ,

Творимъ о немъ молитвы—смерть рав-
няетъ
Съ нимъ cadaго. Но человекъ, лишен-
ный

Ума, становится не человекомъ:
Напрасно рѣчь ему дана—не правитъ
Словами онъ; въ немъ брата своего
Звѣрь узнаетъ; онъ людямъ въ по-
смѣянье;
Надъ нимъ всякъ воленъ; Богъ его не
судитъ...

Старикъ несчастный! Видь его во мнѣ
Раскаянья всѣ муки растравилъ.

Ловчій. Вотъ онъ. Насилу-то его
сыскали.

Князь. Зачѣмъ вы здѣсь?

Ловчій. Княгиня насъ послала:
Она боялась за тебя.

Князь. Несносна
Ея заботливость! Иль я ребенокъ,
Что шагу мнѣ ступить нельзя безъ
няньки?

(Уходить. Русалки показываются надъ
водой).

Русалки. Что, сестрицы: въ полѣ
чистомъ

Не догнать ли ихъ скорѣй?
Плескомъ, хохотомъ и свистомъ
Не пугнуть ли ихъ коней?
Поздно. Волны охладѣли,
Пѣтухи вдали пропѣли,
Всѣхъ небесная темна,
Закатилася луна.

Одна. Подождемъ еще, сестрица.
Другая. Нѣтъ, пора, пора, пора!
Ожидаетъ насъ царица,
Наша строгая сестра. (Скрываются).

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Берегъ.

Князь. Невольно къ этимъ груст-
нымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила!
Все здѣсь напоминаетъ мнѣ бывшее
И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную повѣсть.
Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала
Свободнаго—свободная любовь.
Я счастливъ былъ. Безумецъ!.. И я
могъ
Такъ вѣтрено отъ счастья отказаться!..
Печальныя, печальныя мечты
Вчерашняя мнѣ встрѣча оживила.
Отецъ несчастный! Какъ ужасенъ
онъ!

Авось опять его сегодня встрѣчу,
И согласится онъ оставить лѣсъ
И къ намъ переселиться.
(Русалочка выходитъ на берегъ).

Что я вижу!
Откуда ты, прелестное дитя?

Изъ „Повѣстей Бѣлкина“.

Гробовщикъ.

Послѣдніе пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронныя дроги и тощая пара въ четвертый разъ потащилась съ Басманной на Никитскую, куда гробовщикъ переселялся всѣмъ своимъ домомъ. Заперевъ ловку, прибилъ онъ къ воротамъ объявленіе о томъ, что домъ продается и отдается внаймы, и пѣшкомъ отправился на новоселье. Приближаясь къ желтому домику, такъ давно соблазнявшему его воображеніе и наконецъ купленному имъ за порядочную сумму, старый гробовщикъ чувствовалъ съ удивленіемъ, что сердце его не радовалось. Переступивъ за незнакомый порогъ и нашедъ въ новомъ своемъ жилищѣ суматоху, онъ вздохнулъ о ветхой лачужкѣ, гдѣ въ теченіе восемнадцати лѣтъ все было

заведено самым строгим порядкомъ; сталъ бранить обѣихъ своихъ дочерей и работницу за ихъ медленность и самъ принялся помогать. Вскорѣ порядокъ установился; кивотъ съ образами, шкафъ съ посудой, столъ, диванъ и кровать заняли имъ опредѣленные углы въ задней комнатѣ; въ кухнѣ и гостиной помѣстились издѣлія хозяина: гробы всѣхъ цвѣтовъ и всякаго размѣра, также шкафы съ траурными шляпами, мантиями и факелами. Надъ воротами возвысилась вывѣска, изображающая дорожнаго Амура съ опрокинутымъ факеломъ въ рукѣ, съ подписью: „здѣсь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются на прокатъ и починаются старыя“. Дѣвушки ушли въ свою свѣтлицу; Адрианъ обошелъ свое жилище, сѣлъ у окошка и приказалъ готовить самоваръ.

Просвѣщенный читатель вѣдаетъ, что Шекспиръ и Вальтеръ-Скоттъ оба представили своихъ гробокопателей людьми веселыми и шутивыми, дабы сей противоположностью сильнѣе поразить наше воображеніе. Изъ уваженія къ истинѣ, мы не можемъ слѣдовать ихъ примѣру и принуждены признаться, что нравъ нашего гробовщика совершенно соотвѣтствовалъ мрачному его ремеслу. Адрианъ Прохоровъ обыкновенно былъ угрюмъ и задумчивъ. Онъ разрѣшалъ молчаніе развѣ только для того, чтобъ журить своихъ дочерей, когда заставлялъ ихъ безъ дѣла глядящихъ въ окно на прохожихъ, или чтобъ запрашивать за свои произведенія преувеличенную цѣну у тѣхъ, которые имѣли несчастье (а иногда и удовольствіе) въ нихъ нуждаться. И такъ, Адрианъ, сидя подъ окномъ и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновенію, былъ погруженъ въ печальныя размышленія. Онъ думалъ о проливномъ дождѣ, который, за недѣлю тому назадъ, встрѣтилъ у самой заставы похороны отставного бригадира. Многія мантии отъ того сузились, многія шляпы покоробились. Онъ предвидѣлъ неминуемые расходы, ибо давній запасъ гробовыхъ нарядовъ приходилъ у него въ жалкое состояніе. Онъ надѣялся выместить убытокъ на старой купчихѣ Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляѣ, и Прохоровъ боялся, чтобъ ея наслѣдники, несмотря на свое общаніе, не подѣлились послать за нимъ въ такую даль и не сторговались бы съ ближайшимъ подрядчикомъ.

Сія размышленія были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами въ дверь. „Кто тамъ?“ спросилъ гробовщикъ. Дверь отворилась и чловѣкъ, въ которомъ съ перваго взгляда можно было узнать нѣмца-ремесленника, вошелъ въ комнату и съ веселымъ видомъ приблизился къ гробовщику. „Извините, любезный сосѣдъ,—сказалъ онъ тѣмъ русскимъ нарѣчіемъ, которое мы безъ смѣха донинѣ слышать не можемъ:—извините, что я вамъ помѣшалъ... я желалъ поскорѣ съ вами познакомиться. Я сапожникъ, имя мое—Готлибъ Шульцъ, и живу отъ васъ черезъ улицу, въ этомъ домикѣ, что противъ вашихъ окошекъ. Завтра я праздную мою серебряную свадьбу, и прошу васъ и вашихъ дочекъ отобѣдать у меня по-пріятельски“. Приглашеніе было благосклонно принято. Гробовщикъ просилъ сапожника садиться и выкупать чашку чаю и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскорѣ они разговорились дружелюбно. „Какowo торгуешь ваша милость?“ спросилъ Адрианъ.—Э-хе-хе,—отвѣчалъ Шульцъ:— и такъ и сякъ. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товаръ не то, что вашъ: живой безъ сапогъ обойдется, а мертвый безъ гроба не живетъ.—„Сущая правда,—замѣтилъ Адрианъ:—однакожь, если живому не на что купить сапогъ, то, не прогибайся, ходитъ онъ и босой; а нищій мертвецъ и даромъ беретъ себѣ

гробъ“. Такимъ образомъ бесѣда продолжалась у нихъ еще нѣсколько времени; наконецъ сапожникъ всталъ и простился съ гробовщикомъ, возобновляя свое приглашеніе.

На другой день, ровно въ двѣнадцать часовъ, гробовщикъ и его дочери вышли изъ калитки новокупленного дома и отправились къ сосѣду. Не стану описывать ни русскаго кафтана Адріана Прохорова, ни европейскаго наряда Акулины и Дарьи, отступая въ семь случаевъ отъ обычая, принятаго нынѣшними романистами. Полагаю, однакожъ, не излишнимъ замѣтить, что обѣ дѣвицы надѣли желтыя шляпки и красныя башмаки, что бывало у нихъ только въ торжественные случаи.

Тѣсная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частью нѣмцами-ремесленниками съ ихъ женами и подмастерьями. Изъ русскихъ чиновниковъ былъ одинъ будочникъ, чухонецъ Юрко, умѣвшій пріобрѣсти, несмотря на свое смиренное званіе, особенную благосклонность хозяина. Лѣтъ двадцать пять служилъ онъ въ семь званій вѣрой и правдою, какъ почталіонъ Погорѣльскаго. Пожаръ двѣнадцатаго года, уничтоживъ первопрестольную столицу, истребилъ и его жалкую будку. Но тотчасъ по изгнаніи врага на ея мѣстѣ явилась новая, сѣренькая съ бѣлыми колонками до-рическаго ордена, и Юрко сталъ опять рассказывать около нея съ сѣкирой и въ бронѣ сержантской. Онъ былъ знакомъ большей части нѣмцевъ, живущихъ около Никитскихъ воротъ: инымъ изъ нихъ случалось даже ночевать у Юрки съ воскресенья на понедѣльникъ. Адріанъ тотчасъ познакомился съ нимъ, какъ съ человѣкомъ, въ которомъ рано или поздно можетъ случиться имѣть нужду, и какъ гости пошли за столъ, то они сѣли вмѣстѣ. Господинъ и госпожа Шульцъ и дочка ихъ, семнадцати лѣтняя Лотхенъ, обѣдая съ гостями всѣ вмѣстѣ, угощали и помогали кухаркѣ служить. Пиво лилось. Юрко ѣлъ за четверыхъ; Адріанъ ему не уступалъ; дочери его чинились; разговоръ на нѣмецкомъ языкѣ часъ-отъ-часу дѣлался шумнѣе. Вдругъ хозяинъ потребовалъ вниманія и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнесъ по-русски: „за здоровье моей доброй Луизы!“ Полушампанское запынилось. Хозяинъ нѣжно поцѣловалъ свѣжее лицо сорокалѣтней своей подруги, и гости шумно выпили за здоровье доброй Луизы. „За здоровье любезныхъ гостей моихъ!“ провозгласилъ хозяинъ, откупоривая вторую бутылку— и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тутъ начали здоровья слѣдовать одно за другимъ; пили за здоровье каждаго гостя особливо, пили за здоровье Москвы и цѣлой дюжины германскихъ городковъ, пили за здоровье всѣхъ цеховъ вообще и каждаго въ особенности, пили за здоровье мастеровъ и подмастерьевъ. Адріанъ пилъ съ усердіемъ и до того развеселился, что самъ предложилъ какой-то шутливый тостъ. Вдругъ одинъ изъ гостей, толстый булочникъ, поднялъ рюмку и воскликнулъ: „за здоровье тѣхъ, на которыхъ мы работаемъ, unserer Kundleute!“ Предложеніе, какъ и всѣ, было принято радостно и единодушно. Гости начали другъ другу кланяться, портной—сапожнику, сапожникъ—портному, булочникъ—имъ обоимъ, всѣ булочнику, и такъ далѣе. Юрко, среди сихъ взаимныхъ поклоновъ, закричалъ, обратясь къ своему сосѣду: „что же? пей, батюшка, за здоровье своихъ мертвецовъ!“ Всѣ захохотали, но гробовщикъ почелъ себя обиженнымъ и нахмурился. Никто того не замѣтилъ; гости продолжали пить, и уже благовѣстили къ вечернѣ, когда встали изъ-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части на-веселѣ. Толстый булочникъ и переpletчикъ, коего лицо казалось въ красненькомъ сафьянномъ

переплетѣ, подъ-руки отвели Юрку въ его будку, наблюдая въ семъ случаѣ русскую пословицу: долгъ платежемъ красенъ. Гробовщикъ пришелъ домой пьянъ и сердитъ. „Что жъ это въ самомъ дѣлѣ,—разсуждалъ онъ вслухъ:—чѣмъ ремесло мое не честнѣе прочихъ? развѣ гробовщикъ—братъ палачу? Чему смѣются басурмане? развѣ гробовщикъ—гауръ святочный? Хотѣлось было мнѣ позвать ихъ на новоселье, задать имъ пиръ горой; инъ не бывать же тому! А созову я тѣхъ, на которыхъ работаю: мертвецовъ православныхъ“.—Что ты, батюшка?—сказала работница, которая въ это время разувала его:—что ты этого родишь? Перекрестись! Сзывать мертвыхъ на новоселье. Экая страсть!—„Ей-Богу, созову,—продолжалъ Адріанъ—и на завтрашній же день. Милости просимъ, мои благодѣтели, завтра вечеромъ у меня попить; угошу, чѣмъ Богъ послалъ“. Съ этимъ словомъ гробовщикъ отправился на кровать и вскорѣ захрапѣлъ.

На дворѣ было еще темно, какъ Адріана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась въ эту самую ночь, и нарочный отъ ея приказчика прискакалъ въ Адріану верхомъ съ этимъ извѣстіемъ. Гробовщикъ далъ ему за то гривенникъ на водку, одѣлся на-скаро, взялъ извозчика и поѣхалъ на Разгуляй. У воротъ покойницы уже стояла полиція и расхаживали купцы, какъ вороны, почуя мертвое тѣло. Покойница лежала на столѣ, желтая какъ воскъ, но еще не обезображенная тлѣніемъ. Около нея тѣснились родственники, сосѣди и домашніе. Всѣ окна были открыты; свѣчи горѣли; священники читали молитвы. Адріанъ подошелъ къ племяннику Трюхиной, молодому купчику въ модномъ сюртукѣ, объявляя ему, что гробъ, свѣчи, покровъ и другія похоронныя принадлежности тотчасъ будутъ ему доставлены во всей исправности. Наслѣдникъ благодарилъ его разсѣянно, сказавъ, что о цѣнѣ онъ не торгуется, а во всемъ полагается на его совѣсть. Гробовщикъ, по обыкновенію своему, побожился, что лишняго не возьметъ, значительнымъ взглядомъ обмѣнялся съ приказчикомъ и поѣхалъ хлопотать. Цѣлый день разбѣжжалъ съ Разгуляя къ Никитскимъ воротамъ и обратно; къ вечеру все сладилъ и пошелъ домой пѣшкомъ, отпустивъ своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщикъ благополучно дошелъ до Никитскихъ воротъ. У Вознесенія окликалъ его знакомецъ нашъ Юрко и, узнавъ гробовщика, пожелалъ ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщикъ подходилъ уже къ своему дому, какъ вдругъ показалось ему, что кто-то подошелъ къ его воротамъ, отворилъ калитку и въ нее скрылся. „Что бы это значило?—подумалъ Адріанъ:—кому опять до меня нужда? Ужъ не воръ ли ко мнѣ забрался? Не ходятъ ли любовники къ моимъ дурамъ? Чего добраго!“ И гробовщикъ думалъ уже кликнуть себѣ на помощь пріятеля Юрку. Въ эту минуту кто-то еще приблизился къ калиткѣ и собирался войти, но, увидя бѣгущаго ховяина, остановился и снялъ треугольную шляпу. Адріану лицо его показалось знакомо, но второпяхъ не успѣлъ онъ порядочно его разглядѣть. „Вы пожаловали ко мнѣ,—сказалъ, запыхавшись, Адріанъ:—войдите же, сдѣлайте милость“.— Не церемонься, батюшка,—отвѣчалъ тотъ глухо:—ступай себѣ впередъ; указывай гостямъ дорогу!—Аріану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, онъ пошелъ на лѣстницу, и тотъ за нимъ. Адріану показалось, что по комнатамъ его ходятъ люди. „Что за дьявольщина!“ подумалъ онъ и спѣшилъ войти... тутъ ноги его подкосились. Комната была полна мертвецами. Луна сквозь окна освѣщала ихъ желтыя и синія лица, ввалившіеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшіеся носы... Адріанъ съ ужасомъ узналъ въ нихъ людей, погребенныхъ его стараніями, и въ гостѣ,

съ нимъ вмѣстѣ вошедшемъ, бригадира, похороненнаго во время проливного дождя. Всѣ они, дамы и мужчины, окружили гробовщика съ поклонами и привѣтствіями, кромѣ одного бѣдняка, недавно даромъ похороненнаго, который, совѣстясь и стыдѣсь своего рубища, не приближался и стоялъ смиренно въ углу. Прочіе всѣ одѣты были благопристойно: покойницы—въ чепцахъ и лентахъ, мертвецы чиновные—въ мундирахъ, но съ бородами небритыми, купцы—въ праздничныхъ кафтанахъ. „Видишь ли, Прохоровъ,—сказалъ бригадиръ отъ имени всей честной компаніи:—всѣ мы поднялись на твое приглашеніе; остались дома только тѣ, которымъ уже не въ мочь, которые совсѣмъ развалились, да у кого остались однѣ кости безъ кожи; но и тутъ одинъ не утерпѣлъ—такъ хотѣлось ему побывать у тебя...“ Въ эту минуту маленькій скелетъ продрался сквозь толпу и приблизился къ Адріану. Черепъ его ласково улыбался гробовщику. Ключки свѣтлозеленаго и краснаго сукна и ветхой холстины кой-гдѣ висѣли на немъ, какъ на шестѣ, а кости ногъ бились въ большихъ ботфортахъ, какъ пестики въ ступахъ. „Ты не узналъ меня, Прохоровъ,—сказалъ скелетъ:—помнишь ли отставнаго сержанта гвардіи Петра Петровича Курилкина, того самаго, которому въ 1799 году ты продалъ первый свой гробъ—и еще сосновый за дубовый?“ Съ симъ словомъ мертвецъ простеръ ему костяныя объятія; но Адріанъ, собравшись съ силами, закричалъ и оттолкнулъ его. Петръ Петровичъ пошатнулся, упалъ и весь разсыпался. Между мертвецами поднялся ропотъ негодованія; всѣ вступились за честь своего товарища, пристали къ Адріану съ бранью и угрозами, и бѣдный хозяинъ, оглушенный ихъ крикомъ и почти задавленный, самъ упалъ на кости отставнаго сержанта гвардіи и лишился чувствъ.

Солнце давно уже освѣщало постель, на которой лежалъ гробовщикъ. Наконецъ открылъ онъ глаза и увидѣлъ передъ собою работницу, раздувающую самоваръ. Съ ужасомъ вспомнилъ Адріанъ всѣ вчерашнія происшествія. Трюхина, бригадиръ и сержантъ Курилкинъ смутно представились его воображенію. Онъ молча ожидалъ, чтобъ работница начала съ нимъ разговоръ и объявила о послѣдствіяхъ ночныхъ приключеній. „Какъ ты заспался, батюшка Адріанъ Прохоровичъ,—сказала Аксиныя, подавая ему халатъ:—къ тебѣ заходилъ сосѣдъ портной, и здѣшній будочникъ забѣгалъ съ объявленіемъ, что сегодня „частный“ именинникъ, да ты изволилъ почитать, и мы не хотѣли тебя разбудить“.—А приходили ко мнѣ отъ покойницы Трюхиной?—„Покойницы? Да развѣ она умерла!“—Эка дура! Да не ты ли пособляла мнѣ вчера улаживать ея похороны?—„Что ты, батюшка, не съ ума ли ты спятилъ, али хмель вчерашній еще у тебя не прошелъ? Какія были вчера похороны? Ты цѣлый день пировалъ у нѣмца, воротился пьянъ, завалился въ постелю, да и спалъ до сего часа, какъ ужъ къ обѣднѣ отблаговѣстили“.—Ой ли!—сказалъ обрадованный гробовщикъ. „Вѣстимо такъ“, отвѣчала работница.—Ну, коли такъ, давай скорѣе чаю, да позови дочерей.

Станціонный смотритель.

Въ 1816 году, въ маѣ мѣсяцѣ, случилось мнѣ проѣзжать черезъ ***скую губернію, по тракту, нынѣ уничтоженному.

День былъ жаркій. Въ трехъ верстахъ отъ станціи*** стало накрапывать, и черезъ минуту проливной дождь вымочилъ меня до послѣдней нитки.

По приѣздѣ на станцію, первая забота была поскорѣе переодѣться, вторая—спросить себѣ чаю. „Эй, Дуня!—закричалъ смотритель:—поставь самоваръ, да сходи за сливками“. При сихъ словахъ вышла изъ-за перегородки дѣвочка лѣтъ четырнадцати и побѣжала въ сѣни. Красота ея меня поразила.—Это твоя дочка?—спросилъ я смотрителя. „Дочка-съ,—отвѣчалъ онъ съ видомъ довольнаго самолюбія:—да такая разумная, такая проворная, вся въ покойницу-мать“. Тутъ онъ принялся переписывать мою дорожную, а я занялся разсмотрѣніемъ картинокъ, украшавшихъ его смиренную, но опрятную обитель. Онъ изображалъ исторію блуднаго сына: въ первой—почтенный старикъ въ колпакѣ и плафрокѣ отпускаетъ безпокойнаго юношу, который поспѣшно принимаетъ его благословеніе и мѣшокъ съ деньгами. Въ другой—яркими чертами изображено развратное поведеніе молодого человѣка: онъ сидитъ за столомъ, окруженный ложными друзьями и безстыдными женщинами. Далѣе, промотавшійся юноша, въ рубищѣ и въ треугольной шляпѣ, пасетъ свиней и раздѣляетъ съ ними трапезу; въ его лицѣ изображены глубокая печаль и раскаяніе. Наконецъ представлено возвращеніе его къ отцу: добрый старикъ въ томъ же колпакѣ и плафрокѣ выбѣгаетъ къ нему на встрѣчу; блудный сынъ стоитъ на колѣняхъ; въ перспективѣ поваръ убиваетъ упитаннаго тельца, и старшій братъ вопрошаетъ слугъ о причинѣ таковой радости. Подъ каждой картинкой прочелъ я приличные нѣмецкіе стихи. Все это донинѣ сохранилось въ моей памяти, такъ же какъ и горшки съ бальзаминомъ и кровать съ пестрой занавѣскою и прочіе предметы, меня въ то время окружавшіе. Вижу, какъ теперь, самого хозяина, человѣка лѣтъ пятидесяти, свѣжаго и бодрого, и его длинный зеленый куртку съ тремя медалями на полинялыхъ лентахъ.

Не успѣвъ я расплатиться со старымъ моимъ ямщикомъ, какъ Дуня возвратилась съ самоваромъ. Маленькая кокетка со второго взгляда замѣтила впечатлѣніе, произведенное ею на меня; она потупила большіе голубые глаза; я сталъ съ нею разговаривать; она отвѣчала мнѣ безо всякой робости, какъ дѣвушка, видѣвшая свѣтъ. Я предложилъ отцу ея стаканъ пуншу; Дуня подала и чашку чаю, и мы втроемъ начали бесѣдовать, какъ будто вѣкъ были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мнѣ все не хотѣлось растаться съ смотрителемъ и его дочкой. Наконецъ я съ ними простился; отецъ пожелалъ мнѣ добраго пути, а дочь проводила до телеги. Въ сѣняхъ я остановился и просилъ у ней позволенія ее поцѣловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцѣлуевъ—

Съ тѣхъ поръ, какъ этимъ занимаюсь,—

но ни одинъ не оставилъ во мнѣ столь долгаго, столь пріятнаго воспоминанія.

Прошло нѣсколько лѣтъ, и обстоятельства привели меня на тотъ самый трактъ, въ тѣ самыя мѣста. Я вспомнилъ дочь стараго смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. „Но,—подумалъ я:—старый смотритель, можетъ быть, уже смѣненъ; вѣроятно, Дуня уже замужемъ“. Мысль о смерти того или другого также мелькнула въ умѣ моемъ, и я приближался къ станціи *** съ печальнымъ предчувствіемъ. Лошади стали у почтоваго дома. Вошедъ въ комнату, я тотчасъ узналъ картинки, изображающія исторію блуднаго сына; столъ и кровать стояли на прежнихъ мѣстахъ, но на окнахъ уже не было цвѣтовъ, и все кругомъ показывало ветхость

и небреженіе. Смотритель спалъ подъ тулупомъ; мой прїѣздъ разбудилъ его; онъ привсталъ... Это былъ, точно, Симеонъ Выринъ; но какъ онъ постарѣлъ! Покамѣстъ собирался онъ переписать мою подорожную, я смотрѣлъ на его сѣдину, на глубокія морщины давно небритаго лица, на сгорбленную спину—и не могъ надивиться, какъ три или четыре года могли превратить бодрого мужчину въ хилаго старика. „Узналъ ли ты меня?—спросилъ я его:—мы съ тобою старые знакомые“.—„Можетъ статься,—отвѣчалъ онъ угрюмо:—здѣсь дорога большая; много проѣзжихъ у меня перебывало.—„Здорова ли твоя Дуня?“ продолжалъ я. Старикъ нахмурился. „А Богъ ее знаетъ,—отвѣчалъ онъ. „Такъ, видно, она замужемъ?“ сказалъ я. Старикъ притворился, будто бы не слыхалъ моего вопроса, и продолжалъ пошептомъ читать мою подорожную. Я прекратилъ свои вопросы и велѣлъ поставить чайникъ. Любопытство начинало меня беспокоить и я надѣялся, что пушъ разрѣшитъ языкъ моего старика знакопца.

Я не ошибся: старикъ не отказался отъ предлагаемаго стакана. Я замѣтилъ, что ромъ прояснилъ его угрюмость. На второмъ стаканѣ сдѣлался онъ разговорчивъ; вспомнилъ, или показалъ видъ, будто-бы вспомнилъ меня, и я узналъ отъ него повѣсть, которая въ то время сильно меня заняла и тронула.

„Такъ вы знали мою Дуню?—началъ онъ:—кто же и не знаетъ ея? Ахъ, Дуня, Дуня! Что за дѣвка-то была! Бывало, кто ни проѣдетъ, всакий похвалить, никто не осудить. Барыни дарили ее, та—платочкомъ, та сережками. Господа прозжіе нарочно останавливались, будто бы пообѣдать, али отужинать, а въ самомъ дѣлѣ, только чтобъ на нее подолѣе поглядѣть. Бывало, баринъ какой бы сердитый ни былъ, при ней утихаеъ и милостиво со мною разговариваеъ. Повѣрите-ль, сударь: курьеры, фельдъегеря съ нею по полчаса заговаривались. Ею домъ держался; что прибрать, что приготовить, за всѣмъ успѣвала. А я-то, старый дуракъ, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; ужъ я ли не любилъ моей Дуни, я ль не лелѣялъ моего дитяти; ужъ ей ли не было житье? Да нѣтъ, отъ бѣды не отбожиться: что суждено, тому не миновать“.

Тутъ онъ сталъ подробно рассказывать мнѣ свое горе. Три года тому назадъ, однажды въ зимній вечеръ, когда смотритель разлиновывалъ новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себѣ платье, тройка подѣхала, и проѣзжій, въ черкесской шапкѣ, въ военной шинели, окутанный шалью, вошелъ въ комнату, требуя лошадей. Лошади всѣ были въ разгонѣ. При этомъ извѣстіи путешественникъ возвысилъ было голосъ и нагайку; но Дуня, привыкшая къ таковымъ сценамъ, выбѣжала изъ-за перегородки и ласково обратилась къ проѣзжему съ вопросомъ: „не угодно ли будетъ ему чего-нибудь покушать? „Появленіе Дуни произвело обыкновенное свое дѣйствіе. Гнѣвъ проѣзжаго прошелъ; онъ согласился ждать лошадей и заказалъ себѣ ужинъ. Снявъ мокрую, косматую шапку, отпутавъ шаль и сдернувъ шинель, проѣзжій явился молодымъ, стройнымъ гусаромъ съ черными усами. Онъ расположился у смотрителя, началъ весело разговаривать съ нимъ и съ его дочерью. Подали ужинать. Между тѣмъ лошади пришли, и смотритель приказалъ, чтобъ тотчасъ, не кормя, запрягали ихъ въ кибитку проѣзжаго; но, возвратись, нашелъ онъ молодого человека, почти безъ памяти лежащаго на лавкѣ: ему сдѣлалось дурно, голова разболѣлась, невозможно было ѣхать... Какъ быть? Смотритель уступилъ ему свою кровать, и положено было, если больному не будетъ легче, на другой день утромъ послать въ С*** за лѣкаремъ. Онъ увезъ Дуню, обманувъ старика-отца.

Старикъ не снесъ своего несчастія: онъ тутъ же слегъ въ ту самую постель, гдѣ наканунѣ лежалъ молодой обманщикъ. Теперь смотритель, соображая всѣ обстоятельства, догадывался, что болѣзнь была притворная. Бѣднякъ занемогъ сильною горячкою; его свезли въ С***, и на его мѣсто опредѣлили на время другого. Тотъ же лѣкарь, который прїѣзжалъ къ гусару, лѣчилъ и его. Онъ увѣрилъ смотрителя, что молодой человѣкъ былъ совсѣмъ здоровъ, и что тогда еще догадывался онъ о его злобномъ намѣреніи, но молчалъ, опасаясь его нагайки. Правду ли говорилъ нѣмецъ, или только желалъ похвастаться дальновидностью, но онъ нимало тѣмъ не утѣшилъ бѣднаго больного. Едва оправясь отъ болѣзни, смотритель выпросилъ у С*** почтмейстера отпускъ на два мѣсяца и, не сказавъ никому ни слова о своемъ намѣреніи, пѣшкомъ отправился за своей дочерью. Изъ подорожной зналъ онъ, что ротмистръ Минскій ѣхалъ изъ Смоленска въ Петербургъ. Ямщикъ, который везъ его, сказалъ, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ѣхала по своей охотѣ. „Авось,—думалъ смотритель:—приведу я домой заблудшую овечку мою“. Съ этой мыслию прибылъ онъ въ Петербургъ, остановился въ Измайловскомъ полку, въ домѣ отставного унтеръ-офицера, своего стараго сослуживца, и началъ свои поиски. Вскорѣ узналъ онъ, что ротмистръ Минскій въ Петербургѣ и живетъ въ Демутовомъ трактирѣ. Смотритель рѣшился къ нему явиться.

Рано утромъ пришелъ онъ въ его переднюю и просилъ доложить его высокоблагородію, что старый солдатъ просить съ нимъ увидѣться. Военный лакей, чистя сапогъ на колодкѣ, объявилъ, что баринъ почиваетъ, и что прежде одиннадцати часовъ не принимаетъ никого. Смотритель ушелъ и возвратился въ назначенное время. Минскій вышелъ самъ къ нему въ халатѣ, въ красной скуфьѣ.—Что, братъ тебѣ надобно?—спросилъ онъ его. Сердце старика закипѣло, слезы навернулись на глаза, и онъ дрожащимъ голосомъ произнесъ только: „Ваше высокоблагородіе!.. сдѣлайте такую божескую милость!..“ Минскій взглянулъ на него быстро, вспыхнулъ, взялъ его за руку, повелъ въ кабинетъ и заперъ за собою дверь. „Ваше высокоблагородіе!—продолжалъ старикъ:—что съ возу упало, то пропало; отдавайте мнѣ, по крайней мѣрѣ, бѣдную мою Дуню. Вѣдь вы натѣшили ее; не погубите же ее понапрасну“.—Что сдѣлано, того не воротить,—сказалъ молодой человѣкъ въ крайнемъ замѣшательствѣ:—виноватъ передъ тобою и радъ просить у тебя прощенія; но не думай, чтобъ я Дуню могъ покинуть: она будетъ счастлива, дамъ тебѣ честное слово. Зачѣмъ тебѣ ее? Она меня любитъ; она отвыкла отъ прежняго своего состоянія. Ни ты, ни она—вы не забудете того, что случилось.—Потомъ, сунувъ ему что-то за рукавъ, онъ открылъ дверь, и смотритель, самъ не помня какъ, очутился на улицѣ.

Долго стоялъ онъ неподвижно, наконецъ увидѣлъ за обшлагомъ своего рукава свертокъ бумагъ; онъ вынулъ ихъ и развернулъ нѣсколько пятидесяти-рублевыхъ смятыхъ ассигнацій. Слезы опять навернулись на глазахъ его—слезы негодованія! Онъ сжалъ бумажки въ комокъ, бросилъ ихъ наземъ, притопталъ каблукомъ и пошелъ... Отшедъ нѣсколько шаговъ, онъ остановился, подумалъ... и воротился... но ассигнацій уже не было. Хорошо одѣтый молодой человѣкъ, увидя его, подбѣжалъ къ извозчику, сѣлъ поспѣшно и закричалъ: „пошелъ!“... Смотритель за нимъ не погнался. Онъ рѣшился отправиться домой, на свою станцію, но прежде хотѣлъ хоть разъ еще увидѣть бѣдную свою Дуню. Для сего, дня черезъ два, воротился онъ къ Минскому; но военный лакей сказалъ ему сурово, что баринъ ни-

кого не принимаетъ, грудью вытѣснилъ его изъ передней и хлопнулъ двери ему подъ ность. Смотритель постоялъ, постоялъ, да и пошелъ.

Въ этотъ самый день, вечеромъ, шелъ онъ по Литейной, отслуживъ молебенъ у Всѣхъ Скорбящихъ. Вдругъ промчался передъ нимъ шегольскій дрожки, и смотритель узналъ Минскаго. Дрожки остановились передъ трехэтажнымъ домомъ, у самаго подъѣзда, и гусаръ вбѣжалъ на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула въ головѣ смотрителя. Онъ воротился и, поровнявшись съ кучеромъ: „чья, братъ, лошадь?—спросилъ онъ:—не Минскаго ли?“—Точно такъ,—отвѣчалъ кучеръ:—а что тебѣ?—„Да вотъ что: баринъ твой приказалъ мнѣ отнести къ его Дунѣ записочку, а я и позабуду, гдѣ Дуня-то его живетъ“.—„Да вотъ здѣсь, во второмъ этажѣ. Оповдавай ты, братъ, съ твоей запиской; теперь ужъ онъ самъ у нея.“—„Нужды нѣтъ,“—возразилъ смотритель съ неизъяснимымъ движеніемъ сердца:—спасибо, что надоумилъ, а я свое дѣло сдѣлаю“. И съ этимъ словомъ пошелъ онъ по лѣстницѣ.

Минскій не позволилъ ему переговорить съ Дуней.

„Вотъ уже третій годъ,—заклучилъ онъ:—какъ живу я безъ Дуни и какъ объ ней нѣтъ ни слуху, ни духу. Жива ли, нѣтъ ли, Богъ ее вѣдаетъ. Всяко случается. Не ее первую, не ее послѣднюю сманилъ проѣзжай повѣса, а тамъ подержалъ, да и бросилъ. Много ихъ въ Петербургѣ, молоденькихъ дурь, сегодня въ алтасѣ да въ бархатѣ, а завтра, поглядишь, метутъ улицу вмѣстѣ съ голю кабацкою. Какъ подумаешь порою, что и Дуня, можетъ быть, тутъ же пропадаетъ, такъ поневолѣ согрѣшишь, да пожелаешь ей могилы“.

Таковъ былъ разговоръ пріятеля моего, стараго смотрителя, разговоръ, неоднократно прерываемый слезами, которыя живописно отиралъ онъ своею полою, какъ усердный Терентичъ въ прекрасной балладѣ Дмитріева. Слезы эти отчасти возбуждаемы были пуншемъ, коего вытянулъ онъ пять стакановъ въ продолженіе своего повѣствованія; но какъ бы то ни было, онъ сильно тронули мое сердце. Съ нимъ разставшись, долго не могъ я забыть стараго смотрителя, долго думалъ я о бѣдной Дунѣ...

Недавно еще, проѣжая черезъ мѣстечко ***, вспомнилъ я о моемъ пріятелѣ; я узналъ, что станція, надъ которой онъ начальствовалъ, уже уничтожена. На вопросъ мой: „живъ ли старый смотритель?“ никто не могъ дать мнѣ удовлетворительнаго отвѣта. Я рѣшился посѣтить знакомую сторону, взялъ вольныхъ лошадей и пустился въ село Н.

Это случилось осенью. Сѣренькія тучи покрывали небо; холодный вѣтеръ дулъ съ пожатыхъ полей, унося красные и желтые листья со встрѣчныхъ деревьевъ. Я пріѣхалъ въ село при закатѣ солнца и остановился у почтового домика. Въ сѣни (гдѣ нѣкогда поцѣловала меня бѣдная Дуня) вышла толстая баба, и на вопросы мои отвѣчала, что старый смотритель съ годъ какъ померъ, что въ домѣ его поселился пивоваръ, а что она—жена пивоварова. Мнѣ стало жаль моей напрасной поѣздки и семи рублей, издержанныхъ даромъ.

— Отчего жъ онъ умеръ?—спросилъ я пивоварову жену.

— Спился, батюшка,—отвѣчала она.

— А гдѣ его похоронили?

— За околицей, подлѣ покойной хозяйки его.

— Нельзя ли довести меня до его могилы?

— Почему же нельзя? Эй, Ванька! полно тебѣ съ кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителю могилу.

При этихъ словахъ, оборванный мальчикъ, рыжий и кривой, выбѣжалъ ко мнѣ и тотчасъ повелъ меня за околицу.

— Зналъ ты покойника?—спросилъ я его дорогой.

— Какъ не знать! Онъ выучилъ меня дудочки вырѣзывать. Бывало (царство ему небесное!) идетъ изъ кабака, а мы-то за нимъ: „дѣдушка, дѣдушка! орѣшковы!“,—а онъ насъ орѣшками и надѣляетъ. Все, бывало, съ нами возится.

— А проѣзжіе вспоминаютъ ли его?

— Да нынѣ мало проѣзжихъ; развѣ засѣдатель завернетъ, да тому не до мертвыхъ. Вотъ лѣтомъ проѣзжала барыня, такъ та спрашивала о старомъ смотрителѣ и ходила къ нему на могилу.

— Какая барыня?—спросилъ я съ любопытствомъ.

— Прекрасная барыня,—отвѣчалъ мальчишка:—ѣхала она въ каретѣ въ шесть лошадей, съ тремя маленькими барчатами и съ кормилицей, и съ черною москвою, и какъ ей сказали, что старый смотритель умеръ, такъ она заплакала и сказала дѣтямъ: „сидите смирно, а я схожу на кладбище“. А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: „я сама дорогу знаю“. И дала мнѣ пятакъ серебромъ... такая добрая барыня!

Мы пришли на кладбище, голое мѣсто, ничѣмъ не огражденное, усыпанное деревянными крестами, не осѣненными ни единымъ деревцомъ. Отъ роду не видалъ я такого печальнаго кладбища.

— Вотъ могила стараго смотрителя,—сказалъ мнѣ мальчикъ, вспрыгнувъ на груды песка, въ которую врытъ былъ черный крестъ съ мѣднымъ образомъ.

— И барыня приходила сюда?—спросилъ я.

— Приходила,—отвѣчалъ Ванька:—я смотрѣлъ на нее издали. Она легла здѣсь и лежала долго. А тамъ барыня пошла въ село и призвала попа, дала ему денегъ и поѣхала, а мнѣ дала пятакъ серебромъ... славная барыня!

И я далъ мальчишкѣ пятачекъ и не жалѣлъ уже ни о поѣздкѣ, ни о семи рубляхъ, мною истраченныхъ.

Капитанская дочка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Сержантъ гвардіи.

Отецъ мой, Андрей Петровичъ Гриневъ, въ молодости своей служилъ при графѣ Минихѣ и вышелъ въ отставку премьеръ-маіоромъ въ 17... году. Съ тѣхъ поръ жилъ онъ въ своей симбирской деревнѣ, гдѣ и женился на дѣвицѣ Авдотѣ Васильевнѣ Ю., дочери бѣднаго тамошняго дворянина. Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои братья и сестры умерли въ младенчествѣ. Я былъ записанъ въ Семеновскій полкъ сержантомъ, по милости

маiorа гвардіи князя Б., близкаго нашего родственника, считался въ отпуску до окончанія наукъ. Въ то время воспитывались мы не по-нынѣшнему. Съ пятилѣтняго возраста отданъ я былъ на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведеніе пожалованному мнѣ въ дядьки. Подъ его надзоромъ, на двѣнадцатомъ году, выучился я русской грамотѣ, и могъ очень здраво судить о свойствахъ борзого кобеля. Въ это время батюшка нанялъ для меня француза, мосье Бопре, котораго выписали изъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла. Приѣздъ его сильно не понравился Савельичу.

— Слава Богу,—ворчалъ онъ про-себя: — кажется, дитя умыть, причесать, накормленъ. Куда какъ нужно тратить лишніе деньги и нанимать мусье, какъ будто и своихъ людей не стало!

Бопре въ отечествѣ своемъ былъ парикмахеромъ, потомъ въ Пруссіи солдатомъ, потомъ приѣхалъ въ Россію *pour être outchitel*, не очень понимая значеніе этого слова. Онъ былъ добрый малый, но вѣтренъ и безпутенъ до крайности. Главною его слабостью была страсть къ прекрасному полу; нерѣдко за свои нѣжности получалъ онъ толчки, отъ которыхъ охалъ по цѣлымъ суткамъ. Къ тому же не былъ онъ, по его выраженію, и врагомъ бутылки, т. е., говоря по-русски, любилъ хлебнуть лишнее. Но какъ вино подавалось у насъ только за обѣдомъ, и то по рюмочкѣ, при чемъ учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привыкъ къ русской настойкѣ, и даже сталъ предпочитать ее винамъ своего отечества, какъ не въ примѣръ болѣе полезную для желудка. Мы тотчасъ поладили, и хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня по-французски, по-нѣмецки и всѣмъ наукамъ, но онъ предпочелъ наскоро выучиться отъ меня кое-какъ болтать по-русски, и потомъ каждый изъ насъ занимался уже своимъ дѣломъ. Мы жили душа въ душу. Другого ментора я и не желалъ. Но вскорѣ судьба насъ разлучила, и вотъ по какому случаю.

Прачка Палаша, толстая и рябая дѣвка, и кривая коровница Акулька какъ-то согласились въ одно время кинуться матушкѣ въ ноги, виняся въ преступной слабости и съ плачемъ жалуясь на мусье, обольстившаго ихъ неопытность. Матушка шутить не любила и пожаловалась батюшкѣ. У него расправа была коротка. Онъ тотчасъ потребовалъ каналью-француза. Доложили, что мусье давалъ мнѣ свой урокъ. Батюшка пошелъ въ мою комнату. Въ это время Бопре спалъ на кровати сномъ невинности. Я былъ занятъ дѣломъ. Надобно знать, что для меня выписана была изъ Москвы географическая карта. Она висѣла на стѣнѣ безъ всякаго употребленія, и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я рѣшился сдѣлать изъ нея змѣй и, пользуясь сномъ Бопре, принялся за работу. Батюшка вошелъ въ то самое время, какъ я прилаживалъ мочальный хвостъ къ мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражненія въ географіи, батюшка дернулъ меня за ухо, потомъ подбѣжалъ къ Бопре, разбудилъ его очень неосторожно и сталъ осыпать укоризнами. Бопре въ смятеніи хотѣлъ было встать и не могъ: несчастный французъ былъ мертво пьянъ. Семь бѣдъ одинъ отвѣтъ. Батюшка за воротъ приподнял его съ кровати, вытолкалъ изъ дверей и въ тотъ-же день прогналъ со двора, къ неописанной радости Савельича. Тѣмъ и кончилось мое воспитаніе.

Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками. Между тѣмъ минуло мнѣ шестнадцать лѣтъ. Тутъ судьба моя переѣбилась.

Однажды осенью матушка варила въ гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрѣлъ на кипучія пѣнки. Батюшка у окна читалъ „Придворный Календарь“, ежегодно имъ получаемый. Эта книга имѣла всегда сильное на него вліяніе: никогда не перечитывалъ онъ ее безъ особеннаго участія, и чтеніе это производило въ немъ всегда удивительное волненіе желчи. Матушка, знаяшая наизусть всѣ его свычан, всегда старалась засунуть несчастную книгу какъ можно подалѣе, и такимъ образомъ „Придворный Календарь“ не попадался ему на глаза иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. Зато, когда онъ случайно его находилъ, то, бывало, по цѣлымъ часамъ не выпускалъ ужъ изъ своихъ рукъ. И такъ, батюшка читалъ „Придворный Календарь“, изрѣдка пожимая плечами и повторяя вполголоса: „генераль-поручикъ!.. Онь у меня въ ротъ былъ сержантомъ!.. Обоихъ російскихъ орденювъ кавалеръ!.. А давно ли мы?“ Наконецъ батюшка швырнулъ „Календарь“ на диванъ и погрузился въ задумчивость, не предвѣщавшую ничего добраго.

Вдругъ онъ обратился къ матушкѣ:

— Авдотья Васильевна, а сколько лѣтъ Петрушѣ?

— Да вотъ пошелъ семнадцатый годокъ,—отвѣчала матушка:—Петруша родился въ тотъ самый годъ, какъ окривѣла тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

— Добро,—прервалъ батюшка:—пора его въ службу. Полно ему бѣгать по дѣвчичьимъ, да лазить на голубятни.

Мысль о скорой разлукѣ со мною такъ поразила матушку, что она уронила ложку въ кастрюльку, и слезы потекли по ея лицу. Напротивъ того, трудно описать мое восхищеніе. Мысль о службѣ сливалась во мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ петербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что, по мнѣнію моему, было верхомъ благополучія человѣческаго.

Батюшка не любилъ ни перемѣнять своихъ намѣреній, ни откладывать ихъ исполненіе. День отъѣзду моему былъ назначенъ. Наканунѣ батюшка объявилъ, что намѣренъ писать со мною къ будущему моему начальнику, и потребовалъ пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петровичъ,—сказала матушка:—поклониться и отъ меня князю В.: я-дескать надѣюсь, что онъ не оставитъ Петрушу своими милостями.

— Чтò за вздоръ! — отвѣчалъ батюшка, нахмурясь: — съ какой стати стану я писать къ князю В.?

— Да вѣдь ты сказалъ, что изволишь писать къ начальнику Петруши?

— Ну, а тамъ чтò?

— Да вѣдь начальникъ Петрушинъ—князь В. Вѣдь Петруша записанъ въ Семеновскій полкъ.

— Записанъ! А мнѣ какое дѣло; что онъ записанъ? Петруша въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, да потянеть лямку, да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, а не шаматонъ въ гвардіи! Гдѣ его пашпортъ? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспортъ, хранившійся въ ея шкатулкѣ вмѣстѣ съ сорочкою, въ которой меня крестили, и вручила его батюшкѣ дрожащей рукою. Батюшка прочелъ его со вниманіемъ, положилъ передъ собою на столъ и началъ свое письмо.

Любопытство меня мучило. Куда жъ отправляютъ меня, если ужъ не въ Петербургъ? Я не сводилъ глазъ съ пера батюшки, которое двигалось довольно медленно. Наконецъ онъ кончилъ, запечаталъ письмо въ одномъ пакетѣ съ паспортомъ, снялъ очки и, подозвавъ меня, сказалъ:

— Вотъ тебѣ письмо къ Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты ѣдешь въ Оренбургъ служить подъ его начальствомъ.

Итакъ, всѣ мои блестящія надежды рушились! Въмѣсто веселой петербургской жизни ожидала меня скука въ сторонѣ глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ, показалась мнѣ тяжкимъ несчастіемъ. Но спорить было нечего! На другой день поутру подвезена была къ крыльцу дорожная кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ съ чайнымъ приборомъ и уаы съ булками и пирогами, послѣдними знаками домашняго баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказалъ мнѣ: „Прощай, Петръ. Служи вѣрно, кому присягнешь; слушайся начальниковъ; за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не отговаривайся: и помни пословицу: „береги платье съ-нову, а честь съ-молоду“. Матушка въ слезахъ наказывала мнѣ беречь мое здоровье, а Савельичу смотрѣть за дѣтатей. Надѣли на меня заячій тулупъ, а сверху лисью шубу. Я сѣлъ въ кибитку съ Савельичемъ и отправился въ дорогу, обливаясь слезами.

Въ Симбирскѣ въ трактирѣ молодой Гриневъ познакомился съ гусаромъ Зуринымъ, который угостилъ его пуншемъ и убѣдилъ учиться играть съ нимъ на бильярдѣ и обыграть его.

Вставъ изъ-за стола, я чуть держался на ногахъ; въ полночь Зуринъ отвезъ меня въ трактиръ.

Савельичъ встрѣтилъ насъ на крыльцѣ. Онъ ахнулъ, увидя несомнѣнные признаки моего усердія къ службѣ...

— Что это, сударь, съ тобою сдѣлалось?—сказалъ онъ жалкимъ голосомъ:—гдѣ ты это нагрузился? Ахти, Господи! отъ роду такого грѣха не бывало!

— Молчи, хрычъ!—отвѣчалъ я ему, запинаясь:—ты вѣрно пьянъ; пошелъ спать... и уложи меня.

На другой день я проснулся съ головною болью, смутно припоминая себѣ вчерашнія происшествія. Размышленія мои прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ ко мнѣ съ чашкою чаю.

— Рано, Петръ Андреичъ,—сказалъ онъ мнѣ, качая головою:—рано начинаешь гулять. И въ кого ты пошелъ? Кажется, ни батюшка, ни дѣдушка пьяницами не бывали; о матушкѣ и говорить нечего; отъ роду, кромѣ квасу, въ ротъ ничего не изволила брать. А кто всему виноватъ? Проклятый мусье. То и дѣло, бывало, къ Антипьевнѣ забѣжить: „Мадамъ, же ву при, водку“. Вотъ тебѣ и же ву при! Нечего сказать: добру наставлялъ, собачій сынъ. И нужно было нанимать въ дядьки басурмана! какъ будто у барина не стало и своихъ людей!

Мнѣ было стыдно. Я отвернулся и сказалъ ему:

— Поди вонъ, Савельичъ; я чаю не хочу.

Но Савельича мудрено было унять, когда онъ, бывало, примется за проповѣдь.

— Вотъ видишь ли, Петръ Андреичъ, каково подгуливать. И головкѣ-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человѣкъ пьющій ни на что не годенъ...

Выпей-ка огуречнаго разсолу съ медомъ, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчикомъ настойки. Не прикажешь ли?

Въ это время вошелъ мальчикъ и подаль мнѣ записку отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее и прочелъ слѣдующія строки:

„Любезный Петръ Андреевичъ, пожалуйста, пришли мнѣ съ моимъ мальчикомъ сто рублей, которые ты мнѣ вчера проигралъ. Мнѣ крайняя нужда въ деньгахъ.

„Готовый къ услугамъ
Иванъ Зуринъ“.

Дѣлать было нечего. Я взялъ на себя видъ равнодушный и, обратясь къ Савельичу, который былъ и денегъ, и бѣлья, и дѣлъ моихъ рачитель, приказалъ отдать мальчику сто рублей.

— Какъ! зачѣмъ?—спросилъ изумленный Савельичъ.

— Я ихъ ему долженъ,—отвѣчалъ я со всевозможною холодною.

— Долженъ!—возразилъ Савельичъ, часъ-отъ-часу приходя въ большее изумленіе:—да когда же, сударь, успѣлъ ты ему задолжать? Дѣло что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денегъ я не выдамъ.

Я подумалъ, что если въ эту рѣшительную минуту не переспорю упрямаго старика, то ужъ впоследствии времени трудно мнѣ будетъ освободиться отъ его опеки, и, взглянувъ на него гордо, сказалъ:

— Я твой господинъ, а ты мой слуга. Деньги мои. Я ихъ проигралъ, потому что такъ мнѣ вздумалось; а тебѣ совѣтую не умничать и дѣлать то, что тебѣ приказываютъ.

Савельичъ такъ былъ пораженъ моими словами, что всплеснулъ руками и остоленѣлъ.

— Чтѣ же ты стоишь?—закричалъ я сердито.

Савельичъ заплакалъ.

— Батюшка Петръ Андреичъ,—произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ:—не увори меня съ печали. Свѣтъ ты мой, послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутилъ, что у насъ и денегъ-то такихъ не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебѣ родители крѣпко-на-крѣпко заказали играть, окромѣ какъ въ орѣхи...

— Полно врать,—прервалъ я строго:—подавай сюда деньги, или я тебя въ зашеи прогоню.

Савельичъ поглядѣлъ на меня съ глубокою горестью и пошелъ за моимъ долгомъ. Мнѣ было жалъ бѣднаго старика; но я хотѣлъ вырваться на волю и доказать, что ужъ я не ребенокъ. Деньги были доставлены Зурину. Савельичъ поспѣшилъ вывести меня изъ проклятаго трактира. Онъ явился съ извѣстіемъ, что лошади готовы. Съ беспокойной совѣстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ выѣхалъ я изъ Симбирска, не простясь съ моимъ учителемъ и не думая съ нимъ уже когда-нибудь увидѣться.

Во второй разъ рассказывается, какъ во время мятежи Гриневъ сбился съ пути; на пути ему встрѣтился казакъ, который оказался Пугачевымъ; онъ помогъ путникамъ добраться до постоялаго двора. За это Гриневъ далъ ему свой заячій тулупъ, такъ какъ Савельичъ отказался дать Пугачеву, обѣщанную его бариномъ, полтину.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Крѣпость.

Бѣлогорская крѣпость находилась въ сорока верстахъ отъ Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Рѣка еще не замерзала, и ея свинцовыя волны грустно чернѣли въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ снѣгомъ. За ними простирались киргизскія степи. Я погрузился въ размышленія, большей частью печальныя. Гарнизонная жизнь мало имѣла для меня привлекательности. Я старался вообразить себѣ капитана Миронова, моего будущаго начальника, и представлялъ его строгимъ, сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего, кромѣ своей службы, и готовымъ за всякую бездѣлицу сажать меня подъ арестъ на хлѣбъ и на воду. Между тѣмъ начало смеркаться. Мы ѣхали довольно скоро.

— Далече ли до крѣпости?—спросилъ я у своего ямщика.

— Недалече,—отвѣчалъ онъ:—вонъ, ужъ видна.

Я глядѣлъ во всѣ стороны, ожидая увидѣть грозныя бастіоны, башни и валъ, но ничего не видалъ, кромѣ деревушки, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стояли три или четыре скирды сѣна, полузанесенныя снѣгомъ; съ другой—скривившаяся мельница, съ лубочными крыльями, лѣниво опущенными.

— Гдѣ же крѣпость?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Да вотъ она,—отвѣчалъ ямщикъ, указывая на деревушку, и съ этимъ словомъ мы въ нее вѣхали.

У воротъ увидѣлъ я старую чугунную пушку; улицы были тѣсны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломой. Я велѣлъ ѣхать къ коменданту, и черезъ минуту кибитка остановилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на высокомъ мѣстѣ, близъ деревянной же церкви.

Никто не встрѣтилъ меня. Я пошелъ въ сѣни и отворилъ дверь въ переднюю. Старый инвалидъ, сидя на столѣ, нашивалъ синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велѣлъ ему доложить обо мнѣ.

Войди, батюшка,—отвѣчалъ инвалидъ:—наши дома.

Я вошелъ въ чистенькую комнату, убранную по-старинному. Въ углу стоялъ шкафъ съ посудой; на стѣнѣ висѣлъ дипломъ офицерскій за стекломъ и въ рамкѣ; около него красовались лубочныя картинки, представляющія взятіе Кюстрина и Очакова, также выборъ невѣсты и погребеніе кота. У окна сидѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ и съ платкомъ на головѣ. Она разматывала нитки, которыя держалъ, распяливъ на рукахъ, кривой старичокъ въ офицерскомъ мундирѣ.

— Что вамъ угодно, батюшка?—спросила она, продолжая свое занятіе.

Я отвѣчалъ, что я пріѣхалъ на службу и явился по долгу своему къ господину капитану, и съ этимъ словомъ обратился было къ кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною рѣчь.

— Ивана Кузьмича дома нѣтъ,—отвѣчала она:—онъ пошелъ въ гости къ отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я—его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.

Она кликнула дѣвку и велѣла ей позвать урядника. Старичокъ своимъ одинокимъ глазомъ поглядывалъ на меня съ любопытствомъ.

— Смію спросить,—сказавъ онъ:—вы въ какомъ полку изволили служить?

Я удовлетворилъ его любопытству.

— А смію спросить,—продолжалъ онъ:—зачѣмъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гарнизонъ?

Я отвѣчалъ, что такова была воля начальства.

— Чаятельно, за неприличные гвардіи офицеру поступки?—продолжалъ неутомимый вопрошатель.

— Полно вратъ пустяки,—сказала ему капитанша:—ты видишь, молодой человѣкъ съ дороги усталъ; ему не до тебя... держи-ка руки прямо...

— А ты, мой батюшка,—продолжала она, обращаясь ко мнѣ:—не печалься, что тебя уехали въ наше захолустье. Не ты первый, не ты послѣдній. Стерпится—слюбится. Швабринъ, Алексѣй Ивановичъ, вотъ ужъ пятый годъ какъ къ намъ переведенъ за смертоубійство. Богъ знаетъ, какой грѣхъ его попуталъ; онъ, изволишь видѣть, поѣхалъ за городъ съ однимъ поручикомъ, да взяли съ собою шпаги, да и ну другъ въ друга пырять, а Алексѣй Ивановичъ и заколотъ поручика, да еще при двухъ свидѣтеляхъ! Чтò прикажешь дѣлать? На грѣхъ мастера нѣтъ.

Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный казакъ.

— Максимычъ!—сказала ему капитанша:—отведи г. офицеру квартиру, да почи.

— Слушаю, Василиса Егоровна,—отвѣчалъ урядникъ:—не помѣститъ ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?

— Врешь, Максимычъ,—сказала капитанша:—у Полежаева и такъ тѣсно; онъ же мнѣ кумъ и помнитъ, что мы его начальники. Отведи г. офицера... какъ ваше имя и отчество, мой батюшка?

— Петръ Андреичъ.

— Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ, мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мнѣ въ огородъ. Ну, что, Максимычъ, все ли благополучно?

— Все, слава Богу, тихо,—отвѣчалъ казакъ:—только капралъ Прохоровъ подрался въ банѣ съ Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иванъ Игнатьичъ!—сказала капитанша кривому старику:—разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виноватъ. Да обоихъ и накажи. Ну, Максимычъ, ступай себѣ съ Богомъ. Петръ Андреичъ, Максимычъ отведетъ васъ на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядникъ привелъ меня въ избу, стоявшую на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣпости. Половина избы занята была семьей Семена Кузова, другую отвели мнѣ. Она состояла изъ одной горницы, довольно опрятной, раздѣленной на-двое перегородкой. Савельичъ сталъ въ ней распорядиться; я сталъ глядѣть въ узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло нѣсколько избушекъ; по улицѣ бродило нѣсколько курицъ. Старуха, стоя на крыльцѣ съ корытомъ, кликала свиней, которыя отвѣчали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. И вотъ въ какой сторонѣ осужденъ я былъ проводить мою молодость! Тоска вяла меня; я отошелъ отъ окошка и легъ спать безъ ужина, несмотря на увѣщанія Савельича, который повторялъ съ сокрушеніемъ:

— Господи Владыко! ничего кушать не изволить! Чтò скажетъ барыня, коли дитя занеможетъ?

На другой день поутру я только-что сталъ одѣваться, какъ дверь

отворилась и ко мнѣ вошелъ молодой офицеръ, невысокаго роста, съ лицомъ смуглымъ и отменно некрасивымъ, но чрезвычайно живымъ.

— Извините меня,—сказалъ онъ мнѣ по-французски:—что я безъ церемоніи прихожу съ вами познакомиться. Вчера узналъ я о вашемъ приѣздѣ; желаніе увидѣть наконецъ человѣческое лицо такъ овладѣло мною, что я не вытерпѣлъ. Вы это поймете, когда проживете здѣсь нѣсколько времени.

Я догадался, что это былъ офицеръ, выписанный изъ гвардіи за поединокъ. Мы тотчасъ познакомились. Швабринъ былъ очень не глупъ. Разговоръ его былъ остеръ и занимателенъ. Онъ съ большой веселостью описалъ мнѣ семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго сердца, какъ вошелъ ко мнѣ инвалидъ, который чинилъ мундиръ въ передней коменданта, и отъ имени Василисы Егоровны позвалъ меня къ нимъ обѣдать. Швабринъ вызвался идти со мною вмѣстѣ.

Подходя къ комендантскому дому, мы увидѣли на площадкѣ человѣкъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ длинными косами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они выстроены были во фронтъ. Впереди стоялъ комендантъ, старикъ бодрый и высокаго роста, въ колпакѣ и въ китайчатомъ халатѣ. Увидя насъ, онъ къ намъ подошелъ, сказалъ мнѣ нѣсколько ласковыхъ словъ и сталъ опять командовать. Мы остановились было смотрѣть на ученіе; но онъ просилъ насъ идти къ Василисѣ Егоровнѣ, общаясь быть вслѣдъ за нами.

— А здѣсь,—прибавилъ онъ:—нечего вамъ смотрѣть.

Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радушно, и обошлась со мною, какъ бы вѣкъ была знакома. Инвалиды и Палашка накрывали на столъ.

— Что это мой Иванъ Кузьмичъ сегодня такъ заучился!—сказала комендантша:—Палашка, позови барина обѣдать. Да гдѣ же Маша?

Тутъ вошла дѣвушка лѣтъ восемнадцати, круглолицая, румяная, съ свѣтлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которыя у ней такъ и горѣли. Съ перваго взгляда она мнѣ не очень понравилась. Я смотрѣлъ на нее съ предубѣжденіемъ: Швабринъ описалъ мнѣ Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна сѣла въ уголъ и стала шить. Между тѣмъ подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за нимъ Палашку.

— Скажи барину: гости-де ждутъ, щи простынутъ; слава Богу, ученье не уйдетъ; успеетъ накрываться.

Капитанъ вскорѣ явился, сопровождаемый кривымъ старичкомъ.

— Что это, мой батюшка?—сказала ему жена:—кушанье давнымъ-давно подано, а тебя не дозовешься.

— А слышь ты, Василиса Егоровна,—отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ:—я былъ занятъ службой, солдатусшекъ училъ.

— И, полно!—возразила капитанша:—только слава, что солдатъ учишь—ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку не вѣдаешь. Сидѣлъ бы дома да Богу молился, такъ было бы лучше. Дорогіе гости, милости просимъ за столъ.

Мы сѣли обѣдать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами; кто мои родители, живы ли они, гдѣ живутъ и каково состояніе? Услыша, что у батюшки триста душъ крестьянъ, „легко ли!—

сказала она:—вѣдь есть же на свѣтѣ богатые люди! А у насъ, мой батюшка, всего-то одна дѣвка Палашка; да, слава Богу, живемъ помаленьку. Одна бѣда: Маша—дѣвка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да вѣнникъ, да алтынъ денегъ (прости Богъ!), съ чѣмъ въ баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человѣкъ; а то сиди въ дѣвкахъ вѣковѣчно невѣстою“.

Я взглянулъ на Марью Ивановну; она вся покраснѣла, и даже слезы капнули на ея тарелку. Мнѣ стало жаль ея, и я поспѣшилъ перемѣнить разговоръ.

— Я слышалъ,—сказалъ я довольно некстати:—что на вашу крѣпость собираются напасть башкирцы.

— Отъ кого, батюшка, ты изволилъ это слышать?—спросилъ Иванъ Кузьмичъ.

— Мнѣ такъ сказывали въ Оренбургѣ,—отвѣчалъ я.

— Пустяки!—сказалъ комендантъ:—у насъ давно ничего не слыхать. Башкирцы—народъ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ острасеу, что лѣтъ на десять уюмоню.

— И вамъ не страшно,—продолжалъ я, обращаясь къ капитаншѣ:—оставаться въ крѣпости, подверженной такимъ опасностямъ?

— Привычка, мой батюшка,—отвѣчала она:—тому лѣтъ двадцать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, и не приведи Господи, какъ я боялась проклятыхъ этихъ нехристей! Какъ завижу, бывало, рысьи шапки, да какъ заслышу ихъ визгъ, вѣришь ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! А теперь такъ привыкла, что и съ мѣста не тронусь, какъ придутъ намъ сказать, что злодѣи около крѣпости рыщутъ.

— Василиса Егоровна—прехрабрая дама,—замѣтилъ важно Швабринъ:—Иванъ Кузьмичъ можетъ это засвидѣтельствовать.

— Да слышь ты,—сказалъ Иванъ Кузьмичъ:—баба-то не робкаго десятка.

— А Марья Ивановна?—спросилъ я:—такъ же ли смѣла, какъ и вы?

— Смѣла ли Маша?—отвѣчала ея мать:—нѣтъ, Маша трусиха. До сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ ружья: такъ и затрепещется. А какъ тому два года Иванъ Кузьмичъ выдумалъ въ мои именины палить изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки.

Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитаншею отправились спать; а я пошелъ къ Швабрину, съ которымъ и провелъ цѣлый вечеръ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Поединокъ.

Прошло нѣсколько недѣль, и жизнь моя въ Бѣлогорской крѣпости сдѣлалась для меня не только сносною, но даже и пріятною. Въ домѣ коменданта былъ я принятъ, какъ родной. Мужъ и жена были люди самые почтенные. Иванъ Кузьмичъ, вышедшій въ офицеры изъ солдатскихъ дѣтей, былъ человѣкъ необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена

его имъ управляла, что согласовалось съ его безпечною. Висилиса Егоровна и на дѣла службы смотрѣла, какъ на свои хозяйскія, и управляла крѣпостію такъ точно, какъ и своимъ домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я въ ней нашелъ благо-разумную и чувствительную дѣвушку. Незамѣтнымъ образомъ я привязался къ доброму семейству, даже къ Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о которомъ Швабринъ выдумалъ, будто бы онъ былъ въ непо-зволительной связи съ Василисой Егоровной, что не имѣло и тѣни правдо-подобія; но Швабринъ о томъ не безпокоился.

Я былъ произведенъ въ офицеры. Служба меня не отягощала. Въ богоспасаемой крѣпости не было ни смотровъ, ни учений, ни карауловъ. Комендантъ по собственной охотѣ училъ иногда солдатъ, но еще не могъ добиться, чтобы всѣ они знали, которая сторона правая, которая—лѣвая. У Швабрина было нѣсколько французскихъ книгъ. Я сталъ читать, и во мнѣ пробудилась охота къ литературѣ. По утрамъ я читалъ, упражнялся въ переводахъ, а иногда и въ сочиненіи стиховъ; обѣдалъ почти всегда у коменданта, гдѣ обыкновенно проводилъ остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся отецъ Герасимъ съ женою, Акулиной Памфиловной, первую вѣстовщицею во всемъ околоткѣ. Съ Алексѣемъ Ивановичемъ Швабринымъ, разумѣется, видѣлся я каждый день; но часъ-отъ-часу бесѣда его станови-лась для меня менѣе пріятною. Всегдашнія шутки его насчетъ семьи комен-данта мнѣ очень не нравились, особенно колкія замѣчанія о Марьѣ Ива-новнѣ. Другого общества въ крѣпости не было; но я другого и не желалъ.

Несмотря на предсказанія, башкирцы не возмущались. Спокойствіе царствовало вокругъ нашей крѣпости. Но миръ былъ прерванъ внезапнымъ междоусобиемъ.

Я ужъ сказывалъ, что я занимался литературою. Опыты мои для то-гдашняго времени были изрядны, и Александръ Петровичъ Сумароковъ, нѣсколько лѣтъ послѣ, очень ихъ похвалялъ. Однажды удалось мнѣ написать пѣсенку, которой былъ я доволенъ. Извѣстно, что сочинители иногда, подъ видомъ требованія совѣтовъ, ищутъ благосклоннаго слушателя. Итакъ, переписавъ мою пѣсенку, я понесъ ее къ Швабрину, который одинъ во всей крѣпости могъ оцѣнить произведеніе стихотворца. Послѣ маленькаго предисловія, вынулъ я изъ кармана свою тетрадку и прочелъ ему слѣ-дующіе стихи:

Мысль любовну истребяя,
Тшуся прекрасную забыть,
И, ахъ, Машу избѣгая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя плѣнили,
Всеминутко предо мной;
Они духъ во мнѣ смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнавъ мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной,
Зря меня въ сей лютой части
И что я плѣненъ тобой.

Швабринъ сталъ трунить надъ его любовью къ Машѣ и надъ самой Машей; Гриневъ съ нимъ поссорился, и Швабринъ вызвалъ его на дуэль.

Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу и засталъ его съ иглою въ рукахъ: по препорученію комендантши, онъ нанизывалъ грибы для сушенія на зиму.

— А, Петръ Андреичъ!—сказалъ онъ, увидя меня:—добро пожаловать! Какъ это васъ Богъ принесъ? по какому дѣлу, смѣю спросить?

Я въ короткихъ словахъ объяснилъ ему, что я поссорился съ Алексѣемъ Ивановичемъ, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моимъ секундантомъ. Иванъ Игнатьичъ выслушалъ меня со вниманіемъ, вытараща свой единственный глазъ.

— Вы изволите говорить, — сказалъ онъ мнѣ: — что хотите Алексѣя Ивановича заколотъ, и желаете, чтобъ я при томъ былъ свидѣтелемъ? Такъ ли? смѣю спросить.

— Точно такъ.

— Помилуйте, Петръ Андреичъ! Что это вы затѣяли! Вы съ Алексѣемъ Ивановичемъ побрались? Велика бѣда! Брань на вороту не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, а вы его выругайте; онъ васъ въ рыло, а вы его въ ухо, въ другое, въ третье — и разойдетесь; а мы васъ ужъ помиримъ. А то доброе ли дѣло—заколотъ своего ближняго, смѣю спросить? И добро бы ужъ закололи вы его. Богъ съ нимъ, съ Алексѣемъ Ивановичемъ; я и самъ до него не охотникъ. Ну, а если онъ васъ просверлитъ? На что это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смѣю спросить?

Разсужденія благоразумнаго поручика не поколебали меня. Я остался при своемъ намѣреніи.

— Какъ вамъ угодно, — сказалъ Иванъ Игнатьичъ: — дѣлайте, какъ разумѣете. Да зачѣмъ же мнѣ тутъ быть свидѣтелемъ? Съ какой стати? Люди дерутся — что за невидальщина, смѣю спросить? Слава Богу, ходилъ я подъ шведа и подъ турку: всего насмотрѣлся.

Я кое-какъ сталъ объяснять ему должность секунданта; но Иванъ Игнатьичъ никакъ не могъ меня понять.

— Воля ваша, — сказалъ онъ: — коли ужъ мнѣ и вмѣшаться въ это дѣло, такъ развѣ пойти къ Ивану Кузьмичу, да донести ему, по долгу службы, что въ фортеціи умышляется злодѣйствіе, противное казенному интересу: не благоугодно ли будетъ господину коменданту принять надлежащіе мѣры?

Я испугался и сталъ просить Ивана Игнатьича ничего не говорить коменданту; насилу его уговорилъ; онъ далъ слово, и я рѣшился отъ него отступить.

Вечеръ провелъ я, по обыкновенію своему, у коменданта. Я старался казаться веселымъ и равнодушнымъ, чтобы не подать никакого подозрѣнія и избѣгнуть докучливыхъ вопросовъ; но, признаюсь, я не имѣлъ того хладнокровія, какимъ хвалятся почти всегда тѣ, которые находились въ моемъ положеніи. Въ этотъ вечеръ я расположенъ былъ къ нѣжности и къ умиленію. Марья Ивановна правилась мнѣ болѣе обыкновеннаго. Мысль, что, можетъ быть, вижу ее въ послѣдній разъ, придавала ей въ моихъ глазахъ что-то трогательное. Швабринъ явился тутъ же. Я отвелъ его въ сторону и увѣдомилъ его о своемъ разговорѣ съ Иваномъ Игнатьичемъ.

— Зачѣмъ намъ секунданты? — сказалъ онъ мнѣ сухо: — безъ нихъ обойдемся.

Сначала имъ подрались не удалось, — ихъ арестовали по приказанію коменданта.

Мы вошли въ комендантскій домъ. Иванъ Игнатьичъ отворилъ двери, провозгласивъ торжественно: „привелъ!“ Насъ встрѣтила Василиса Егоровна.

— Ахъ, мои батюшки! На что это похоже? какъ? что? Въ нашей крѣпости заводите смертоубійство! Иванъ Кузьмичъ, сейчасъ ихъ подъ арестъ! Петръ Андреичъ, Алексѣй Иванычъ! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги въ чуланъ. Петръ Андреичъ! этого я отъ тебя не ожидала, какъ тебѣ не совѣстно! Добро Алексѣй Иванычъ: онъ за душегубство и изъ гвардіи выписанъ, онъ и въ Господа Бога не вѣруеть; а ты-то что? туда же лѣзешь?

Иванъ Кузьмичъ вполне соглашался со своею супругою и приговаривалъ:

— А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорить. Поединки формально запрещены въ воинскомъ артикулѣ.

Между тѣмъ Палашка взяла у насъ шпаги и отнесла въ чуланъ. Я не могъ не засмѣяться. Швабринъ сохранилъ свою важность.

— При всемъ моемъ уваженіи къ вамъ, — сказалъ онъ ей хладнокровно: — не могу не замѣтить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая насъ вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу: это—его дѣло.

— Ахъ, мой батюшка! — возразила комендантша: — да развѣ мужъ и жена не одинъ духъ и одина плоть? Иванъ Кузьмичъ! что ты зѣваешь? Сейчасъ рассади ихъ по разнымъ угламъ на хлѣбъ да на воду, чтобъ у нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Герасимъ наложитъ на нихъ эпитимію, чтобъ молили у Бога прощенія, да каялись передъ людьми.

Иванъ Кузьмичъ не зналъ, на что рѣшиться. Марья Ивановна была чрезвычайно блѣдна. Мало-по-малу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила насъ другъ друга поцѣловать. Палашка принесла намъ наши шпаги. Мы вышли отъ коменданта, повидимому, примиренные. Иванъ Игнатьичъ насъ сопровождалъ.

Марья Ивановна была взволнована всей этою исторіей.

— Я такъ и обмерла, — сказала она: — когда сказали намъ, что вы намѣрены биться на шпагахъ. Какъ мужнины странны! За одно слово, о которомъ черезъ недѣлю вѣрно бъ они позабыли, они готовы рѣзаться и жертвовать не только жизнью, но и совѣстью, и благополучіемъ тѣхъ, которые... Но я увѣрена, что не вы зачинщикъ ссоры. Вѣрно, виновать Алексѣй Иванычъ.

— А почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?

— Да такъ... онъ такой насмѣшникъ! Я не люблю Алексѣя Иваныча. Онъ очень мнѣ противенъ; а странно: ни за что бъ я не хотѣла, чтобъ и я ему такъ же не нравилась. Это меня беспокоило бы страхъ.

— А какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравится ли вы ему, или нѣтъ?

Марья Ивановна заикнулась и покраснѣла.

— Мнѣ кажется, — сказала она: — я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вамъ такъ кажется?

— Потому что онъ за меня сватался.

— Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?

— Въ прошломъ году, мѣсяца за два до вашего пріѣзда.

— И вы не пошли?

— Какъ изволите видѣть. Алексѣй Иванычъ, конечно, человѣкъ умный и хорошей фамиліи, и имѣетъ состояніе; но какъ подумаю, что надобно

будетъ подъ вѣнцомъ при всѣхъ съ нимъ поцѣловаться... ни за что! ни за какія благополучія!

Слова Марьи Ивановны открыли мнѣ глаза и объяснили многое. Я понялъ упорное злорѣчіе, которымъ Швабринъ ее преслѣдовалъ. Вѣроятно, замѣчалъ онъ нашу взаимную склонность и старался отвлечь насъ другъ отъ друга. Слова, подавшія поводъ къ нашей ссорѣ, показались мнѣ еще болѣе гнусными, когда вмѣсто грубой и непристойной насмѣшки увидѣлъ я въ нихъ обдуманную клевету. Желаніе наказать дерзкаго злоязычника сдѣлалось во мнѣ еще сильнѣе, и я съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать удобнаго случая.

Соперники уловили болѣе удачный моментъ, и дуэль состоялась.

Мы отправились молча. Спустился по крутой тропинкѣ, мы остановились у самой рѣки и обнажили шпаги. Швабринъ былъ искуснѣе меня, но я сильнѣе и смѣлѣе, и monsieur Бопре, бывшій нѣкогда солдатомъ, далъ мнѣ нѣсколько уроковъ въ фехтованіи, которыми я и воспользовался. Швабринъ не ожидалъ найти во мнѣ столь опаснаго противника. Долго мы не могли сдѣлать другъ другу никакого вреда; наконецъ, примѣтя, что Швабринъ ослабѣваетъ, я сталъ съ живостью на него наступать и загналъ его почти въ самую рѣку. Вдругъ услышалъ я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидѣлъ Савельича, сбѣгающаго ко мнѣ по нагорной тропинкѣ... Въ это самое время меня сильно кольнуло въ грудь пониже праваго плеча, я упалъ и лишился чувствъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Любовь.

Отчулся раненый Гриневъ въ домъ коменданта; онъ увидѣлъ Марью Ивановну.

Мысли мои волновались. Итакъ, я былъ въ домѣ коменданта: Марья Ивановна входила ко мнѣ. Я хотѣлъ сдѣлать Савельичу нѣкоторые вопросы, но старикъ замоталъ головою и заткнулъ себѣ уши. Я съ досадою закрылъ глаза и вскорѣ забылся сномъ.

Проснувшись, подозвалъ я Савельича, и вмѣсто него увидѣлъ передъ собою Марью Ивановну; ангельскій голосъ ея меня привѣтствовалъ. Не могу выразить сладостнаго чувства, овладѣвшаго мною въ эту минуту. Я схватилъ ея руку и прильнулъ къ ней, обливая слезами умиленія. Маша не отрывала ее... и вдругъ ея губки коснулись моей щеки, и я почувствовалъ ихъ жаркій и свѣжій поцѣлуй. Огонь пробѣжалъ по мнѣ.

— Милая, добрая Марья Ивановна, — сказалъ я ей: — будь моею женою, согласишься на мое счастье.

Она опомнилась.

— Ради Бога, успокойтесь, — сказала она, отнявъ у меня свою руку: — вы еще въ опасности — рана можетъ открыться. Поберегите себя, хоть для меня.

Съ этимъ словомъ она ушла, оставя меня въ упоеніи восторга. Счастье воскресило меня. Она будетъ моя! она меня любить! Эта мысль наполняла все мое существованіе.

Гриневъ написалъ отцу письмо, въ которомъ просилъ его разрѣшенія на бракъ и благословенія.

Вскорѣ я выздоровѣлъ и могъ перебраться на мою квартиру. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я отвѣта на посланное письмо, не смѣя надѣяться и стараясь заглушить печальныя предчувствія. Съ Василисой Егоровной и съ ея мужемъ я еще не объяснился; по предложеніе мое не должно было ихъ удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать отъ нихъ свои чувства, и мы заранѣе были ужъ увѣрены въ ихъ согласіи.

Наконецъ однажды утромъ Савельичъ вошелъ ко мнѣ, держа въ рукахъ письмо. Я схватилъ его съ трепетомъ. Адресъ былъ написанъ рукою батюшки. Это приготовило меня къ чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мнѣ матушка, а онъ въ концѣ приписывалъ нѣсколько строкъ.. Долго не распечатывалъ я пакета и перечитывалъ торжественную надпись: „Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, въ Оренбургскую губернію, въ Ылгорскую крѣпость“. Я старался по почерку угадать расположеніе духа, въ которомъ написано было письмо; наконецъ рѣшился его распечатать, и съ первыхъ строкъ увидѣлъ, что все дѣло пошло къ чорту.

Въ письмѣ своемъ отецъ не давалъ сыну согласія на бракъ; а въ письмѣ къ Савельичу онъ выбранилъ старика за „несмотрѣніе“. Савельичъ былъ потрясенъ этимъ выговоромъ.

— Вотъ до чего я дожилъ,—повторялъ онъ:—вотъ какихъ милостей дослужился отъ своихъ господъ! Я—и старый псѣ, и свинопасъ, да я жъ и причина твоей раны!.. Нѣтъ, батюшка Петръ Андреичъ! не я, проклятый мусье всему виноватъ: онъ научилъ тебя тыкаться желѣзными вертелами, да притопывать, какъ будто тыканьемъ да топаньемъ убережешься отъ злого человѣка! Нужно было нанимать мусье, да тратить лишніи деньги!

Но кто же бралъ на себя трудъ увѣдомить отца моего о моемъ поведеніи? Генералъ? Но онъ, казалось, обо мнѣ не слишкомъ заботился; а Иванъ Кузьмичъ не почелъ за нужное рапортовать о моемъ поединкѣ. Я терялся въ догадкахъ. Подозрѣнія мои остановились на Швабринѣ. Онъ одинъ имѣлъ выгоду въ доносѣ, слѣдствіемъ котораго могло быть удаленіе мое изъ крѣпости и разрывъ съ комендантскимъ семействомъ. Я пошелъ объявить обо всемъ Марьѣ Ивановнѣ. Она встрѣтила меня на крыльцѣ.

— Чтò это съ вами сдѣлалось?—сказала она, увидѣвъ меня:—какъ вы блѣдны!

— Все кончено!—отвѣчалъ я и отдалъ ей батюшкино письмо.

Она поблѣднѣла въ свою очередь. Прочитавъ, она возвратила мнѣ письмо дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Видно, мнѣ не судьба... Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше нашего знаетъ, чтò намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ, будьте хоть вы счастливы...

—Этому не бывать!—вскричалъ я, схвативъ ее за руку:—ты меня любишь; я готовъ на все. Пойдемъ, кинемся въ ноги къ твоимъ родителямъ; они—люди простые, не жестокосердые гордецы... Они насъ благословятъ; мы обвиняемся... а тамъ, современемъ, я увѣренъ, мы умолимъ отца моего; матушка будетъ за насъ; онъ меня проститъ...

— Нѣтъ, Петръ Андреичъ,—отвѣчала Мама:—я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастья. Покоримся волѣ Божіей. Коли найдешь себѣ суженую, коли полюбишь другую,—Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ; а я за васъ обоихъ...

Тутъ она заплакала и ушла отъ меня; я хотѣлъ было войти за нею

въ комнату, но чувствовалъ, что былъ не въ состояніи владѣть самимъ собою, и воротился домой.

Я сидѣлъ погруженный въ глубокую задумчивость, какъ другъ Савельичъ прервалъ мои размышленія.

— Вотъ, сударь,—сказалъ онъ, подавая исписанный листъ бумаги:— посмотри, доносчикъ ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына съ отцомъ.

Я взялъ изъ рукъ бумагу: это былъ отвѣтъ Савельича на полученное имъ письмо. Вотъ онъ, отъ слова до слова:

„Государь Андрей Петровичъ, отецъ нашъ милостивый!

„Милостивое писаніе ваше я получилъ, въ которомъ изволишь гнѣваться на меня, раба вашего, что-де стыдно мнѣ не исполнять господскихъ приказаній; а я не старый пестъ, а вѣрный вашъ слуга, господскихъ приказаній слушаюсь и усердно вамъ всегда служилъ и дожилъ до сѣдыхъ волосъ. Я жъ про рану Петра Андреича ничего вамъ не писалъ, чтобъ не испугать понапрасну, и слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и такъ съ-испугу слегла, и за ея здоровье Богу буду молить. А Петръ Андреичъ раненъ былъ подъ правое плечо, въ грудь, подъ самую косточку, въ глубину на полтора вершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда принесли мы его съ берега, и лѣчилъ его здѣшній цирюльникъ Степанъ Парамановъ, и теперь Петръ Андреичъ, слава Богу, здоровъ, и про него, кромѣ хорошаго, нечего и писать. Командиры, слышно, имъ довольны; а у Василисы Егоровны онъ какъ родной сынъ. А что съ нимъ случилась такая оказія, то былъ молодцу не укора: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. И изволите вы писать, что соплете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За симъ кланяюсь рабски.

„Вѣрный холопъ вашъ

Архипъ Савельевъ“.

Я не могъ нѣсколько разъ не улыбнуться, читая грамоту добраго старика. Отвѣчать батюшкѣ я былъ не въ состояніи; а чтобъ успокоить матушку, письмо Савельича мнѣ показалось достаточнымъ.

Съ той поры положеніе мое перемѣнилось. Марья Ивановна почти не говорила со мною и всячески старалась избѣгать меня. Домъ коменданта сталъ для меня постылъ. Мало-по-малу приучился я сидѣть одинъ у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мнѣ пеняла, но, видя мое упрямство, оставила меня въ покоѣ. Съ Иваномъ Кузьмичемъ видѣлся я только, когда того требовала служба; со Швабринымъ встрѣчался рѣдко и неохотно, тѣмъ болѣе, что замѣчалъ въ немъ скрытую къ себѣ неприязнь, что и утверждало меня въ моихъ подозрѣніяхъ. Жизнь моя сдѣлалась мнѣ носносна. Я впалъ въ мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездѣйствіе. Любовь моя разгоралась въ уединеніи и часъ-отъ-часу становилась мнѣ тягостнѣе. Я потерялъ охоту къ чтенію и словесности. Духъ мой упалъ. Я боялся или сойти съ ума, или удариться въ распутство. Неожиданныя происшествія, имѣвшія важныя вліянія на всю мою жизнь, дали вдругъ моей душѣ сильное и благое потрясеніе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пугачевщина.

Когда начался пугачевскій бунтъ, въ крѣпости былъ собранъ военный совѣтъ.

Мы стали разсуждать о нашемъ положеніи, какъ вдругъ Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхаясь и съ видомъ чрезвычайно встревоженнымъ.

— Что это съ тобою сдѣлалось?—спросилъ изумленный комендантъ.

— Батюшка, бѣда! — отвѣчала Василиса Егоровна: — Нижнеозерная взята сегодня утромъ. Работники отца Герасима сейчасъ оттуда воротились. Онъ видѣлъ, какъ ее брали. Комендантъ и всѣ офицеры перевѣшаны. Всѣ солдаты взяты въ полонъ. Того и гляди, злодѣи будутъ сюда.

Неожиданная вѣсть сильно меня поразила. Комендантъ Нижнеозерной крѣпости, тихій и скромный молодой человекъ, былъ мнѣ знакомъ: мѣсяца за два передъ тѣмъ проѣзжалъ онъ изъ Оренбурга съ молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузьмича. Нижнеозерная находилась отъ нашей крѣпости верстахъ въ двадцати пяти. Съ часу-на-часъ должно было и намъ ожидать нападенія Пугачева. Участъ Марьи Ивановны живо представилась мнѣ, и сердце у меня такъ и замерло.

— Послушайте, Иванъ Кузьмичъ! — сказала я коменданту: — долгъ нашъ защищать крѣпость до послѣдняго издыханія; объ этомъ и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщинъ. Отправьте ихъ въ Оренбургъ, если дорога еще свободна, или въ отдаленную, болѣе надежную крѣпость, куда злодѣи не успѣли бы достигнуть.

Иванъ Кузьмичъ оборотился къ женѣ и сказалъ ей.

— А слышь ты, матушка, и въ самомъ дѣлѣ, не отправить ли васъ подалѣ, пока не управимся мы съ бунтовщиками.

— И, пустое! сказала комендантша: — гдѣ такая крѣпость, куда бы пули не залетали? Чѣмъ Вѣлогорская не надежна? Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. Видали и башкирцевъ, и киргизцевъ: авось и отъ Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка,—возразилъ Иванъ Кузьмичъ: — оставайся, пожалуй, коли ты на крѣпость нашу надѣешься. Да съ Машей-то что намъ дѣлать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодѣи возьмутъ крѣпость.

— Ну, тогда...

Тутъ Василиса Егоровна запнулась и замолчала съ видомъ чрезвычайнаго волненія.

— Нѣтъ, Василиса Егоровна,—продолжалъ комендантъ, замѣчая, что слова его подѣйствовали, можетъ быть, въ первый разъ въ его жизни: — Машѣ здѣсь оставаться негоже. Отправимъ ее въ Оренбургъ къ ея крестной матери: тамъ и войска, и пушекъ довольно, и стѣна каменная. Да и тебѣ совѣтовалъ бы съ нею туда же отправиться; даромъ, что ты старуха, а посмотри, что съ тобою будетъ, коли возьмутъ фортецію приступомъ.

— Добро,—сказала комендантша:—такъ и быть, отправимъ Машу. А меня и во снѣ не проси—не поѣду; нечего мнѣ подъ старость лѣтъ расста-

ваться съ тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонѣ. Вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и умирать.

— И то дѣло,—сказалъ комендантъ.—Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чѣмъ-свѣтъ ее и отправимъ, да дадимъ ей и конвой, хоть людей лишнихъ у насъ нѣтъ. Да гдѣ же Маша?

— У Акулины Памфиловны,—отвѣчала комендантша:—ей сдѣлалось дурно, какъ услышала о взятіи Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи, Владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъѣздѣ дочери. Разговоръ у коменданта продолжался; но я уже въ него не мѣшался и ничего не слушалъ. Марья Ивановна явилась къ ужину блѣдная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали изъ-за стола скорѣе обыкновеннаго; простясь со всѣмъ семействомъ, мы отправились по домамъ. Но я нарочно забылъ свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовалъ, что застану Марью Ивановну одну. Въ самомъ дѣлѣ, она встрѣтила меня въ дверяхъ и вручила мнѣ шпагу.

— Прощайте, Петръ Андреичъ!—сказала она мнѣ со слезами:—меня посылають въ Оренбургъ. Будьте живы и счастливы; можетъ быть, Господь приведетъ насъ другъ съ другомъ увидѣться; если же нѣтъ...

Тутъ она зарыдала. Я обнялъ ее.

— Прощай, ангелъ мой,—сказалъ я:—прощай, моя милая, моя желанная! Чтѣ бы со мною ни было,—вѣрь, что послѣдняя моя мысль и послѣдняя молитва будетъ о тебѣ!

Маша рыдала, прильнувъ къ моей груди. Я съ жаромъ ее поцѣловалъ и поспѣшно вышелъ изъ комнаты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

П р и с т у п ъ.

Когда мятежники подошли къ крѣпости, сначала все семейство коменданта было на валу.

Вскорѣ пули начали свистать около нашихъ ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткнулись около насъ въ землю и въ частоколъ!

— Василиса Егоровна! — сказалъ комендантъ: — здѣсь не бабье дѣло, уведи Машу; видишь, дѣвка ни жива, ни мертва.

Василиса Егоровна, присмирѣвшая подъ пулями, взглянула на стѣну, на которой замѣтно было большое движеніе; потомъ обратились къ мужу и сказала ему:

— Иванъ Кузьмичъ, въ животъ и смерти Богъ воленъ: благослови Машу. Маша, подойди къ отцу!

Маша, блѣдная и трепещущая, подошла къ Ивану Кузьмичу, стала на колѣна и поклонилась ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ поднялъ и, поцѣловавъ, сказалъ ей измѣнившимся голосомъ:

— Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: Онъ тебя не оставитъ. Коли найдется добрый человѣкъ, дай Богъ вамъ любовь да совѣтъ. Живите, какъ мы жили съ Василисой Егоровной. Ну, прощай Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорѣе.

Мама кинулась ему на шею и зарыдала.

— Поцѣлуемся жъ и мы,—сказала, заплакавъ, комендантша:—прощай, мой Иванъ Кузьмичъ. Отпусти мнѣ, коли въ чемъ я тебѣ досадила!

— Прощай, прощай матушка;—сказалъ комендантъ, обнявъ свою старуху:—ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да, коли успѣешь, надѣнь на Машу сарафанъ.

Комендантша съ дочерью удалились. Я глядѣлъ востлѣдъ Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мнѣ головой. Тутъ Иванъ Кузьмичъ оборотился къ намъ, и все вниманіе его устремилось на непріятеля. Мятежники слѣзжались около своего предводителя и вдругъ начали слѣзать съ лошадей.

— Теперь стойте крѣпко,—сказалъ комендантъ:—будетъ приступъ...

Въ эту минуту раздался страшный визгъ и крики: мятежники бѣгомъ бѣжали къ крѣпости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендантъ подпустилъ ихъ на самое близкое разстояніе и вдругъ выпалилъ опять. Картечь хватила въ самую середину толпы. Мятежники отхлынули въ обѣ стороны и попятились. Предводитель ихъ остался одинъ впереди... Онъ махалъ саблею и, казалось, съ жаромъ ихъ уговаривалъ... Крикъ и визгъ, умолкнувшіе на минуту, тотчасъ снова возобновились.

— Ну, ребята,—сказалъ комендантъ:—теперь отворяй ворота, бей въ барабанъ. Ребята! впередъ, на вылазку за мною!

Комендантъ, Иванъ Игнатьичъ и я мигомъ очутились за крѣпостнымъ вѣдомъ; но оробѣлый гарнизонъ не тронулся.

— Что жъ вы, дѣтушки, стоите? — закричалъ Иванъ Кузьмичъ:—умирать, такъ умирать, дѣло служивое!

Въ эту минуту мятежники набѣжали на насъ и ворвались въ крѣпость. Барабанъ умолкъ; гарнизонъ бросилъ ружья; меня сшибли было съ ногъ, но я всталъ и вмѣстѣ съ мятежниками вошелъ въ крѣпость. Комендантъ, раненный въ голову, стоялъ въ кучкѣ злодѣевъ, которые требовали отъ него ключей. Я бросился было къ нему на помощь; нѣсколько дюжинъ казаковъ схватили меня и связали кушаками, приговаривая: „вотъ уже вамъ будетъ, государевымъ послушникамъ!“ Насъ потащили по улицамъ: жители выходили изъ домовъ съ хлѣбомъ и солью. Раздавался колокольный звонъ. Вдругъ закричали къ толпѣ, что государь на площади ожидаетъ плѣнныхъ и принимаетъ присягу. Народъ повалилъ на площадь; насъ погнали туда же.

Пугачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендантскаго дома. На немъ былъ красный казацкій кафтанъ, обшитый галунами. Высокая соболья шапка съ золотыми кистями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лицо его показалось мнѣ знакомо. Казацкіе старшины окружали его. Отецъ Герасимъ, блѣдный и дрожащій, стоялъ у крыльца, съ крестомъ въ рукахъ и, казалось, молча умолялъ его за предстоящія жертвы. На площади ставили наскоро висѣлицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народъ, и насъ представили Пугачеву. Колокольный звонъ утихъ: настала глубокая тишина.

— Который комендантъ?—спросилъ самозванецъ.

Нашъ урядникъ выступилъ изъ толпы и указалъ на Ивана Кузьмича. Пугачевъ грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему:

— Какъ ты смѣлъ противиться мнѣ, своему государю?

Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ послѣднія силы и отвѣчалъ твердымъ голосомъ:

— Ты мнѣ не государь; ты—воръ и самозванецъ, слышь ты!

Пугачевъ мрачно нахмурился и махнулъ бѣлымъ платкомъ. Нѣсколько казаковъ подхватили стараго капитана и потащили къ висѣлицѣ. На ея перекладинѣ очутился верхомъ изувѣченный башкирецъ, котораго допрашивали мы наканунѣ. Онъ держалъ въ рукѣ веревку, и черезъ минуту увидѣлъ я бѣднаго Ивана Кузьмича, вздернутого на воздухъ. Тогда привели къ Пугачеву Ивана Игнатьича.

— Присягай,—сказалъ ему Пугачевъ:—государю Петру Ѳеодоровичу!

— Ты намъ не государь,—отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ, повторяя слова своего капитана:—ты, дядюшка,—воръ и самозванецъ!

Пугачевъ махнулъ опять платкомъ, и добрый поручикъ повисъ подлѣ своего стараго начальника.

Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева, готовясь повторить отвѣтъ великодушныхъ моихъ товарищей. Тогда, къ неопisanному моему изумленію, увидѣлъ я среди мятежныхъ старшинъ Швабрина, обстриженнаго въ кружокъ и въ казакскомъ кафтанѣ. Онъ подошелъ къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо нѣсколько словъ.

— Въшатъ его,—сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ уже на меня.

Мнѣ накиннули на шею петлю. Я сталъ читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяніе во всѣхъ моихъ прегрѣшеніяхъ и моля Его о спасеніи всѣхъ близкихъ моему сердцу. Меня притащили подъ висѣлицу.

— Небось, небось,—повторяли мнѣ губители, можетъ быть и вправду желая меня ободрить.

Вдругъ услышалъ я крики:—„Постойте океаннне! погодите!...“ — Цалачи остановились. Гляжу: Савельичъ лежитъ въ ногахъ у Пугачева.

— Отецъ родной!—говорилъ бѣдный дядька,—что тебѣ въ смерти барскаго дитяти? Отпусти его; за него тебѣ выкупъ дадутъ; а для примѣра и страха ради, вели повѣсить хоть меня, старика!

Пугачевъ далъ знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставили.

— Батюшка нашъ тебя милуетъ,—говорили мнѣ.

Въ эту минуту, не могу сказать, чтобъ я обрадовался своему избавленію, не скажу однакожь, чтобъ я о немъ и сожалѣлъ. Чувствованія мои были слишкомъ смутны. Меня снова привели къ самозванцу и поставили передъ нимъ на колѣна. Пугачевъ протянулъ мнѣ жилистую свою руку.

— Цѣлуй руку, цѣлуй руку!—говорили около меня.

Но я предпочелъ бы самую лютую казнь такому подлому униженію.

— Батюшка Петръ Андреичъ!—шепталъ Савельичъ, стоя за мною и толкая меня:—не упрямься! что тебѣ стоитъ? плюнь, да поцѣлуй у злод... (тьфу!) поцѣлуй у него ручку.

Я не шевелился. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмѣшкою:

— Его благородіе, знать, одурѣлъ отъ радости. Подымите его.

Меня подняли и оставили на свободѣ. Я сталъ смотрѣть на продолженіе ужасной комедіи.

Жители начали присягать. Они подходили одинъ за другимъ, цѣлуя распятіе и потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, рѣзалъ у нихъ косы. Они, отряхиваясь, подходили къ рукѣ Пугачева, который объявлялъ имъ прощеніе и принималъ въ свою шайку. Все это продолжалось около трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ креселъ и сошелъ съ крыльца въ сопровожденіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго коня,

украшеннаго богатой сбруей. Два казака взяли его подъ руки и посадили на сѣдло. Онъ объявилъ отцу Герасиму, что будетъ обѣдать у него. Въ эту минуту раздался женскій крикъ. Нѣсколько разбойниковъ вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздѣтую до-нага. Одинъ изъ нихъ успѣлъ уже нарядиться въ ея душегрѣйку. Другіе таскали перины, сундуки, чайную посуду, бѣлье и всю рухлядь.

— Батюшки мои! — кричала бѣдная старушка: — отпустите душу на покаяніе. Отцы родные, отведите меня къ Ивану Кузьмичу.

Вдругъ она взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа.

— Злодѣи! — закричала она въ изступленіи: — что это вы съ нимъ сдѣлали? Свѣтъ ты мой Иванъ Кузьмичъ, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусскіе, ни пули турецкія; не въ честномъ бою положилъ ты свой животъ, а сгинулъ отъ бѣглаго каторжника!

— Унять старую вѣдьму! — сказалъ Пугачевъ.

Тутъ молодой казакъ ударилъ ее саблею по головѣ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ уѣхалъ; народъ бросился за нимъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Незванный гость.

Швабринъ и урядникъ передались Пугачеву. Гриневъ явился къ нему по его зову.

Необыкновенная картина мнѣ представилась. За столомъ, накрытымъ скатерью и установленнымъ штофами и стаканами, Пугачевъ и человекъ десять казацкихъ старшинъ сидѣли, въ шапкахъ и цвѣтныхъ рубашкахъ, разгораченные виномъ, съ красными рожамъ и блистающими глазами. Между ними не было ни Швабринъ, ни нашего урядника, новобранныхъ измѣнниковъ.

— А, ваше благородіе! — сказалъ Пугачевъ, увидя меня: — добро пожаловать; честь и мѣсто, милости просимъ.

Собесѣдники потѣснились. Я молча сѣлъ на краю стола. Сосѣдъ мой, молодой казакъ, стройный и красивый, налилъ мнѣ стаканъ простого вина, до котораго я не коснулся. Съ любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ на первомъ мѣстѣ сидѣлъ, облокотясь на столъ и подпирая черную бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты лица его, правильныя и довольно пріятныя, не изъявляли ничего свирѣпаго. Онъ часто обращался къ человеку лѣтъ пятидесяти, называя его то графомъ, то Тимоѣенчемъ, а иногда величая его дядюшкою. Всѣ обходились между собою какъ товарищи и не оказывали никакого особеннаго предпочтенія своему предводителю. Разговоръ шелъ объ утреннемъ приступѣ, объ успѣхѣ возмущенія и о будущихъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ свои мнѣнія и свободно оспаривалъ Пугачева. И на этомъ-то странномъ военномъ совѣтѣ рѣшено было идти къ Оренбугу: движеніе дерзкое и которое чуть было не увѣнчалось бѣдственнымъ успѣхомъ! Походъ былъ объявленъ къ завтрашнему дню.

— Ну, братцы, — сказалъ Пугачевъ: — затынемъ-ка на сонъ грядущій мою любимую пѣсенку. Чумаковъ! начинай!

Сосѣдъ мой затунулъ тонкимъ голосомъ заунывную бурлацкую пѣсню, и всѣ подхватили хоромъ:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мѣшай мнѣ, доброму молодцу, думу думати.
Что завтра мнѣ, доброму молодцу, во допросъ ийти
Передъ грознаго судью, самого царя.
Еще станеть государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ,
Еще много ли съ тобой было товарищей?
Я скажу тебѣ, надежа-православный царь,
Всю правду скажу тебѣ, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищъ—темная ночь,
А второй мой товарищъ—булатный ножъ,
А какъ третій-то товарищъ—то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищъ—то тугой лукъ;
Что разсылщики мои—то калены стрѣлы.
Что возговорить надежда-православный царь:
Исполать тебѣ, дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать!
Я за то тебя, дѣтинушка, пожалую,
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя-то столбами съ перекладиной.

Невозможно рассказать, какое дѣйствіе произвела на меня эта простонародная пѣсня про висѣлицу, распѣваемая людьми, обреченными висѣлицѣ. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали они словамъ, и безъ того выразительнымъ,—все потрясало меня какимъ-то пѣтическимъ ужасомъ.

Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и простились съ Пугачевымъ. Я хотѣлъ за ними послѣдовать; но Пугачевъ сказалъ мнѣ:

— Сиди; я хочу съ тобою переговорить.

Мы остались глазъ-на-глазъ. Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣшливости. Наконецъ онъ засмѣялся, и съ такою непритворной веселостью, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не зная, чему.

— Чтѣ, ваше благородіе?—сказалъ онъ мнѣ:—струсилъ ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебѣ веревку на шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось... А покачался бы на перекладинѣ, еслибъ не твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго хрыча. Ну, думалъ ли ты, ваше благородіе, что человѣкъ, который вывелъ тебя къ умету, былъ самъ великій государь? (Тутъ онъ взялъ на себя видъ важный и таинственный). Ты крѣпко предомно виновата,—продолжалъ онъ:—но я помиловалъ тебя за твою добродѣтель, за то, что ты оказалъ мнѣ услугу, когда принужденъ я былъ скрываться отъ своихъ недруговъ. То ли еще увидишь! Такъ ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! общаешься ли служить мнѣ съ усердіемъ?

Вопросъ мошенника и его дерзость показалися мнѣ такъ забавны, что я не могъ не усмѣхнуться.

— Чему ты усмѣхаешься?—спросилъ онъ меня нахмурясь.—Или ты не вѣришь, что я—великій государь? Отвѣчай прямо.

Я смутился. Признать бродягу государемъ былъ я не въ состояніи: это казалось мнѣ малодушіемъ непростительнымъ. Назвать его въ глаза обманщикомъ—значило подвергнуть себя погибели, и то, на что былъ я готовъ подъ висѣлицею въ глазахъ всего народа и въ первомъ пылу негодованія, теперь казалось мнѣ бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачевъ мрачно ждалъ моего отвѣта. Наконецъ (и еще нынѣ съ самодовольствіемъ поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мнѣ надъ слабостью человѣческаго. Я овѣчалъ Пугачеву:

— Слушай, скажу тебѣ всю правду. Разсуди, могу ли я признать въ тебѣ государя? Ты человѣкъ смысленный, ты самъ увидѣлъ бы, что я лукавствую.

— Кто же я таковъ, по твоему разумѣнію?

— Богъ тебя знаетъ; но кто бы ты ни былъ, ты шутишь опасную шутку.

Пугачевъ взглянулъ на меня быстро.

— Такъ ты не вѣришь,—сказалъ онъ,—чтобъ я былъ государь Петръ Ѳеодоровичъ? Ну, добро. А развѣ нѣтъ удачи удалому? Развѣ встарину Гришка Отрепьевъ не царствовалъ? Думай про меня, что хочешь, а отъ меня не отставай. Какое тебѣ дѣло до иного прочаго? Кто ни пошъ, тотъ батька. Послужи мнѣ вѣрой и правдою, и я тебя пожалую и въ фельдмаршала, и въ князя. Какъ ты думаешь?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ я съ твердостью:—я природный дворянинъ; я присягалъ государынѣ императрицѣ: тебѣ служить не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ.

Пугачевъ задумался.

— А коли отпущу,—сказалъ онъ:—такъ общаешься ли, по крайней мѣрѣ, противъ меня не служить?

— Какъ могу тебѣ въ этомъ общаться?—отвѣчалъ я.—Самъ знаешь, не моя воля: велѣтъ идти противъ тебя—пойду, дѣлать нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуешь повиновенія отъ своихъ. На что это будетъ похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя въ твоей власти: отпустишь — спасибо; казнишь — Богъ тебѣ судья; а я сказалъ тебѣ правду.

Моя искренность поразила Пугачева.

— Такъ и быть,—сказалъ онъ, удара меня по плечу:—казнить, такъ казнить, миловать, такъ миловать. Ступай себѣ на всѣ четыре стороны и дѣлай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себѣ спать, и меня ужъ дрема клонить.

Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была тихая и морозная. Мѣсяцъ и звѣзды ярко сіяли, освѣщая площадь и висѣлицу. Въ крѣпости все было спокойно и темно. Только въ кабацѣ свѣтился огонь и раздавались крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все въ немъ было тихо.

Я пришелъ къ себѣ на квартиру и нашелъ Савельича, горюющего по моему отсутствію. Вѣсть о свободѣ моей обрадовала его несказанно.

— Слава тебѣ, Владыко!—сказалъ онъ, перекрестившись:—чѣмъ свѣтъ

оставимъ крѣпость и пойдемъ, куда глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовилъ, покушай-ка, батюшка, да и почивай себѣ до утра, какъ у Христа за пазушкой.

Я послѣдовалъ его совѣту и, поужинавъ съ большимъ апшетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душено и физически.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Разлука.

Швабрина Пугачевъ сдѣлалъ комендантомъ крѣпости, а Гринева отпустилъ въ Оренбургъ. Марья Ивановна оставалась въ крѣпости, больная у попады.

Съ ужасомъ услышалъ я эти слова: Швабринъ дѣлался начальникомъ крѣпости; Марья Ивановна оставалась въ его власти! Боже, что съ нею будетъ! Пугачевъ сошелъ съ крыльца. Ему подвели лошадь. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, не дождавшись казаковъ, которые хотѣли было посадить его. Въ это время изъ толпы народа, вижу, выступилъ мой Савельичъ, подходитъ къ Пугачеву и подалъ ему листъ бумаги. Я не могъ придумать, что изъ того выйдетъ.

— Это что?—спросилъ важно Пугачевъ.

— Прочитай, такъ изволишь увидѣть,—отвѣчалъ Савельичъ.

Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ видомъ значительнымъ.

— Что ты такъ мудрено пишешь?—сказалъ онъ наконецъ:— наши свѣтлыя очи не могутъ тутъ ничего разобрать. Гдѣ мой оберъ-секретарь?

Молодой малый въ капральскомъ мундирѣ проворно подбѣжалъ къ Пугачеву.

— Читай вслухъ!—сказалъ самозванецъ, отдавая ему бумагу.

Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька мой вздумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь громогласно сталъ по складамъ читать слѣдующее:

„Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей“.

— Это что значитъ? сказалъ, нахмуясь, Пугачевъ.

— Прикажи читать далѣе,—отвѣчалъ спокойно Савельичъ.

Оберъ-секретарь продолжалъ;

„Мундиръ изъ тонкаго зеленого сукна, на семь рублей. Штаны бѣлые суконные, на пять рублей. Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ голандскихъ съ манжетами, на десять рублей. Погребецъ съ чайною посудю, на два рубля съ полтиною...“

— Что за вранье?—прервалъ Пугачевъ.—Какое мнѣ дѣло до погребцовъ и до штановъ съ манжетами?

Савельичъ крикнулъ и сталъ объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видѣть, реестръ барскому добру, раскраденному злодѣями...

— Какими злодѣями?—сказалъ грозно Пугачевъ.

— Виноватъ, обмолвился,—отвѣчалъ Савельичъ:—злѣди не злѣди, а твои ребята такъ пошарили и порастаскали. Не гнѣвись: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи ужъ дочитать.

— Дочитывай,—сказалъ Пугачевъ.

Секретарь продолжалъ:

„Одѣяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагѣ, четыре рубля. Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, сорокъ рублей. Еще заячій тулупчикъ, пожалованный твоей милости на постояломъ дворѣ, пятнадцать рублей“.

— Это чтѣ еще!—вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бѣднаго моего дядьку. Онъ хотѣлъ было пуститься опять въ объясненія, но Пугачевъ его прервалъ.

— Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками!—вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и бросивъ ее въ лицо Савельичу.— Глупый старикъ! Ихъ обобрали: экая бѣда! Да ты долженъ, старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня да за моихъ ребятъ за то, что ты и съ баринкомъ-то своимъ не висите здѣсь вмѣстѣ съ моими послушниками... Заячій тулупъ! Я те дамъ заячій тулупъ! Да знаешь ли ты, что я съ тебя живого кожу велю содрать на тулупы?

— Какъ изволишь,—отвѣчалъ Савельичъ:—а я человѣкъ подневольный, и за барское добро долженъ буду отвѣчать.

Пугачевъ былъ, видно, въ припадкѣ великодушія. Онъ отворотился и отѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова. Швабринъ и старшины послѣдовали за нимъ. Шайка выступила изъ крѣпости въ порядкѣ. Народъ пошелъ провожать Пугачева. Я остался на площадѣ одинъ съ Савельичемъ. Дядька мой держалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его съ видомъ глубокаго сожалѣнія.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Гриневъ добрался до Оренбурга, принималъ участіе въ многочисленныхъ стычкахъ съ пугачевцами, которые осадили городъ. Однажды одинъ изъ казаковъ передалъ ему письмо отъ Марьи Ивановны.

„Богу угодно было лишить меня вдругъ отца и матери: не имѣю на землѣ ни родни, ни покровителей. Прибѣгаю къ вамъ, зная, что вы всегда желали мнѣ добра и что вы всякому человѣку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо какъ-нибудь до васъ дошло! Максимычъ общалъ вамъ его доставить. Палаша слышала также отъ Максимыча, что васъ онъ часто издали видитъ на вылазкахъ, и что вы совсѣмъ себя не бережете и не думаете о тѣхъ, которые за васъ со слезами Бога молятъ. Я долго была больна; а когда выздоровѣла, Алексѣй Ивановичъ, который командуетъ у насъ на мѣстѣ покойнаго батюшки, принудилъ отца Герасима выдать меня ему, застрашавъ Пугачевымъ. Я живу въ нашемъ домѣ подъ карауломъ. Алексѣй Ивановичъ принуждаетъ меня выйти за него замужъ. Онъ говоритъ, что спасъ мнѣ жизнь, потому что прикрылъ обманъ Акулины Памфиловны, которая сказала злодѣямъ, будто бы я ея племянница. А мнѣ легче было-бы умереть, нежели сдѣлаться женою такого человѣка, каковъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ обходится со мною очень жестоко и грозитъ, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезетъ меня въ лагерь къ злодѣю, и съ вами-де то же будетъ, что съ Лизаветой Харловой. Я просила Алексѣя Ивановича дать подумать. Онъ согласился ждать еще три дня, а коли черезъ три дня за него не выйду, такъ ужъ никакой пощады не будетъ. Батюшка Петръ Андреичъ! вы одинъ у меня покровитель; заступитесь за меня, бѣд-

ную. Упросите генерала и всѣхъ командировъ прислать къ намъ поскорѣе сикурсу, да прїѣзжайте сами, если можете. Остаюсь вамъ покорная бѣдная сирота

„Марья Миронова“.

Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошелъ. Я пустился въ городъ, безъ милосердія припориная бѣднаго моего коня. Дорогою придумывалъ я и то и другое для избавленія бѣдной дѣвушки, и ничего не могъ выдумать. Прискакавъ въ городъ, я отправился прямо къ генералу и опрорметью къ нему вбѣжалъ.

Генералъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, курия свою пѣнковую трубку. Увидя меня, онъ остановился. Вѣроятно, видъ мой поразилъ его: онъ заботливо освѣдомился о причинѣ моего поспѣшнаго прихода.

— Ваше превосходительство,—сказалъ я ему:—прибѣгаю къ вамъ, какъ къ отцу родному; ради Бога, не откажите мнѣ въ моей просьбѣ: дѣло идетъ о счастіи всей моей жизни.

— Чтѣ такое, батюшка?—спросилъ изумленный старикъ:—чтѣ я могу для тебя сдѣлать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мнѣ роту солдатъ и полсотни казаковъ и пустите меня очистить Бѣлогорскую крѣпость.

Генералъ глядѣлъ на меня пристально, полагая, вѣроятно, что я съ ума сошелъ (въ чемъ почти не ошибался).

— Какъ это? Очистить Бѣлогорскую крѣпость?—сказалъ онъ наконецъ.

— Ручаюсь вамъ за успѣхъ,—отвѣчалъ я съ жаромъ:—только отпустите меня.

— Нѣтъ, молодой человѣкъ,—сказалъ онъ, качая голову:—на такомъ великомъ разстояніи непріятелю легко будетъ отрѣзать васъ отъ коммуникаціи съ главнымъ стратегическимъ пунктомъ и получить надъ вами совершенную побѣду. Пересѣченная коммуникація...

Гриневу было отказано въ просьбѣ, и онъ рѣшился ѣхать въ Бѣлогорскую крѣпость.

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

М я т е ж н а я с л о б о д а .

Гриневъ оставилъ Оренбургъ, пробрался къ Пугачеву, чтобы спасти Миронову.

— Говори, по какому же дѣлу выѣхалъ ты изъ Оренбурга?

Странная мысль пришла мнѣ въ голову: мнѣ показалось, что Провидѣніе, вторично приведшее меня къ Пугачеву, подавало мнѣ случай привести въ дѣйствіе мое намѣреніе. Я рѣшился имъ воспользоваться и, не успѣвъ обдумать то, на что рѣшался, отвѣчалъ на вопросъ Пугачева:

— Я ѣхалъ въ Бѣлогорскую крѣпость избавить сироту, которую тамъ обижаютъ.

Глаза у Пугачева засверкали.

— Кто изъ моихъ людей смѣетъ обижать сироту?—закричалъ онъ:—будь онъ семи пядей во лбу, а суда отъ моего не уйдетъ. Говори, кто виноватый?

— Швабринъ виноватый,—отвѣчалъ я.—Онъ держитъ въ неволѣ ту дѣвушку, которую ты видѣлъ, больную, у попади, и насильно хочетъ на ней жениться.

— Я проучу Швабрину!—сказалъ грозно Пугачевъ. Онъ узнаетъ, каково у меня своевольничать и обижать народъ. Я его повѣшу.

— Прикажи слово молвить,—сказалъ Хлопуша хриплымъ голосомъ:—ты поторопился назначить Швабрину въ коменданты крѣпости, а теперь торопишься его вѣшать. Ты ужъ оскорбилъ казаковъ, посадивъ дворянина имъ въ начальники; не пугай же дворянъ, казня ихъ по первому наговору.

— Нечего ихъ ни жалѣть, ни жаловать!—сказалъ старичокъ въ голубой лентѣ:—Швабрину казнить не бѣда; а не худо и господина офицера допросить порядкомъ: зачѣмъ изволилъ пожаловать? Если онъ тебя государемъ не признаетъ, такъ нечего у тебя и управы искать; а коли признаетъ, что же онъ до сегодняшняго дня сидѣлъ въ Оренбургѣ съ твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его въ приказную, да и запалить тамъ огоньку: мнѣ сдается, что его милость подосланъ къ намъ отъ оренбургскихъ комендировъ.

Логика стараго злодѣя показалась мнѣ довольно убѣдительною. Морозъ пробѣжалъ по всему моему тѣлу при мысли, въ чьихъ рукахъ я находился. Пугачевъ замѣтилъ мое смущеніе.

— Ась, ваше благородіе?—сказалъ онъ мнѣ, подмигивая:—фельдмаршалъ мой, кажется, говоритъ дѣло. Какъ ты думаешь?..

Насмѣшка Пугачева возвратила мнѣ бодрость. Я спокойно отвѣчалъ, что нахожусь въ его власти, и что онъ воленъ поступить со мною, какъ ему будетъ угодно.

— Добро,—сказалъ Пугачевъ:—теперь скажи, въ какомъ состояніи вашъ городъ?

— Слава Богу, отвѣчалъ я:—все благополучно.

— Благополучно?—повторилъ Пугачевъ:—а народъ мретъ съ голоду!

Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу присяги, сталъ увѣрять, что все это пустые слухи и что въ Оренбургѣ довольно всякихъ запасовъ.

— Ты видишь,—подхватилъ старичокъ:—что онъ тебя въ глаза обманываетъ. Всѣ бѣглецы согласно показываютъ, что въ Оренбургѣ голодъ и моръ, что тамъ ѣдятъ мертвечину, и то за честь; а его милость увѣряетъ, что всего вдоволь. Коли ты Швабрину хочешь повѣсить, то ужъ на той же висѣлицѣ повѣсь и этого молодца, чтобы никому не было завидно.

Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пугачева. Къ счастью, Хлопуша сталъ противорѣчить своему товарищу.

— Полно, Наумычъ,—сказалъ онъ ему:—тебѣ бы все душить да рѣзать. Что ты за богатырь? Поглядѣть, такъ въ чемъ душа держится. Самъ въ могилу смотришь, а другихъ губишь. Развѣ мало крови на твоей совѣсти?

— Да ты что за угодникъ?—возразилъ Бѣлобородовъ:—у тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,—отвѣчалъ Хлопуша:—и я грѣшенъ, и эта рука (тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ и, засуча рукава, открылъ косматую руку), и эта рука повинна въ пролитой христіанской крови. Но я губилъ супротивника, а не гостя; на вольномъ перепутѣ да въ темномъ лѣсу, а не дома, сидя за печью; кистенемъ и обухомъ, а не бабынымъ наговоромъ.

Старикъ отворотился и проворчалъ слова „рванья ноздри!..“

— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ?—закричалъ Хлопуша.— Я тебѣ дамъ „равныя ноздри“; погоди, придетъ и твое время: Богъ дастъ, и ты щипцовъ понюхаешь... А покаместъ смотри, чтобъ я тебѣ бородинки не вырвать!

— Господа енаралы!—провозгласилъ важно Пугачевъ:—полно вамъ ссориться. Не бѣда, если-бъ и всѣ оренбургскія собаки дрыгали ногами подъ одной перекладиной: бѣда, если наши кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритеся.

Хлопуша и Бѣлобородовъ не сказали ни слова и мрачно смотрѣли другъ на друга. Я увидѣлъ необходимость перемѣнить разговоръ, который могъ кончиться для меня очень невыгоднымъ образомъ, и, обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему съ веселымъ видомъ:

— Ахъ! я было и забылъ поблагодарить тебя за лошадь и за тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города и замерзъ бы на дорогѣ.

Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился.

— Долгъ платежемъ красенъ,—сказалъ онъ, мигая и прищуриваясь:—расскажи-ка мнѣ теперь, какое тебѣ дѣло до той дѣвушки, которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не зазноба ли сердцу молодецкому, а?

— Она невѣста моя,—отвѣчалъ я Пугачеву, видя благопріятную перемѣну погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невѣста!—закричалъ Пугачевъ. Что жъ ты прежде не сказалъ? Да мы тебя женимъ и на свадьбѣ твоей попируемъ!—Потомъ, обращаясь къ Бѣлобородову:—слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его благородіемъ старые пріятели; сядемъ-ка, да поужинаемъ; утро вечера мудренѣе. Завтра посмотримъ, что съ нимъ сдѣлаемъ.

Пугачевъ поѣхалъ съ Гриневымъ въ Бѣлогородскую крѣпость; по дорогѣ они разговаривались.

— Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?—спросилъ Пугачевъ, помолчавъ немного.

— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудновато. Нечего сказать,—далъ ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбіе.

— Да!—сказалъ онъ съ веселымъ видомъ:—я воюю хоть куда. Знаютъ ли у васъ въ Оренбургѣ о сраженіи подъ Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, четыре арміи взято въ полонъ. Какъ ты думаешь: прусскій король могъ ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мнѣ забавна.

— Самъ какъ ты думаешь,—сказалъ я ему:—управился ли бы ты съ Фридрихомъ?

— Съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ? А какъ же нѣтъ? Съ вашими енаралами вѣдь я же управляюсь; а они его бивали. Доселѣ оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то ли еще будетъ, какъ пойду на Москву?

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вполголоса:

— Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ребята мои умничаютъ. Они—воры. Мнѣ должно держать ухо востро: при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ моею головою.

— То-то!—сказалъ я Пугачеву:—не лучше ли тебѣ отстать отъ нихъ самому заблаговременно, да прибѣгнуть къ милосердію государыни?

Пугачевъ горько усмѣхнулся.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ:—поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ помилованія. Буду продолжать, какъ началъ. Какъ знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь подарствовалъ же надъ Москвою.

— А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ? Его выбросили изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пепломъ пушку и выпалили.

— Слушай,—сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ:—разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывала старая калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: „Скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего-на-все только тридцать три года?“—Оттого, батюшка,—отвѣчалъ ему воронъ,—что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной.—Орелъ подумалъ: давай, попробуемъ и мы питаться тѣмъ же. Хорошо. Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли палую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать да похваливать. Орелъ клонулъ разъ, клонулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: „Нѣтъ, братъ воронъ; чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью; а тамъ—что Богъ дастъ!—Какова калмыцкая сказка?

— Затѣйлива,—отвѣчалъ я ему.—Но жить убійствомъ и разбоемъ значитъ по мнѣ клевать мертвечину.

Пугачевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и ничего не отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погружаясь каждый въ свои размышленія. Татаринъ затянулъ унылую пѣсню; Савельичъ, дремля, качался на облучкѣ. Кибитка летѣла по гладкому зимнему пути... Вдругъ увидѣлъ я деревушку на крутомъ берегу Яика, съ частоколомъ и съ колокольней—и черезъ четверть часа въѣхали мы въ Бѣлогорскую крѣпость.

Въ *дѣнадцатой главѣ* разсказано, какъ Пугачевъ освободилъ Марью Ивановну и отдалъ ее Гриневу; съ любимой дѣвушкой онъ поѣхалъ въ Оренбургъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Арестъ.

На обратномъ пути Гриневъ былъ захваченъ отрядомъ Зурина, потомъ отпущенъ. Марья Ивановна была отправлена Гриневымъ къ его родителямъ. Самъ онъ тоже собрался посѣтить родителей.

Лошади мчались во весь духъ. Вдругъ посреди улицы ямщикъ началъ ихъ удерживать.

— Что такое?—спросилъ я съ нетерпѣніемъ.

— Застава, баринъ,—отвѣчалъ ямщикъ, съ трудомъ остановивъ разъяренныхъ коней.

Въ самомъ дѣлѣ, я увидалъ рогатку и караульнаго съ дубиною. Мужикъ подошелъ ко мнѣ и снялъ шляпу, спрашивая паспортъ.

— Что это значитъ?—спросилъ я его:—зачѣмъ здѣсь рогатка? Кого ты караулишь?

— Да мы, батюшка, бунтуемъ,—отвѣчалъ онъ, почесываясь.

— А гдѣ ваши господа?—спросилъ я съ сердечнымъ замѣраніемъ.

— Господа-то наши гдѣ?—повторилъ мужикъ:—господа наши въ хлѣбномъ амбарѣ.

— Какъ въ амбарѣ?

— Да Андрюха земскій посадилъ, вишь, ихъ въ колодки и хочетъ везти къ батюшкѣ-государю!

— Боже мой! Отворачивай, дуракъ, рогатку. Чтò же ты зѣваешь?

Караульный медлилъ. Я выскочилъ изъ телѣги, треснулъ его (виновать) въ ухо и самъ отодвинулъ рогатку. Мужикъ мой глядѣлъ на меня съ глупымъ недоумѣніемъ. Я сѣлъ опять въ телѣгу и велѣлъ сваять къ барскому дому. Хлѣбный амбаръ находился на дворѣ. У запертыхъ дверей стояли два мужика съ дубинами. Телѣга остановилась прямо передъ ними. Я выскочилъ и бросился прямо на нихъ.

— Отворяй двери!—сказалъ я имъ.

Вѣроятно, видъ мой былъ страшенъ, по крайней мѣрѣ оба убѣжали. бросивъ дубины. Я попытался сбить замокъ съ двери, выломать; но двери были дубовыя, а огромный замокъ несокрушимъ. Въ эту минуту молодой мужикъ вышелъ изъ людской избы и съ видомъ надменнымъ спросилъ меня, какъ я смѣю буянить.

— Гдѣ Андрюшка земскій?—закричалъ я ему:—кликнуть его ко мнѣ!

— Я самъ Андрей Аванасьевичъ, а не Андрюшка,—отвѣчалъ онъ мнѣ, гордо подбочась:—чего надобно?

Вмѣсто отвѣта я схватилъ его за шиворотъ и, притавивъ къ дверямъ амбара, велѣлъ ихъ отпирать. Земскій было заупрямился; но отеческое наказаніе подѣйствовало и на него. Онъ вынулъ ключъ и отперъ амбаръ. Я кинулся черезъ порогъ, и въ темномъ углу, слабо освѣщенномъ узкимъ отверстіемъ, прорубленнымъ въ потолокъ, увидѣлъ мать и отца. Руки ихъ были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился ихъ обнимать и не могъ выговорить ни слова. Оба смотрѣли на меня съ изумленіемъ: три года военной жизни такъ измѣнили меня, что они не могли узнать меня.

Вдругъ услышалъ я милый знакомый голосъ.

— Петръ Андреичъ! Это вы?

Я оглянулся и вижу въ другомъ углу Марью Ивановну, также связанную. Я остолебенѣлъ. Отецъ глядѣлъ на меня молча, не смѣя вѣрить самому себѣ. Радость блистала на лицѣ его.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша!—говорилъ онъ, прижимая меня къ сердцу:—слава Богу, дождались тебя!

Матушка ахнула и залилась слезами.

— Петруша, другъ мой!—говорила матушка.—Какъ тебя Господь привелъ? Здоровъ ли ты?

Я спѣшилъ саблею разрѣзать узлы ихъ веревокъ и вывести ихъ изъ заключенія; но, подошедъ къ двери, я нашелъ ее снова запертою.

— Андрюшка!—закричалъ я:—отопри!

— Какъ не такъ!—отвѣчалъ изъ-за двери земскій;—сиди-ка самъ здѣсь! Вотъ уже научимъ тебя буянить да за воротъ таскать государевыхъ чиновниковъ!

Я сталъ осматривать амбаръ, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись,—сказалъ мнѣ батюшка:—не таковскій я хозяинъ, чтобъ можно было въ амбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моимъ появленіемъ, впала въ отчаяніе, видя, что пришлось и мнѣ раздѣлить погибель всей семьи. Но я былъ спокоенъ съ тѣхъ поръ, какъ находился съ ними и съ Марьей Ивановной. Со мной была сабля и два пистолета: я могъ еще выдержать осаду. Зуринъ

долженъ былъ подоспѣть къ вечеру и насъ освободить. Я сообщилъ все это моимъ родителямъ и успѣлъ успокоить матушку и Марью Ивановну. Онѣ предались вполне радости свиданія, и нѣсколько часовъ прошли для насъ незамѣтно во взаимныхъ ласкахъ и непрерывныхъ разговорахъ.

— Ну, Петръ,—сказалъ мнѣ отецъ:—довольно ты проказилъ, и я на тебя порядкомъ былъ сердитъ. Но нечего поминать про старое. Надѣюсь, что теперь ты исправился и перебѣоился. Знаю, что ты служилъ, какъ надлежитъ честному офицеру. Спасибо, утѣшилъ меня, старика. Коли тебѣ обязанъ я буду избавленіемъ, то жизнь мнѣ вдвое будетъ пріятнѣе.

Я со слезами цѣловалъ его руку и глядѣлъ на Марью Ивановну, которая была такъ обрадована моимъ присутствіемъ, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудня услышали мы необычайный шумъ и крики.

Въ деревню явился Швабринъ со своимъ отрядомъ и, послѣ долгихъ усилій, ворвался въ амбаръ, въ которомъ сидѣли Гриневы.

Толпа тотчасъ окружила насъ и потащила къ воротамъ. Но вдругъ они насъ оставили и разбѣжались: въ ворота въѣхалъ Зуринъ и за нимъ цѣлый эскадронъ съ саблями наголо.

Швабринъ былъ раненъ и захваченъ въ плѣнъ.

На другой день доложили батюшкѣ, что крестьяне явились на барскій дворъ съ повинною. Батюшка вышелъ къ нимъ на крыльцо. При его появленіи мужики стали на колѣни.

— Ну, что, дураки?—сказалъ онъ имъ:—зачѣмъ вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты нашъ,—отвѣчали они въ одинъ голосъ.

— То-то, виноваты! Напроказять, да сами не рады! Прощаю васъ для радости, что Богъ привелъ меня свидѣться съ сыномъ Петромъ Андреевичемъ. Ну, добро: повинную голову мечъ не сѣчетъ.

— Виноваты; конечно, виноваты!

— Богъ далъ ведро. Пора бы сѣно убирать, а вы, дурачье, цѣлые три дня что дѣлали? Староста! Нарядить поголовно на сѣнокосъ; да смотри, рыжая bestia, чтобъ у меня къ Иванову дню все сѣно было въ копнахъ! Убирайтесь!

Мужики поклонились и пошли на барщину какъ ни въ чемъ не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его съ конвоемъ отправили въ Казань. Я видѣлъ изъ окна, какъ его уложили въ телѣгу. Взоры наши встрѣтились. Онъ потупилъ голову, а я отошелъ поспѣшно отъ окна: я боялся показать видъ, что торжествую надъ униженіемъ и несчастіемъ недруга.

На судѣ Швабринъ оклеветалъ Гринева, выставивъ его тоже измѣнникомъ. Гринева былъ признанъ виноватымъ, такъ какъ, не желая запутывать въ дѣло Марью Ивановну, не могъ объяснить, зачѣмъ онъ ѣздилъ къ Пугачеву.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сирота.

Слухъ о моемъ арестѣ поразилъ все мое семейство. Марья Ивановна такъ просто рассказала моимъ родителямъ о странномъ знакомствѣ моемъ съ Пугачевымъ, что оно не только не безпокоило ихъ, но еще заставляло часто смѣяться отъ чистаго сердца. Батюшка не хотѣлъ вѣрить, чтобы я могъ

быть замѣшанъ въ гнусномъ бунтѣ, котораго цѣль была ниспроверженіе престола и истребленіе дворянскаго рода. Онъ строго допросилъ Савельича. Дядька не утаилъ, что баринъ бывалъ въ гости у Емельки Пугачева, и что-де злодей его такъ жаловалъ; но клялся, что ни о какой измѣнѣ онъ и не слыхивалъ. Старика успокоились и съ нетерпѣніемъ стали ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо въ высшей степени одарена была скромностью и осторожностью.

Прошло нѣсколько недѣль... Вдругъ батюшка получаетъ изъ Петербурга письмо отъ нашего родственника, князя Б. Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыкновеннаго приступа, онъ объявилъ ему, что подозрѣнія насчетъ участія моего въ замыслахъ бунтовщиковъ, къ несчастію, оказались слишкомъ основательными, что примѣрная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, изъ уваженія къ заслугамъ и преклоннымъ лѣтамъ отца, рѣшилась помиловать преступнаго сына и, избавляя его отъ позорной казни, повелѣла только сослать въ отдаленный край Сибири на вѣчное поселеніе.

Этотъ неожиданный ударъ едва не убилъ отца моего. Онъ лишился обыкновенной своей твердости и горестъ его (обыкновенно нѣмая) изливалась въ горькихъ жалобахъ.

— Какъ!—повторялъ онъ, выходя изъ себя:—сынъ мой участвовалъ въ замыслахъ Пугачева! Боже праведный, до чего я дожилъ! Государыня избавляетъ его отъ казни! Отъ этого развѣ мнѣ легче? Не казнь страшна: прашуръ мой умеръ на лобномъ мѣстѣ, отстаивая то, что почиталъ святынею совѣсти; отецъ мой пострадалъ вмѣстѣ съ Волынскими и Хрущевыми. Но дворянину измѣнить своей присягѣ, соединиться съ разбойниками, съ убійцами, съ бѣглыми холопьями! Стыдъ и срамъ нашему роду!...

Испуганная его отчаяніемъ, матушка не смѣла при немъ плакать и старалась возратить ему бодрость, говоря о невѣрности молвы, о шаткости людскаго мнѣнія. Отецъ мой былъ неутѣшенъ.

Марья Ивановна мучилась болѣе всѣхъ. Будучи увѣрена, что я могъ бы оправдаться, когда бы только захотѣлъ, она догадывалась объ истинѣ и почитала себя виновницей моего несчастія. Она скрывала отъ всѣхъ свои слезы и страданія, между тѣмъ непрестанно думала о средствахъ, какъ бы меня спасти.

Однажды вечеромъ батюшка сидѣлъ на диванѣ, перевертывая листы „Придворнаго Календаря“, но мысли его были далеко, и чтеніе не производило надъ нимъ обыкновеннаго своего дѣйствія. Онъ насвистывалъ старинный маршъ. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы нѣрѣдка капали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ же сидѣвшая за работой, объявила, что необходимость заставляетъ ее ѣхать въ Петербургъ, и что она проситъ дать ей способъ отправиться. Матушка очень огорчилась.

— Зачѣмъ тебѣ въ Петербургъ?—сказала она:—неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты насъ покинуть?

Марья Ивановна отвѣчала, что вся будущая судьба ея зависитъ отъ этого путешествія, и что она ѣдетъ искать покровительства и помощи у сильныхъ людей, какъ дочь человѣка, пострадавшаго за свою вѣрность.

Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступленіе сына, было ему тягостно и казалось колкимъ упрекомъ.

— Поѣзжай, матушка,—сказалъ онъ ей со вздохомъ:—мы твоему счастью помѣхи сдѣлать не хотимъ. Дай Богъ тебѣ въ женихи добраго человѣка, не ошельмованнаго измѣнника.

Онъ всталъ и вышелъ изъ комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наединѣ съ матушкою, отчасти объяснила ей свои предположенія. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучномъ концѣ замышленнаго дѣла. Марью Ивановну снарядили и черезъ нѣсколько дней она отправилась въ дорогу съ вѣрной Палашей и съ вѣрнымъ Савельичемъ, который, насильственно разлученный со мною, утѣшался по крайней мѣрѣ мыслью, что служилъ нареченной моей невѣстѣ.

Марья Ивановна благополучно прибыла въ Софію, и, узнавъ, что дворъ находился въ то время въ Царскомъ Селѣ, рѣшилась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ за перегородкой. Жена смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила, что она—племянница придворнаго истопника, и посвятила ее во всѣ тайнства придворной жизни. Она рассказала, въ которомъ часу государины обыкновенно просыпались, кушала кофе, прогуливалась; какіе вельможи находились въ то время при ней; что изволила она вчерашній день говорить у себя за столомъ; кого принимала вечеромъ. Словомъ, разговоръ Анны Власьевны стоилъ нѣсколькихъ страницъ историческихъ записокъ и былъ бы драгоцененъ для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманіемъ. Онѣ пошли въ садъ. Анна Власьевна рассказала исторію каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, онѣ возвратились на станцію, очень довольныя другъ другомъ.

На другой день рано утромъ Марья Ивановна проснулась, одѣлась и тихонько пошла въ садъ. Утро было прекрасное, солнце освѣщало вершины липъ, пожелтѣвшихъ уже подъ свѣжимъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло неподвижно. Проснувшіеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, осѣняющихъ берегъ. Марья Ивановна пошла около прекраснаго луга, гдѣ только-что поставленъ былъ памятникъ въ честь недавнихъ побѣдъ графа Петра Александровича Румянцева. Вдругъ бѣлая собачка англійской породы залаяла и побѣжала ей на встрѣчу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. Въ эту самую минуту раздался пріятный женскій голосъ:

— Не бойтесь, она не укуситъ.

И Марья Ивановна увидѣла даму, сидѣвшую на скамейкѣ противу памятника. Марья Ивановна сѣла на другомъ концѣ скамейки. Дама пристально на нее смотрѣла; а Марья Ивановна съ своей стороны, бросивъ нѣсколько косвенныхъ взглядовъ, успѣла рассмотреть ее съ ногъ до головы. Она была въ бѣломъ утреннемъ платьѣ, въ ночномъ чепцѣ и въ душегрѣйкѣ. Ей казалось лѣтъ сорокъ. Лицо ея, полное и румяное, выражало важность и спокойствіе, а голубые глаза и легкая улыбка имѣли прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчаніе.

— Вы, вѣрно, не здѣшняя?—сказала она.

— Точно такъ-съ: я вчера только пріѣхала изъ провинціи.

— Вы пріѣхали съ вашими родными?

— Никакъ нѣтъ-съ, я пріѣхала одна.

— Одна! Но вы такъ еще молоды...

— У меня нѣтъ ни отца, ни матери.

— Вы здѣсь, конечно, по какимъ-нибудь дѣламъ?

— Точно такъ-съ. Я пріѣхала подать просьбу государынѣ.

— Вы сирота: вѣроятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала просить милости, а не правосудія.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самаго, что былъ комендантомъ въ одной изъ оренбургскихъ крѣпостей?

— Точно такъ-съ.

Дама, казалось, была тронута.

— Извините меня,—сказала она голосомъ еще болѣе ласковымъ,—если я вмѣшиваюсь въ ваши дѣла; но я бываю при дворѣ; изъясните мнѣ, въ чемъ состоитъ ваша просьба, и, можетъ быть, мнѣ удастся вамъ помочь.

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все въ неизвѣстной дамѣ невольно привлекало сердце и внушало довѣренность. Марья Ивановна вынула изъ кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительницѣ, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ и благосклоннымъ; но вдругъ лицо ея перемѣнилось—и Марья Ивановна, слѣдовавшая глазами за всѣми ея движеніями, испугалась строгому выраженію этого лица, за минуту столь пріятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева?—сказала дама съ холоднымъ видомъ:—императрица не можетъ его простить. Онъ присталъ къ самозванцу не изъ невѣжества и легковѣрія, но какъ безнравственный и вредный негодяй.

— Ахъ, неправда!—вскрикнула Марья Ивановна.

— Какъ, неправда!—возразила дама, вся вспыхнувъ.

— Неправда, ей-Богу, неправда! Я знаю все, я все вамъ расскажу. Онъ для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если онъ не оправдался передъ судомъ, то развѣ потому только, что не хотѣлъ запутать меня.

Тутъ она съ жаромъ рассказала все, что уже извѣстно моему читателю. Дама выслушала ее со вниманіемъ.

— Гдѣ вы остановились?—спросила она потомъ и, услыша, что у Анны Власьевны, промолвила съ улыбкою:—а! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрѣчѣ. Я надѣюсь, что вы недолго будете ждать отвѣта на ваше письмо.

Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась къ Аннѣ Власьевнѣ, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвушки. Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только было принялась за безконечные рассказы о дворѣ, какъ вдругъ придворная карета остановилась у крыльца, и камеръ-лакей вошелъ съ объявленіемъ, что государыня изволить къ себѣ приглашать дѣвицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась.

— Ахти, Господи!—закричала она:—государыня требуетъ васъ ко двору. Какъ же это она про васъ узнала? Да какъ же вы, матушка, представитесь къ императрицѣ? Вы, я чай, и ступить по придворному не умѣете... Не проводить ли мнѣ васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ-нибудь да могу предостеречь. И какъ же вамъ ѣхать въ дорожномъ платьѣ? Не послать ли къ повивальной бабущкѣ за ея желтымъ роброномъ.

Камеръ-лакей объявилъ, что государынѣ угодно было, чтобъ Марья Ивановна ѣхала одна и въ томъ, въ чемъ ее застанутъ. Дѣлать было нечего: Марья Ивановна сѣла въ карету и поѣхала во дворецъ, сопровождаемая совѣтами и благословеніями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей судьбы; сердце ея сильно билось и-замирало. Черезъ нѣсколько минутъ карета остановилась у дворца. Марья Ивановна съ трепетомъ пошла по лѣстницѣ. Двери передъ нею открылись настежь. Она прошла длинный рядъ пустыхъ великолѣпныхъ комнатъ: камеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ ней доложить, и оставилъ ее одну.

Мысль увидѣть императрицу лицомъ къ лицу такъ уѣтрашала ее, что она съ трудомъ могла держаться на ногахъ. Черезъ минуту двери открылись, и она вошла въ уборную государыни.

Императрица сидѣла за своимъ туалетомъ. Нѣсколько придворныхъ окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно объяснялась она нѣсколько минутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее и сказала съ улыбкой:

— Я рада, что могла сдержать вамъ свое слово и исполнить вашу просьбу. Дѣло ваше кончено. Я убѣждена въ невинности вашего жениха. Вотъ письмо, которое сами потрудитесь отвезти къ будущему свекру.

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакавъ, упала къ ногамъ императрицы, которая подняла ее и поцѣловала. Государыня разговорила съ нею.

— Знаю, что вы не богаты,—сказала она:—но я въ долгу передъ дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущемъ. Я беру на себя устроить ваше состояніе.

Обласкавъ бѣдную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уѣхала въ той же придворной каретѣ. Анна Власевна, нетерпѣливо ожидавшая ея возвращенія, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвѣчала кое-какъ. Анна Власевна хотя и была недовольна ея безпамятствомъ, но приписала его провинціальной застѣнчивости и извинила великодушно. Въ тотъ же день Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ взглянуть на Петербургъ, обратно поѣхала въ деревню...

Исторія села Горохина.

Если Богъ пошлетъ мнѣ читателей, то, можетъ быть, для нихъ любопытно будетъ узнать, какимъ образомъ рѣшился я написать исторію села Горохина. Для того долженъ я войти въ нѣкоторыя предварительныя подробности.

Званіе литератора всегда казалось для меня самымъ завиднымъ. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по старинному, никогда ничего не читывали, и во всемъ домѣ, кромѣ азбуки, купленной для меня, календарей и Новѣйшаго Письмовника, никакихъ книгъ не находилось. Чтеніе Письмовника долго было любимымъ моимъ упражненіемъ. Я зналъ его наизусть и, несмотря на то, каждый день находилъ въ немъ новыя, незамѣченныя красоты. Послѣ генерала Н. Н., у котораго батюшка былъ нѣкогда адъютантомъ, Кургановъ казался мнѣ величайшимъ человекомъ. Я спрашивалъ о немъ у всѣхъ—и, къ сожалѣнію, никто не могъ удовлетворить моему любопытству, никто не зналъ его лично; на всѣ мои

вопросы отвѣчали только, что Кургановъ сочинилъ Новѣйшій Письмовникъ; но это твердо зналъ я и прежде. Мракъ неизвѣстности окружалъ его, какъ нѣкоего древняго полубога; иногда я даже сомнѣвался въ истинѣ его существованія. Имя его казалось мнѣ вымышленнымъ, и преданіе о немъ — пустою миею, ожидавшею изысканій новаго Нибура. Однако же онъ все преслѣдовалъ мое воображеніе; я старался придать какой нибудь образъ сему таинственному лицу и наконецъ рѣшилъ, что долженъ онъ походить на земскаго засѣдателя Корючкина, маленькаго старичка съ краснымъ носомъ и сверкающими глазами.

Въ 1812 году повезли меня въ Москву и отдали въ пансіонъ Карла Ивановича Мейера, гдѣ пробылъ я не болѣе трехъ мѣсяцевъ, ибо насъ распустили передъ вступленіемъ непріятеля... Я возвратился въ деревню. По изгнаніи двенадцати языковъ хотѣли меня снова вести въ Москву, посмотрѣть, не возвратился ли Карлъ Ивановичъ на прежнее пепелище, или, въ противномъ случаѣ, отдать меня въ другое училище; но я упротребилъ матушку оставить меня въ деревнѣ, ибо здоровье мое не позволяло мнѣ вставать съ постели въ 7 часовъ, какъ обыкновенно заведено во всѣхъ пансіонахъ. Такимъ образомъ достигъ я 16-лѣтняго возраста, оставаясь при первоначальномъ моемъ образованіи и играя въ лапту — единственная наука, въ которой приобрѣлъ я достаточное познаніе во время пребыванія моего въ пансіонѣ.

Въ это время опредѣлился я юнкеромъ въ ** пѣхотный полкъ, въ которомъ я находился до прошлаго 18** года. Пребываніе мое въ полку оставило мнѣ мало пріятныхъ впечатлѣній, кромѣ производства въ офицеры и выигрыша 240 рублей въ то время, какъ у меня въ карманѣ всего оставался рубль шесть гривенъ. Смерть дражайшихъ моихъ родителей, восслѣдовавшая почти въ одно время, принудила меня подать въ отставку и пріѣхать въ мою вотчину.

Эта эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намѣренъ о ней распространиться, заранѣе прося извиненія у благосклоннаго читателя, если во зло употреблю снисходительное его вниманіе.

День былъ осенній и пасмурный. Прибывъ на станцію, съ которой должно было мнѣ своротить на Горохино (такъ называлась наша деревня), нанялъ я вольныхъ и поѣхалъ проселочной дорогой. Хотя я права отъ природы тихаго, но нетерпѣніе увидѣть вновь мѣста, гдѣ провелъ я лучшіе свои годы, такъ сильно овладѣло мной, что я поминутно погонялъ моего ямщика, то обѣщая ему на водку, то угрожая побоями, и какъ удобнѣе было мнѣ толкать его въ спину, нежели вынимать и развязывать кошельки, то, признаюсь, раза три и ударилъ его, чего отъ роду со мною не случилось, ибо сословіе ямщиковъ, не знаю почему, для меня въ особенности любезно. Ямщикъ погонялъ свою тройку, но мнѣ казалось, что онъ, по обыкновенію ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутомъ, все-таки затягивалъ возжи. Наконецъ я завидѣлъ горохинскую рошу и черезъ 10 минутъ въѣхалъ на барскій дворъ; сердце мое сильно билось; я смотрѣлъ вокругъ себя съ волненіемъ необыкновеннымъ; восемь лѣтъ не видалъ я Горохина. Березки, которыя при мнѣ посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, вѣтвистыми деревьями. Дворъ, нѣкогда украшенный тремя правильными цвѣтниками, межъ которыхъ шла широкая дорога,

усыпанная пескомъ, теперь обращенъ былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у передняго крыльца. Человѣкъ пошелъ отворить двери, но онѣ были заколочены, хотя ставни открыты и домъ казался обитаемымъ. Баба вышла изъ людской избы и спросила, кого мнѣ надобно. Узнавъ, что баринъ пріѣхалъ, она снова побѣжала въ избу, и вскорѣ вся дворня меня окружила. Я былъ тронутъ до глубины сердца, увидя знакомыя и незнакомыя мнѣ лица и дружески со всѣми ими цѣлуясь: мои потѣшныя мальчишки были ужъ мужиками, а дѣвчонки, нѣкогда сидѣвшія на полу для посылокъ,—замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинамъ говорилъ я безъ церемоніи: „какъ ты постарѣла!“—и мнѣ отвѣчали съ чувствомъ: „какъ вы-то, батюшка, подурѣли!“ Повели меня на заднее крыльцо; на встрѣчу мнѣ вышла моя кормилица и обняла меня съ плачемъ и рыданіемъ, какъ многострадальнаго Одиссея. Побѣжали топить баню. Поваръ, давно въ бездѣйствіи отrostившій себѣ бороду, вызвался приготовить мнѣ обѣдъ или ужинъ, ибо уже смеркалось. Тотчасъ очистили мнѣ комнаты, въ которыхъ жила кормилица съ дѣвушками покойной матушки, и я очутился въ смиренной отеческой обители и заснулъ въ той самой комнатѣ, въ которой за двадцать три года тому назадъ родился.

Около трехъ недѣль прошло для меня въ хлопотахъ всякаго рода; я возился съ засѣдателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконецъ принялъ я наслѣдство и былъ введенъ во владѣніе вотчиной. Я успокоился, но скоро скука бездѣйствія стала меня мучить. Я не былъ еще знакомъ съ добрымъ и почтеннымъ сосѣдомъ моимъ **. Занятія хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною въ ключницы и управительницы, состояли сче-томъ изъ пятнадцати домашнихъ анекдотовъ, весьма для меня любопытныхъ, но рассказываемыхъ ею всегда одинаково, такъ что она сдѣлалась для меня другимъ Новѣйшимъ Письмовникомъ, въ которомъ я зналъ, на какой страницѣ какую найду строчку. Настоящій же заслуженный Письмовникъ былъ мною найденъ въ кладовой, между всякой рухлядью, въ жалкомъ состояніи. Я вынесъ его на свѣтъ и принялся было за него, но Кургановъ потерялъ для меня прежнюю свою прелесть. Я прочелъ его еще разъ и больше уже не открывалъ.

Въ такой крайности пришло мнѣ на мысль: не пробовать ли самому что нибудь сочинить? Благосклонный читатель знаетъ уже, что воспитанъ я былъ на мѣдныя деньги и что въ послѣдствіи не имѣлъ я случая пріобрѣсти самъ собою то, что было разъ упущено, до шестнадцати лѣтъ играя съ дворовыми мальчиками, а потомъ—переходя изъ губерніи въ губернію, изъ квартиры на квартиру, проводя время съ жидами и маркитантами, играя на ободранныхъ билліардахъ и маршируя въ грязь.

Къ тому же быть сочинителемъ казалось мнѣ такъ мудрено, такъ недостижимо намъ, непосвященнымъ, что мысль ввязаться за перо сначала испугала меня. Смѣлъ ли я надѣяться попасть когда-нибудь въ число писателей, когда уже пламенное желаніе мое встрѣтиться съ однимъ изъ нихъ никогда не было исполнено? Но это напоминаетъ мнѣ случай, который намѣренъ я рассказать въ доказательство всегдашней страсти моей къ отечественной словесности.

Въ 1820 году, еще юнкеромъ, случилось мнѣ быть по казенной надобности въ Петербургѣ; я прожилъ въ немъ недѣлю и, несмотря на то,

что не было у меня здѣсь ни одного знакомаго человѣка, провелъ время чрезвычайно весело; каждый день тихонько ходилъ я въ театръ, въ галерею 4-го яруса. Всѣхъ актеровъ узналъ по имени и страстно влюбился въ **, игравшую съ большимъ искусствомъ въ одно воскресенье роль Эйлалиа, въ драмѣ: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“. Утромъ, возвращаясь изъ Главнаго Штаба, заходилъ я обыкновенно въ низенькую конфектную лавку и за чашкой шоколада читалъ литературные журналы. Однажды сидѣлъ я, углубленный въ критическую статью „Благонамѣреннаго“; нѣкто, въ гороховой шинели, ко мнѣ подошелъ и изъ-подъ моей книжки тихонько потянулъ листокъ гамбургской газеты; я былъ такъ занятъ, что не поднялъ и глазъ. Незнакомый спросилъ себя бифштексъ и съѣлъ передо мною; я все читалъ, не обращая на него вниманія; онъ между тѣмъ позавтракалъ, сердито побранилъ мальчика за неисправность, выпилъ полбутылки вина и вышелъ. Двое молодыхъ людей тутъ же завтракали.

— Знаешь ли, кто это былъ?—сказалъ одинъ другому;—это Б..., сочинитель.

— Сочинитель!—воскликнулъ я невольно и, оставя журналъ недочитаннымъ и чашку недопитую, побѣждалъ расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбѣжалъ на улицу.

Смотря во всѣ стороны, увидѣлъ я издали гороховую шинель и пустился по Невскому проспекту только что не бѣгомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, чувствую вдругъ, что меня останавливаютъ; оглядываюсь, гвардейскій офицеръ замѣтилъ мнѣ, что-де мнѣ слѣдовало не толкать его на тротуаръ, но скорѣе остановиться и вытянуться. Послѣ этого выговора я сталъ осторожнѣе; на бѣду мою, поминутно встрѣчались мнѣ офицеры: я поминутно останавливался, а сочинитель все уходилъ отъ меня впередъ. Отъ роду моя солдатская шинель не была мнѣ столь тягостною, отъ роду эполеты не казались мнѣ столь завидными; наконецъ у самаго Аничкина моста догналъ я гороховую шинель.

— Позвольте спросить,—сказалъ я, приставя ко лбу руку:—вы г. Б., котораго прекрасныя статьи имѣлъ я счастье читать въ „Соревнователь Просвѣщенія“?

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣчалъ онъ мнѣ:—я не сочинитель, а стряпчій; но Б. мнѣ очень знакомъ; четверть часа тому я встрѣтилъ его у Полицейскаго моста.

Такимъ образомъ уваженіе мое къ русской литературѣ стоило мнѣ 30 копѣекъ потерянной сдачи, выговора по службѣ и чуть-чуть не ареста—и все даромъ.

Несмотря на всѣ возраженія моего разсудка, дерзкая мысль сдѣлаться писателемъ поминутно приходила мнѣ въ голову. Наконецъ, не будучи болѣе въ состояніи противиться влеченію природы, я сшилъ себѣ толстую тетрадь и рѣшился, съ твердымъ намѣреніемъ, наполнить ее чѣмъ бы то ни было. Всѣ роды поэзіи (ибо о смиренной прозѣ я еще и не помышлялъ) были мною разобраны, оцѣнены, и я непремѣнно рѣшился на эпическую поэму, почерпнутую изъ отечественной исторіи. Недолго искалъ я себѣ героя—выбралъ Рюрика—и принялся за работу.

Къ стихамъ пріобрѣлъ я нѣкоторый навыкъ, переписывая тетрадки, ходившія по рукамъ между нашими офицерами, именно: Критику на „Московский бульваръ“, на „Прѣсненскіе пруды“, „Опаснаго сосѣда“ и т. д. Несмотря на то, поэма моя подвигалась медленно, и я бро-

силъ ее на третьемъ стихѣ. Я думалъ, что эпическій родъ не мой родъ, и началъ трагедію: „Рюрикъ“. Трагедія не пошла. Я попробовалъ обратить ее въ балладу, но и баллада какъ-то мнѣ не давалась. Наконецъ вдохновение озарило меня—я началъ и благополучно окончилъ: надпись къ портрету Рюрика.

Несмотря на то, что „надпись“ моя была не вовсе недостойна вниманія, особенно какъ первое произведеніе молодого стихотворца, однакожъ я почувствовалъ, что я не рожденъ поэтомъ, и довольствовался симъ первымъ опытомъ. Творческія мои попытки такъ привязали меня къ литературнымъ занятіямъ, что я уже не могъ разстаться съ тетрадью и чернильницей. Я хотѣлъ нисойти къ прозѣ. На первый случай, не желая заняться предварительнымъ изученіемъ, расположеніемъ плана, скрѣпленіемъ частей и т. п., я вознамѣрился писать отдѣльныя мысли, безъ связи, безъ всякаго порядка, въ томъ видѣ, какъ онѣ мнѣ станутъ представляться. Къ несчастію, мысли не приходили мнѣ въ голову, и въ цѣлые два дня надумалъ я только слѣдующее замѣчаніе:

„Человѣкъ, не повинующійся законамъ разсудка и привыкшій слѣдовать внушеніямъ страстей, часто заблуждается и подвергаетъ себя позднему раскаянію“.

Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставля мысли, принялся я за повѣсти; но, не умѣя съ непривычки расположить вымышленное происшествіе, я избралъ замѣчательные анекдоты, нѣкогда мною слышанные отъ разныхъ особъ, и старался украсить истину живостью разсказа, а иногда и цѣпками собственного воображенія. Составляя эти повѣсти, мало-по-малу образовалъ я свой слогъ и пріучился выражаться правильно, пріятно и свободно. Но скоро запасъ мой истощился, и я сталъ опять искать предмета для литературной моей дѣятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повѣствованія истинныхъ и великихъ происшествій давно тревожила мое воображеніе. Быть судіею, наблюдателемъ и пророкомъ въѣковъ и народовъ казалось мнѣ высшею степенью, доступной для писателя. Какую исторію я могъ написать съ моей жалкой образованностію? Гдѣ не предупредили меня многоученые, добросовѣстные мужи? Какой родъ исторіи не истощенъ уже ими? Стану ли писать исторію всемірную, но развѣ не существуетъ уже безсмертный трудъ аббата Милота? Обращусь ли къ исторіи отечественной,—что скажу я послѣ Татищева, Болтина, Голикова? И мнѣ ли рыться въ лѣтописяхъ и добираться до сокровеннаго смысла обветшалаго языка, когда не могъ я выучиться цифрамъ славянскимъ? Я думалъ объ исторіи меньшаго объема, напр. объ исторіи губернскаго нашего города; но и тутъ сколько препятствій, для меня неодолимыхъ! Поѣздка въ городъ, визиты къ губернатору и къ архіерею, просьба о допущеніи въ архивы и въ монастырскія кладовыя и пр. Исторія уѣзнаго нашего города была бы для меня удобнѣе, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи краснорѣчію. ** былъ переименованъ въ городъ въ 17 ** году, и единственное замѣчательное происшествіе, сохранившееся въ его лѣтописяхъ, есть ужасный пожаръ, случившійся десять лѣтъ тому назадъ, истребившій базаръ и присутственныя мѣста.

Нечаянный случай разрѣшилъ мои недосумѣнія. Баба, развѣшивая бѣлье на чердакѣ, нашла старую корзину, наполненную щепками, соромъ и книгами. Весь домъ зналъ охоту мою къ чтенію. Ключница моя въ то самое

время, какъ я, сидя за моей тетрадью, грызъ перо и думалъ объ опытѣ сельскихъ проповѣдей, съ торжествомъ втащила корзину въ мою комнату, радостно восклицая: „книги! книги!“ — „Книги!“ — повторилъ я съ восторгомъ и бросился къ корзинѣ. Въ самомъ дѣлѣ, я увидѣлъ цѣлую грудку книгъ въ зеленомъ и синемъ бумажномъ переплетѣ. Это было собраніе старыхъ календарей. Это открытіе охладило мой восторгъ, но все я былъ радъ нечаянной находкѣ: все же это были книги, и я щедро наградилъ усердіе прачки полтиною серебра.

Оставшись наединѣ, я сталъ разсматривать свои календари, и скоро мое вниманіе было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цѣпь годовъ отъ 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лѣтъ. Синіе листы бумаги, обыкновенно вплетаемые въ календари, были всѣ исписаны стариннымъ почеркомъ. Брося взоръ на эти строки, съ изумленіемъ увидѣлъ я, что онѣ заключали не только замѣчанія о погодѣ и хозяйственные счета, но также и краткія историческія извѣстія касательно села Горохина. Немедленно занялся я разборомъ этихъ драгоценныхъ записокъ и вскорѣ я нашелъ, что онѣ представляли полную исторію моей вотчины, въ теченіе почти цѣлаго столѣтія, въ самомъ строгомъ хронологическомъ порядкѣ. Сверхъ этого заключали онѣ неистощимый запасъ экономическихъ, статистическихъ, метеорологическихъ и другихъ ученыхъ наблюденій. Съ тѣхъ поръ изученіе этихъ записокъ заняло меня исключительно, ибо увидѣлъ я возможность извлечь изъ нихъ повѣствованіе стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно съ драгоценными этими памятниками, я сталъ искать новыхъ источниковъ исторіи села Горохина, и вскорѣ ихъ обиліе изумило меня. Посвятивъ цѣлые шесть мѣсяцевъ на предварительное изученіе, наконецъ приступилъ я къ давно желаемому труду — и съ помощью Божіею совершилъ оный сего ноября 3 дня 1827 года. Нынѣ, какъ нѣкоторый мнѣ подобный историкъ, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвигъ, кладу перо и съ грустью иду въ мой садъ размышлять о томъ, что мною совершено. Кажется и мнѣ, что, написавъ исторію Горохина, я уже не нуженъ міру, что долгъ мой исполненъ и что пора мнѣ опочить!

Здѣсь прилагаю списокъ источниковъ, послужившихъ мнѣ къ составленію исторіи Горохина:

I. Собраніе старинныхъ календарей, 55 частей. Первые двадцать частей исписаны стариннымъ почеркомъ съ титлами. Лѣтопись эта сочинена праѣдомъ моимъ, Андреемъ Степановичемъ Бѣлкинымъ; она отличается ясностью и краткостью слога, напримѣръ: 4-го мая снѣгъ. Тришка за грубость битъ. 6-го — корова бурая пала. Сенька за пьянство битъ. 8-го — погода ясная. 9-го — дождь и снѣгъ. Тришка битъ по погодѣ. 10-го — Тришка за пьянство битъ... и тому подобное, безо всякихъ размышленій. 11-го — погода ясная, пороша; затравилъ трехъ зайцевъ. — Остальныя 35 частей писаны разными почерками, большею частію такъ называемымъ лавочничьимъ, съ титлами и безъ титловъ, вообще плодито, несвязно и безъ соблюденія правописанія; кое-гдѣ замѣтна женская рука. Въ это отдѣленіе входятъ записки дѣда моего Ивана Андреевича Бѣлкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксіи Алексѣевны; также и записки приказчика Горбовицкаго.

II. Лѣтопись горохинскаго дѣячка. Эта любопытная руко-

пись отыскана мною у моего попа, женатаго на дочери лѣтописца. Первые листы были выдраны и употреблены дѣтьми священника на такъ называемые змѣи. Одинъ изъ таковыхъ упалъ посреди моего двора; я поднялъ его и хотѣлъ былъ возвратить дѣтямъ, какъ замѣтилъ, что онъ былъ написанъ. Съ первыхъ строкъ увидѣлъ я, что змѣй составленъ былъ изъ лѣтописи. Къ счастью, успѣлъ спасти остальное. Лѣтопись эта, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомысліемъ и велерѣчіемъ необыкновеннымъ.

III. Изустныя преданія. Я не пренебрегалъ никакими извѣстіями, но въ особенности обязанъ многимъ Аграфенѣ Трифоновой, матери Авдѣя старосты, бывшей, говорятъ, любовницею приказчика Горбовицаго.

IV. Ревижскія сказки, съ замѣчаніями прежнихъ старостъ касательно нравственности и состоянія крестьянъ. 1830 г.

Баснословныя времена.

Староста Трифонъ.

Основаніе Горохина и первоначальное населеніе онаго покрыто мракомъ неизвѣстности. Темныя преданія гласятъ, что нѣкогда Горохино было село богатое и обширное, что всѣ жители его были зажиточны; что оброкъ собирали единожды въ годъ и отсылали невѣдомо кому, на нѣсколькихъ возахъ. Въ то время все покупали дешево и дорого продавали. Приказчиковъ не существовало; старосты никого не обижали; обитатели работали мало, а жили припѣваючи, а частухи стерегли стадо въ сапогахъ. Мы не должны обольщаться этою очаровательною картиною. Мысль о золотомъ вѣкѣ сродна всѣмъ народамъ и доказываетъ только, что люди никогда не довольны настоящимъ и, по опыту имѣя мало надежды на будущее, украшаютъ невозвратное минувшее всѣми цвѣтами своего воображенія. Вотъ что достоверно: село Горохино издревле принадлежало знаменитому роду Бѣлкиныхъ. Но предки мои, владѣя многими другими отчинами, не обращали вниманія на эту отдаленную страну. Горохино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народомъ на вѣчѣ, мірскою сходкою называемомъ.

Въ теченіе этого времени родовыя имѣнія Бѣлкиныхъ раздробились и пришли въ упадокъ. Объединившіе внуки богатаго дѣда не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ своихъ привычекъ и требовали прежняго полного дохода отъ имѣнія, въ десять кратъ уже уменьшившагося. Грозныя предписанія слѣдовали одно за другимъ. Староста читалъ ихъ на вѣчѣ: старшины витѣствовали, міръ волновался, а господа, вмѣсто двойного оброка, получали скучныя отговорки и смиренныя жалобы, писанныя на засаленной бумагѣ и запечатанныя грошемъ.

Мрачная туча висѣла надъ Горохинымъ, а никто объ ней и не помышлялъ. Въ послѣдній годъ властвованія Трифона, послѣдняго старосты, народомъ избраннаго, въ самый день храмового праздника, когда весь народъ или шумно окружалъ увеселительное зданіе (кабакомъ въ просторѣчій именуемое), или бродилъ по улицамъ, обнявшись между собою и громко воспѣвая пѣсни Архипа Лысаго, вѣхала въ село ямская крытая бричка,

заложённая парюу клячъ едва живыхъ; на возлахъ сидѣль оборванный жидъ; изъ брички высунулась голова въ картузѣ и, казалось, съ любопытствомъ смотрѣла на веселящійся народъ. Жители встрѣтили повозку смѣхомъ и грубыми насмѣшками. (NB. Свернувъ трубкою возкраія одеждъ, безумцы глумились надъ еврейскимъ возницею и восклицали смѣхотворно: „жидъ, жидъ, ѣшь свиное ухо!“ Лѣтопись дьячка). Сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда прїѣзжій, выпрыгнувъ изъ нея, повелительнымъ голосомъ потребовалъ старосту Трифона. Этотъ сановникъ находился въ увеселительномъ зданіи, откуда двое старшинъ почтительно вывели его подъ руки. Незнакомецъ посмотрѣлъ на него грозно, подавъ ему письмо и велѣлъ оное читать немедленно. Старосты горохинскіе имѣли обыкновеніе никогда ничего сами не читать. Послали за земскимъ Авдѣемъ. Его нашли неподалеку спящаго въ переулкѣ подъ заборомъ и привели къ незнакомцу. Но, или отъ внезапнаго испуга, или отъ горестнаго предчувствія, буквы письма, четко написаннаго, показались ему отуманенными, и онъ не былъ въ состояніи ихъ разобрать. Незнакомецъ, старосту Трифона и земскаго Авдѣя съ ужаснымъ проклятіемъ отославъ спать, отложилъ чтеніе письма до завтрашняго дня и пошелъ въ приказную избу, куда жидъ понесъ за нимъ его маленькій чемоданъ.

Горохинцы съ изумленіемъ смотрѣли на это необыкновенное происшествіе, но вскорѣ бричка, жидъ и незнакомецъ были забыты. День кончился шумно и весело—и Горохино заснуло, не предвидя, что ожидало его...

Съ восходомъ утренняго солнца жители были пробуждены стукомъ въ окошки и призываніемъ на мірскую сходку. Граждане, одинъ за другимъ, явились на дворъ приказной избы, служившей вѣчевою площадью. Глаза ихъ были мутны и красны, лица опухли; они зѣвая, и почесываясь, смотрѣли на человѣка въ картузѣ, въ старомъ голубомъ кафтанѣ, важно стоявшаго на крыльцѣ приказной избы,—и старались припомнить черты его, когда-то ими видѣнныя. Староста и земскій Авдѣй стояли подлѣ него безъ шапокъ, съ видомъ подобострастія и глубокой горести.

— Всѣ ли здѣсь?—спросилъ незнакомецъ.

— Всѣ ли ста здѣсь?—повторилъ староста.

— Всѣ ста,—отвѣчали граждане, а староста объявилъ, что отъ барина получена грамота, и приказалъ земскому прочесть во услышаніе міра.

Авдѣй выступилъ и прочелъ слѣдующее. (NB. Эту грозновѣщую грамоту списалъ я у Трифона старосты; у него же хранилась она въ кивотѣ вмѣстѣ съ другими памятниками владычества его надъ Горохинымъ).

Трифонъ Ивановъ!

Вручитель письма сего, повѣренный**, ѣдетъ въ отчину мою, село Горохино, для поступленія въ управленіе онаго. Немедленно по его прібытіи собрать мужиковъ и объявить имъ мою барскую волю, а именно: приказаній повѣреннаго моего** имъ, мужикамъ, слушаться, какъ моихъ собственныхъ, и все, чего онъ потребуетъ, исполнять безпрекословно; въ противномъ случаѣ имѣеть онъ** поступать съ ними со всевозможною строгостью. Къ сему понудило меня ихъ безсовѣстное непослушаніе и твое, Трифонъ Ивановъ, плутовское потворство.

Подписано N. N.

Тогда**, растопыря ноги на-подобіе хера и подбоченясь на-подобіе ферта, произнесъ слѣдующую краткую и выразительную рѣчь: „Смотрите жъ

вы у меня, не очень умничайте—вы, я знаю, народъ избалованный, да я, небось, выбью дурь изъ вашихъ головъ скорѣе вчерашняго хмеля“.

Хмеля уже не было ни въ одной головѣ, и горохинцы, какъ громомъ пораженные, повѣсили носы и съ ужасомъ разошлись по домамъ.

Правленіе приказчика**.

** принялъ бразды правленія. Онъ потребовалъ описъ крестьянамъ, раздѣлилъ ихъ на богачей и бѣдныхъ и приступилъ къ исполненію своей политической системы. Она заслуживаетъ особеннаго разсмотрѣнія.

Главнымъ основаніемъ ея была слѣдующая аксіома: чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смирнѣе. Вслѣдствіе сего ** старался о смирности вотчины, какъ о главной крестьянской добродѣтели: 1. Недоимки были разложены на всѣхъ зажиточныхъ мужиковъ и взыскиваемы съ нихъ со всевозможною строгостью. 2. Недостаточные и празднoлюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню; если же, по его расчетамъ, трудъ ихъ оказывался недостаточнымъ, то онъ отдавалъ ихъ въ батраки другимъ крестьянамъ, за что эти платили ему добровольную дань; а отдаваемые въ холопство имѣли полное право откупаться, заплативъ сверхъ недоимокъ двойной годовой оброкъ. Всякая общественная повинность падала на зажиточныхъ мужиковъ. Рекрутство же было торжествомъ корыстолюбивому правителю, ибо отъ него по очереди откупались всѣ богатые мужики, пока наконецъ выборъ не падалъ на негодя или разореннаго. Мірскія сходки были уничтожены. Оброкъ собиралъ онъ понемногу и круглый годъ сряду. Мужики, кажется, платили и не слишкомъ болѣе противу прежняго, но никакъ не могли ни наработать, ни накопить достаточно денегъ. Въ три года Горохино совершенно обнищало. Горохино приуныло, базаръ запустѣлъ, пѣсни Архипа Лысаго умоляли. Половина мужиковъ была на пашнѣ, другая служила въ батракахъ; ребятишки пошли по міру — и день храмового праздника сдѣлался, по выраженію лѣтописца, не днемъ радости и ликoванія, но годовщиною печали и поминанія горестнаго.

Изъ горохинскаго лѣтописца.

Посадилъ окаянный приказчикъ Антона Тимошеева въ желѣзы, а старикъ Тимошей сына откупилъ за 100 руб.; а приказчикъ заковалъ Петрушку Еремѣева, и того откупилъ отецъ за 68 руб.; а хотѣлъ окаянный сковать Леху Тарасова, но тотъ бѣжалъ въ лѣсъ, и приказчикъ о томъ весьма крушился и свирѣпствовалъ во словесахъ; а отвезли въ городъ и отдали въ рекруты Ваньку пьяницу.

ВРЕМЕНА ИСТОРИЧЕСКІЯ.

Страна (Горохинимъ называемая, по имени столицы своей: число жителей простирается до 63 душъ) занимаетъ на земномъ шарѣ болѣе 240 десятинъ. Къ сѣверу граничитъ она съ деревнями Дернуковымъ и Перкуховымъ (когого обитатели бѣдны, тощи и малорослы, а владѣльцы преданы воинственному упражненію зачѣй охоты); къ югу рѣка Сивка отдѣляетъ ее отъ владѣній Карачевскихъ вольныхъ хлѣбопашцевъ—сосѣдей безпокойныхъ, извѣстныхъ буйной жестокостью нравовъ; къ западу облегаютъ ее

цвѣтущія поля Захарьинскія, благоденствующія подъ властью мудрыхъ и просвѣщенныхъ помѣщиковъ; къ востоку примыкаетъ она къ дикимъ, необитаемымъ мѣстамъ, къ непроходимому болоту, гдѣ произрастаетъ одна клюква, гдѣ раздается лишь однообразное кваканіе лягушекъ и гдѣ суевѣрное преданіе предполагаетъ быть обиталищу нѣкоего бѣса.

NB. Сіе болото и называется Бѣсовскимъ. Рассказываютъ, будто одна полоумная пастушка стерегла стадо свиней недалеко отъ сего уединеннаго мѣста. Она сдѣлалась беременною и никакъ не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глазъ народный обвинилъ болотнаго бѣса; но эта сказка недостойна вниманія историка, и послѣ Нибура непросто было бы тому вѣрить.

Издrevле Горохино славилось своимъ плодородіемъ и благоденственнымъ климатомъ. На тучныхъ его нивахъ рожь, овесъ, ячмень и гречиха. Березовая роща и еловый лѣсъ снабжаютъ обитателей деревьями и валежникомъ на постройку и отопку жилищъ. Нѣтъ недостатка въ орѣхахъ, въ клюквѣ, брусникѣ и черникѣ. Грибы произрастаютъ въ необыкновенномъ количествѣ; изжаренные въ сметанѣ, представляютъ они пріятную, хотя и нездоровую пищу, Прудъ наполненъ карасями, а въ рѣкѣ Сивкѣ водятся щуки и налимы.

Обитатели Горохина большею частію росту средняго, сложенія крѣпкаго и мужественнаго; глаза ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе. Женщины отличаются носами, поднятыми нѣсколько вверхъ, выпуклыми скулами и дородностью.

NB. Баба здоровенная. Это выраженіе встрѣчается часто въ примѣчаніяхъ старосты къ ревизскимъ сказкамъ.

Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашиѣ), храбры, воинственны. Многие изъ нихъ ходятъ одни на медвѣдя и славятся въ окрестѣхъ кулачными бойцами; всѣ вообще склонны къ чувственному наслажденію пьянства. Женщины, сверхъ домашнихъ работъ, раздѣляютъ съ мужчинами большую часть ихъ трудовъ и не уступятъ имъ въ отважности: рѣдкая изъ нихъ боится старосты. Онѣ составляютъ мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барскомъ дворѣ, и называются *копейщицами* (отъ словенскаго слова *копе*). Главная обязанность копейщицъ—какъ можно чаще бить камнемъ въ чугунную доску и тѣмъ устрашать злоумышленіе. Онѣ столь же цѣломудренны, какъ и прелестны; на покушенія дерзновеннаго отвѣчаютъ сурово и выразительно.

Жители Горохина издавна производятъ обыкновенный торгъ лыками, лукошками и лаптями. Этому способствуетъ рѣка Сивка, черезъ которую весною переправляются они на челнокахъ, подобно древнимъ скандинавамъ, а въ прочее время года переходятъ въ бродъ, предварительно засучивъ нижнее платье до колѣнъ.

Языкъ горохинскій есть рѣшительно отрасль славянскаго, но столь же разнится отъ него, какъ и русскій. Онъ исполненъ сокращеніями и усѣченіями; нѣкоторые звуки вовсе въ немъ уничтожены или замѣнены другими. Однако жъ русскимъ легко понять горохинца и обратно.

Мужчины женаты обыкновенно на 18-мъ году на дѣвицахъ 20-лѣтнихъ. Жены били своихъ мужей въ теченіе четырехъ или пяти лѣтъ. Послѣ чего мужья уже начинали бить женъ, и такимъ образомъ оба пола имѣли свое время власти, и равновѣсіе было соблюдено.

Обряды похоронъ происходили слѣдующимъ образомъ. Въ самый день смерти—покойника относили на кладбище, дабы мертвый въ избѣ не занималъ напрасно лишняго мѣста. Отъ этого случалось, что, къ неописанной радости родственниковъ, мертвецъ чихалъ или зѣвалъ въ ту самую минуту, какъ его выносили въ гробъ за околицу. Жены оплакивали мужьевъ, воя и приговаривая: „свѣтъ, моя удалая головушка, на кого ты меня покинулъ? чѣмъ-то мнѣ тебя поминати“.—При возвращеніи съ кладбища начиналась тризна въ честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два: три дня или даже пѣлую недѣлю, смотря по усердію и привязанности къ его памяти. Эти древніе обряды сохраняются и понынѣ.

Одежда горохинцевъ состояла изъ рубахи, надѣваемой сверхъ нижняго платья, что есть отличительный признакъ ихъ славянскаго происхожденія. Зимой, носили они овчинные тулупы, но болѣе для красоты, нежели изъ настоящей нужды, ибо тулупъ обыкновенно надѣвали они на одно плечо и сбрасывали при малѣйшемъ трудѣ, требующемъ движенія.

Науки, искусства и поэзія издревле находились въ Горохинѣ въ довольно цвѣтущемъ состояніи. Сверхъ священника и церковныхъ причетниковъ, всегда водились въ немъ грамотеи. Лѣтопись упоминаетъ о земскомъ Терентѣ, жившемъ около 1767 года, умѣвшемъ писать не только правою, но и лѣвою рукою. Сей необыкновенный человѣкъ прославился въ околотеѣ сочиненіемъ всякаго рода писемъ, челобитныхъ, партикулярныхъ паспортовъ и т. п. Неоднократно пострадавъ за свое искусство, услужливость и участіе въ разныхъ замѣчательныхъ происшествіяхъ, онъ умеръ уже въ глубокой старости, въ то самое время, какъ пріучался писать правою ногою, ибо почерки обѣихъ рукъ его были уже слишкомъ извѣстны. Онъ играетъ (какъ читатель увидитъ послѣ) важную роль въ исторіи Горохина.

Музыка была всегда любимое искусство образованныхъ горохинцевъ; балалайка и волынка, услаждая чувство и сердце, и понынѣ раздаются въ ихъ жилищахъ, особенно въ древнемъ общественномъ зданіи, украшенномъ елкою и изображеніемъ двуглаваго орла.

Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ Горохинѣ. Доннынѣ стихотворенія Архипа Лысаго сохранились въ памяти потомства. Эти пѣсни заимствованы большею частью изъ русскихъ, сочиненныхъ солдатами-писателями и боярскими слугами, но приносившихъ очень искусно къ правамъ горохинскимъ и къ различнымъ обстоятельствамъ. Приведемъ въ примѣръ это сатирическое стихотвореніе:

Ко боярскому двору
Акимъ староста идетъ,
Бирки въ пазухѣ несетъ,
Боярину подаетъ;
А бояринъ смотритъ,
Ничего не смыслитъ.
Ахъ ты, староста Акимъ!
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село по міру пустилъ,
Старостиху подарилъ.

Въ нѣжности не уступая они эклогамъ извѣстнаго Виргилія; въ красотѣ воображенія далеко превосходятъ они идилліи Сумарокова, и хотя въ ще-

голеватости слога и уступаютъ новѣйшимъ произведеніямъ нашихъ музъ, но равняются съ ними затѣйливостью и остроуміемъ.

Образъ правленія въ Горохинѣ нѣсколько разъ измѣнялся. Оно попеременно находилось подъ властью старшинъ, выбранныхъ міромъ, приказчиковъ, назначенныхъ помѣщикомъ, и, наконецъ, непосредственно подъ рукою самихъ помѣщиковъ. Выгоды и невыгоды сихъ различныхъ образовъ правленія будутъ развиты мною въ теченіе моего повѣствованія.

Познакомя такимъ образомъ моего читателя съ этнографическимъ и статистическимъ состояніемъ Горохина и со нравами и обычаями его обитателей, приступимъ теперь къ самому повѣствованію...

Гоголь.

Изъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“.

Вечеръ наканунѣ Ивана Купала.

БЫЛЬ,

рассказанная дьячкомъ ***ской церкви.

Дѣдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ свѣтѣ ѣлись одни только буханки пшеничныя, да маковники въ меду!) умѣлъ чудно рассказывать. Бывало, поведетъ рѣчь,—цѣлый день не подвинулся бы съ мѣста и все бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынѣшнему балагуру, который какъ начнетъ *москала везть* *), да еще и языкомъ такимъ, будто ему три дня ѣсть не давали, то хоть берись за шапку, да изъ хаты. Какъ теперь помню,—покойная старуха, мать моя, была еще жива,—какъ въ долгій зимній вечеръ, когда на дворѣ трещалъ морозъ и замуравывалъ наглухо узенькое окно нашей хаты, сидѣла она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напѣвая пѣсню, которая какъ будто теперь слышится мнѣ. Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ. Веретено жужжало; а мы всѣ, дѣти, собравшись въ кучку, слушали дѣда, не слѣзавшаго отъ старости болѣе пяти лѣтъ съ своей печки. Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ рассказы про какое-нибудь старинное чудное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу и волосы ерошились на головѣ. Иной разъ страхъ, бывало, такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чѣмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей укалался спать выходецъ съ того свѣта. И, чтобы мнѣ не довелось рассказывать этого въ другой разъ, если я не принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, за свернувшася дьявола. Но главное въ рассказахъ дѣда было то, что въ жизнь свою онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скажетъ, то именно такъ и было.

*) Т. е. лгать.

Лѣтъ—куды!—болѣе чѣмъ за сто, говорилъ покойникъ дѣдъ мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый бѣдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ, не укрытыхъ, торчало то тамъ, то сямъ, посерединѣ поля. Ни плетня ни сарая порядочнаго, гдѣ бы поставить скотину, или возъ. Это жъ еще богачи такъ жили; а посмотрѣли бы на нашу братью, на голъ: вырытая въ землѣ яма—вотъ вамъ и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живетъ тамъ человѣкъ Божій. Вы спросите, отчего они жили такъ? Бѣдность не бѣдность: потому что тогда козаковалъ почти всякій и набиралъ въ чужихъ земляхъ не мало добра; а больше отъ того, не зачѣмъ было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всѣмъ мѣстамъ: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало тѣ, что и свои найдутъ кучами и обдираютъ своихъ же. Всего бывало.

Въ этомъ-то хуторѣ показывался часто человѣкъ, или, лучше, дьяволъ въ человѣческомъ образѣ. Откуда онъ, зачѣмъ приходилъ, никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и вдругъ пропадетъ, какъ въ воду, и слуху нѣтъ. Тамъ, глядь—снова будто съ неба упалъ, рыскаетъ по улицамъ села, котораго теперь и слѣду нѣтъ и которое было, можетъ, не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встрѣчныхъ козаковъ: хохотъ, пѣсни, деньги сыплются, водка—какъ вода... Пристанетъ, бывало, къ красивымъ дѣвушкамъ: надаритъ лентъ, серегъ, монистъ—дѣвать некуда! Правда, что красныя дѣвушки немного призадумывались, принимая подарки: Богъ знаетъ, можетъ, въ самомъ дѣлѣ перешли они черезъ нечистыя руки. Родная тетка моего дѣда, содержавшая въ то время шинокъ по нынѣшней Опошнянской дорогѣ, въ которомъ часто разгульничалъ Басаврюкъ (такъ называли этого бѣсовскаго человѣка), именно говорила, что ни за какія благополучія въ свѣтѣ не согласилась бы принять отъ него подарковъ. Опять, какъ же и не взять?—всякаго проберетъ страхъ, когда нахмуритъ онъ, бывало свои щетинистыя брови и пустить исподобья такой взглядъ, что, кажется, унесъ бы ноги Богъ знаетъ куда; а возьмешь, такъ на другую же ночь и тащится въ гости какой-нибудь пріятель изъ болота, съ рогами на головѣ, и давай душить за шею, когда на шеѣ монисто, кусать за палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда вплетена въ нее лента. Богъ съ ними тогда, съ этими подарками! Но вотъ бѣда—и отвязаться нельзя: бросишь въ воду—плыветъ чертовскій перстень или монисто поверхъ воды, и къ тебѣ же въ руки.

Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не святого Пантелея. Жилъ тогда при ней іерей, блаженной памяти отецъ Аеанасій. За мѣтивъ, что Басаврюкъ и на Свѣтлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ-было пожурить его, наложить церковное покаяніе. Куда! насилу ноги унесъ. „Слушай, *паночка!*“ загремѣлъ онъ ему въ отвѣтъ: „знай лучше свое дѣло, чѣмъ мѣшаться въ чужія, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залѣплено горячею кутьею!“ Что дѣлать съ окаяннѣлымъ? Отецъ Аеанасій объявилъ только, что всякаго, кто спознается съ Басаврюкомъ, станетъ считать за католика, врага Христовой церкви и всего человѣческаго рода.

Въ томъ селѣ былъ у одного козака, прозвищемъ Коржа, работникъ, котораго люди звали Петромъ Безроднымъ,—можетъ, оттого, что никто не помнилъ ни отца его, ни матери. Староста церкви говорилъ, правда, что они на другой же годъ померли отъ чумы; но тетка моего дѣда знать этого не хотѣла и всѣми силами старалась надѣлать его родней, хотя бѣдному

Петру было въ ней столько нужды, сколько намъ въ прошлогоднемъ снѣгѣ. Она говорила, что отецъ его и теперь на Запорожьи, былъ въ плѣну у турокъ, натерпѣлся мукъ Богъ знаетъ какихъ и какимъ-то чудомъ, перелѣзши въ евнухомъ, далъ тягу. Чернобровымъ дивчатамъ и молодикамъ мало было нужды до родни его. Онѣ говорили только, что если бы одѣтъ его въ новый жупанъ, затянуть краснымъ поясомъ, надѣтъ на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привѣсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправѣ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всѣхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то бѣда, что у бѣднаго Петруся всего-на-все была одна сѣрая свитка, въ которой было больше дыръ, чѣмъ у иного жиды въ карманѣ злотыхъ. И это бы еще не большая бѣда, а вотъ бѣда: у старика Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю, врядъ ли доставалось намъ видывать. Тетка покойнаго дѣда рассказывала, — а женщины, сами знаете, легче поцѣловаться съ чортомъ, не во гнѣвъ будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькія щеки козачки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвѣта, когда, умывшись Божьею росой, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только-что поднявшимся солнышкомъ; что брови, словно черные шнурочки, какіе покупаютъ теперь для крестовъ и дукаловъ дѣвушки наши у проходящихъ по селамъ съ коробками москалей, ровно нагнувшись, какъ будто глядѣлись въ ясныя очи; что ротикъ, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и созданъ былъ, чтобы выводить соловьиныя пѣсни; что волосы ея, черные, какъ крылья вѣрона, и мягкіе, какъ молодой ленъ (тогда еще дѣвушки наши не заплетали ихъ въ дрибушки, перевивая красивыми, яркими цвѣтовъ, синдичками), падали курчавыми кудрями на шитый золотомъ кунтушъ. Эхъ! Не доведи Господь возглашать мнѣ больше на клиросѣ аллилуя, если бы, вотъ тутъ же, не расцѣловалъ ея, несмотря на то, что сѣдъ пробирается по всему старому лѣсу, покрывающему мою макушку, и подъ бокомъ моя старуха, какъ бѣльмо въ глазу. Ну, если гдѣ парубокъ и дѣвка живутъ близко одинъ отъ другого... сами знаете, чтó выходитъ. Бывало, ни свѣтъ, ни заря, подковы красныхъ сапоговъ и примѣтны на томъ мѣстѣ, гдѣ раздобаривала Пидорка съ своимъ Петрусемъ. Но все бы Коржу и въ умъ не пришло что-нибудь недоброе, да разъ, — ну, это уже и видно, что не кто другой, какъ лукавый дернулъ, — вздумалось Петрусю, не осмотрѣвшись хорошенько въ сѣняхъ, влѣпить поцѣлуй, какъ говорятъ отъ всей души, въ розовыя губки козачки, и тотъ же самый лукавый, — чтобы ему, собачьему сыну, приснился крестъ святой! — настроилъ сдуру старика хрѣна отворить дверь хаты. Одеревянѣлъ Коржъ, разинувъ ротъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцѣлуй, казалось, оглушилъ его совершенно. Ему почудился онъ громче, чѣмъ ударъ макогона объ стѣну, которымъ обыкновенно въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за неимѣніемъ фузеи и пороха.

Очнувшись, снялъ онъ со стѣны дѣдовскую нагайку и уже хотѣлъ было покропить ею спину бѣднаго Петра, какъ откуда ни возмись шестилѣтній братъ Пидоркинъ, Ивась, прибѣжалъ и въ испугѣ схватилъ ручонками его за ноги, закричавъ „Тятя, тятя! не бей Петруся!“ Что прикажешь дѣлать? У отца сердце не каменное: повѣсивши нагайку на стѣну, вывелъ онъ его потихоньку изъ хаты: „Если ты мнѣ когда-нибудь покажешься въ хатѣ, или хоть только подъ окнами, то слушай, Петро: ей-Богу, пропадутъ чер-

ные усы, да и оселедец твой,—вотъ уже онъ два раза обматывается около уха,—не будь я Терентій Коржъ, если не распрощается съ твоею макушкой!“ Сказавши это, далъ онъ ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что Петрусь, не взирая земли, полетѣлъ стремглавъ. Вотъ тебѣ и доцѣловались! Взяла кручина нашихъ голубковъ; а тутъ и слухъ по селу, что къ Коржу повадился ходить какой-то ляхъ, обшитый золотомъ, съ усами, съ саблею, со шпорами, съ карманами, бренчавшими какъ звонокъ отъ мѣшечка, съ которымъ понамарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый день по церкви. Ну, извѣстно, зачѣмъ ходять къ отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вотъ, одинъ разъ Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: „Ивасю мой любимый! бѣги къ Петрусь, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; Расскажи ему все: любила-бъ его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велить судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила горючими слезами. Топно мнѣ, тяжело на сердцѣ. И родной отецъ—врагъ мнѣ: неволить итти за нелюбаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовить, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будутъ дядки пѣть, вмѣсто кобзъ и сопилокъ. Не пойду я танцевать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня. Темная, темная моя будетъ хата!—изъ [кленоваго дерева, и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ!“

Съ горя побрелъ Петръ въ шинокъ.

Тетка покойнаго дѣда немного изумилась, увидѣвши Петруся въ шинкѣ, да еще въ такую пору, когда добрый человѣкъ идетъ къ заутрени, и выпучила на него глаза, какъ будто спросонья, когда потребовалъ онъ кухоль сивухи, мало не съ полведра. Только напрасно думалъ бѣдняжка залить свое горе. Водка щипала его за языкъ, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинулъ отъ себя кухоль на землю. „Полно горевать тебѣ, козакъ!“ загремѣло что-то басомъ надъ нимъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая ораина! Волосы—щетина, очи—какъ у вола. „Знаю, чего недостаетъ тебѣ: вотъ чего!“ Тутъ брякнулъ онъ съ бѣсовскою усмѣшкою кожанымъ, висѣвшимъ у него вождъ пояса, кошелекомъ. Вадрогнулъ Петро. „Ге, ге, ге! да какъ горить!“ заревѣлъ онъ, пересыпая на руку червонцы: „Ге, ге, ге! да какъ звенить! А вѣдь и дѣла только одного потребуютъ за цѣлую гору такихъ цяпекъ“. — „Дьяволъ!“ закричалъ Петро. „Давай его! на все готовъ!“ Хлопнули по рукамъ. „Смотри, Петро, ты поспѣлъ какъ разъ впору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь въ году и цвѣтеть напоротникъ. Не прозѣвай! я тебя буду ждать о полночи въ Медвѣжьемъ оврагѣ“.

Я думаю, куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера. То и дѣло, что смотрѣлъ, не становился ли тѣнь отъ дерева длиннѣе, не румянится ли понизившееся солнышко, и чѣмъ далѣе, тѣмъ нетерпѣливѣй. Экая долгота! Видно, день Божій потерялъ гдѣ-нибудь конецъ свой. Вотъ уже и солнца нѣтъ. Небо только краснѣетъ на одной сторонѣ. И оно уже тускнѣетъ. Въ полѣ становится холоднѣй. Примерзаетъ, примерзаетъ и — смерклось. Насилу! Съ сердцемъ, только-что не хотѣвшимъ выскочить изъ груди, собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ лѣсомъ въ глубокой яръ, называемый Медвѣжьимъ оврагомъ. Басаврюкъ уже поджидалъ тамъ. Темно, хоть въ глаза выстрѣли. Рука объ руку, пробирались они по топкимъ болотамъ, цѣпляясь за густо разросшійся терновникъ и спотыкаясь почти на каждомъ шагѣ. Вотъ и ровное мѣсто. Оглядѣлся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тутъ остановился и Басаврюкъ.

„Видишь ли ты, стоять передъ тобою три пригорка? Много будетъ на нихъ цвѣтовъ разныхъ; но сохрани тебя нездѣшная сила сорвать хоть одинъ. Только же зацвѣтетъ папоротникъ, хватай его и не оглядывайся, что бы тебѣ позади ни чудилось“.

Петро хотѣлъ-было спросить... глядь—и нѣтъ уже его. Подошелъ къ тремъ пригоркамъ; гдѣ же цвѣты? Ничего не видать. Дикій бурьянъ чернѣлъ кругомъ и глушилъ все своею густотою. Но вотъ блеснула на небѣ зарница, и передъ нимъ показалась цѣлая гряда цвѣтовъ! все чудныхъ, все невиданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника. Поусумнился Петро и въ раздумьи сталъ передъ ними, подпершись обѣими руками въ боки.

„Что же тутъ за невидальщина? Десять разъ на день, случается, видишь это зелье: какое жъ тутъ диво? Не вдумала ли дьявольская рожа посмѣяться?“

Глядь—краснѣетъ маленькая цвѣточная почка и, какъ будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ чудно! Двигается и становится все больше, больше, и краснѣетъ, какъ горячій уголь. Вспыхнула звѣздочка, что-то тихо затрепало—и цвѣтокъ развернулся передъ его очами, словно пламя, освѣтивъ и другіе около себя.

„Теперь пора!“ подумалъ Петро и протянулъ руку. Смотрить, таятся изъ-за него сотни мохнатыхъ рукъ также къ цвѣтку, а позади его что-то перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто. Зажмуривъ глаза, дернулъ онъ за стебелекъ и цвѣтокъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На пнѣ показался сидящимъ Басаврюкъ весь синій, какъ мертвецъ. Хоть бы пошевелился однимъ пальцемъ. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; ротъ вполонину разинутъ, и ни отвѣта. Вокругъ не шелохнетъ. Ухъ, страшно!.. Но вотъ послышался свистъ, отъ котораго захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумѣла, цвѣты начали между собою разговаривать голоскомъ тоненькимъ, словно серебряные колокольчики; деревья загремѣли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдругъ ожило, очи сверкнули. „Насилу воротилась, яга!“ проворчалъ онъ сквозъ зубы. „Гляди, Петро, станеть передъ тобою сейчасъ красавица: дѣлай все, что ни прикажетъ, не то пропадѣ навѣки!“ Тутъ раздѣлилъ онъ суковатою палкою кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка, какъ говорится, на курьихъ ножкахъ. Басаврюкъ ударилъ кулакомъ, и стѣна зашаталась. Большая черная собака выбѣжала навстрѣчу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку, кинулась въ глаза имъ. „Не бѣсись, не бѣсись, старая чертовка!“ проговорилъ Басаврюкъ, приправивъ такимъ словцомъ, что добрый человѣкъ и уши бы заткнулъ. Глядь, вмѣсто кошки, старуха съ лицомъ сморщившимся, какъ печеное яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ словно щипцы, которыми щелкають орѣхи. „Славная красавица!“ подумалъ Петро, и мурашки пошли по спинѣ его. Вѣдьма вырвала у него цвѣтокъ изъ рукъ, наклонилась и что-то долго шептала надъ нимъ, вспыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изъ рта, пѣна показалась на губахъ. „Бросай!“ сказала она, отдавая цвѣтокъ ему. Петро подбросилъ, и, что за чудо? цвѣтокъ не упалъ прямо, но долго казался огненнымъ шарикомъ посреди мрака и, словно лодка, плавалъ по воздуху; наконецъ, потихоньку началъ спускаться ниже и упалъ такъ далеко, что едва примѣтна была звѣздочка, не больше макового зерна. „Здѣсь!“ глухо прохрипѣла старуха, а Басаврюкъ, подавая ему заступъ, примолвилъ: „Копай здѣсь, Петро; тутъ увидишь ты столько золота, сколько ни тебѣ, ни Коржу не снилось“. Петро, поплевавъ въ руки, схватилъ за-

ступь, надавилъ ногою и выворотилъ землю, въ другой, въ третій, еще разъ... Что-то твердое!.. Заступъ звенить и нейдетъ далѣе. Тутъ глаза его ясно начали различать небольшой, окованный жѣлѣзомъ сундукъ. Уже хотѣлъ онъ было достать его рукою, но сундукъ сталъ уходить въ землю, и все, чѣмъ далѣе, глубже, глубже; а позади его слышался хохотъ, болѣе схожій съ змѣинымъ шипѣньемъ. „Нѣтъ, не видать тебѣ золота, покажѣшь не достанешь крови человѣческой!“ сказала вѣдьма и подвела къ нему дитя, лѣтъ шести, накрытое бѣлою простынею, показывая знакомъ, чтобы онъ отсѣкъ ему голову. Остолбенѣлъ Петро. Малость, отрѣзать ни за что, ни про что человѣку голову, да еще и безвинному ребенку! Въ сердцахъ, сдернулъ онъ простыню, закрывавшую его голову, и что же? Передъ нимъ стоялъ Ивасъ. И ручонки сложило бѣдное дитя на-крестъ, и головку повѣсило... Какъ бѣшеный, подскочилъ съ ножомъ къ вѣдьмѣ Петро и уже занесъ-было руку...

„А что ты обѣщалъ за дѣвушку?..“ грянулъ Басаврюкъ и словно пулю посадилъ ему въ спину. Вѣдьма топнула ногою: синее пламя выхватилося изъ земли; середина ея вся освѣтилась и стала какъ будто изъ хрусталя вылита, и все, что ни было подъ землею, сдѣлалось видимо, какъ на ладони. Червонцы, дорогіе камни въ сундукахъ, въ котлахъ, груды были навалены подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ они стояли. Глаза его загорѣлись... умъ помутился... Какъ безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брызнула ему въ очи... Дьявольскій хохотъ загремѣлъ со всѣхъ сторонъ. Безобразныя чудища стаями скакали передъ нимъ. Вѣдьма, вцѣпившись руками въ обезглавленный трупъ, какъ волея, пила изъ него кровь... Все пошло кругомъ въ головѣ его! Собравши всѣ силы, бросился онъ бѣжать. Все покрылось передъ нимъ краснымъ свѣтомъ. Деревья всѣ въ крови, казалось, горѣли и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молніи, мерещились въ его глазахъ. Выбившись изъ силъ, вбѣжалъ онъ въ свою лачужку и, какъ спопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ охватилъ его.

Два дня и двѣ ночи спалъ Петро безъ просыпу. Очнувшись на третій день, долго осматривалъ онъ углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была какъ карманъ стараго скряги, изъ котораго полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышалъ онъ, что въ ногахъбрякнуло. Смотритъ: два мѣшка съ золотомъ. Тутъ только, будто сквозъ сонъ, вспомнилъ онъ, что искалъ какого-то клада, что было одному ему страшно въ лѣсу... Но за какую цѣну, какъ достался онъ,—этого никакимъ образомъ не могъ понять.

Увидѣвъ Коржъ мѣшки и—разнѣжился. „Сякой, такой Петрусь, незачинный! Да я ли не любилъ его? Да не былъ ли у меня онъ, какъ сынъ родной?“ И понесъ хрычъ небывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, какъ проходившіе мимо цыгане украли Иваса; но Петро не могъ даже вспомнить его: такъ обморочила проклятая бѣсовщина! Мѣшкать было незачѣмъ. Поляку дали подъ носъ дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишекъ, нашили ручниковъ и хустокъ, выкатили бочку горѣлки, посадили за столъ молодыхъ, разрѣзали коровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы—и пошла потѣха...

Въ старину свадьба водилась не въ сравненіе съ нашею. Тетка моего дѣда, бывало, расскажетъ—люди только! Какъ дѣвчата, въ нарядномъ головномъ уборѣ, изъ желтыхъ, синихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался золотой галунъ, въ тонкихъ рубашкахъ, вышитыхъ по всему

шву краснымъ шелкомъ и унизанныхъ мелкими серебряными цвѣточками, въ сафьянныхъ сапогахъ на высокихъ желѣзныхъ подковахъ, плавно, словно павы, и съ шумомъ, что вихорь, скакали въ горнищѣ. Какъ молодицы, съ корабликомъ на головѣ, котораго верхъ сдѣланъ былъ весь изъ сутозолотой парчи, съ небольшимъ вырѣзомъ на затылкѣ, откуда выглядывалъ золотой очипокъ, съ двумя выдавшимися, одинъ напередъ, другой назадъ, рожками самого мелкаго чернаго смушка, въ синихъ, изъ лучшаго полутабенеку, съ красными клапанами, кунтушахъ, важно подбоченившись, выступали по-одиночкѣ и мѣрно выбивали гопака. Какъ парубки, въ высокихъ козацкихъ шапкахъ, въ тонкихъ суконныхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми серебромъ поясами, съ люльками въ зубахъ, разсыпались передъ ними мелкимъ бѣсомъ и подпускали турусы. Самъ Коржъ не утерпѣлъ, глядя на молодыхъ, чтобъ не тряхнуть стариною. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вмѣстѣ припѣвая, съ чаркою на головѣ, пустился старичина, при громкомъ крикѣ гулякъ, въ присядку. Чего не выдумаютъ навеселѣ? Начнутъ, бывало, наряжаться въ хари, — Боже ты мой, на человѣка не похожи! Ужъ не чета нынѣшнимъ переодѣваньямъ, что бывають на свадьбахъ нашихъ. Что теперь? только что корчатъ цыганокъ да москалей. Нѣтъ, вотъ, бывало, одинъ одѣнется жидомъ, а другой чортомъ, начнутъ сперва цѣловаться, а послѣ ухватятся за чубы... Богъ съ вами! Смѣхъ нападаетъ такой, что за животъ хватаешься. Поодѣнутся въ турецкія и татарскія платья; все горитъ на нихъ, какъ жарь... А какъ начнутъ дурить да строить штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ теткой покойнаго дѣда, которая сама была на этой свадьбѣ, случилась забавная исторія: была она одѣта тогда въ татарское широкое платье-и, съ чаркою въ рукахъ, угощала собраніе. Вотъ, одного дернулъ лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, непромахъ, высѣкъ въ ту же минуту огня, да и поджегъ... пламя вспыхнуло: бѣдная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя, при всѣхъ, платье... Шумъ, хохотъ, ералашъ поднялся, какъ на ярмаркѣ. Словомъ, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ панею. Всего вдоволь, все блеститъ... Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье ихъ. „Отъ чорта не будетъ добра“, поговаривали всѣ въ одинъ голосъ. „Откуда, какъ не отъ искустеля люда православнаго, пришло къ нему богатство? Гдѣ ему было взять такую кучу золота? Отчего, вдругъ, въ самый тотъ день, когда разбогатѣлъ онъ, Басаврюкъ пропалъ, какъ въ воду?“ — Говорите же, что люди выдумываютъ! Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, не прошло мѣсяца, Петруся никто узнать не могъ.

Онъ заскучалъ, сталъ томиться.

Чего ни дѣлала Пидорка: и совѣщалась съ знахарями, и переполохъ выливали, и соняшницу заваривали *)—ничто не помогало. Такъ прошло и лѣто. Много козаковъ обкосилось и обжалось; много козаковъ, поразгульѣе

*) Выливають переполохъ у насъ въ случаѣ испуга, когда хотятъ узнать, отчего приключился онъ: бросаютъ расплавленное олово или воскъ въ воду, и чье примутъ они подобіе, то самое перепугало больного, послѣ чего и весь испугъ проходитъ. Завариваютъ соняшницу отъ дурноты и боли въ животѣ. Для этого зажигаютъ кусокъ пеньки, бросаютъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ миску, наполненную водою и поставленную на животѣ больного; потомъ, послѣ нашептываній, даютъ ему выпить ложку этой воды.

другихъ, и въ походъ потянулось. Стаи утокъ еще толпились на болотахъ нашихъ; но крапивянокъ уже и въ поминъ не было. Въ степяхъ покраснѣло. Скирды хлѣба то тамъ, то сямъ, словно козацкія шапки, пестрѣли по полю. Попадались по дорогѣ и возы, наваленныя хворостомъ и дровами. Земля сдѣлалась крѣпче и мѣстами стала прохватываться морозомъ. Уже и снѣгъ началъ сѣяться съ неба, и вѣтки деревъ убрались инеемъ, будто заячьимъ мѣхомъ. Вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снігирь, словно щеголеватый польскій шляхтичъ, прогуливался по снѣговымъ кучамъ, вытаскивая зерно, и дѣти огромными кіями гоняли по льду деревянные кубари, между тѣмъ какъ отцы ихъ спокойно вылеживались на печкѣ, выходя по временамъ, съ зажженною люлькою въ зубахъ, ругнуть добрымъ порядкомъ православный морозецъ, или провѣтриться и промолотить въ снѣгахъ залежалый хлѣбъ. Наконецъ, снѣга стали таять, и *щука хвостомъ ледъ расколотила.*

Петру дѣлалось все хуже; наконецъ, съ нимъ начались приступы бѣшенства.

Что это за напасть Божія? Жизнь не въ жизнь стала Пидоркѣ. Страшно ей было оставаться сперва одной въ хатѣ, да послѣ свылась, бѣдняжка, съ своимъ горемъ. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмѣшки; изныла, исчахла, выплакались ясныя очи. Разъ, кто-то уже, видно, сжалился надъ ней, посоветовалъ итти къ колдунѣ, жившей въ Медвѣжьемъ оврагѣ, про которую ходила слава, что умѣетъ лѣчить всѣ на свѣтѣ болѣзни. Рѣшилась попробовать послѣднее средство; слово за слово, уговорила старуху итти съ собою. Это было ввечеру, какъ разъ наканунѣ Купала. Петро въ безпамятствѣ лежалъ на лавкѣ и не примѣчалъ вовсе новой гостыи. Какъ вотъ, мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться. Вдругъ весь задрожалъ, какъ на плахѣ: волосы поднялись горою... и онъ засмѣялся такимъ хохотомъ, что страхъ врѣзался въ сердце Пидорки. „Вспомнилъ, вспомнилъ!“ закричалъ онъ въ страшномъ весельи и, размахнувши топоръ, пустилъ имъ изо всей силы въ старуху. Топоръ на два вершка вбѣжалъ въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лѣтъ семи, въ бѣлой рубашкѣ, съ накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетѣла. „Ивась!“ закричала Пидорка и бросилась къ нему; но привидѣніе все, съ ногъ до головы, покрылось кровью и освѣтило всю хату краснымъ свѣтомъ... Въ испугѣ выбѣжала она въ сѣни; но, опомнившись немного, хотѣла-было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею такъ крѣпко, что не подъ-силу было отпереть. Сбѣжались люди; принались стучать; высадили дверь; хоть бы душа одна! Вся хата полна дыма, и посерединѣ только, гдѣ стоялъ Петрусь, куча пеплу, отъ котораго мѣстами подымался еще паръ. Кинулись къ мѣшкамъ: одни битые черепки лежали вмѣсто червонцевъ. Выпуча глаза и разинувъ рты, не смѣя пошевелинуть усомъ, стояли козаки, будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело на нихъ это диво.

Что было далѣе, не вспомню. Пидорка дала обѣтъ итти на богомолье; собрала оставшееся послѣ отца имущество, и чрезъ нѣсколько дней ея, точно, уже не было на селѣ. Куда ушла она, никто не могъ сказать. Услужливыя старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но приѣхавшій изъ Кіева козакъ рассказалъ, что видѣлъ въ лаврѣ монахиню, всю высохшую, какъ скелетъ, и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всѣмъ примѣтамъ, узнали Пидорку; что будто еще никто не слыхалъ

отъ нея ни одного слова; что пришла она пѣшкомъ и принесла окладъ къ иконѣ Божіей Матери, испѣченный такими яркими камнями, что всё зажмурились, на него глядя.

Майская ночь, или утопленница.

I.

Г а н н а.

Звонкая пѣсня лилась рѣкою по улицамъ села***. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и дѣвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескѣ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныньемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль. Уже и сумерки, а пѣсни все не утихали. Съ бандурою въ рукахъ, пробирался ускользнувшій отъ пѣсельниковъ молодой козакъ Левко, сынъ сельского головы. На козакѣ рѣшетилловская шапка. Козакъ идетъ по улицѣ, бренчитъ рукою по струнамъ и подплясываетъ. Вотъ онъ тихо остановился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заигралъ онъ и запѣлъ:

Солнце нызенько, вечеръ близенько,
Выйды до мене, мое серденько!

„Нѣтъ, видно, крѣпко заснула моя яснокая красавица“, сказалъ козакъ, окончивши пѣсню и приближаясь къ окну. „Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты боишься, вѣрно, чтобы насъ кто не увидѣлъ, или не хочешь, можетъ быть, показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: никого нѣтъ; вечеръ тепелъ. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своимъ поясомъ, закрою руками тебя — и никто насъ не увидитъ. Но если бы и повѣяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогрѣю поцѣлуями, надѣну шапку свою на твои бѣленькія ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Просунь сквозь окошечко хоть бѣлую свою ручку... Нѣтъ, ты не спишь, гордая дивчина!“ проговорилъ онъ громче и такимъ голосомъ, какимъ выражаетъ себя устыдившійся мгновеннаго униженія: „тебѣ любо надѣваться надо мною: прощай!“

Тутъ онъ отворотился, насунулъ набекрень свою шапку и гордо отошелъ отъ окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери въ это время заverteлась: дверь распахнулась со скрипомъ, и дѣвушка, на порѣ семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила черезъ порогъ. Въ полумрачномъ мракѣ горѣли привѣтно, будто звѣздочки, ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ея.

„Какой же ты нетерпѣливый!“ говорила она ему вполголоса: „Уже и разсердился! Зачѣмъ выбрать ты такое время? Толпа народу шатается то и дѣло по улицамъ... Я вся дрожу“...

„О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мнѣ покрѣпче!“ говорил парубокъ, обнимая ее, отбросивъ бандуру, висѣвшую на длинномъ ремнѣ у него на шеѣ, и садясь вмѣстѣ съ нею у дверей хаты. „Ты знаешь, что мнѣ и часу не видать тебя горько“.

„Знаешь ли, что я думаю?“ прервала дѣвушка, задумчиво уставивъ въ него свои очи. „Мнѣ все что-то будто на ухо шепчетъ, что впередъ намъ не видаться такъ часто. Недобрые у васъ люди: дѣвушки всѣ глядятъ такъ завистливо, а парубки... Я примѣчаю даже, что мать моя съ недавней поры стала суровѣе приглядывать за мною. Признаюсь, мнѣ веселѣе у чужихъ было“.

Какое-то движеніе тоски выразилось на лицѣ ея при послѣднихъ словахъ.

Молодые люди жалобятся, что отецъ Левко не позволяетъ сыну жениться; Левко успокаиваетъ дѣвушку, говоря, что уломаетъ отца.

„Да тебѣ только стоитъ, Левко, слово сказать—и все будетъ по-твоему. Я знаю это по себѣ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово—и невольно дѣлаю, что тебѣ хочется. Посмотри, посмотри!“ продолжала она, положивъ голову на плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, гдѣ обязательно синѣло теплое украинское небо, завѣшенное снизу кудрявыми вѣтвями стоявшихъ передъ ними вишенъ. „Посмотри, вонъ-вонъ далеко мелькнули звѣздочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, вѣдь это ангелы Божіи поотворяли окошечки своихъ свѣтлыхъ домиковъ на небѣ и глядятъ на насъ? Да, Левко? Вѣдь это они глядятъ на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, какъ у птицъ,—туда бы полетѣть высоко-высоко... Ухъ, страшно! Ни одинъ дубъ не достанетъ до неба. А говорятъ, однако-же, есть гдѣ-то, въ какой-то далекой землѣ, такое дерево, которое шумитъ вершиною въ самомъ небѣ, и Богъ сходитъ по немъ на землю ночью передъ Свѣтлымъ праздникомъ“.

„Нѣтъ, Ганю; у Бога есть длинная лѣстница отъ неба до самой земли. Ее становятъ передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ святыя архангелы, и какъ только Богъ ступитъ на первую ступень, всѣ нечистые духи полетятъ стрѣмглавъ и кучами попадаютъ въ пекло, и оттого на Христовъ праздникъ ни одного злого духа не бываетъ на землѣ“.

„Какъ тихо колышется вода, будто дитя въ люлькѣ!“ продолжала Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и оплакиваемый вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вѣтви. Какъ безсиленный старецъ, держалъ онъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далекое темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненные звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи. Возлѣ лѣса, на горѣ, дремалъ съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ; мохъ и дикая трава покрывали его крышу; кудрявыя яблони разрослись передъ его окнами; лѣсъ, обнимая свою тѣнь, бросалъ на него дикую мрачность; орѣховая роща сталась у подножія его и скатывалась къ пруду.

„Я помню, будто сквозь сонъ“, сказала Ганна, не спуская глазъ съ него: „давно-давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про домъ этотъ. Левко, ты вѣрно знаешь; расскажи!..“

„Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не расскажутъ бабы и народъ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться и не заснетъ тебѣ покойно“.

„Разскажи, расскажи, милый, чернобровый парубокъ!“ говорила она, прижимаясь лицомъ своимъ къ щекамъ его и обнимая его. „Нѣтъ, ты, видно, не любишь меня; у тебя есть другая дѣвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!“...

Левко рассказываетъ ей мѣстное повѣріе о томъ, какъ у одной панночки была жестокая мачиха-вѣдьма; панночка съ горя утопилась и сдѣлалась русалкой; однажды ей удалось утопить вѣдьму-мачиху, но та обратилась тоже въ русалку и смѣшалась съ подругами русалки-панночки, такъ что та не могла отличить вѣдьмы отъ своихъ подругъ.

II.

Голова.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мѣсяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнѣе; горитъ и дышитъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ; и чудный воздухъ и прохладно-душентъ, и полонъ нѣги, и движетъ океанъ благоуханій. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали лѣса, полные мрака, и кинули огромную тѣнь отъ себя. Тихи и покойны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заключенъ въ темно-зеленыя стѣны садовъ. Дѣвственные чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ и изрѣдка лепечуть листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный вѣтренникъ—ночной вѣтеръ, подкравшись мгновенно, дѣлуетъ ихъ. Бесъ ландшафтъ спитъ. А вверху все дышитъ; все дивно, все торжественно. А на душѣ и необъятно, и чудно, и толпы серебряныхъ видѣній стройно возникаютъ въ ея глубинѣ. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все ожило: и лѣса, и пруды, и степи. Сыщется величественный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мѣсяцъ заслушался его посреди неба... Какъ очарованное, дремлетъ на возвышеніи село. Еще бѣлѣе, еще лучше блестятъ при мѣсяцѣ толпы хатъ; еще ослѣпительнѣе вырѣзываются изъ мрака низкія ихъ стѣны. Пѣсни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спятъ. Гдѣ-гдѣ только свѣтятся узенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хатъ запоздалая семья совершаетъ свой поздній ужинъ.

„Да, гопакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Что жъ это рассказываетъ кумъ?.. А, ну: гоць трала! гоць трала! гоць, гоць, гоць!“ Такъ разговаривалъ самъ съ собою подгулявшій мужикъ среднихъ лѣтъ, танцуя по улицѣ. „Ей-Богу, не такъ танцуется гопакъ! Что мнѣ лгать? Ей-Богу, не такъ! А, ну: гоць трала! гоць трала! гоць, гоць, гоць!“

„Вотъ одурѣлъ человекъ! Добро бы еще хлопецъ какой, а то старый кабанъ, дѣтямъ на-смѣхъ, танцуетъ ночью по улицѣ!“ вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ рукѣ соломѣ. „Ступай въ хату свою! Пора спать давно!“

„Я пойду!“ сказалъ, остановившись, мужикъ. „Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что онъ думаетъ, дидько бѣ утылся его батькови, что онъ голова, что онъ обливааетъ людей на морозѣ холодною водою, такъ и носъ поднялъ! Ну, голова, голова. Я самъ себѣ голова. Вотъ, убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себѣ голова. Вотъ что, а не то что...“ про-

должалъ онъ, подходя къ первой попавшейся хатѣ, и остановился передъ окошкомъ, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. „Баба, отворяй! Баба, живѣй, говорятъ тебѣ, отворяй! Козаку спать пора!“

„Куда ты, Каленикъ? Ты въ чужую хату попалъ“, закричали, смѣясь, позади его дѣвушки, ворочавшіяся съ веселыхъ пѣсней. „Показать тебѣ твою хату?“

„Покажите, любезныя молодушки!“

„Молодушки? Слышите ли“, подхватила одна: „какой учтивый Каленикъ? За это ему нужно показать хату... но нѣтъ, напередъ потанцуй“.

„Потанцовать?... эхъ, вы замысловатыя дѣвушки!“ протяжно произнесъ Каленикъ, смѣясь и грозя пальцемъ и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одномъ мѣстѣ. „А дадите перецѣловать себя? Всѣхъ перецѣлую, всѣхъ!...“ И косвенными шагами пустился бѣжать за ними. Дѣвушки подняли крикъ, перемѣшались; но послѣ, ободрившись, перебѣжали на другую сторону, увидя, что Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.

„Вонъ твоя хата!“ закричали онъ ему, уходя и показывая на избу, гораздо побольше прочихъ, принадлежавшую сельскому головѣ. Каленикъ послушно побрелъ въ ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этотъ голова, возбуждившій такіе невыгодные о себѣ толки и рѣчи? О! этотъ голова важное лицо на селѣ! Все село, завидѣвши его, беретъ за шапки; а дѣвушки, самыя молоденькія, отдають *добридень*. Кто бы изъ парубковъ не захотѣлъ быть головою? Голова открытъ свободный ходъ во всѣ тавлинки, и дюжій мужикъ почтительно стоитъ, снявши шапку, во все продолженіе, когда голова запускаетъ свои толстые и грубые пальцы въ его лубочную табакерку. Въ мірской сходкѣ, или громадѣ, несмотря на то, что власть его ограничена нѣсколькими голосами, голова всегда беретъ верхъ и почти по своей волѣ высылаетъ, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу, или копать рвы. Голова угрюмъ, суровъ съ виду и не любитъ много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ѣздила въ Крымъ, былъ онъ избранъ въ провожатые; цѣлые два дня находился онъ въ этой должности и даже удостоился сидѣть на козлахъ съ царицынымъ кучеромъ. И съ той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившіеся внизъ усы и кидать соколиный взглядъ исподлобья. И съ той поры голова, объ чемъ бы ни заговорили съ нимъ, всегда умѣетъ поворотить рѣчь на то, какъ онъ везъ царицу и сидѣлъ на козлахъ царской кареты. Голова любитъ иногда прикинуться глухимъ, особливо если услышитъ то, чего не хотѣлось бы ему слышать. Голова терпѣть не можетъ щегольства: носить всегда свитечу чернаго домашняго сукна, перепоясывается шерстянымъ цвѣтнымъ поясомъ, и никто никогда не видалъ его въ другомъ костюмѣ, выключая развѣ только времени проѣзда царицы въ Крымъ, когда на немъ былъ синій козацкій жупанъ. Но это время врядъ ли кто могъ запомнить изъ цѣлаго села; а жупанъ держитъ онъ въ сундукѣ подъ замкомъ.

Узнавъ, что отецъ ухаживаетъ за его Ганной, Левко рѣшился ему отомстить и согласился съ паробками его побѣсить; деревенской молодежи это удастся: они надѣлали ночью много проказъ и разсердили голову.

V.

Утопленница.

Не беспокоясь ни о чемъ, не заботясь о разосланныхъ погоняхъ, виновникъ всей этой кутерьмы медленно подходилъ къ старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это былъ Левко. Черный тулупъ его былъ разстегнутъ; шапку держалъ онъ въ рукѣ; потъ валилъ съ него градомъ. Величественно и мрачно чернѣлъ кленовый лѣсъ, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицомъ къ мѣсяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный прудъ подулъ свѣжестю на усталаго пѣшехода и заставилъ его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чашѣ лѣса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сонъ быстро сталъ смыкать ему зѣницы; усталые члены готовы были забыться и онѣмѣть; голова клонилась... „Нѣтъ, этакъ я засну еще здѣсь!“ говорилъ онъ, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась передъ нимъ еще блистательнѣе. Какое-то странное, упойтельное сіяніе примѣшалось къ блеску мѣсяца. Никогда еще не случалось ему видѣть подобнаго. Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвѣтущихъ яблонь и ночныхъ цвѣтовъ лился по всей землѣ. Съ изумленіемъ глядѣлъ онъ въ недвижныя воды пруда: старинный господскій домъ, опрокинувшись внизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи. Вмѣсто мрачныхъ ставней глядѣли веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала поволота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бѣлый локоть, потомъ выглянула привѣтливая головка съ блестящими очами, тихо свѣтившимися сквозь темнорусыя волны волосъ, и оперлась на локоть. И видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣхается... Сердце его вдругъ забилося... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошелъ онъ отъ пруда и взглянулъ на домъ: мрачныя ставни были открыты; стекла сіяли при мѣсяцѣ. „Вотъ какъ мало нужно полагаться на людскіе толки“, подумалъ онъ про себя. „Домъ новенькій; краски живы, какъ будто сегодня онъ выкрашенъ. Тутъ живетъ кто-нибудь“. И молча подошелъ онъ ближе; но въ домѣ все было тихо. Сильно и звучно перекинулись блистательныя пѣсни соловьевъ, и когда онъ, казалось, умиралъ въ томленіи и нѣгѣ, слышался шелестъ и трещаніе кузнечиковъ или гудѣніе болотной птицы, ударявшей скользкимъ носомъ своимъ въ широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутилъ Левко въ своемъ сердцѣ. Настроивъ бандуру, заигралъ онъ и запѣлъ:

Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку!
И ты, зоре ясна!
Ой, свитыть тамъ по подворью,
Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отраженіе видѣлъ онъ въ прудѣ, выглянула, внимательно прислушиваясь къ пѣснѣ. Длинные рѣсницы ея были полуопущены на глаза. Вся она была блѣдна, какъ полотно, какъ блескъ мѣсяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она

засмѣялась!.. Левко вадрогнулъ. „Спой мнѣ, молодой козакъ, какую-нибудь пѣсню!“ тихо молвила она, наклонивъ свою голову на-бокъ и опустивъ со-всѣмъ густыя рѣсницы.

„Какую же тебѣ пѣсню спѣть, моя ясная панночка?“

Слезы тихо покатались по блѣдному лицу ея.

Русалка стала просить Левко помочь ей найти мачиху. Между русалками Левко увидѣлъ одну, въ прозрачномъ тѣлѣ которой было что-то черное. Она по-равнила Левко и злобностью своего взгляда. На нее онъ и указалъ русалкѣ, какъ на вѣдьму.

Панночка засмѣялась, и дѣвушки съ крикомъ увели за собою пред-ставлявшую вѣрона.

„Чѣмъ наградить тебя, парубокъ? Я знаю, тебѣ не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мѣшаетъ тебѣ жениться на ней. Онъ те-перь не помѣшаетъ: возьми, отдай ему эту записку...“

Бѣлая ручка протянулась, лицо ея какъ-то чудно засвѣтилось и засіяло... Съ непостижимымъ трепетомъ и томительнымъ бѣшеніемъ сердца схватилъ онъ записку и... проснулся.

Проснулся Левко съ запиской комиссара въ рукѣ; въ этой запискѣ заклю-чалось приказаніе головѣ женить сына на Ганнѣ. Голова принужденъ былъ испол-нить это приказаніе.

Ночь передъ Рождествомъ.

Послѣдній день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя, ясная ночь наступила; глянули звѣзды; мѣсяцъ величаво поднялся на небо посвѣтить добрымъ людямъ и всему міру, чтобы всѣмъ было весело колядовать и славить Христа *). Морозило сильнѣе, чѣмъ съ утра; но зато такъ было тихо, что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубковъ не показывалась подъ окнами хатъ; мѣсяцъ одинъ только заглядывалъ въ нихъ украдкою, какъ бы вызывая принаряживав-шихся дѣвушекъ выбѣжать скорѣе на скрипучій снѣгъ. Тутъ черезъ трубу одной хаты клубами повалилъ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вмѣстѣ съ дымомъ, поднялась вѣдьма верхомъ на метлѣ.

Если бы въ это время проѣзжалъ сорочинскій засѣдатель на тройкѣ обывательскихъ лошадей, въ шапкѣ съ барашковымъ околышкомъ, сдѣлан-ной по манеру уланскому, въ синемъ тулупѣ, подбитомъ черными смушками, съ дьявольски сплетенною плетью, которую имѣетъ онъ обыкновеніе под-

*) Колядовать у насъ называется пѣть подъ окнами наканунѣ Рождества пѣсни, которыя называются колядками. Тому, кто колядуетъ, всегда кинетъ въ мѣшокъ хояйка, или хояиня, или кто остается дома, колбасу, или хлѣбъ, или мѣдный грошъ, чѣмъ кто богатъ. Говорятъ, что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за Бога, и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Не намъ, простымъ людямъ, объ этомъ толковать. Промытый годъ отецъ Осипъ запретилъ было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этимъ народъ угождаетъ сатанѣ. Однакожь, если сказать правду, то въ колядкахъ и слова нѣтъ про Коляду. Покоть часто про Рождество Христа, а при концѣ желаютъ здоровья хояину, хояйкѣ, дѣтямъ и всему дому.

гонять своего ямщика, то онъ вѣрно бы примѣтилъ ее, потому что отъ сорочинскаго засѣдателя ни одна вѣдьма на свѣтѣ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько у каждой бабы свинья мечетъ поросятъ, и сколько въ сундукѣ лежитъ полотна, и что именно изъ своего платья и хозяйства заложить добрый человѣкъ, въ воскресный день, въ шинкѣ. Но сорочинскій засѣдатель не проважалъ, да и какое ему дѣло до чужихъ—у него своя волость. А вѣдьма между тѣмъ поднялась такъ высоко, что однимъ только чернымъ пятнышкомъ мелькала вверху. Но гдѣ ни показывалось пятнышко, тамъ звѣзды, одна за другою, пропадали на небѣ. Скоро вѣдьма набрала ихъ полный рукавъ. Три или четыре еще блестѣли. Вдругъ, съ противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукій, хотя бы надѣлъ на носъ, вмѣсто очковъ, колеса съ комиссаровой брички, и тогда бы не распозналъ, что это такое. Спереди совершенно нѣмецъ*): узенькая, безпрестанно вертѣвшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пятачкомъ; ноги были такъ тонки, что если бы такія имѣлъ яресковскій голова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ козачкѣ. Но зато сзади онъ былъ настоящій губернский стряпчій въ мундирѣ, потому что у него висѣлъ хвостъ, такой острый и длинный, какъ теперешнія мундирныя фалды; только развѣ по козлиной бородѣ подъ мордой, по небольшимъ рожекамъ, торчавшимъ на головѣ, и что весь былъ не бѣлѣе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нѣмецъ и не губернский стряпчій, а просто чортъ, которому послѣдняя ночь осталась шататься по бѣлому свѣту и вычивать грѣхамъ добрыхъ людей. Завтра же, съ первыми колоколами къ заутренѣ, побѣжитъ онъ безъ оглядки, поджавши хвостъ, въ свою берлогу.

Между тѣмъ чортъ крался потихоньку къ мѣсяцу и уже протануль-было руку схватить его, но вдругъ отдернулъ ее назадъ, какъ бы обжегшись, пососалъ пальцы, заболталъ ногою и забѣжалъ съ другой стороны, и снова отскочилъ и отдернулъ руку. Однакожъ, несмотря на всѣ неудачи, хитрый чортъ не оставилъ своихъ проказъ. Подбѣжавши, вдругъ схватилъ онъ обѣими руками мѣсяцъ: кривляясь и дуя, перекидывалъ его изъ одной руки въ другую, какъ мужикъ, доставшій голыми руками огонь для своей люльки; наконецъ поспѣшно спряталъ въ карманъ, и, какъ будто ни въ чемъ не бывалъ, побѣжалъ далѣе.

Въ Диканькѣ никто не слышалъ, какъ чортъ укралъ мѣсяцъ. Правда, волостной писарь, выходя на четверенькахъ изъ шинка, видѣлъ, что мѣсяцъ, ни съ того, ни съ сего танцевалъ на небѣ, и увѣрялъ съ божбою въ томъ все село; но міряне качали головами и даже подымали его на смѣхъ. Но какая же была причина рѣшиться чорту на такое беззаконное дѣло? А вотъ какая: онъ зналъ, что богатый козакъ Чубъ приглашенъ дьякомъ на кутю, гдѣ будутъ: голова, пріѣхавшій изъ архіерейской пѣвческой, родичъ дьяка, въ синемъ сюртукѣ, бравшій самаго низкаго баса, козакъ Свербыгузъ и еще кое-кто; гдѣ, кромѣ кутни, будетъ варенуха, перегонная на шафранѣ водка и много всякаго съѣстнаго. А между тѣмъ его дочка, красавица на всемъ селѣ, останется дома, а къ дочкѣ, навѣрное, придетъ кузнецъ, силачъ и дѣтина хоть куда, который чорту былъ противнѣе проповѣдей отца Кондрата. Въ досуужее отъ дѣлъ время кузнецъ занимался малеваніемъ и слылъ луч-

*) „Нѣмцомъ“ называютъ у насъ всякаго, кто только изъ чужой земли, хоть будь онъ французъ, или пессарецъ, или шведъ—все нѣмецъ.

шимъ живописцемъ во всемъ околотеѣ. Самъ, еще тогда здравствовавшій, сотникъ Л....ко вызывалъ его нарочно въ Полтаву выкрасить дощатый заборъ около его дома. Всѣ миски, изъ которыхъ диканскіе козаки хлебали борщъ, были размазаны кузнецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый человекъ и писалъ часто образа святыхъ: и теперь еще можно найти въ Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжествомъ его искусства была одна картина, намазанная на стѣнѣ церковной въ правомъ притворѣ, на которой изобразилъ онъ святого Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа; испуганный чортъ метался во всѣ стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грѣшники били и гоняли его кнутами, полѣнами и всѣмъ, чѣмъ ни пошло. Въ то время, когда живописецъ трудился надъ этою картиною и писалъ ее на большой деревянной доскѣ, чортъ всѣми силами старался мѣшать ему: толкалъ невидимо подъ руку, подымалъ изъ горнила въ кузницѣ золу и обсыпалъ ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена въ церковь и вдѣлана въ стѣну притвора, и съ той поры чортъ поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на бѣломъ свѣтѣ; но и въ эту ночь онъ выискивалъ чѣмъ-нибудь выместить на кузнецъ свою злобу. И для этого рѣшился украсть мѣсяцъ, въ той надеждѣ, что старый Чубъ лѣнивъ и нелегокъ на подъемъ, къ дьяку же отъ избы не такъ близко: дорога шла по заселамъ мимо мельницъ, мимо кладбища, огибала оврагъ. Еще при мѣсячной ночи варенуха и водка, настоящая на шафранѣ, могли бы заманить Чуба; но въ такую темноту врядъ ли бы удалось кому стащить его съ печки и вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который былъ издавна не въ ладахъ съ нимъ, при немъ ни за что не отважится идти къ дочкѣ, несмотря на свою силу.

Такимъ-то образомъ, какъ только чортъ спряталъ въ карманъ свой мѣсяцъ, вдругъ по всему міру сдѣлалось такъ темно, что не всякій бы нашелъ дорогу къ шинку, не только къ дьяку. Вѣдьма, увидѣвши себя вдругъ въ темнотѣ, вскрикнула. Тутъ чортъ, подѣхавши мелкимъ бѣсомъ, подхватилъ ее подъ руку и пустился напѣтывать на ухо то самое, что обыкновенно напѣтываютъ всему женскому роду. Чудно устроено на нашемъ свѣтѣ! Все, что ни живетъ въ немъ, все силится перенимать и передразнивать одинъ другого. Прежде, бывало, въ Миргородѣ одинъ судья да городничій хаживали зимою въ крытыхъ сукномъ тулупахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные: теперь же и засѣдатель, и подкоморій отсмалили себѣ новыя шубы изъ рѣшетилловскихъ смушекъ съ суконною покрышкою. Канцеляристъ и волостной писарь третьяго года вziali синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Понамарь сдѣлалъ себѣ нанювыя на лѣто шаровары и жилетъ изъ полосатаго гаруса. Словомъ, все лѣзетъ въ люди! Когда это люди не будутъ суетны! Можно побиться объ закладъ, что многимъ покажется удивительно видѣть чорта, пустившагося и себѣ туда же. Досаднѣе всего то, что онъ, вѣрно, воображаетъ себя красавцемъ, между тѣмъ какъ фигура — взглянуть совѣстно. Рожа, какъ говоритъ Ома Григорьевичъ, мерзость-мерзостью, однакожъ и онъ строитъ любовныя куры! Но на небѣ и подъ небомъ такъ сдѣлалось темно, что ничего нельзя было видѣть, что происходило далѣе между ними.

„Такъ ты, кумъ, еще не былъ у дядка въ новой хатѣ?“ говорилъ козаки Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, сухощавому, высокому, въ короткомъ тулупѣ, мужику съ обросшею бородою, показывавшею, что уже болѣе двухъ недѣль не прикасался къ ней обломокъ кося, которымъ обыкновенно мужики бреютъ свою бороду, за неимѣніемъ бритвы. „Тамъ теперь будетъ добрая попойка!“ продолжалъ Чубъ, ослабивъ при этомъ свое лицо. „Какъ бы только намъ не опоздать!“

При семъ Чубъ поправилъ свой поясъ, перехватывавшій плотно его тулупъ, нахлобучилъ крѣпче свою шапку, стиснулъ въ рукѣ кнутъ—страхъ и грозу докучливыхъ собакъ; но, взглянувъ вверхъ, остановился...

„Что за дьяволъ! Смотри! смотри, Панасъ!“...

„Что?“ произнесъ кумъ и поднялъ свою голову также вверхъ.

„Какъ, что? Мѣсяца нѣтъ!“

„Что за пропасть! Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ мѣсяца“.

„То-то, что нѣтъ!“ выговорилъ Чубъ съ нѣкоторою досадою на неизмѣнное равнодушіе кума. „Тебѣ, небось, и нужды нѣтъ“.

„А что мнѣ дѣлать?“

„Надобно же было“, продолжалъ Чубъ, утирая рукавомъ усы, „какому-то дьяволу—чтобъ ему не довелось, собакъ, по-утру рюмки водки выпить!—вмѣшаться!.. Право, какъ будто на-смѣхъ... Нарочно, сидѣвши въ хатѣ, глядѣлъ въ окно; ночь—чудо! Свѣтло, снѣгъ блещетъ при мѣсяцѣ; все было видно, какъ днемъ. Не успѣлъ выйти за дверь, и вотъ, хотѣ глазъ выколи! (Чтобъ ему переломались объ черствый гречаникъ всѣ зубы!)“.

Чубъ долго еще ворчалъ и бранился, а между тѣмъ въ то же время раздумывалъ, на что бы рѣшиться. Ему до смерти хотѣлось покалякать о всякомъ вздорѣ у дядка, гдѣ, безъ всякаго сомнѣнія, сидѣлъ уже и голова, и приѣзжій бась, и дегтярь Микита, ѣдившій черезъ каждыя двѣ недѣли въ Полтаву на торги и отпускавшій такія штуки, что всѣ міряне брались за животы со смѣху. Уже видѣлъ Чубъ мысленно стоящую на столѣ варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лѣни, которая такъ мила всѣмъ козакамъ. Какъ бы хорошо теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанкѣ, курить спокойно люльку и слушать сквозь упительную дремоту колядки и пѣсни веселыхъ парубковъ и дѣвушекъ, толпящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, рѣшился на послѣднее, если бы былъ одинъ; но теперь обоимъ не такъ скучно и страшно идти темною ночью; да и не хотѣлось-таки показаться передъ другими лѣнивымъ или трусливымъ. Окончивши побранки, обратился онъ снова къ куму.

„Такъ нѣтъ, кумъ, мѣсяца?“

„Нѣтъ“.

„Чудно, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ, славный табакъ! Гдѣ ты берешь его?“

„Кой чортъ, славный!“ отвѣчалъ кумъ, закрывая берестовую тавлинку, исколотую узорами: „старая курица не чихнетъ!“

„Я помню“, продолжалъ все такъ же Чубъ: „мнѣ покойный шинкаръ Зузуля разъ привезъ табаку изъ Нѣжина. Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ, какъ намъ быть? Вѣдь темно на дворѣ“.

„Такъ, пожалуй, останемся дома“, произнесъ кумъ, ухватясь за ручку двери.

Если бы кумъ не сказалъ этого, то Чубъ вѣрно бы рѣшился остаться;

но теперь его какъ будто что-то дергало идти наперекоръ. „Нѣтъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно идти!“

Сказавши это, онъ уже и досадовалъ на себя, что сказать. Ему было очень непріятно тащиться въ такую ночь, но его утѣшало то, что онъ самъ нарочно этого захотѣлъ и сдѣлалъ-таки не такъ, какъ ему совѣтовали.

Кумъ, не выразивъ на лицѣ своемъ ни малѣйшаго движенія досады, какъ человѣкъ, которому рѣшительно все равно, сидѣть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотрѣлся, почесалъ палочкой батога свои плечи,—и два кума отправились въ дорогу.

Кузнецъ Вакула пришелъ къ Оксанѣ, говорилъ ей о любви своей, но она только потѣшалась надъ нимъ.

Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и дулъ себя въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрѣть мерзнувшія руки. Не мудрено, однакожь, и озябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши колпакъ и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистеръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу.

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одѣта; и потому, поднявши руки вверхъ, отставила ногу и, приведши себя въ такое положеніе, какъ человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покато-той горѣ, и прямо въ трубу.

Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслѣдъ за нею. Но такъ какъ это животное проворнѣе всякаго франта въ чулкахъ, то не мудрено, что онъ наѣхалъ при самомъ входѣ въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ просторной печкѣ между горшками.

Вылѣзши изъ печки и оправившись, Солоха, какъ добрая хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мѣсту; но мѣшковъ не тронула: „это Вакула принесъ, пусть же самъ и вынесетъ!“ Чортъ, между тѣмъ, когда еще влеталъ въ трубу, какъ-то кечаанно оборотившись, увидѣлъ Чуба объ руку съ кумомъ, уже далеко отъ избы. Вмигъ вылетѣлъ онъ изъ печки, перебѣжалъ имъ дорогу и началъ разрывать со всѣхъ сторонъ кучи замерзшаго снѣгу. Поднялась метель. Въ воздухѣ забѣлѣло. Снѣгъ метался взадъ и впередъ сѣткою и угрожалъ залѣпить глаза, ротъ и уши пѣшеходамъ. А чортъ улетѣлъ снова въ трубу, въ твердой увѣренности, что Чубъ возвратится вмѣстѣ съ кумомъ назадъ, застанетъ кузнецъ и, навѣрное, отпощуетъ его такъ, что онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кисть и малевать обидныя карикатуры.

Чубъ и кумъ заблудились во время метелицы. Чубъ рѣшилъ вернуться домой. Онъ добрался до своей каты и постучался. Кузнецъ Вакула, недовольный тѣмъ, что ему мѣшаютъ разговаривать съ Оксаной, вышелъ къ нему, не узнавъ его и прогналъ прочь, сильно ударивъ его нѣсколько разъ. Чубъ рѣшилъ, что онъ ошибся и чужую избу принялъ за свою.

Въ то время, когда проворный франтъ съ хвостомъ и козлиною бородою леталъ изъ трубы и потомъ снова въ трубу, висѣвшая у него на перевязи

при боку ладунка, въ которую онъ спряталъ украденный мѣсяцъ, какъ-то нечаянно зацѣпившись въ печь, растворилась, и мѣсяцъ, пользуясь этимъ случаемъ, вылетѣлъ черезъ трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все освѣтилось. Метели какъ не бывало. Снѣгъ загорѣлся широкимъ серебрянымъ полемъ и весь осыпался хрустальными звѣздами. Морозъ какъ бы потеплѣлъ. Толпы парубковъ и дѣвушекъ показались съ мѣшками. Пѣсни зазвенѣли, и подъ рѣдкою хатою не толпились колядующіе.

Чудно блещетъ мѣсяцъ. Трудно рассказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смѣющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожаномъ тепло; отъ мороза еще живѣе горятъ щеки, а на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади.

Кучи дѣвушекъ съ мѣшками вломились въ хату Чуба, окружили Оксану. Крикъ, хохотъ, рассказы оглушили кузнеца. Всѣ наперерывъ спѣшили рассказать красавицѣ что нибудь новое, выгружали мѣшки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которыхъ успѣли уже набрать добольно за свои колядки. Оксана, казалось, была въ совершенномъ удовольствіи и радости, болтала то съ той, то съ другой, и хохотала безъ умолку.

Съ какой-то досадой и завистью глядѣлъ кузнецъ на такую веселость и на этотъ разъ проклиналъ колядки, хотя самъ бывалъ отъ нихъ безъ ума.

„Э, Одарка!“ сказала веселая красавица, оборотившись къ одной изъ дѣвушекъ: „у тебя новыя черевики. Ахъ, какіе хорошіе! и съ золотомъ! Хорошо тебѣ, Одарка, у тебя есть такой человѣкъ, который все тебѣ покупаетъ, а мнѣ некому достать такіе славные черевики“.

„Не тужи, моя ненаглядная Оксана!“ подхватилъ кузнецъ: „я тебѣ достану такіе черевики, какіе рѣдкая панночка носить“.

„Ты?“ сказала Оксана, скоро и надменно поглядѣвъ на него. „Посмотрю, гдѣ ты достанешь такіе черевики, которые могла бы я надѣть на свою ногу. Развѣ принесешь тѣ самые, которые носятъ царица“.

„Видишь, какихъ захотѣла!“ закричала со смѣхомъ дѣвчья толпа.

„Да!“ продолжала гордо красавица: „будьте всѣ вы свидѣтелицы: если кузнецъ Вакула принесетъ тѣ самые черевики, которые носятъ царица, то вотъ мое слово, что выйду тотъ же часъ за него замужъ“.

Дѣвушки увели съ собою капризную красавицу.

„Смѣйся! смѣйся!“ говорилъ кузнецъ, выходя вслѣдъ за ними, „Я самъ смѣюсь надъ собою! Думаю и не могу надумать, куда дѣвался умъ мой? Она меня не любитъ,—ну, Богъ съ ней! Будто только на всемъ свѣтѣ одна Оксана. Слава Богу, дѣвчатъ много хорошихъ и безъ нея на селѣ. Да что Оксана? изъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки: она только мастерица радиться. Нѣтъ, полно! Пора перестать дурачиться“.

Но въ самое то время, когда кузнецъ готовился быть рѣшительнымъ, какой-то злой духъ проносилъ передъ нимъ смѣющийся образъ Оксаны, говорившей насмѣшливо: „Достань, кузнецъ, царицыны черевики, выйду за тебя замужъ!“ Все въ немъ волновалось, и онъ думалъ только объ одной Оксанѣ.

Толпы колядующихъ, парубки особо, дѣвушки особо, спѣшили изъ одной улицы въ другую. Но кузнецъ шелъ и ничего не видалъ и не участвовалъ въ тѣхъ веселостяхъ, которыя когда-то любилъ болѣе всѣхъ.

Чортъ между тѣмъ не на шутку развѣжился у Солохи: цѣловаль ея руку съ такими ужимками, какъ засѣдатель у поповны, брался за сердце, охалъ и сказалъ, что онъ готовъ на все: кинется въ воду, а душу отправить прямо въ некло... Вдругъ послышался стукъ и голосъ джюгаго головы. Солоха побѣжала отворить дверь, а проворный чортъ влѣзъ въ лежавшій мѣшокъ.

Голова, стряхнувъ съ своихъ капелюхъ снѣгъ и выпивши изъ рукъ Солохи чарку водки, разсказалъ, что онъ не пошелъ къ дьяку, потому что поднялась метель; а, увидѣвши свѣтъ въ ея хатѣ, завернулъ къ ней, въ намѣреніи провести вечеръ съ нею.

Не успѣлъ голова это сказать, какъ въ дверь послышался стукъ и голосъ дьяка. „Спрячь меня куда-нибудь“, шепталъ голова: „мнѣ не хочется теперь встрѣтиться съ дьякомъ“.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотнаго гостя; наконецъ, выбрала самый большой мѣшокъ съ углемъ: уголь высыпала въ кадку, и джюгій голова влѣзъ съ усами, съ головою и съ капелюхами въ мѣшокъ.

Дьякъ вошелъ, покряхтывая и потирая руки, и разсказалъ, что у него не былъ никто, и что онъ сердечно радъ этому случаю *поцалтъ* немного у нея, и не испугался метели. Тутъ онъ подошелъ къ ней ближе, каплянулъ, усмѣхнулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнаженной, полной руки и произнесъ съ такимъ видомъ, въ которомъ выказывалось и лукавство, и самодовольствіе: А чтѣ это у васъ, великолѣпная Солоха?“ И, сказавши это, отскочилъ онъ нѣсколько назадъ.

„Какъ что? рука, Осипъ Никифоровичъ!“ отвѣчала Солоха.

„Гм! рука! Хе-хе-хе!“ произнесъ сердечно довольный своимъ началомъ дьякъ и прошелся по комнатѣ.

„А это чтѣ у васъ, дражайшая Солоха?“ произнесъ онъ съ такимъ же видомъ, приступивъ къ ней снова и схвативъ ее слегка рукою за шею и такимъ же порядкомъ отскочивъ назадъ.

„Будто не видите. Осипъ Никифоровичъ!“ отвѣчала Солоха: „шея, а на шеѣ монисто“.

„Гм! на шеѣ монисто! Хе-хе-хе!“ и дьякъ снова прошелся по комнатѣ, потирая руки.

„А это чтѣ у васъ, несравненная Солоха?..“ Неизвѣстно, къ чему бы теперь притронулся (сладоострастный) дьякъ своими длинными пальцами, какъ вдругъ послышался въ дверь стукъ и голосъ казака Чуба.

„Ахъ, Боже мой, стороннее лицо!“ закричалъ въ испугъ дьякъ. „Что теперь, если застанутъ особу моего званія? Дойдетъ до отца Кондрата...“

Но опасенія дьяка были другого рода: онъ боялся болѣе того, чтобы не узнала его половина, которая и безъ того страшною рукою своею сдѣлала изъ его толстой косы самую узенькую. „Ради Бога, добродѣтельная Солоха!“ говорилъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: „Ваша доброта, какъ говоритъ писаніе Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей-Богу, стучатся! Охъ, спрячьте меня куда-нибудь“.

Солоха высыпала уголь въ кадку изъ другого мѣшка, и неслишкомъ объемистый тѣломъ дьякъ влѣзъ въ него и свѣлъ на самое дно, такъ что сверхъ его можно было насыпать еще съ полмѣшка угля.

„Здравствуй, Солоха!“—сказалъ, входя въ хату, Чубъ. „Ты, можетъ быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Можетъ быть, я помѣшалъ?..“ продолжалъ Чубъ, показавъ на лицѣ своемъ веселую и значительную мину,

которая заранѣе давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колючую и затѣйливую шутку... „Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло отъ проклятаго морозу. Послалъ же Богъ такую ночь передъ Рождествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха, какъ схватилась... Экъ окостенѣли руки: не разстегну кожуха! Какъ схватилась выюга...“

„Отвори!“ раздался на улицѣ голосъ, сопровождаемый толчкомъ въ дверь.

„Стучить кто-то“, сказалъ остановившійся Чубъ.

„Отвори!“ закричали сильнѣе прежняго.

„Это кузнецъ!“ произнесъ, схватясь за капелюхи, Чубъ. „Слышишь, Солоха: куда хочешь, дѣвай меня; я ни за что на свѣтѣ не захочу показаться этому выродку проклятому, чтобъ ему набѣжало, дьявольскому сыну, подъ обоими глазами по пузырьку съ копну величиною!“

Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угорѣлая, и, позабывшись, дала знакъ Чубу лѣзть въ тотъ самый мѣшокъ, въ которомъ сидѣлъ уже дьякъ. Бѣдный дьякъ не смѣлъ даже изъяснить кашлемъ и кряхтѣньемъ боли, когда сѣлъ ему почти на голову тяжелый мужикъ и помѣстилъ свои намерзнувшіе на морозѣ сапоги по обѣимъ сторонамъ его висковъ.

Вакула забралъ всѣ мѣшки, лежавшіе на полу въ хатѣ и вышелъ на улицу; тамъ онъ встрѣтилъ толпу колядующихъ и свою Оксану, которая опять посмѣялась надъ нимъ; онъ съ горя бросилъ всѣ свои мѣшки, кромѣ маленькаго мѣшка, въ которомъ сидѣлъ чортъ.

Шумнѣе и шумнѣе раздавались по улицамъ пѣсни, хохотъ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены еще пришедшими изъ сосѣднихъ деревень. Парубки шалили и бѣсились въ волю. Часто, между колядками, слышалась какая-нибудь веселая пѣсня, которую тутъ же успѣлъ сложить кто-нибудь изъ молодыхъ казаковъ. То вдругъ одинъ изъ толпы, вмѣсто колядки, отпускалъ щедровку и ревѣлъ во все горло:

Щедрыкъ, ведрыкъ!

Дайте вареникъ!

Грудочку кашки,

Кильце ковбаски!

...Рѣшительнымъ шагомъ пошелъ онъ впередъ, догнавъ толпу дѣвчатъ, поровнялся съ Оксаною и сказалъ твердымъ голосомъ: „Прощай, Оксана! Ищи себѣ, какого хочешь, жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этомъ свѣтѣ“.

Красавица казалась удивленною, хотѣла что-то сказать, но кузнецъ махнулъ рукой и убѣжалъ.

„Куда, Вакула?“ кричали парубки, видя бѣгущаго кузнеца.

„Прощайте, братцы!“ кричалъ въ отвѣтъ кузнецъ. „Дастъ Богъ, увидимся на томъ свѣтѣ, а на этомъ уже не гулять намъ вмѣстѣ. Прощайте! Не поминайте лихомъ! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворилъ панихиду по моей грѣшной душѣ. Свѣчей къ иконамъ Чудотворца и Божіей Матери, грѣшень, не обмалевалъ за мірскими дѣлами. Все добро, какое найдется въ моей скринѣ, на церковь. Прощайте!“

Проговоривши это, кузнецъ принялся снова бѣжать съ мѣшкомъ на спинѣ.

„Онъ повредился!“ говорили парубки.

„Пропавшая душа!“ набожно пробормотала проходившая мимо старуха: „пойти рассказать, какъ кузнецъ повѣсился!“

Вакула между тѣмъ, пробѣжавши нѣсколько улицъ, остановился перевести духъ. „Куда я въ самомъ дѣлѣ бѣгу?“ подумалъ онъ: „какъ будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду къ запорожцу Пузатому Пацюку. Онъ, говорятъ, знаетъ всѣхъ чертей и все сдѣлаетъ, что захочетъ. Пойду, вѣдь душѣ все же придется пропадать!“

При этомъ чортъ, который долго лежалъ безъ всякаго движенія, запрыгалъ въ мѣшкѣ отъ радости; но кузнецъ, подумавъ, что онъ какъ-нибудь зацѣпилъ мѣшокъ рукою и произвелъ самъ это движеніе, ударилъ по мѣшку дюжимъ кулакомъ и, встряхнувъ его на плечахъ, отправился къ Пузатому Пацюку.

Этотъ Пузатый Пацюкъ былъ точно когда-то запорожцемъ; но выгнали его или самъ онъ убѣжалъ изъ Запорожья, этого никто не зналъ. Давно уже, лѣтъ десять, а можетъ и пятнадцать, какъ онъ жилъ въ Диканькѣ. Сначала онъ жилъ какъ настоящій запорожецъ: ничего не работалъ, спалъ три четверти дня, ѣлъ за шестерыхъ косарей и выпивалъ за однимъ разомъ почти по цѣлому ведру; впрочемъ, было гдѣ и помѣститься, потому что Пацюкъ, несмотря на небольшой ростъ, въ ширину былъ довольно увѣсистъ. Притомъ же шаровары, которыя носилъ онъ, были такъ широки, что какой бы большой ни сдѣлалъ онъ шагъ, ногъ совершенно не было замѣтно, и казалось, винокуренная кадъ двигалась по улицѣ. Можетъ быть, это самое подало поводъ прозвать его Пузатымъ. Не прошло нѣсколькихъ недѣль послѣ прибытія его въ село, какъ всѣ уже узнали, что онъ знахарь. Бывалъ ли кто боленъ чѣмъ, тотчасъ призывалъ Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать нѣсколько словъ, и недугъ какъ будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшійся дворянинъ подавился рыбьею костью, Пацюкъ умѣлъ такъ искусно ударить кулакомъ въ спину, что кость отправлялась куда ей слѣдуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу. Въ послѣднее время его рѣдко видали гдѣ-нибудь. Причиною этому была, можетъ быть, лѣнь, а можетъ и то, что пролѣзая въ двери дѣлалось для него съ каждымъ годомъ труднѣе. Тогда міряне должны были отправляться къ нему сами, если имѣли въ немъ нужду.

Вакула вступилъ въ бесѣду съ Пацюкомъ,—онъ рѣшилъ продать свою душу чорту, чтобы при помощи нечистой силы покорить сердце Оксаны.

Какъ только кузнецъ опустилъ мѣшокъ, онъ выскочилъ изъ него и сѣлъ верхомъ ему на шею.

Моровъ подралъ по кожѣ кузнеца; испугавшись и поблѣднѣвъ, не зналъ онъ, что дѣлать; уже хотѣлъ перекреститься... Но чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему въ правое ухо, сказалъ: „Это я, твой другъ; все сдѣлаю для товарища и друга! Денегъ дамъ, сколько хочешь“, пискнулъ онъ ему въ лѣвое ухо. „Оксана будетъ сегодня же наша“, шепнулъ онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнецъ стоялъ, размышляя.

Чортъ ликовалъ, увѣренный въ своей побѣдѣ, но Вакула за хвостъ схватилъ его и положилъ на него крестное знаменье. Чортъ сдѣлался смиренъ, какъ агненокъ.

Тутъ кузнецъ вскочилъ на него верхомъ и поднялъ руку для крестнаго знаменія.

„Помилуй, Вакула!“ жалобно простоналъ чортъ: „все, что для тебя нужно, все сдѣлаю; отпусти только душу на покаянье: не клади на меня страшнаго креста!“

„А, вотъ какимъ голосомъ заплѣлъ, нѣмецъ проклятый! Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Вези меня сей же часъ на себѣ! Слышишь? Да несишь, какъ птица!“

„Куда?“ произнесъ печальный чортъ.

„Въ Петербургъ, прямо къ царю!“ И кузнецъ обомлѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.

Между тѣмъ дѣвушки, видя мѣшки кузнеца, брошенные имъ на улицѣ, захотѣли ими попользоваться, рассчитывая что тамъ немало съѣстного.

Плѣнникамъ сильно прискучило сидѣть въ мѣшкахъ, несмотря на то, что дыкѣ проткнулъ для себя пальцемъ порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, можетъ быть, онъ нашелъ бы средство и вылѣзть; но вылѣзть изъ мѣшка при всѣхъ, показать себя на-смѣхъ... это удерживало его, и онъ рѣшился ждать, слегка только покряхтывая подъ невѣжливыми сапогами Чуба. Чубъ самъ не менѣе желалъ свободы, чувствуя, что подъ нимъ лежитъ что-то такое, на чемъ сидѣть страхъ было неловко. Но, какъ скоро услышалъ рѣшеніе своей дочери, успокоился и не хотѣлъ уже вылѣзть, разсуждая, что къ хатѣ своей нужно пройти, по крайней мѣрѣ, шаговъ съ сотню; а, можетъ быть, и другую; вылѣзши же, нужно оправиться, застегнуть кофужъ, подвязать поясъ—сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дѣвчата доведутъ на санкахъ.

Но случилось совсѣмъ не такъ, какъ ожидалъ Чубъ. Въ то время, когда дѣвчата убѣжали за санками, худошавый кумъ выходилъ изъ шинка разстроенный и не въ духѣ. Шинкарка никакимъ образомъ не рѣшалась ему вѣрить въ долгъ. Онъ хотѣлъ-было дожидаться въ шинкѣ, авось-либо придетъ какой нибудь набожный дворянинъ и попотчуетъ его; но, какъ нарочно, всѣ дворяне остались дома и, какъ честные христіане, ѣли кутью посреди своихъ домашнихъ. Размышляя о развращеніи нравовъ и о деревянномъ сердцѣ жидовки, продающей вино, кумъ набрелъ на мѣшки и остановился въ изумленіи. „Вишь, какіе мѣшки кто-то бросилъ на дорогѣ!“ сказалъ онъ, осматриваясь по сторонамъ. „Должно быть, тутъ и свинина есть. Полѣзло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экіе страшные мѣшки! Положимъ, что они набиты гречаниками до коржамъ, и то *добре*; хотя бы были тутъ однѣ паланицы, и то *въ шмакъ*; жидовка за каждую паланицу даетъ осьмуху водки. Утащить скорѣе, чтобы кто не увидѣлъ“.

Тутъ взвалилъ онъ себѣ на плечи мѣшокъ съ Чубомъ и дыкомъ, но почувствовалъ, что онъ слишкомъ тяжелъ.

Куму тащить мѣшокъ помогъ теать. Они рѣшили снести добычу въ набу кума, въ расчетѣ, что кумовой жены нѣтъ дома.

„Кто тамъ?“ закричала кумова жена, услышавъ шумъ въ сѣняхъ, произведенный приходомъ двухъ пріятелей съ мѣшкомъ и отворяя дверь хаты.

Кумъ остолебѣлъ.

„Вотъ тебѣ на!“ произнесъ теачъ, опустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ не мало на бѣломъ свѣтѣ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сидѣла дома и почти весь день пресмыкалась у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ большимъ аппетитомъ и дралась только по утрамъ со своимъ мужемъ, потому что въ это только время и видѣла его иногда. Хата ихъ была вдвое старѣе шароваръ волостного писаря; крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была безъ соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякій, выходявшій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ надеждѣ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топились дня по три. Все, что ни напрашивала нѣжная супруга у добрыхъ людей, прятала какъ можно подальше отъ своего мужа, и часто самоуправно отнимала у него добычу, если только онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкамъ о безчинствѣ своего мужа и о претерпѣнныхъ ею отъ него побояхъ.

Теперь можно себѣ представить, какъ были озадачены теачъ и кумъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. Опустивши мѣшокъ, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно видѣла старыми глазами, однакожъ мѣшокъ замѣтила. „Вотъ это хорошо!“ сказала она съ такимъ видомъ, въ которомъ замѣтна была радость ястреба. „Это хорошо, что наколядовали столько! Вотъ такъ всегда дѣлаютъ добрые люди; только нѣтъ, я думаю, гдѣ-нибудь подцѣпили. Покажите мнѣ сейчасъ, слышите, покажите сей же часъ мѣшокъ вашъ!“

„Лысый чортъ тебѣ покажетъ, а не мы“, сказалъ, пріосанясь, кумъ.

„Тебѣ какое дѣло?“ сказалъ теачъ: „мы наколядовали, а не ты“.

„Нѣтъ, ты мнѣ покажешь, негодный пьяница!“ вскричала жена, удравъ высокого кума кулакомъ въ подбородокъ и продираясь къ мѣшку.

Но теачъ и кумъ мужественно отстояли мѣшокъ и заставили ее пятиться назадъ. Не успѣли они оправиться, какъ супруга выбѣжала въ сѣни уже съ кочергою въ рукахъ. Проворнохватила кочергою мужа по рукамъ, теача по спинѣ и уже стояла воалѣ мѣшка.

„Что мы допустили ее?“ сказалъ теачъ, очнувшись.

„Э, что мы допустили! А отчего ты допустилъ?“ сказалъ хладнокровно кумъ.

„У васъ кочерга, видно, желѣзная!“ сказалъ послѣ небольшого молчанія теачъ, почесывая спину. „Моя жинка купила прошлый годъ на ярмаркѣ кочергу, дала пивкопы: та ничего... не больно...“

Между тѣмъ, торжествующая супруга, поставивъ на полъ каганецъ, развязала мѣшокъ и заглянула въ него.

Но, вѣрно, старые глаза ея, которые такъ хорошо увидѣли мѣшокъ, на этотъ разъ обманулись. „Э, да тутъ лежатъ цѣлый кабанъ!“ вскрикнула она, всплеснувъ отъ радости въ ладоши.

„Кабанъ! Слышишь: цѣлый кабанъ!“ толкалъ теачъ кума: „а все ты виноватъ!“

„Что-жъ дѣлать!“ произнесъ, пожимая плечами, кумъ.

„Какъ что? чего мы стоимъ? Отнимемъ мѣшокъ! Ну, приступай!“

„Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!“ кричалъ, выступая, теачъ.

„Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!“ говорилъ, приближаясь, кумъ.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это время вылезъ изъ мѣшка и сталъ посреди сѣней, потягиваясь, какъ человѣкъ, только-что пробудившійся отъ долгаго сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полъ руками, и всѣ невольно разинули рты.

„Что-жъ она, дура, говорить: кабанъ! Это не кабанъ!“ сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.

„Вишь, какого человѣка кинуло въ мѣшокъ!“ сказалъ ткачъ, пятясь отъ испугу. „Хоть, чтó хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось безъ нечистой силы. Вѣдь онъ не пролѣзаетъ въ окошко!“

„Это кумъ!“ вскрикнулъ, взглянувъ, кумъ.

„А ты думалъ кто?“ сказалъ Чубъ, усмѣхаясь. „Что, славную я выкинулъ надъ вами штуку? А вы, небось, хотѣли меня съѣсть вмѣсто свинины? Постойте же, я васъ порадую: въ мѣшкѣ лежитъ еще что-то, если не кабанъ, то навѣрно поросенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно что-то шевелилось“.

Ткачъ и кумъ кинулись къ мѣшку, хозяйка дома уцѣпилась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы самъ дьякъ, увидѣвши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался изъ мѣшка.

Кумова жена, остолбенѣвъ, выпустила изъ рукъ ногу, за которую начала-было тянуть дьяка изъ мѣшка.

„Вотъ и другой еще!“ вскрикнулъ со страхомъ ткачъ. „Чортъ знаетъ, какъ стало на свѣтъ... Голова идетъ кругомъ... Не колбасъ и не палиницъ, а людей кидаютъ въ мѣшки!“

„Это дьякъ!“ произнесъ, изумившійся болѣе всѣхъ, Чубъ. „Вотъ тебѣ на! ай да Солоха! Посадить въ мѣшокъ... То-то я гляжу, у нея полная хата мѣшковъ... Теперь я все знаю: у нея въ каждомъ мѣшкѣ сидѣло по два человѣка. А я думалъ, что она только мнѣ одному... Вотъ тебѣ и Солоха!“

Другой мѣшокъ былъ притащенъ дѣвushками въ избу Чуба. Явился самъ Чубъ и убѣдился, что въ мѣшкѣ былъ голова.

Вакула слеталъ на чортъ въ Петербургъ, имѣлъ случай быть во дворцѣ съ депутатами-казаками и попросилъ у императрицы башмачки. Она исполнила просьбу наивнаго малоросса.

„Утонулъ! ей-Богу утонулъ! Вотъ, чтобы я не сошла съ этого мѣста, если не утонулъ!“ лепетала толстая ткачиха, стоя въ кучѣ диканьскихъ бабъ, посреди улицы.

„Что-жъ, развѣ я лгунья какая? Развѣ я у кого-нибудь корову украла? Развѣ я сглазила кого, что ко мнѣ не имѣютъ вѣры?“ кричала баба въ казацкой свитѣ съ фіолетовымъ носомъ, размахивая руками. „Вотъ, чтобы мнѣ воды не захотѣлось пить, если старая Переперчиха не видѣла собственными глазами, какъ повѣсился кузнецъ!“

„Кузнецъ повѣсился? Вотъ тебѣ на!“ сказалъ голова, выходявшій отъ Чуба, остановился и протѣснился ближе къ разговаривавшимъ.

„Скажи лучше, чтобы тебѣ водки не захотѣлось пить, старая пьяница!“ отвѣчала ткачиха. „Нужно быть такой сумасшедшей, какъ ты, чтобы повѣситься! Онъ утонулъ! утонулъ въ пролѣбѣ! Это я такъ знаю, какъ то, что ты была сейчасъ у шинкаря“.

„Срамница! вишь, чѣмъ стала попрекаты!“ гнѣвно возразила баба съ фіолетовымъ носомъ. „Молчала бы, негодница! Развѣ я не знаю, что къ тебѣ дьякъ ходитъ каждый вечеръ“.

Ткачиха вспыхнула.

„Что дьякъ? къ кому дьякъ? Что ты врешь?“

„Дьякъ?“ пропѣла, тѣсясь къ ссорившимся, дьячиха, въ тулупѣ изъ заячьего мѣха, крытомъ синею китайкой. „Я дамъ знать дьяка! Кто это говоритъ: дьякъ?“

„А вотъ къ кому ходитъ дьякъ!“ сказала баба съ фіолетовымъ носомъ, указывая на ткачиху.

„Такъ это ты, сука“, сказала дьячиха, подступая къ ткачихѣ: „такъ это ты, вѣдьма, напускаешь на него туманъ и поишь нечистымъ зельемъ, чтобы ходилъ къ тебѣ?“

„Отвяжись отъ меня, сатана!“ говорила, пятясь, ткачиха.

„Вишь, проклятая вѣдьма, чтобы ты не дождалась дѣтей своихъ видѣть! Негодная! Тьфу!“ Тутъ дьячиха плюнула прямо въ глаза ткачихѣ.

Ткачиха хотѣла и себѣ сдѣлать то же, но, вмѣсто того, плюнула въ небритую бороду головѣ, который, чтобы лучше все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.

„А, скверная баба!“ закричалъ голова, обтирая полою лицо и поднявши кнутъ. Это движеніе заставило всѣхъ разойтись, съ ругательствами, въ разныя стороны. „Экая мерзость!“ повторялъ голова, продолжая обтираться. „Такъ кузнецъ утонулъ! Боже ты мой! А какой важный живописецъ былъ! Какіе ножи крѣпкіе, серпы, плуги умѣлъ выковывать! Чтѣ за сила была! Да“, продолжалъ онъ, задумавшись: „такихъ людей мало у насъ на селѣ. То-то я, еще сидя въ проклятомъ мѣшкѣ, замѣчалъ, что бѣдняжка былъ крѣпко не въ духѣ. Вотъ тебѣ и кузнецъ! былъ, а теперь и нѣтъ! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..“ И, будучи полонъ такихъ христіанскихъ мыслей, голова тихо побрѣлъ въ свою хату.

Оксана была смущена, когда до нея дошли такія вѣсти: она любила Вакулу, хотя и скрывала свое чувство отъ него. Вакула только къ утру вернулся домой.

Бережно вынулъ онъ изъ-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работѣ и чудному происшествію минувшей ночи; умылся, одѣлся, какъ можно лучше, надѣлъ то самое платье, которое досталъ отъ запорожцевъ, вынулъ изъ сундука новую шапку рѣшетилловскихъ смушекъ съ синимъ верхомъ, которой не надѣвалъ еще ни разу съ того времени, какъ купилъ ее еще въ бытность въ Полтавѣ; вынулъ также новый всѣхъ цѣтовъ поясъ; положилъ все это вмѣстѣ съ нагайкою въ платокъ и отправился прямо къ Чубу.

Чубъ выпучилъ глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ, и не зналъ, чему дивиться: тому ли, что кузнецъ воскресъ, тому ли, что кузнецъ смѣлъ къ нему придти, или тому, что онъ нарядился такимъ щеголемъ и запорожцемъ. Но еще больше изумился онъ, когда Вакула развязалъ платокъ и положилъ передъ нимъ новехонькую шапку и поясъ, какого не видано было на селѣ, а самъ повалился ему въ ноги и проговорилъ умоляющимъ голосомъ: „Помилуй, батько! не гнѣвись! Вотъ тебѣ и нагайка: бей, сколько душа пожелаетъ. Отдаюсь самъ, во всемъ каюсь; бей, да не гнѣвись только. Ты-жъ, когда-то, брался съ покойнымъ батькомъ, вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣли и магарычъ пили“.

Чубъ не безъ тайнаго удовольствія видѣлъ, какъ кузнецъ, который никому на селѣ въ усъ не дулъ, сгибалъ въ рукѣ пятаки и подковы, какъ гречневые блины, тотъ самый кузнецъ лежалъ теперь у ногъ его. Чтoby еще больше не уронить себя, Чубъ взялъ нагайку и ударилъ ею три раза по спинѣ. „Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей всегда слушай! Забудемъ все, чтó было межъ нами. Ну, теперь говори, чего тебѣ хочется?“

„Отдай, батюко, за меня Оксану!“

Чубъ немного подумалъ, поглядѣлъ на шапку и поясъ: шапка была чудная, поясъ также не уступалъ ей; вспомнилъ о вѣроломной Солохѣ и сказалъ рѣшительно: „Добре! присылай сватовъ!“

„Ай!“ вскрикнула Оксана, переступая черезъ порогъ и увидѣвъ кузнеца, и вперила съ изумленіемъ и радостью въ него очи.

„Погляди, какіе я тебѣ принесъ черевики!“ сказалъ Вакула: „тѣ самые, которые носить царица“.

„Нѣтъ, нѣтъ! мнѣ не нужно черевиковъ!“ говорила она, махая руками и не сводя съ него очей: „я и безъ черевиковъ“... Далѣе она не договорила и покраснѣла.

Кузнецъ подошелъ ближе, взялъ ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хороша. Восхищенный кузнецъ тихо поцѣловалъ ее, и лицо ея пуще загорѣлось, и она стала еще лучше.

Проѣзжалъ черезъ Диканьку блаженной памяти архіерей, хвалилъ мѣсто, на которомъ стоитъ село и, проѣзжая по улицѣ, остановился передъ новою хатою.

„А чья это такая размалеванная хата?“ спросилъ преосвященный у стоявшей близъ дверей красивой женщины съ дитятей на рукахъ.

„Кузнеца Вакулы!“ сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

„Славно! славная работа!“ сказалъ преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна всѣ были обведены кругомъ красною краскою; на дверяхъ же вездѣ были казаки на лошадяхъ, съ трубками въ зубахъ.

Но еще больше похвалилъ преосвященный Вакулу, когда узналъ, что онъ выдержалъ церковное покаяніе и выкрасилъ даромъ весь лѣвый крыльцо зеленою краскою съ красными цвѣтами.

Это, однакожъ, не все. На стѣнѣ сбоку, какъ войдешь въ церковь, намалевалъ Вакула чорта въ аду, такого гадкаго, что всѣ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ только расплакивалось у нихъ на рукахъ дитя, подносили его къ картинѣ и говорили: „онъ бачъ, яка така намалевана!“ И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось къ груди своей матери.

Старосвѣтскіе помѣщики.

Я очень люблю скромную жизнь тѣхъ уединенныхъ владѣтелей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссіи обыкновенно называютъ „старосвѣтскими“, которые, какъ дряхлые живописные домики, хороши своею простотою и совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ строеніемъ, котораго стѣнъ не промылъ еще дождь, крыши не покрыла зеленая

плѣсень, и лишенное штукатурки крыльцо не выказываетъ своихъ красныхъ кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно уединенной жизни, гдѣ ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ, окружающій небольшой дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, обѣнныя вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ владѣтелей такъ тиха, такъ тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желанія и беспокойныя порожденія злого духа, возмущающія міръ, вовсе не существуютъ, и ты ихъ видѣлъ только въ блестящемъ, сверкающемъ сновидѣніи. Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею изъ маленькихъ почернѣлыхъ деревянныхъ столбиковъ, идущихъ вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни оконъ, не замочася дождемъ. За нимъ душистая черемуха, цѣлые ряды низенькихъ фруктовыхъ деревь, потопленныхъ багрянцемъ вишенъ и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; развѣсистый кленъ, въ тѣни котораго разостланъ, для отдыха, коверъ; передъ домомъ просторный дворъ съ низенькою свѣжею травкою, съ протоптанною дорожкой отъ амбара до кухни и отъ кухни до барскихъ покоевъ; длинношейный гусь, пьющій воду, съ молодыми и нѣжными, какъ пухъ, гусятами; частоколъ, обвѣшанный связками сушеныхъ грушъ и яблокъ и провѣтривающимися коврами; возъ съ дынями, стоящій возлѣ амбара; отпряженный волъ, лѣниво лежащій возлѣ него,—все это для меня имѣетъ неизъяснимую прелесть, можетъ быть, оттого, что я уже не вижу ихъ и что намъ мило все то, съ чѣмъ мы въ разлукѣ. Какъ бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъѣзжала къ крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріятное и спокойное состояніе; лошади весело подкатывали подъ крыльцо; кучеръ преспокойно слѣзалъ съ козелъ и набивалъ трубку, какъ будто бы онъ пріѣзжалъ въ собственный домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе барбосы, бровки и жучки, былъ пріятенъ моимъ ушамъ. Но болѣе всего мнѣ нравились самыя владѣтели этихъ скромныхъ уголковъ—старички, старушки, заботливо выходившіе навстрѣчу. Ихъ лица мнѣ представляются и теперь иногда въ шумѣ и толпѣ среди модныхъ фраковъ, и тогда вдругъ на меня находятъ полусонъ и мерещется бывшее. На лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое радушіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя по крайней мѣрѣ на короткое время, отъ всѣхъ дерзкихъ мечтаній и незамѣтно переходишь всѣми чувствами въ низменную буколическую жизнь.

Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго вѣка, которыхъ, увы! теперь уже нѣтъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себѣ, что пріѣду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустѣлое жилище и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ низенькій домикъ—и ничего болѣе. Грустно! мнѣ заранѣе грустно! Но обратимся къ разсказу.

Аѳанасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхерія Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружающихъ мужиковъ, были тѣ старики, о которыхъ я началъ разсказывать. Если бы я былъ живописецъ и хотѣлъ изобразить на полотнѣ Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избралъ другого оригинала, кромѣ ихъ. Аѳанасію Ивановичу было шестьдесятъ лѣтъ, Пульхерія Ивановнѣ пятьдесятъ пять. Аѳанасій Ивановичъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда въ бараньемъ тулупчикѣ, покрытомъ камлотомъ, сидѣлъ

согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывалъ или, просто, слушалъ. Пульхерія Ивановна была нѣсколько серьезна, почти никогда не смѣялась; но на лицѣ и въ глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности угостить васъ всѣмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы, вѣрно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея добраго лица. Легкія морщины на ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностію, что художникъ вѣрно бы украшалъ ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную,—жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатыя фамиліи, всегда составляющія противоположность тѣмъ низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, дерутъ послѣднюю копейку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ, капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на *о*, слогъ *съ*. Нѣтъ, они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія, такъ же какъ и всѣ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Аѳанасій Ивановичъ! вы, Пульхерія Ивановна. „Это вы продавили стулъ, Аѳанасій Ивановичъ?“— „Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я“. Они никогда не имѣли дѣтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ. Когда-то, въ молодости, Аѳанасій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ послѣ секундъ-майоромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ Аѳанасій Ивановичъ почти никогда не вспоминалъ объ этомъ. Аѳанасій Ивановичъ женился тридцати лѣтъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдать за него; но и объ этомъ уже онъ очень мало помнилъ, по крайней мѣрѣ, никогда не говорилъ.

Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились спокойною и уединенною жизнью, тѣми дремлющими и вмѣстѣ гармоническими грезами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ,—или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, приѣзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше спрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ стариковъ, которые надоедаютъ вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго: онъ, напротивъ, спрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются всѣ добрые старики, хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говорить съ вами, рассматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были маленькія, низенькія, какія обыкновенно встрѣчаются у старосвѣтскихъ людей. Въ каждой

комнатѣ была огромная печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Аѳанасій Ивановичъ, и Пульхерія Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были всѣ проведены въ сѣни, всегда почти до самаго потолка наполненныя соломой, которую обыкновенно употребляютъ въ Малороссіи вмѣсто дровъ. Трескъ этой горящей соломы и освѣщеніе дѣлаютъ сѣни чрезвычайно пріятными въ зимній вечеръ, когда пыльная молодежь, прозябнувши отъ преслѣдованія за какой-нибудь смуглянкой, вбѣгаетъ въ нихъ, хлопывая въ ладоши. Стѣны комнаты убраны были нѣсколькими картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я увѣренъ, что сами хозяева давно позабыли ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторые изъ нихъ были унесены, то они бы, вѣрно, этого не замѣтили. Два портрета было большихъ, писанныхъ масляными красками; одинъ представлялъ какого-то архіерея, другой Петра III; изъ узенькихъ рамъ глядѣла герцогиня Лавальеръ, запачканная мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множество небольшихъ картинокъ, которыя какъ-то привыкаешь почитать за пятна на стѣнѣ и потому ихъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всѣхъ комнатахъ былъ глиняный, но такъ чисто вымазанный и содержавшійся съ такою опрятностію, съ какою, вѣрно, не содержался ни одинъ паркетъ въ богатомъ домѣ, лѣниво подметаемый невзысканнымъ господиномъ въ ливрѣѣ.

Комната Пульхеріи Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелковъ и мѣшковъ съ сѣменами, прѣточными, огородными, арбузными висѣли по стѣнамъ. Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, доскутковъ старинныхъ платьевъ, шитыхъ за полстолѣтіе, были уложены по угламъ въ сундучкахъ и между сундуками. Пульхерія Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ—были поющія двери. Какъ только наставало утро, пѣніе дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего онѣ пѣли: перержавѣвшія ли петли были тому виною, или самъ механикъ, дѣлавшій ихъ, скрылъ въ нихъ какой-нибудь секретъ; но замѣчательно то, что каждая дверь имѣла свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, пѣла самымъ тоненькимъ дискантомъ; дверь въ столовую хрипѣла басомъ; но та, которая была въ сѣняхъ, издавала какой-то странный, дребезжащій и вмѣстѣ стонущій звукъ, такъ что, вслушиваясь въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: „Батюшки, я забну!“ Я знаю, что многимъ очень не нравится этотъ звукъ; но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнеть деревню: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ; ужиномъ, уже стоящимъ на столѣ; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обдастъ садъ, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и, Боже! какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!

Стулья въ комнатѣ были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высокими выточенными спинками въ натуральномъ видѣ, безъ всякаго лака и краски; они не были даже обиты матеріею и были нѣсколько похожи на тѣ стулья, на которые и донинѣ садятся архіереи. Треугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ, выточенныхъ

листьями, которыя мухи усыяли черными точками, передъ диваномъ коверъ съ птицами, похожими на цвѣты, и цвѣтами, похожими на птицъ: вотъ все почти убранство невзыскательнаго домика, гдѣ жили мои старики.

Дѣвчія была набита молодыми и немолодыми дѣвушками въ полосатыхъ исподницахъ, которымъ иногда Пульхерія Ивановна давала шить какія-нибудь бездѣлушки и заставляла чистить ягоды, но которыя болѣею частью бѣгали на кухню и спали. На стеклахъ оконъ звенѣло страшное множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый басъ шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаніями осы; но какъ только подавали свѣчи, вся эта ватага отправлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.

Аеанасій Ивановичъ очень мало занимался хозяйствомъ, хотя, впрочемъ, ѣздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все бремя правленія лежало на Пульхеріи Ивановнѣ. Хозяйство Пульхеріи Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніи и запираніи кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчисленнаго множества фруктовъ и растеній. Ея домъ былъ совершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ яблонею вѣчно былъ разложенъ огонь, и никогда почти не снимался съ желѣзнаго треножника котелъ или мѣдный тазъ съ вареньемъ, желе, пастилою, дѣланными на меду, на сахарѣ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ вѣчно перегонялъ въ мѣдномъ лембикѣ водку на персиковые листья, на черемуховый цвѣтъ, на золототысячникъ, на вишневья косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ, болталъ такой вздоръ, что Пульхерія Ивановна ничего не могла понять, и отправлялась на кухню спать. Всей этой дряннѣ наваривалось, насаливалось, насушивалось такое множество, что, вѣроятно, она потопила бы, наконецъ, весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго на потребление, любила готовить еще на запасъ), если бы болѣшая половина этого не съѣдалась дворовыми дѣвками, которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объѣдались, что цѣлый день стояли и жаловались на животы свои.

Въ хлѣбопашество и прочія хозяйственныя статьи внѣ двора Пульхерія Ивановна мало имѣла возможности входить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обрадовывали немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновеніе входить въ господскіе лѣса, какъ въ свои собственные, надѣлывали множество саней и продавали ихъ на ближней ярмаркѣ; кромѣ того, всѣ толстые дубы они продавали на срубъ для мельницъ сосѣднимъ козакамъ. Одинъ только разъ Пульхерія Ивановна пожелала обривизовать свои лѣса. Для этого были запряжены дрожки, съ огромными кожаными фартуками, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встряхивалъ возжами и лошади, служившія еще въ милиціи, трогались съ своего мѣста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ; каждый гвоздикъ и желѣзная скоба звенѣли до того, что возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ пани выѣзжала со двора, хотя это разстояніе было не менѣе двухъ верстъ. Пульхерія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго опустошенія въ лѣсу и потери тѣхъ дубовъ, которые она еще въ дѣтствѣ знавала столѣтними.

„Отчего это у тебя, Ничипоръ“, сказала она, обратясь къ своему приказчику, тутъ же находившемуся; „дубки сдѣлались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки“.

„Отчего рѣдки?“ говаривалъ обыкновенно приказчикъ: „пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побилло и черви проточили — пропали, пани, пропали“.

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отвѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дулъ.

Какъ ни обирадывали старичковъ, они благодумствовали.

Аеанасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнѣ такъ мало было нужно, что всѣ эти страшныя хищенія казались вовсе незамѣтными въ ихъ хозяйствѣ.

Оба старичка, по старинному обычаю старосвѣтскихъ помѣщиковъ, очень любили покушать. Какъ только занималась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери заводили свой разноголосный концертъ, они уже сидѣли за столикомъ и пили кофе. Напившись кофе, Аеанасій Ивановичъ выходилъ въ сѣни и, встряхнувши платокъ, говорилъ: „Кишъ, кишъ! пошли, гуси, съ крыльца!“ На дворѣ ему обыкновенно попадался приказчикъ. Онъ, по обыкновенію, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, разспрашивалъ о работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщалъ ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичокъ не осмѣлился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его былъ обстрѣлянная птица: онъ зналъ, какъ нужно отвѣчать, а еще болѣе, какъ нужно хозяйничать.

Послѣ этого Аеанасій Ивановичъ возвращался въ покои и говорилъ, приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: „А чтѣ, Пульхерія Ивановна, можетъ быть, пора закусить чего-нибудь?“

„Чего же бы теперь, Аеанасій Ивановичъ, закусить? развѣ коржиковъ съ саломъ или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ быть, рыжиковъ соленыхъ?“

„Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ“, отвѣчалъ Аеанасій Ивановичъ, — и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирогами и рыжиками.

За часъ до обѣда Аеанасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибами, разными сушеными рыбками и прочимъ. Обѣдать садились въ двѣнадцать часовъ. Кромѣ блюдъ и соусниковъ, на столѣ стояло множество горшечковъ съ замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное издѣліе старинной вкусной кухни. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду.

„Мнѣ кажется, какъ будто эта каша“, говаривалъ обыкновенно Аеанасій Ивановичъ: „немного пригорѣла. Вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?“

„Нѣтъ, Аеанасій Ивановичъ; вы положите побольше масла, тогда она не будетъ казаться пригорѣлою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней“.

„Пожалуй“, говорилъ Аеанасій Ивановичъ, подставляя свою тарелку: „попробуемъ, какъ оно будетъ“.

Послѣ обѣда Аеанасій Ивановичъ шелъ отдохнуть одинъ часикъ, послѣ чего Пульхерія Ивановна приносила разрѣзанный арбузъ и говорила: „Вотъ попробуйте, Аеанасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ“.

„Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный въ срединѣ“,

говорилъ Аеанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: „бываетъ, что и красивый, да нехорошій“.

Но арбузъ немедленно исчезалъ. Послѣ этого Аеанасій Ивановичъ съѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ, обращеннымъ къ двору, и глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и дѣвки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякаго дрягу въ деревянные ящики, рѣшетахъ, ночевкахъ и въ прочихъ фруктохранилищахъ. Немного погодя, онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной или самъ отправлялся къ ней и говорилъ: „Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?“

„Чего же бы такого?“ говорила Пульхерія Ивановна: „Развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить?“

„И то дѣло“, отвѣчалъ Аеанасій Ивановичъ.

„Или, можетъ быть, вы съѣли бы кисельку?“

„И то хорошо“, отвѣчалъ Аеанасій Ивановичъ. Послѣ чего все это немедленно было приносимо и, какъ водится, съѣдаемо.

Передъ ужиномъ Аеанасій Ивановичъ еще кое-чего закушивалъ. Въ половинѣ десятаго сажались ужинать. Послѣ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ спокойномъ уголкѣ.

Комната, въ которой спали Аеанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, была такъ жарка, что рѣдкій былъ бы въ состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Аеанасій Ивановичъ еще сверхъ того, чтобы было теплѣе, спалъ на лежанкѣ, хотя сильный жаръ часто заставлялъ его нѣсколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по комнатѣ. Иногда Аеанасій Ивановичъ, ходя по комнатѣ, стоналъ.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: „Чего вы стонете, Аеанасій Ивановичъ?“

„Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна; какъ будто немного животъ болитъ“, говорилъ Аеанасій Ивановичъ.

„А не лучше ли вамъ чего-нибудь съѣсть, Аеанасій Ивановичъ?“

„Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна! Впрочемъ, чего-жъ бы такого съѣсть?“

„Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными грушами“.

„Пожалуй, развѣ такъ только попробовать“, говорилъ Аеанасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аеанасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку; послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ: „Теперь такъ какъ будто сдѣлалось легче“.

Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно тепло натоплено, Аеанасій Ивановичъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхеріей Ивановной и поговорить о чемъ-нибудь постороннемъ.

„А что, Пульхерія Ивановна“, говорилъ онъ: „если бы вдругъ загорѣлся домъ нашъ, куда бы мы дѣлись?“

„Вотъ это, Боже сохрани!“ говорила Пульхерія Ивановна крестясь.

„Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорѣлъ, куда бы мы перешли тогда?“

„Богъ знаетъ, что вы говорите, Аеанасій Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не попуститъ“.

„Ну, а если бы сгорѣла?“

„Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на время ту комнату, которую занимаетъ ключница“.

„А если бы и кухня сгорѣла?“

„Вотъ еще! Богъ сохранить отъ такого поущенія, чтобы вдругъ и домъ, и кухня сгорѣли! Ну, тогда въ кладовую, покаместъ выстроился бы новый домъ“.

„А если бы и кладовая сгорѣла?“

„Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не хочу! Грѣхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такія рѣчи!“

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что подшутилъ надъ Пульхеріею Ивановною, улыбался, сидя на своемъ стулѣ.

Но интереснѣе всего казались для меня старички въ то время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ домѣ принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ всѣмъ, что только производило ихъ хозяйство. Но болѣе всего приятно мнѣ было то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ шли къ нимъ, что поневолѣ соглашался на ихъ просьбы. Онѣ были слѣдствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ чиновникъ казенной палаты, вышедшій въ люди вашими стараніями, называющій васъ благодѣтелемъ и ползающій у ногъ вашихъ. Гость никакимъ образомъ не былъ отпускаемъ въ тотъ же день: онъ долженъ былъ непременно переночевать.

„Какъ можно такую позднюю пороку отправляться въ такую дальнюю дорогу!“ всегда говорила Пульхерія Ивановна (Гость обыкновенно жилъ въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ).

„Конечно“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: „неравно всякого случая: нападутъ разбойники или другой недобрый человекъ“.

„Пусть Богъ милуетъ отъ разбойниковъ!“ говорила Пульхерія Ивановна. „И къ чему рассказывать такое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: онъ такой тендитный, да маленькій; его всякая кобыла побьетъ; да притомъ теперь онъ уже, вѣрно, наклюкался и спитъ гдѣ-нибудь“.

И гость долженъ былъ непременно остаться; но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой комнатѣ, радушный, грѣбущій и усыпляющій рассказъ, несущійся паръ отъ поданнаго на столъ кушанья, всегда питательнаго и мастерски изготовленнаго, бывалъ для него наградою. Я вижу, какъ теперь, какъ Аѳанасій Ивановичъ, согнувшись, сидитъ на стулѣ со всегдашнею своею улыбкой и слушаетъ со вниманіемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила и о политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, часто, съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ свои догадки и рассказывалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто рассказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Аѳанасій Ивановичъ часто говорилъ, какъ будто не глядя на Пульхерію Ивановну:

„Я самъ думаю пойти на войну; почему-жъ я не могу итти на войну?“

„Вотъ уже и пошелъ!“ прерывала Пульхерія Ивановна. „Вы не смѣйте ему“, говорила она, обращаясь къ гостю: „гдѣ уже ему, старому, итти на

войну! Его первый солдатъ застрѣлить! Ей-Богу, застрѣлить! Вотъ такъ-таки прицѣлятся и застрѣлятъ“.

„Что-жь“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: „я я его застрѣлю“.

„Вотъ слушайте только, что онъ говоритъ!“ подхватывала Пульхерія Ивановна: „куда ему идти на войну! И пистолы его давно уже заржавѣли и лежать въ коморѣ. Если-бъ вы ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, нежели выстрѣлятъ, разорветъ ихъ порохомъ. И руки себѣ поотобьетъ, и лицо искалѣчитъ, и навѣки несчастнымъ останется!“

„Что-жь“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: „я куплю себѣ новое вооруженіе; я возьму саблю или казацкую пику“.

„Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ придетъ въ голову и начнетъ рассказывать!“ подхватывала Пульхерія Ивановна съ досадою. „Я и знаю, что онъ шутить, а все-таки неприятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говоритъ; иной разъ слушаешь-слушаешь, да и страшно становится“.

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что нѣсколько напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя, согнувшись, на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна для меня была занимательнѣе всего тогда, когда подводила гостя къ закускѣ. „Вотъ это“, говорила она снимая пробку съ графина: „водка, настоенная на деревѣхъ и шалфеѣ: если у кого болятъ лопатки или поясница, то очень помогаетъ; вотъ это—на золотысичникѣ: если въ ушахъ звенить и по лицу лишая дѣлаются, то очень помогаетъ; а вотъ эта перегонная на персиковыхъ косточкахъ, вотъ возьмите рюмку, како ѣ прекрасный запахъ! Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набѣжить на лбу гугля, то стоитъ только одну рюмочку выпить передъ обѣдомъ—и все какъ рукой сниметъ; въ ту же минуту все пройдетъ, какъ будто вовсе не бывало“. Послѣ этого, такой перечетъ слѣдовалъ и другимъ графинамъ, всегда почти имѣвшимъ какія-нибудь цѣлебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявшихъ тарелокъ. „Вотъ это грибки съ щецрепцомъ! Это—съ гвоздиками и волошскими орѣхами. Солить ихъ выучила меня туркени, въ то время, когда еще турки были у насъ въ плѣну. Такая была добрая туркени, и незамѣтно совсѣмъ, чтобы турецкую вѣру исповѣдывала: такъ совсѣмъ и ходитъ почти, какъ у насъ; только свинины не ѣла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ въ законѣ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиновымъ листомъ и мушкатнымъ орѣхомъ! А вотъ это большія травянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ укусѣ; не знаю, каковы-то онѣ. Я узнала секретъ отъ отца Ивана: въ маленькой кадучкѣ прежде всего нужно разостлать дубовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и се-литрою, и положить еще, что бываетъ на нечуй-витерѣ цвѣтъ, такъ этотъ цвѣтъ взять и хвостиками разостлать вверхъ. А вотъ это пирожки! это пирожки съ сыромъ! это съ урюкомъ! А вотъ это тѣ, которые Аѳанасій Ивановичъ очень любитъ, съ капустою и гречевою кашею“.

„Да“, прибавлялъ Аѳанасій Ивановичъ: „я ихъ очень люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе“.

Добрые старички! Но повѣствованіе мое приближается къ весьма печальному событію, измѣнившему навсегда жизнь этого мирнаго уголка. Событіе это покажется тѣмъ болѣе разительнымъ, что произошло отъ самаго маловажнаго случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія предпріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями.

Любимая кошечка Пульхерія Ивановны убѣжала отъ нея въ лѣсъ и одичала. Однажды она опять вернулась, но не позволила своей прежней хозяйкѣ приласкать себя и опять убѣжала. Это поразило Пульхерію Ивановну.

Задумалась старушка. „Это смерть моя приходила за мною!“ сказала она сама себѣ, и ничто не могло ее разсѣять. Весь день она была скучна. Напрасно Аеанасій Ивановичъ шутилъ и хотѣлъ узнать, отчего она такъ вдругъ загрустила: Пульхерія Ивановна была безотвѣтна, или отвѣчала совершенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аеанасія Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла.

„Что это съ вами, Пульхерія Ивановна? Уже не больны ли вы?“

„Нѣтъ, я не больна, Аеанасій Ивановичъ! Я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе: я знаю, что я этимъ лѣтомъ умру: смерть моя уже приходила за мною!“

Уста Аеанасія Ивановича какъ-то болѣзненно искривились. Онъ хотѣлъ, однакожь, побѣдить въ душѣ своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказалъ: „Богъ знаетъ что вы говорите, Пульхерія Ивановна! Вы, вѣрно, вмѣсто декохта, что часто пьете, выпили персиковой“.

„Нѣтъ, Аеанасій Ивановичъ, я не пила персиковой“, сказала Пульхерія Ивановна.

И Аеанасію Ивановичу сдѣлалось жалко, что онъ такъ пошутилъ надъ Пульхеріей Ивановной, и онъ смотрѣлъ на нее, и слеза повисла на его рѣсницѣ.

„Я прошу васъ, Аеанасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю“, сказала Пульхерія Ивановна. „Когда я умру, то похороните меня вонъ въ церковной оградѣ. Платье надѣньте на меня сѣренькое, то, что съ небольшими цвѣточками по коричневому полю. Атласнаго платья, что съ малиновыми полосками, не надѣвайте на меня: мертвой уже не нужно платье—на что оно ей? А вамъ оно пригодится: изъ него сошьете себѣ парадный халатъ на случай, когда придутъ гости, то чтобы можно было вамъ прилично показаться и принять ихъ“.

„Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна!“ говорилъ Аеанасій Ивановичъ: „когда-то еще будетъ смерть, а вы уже страшаете такими словами“.

„Нѣтъ, Аеанасій Ивановичъ, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однакожь, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары; мы скоро увидимся на томъ свѣтѣ“.

Но Аеанасій Ивановичъ рыдалъ, какъ ребенокъ.

„Грѣхъ плакать, Аеанасій Ивановичъ! Не грѣшите и Бога не гнѣвите своею печалью. Я не жалѣю о томъ, что умираю; объ одномъ только жалѣю я (тяжелый вздохъ прервалъ на минуту рѣчь ея): я жалѣю о томъ, что не знаю, на кого оставить васъ, кто присмотритъ за вами, когда я умру. Вы—какъ дитя маленькое: нужно, чтобы любилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами“. При этомъ на лицѣ ея выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ ли бы кто-нибудь въ то время глядѣть на нее равнодушно.

„Смотри мнѣ, Явдоха“, говорила она, обращаясь въ ключницѣ, которую нарочно велѣла позвать: когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухнѣ готовилось то, что онъ любитъ; чтобы бѣлье и платье ты ему давала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично;

а то, пожалуй, онъ иногда выйдетъ въ старомъ халатѣ, потому что и теперь часто позабываетъ онъ, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди съ него глазъ, Явдоха; я буду молиться за тебя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградитъ тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго жить—не набирай грѣха на душу. Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не забудь тебѣ счастья на свѣтѣ. Я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дѣти твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ не будетъ имѣть ни въ чемъ благословенія Божія“.

Бѣдная старушка! она въ то время не думала ни о той великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей, ни о будущей своей жизни: она думала только о бѣдномъ своемъ спутникѣ, съ которымъ провела жизнь и котораго оставляла сырымъ и безпріютнымъ. Она съ необыкновенною расторопностью распорядила все такимъ образомъ чтобы послѣ нея Аеанасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія. Увѣренность ея въ близкой своей кончинѣ такъ была сильна и состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что, дѣйствительно, чрезъ нѣсколько дней она слегла въ постель и не могла уже принимать никакой пищи. Аеанасій Ивановичъ весь превратился во внимательность и не отходилъ отъ ея постели. „Можетъ быть, вы чего нибудь бы покушали, Пульхерія Ивановна?“ говорилъ онъ, съ безпокойствомъ смотря въ глаза ей. Но Пульхерія Ивановна ничего не говорила. Наконецъ, послѣ долгаго молчанія, какъ будто хотѣла она что-то сказать, пошевелила губами—и дыханіе ея улетѣло.

Аеанасій Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это такъ казалось ему дико, что онъ даже не заплакалъ; мутными глазами глядѣлъ онъ на нее, какъ бы не понимая значенія трупa.

Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не уносить время? Какая страсть уцѣлѣетъ въ неравной битвѣ съ нимъ? Я зналъ одного человека въ цвѣтѣ юныхъ еще силъ, исполненнаго истиннаго благородства и достоинствъ; я зналъ его влюбленнымъ нѣжно, страстно, бѣшено, дерзко, скромно, и, при мнѣ, при моихъ глазахъ почти, предметъ его страсти—нѣжная, прекрасная, какъ ангелъ, была поражена ненасытною смертью. Я никогда не видалъ такихъ ужасныхъ порывовъ душевнаго страданія, такой бѣшеной, палящей тоски, такого пожирающаго отчаянія, какія волновали несчастнаго любовника. Я никогда не думалъ, чтобы могъ человѣкъ создать для себя такой адъ, въ которомъ ни тѣни, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ, отъ него спрятали всѣ орудія, которыми бы онъ могъ умертвить себя. Двѣ недѣли спустя онъ вдругъ побѣдилъ себя: началъ смѣяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что онъ употребилъ ее, это было—купить пистолетъ. Въ одинъ день внезапно раздавшійся выстрѣлъ перепугалъ ужасно его родныхъ; они вбѣжали въ комнату и увидѣли его распростертаго, съ раздробленнымъ черепомъ. Врачъ случившійся тогда, объ искусствѣ котораго гремѣла всеобщая молва, увидѣлъ въ немъ признаки существованія, нашелъ рану не совсѣмъ смертельною, и онъ, къ изумленію всѣхъ, былъ вылѣченъ. Присмотръ за нимъ увеличили еще болѣе. Даже за столомъ не клали возлѣ него ножа и старались удалить все, чѣмъ бы могъ онъ себя ударить; но онъ въ скоромъ времени нашелъ новый случай и бросился подъ колеса проѣзжавшаго экипажа. Ему раздробило руку и ногу; но онъ опять былъ вылѣченъ. Годъ послѣ этого я видѣлъ его въ одномъ мно-

голюдномъ залѣ: онъ сидѣлъ за столомъ, весело говорилъ: „итит-увертъ“, закрывши одну карту, и за нимъ стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истеченіи сказанныхъ пяти лѣтъ послѣ смерти Пульхеріи Ивановны, я, будучи въ тѣхъ мѣстахъ, заѣхалъ въ хуторокъ Аѳанасія Ивановича навѣсить моего стариннаго сосѣда, у котораго когда-то пріятно проводилъ день и всегда объѣдался лучшими издѣліями радушной хозяйки. Когда я подъѣхалъ ко двору, домъ мнѣ показался вдвое старѣе; крестьянскія избы совсѣмъ легли на-бокъ, безъ сомнѣнія, такъ же, какъ и владѣльцы ихъ; частокоежъ и плетень во дворѣ были совсѣмъ разрушены, и я видѣлъ самъ, какъ кухарка выдергивала изъ него палки для затопки печи, тогда какъ ей нужно было сдѣлать только два шага лишнихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту. Я съ грустью подъѣхалъ къ крыльцу; тѣ же самые барбосы и бровки, уже слѣпые, или съ перебитыми ногами, залапали, поднявши вверхъ свои волнистые, обвѣшанные репейниками, хвосты. Навстрѣчу вышелъ старикъ. Такъ, это онъ! я тотчасъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ прежняго. Онъ узналъ меня и привѣтствовалъ съ тою же знакомою мнѣ улыбкою. Я вошелъ за нимъ въ комнаты. Казалось, все было въ нихъ попрежнему; но я замѣтилъ во всемъ какой-то странный безпорядокъ, какое-то ошутительное отсутствіе чего-то; словомъ, я ощутилъ въ себѣ тѣ странныя чувства, которыя овладѣваютъ нами, когда мы вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздѣльнымъ съ подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бываютъ похожи на то, когда, видимъ передъ собою безъ ноги человѣка, котораго всегда знали здоровымъ. Во всемъ видно было отсутствіе заботливой Пульхеріи Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ безъ черенка; блюда уже не были приготовлены съ такимъ искусствомъ. О хозяйствѣ я не хотѣлъ и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведенія.

Когда мы сѣли за столъ, дѣвка завязала Аѳанасія Ивановича салфеткою, и очень хорошо сдѣлала, потому что безъ того онъ бы весь халать свой запачкалъ соусомъ. Я старался его чѣмъ-нибудь занять и рассказывалъ ему разныя новости; онъ слушалъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ, и мысли въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднималъ онъ ложку съ кашею и, вмѣсто того, чтобы подносить ко рту, подносилъ къ носу; вилку свою, вмѣсто того, чтобы воткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графинъ, и тогда дѣвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нѣсколько минутъ слѣдующаго блюда. Аѳанасій Ивановичъ уже самъ замѣчалъ это и говорилъ: „Что это такъ долго не несутъ кушанья?“ Но я видѣлъ сквозь щель въ дверяхъ, что мальчикъ, разносившій намъ блюда, вовсе не думалъ о томъ и спалъ, свѣсивши голову на скамью.

„Вотъ это то кушанье“, сказалъ Аѳанасій Ивановичъ, когда подали намъ *миньки* со сметаной: „это то кушанье“, продолжалъ онъ, и я замѣтилъ, что голосъ его началъ дрожать и слеза готовилась выглянуть изъ его свинцовыхъ глазъ, но онъ собиралъ всѣ усилія, желая удержать ее: „это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...“ и вдругъ брызнулъ слезами; рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетѣла и разбилась; соусъ залилъ его всего. Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно держалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій фонтанъ, лились, лились ливнемъ на застилавшую его салфетку.

„Боже!“ думалъ я, глядя на него: „пять лѣтъ всеистребляющаго времени—старикъ уже безчувственный, старикъ, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ,—и такая долгая, такая жаркая печаль! Чтѣ же сильнѣе надъ нами: страсть или привычка? Или всѣ сильныя порывы, весь вихоръ нашихъ желаній и кипящихъ страстей есть только слѣдствіе нашего яркаго возраста, и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?“ Чтѣ бы ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всѣ наши страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувственной привычки. Нѣсколько разъ силился онъ выговорить имя покойницы, но на половинѣ слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачъ дитяти поражалъ меня въ самое сердце. Нѣтъ, это не тѣ слезы, на которыя обыкновенно такъ щедръ старички, представляющіе вамъ жалкое свое положеніе и несчастія; это были также не тѣ слезы, которыя они роняютъ за стаканомъ пунша: нѣтъ! это были слезы, которыя текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ бѣдности боли уже охладѣвшаго сердца.

Онъ не долго послѣ того жилъ. Я недавно услышалъ объ его смерти. Странно, однакоже, то, что обстоятельства кончины его имѣли какое-то сходство съ кончиною Пульхеріи Ивановны. Въ одинъ день Аванасій Ивановичъ рѣшился немного пройтись по саду. Когда онъ медленно шелъ по дорожкѣ, съ обыкновенною своею безпечною, вовсе не имѣя никакой мысли, съ нимъ случилось странное происшествіе. Онъ вдругъ услышалъ, что позади его произнесъ кто-то довольно явственнымъ голосомъ: „Аванасій Ивановичъ!“ Онъ оборотился, но никого совершенно не было; посмотрѣвъ во всѣ стороны, заглянувъ въ кусты—нигдѣ никого. День былъ тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минутку задумался; лицо его какъ-то оживилось, и онъ наконецъ произнесъ: „это Пульхерія Ивановна зоветъ меня!“ Вамъ, безъ сомнѣнія, когда-нибудь случалось слышать голосъ, называющій васъ по имени, который простолюдины объясняютъ тѣмъ, что душа стосковалась за человѣкомъ и призываетъ его, и послѣ котораго слѣдуетъ неминуемо смерть.

Онъ весь покорился своему душевному убѣжденію, что Пульхерія Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею послушнаго ребенка, сохнулъ, кашлялъ, таялъ, какъ свѣчка, и наконецъ угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не осталось, чтѣ бы могло поддержать бѣдное ея пламя. „Положите меня возлѣ Пульхеріи Ивановны“—вотъ все, чтѣ произнесъ онъ передъ своею кончиною.

Тарасъ Бульба.

Повѣсть.

I.

„А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Что это на васъ за поповскіе подряслики? И этакъ всѣ ходятъ въ академія?“

Таковыми словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кievской бурсѣ и пріѣхавшихъ домой къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзали съ коней. Это были два дюжие молодца, еще смотрѣвшіе исподлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

„Стойте, стойте! Дайте мнѣ разглядѣть васъ хорошенько“, продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: „какія же длинныя на васъ свитки *)! Экія свитки! Такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣги который-нибудь изъ васъ! я посмотрю, не плещнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы“.

„Не смѣйся, не смѣйся, батьку!“ сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

„Смотри ты, какой пышный! А отчего жъ бы не смѣяться?“

„Да такъ; хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то, ей-Богу, поколочу!“

„Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?“ сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько шаговъ назадъ.

„Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважаю никого“.

„Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки?“

„Да ужъ на чемъ бы то ни было“.

„Ну, давай на кулаки!“ говорилъ Бульба, засучивъ рукавъ: „посмотрю я, что за человѣкъ ты въ кулакъ!“

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали насаживать другъ другу тумаки и въ бока, и въ поясницу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

„Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старшій! совсѣмъ спятилъ съ ума!“ говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. „Дѣти пріѣхали домой, больше году ихъ не видали, а онъ задумалъ нивѣсть что: на кулаки биться!“

„Да онъ славно бьется!“ говорилъ Бульба, остановившись. „Ей-Богу, хорошо!“ продолжалъ онъ, немного оправляясь: „такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ казакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!“ И отецъ съ сыномъ стали цѣловаться. „Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай. А все-таки на тебѣ смѣшное убранство: что это за веревка виситъ? А ты, бейбасъ, что стоишь и руки опустилъ?“ говорилъ онъ, обращаясь къ младшему: „что жъ ты, собачій сынъ, не колотишь меня?“

„Вотъ еще что выдумалъ!“ говорила мать, обнимавшая между тѣмъ младшаго. „И придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, проѣхало столько пути, утомилось...“ (это дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ); „ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чегонибудь, а онъ заставляетъ его биться!“

„Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!“ говорилъ Бульба. „Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба—чистое поле да добрый конь: вотъ ваша нѣжба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матеръ! Это все дрянъ, тѣмъ набиваютъ головы ваши: и академія, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, и все это: *ка зна що*—я

*) Верхняя одежда у южныхъ россіяняъ.

плевать на все это!" Здѣсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати. „А вотъ, лучше, я васъ на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука, такъ наука! Тамъ вамъ школа; тамъ только наберетесь разума“.

„И всего только одну недѣлю быть имъ дома?“ говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худошавая старуха-мать: „и погулять имъ, бѣднымъ, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!“

„Полно, полно выть, старуха! Казакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себѣ подъ юбку, да и сидѣла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставь намъ скорѣе на столъ все, чтб есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и другихъ пундиковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, меды сорокалѣтніе! Да горѣлки побольше, не съ выдумками горѣлки, не съ изюмомъ и всякими вытребеньками, а чистой, пѣнной горѣлки, чтобы играла и шипѣла, какъ бѣшеная“.

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, откуда проворно выбѣжали двѣ красивыя дѣвки-прислужницы, въ червонныхъ монистахъ, прибиравшія комнаты. Онѣ, какъ видно, испугались пріѣзда паничей, не любившихъ спускать никому, или же, просто, хотѣли соблюсти свой женскій обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидѣвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ. Свѣтлица была убрана во вкусъ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихъ болѣе на Украинѣ бородастыми старцами-слѣпцами, въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обстужившаго народа,—во вкусъ того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украинѣ за унию. Все было чисто, вымазано цвѣтной глиною. На стѣнахъ—сабли, нагайки, сѣтки для птицъ, невода и ружья, хитро обдѣланный рогъ для пороха, золотая уздечка на коня и путы съ серебряными бляхами. Окна въ свѣтлицѣ были маленькія, съ круглыми тусклыми стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ старинныхъ церквяхъ, сквозь которыя иначе нельзя было глядѣть, какъ приподнявъ подвижное стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красныя отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленого и синяго стекла, рѣзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, черкесской, зашедшія въ свѣтлицу Бульбы всякими путями черезъ третьи и четвертыя руки, что было весьма обыкновенно въ тѣ удалыя времена. Берестовыя скамьи вокругъ всей комнаты; огромный столъ подъ образами въ парадномъ углу; широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвѣтными, пестрыми изразцами,—все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время,—приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней и потому, что не въ обычаѣ было позволять школярамъ ѣздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій казакъ, носившій оружіе. Бульба только при выпускѣ ихъ послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю пріѣзда сыновей, велѣлъ созвать всѣхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ налицо; и когда пришли двое изъ нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ, старый его товарищъ, онъ имъ тотъ же

часть представилъ сыновей, говоря: „Вотъ смотрите, какіе молодцы! На Сѣчѣ ихъ скоро пошлю“. Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлають и что нѣтъ лучшей науки для молодого человѣка, какъ Запорожская Сѣчѣ.

„Ну жъ, паны братья, садись всякій, гдѣ кому лучше, за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горѣлки!“ такъ говорилъ Бульба. „Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобъ бусурмановъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горѣлка? А какъ по-латыни горѣлка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ, бишь, того звали, что латинскіе вирши писалъ? Я грамотѣ разумѣю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли?“

Увлеченный удачью своихъ сыновей, Бульба рѣшилъ самъ ѣхать съ ними на слѣдующій же день въ Сѣчѣ.

„Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я съ вами ѣду! ей-Богу, ѣду. Какого дьявола мнѣ здѣсь ждать? Чтобъ я сталъ гречко-сѣмъ, домоводомъ, глядѣть за овцами, да и за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади она: я казакъ, не хочу! Такъ что же, что нѣтъ войны. Я такъ поѣду съ вами на Запорожье—погулять. Ей-Богу, поѣду!“ И старый Бульба мало-по-малу горячился, горячился, наконецъ разсердился совсѣмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосаившись, топнулъ ногою.—„Завтра же ѣдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На что намъ эта хата? Къ чему намъ все это? На что эти горшки?“ Сказавши это, онъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, услыша о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая разлука,—и никто бы ни могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно-сжатыхъ губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый XV вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная перевойтная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до-тла неукротимыми набѣгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человѣкъ; когда на пожарахъ, въ виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуетъ ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ пламенемъ объялся древле-мирный славянскій духъ и завелось казачество—широкая разгульная замашка русской природы, и когда всѣ порѣчья, перевозы, прибрежная пологія и удобныя мѣста усыялись казаками, которымъ и счету никто не вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ отвѣчать султану, пожелавшему знать о числѣ ихъ: „Кто ихъ знаетъ! у насъ ихъ раскидано по всему степу: что байракъ, то казакъ“ (гдѣ маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и казакъ). Это было необыкновенное явленіе русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бѣды. Вмѣсто прежнихъ

удѣловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ князей, возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общою опасностью и ненавистью противъ нехристіанскихъ хищниковъ. Уже извѣстно всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набѣговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся, на мѣсто удѣльныхъ князей, властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значеніе казаковъ и выгоды таковой бранной, сторожевой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетманы, избранные изъ среды самихъ же казаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильныя округа. Это не было строевое сборное войско; его бы никто не увидалъ; но въ случаѣ войны и общаго движенія, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конѣ, во всемъ своемъ вооруженіи, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, какового бы не въ силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ,—воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днѣпровскіе перевозы, ловилъ рыбу, торговалъ, варилъ пиво, и былъ вольный казакъ. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ казакъ: накурить вина, снарядить телѣгу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую, пить и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій,—все это было ему по плечу. Кромѣ рейстровыхъ казаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаѣ большой потребности, набрать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и покричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: „Эй, вы, пивники, броварники! полно вамъ пиво варить, да ваяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мужъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться. Вы, плугари, гречекосѣи, овцепасы, баболобы! полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтыя чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать казацкой славы!“ И слова эти были—какъ искры, падавшія на сухое дерево. Пахарь ломалъ свой плугъ, бровари и пивовары кидали свои кядки и разбивали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылалъ къ чорту и ремесло, и лавку, билъ горшки въ домѣ,—и все, что ни было, садилось на коня. Словомъ русскій характеръ получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣпкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямою своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многие перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь казаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ. Вѣчно неугомонный, онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ православія. Самоуправно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ съ своими казаками производилъ надъ ними расправу и положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слѣдуетъ

взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили въ чемъ старшинъ и стояли предъ ними въ шапкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случаѣ позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства.

Теперь онъ тѣшилъ себя заранѣе мыслью, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими на Сѣчь и скажетъ: „Вотъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къ вамъ!“, какъ представитъ ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядитъ на первые подвиги ихъ въ ратной науцѣ и бражничествѣ, которое почиталъ тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хотѣлъ было отправить ихъ однихъ; но, при видѣ ихъ свѣжести, рослости, могучей тѣлесной красоты, вспыхнулъ воинскій духъ его, и онъ на другой же день рѣшился ѣхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбиралъ коней и сбрую для молодыхъ сыновей, навѣдывался и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ слугъ, которые должны были завтра съ ними ѣхать. Есаулу Товкачу передалъ свою власть вмѣстѣ съ крѣпкимъ наказомъ явиться сей же часъ со всѣмъ полкомъ, если только онъ подастъ изъ Сѣчи какую-нибудь вѣсть. Хотя онъ былъ и навеселѣнъ, и въ головѣ его еще бродилъ хмель, однакожъ не забылъ ничего; даже отдалъ приказъ напоить коней и насыпать имъ въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

„Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ“.

Ночь еще только что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ: все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и заплѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она прилегла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрстила, взлелѣвала ихъ—и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собой.— „Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ?“ говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея. Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалаго вѣка. Она мигъ только жила любовью, тодько въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безжѣнныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею,

и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всё чувства, все, что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ,—все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея,—берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ быть, при первой битвѣ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенные тѣла ихъ, которыя расклетъ хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, глядѣла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: „Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отъѣздъ; можетъ быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ“.

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всё полегли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и, мало-по-малу, лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣла до свѣта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась, какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. „Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдѣ старъ? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, старъ, готовъ намъ ѣсть: путь лежитъ великій!“

Молодые казаки собрались въ путь.

„Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!“ сказалъ Бульба: „моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую *), чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то—пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!“

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. „Пусть хранитъ васъ.. Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ...“ Далѣе она не могла говорить.

„Ну, пойдѣмъ, дѣти!“ сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осѣдланые кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцати-пудовое бремя, потому что Тарасъ былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшему, у котораго въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипнула къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ казака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного

*) Рыцарскую.

изъ сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностью. Ее опять увели.

Молодые казаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, былъ тоже нѣсколько смущенъ, хотя старался этого не показывать. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ-разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ: хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только видны были надъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ бѣлки; еще стлался передъ ними тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую казачку, боязливо перелетавшую черезъ него съ помощью своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрываетъ. — Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все, и все!

II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачетъ казакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать побольше о сыновьяхъ его. Они были отданы по двѣнадцатому году въ кievскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимою дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бѣжалъ. Его возвратили, высѣли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продержатъ его въ монастырскихъ службахъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совѣтовалъ, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни: эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рѣшительно не прикасались къ времени, никогда не примѣнялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже менѣе схоластиче-

скихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бursы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ внушить дѣятельность совершенно внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, возбуждающіяся въ свѣжѣмъ, здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ, все это, соединившись, рождало въ нихъ ту предприимчивость, которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидѣвшія на базарѣ, всегда закрывали руками свои пироги, бублики, сѣмечки изъ тыквы, какъ орлицы дѣтей своихъ, если только видѣли проходившаго бурсака. Консулъ, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотоварищами, имѣлъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда всю лавку зазѣвавшейся торговли. Эти бурсаки составляли совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалѣли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоѣдали такіа безпрестанныя припарки, и они убѣгали на Запорожьѣ, если умѣли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе, никакъ не избавлялся неумолимыхъ розогъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ—обобрать чужой садъ или огородъ, но зато онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предприимчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаѣ, не выдавалъ своихъ товарищей; никакія плети и розги не могли заставить его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восемнадцать лѣтъ; женщина

чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черноокою, нѣжную. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать казаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе годы онъ рѣже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ старомъ Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне и гдѣ дома были выстроены съ нѣкоторою прихотливостью. Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, на него почти наѣхала колымага какого-то польскаго пана, и сидѣвшій на козлахъ возница съ пристрашными усами хлыснулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ безумною смѣлостью схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лошадямъ, онѣ рванули,—и Андрій, къ счастью, успѣвшій отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бѣлую, какъ свѣтъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ потерявшись, разсѣянно отбирая съ лица своего грязь, которою еще болѣе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотѣлъ было узнать отъ дворни, которая толпою, въ богатомъ убранствѣ, стояла за воротами, окруживши игравшаго молодого бандуриста. Но дворня подняла смѣхъ, увидѣвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролѣзъ черезъ частоколъ въ садъ, влѣзъ на дерево, которое раскидывалось вѣтвями на самую крышу дома; съ дерева перелѣзъ онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидѣла передъ свѣчемъ. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидѣвши вдругъ передъ собою незнакомаго человѣка, что не могла произнести ни одного слова; но когда примѣтила, что бурсакъ стоялъ, потушивъ глаза и не смѣя отъ робости пошевелить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся передъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить рукою и былъ связанъ, какъ въ мѣшекъ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на голову свою блистательную діадему, повѣсила на губы ему серьги и накинута на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностью дитяти, которою отличаются вѣтренныя полячки и которая повергла бѣднаго бурсака въ болѣе еще смущеніе. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи. Раздавшійся въ это время у дверей стукъ испугалъ ее. Она велѣла ему спря-

таться под кровать, и какъ только безпокойство прошло, кликнула свою горничную, плѣнную татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывести его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, покаместъ быстрыя ноги не спасли его. Послѣ этого проходить возлѣ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ встрѣтилъ ее еще разъ въ костелѣ: она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и вмѣсто прекрасной черноглазой полячки выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову и потушивъ глаза въ гриву коня своего.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда весь Югъ, все то пространство, которое составляетъ нынѣшнюю Новороссію до самаго Чернаго моря, было зеленою, дѣвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растеній; одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничего въ природѣ не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули миллионы разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтикообразными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячею разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ вѣсть, въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою; вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ... Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!..

Черезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ заолодѣло: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе, и наконецъ охватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались широко по землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Казаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и, черезъ три часа плаванія, были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Такъ вотъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ сидѣлъ запорожець безъ рубашки;

онъ держалъ ее въ рукахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ серединѣ которыхъ отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку чортомъ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: „Живѣ играйте, музыканты! Не жалѣй, Гома, горѣлки православнымъ христіанамъ!“ И Гома, съ подбитымъ глазомъ, мѣрялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ. Около молодого запорожца четверо старыхъ выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслись въ присядку и били, круто и крѣпко, своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ далече отдавались гопаки и тропачки, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣ вскрикивалъ и летѣлъ вслѣдъ за другими въ танцѣ. Чуприна развѣвдалась по вѣтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожухъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ изъ ведра.—„Да сними хоть кожухъ!“ сказалъ наконецъ Тарасъ: „видишь, какъ парить“.—„Не можно“, кричалъ запорожецъ.—„Отчего?“—„Не можно; у меня ужъ такой нравъ: чтó скину, то пропью“. А шапки ужъ давно не было на молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго платка: все пошло, куда слѣдуетъ. Толпа росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ внутренняго движенія, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда либо свѣтъ, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ казачкомъ.

„Эхъ, если бы не кони!“ вскрикнулъ Тарасъ: „пустился бы, право,пустился бы самъ въ танецъ!“

А между тѣмъ въ народѣ стали попадаться и уважаемые по заслугамъ всею Сѣчю сѣдые, старые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія. „А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ!“—„Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ?“—„Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень?“ И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: „А чтó Касьянъ? чтó Бородавка? чтó Колоперъ? чтó Пидсышокъ?“ И слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизирменомъ, что Пидсышкова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: „Добрые были казаки!“

III.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Сѣчи. Остапъ и Андрій мало занимались военною школою. Сѣчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвы, которая отъ того была почти непрерывна. Казаки почитали скучнымъ заниматься промѣжутки изученіемъ какой-нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка конной скачки и гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбѣ—признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сѣчь представляла необыкновенное явленіе: это было

какое-то непрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напивавшихся съ горя; но было просто бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гуляекъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разказы и болтовня, среди собравшейся толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такою силою живого разказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,—рѣзкая черта, которою отличается донинѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россиянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно-искажающимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набѣгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто луга, гдѣ играютъ въ мячъ, у нихъ были неохраемые, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выеазывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ турокъ въ зеленой чалмѣ своей. Разница та, что вмѣсто насильной воли, соединившей ихъ въ школѣ, они сами собой кинули отцовъ и матерей и бѣжали изъ родительскихъ домовъ; что здѣсь были тѣ, которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманѣ своемъ копейки; что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здѣсь были всѣ бурсаки, не вытерпѣвшіе академическихъ лозъ и не вынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здѣсь были и тѣ, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тѣхъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человѣку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Сѣчь съ тѣмъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Сѣчи, и уже закаленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная республика была именно потребностью того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ во всякое время могли найти здѣсь работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстьѣ Сѣчи не смѣла показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь бездна народу, и хотъ бы кто-нибудь спросилъ: откуда эти люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили сюда, какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ, откуда только за часъ

передъ тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: „Здравствуй! Что, во Христа вѣруешь?“ — „Вѣрую!“ отвѣчалъ приходившій. — „И въ Троицу святую вѣруешь?“ — „Вѣрую!“ — „И въ церковь ходишь?“ — „Хожу!“ — „А ну, перекрестись!“ Пришедшій крестился. — „Ну, хорошо!“ отвѣчалъ кошевой: „ступай же, въ который самъ знаешь, курень“. Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Сѣчь молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послѣдней капли крови, хотя и слышать не хотѣла о постѣ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстью жида, армяне и татары осмѣливались жить и торговать въ предмѣстьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько руда вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они были похожи на тѣхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Сѣчь состояла изъ шестидесяти слишкомъ куреней, которые очень походили на отдѣльныя независимыя республики, а еще болѣе на школу и бурсу дѣтей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего не держалъ у себя: все было на рукахъ у куренного атамана, который за это обыкновенно носилъ названіе батька. У него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подѣ сохрѣть. Нерѣдко происходила ссора у куреней съ куренями; въ такомъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ другу бока, покаместъ одни не пересиливали наконецъ и не брали верхъ, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сѣчь, имѣвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остатъ и Андрій кинулись со всею пылкостью юношей въ это разгульное море, и забыли вмѣгъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычай Сѣчи и немногосложная управа и законы, которые казались имъ иногда даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если казакъ проворовался, укралъ какую-нибудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему казачеству; его, какъ безчестнаго, привязывали къ поворному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ образомъ не забивали его на смерть. Не платившаго должника приковывали цѣпью къ пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣшался его выкупить, заплативши за него долгъ. Но болѣе всего произвела впечатлѣніе на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли яму, опустили туда живого убійцу и сверхъ него поставили гробъ, заключавшій тѣло имъ убійскаго, и потомъ обоихъ засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ казни и все представлялся этотъ заживо засыпанный человѣкъ съ ужаснымъ гробомъ.

Тарасу хотѣлось, чтобы его сыновья побывали въ походѣ; но кошевой не хотѣлъ войны. Тарасъ рѣшилъ свергнуть его и устроить выборы другого.

Сговорившись, задалъ онъ всѣмъ попойку, и хмельные казаки, въ числѣ нѣсколькихъ человѣкъ, повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанные къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довибиша, они схватили по по-

лѣну въ руки и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довибишъ, высокій человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря однакожь на то, страшно заспаннымъ.

„Кто смѣетъ бить въ литавры?“ закричалъ онъ.

„Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велятъ!“ отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довибишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули, — и скоро на площадь, какъ шмели, стали собираться черныя кучи запорожцевъ. Всѣ собрались въ кружокъ и послѣ третьяго боя показались, наконецъ, старшины: кошевой съ палицей въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на всѣ стороны казакамъ, которые гордо стояли, подпершись руками въ бока.

„Что значить это собранье? Что хотите, панове?“ сказалъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

„Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часъ палицу! Не хотимъ тебя больше!“ кричали изъ толпы казаки. Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотѣлъ было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его насмерть, что всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ толпѣ.

„Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинства?“ сказали судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

„Нѣтъ, вы оставайтесь!“ закричали изъ толпы: „намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ — баба, а намъ нужно человѣка въ кошевые“.

„Кого же выберете теперь въ кошевые?“ сказали старшины.

„Кукубенка выбрать!“ кричала часть.

„Не хотимъ Кукубенка!“ кричала другая. „Рано ему, еще молоко на губахъ не обсохло“.

„Шило пусть будетъ атаманомъ!“ кричали одни. „Шила посадить въ кошевые!“

„Въ спину тебѣ шило!“ кричала съ бранью толпа. „Что онъ за казакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ татаринъ? Къ чорту въ мѣшокъ пѣяницу Шила!“

„Бородатаго, Бородатаго посадимъ въ кошевые!“

„Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!“

„Кричите Кирдягу!“ шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.

„Кирдягу! Кирдягу!“ кричала толпа. „Бородатаго, Бородатаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу!“

Всѣ кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личнымъ участіемъ своимъ въ избраніи.

„Кирдягу! Кирдягу!“ раздавалось сильнѣе прочихъ. „Бородатаго!“ Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовать.

„Ступайте за Кирдягою!“ закричали. Человѣкъ десятокъ казаковъ от-

дѣлились тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ нихъ едва держались на ногахъ,—до такой степени успѣли нагнаться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему объ его избраніи.

Кирдяга, хотя престарѣлый, но умный казакъ, давно уже сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ будто бы не вѣдалъ ни о чемъ происходившемъ. „Что, панове? что вамъ нужно?“ спросилъ онъ.

„Иди, тебя выбрали въ кошевые!“

„Помилосердствуйте, панове!“ сказалъ Кирдяга: „гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленію такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?“

„Ступай же, говорить тебѣ!“ кричали запорожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ-руки и, какъ онъ ни упирался ногами, но былъ, наконецъ, притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньемъ сзади кулаками, пинками и увѣщаньями: „Не пятася же, чортовъ сынъ! Принимай же честь, собака, когда тебѣ дають ее!“ Такимъ образомъ введенъ былъ Кирдяга въ казачій кругъ.

„Что, панове?“ провозгласили во весь народъ приведшіе его: „согласны ли вы, чтобы сей казакъ былъ у насъ кошевымъ?“

„Всѣ согласны!“ закричала толпа, и отъ крику долго гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ: Кирдяга отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался по всей толпѣ, и вновь далеко загудѣло отъ казацкаго крика все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо самыхъ старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочупрыныхъ казаковъ (слишкомъ старыхъ не было на Сѣчи, ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земли стекла съ его головы, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благодарилъ казаковъ за оказанную честь.

Тарасу Бульбѣ удалось подбить казаковъ сдѣлать набѣгъ на турецкія владѣнія; они принялись уже готовиться къ морскому походу.

Въ тотъ же часъ отправились нѣсколько человекъ на противоположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля орудій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явились съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкоплечіе, дюженогіе запорожцы, съ просѣдою въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали члены крѣпкимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовые сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали досками челны; тамъ, переверотивши его вверхъ дномъ, конопатили и смолили; тамъ увязывали къ бокамъ другихъ челновъ, по казачьему обычаю, связки длинныхъ камышей, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дальше по всему побережью разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и

старые поучали молодых. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берегъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Это были казаки въ оборванныхъ свиткахъ. Беспорядочный нарядъ,—у многихъ ничего не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ,—показывалъ, что они или только что избѣгнули какой-нибудь бѣды, или же до того загудались, что прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый казакъ, человекъ лѣтъ пятидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и крикомъ рабочихъ не было слышно его словъ.

Они рассказали объ ужасныхъ притѣсненіяхъ, которымъ подвергаются православные западной украины отъ католиковъ-поляковъ и евреевъ.

„Э, какъ попустили такому беззаконію!.. А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да и, нечего грѣха таить, были тоже собаки и между нашими—ужъ приняли ихъ вѣру“.

„А гетманъ вашъ, а полковники что дѣлали?“

„Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Богъ и намъ никому“.

„Какъ?“

„А такъ, что ужъ теперь гетманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полковничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ что надѣлали полковники!“

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свирѣпою бурей, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи и весь заговорилъ берегъ: „Какъ! чтобы жида держали на арендѣ христіанскія церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такіа мученія на Русской землѣ отъ проклятыхъ недовѣрцовъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетманомъ! Да не будетъ же сего, не будетъ!“ Такія слова перелетали по всѣмъ концамъ. Запумѣли запорожцы и почуяли свои силы. Тутъ уже не было волненій легкомысленнаго народа: волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себѣ внутренний жаръ. „Перевѣшать всю жидову!“ раздалось изъ толпы: „пусть же не шьютъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ паскахъ! Перетопить ихъ всѣхъ, поганцевъ, въ Днѣпрѣ!“ Слова эти, произнесенныя кѣмъ-то изъ толпы, пролетѣли молніей по всѣмъ головамъ и толпа ринулась на предмѣстье съ желаніемъ перерѣзать всѣхъ жидовъ.

Много евреевъ было убито и утоплено; одинъ изъ нихъ, Янкедь, сталъ просить о пощадѣ Вульбу.

„Великій господинъ, ясновельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша! Былъ воинъ на украшеніе всему рыцарству. Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плѣна у турка“...

„Ты зналъ брата?“ спросилъ Тарась.

„Ей-Богу, зналъ! великодушный былъ панъ“.

„А какъ тебя зовутъ?“

„Янкедь“.

„Хорошо“, сказалъ Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ казакамъ и проговорилъ такъ: „Повѣсить жидъ будетъ всегда время, когда будетъ нужно; а на сегодня отдайте его мнѣ“.

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, воелѣ котораго стояли казаки его. „Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись, а вы, братцы, не выпускайте жидъ“.

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Всѣ бросили вмѣгъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не суда да казацкія чайки, а понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ походъ, и старые, и молодые; всѣ, съ совѣта всѣхъ старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго войска, положили идти прямо на Польшу, отомстить за все зло и посрамленіе вѣры и казацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пустить далеко по степи о себѣ славу. Все тутъ же опоясывалось и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтренныхъ желаній вольнаго народа: это былъ неограниченный повелитель, это былъ деспотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и гуляивые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, когда кошевой раздавалъ повелѣнія: раздавалъ онъ ихъ тихо, не выкрикивая и не торопясь, но съ разстановкою, какъ старый, глубоко опытный въ дѣлѣ казакъ, приводившій не въ первый разъ въ исполненіе разумно задуманныя предпріятія.

Провѣзая предмѣстье, Тарасъ Бульба увидѣлъ, что жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ наѣсомъ и продавалъ кремни, завертки, порохъ и всякія войсковыя снадобы, нужныя на дорогу, даже калачи и хлѣбъ. „Каковъ чортовъ жидъ!“ подумалъ про себя Тарасъ и, подѣхавъ къ нему на конѣ, сказалъ: „Дурень, что ты здѣсь сидишь? Развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили какъ воробья?“

Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдѣлавъ знакъ обѣими руками, какъ будто хотѣлъ объявить что-то таинственное, сказалъ: „Пусть панъ только молчитъ и никому не говоритъ: между казацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для казаковъ и по дорогѣ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще ни одинъ жидъ не продавалъ; ей-Богу, такъ; ей-Богу, такъ“.

Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивился бойкой жидовской натурѣ и отѣхалъ къ табору.

Запорожцы навели ужасъ на Польшу своимъ набѣгомъ; пощады они не давали ни кому.

Потѣшна была наука; много уже они добыли себѣ конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мѣсяцъ возмужали и совершенно переродились только-что оперившіеся птенцы и стали мужчинами; черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видѣть, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Остапу, казалось, былъ на роду написанъ битвенный путь и трудное знаніе вершить ратныя дѣла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ для двадцати-двулѣтняго, онъ въ одинъ мигъ могъ

вымѣрять всю опасность и все положеніе дѣла, тутъ же могъ найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тѣмъ, чтобъ потомъ вѣрный преодолѣть ее. Уже испытанной увѣренностью стали теперь означаться его движенія и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло, и рыцарскія его качества уже приобрѣли широкую силу качества льва. „О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ!“

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пулъ и мечей. Онъ не зналъ, чтó такое значить обдумывать, или разсчитывать, или измѣрять заранѣе свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистѣ пулъ, въ сабельномъ блескѣ, и наноситъ всѣмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ. Не разъ дивился отецъ также и Андрію, вида, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бѣшенымъ натискомъ своимъ производилъ такіа чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: „И это добрый—врагъ бы не взялъ его!—вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!“

Однажды ночью къ Андрію пришла посланная изъ города татарка, рабыня той польской красавицы, въ которую влюбился Андрій въ Кіевѣ. Рабыня пришла просить хлѣба для голодающей госпожи. Андрій пошелъ съ нею тайнымъ ходомъ и остался въ городѣ, передавшіеся полякамъ. Жидъ Янкель объ этомъ сказалъ Бульбѣ.

Изъ Сѣчи пришли новѣстіи о набѣгѣ татаръ, и казацкое войско, осаждавшее городъ, подѣлилось: часть съ Бульбою осталась,—часть ушла на татаръ.

Грустно было расставаніе казаковъ съ товарищами.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ изъ вожовъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ былъ въ казацкомъ обояѣ; двойною крѣпкою шиною были обтянуты дебелия колеса его; грузно былъ онъ навьюченъ, укрытъ попонами, крѣпкими воловьими кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возу были все баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ погребѣхъ. Взялъ онъ его про запасъ, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому, до единого, казаку досталось выпить запоеднаго вина, чтобы въ великую минуту великое бы и чувство овладѣло человѣкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палапами перерывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловьи кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

„А берите всѣ“, сказалъ Бульба: „всѣ, сколько ни есть, берите, чтó у кого есть: ковшъ, или черпакъ, которымъ поить коня, или рукавицу, или шапку, а коли чтó, то и просто подставляй объ горсти“.

И казаки всѣ, сколько ни было ихъ, брали: у кого былъ ковшъ, у кого черпакъ, которымъ поить коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлялъ и такъ объ горсти. Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ радами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знакъ, чтобы выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно

было, что онъ хотѣлъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ, что, какъ ни сильно само по себѣ старое доброе вино и какъ ни способно оно укрѣпить духъ человѣка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче будетъ сила и вина и духа.

„Я угощаю васъ, паны братья! (такъ сказалъ Бульба)—не въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Передъ нами дѣла великаго поту, великой казацкой доблести! Итакъ, выпьемъ, товарищи, разомъ, выпьемъ напередъ всего за святую православную вѣру: чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свѣту разошлась и вездѣ была бы одна святая вѣра, и всѣ, сколько ни есть басурмановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы долго она стояла на погибель всему басурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы, одинъ одного лучше, одинъ одного краше. Да ужъ вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за вѣру, пане-братове, за вѣру!“

„За вѣру!“ загомонѣли всѣ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. „За вѣру!“ подхватили дальніе — и все, что ни было, и старое, и молодое выпило за вѣру.

„За Сичъ!“ сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою руку.

„За Сичъ!“ отдалось густо въ переднихъ рядахъ. „За Сичъ!“ сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: „за Сичъ!“ И слышало далече поле, какъ поминали казаки свою Сичъ.

„Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!“

И всѣ казаки до послѣдняго выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго еще повторялось по всѣмъ рядамъ промежъ всѣми курениями: „За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!“

Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще повторяли казаки, поднявши руки; хоть весело глядѣли очи всѣхъ, просіявшія виномъ, но сильно загадались они. Не о корысти и военномъ прибытѣ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но загадались они, какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредѣльное море, усыпанное, какъ мелкими птицами, гамерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видными тонкими поморьями, съ бережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка, лѣсами. Какъ орлы, озирали они во-кругъ себя очами все поле и черняющую вдаль судьбу свою. Вудеть, будеть все поле съ облогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись казацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копыями; далече раскинутся чубатые головы съ перекрученными и запекшимися въ крови чубами и запущенными книзу усами; будутъ, налетѣвъ, орлы выдирать и выдергивать изъ нихъ казацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметававшемся смертномъ нощегѣ! Не погибаетъ ни одно великодушное дѣло и не пропадетъ,

какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, казацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь бородою, а можетъ, еще полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ; и скажетъ онъ про нихъ свое густое, могучее слово. И пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заговорить о нихъ: ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую много повергнулъ мастеръ дорогого чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, палатамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву.

Тарасъ продолжалъ свою рѣчь.

„Хочется мнѣ вамъ сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля наша: и грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брали червонцы, и города были пышныя, и храмы, и князья, князья русскаго рода, свои князья, а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, сирые, да, какъ вдовица послѣ крѣпкаго мужа, сирая такъ же, какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! Нѣтъ ужъ святѣе товарищества. Отецъ любить свое дитя, мать любить свое дитя, дитя любить отца и мать; но это не то, братцы: любить и звѣрь свое дитя! Но породниться родствомъ по душѣ, а не по крови, можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ Русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному помногу пропадать на чужбинѣ; видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ: а какъ дойдетъ до того, чтобы повѣдать сердечное слово—видишь: нѣтъ! умные люди, да не тѣ; такіе же люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа, — любить не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ—а!“ сказали Тарасъ и махнулъ рукой, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: „Нѣтъ, такъ любить никто не можетъ!.. Пусть же знаютъ они всѣ, что такое значить въ Русской землѣ товарищество! Уже если на то пошло, чтобы умирать, такъ никому жъ изъ нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! Не хватить у нихъ на то мышиной натуры ихъ!“

Такъ говорилъ атаманъ, и когда кончилъ рѣчь, все еще потрясалъ посеребрившеюся въ казацкихъ дѣлахъ головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрали сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самаго сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ стали неподвижны, потупивъ сѣдые головы въ землю; слеза тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнили имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что бываетъ въ сердцѣ у человѣка, умудреннаго горемъ, трудомъ, удалью и всякимъ невзгодьемъ жизни, или хотя и не познававшего ихъ, но много почуявавшего молодую, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ-родителямъ, родившимъ ихъ.

Осажденные сдѣлали неожиданно вылазку.

Тарасъ видѣлъ еще издали, что бѣда будетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: „Выбирайтесь скорѣе изъ

за везовъ и садись всякій на коня!“ Но не успѣли бы сдѣлать то и другое казаки, если бы Остапъ не ударилъ въ самую середину: выбилъ фитили у шести пушкарей, у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его назадъ ляхи. А тѣмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взялъ въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой никто изъ казаковъ не видывалъ дотошѣ. Страшно глядѣла она широкою пастью, и тысяча смертей глядѣла оттуда. И какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три другія, четырекратно потрясши, глухо-отвѣтную землю,—много нанесли онѣ горя! Не по одному казаку взрывается старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждого изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между нихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ.

Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайковскаго куреня! Какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, что полковскій червонецъ, красовался всякій колосъ, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись казаки! Какъ схватились всѣ! Какъ закипѣлъ куренной атаманъ Кукубенко, увидѣвши, что лучшей половины куреня его нѣтъ! Вбился онъ съ остальными своими незамайковцами въ самую середину. Въ гнѣвѣ избѣгъ въ капусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ сбилъ съ коней, доставши копьемъ и конника, и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже отбилъ одну пушку; а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ уманскій куренной атаманъ, и Степанъ Гуска уже отбиваетъ главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ казаковъ и поворотилъ съ своими въ другую неприятельскую гущу: такъ гдѣ прошли незамайковцы—такъ тамъ и улица! гдѣ новоротили—такъ ужъ тамъ и переулочекъ! Такъ и видно, какъ рѣдѣли ряды и снопами валились ляхи! А у самыхъ воевъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ воевъ Дегтяренко, а за ними куренной атаманъ Вертыхвистъ. Двухъ уже шляхтичей подыалъ на копье Дегтяренко, да напалъ, наконецъ, на неподатливаго третьяго. Увертливъ и крѣпкокъ былъ ляхъ, пышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привелъ съ собою. Погнулъ онъ крѣпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и уже, замahнувшись на него саблей, кричалъ: „Нѣтъ изъ васъ, собакъ казаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ противустать мнѣ!“

„А вотъ есть же!“ сказалъ и выступилъ впередъ Мосій Шило. Сильный былъ онъ казакъ, не разъ атаманствовалъ на морѣ и много натерпѣлся всякихъ бѣдъ. Схватили ихъ турки у самаго Трапезонта и всѣхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ желѣзныя цѣпи, не давали по цѣлымъ недѣлямъ пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпѣли бѣдные невольники, лишь бы не перемѣнять православной вѣры. Не вытерпѣлъ атаманъ Мосій Шило, истопталъ ногами святой законъ, северною чалмою обвилъ грѣшную голову, вошелъ въ довѣренность къ папѣ, сталъ ключникомъ на кораблѣ и старшимъ надъ всѣми невольниками. Много опечалились оттого бѣдные невольники, ибо знали, что если свой продать рѣру и пристанетъ къ угнетателямъ, то тяжелѣй и горше быть подъ его рукой, чѣмъ подъ всякимъ другимъ нехристомъ: такъ и сбылось. Всѣхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цѣпи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бѣлыхъ костей жестокия веревки;

всѣхъ перебилъ по шеямъ, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себѣ такого слугу, стали пировать и, позабывъ законъ свой, всѣ перепились, онъ принесъ всѣ шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, а брали бы на мѣсто того сабли, да рубили турокъ. Много тогда набрали казаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудный казакъ. Иной разъ повершалъ такое дѣло, какое мудрѣйшему не придумать, а въ другой, просто, дурь одолѣвала казака. Пропилъ онъ и прогулялъ все, всѣмъ задолжалъ на Сѣчи и, въ прибавку къ тому, прокрался, какъ уличный воръ: ночью утащилъ изъ чужого куреня всю казацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дѣло привязали его на базарѣ къ столбу и положили воемъ дубину, чтобы всякій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по удару; но не нашлось такого изъ всѣхъ запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ былъ казакъ Мосій Шило.

„Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, собаки!“ сказалъ онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они! И наплечники, и зеркала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на немъ вражій ляхъ желѣзную рубашку, доставъ лезвеемъ самаго тѣла: зачервонѣла казацкая рубашка. Но не поглядѣлъ на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушилъ его внезапно по головѣ. Разлетѣлась мѣдная шапка, зашатался и грянулся ляхъ; а Шило принялся рубить и крестить оглушеннаго. Не добивай, казакъ, врага, а лучше поверотись назадъ! Не поверотился казакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и ужъ досталъ бы смѣльчака; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымѣ. Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почувалъ, что рана была смертельна. Упалъ онъ, наложилъ руку на свою рану и сказалъ, обратившись къ товарищамъ: „Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть же стоитъ на вѣчныя времена православная Русская земля и будетъ ей вѣчная честь!“ И зажмурилъ ослабшія свои очи, и вынеслась казацкая душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжалъ Задорожній съ своими, ломилъ ряды куренной Вертыхвистъ и выступалъ Балабанъ.

„А что, паны“, сказалъ Тарасъ, нерекликнувшись съ куренными: „есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабѣла ли казацкая сила? Не гнутъ ли казаки?“

„Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; не ослабѣла еще казацкая сила; еще не гнутъ казаки!“

И наперли сильно казаки: совсѣмъ смѣшали всѣ ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велѣлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсыпавшихся далеко по всему полю. Всѣ бѣжали ляхи къ знаменамъ; но не успѣли они еще выстроиться, какъ уже куренной атаманъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими незамайковцами въ середину и напалъ прямо на толстопузаго полковника. Не выдержалъ полковникъ и, поверотивъ коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гналъ его черезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидѣвъ то съ бокового куреня, Степанъ Гуска пустился ему на перехватъ, съ арканомъ въ рукѣ, пригнувши всю голову къ лошадиной шеѣ, и, улучивши время, съ одного раза накиннулъ арканъ ему на шею: весь побагровѣлъ полковникъ,

ухватясь за веревку обѣими руками и сѣлся разорвать ее, но уже дюжій размахъ вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался онъ, пригвожденный къ землѣ. Но не сдобровать и Гускѣ! Не успѣли оглянуться казаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копыя. Только и успѣлъ сказать бѣднякъ: „Пусть же пропадутъ всѣ враги, и ликуетъ вѣчные вѣки Русская земля!“... И тамъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись казаки, а ужъ тамъ сбоку казакъ Метелица угощаетъ ляховъ, шеломъ того и другого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими атаманъ Невылычкій; а у воевъ ворочаетъ врага и бьетъ Закрутыгуба; а у дальнихъ воевъ третій Писаренко отогналъ уже цѣлую ватагу; а ужъ тамъ, у другихъ воевъ, схватились и бьются на самыхъ возахъ.

„Что, паны“, перекликнулся атаманъ Тарасъ, проѣхавши впереди всѣхъ: „есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Крѣпка ли еще казачья сила? Не гнутся ли еще казаки?“

„Есть еще, батюко, порохъ въ пороховницахъ; еще крѣпка казачья сила; еще не гнутся казаки!“

А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; но собралъ старшій весь духъ свой и сказалъ: „Не жалъ разстаться съ свѣтомъ. Дай Богъ и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца вѣка Русская земля!“ И понеслась къ вышнякамъ Бовдюгова душа рассказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умѣютъ биться на Русской землѣ и, еще лучше того, какъ умѣютъ умирать въ ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренной атаманъ, скоро послѣ того грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ копыя, отъ пули и отъ тяжелаго палаша. А былъ одинъ изъ доблестѣйшихъ казаковъ; много совершилъ онъ подъ своимъ атаманствомъ морскихъ походовъ, но славнѣе всѣхъ былъ походъ къ анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ турецкія ядра. Какъ хватило ихъ съ корабля,—половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ воду; но привязанные къ бокамъ камыши спасли челны отъ потопленія. Балабанъ отплылъ на всѣхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сдѣлался невидѣнъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду, лаяя пробитыя мѣста; изъ казацкихъ штановъ нарѣзали парусовъ, понесли и убѣжали отъ быстрѣйшаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбѣдно на Сѣчь, привезли еще златовшейную ризу архимандриту Межигорскаго кievскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьи, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость казаковъ.—Поникнулъ онъ теперь головою, почувавъ предсмертныя муки, и тихо сказалъ: „Сдается мнѣ, паны-братья, умираю хорошею смертью: семерыхъ изрубилъ, девятерыхъ копьемъ искололъ, истопталъ конемъ вдоволь, а ужъ не припомню, сколькоихъ досталъ пулею. Пусть же цвѣтетъ вѣчно Русская земля!... И отлетѣла его душа.

Казаки, казаки! не выдавайте лучшаго цвѣта вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человекъ только осталось изъ всего Незамайковского куреня; уже и тѣ отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на выручку. Но

поздно подоспѣли казаки: уже успѣло ему углубиться подъ сердце копьѣ, прежде чѣмъ были отогнаны обступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки подхватившихъ его казакамъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорожному вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погребѣ неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую суею: все разлилось на землю виномъ, и схватилъ себя за голову прибивавшій хозяинъ, сберегавшій его про лучший случай въ жизни, чтобы, если приведетъ Богъ на старости лѣтъ встрѣтиться съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вмѣстѣ съ нимъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человѣкъ... Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: „Благодарю Бога, что довелось мнѣ умереть при глазахъ вашихъ, товарищи! Пусть же послѣ насъ живутъ еще лучше, чѣмъ мы, и красуется вѣчно любимая Христомъ Русская земля!..“ И вылетѣла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ. Хорошо будетъ ему тамъ. „Садись, Кукубенко, одесную Меня!“ скажетъ ему Христосъ: „ты не измѣнилъ товариществу, безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, не выдалъ въ бѣдѣ человѣка, хранилъ и сберегалъ Мою церковь“. Всѣхъ опечалила смерть Кукубенка. Уже рѣдѣли сильно казацкіе ряды; многихъ, многихъ храбрыхъ уже не досчитывались; но стояли и держались еще казаки.

„А что, паны“, перекликнулся Тарасъ съ оставшимися куренями: „есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли казацкая сила? Не погнулись ли казаки?“

„Достанетъ еще, батенько, пороху; годятся еще сабли; не утомилась казацкая сила; не гнулись еще казаки!“

И рванулись снова казаки такъ, какъ бы и потерь никакихъ не потерпѣли. Уже три только куренныхъ атамана осталось въ живыхъ; червонѣли уже всюду красныя рѣки; высоко гатились мосты изъ казацкихъ и вражьихъ тѣлъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулась вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подняли на копье Метелицу; уже голова другого Писаренка, завертѣвшись, захлопала очами; уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска. „Ну!“ сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ знакъ. Осталъ и ударилъ сильно, выравнившій изъ засады, въ конницу. Не выдержали сильнаго напора ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ были убиты въ землю колья и обломки копьевъ. Пошли спотыкаться и падать кони и летѣть черезъ ихъ головы ляхи. А въ это время корсунцы, стоявшіе послѣдними за возами, увидѣвши, что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самопаловъ. Всѣ сбились и растерялись ляхи, и приободрились казаки.—Вотъ и наша побѣда!“ раздались со всѣхъ сторонъ запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выкинули побѣдную хоругвь. Вездѣ бѣжали и крылись разбитые ляхи.—„Ну, нѣтъ, еще не совсѣмъ побѣда!“ сказалъ Тарасъ, глядя на городскія ворота, и сказалъ онъ правду.

Отворились ворота, и вылетѣлъ оттуда гусарскій полкъ, краса всѣхъ конныхъ полковъ. Подъ всѣми всадниками были всѣ, какъ одинъ, бурные аргамаки; впереди другихъ понесся витязъ всѣхъ бойчѣ, всѣхъ красивѣе; такъ и летѣли черные волосы изъ-подъ мѣдной его шапки; вился завязанный на рукѣ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторопѣлъ Тарасъ, когда увидѣлъ, что это былъ Андрей. А онъ между тѣмъ, объятый пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, какъ молодой борзой песъ, красивѣйшій, быстрѣйшій и

молодшій всѣхъ въ стаѣ. Атукнулъ на него опытный охотникъ — и онъ по-
несся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись на-
бокъ всѣмъ тѣломъ, взрывая свѣгъ и десять разъ выпереживая самого
зайца въ жару своего бѣга. Остановился старый Тарасъ и глядѣлъ на то,
какъ онъ чистилъ передъ собою дорогу, разгонялъ, рубилъ и сыпалъ удары
направо и налѣво. Не вытерпѣлъ Тарасъ и закричалъ: „Какъ? Своихъ?
своихъ, чортовъ сынъ, своихъ бьешь?“ Но Андрій не различалъ, кто предъ
нимъ былъ, свои или другіе какіе; ничего не видѣлъ онъ. Кудри, кудри
онъ видѣлъ, длинныя, длинныя кудри и подобно рѣчному лебедю грудь, и
свѣжнюю шею, и плечи, и все, что создано для безумныхъ поцѣлуевъ.

„Эй, хлопцы! заманите мнѣ только его къ лѣсу, заманите мнѣ только
его!“ кричалъ Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ тридцать быстрѣйшихъ
казаковъ заманить его. И, поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пу-
стились на коняхъ, прямо наперерѣвъ гусарамъ. Ударили сбоку на перед-
нихъ, сбили ихъ, отдѣлили отъ заднихъ, дали по гостинцу тому и другому,
а Голокопытенко хватилъ плашмя по спинѣ Андрія, и въ тотъ же часъ пу-
стились бѣжать отъ нихъ, сколько достало казацкой мочи. Какъ вскинулся
Андрій! Какъ забунтовала по всѣмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ
острыми шпорами коня, во весь духъ полетѣлъ онъ за казаками, не глядя
назадъ, не видя, что позади всего только двадцать человѣкъ поспѣвало за
нимъ; а казаки летѣли во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ
лѣсу. Разогнался на конѣ Андрій и чуть было уже не настигнулъ Голоко-
пытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила за поводъ его коня.
Оглянулся Андрій: передъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всѣмъ тѣломъ и
вдругъ сталъ блѣденъ: такъ школьникъ, неосторожно задравшій своего това-
рища и получившій за то отъ него ударъ линейкой по лбу, вспыхиваетъ
какъ огонь, бѣшенный выскакиваетъ изъ лавки и гонится за испуганнымъ
товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ наталки-
вается на входящаго въ классъ учителя: вмигъ притихаетъ бѣшенный порывъ,
и упадаетъ бесильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ пропалъ, какъ
бы не бывалъ вовсе, гнѣвъ Андрія. И видѣлъ онъ передъ собою одного
только страшнаго отца.

„Ну, что-жъ теперь мы будемъ дѣлать?“ сказалъ Тарасъ, смотря прямо
ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, утупивши
въ землю очи.

„Что, сынку, помогли тебѣ твои ляхи?“

Андрій былъ безответенъ.

„Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? Стой же, слѣзай съ
коня!“

Покорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остановился ни живъ,
ни мертвъ передъ Тарасомъ.

„Стой и не шевелись! Я тебя породилъ, я тебя и убью!“ сказалъ
Тарасъ и, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча ружье. Блѣденъ, какъ
полотно, былъ Андрій; видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ
онъ произносилъ чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери,
или братьевъ—это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстрѣлилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ,
почувывшій подъ сердцемъ смертельное желѣзо, повисъ онъ головой и пова-
лился на траву, не сказавши ни одного слова.

Казаки приближалъ къ Бульбѣ съ извѣстіемъ, что поляки тѣснятъ.

Но не выѣхали они еще изъ лѣсу, а ужъ непріятельская сила окружила со всѣхъ сторонъ лѣсъ, и межъ деревьями вездѣ показались всадники съ саблями и копьями. „Остапъ! Остапъ! не поддавайся!“ кричалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю на-голо, началъ честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ добрый часъ, видно, наскочило: съ одного полетѣла голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро третьяго; четвертый былъ поотважнѣй, склонился головой отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля—вздыбилъ бѣшенный конь, грянулся о землю и задавилъ подъ собою всадника. „Добре, сынѣу! Добре, Остапъ!“ кричалъ Тарасъ: „вотъ я слѣдомъ за тобою“. А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бьется Тарасъ, сыплеть гостинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ Остапомъ мало не восьмеро разомъ. „Остапъ! Остапъ! не поддавайся!“ Но ужъ одолѣвають Остапа; уже одинъ накиннулъ ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже берутъ Остапа. „Эхъ, Остапъ, Остапъ!“ кричалъ Тарасъ, пробираясь къ нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. „Эхъ, Остапъ, Остапъ!..“ Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули предъ нимъ головы, копья, дымъ, блески огня, сучья съ древесными листьями, мелькнувшіе ему въ самыя очи. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.

Тарасъ, тяжело раненный, былъ спасенъ. Когда онъ поправился, онъ рѣшилсѣ пробраться къ Остапу, томившемуся въ тюрьмѣ у поляковъ. Благодаря Янкилю, онъ чуть было не добрался къ Остапу, но, въ концѣ концовъ, это ему не удалось. Тогда онъ рѣшилъ увидѣть казнъ своего сына.

„Пойдемъ! сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: „пойдемъ на площадь. Я хочу посмотрѣть, какъ его будутъ мучить“.

„Ой, папъ! зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ не помочь уже“.

„Пойдемъ!“ упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнъ, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ занимательнѣйшихъ зрѣлищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. „Ахъ, какое мученье!“ кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже простоявали иногда довольно времени. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскоичить всѣмъ на головы, чтобы оттуда посмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свѣтѣ, смотреть, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планѣ, воцѣлъ самыхъ-усачей, со-

ставлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартирѣ оставалось только изодранная рубашка, да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шеѣ съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ кожанкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелкового платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить: „Вотъ это, душечка Юзыся“, говорилъ онъ: „весь народъ, что вы видите, пришелъ за тѣмъ, чтобы по-смотрѣть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что, вы видите, держитъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. Какъ начнетъ колесовать и другія дѣлать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будетъ головы“. И Юзыся все это слушала со страхомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усыяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидѣло аристократство. Хорошенькая ручка смѣющейся, блистающей, какъ бѣлый сахаръ, панны держалась за перила. Ясновельможныя паны, довольно плотныя, глядѣли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки и съѣстное. Часто шалуныя съ черными глазами, схвативши свѣтлую ручкою свою пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и какой-нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушѣ съ почернѣвшими золотыми шнурами, хваталъ первый, съ помощью длинныхъ рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висѣвшій въ золотой клеткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на-бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ. Но толпа вдругъ зашумѣла, и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: „Ведутъ! ведутъ! казаки!“

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ни утрово, но съ какой-то тихою горделивостью; ихъ платья изъ дорогого сукна износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди всѣхъ шелъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: „Дай же, Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!“ Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

„Добре, сынку, добре!“ сказалъ тихо Бульба и устави́лъ [въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги

въ нарочно сдѣланные станки и... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волосы. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человѣчества. Напрасно нѣкоторые, — немногіе, бывшіе исключеніями изъ вѣка, — являлись противниками сихъ ужасныхъ мѣръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣтленные умомъ и душою, представляли, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе казацкой націи. Но власть короля и умныхъ мнѣній была ничто передъ беспорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые своею необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ всякой дальновидности, дѣтскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе. — Остапъ выносилъ терзанія и пытки, какъ исполнѣй. Ни крика, ни стоны не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда ужасный храскъ ихъ послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто похожее на стонъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ стоялъ въ толпѣ, потупивъ голову и, въ то же время, гордо приподнявъ очи, и одобрительно только говорилъ: „Добре, сынку, добре!“

Но когда подвели его къ послѣднимъ смертнымъ мучамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя: Боже! все невѣдомыя, все чужія лица! хотъ бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти! Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери, или безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и біющей себя въ бѣлыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ. И упалъ онъ силою и выкликнулъ въ душевной немощи: „Батько! гдѣ ты? Слышишь ли ты все это?..“

„Слышу!“ раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллионъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ какъ смерть; и когда всадники немного отделились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простыль.

Тарасъ рѣшился отомстить полякамъ за смерть Остапа.

Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ съ своимъ полкомъ, выжегъ восемнадцать мѣстечекъ, близъ сорока костеловъ, и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты, разграбилъ богатѣйшіе и лучшіе замки; распечатали и поразливали по землѣ казаки вѣковые меды и вина, сохранио сберегавшіеся въ панскихъ погребахъ; изрубил и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. „Ничего не жалѣйте!“ повторялъ только Тарасъ. Не уважили казаки чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки подымались изъ огнистаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе казаки и, поднимая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. „Это вамъ, вражьі ляхи, поминки по Остапѣ!“ приговаривалъ только

Тарасъ. И такіа поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, пока польское правительство не увидѣло, что поступки Тараса были побольше, чѣмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили казаки проселочными дорогами отъ всѣхъ преслѣдованій; едва выносили кони необыкновенное бѣгство и спасали казаковъ. Но Потоцкій на сей разъ былъ достоинъ возложеннаго порученія; неутомимо преслѣдовалъ онъ ихъ и настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся крѣпость.

Надъ самой кручей у Днѣстра-рѣки видѣлась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками стѣнъ. Щебнемъ и разбитымъ кирпичомъ усѣяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетѣть внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ полю, обступилъ его коронный гетманъ Потоцкій. Четыре дня бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и камнями. Но истощились запасы и силы, и рѣшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки и, можетъ быть, еще разъ послужили бы имъ вѣрно быстрые кони, какъ вдругъ, среди самаго бѣга, остановился Тарасъ и вскрикнулъ: „Стой! выпала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьи́мъ ляхамъ!“ И нагнулся старый атаманъ и сталъ отыскивать въ травѣ свою люльку съ табакомъ, неотлучную спутницу на моряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома. А тѣмъ временемъ набѣжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечи. Двинулся было онъ всѣми членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. „Эхъ, старость, старость!“ сказалъ онъ, и заплакалъ дебелий старый казакъ. Но не старость была виною: сила одолѣла силу. Мало не тридцать человѣкъ повисло у него по рукамъ и по ногамъ. „Попалась ворона!“ кричали ляхи. „Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собацѣ, лучшую честь воздать“. И присудили, съ гетманскаго разрѣшенія, съечь его живого въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло нагое дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его желѣзными цѣпями къ древесному стволу, гвоздемъ прибили ему руки и, приподнявъ его повыше, чтобы отовсюду былъ виденъ казакъ, принялись тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядѣлъ Тарасъ, не объ огнѣ онъ думалъ, которымъ собирались жечь его; глядѣлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдѣ отстрѣливались казаки: ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. „Занимайте, хлопцы, занимайте скорѣе“, кричалъ онъ: „горку, чтб за лѣсомъ: туда не подступать они!“ Но вѣтеръ не донесъ его словъ. „Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за чтб!“ говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ внизъ, гдѣ сверкалъ Днѣстръ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собралъ всю силу голоса и зычно закричалъ: „Къ берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, чтб налѣво. У берега стоять челны, всѣ забирайте, чтобы не было погони!“

На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны казаками. Но за такой совѣтъ достался ему тутъ же ударъ обухомъ по головѣ, который переверотилъ все въ глазахъ его.

Пустились казаки во всю прыть подгорной дорожкой; а ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается дорожка и много даетъ въ сторону извивовъ. „А, товарищи! не куды пошло!“ сказали всѣ, остановились на мигъ, подняли свои нагайки, свистнули—и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись

отъ земли, распластавшись въ воздухѣ, какъ змѣи, перелетѣли черезъ пропасть и буйтхнули прямо въ Днѣстръ. Двое только не достали до рѣки, грянулись съ вышины объ камень, пропали тамъ навѣки съ конями, даже не успѣвши издать крика. А казаки уже плыли съ конями въ рѣкѣ и отвызывали челны. Остановились ляхи надъ пропастью, дивясь неслыханному казацкому дѣлу и думая: прыгать имъ, или нѣтъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной братъ прекрасной полячки, обворожившей бѣднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всѣхъ силъ съ конемъ за казаками: перевернулся три раза въ воздухѣ съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы. Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на Днѣстръ, уже казаки были на челнахъ и гребли веслами; пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у стараго атамана.

„Прощайте, товарищи!“ кричалъ онъ имъ сверху: „вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Чтѣ взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы побоялся казакъ? Пойдите же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, чтѣ такое православная русская вѣра! Уже и теперь чувтъ дальніе и близкіе народы: подымется изъ Русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы на покорилась ему!..“ А уже огонь подымался надъ костромъ, захватывая его ноги и разостлался пламенемъ по дереву... Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, мѣки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много въ ней заводьевъ, рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубоководныхъ мѣстъ; блеститъ рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснобыхъ курухтановъ и всякихъ иныхъ птицъ въ тростникахъ и на побережьяхъ. Казаки живо плыли на узкихъ двухрульных челнахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполошивая подымавшихся птицъ, и говорили про своего атамана.

Вій ¹⁾.

Какъ только ударялъ въ Кіевѣ поутру довольно звонкій семинарскій колоколъ, висѣвшій у воротъ Братскаго монастыря, то уже со всего города спѣшили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ тетрадами подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики были еще очень малы: идя, толкали другъ друга и бранились между собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были всѣ почти въ изорванныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и карманы ихъ вѣчно были наполнены всякою

¹⁾ Вій—есть колоссальное созданіе престопаднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малоросіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чемъ замѣнить его и рассказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ.
(Примѣч. Гоголя).

дрянью, какъ-то: бабками, свистѣлками, сдѣланными изъ перышекъ, недоѣденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробышками, изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди необыкновенной тишины въ классѣ, доставлялъ своему патрону порядочныя пали въ обѣ руки, а иногда и вишневныя розги. Риторы шли солиднѣе; платья у нихъ были часто совершенно цѣлы, но зато на лицѣ всегда почти бывало какое-нибудь украшеніе, въ видѣ риторическаго тропа: или одинъ глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или, вмѣсто губы, цѣлый пузырь, или какая-нибудь другая примѣта; эти говорили и божились между собою теноромъ. Философы цѣлою октавою брали ниже; въ карманахъ ихъ, кромѣ крѣпкихъ табачныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дѣлали никакихъ, и все, что попадалось, съѣдали тогда же; отъ нихъ слышалась трубка и горѣлка иногда такъ далеко, что проходившій мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.

Рынокъ въ это время обыкновенно только что начиналъ шевелиться, и торговли съ бубликами, булками, арбузными сѣмечками и маковниками держали на подхватѣ за полы тѣхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какой-нибудь бумажной матеріи.

„Паничи, паничи! скуды, скуды!“ говорили они со всѣхъ сторонъ: „ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-Богу хороши! на меду! сама пекла!“

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тѣста, кричала: „Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!“

„Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная,—и носъ нехорошій, и руки нечистыя...“

Но философовъ и богослововъ онѣ боялись задѣвать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притомъ цѣлою горстью.

По приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась по классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно, однако же, просторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широкими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разногласными жужжаніями: аудиторы выслушивали своихъ учениковъ; звонкій дискантъ грамматика попадалъ какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленькія окна, и стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ риторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принадлежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, и только слышно было издали: „бу, бу, бу, бу...“ Аудиторы, слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ изъ кармана подчиненнаго бурсака выглядывала булка, или вареникъ, или сѣмена изъ тыквы.

Когда вся эта ученая толпа успѣвала придти нѣсколько ранѣе, или когда знали, что профессора будутъ позже обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замыслили бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всѣ, даже и цензора, обязанные смотрѣть за порядкомъ и нравственностью всего учащагося сословія. Два богослова обыкновенно рѣшали, какъ происходить битвѣ: каждый ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или всѣ должны раздѣлиться на двѣ половины: на бурсу и семинарію. Во всякомъ случаѣ, грамматика начинали прежде всѣхъ, и какъ только вмѣшивались риторы, они уже бѣжали прочь и становились на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала философія съ черными длинными усами, а наконецъ и богословіе въ ужасныхъ шароварахъ съ претолстыми шеями. Обыкновенно океанъ

чивалось тѣмъ, что богословіе побивало всѣхъ, и философія, почесывая бока, была тѣсна въ классъ и помѣщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, входившій въ классъ и участвовавшій когда-то самъ въ подобныхъ бояхъ, въ одну минуту, по разгорѣвшимся лицамъ своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недуренъ, и въ то время, когда онъ сѣлъ розгами по пальцамъ риторику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдѣлывалъ деревянными лопатками по рукамъ философію. Съ богословами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: имъ, по выраженію профессора богословія, отсыпалось по мѣрѣ *крутую горюху*, что состояло въ коротенькихъ кожаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разыгрывали комедію, и въ такомъ случаѣ всегда отличался какой-нибудь богословъ, ростомъ мало чѣмъ пониже кievской колокольни, представлявшій Иродіаду или Пентефрію, супругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они кусокъ полотна, или мѣшокъ проса, или половину варенаго гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, — какъ семинарія, такъ и бурса, которые питали какую-то наслѣдственную непріязнь между собою, — былъ чрезвычайно бѣденъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписывалъ за вечерю галушекъ, было бы совершенно невозможное дѣло, и потому добродотныя пожертвованія зажиточныхъ владѣльцевъ не могли быть достаточны. Тогда сенатъ, состоявшій изъ философовъ и богослововъ, отправлялъ грамматиковъ и риторовъ, подъ предводительствомъ одного философа, — а иногда присоединялся и самъ, — съ мѣшками на плечахъ, опустошать чужіе огороды — и въ бурсѣ появлялась каша изъ тыквы. Сенаторы столько объѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день аудиторы слышали отъ нихъ, вмѣсто одного, два урока: одинъ происходилъ изъ устъ, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкѣ. Бурса и семинарія носили какія-то длинныя подобія скюртуковъ, простиравшихся *по сіе время*: слово техническое, означавшее — далѣе пяткохъ.

Самое торжественное для семинаріи событіе было — вакансія: время съ іюня мѣсяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу усѣивали грамматикѣ, философѣ и богословы. Кто не имѣлъ своего пріюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондичи*, то-есть брались учить или готовить дѣтей людей зажиточныхъ, и получали за то въ годъ новыя сапоги, а иногда и на скюртку. Вся ватага эта тянулась вмѣстѣ цѣлымъ таборомъ, варила себѣ кашу и ночевала въ полѣ. Каждый тащилъ за собою мѣшокъ, въ которомъ находилась одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапоговъ, они скидали ихъ, вѣшали на палки и несли на плечахъ, особенно, когда была грязь: тогда они, засучивъ шаровары по колѣни, безстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонѣ хуторъ, тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись къ хатѣ, выстроенной поопрятнѣе другихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пѣть кантъ. Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый казакъ-поселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпершись обѣими руками, потомъ рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь къ своей женѣ: „Жинко! то, что поють школяры, должно быть очень разумное; вынеси имъ сала и чого-нибудь такого, что у насъ есть“. И цѣлая миска варениковъ валилась въ мѣшокъ; поря-

дочный кусъ сала, нѣсколько паланицъ, а иногда и связанная курица помѣщалась вмѣстѣ. Поддѣрпывшіеся такимъ запасомъ, грамматика, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чѣмъ далѣе, однакоже, шли они, тѣмъ болѣе уменьшалась толпа ихъ. Всѣ почти разбродились по домамъ и оставались тѣ, которые имѣли родительскія гнѣзда далѣе другихъ.

Одинъ разъ, во время подобнаго странствованія, три бурсака своротили съ большой дороги въ сторону, съ тѣмъ, чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ запастись провіантомъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пустъ. Это были богословъ Халыва, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій Горобець.

Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ него, онъ непременно украдетъ. Въ другомъ случаѣ характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда напивался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянѣ, и семинаріи стоило большого труда сыскать его тамъ.

Философъ Хома Брутъ былъ нрава веселаго, любилъ очень лежать и курить люльку; если же пилъ, то непременно нанималъ музыкантовъ и отплясывалъ трепака. Онъ часто пробовалъ *крутнאו цороку*, но совершенно съ философическимъ равнодушіемъ, говоря, что, чему быть, того не мнновать.

Риторъ Тиберій Горобець еще не имѣлъ права носить усовъ, пить горѣлки и курить люльки. Онъ носилъ только оселедецъ, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по большимъ шишкамъ на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предположить, что изъ него будетъ хорошій воинъ. Богословъ Халыва и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли въ качествѣ депутата.

Бурсаки заблудились ночью; наконецъ пришли къ уединенному постоялому двору. Старуха, содержательница корчмы, помѣстила ихъ въ разныхъ мѣстахъ. Ночью она пришла къ Хомѣ.

Философу сдѣлалось страшно, особливо, когда онъ замѣтилъ, что глаза ея сверкнули какимъ-то необыкновеннымъ блескомъ. „Бабуся! что ты? Ступай, ступай себѣ съ Богомъ!“ закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Онъ вскочилъ на ноги, съ намѣреніемъ бѣжать; но старуха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкающіе глаза и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотѣлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленію, замѣтилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не двигались; и онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что даже голосъ не звучалъ изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ видѣлъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться и схватилъ обѣими руками себя за колѣни, желая удержать ноги, но онъ, къ величайшему изумленію его, подымались противъ воли и производили скачки быстрѣе черкесскаго бѣгуна. Когда уже минули они хуторъ и передъ ними открылась ровная лощина, а въ сторонѣ потянулся черный, какъ уголь, лѣсъ, тогда только сказалъ онъ самъ себѣ: „Эге, да это вѣдьма!“

Обращенный мѣсячный серпъ свѣтилъ на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось по землѣ. Лѣса, луга, небо, долины—все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было что-то влажно-теплое; тѣни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакалъ съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ. Онъ чувствовалъ какое-то томительное, неприятное и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода и трава казалась дномъ какого-то свѣтлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мѣрѣ, онъ видѣлъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмѣстѣ съ сидѣвшею на спинѣ старухою. Онъ видѣлъ, какъ, вмѣсто мѣсяца, свѣтило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему—и вотъ ея лицо, съ глазами, свѣтлыми, сверкающими, острыми, съ пѣньемъ вторгавшимися въ душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялось; и вотъ она опрокинулась на спину—и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ, неопкрытый глазурю, просвѣчивали предъ солнцемъ по краямъ своей бѣлой, аластически-нѣжной окружности. Вода, въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсыпала ихъ. Она вся дрожитъ и смѣется въ водѣ...

Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или снится? Но тамъ чтб? вѣтеръ или музыка? Звенить, звенить и вѣется, и подступаетъ, и возникаетъ въ душу какою-то нестерпимою трелью...

„Чтб это?“ думалъ философъ Хома Брутъ, глядя внизъ, несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ чувствовалъ бѣсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всѣ, какія только зналъ, молитвы. Онъ перебиралъ всѣ заклатія противъ духовъ, и вдругъ почувствовалъ какое-то освѣженіе; чувствовалъ, что шагъ его начиналъ становиться лѣнивѣе, вѣдма какъ-то слабѣе держалась на спинѣ его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свѣтлый серпъ свѣтилъ на небѣ.

„Хорошо же!“ подумалъ про себя философъ Хома и началъ почти вслухъ произносить заклатія. Наконецъ, съ быстротою молніи, выпрыгнулъ изъ-подъ старухи и вскоцилъ въ свою очередь къ ней на спину. Старуха мелкимъ дробнымъ шагомъ побѣжала такъ быстро, что всадникъ едва могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ; все было ясно при мѣсячномъ, хотя и неполномъ свѣтѣ; долины были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшее на дорогѣ погѣно и началъ имъ со всѣхъ силъ колотить старуху. Дикіе вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились слабѣе, пріятнѣе, чище, и потомъ уже, тихо, едва звенѣли, какъ тонкіе серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головѣ его мысль: точно ли это старуха? „Охъ, не могу больше!“ произнесла она въ изнеможеніи и упала на землю.

Онъ всталъ на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (разсвѣтъ загорался, и блестящія золотныя главы вдали кievскихъ церквей): передъ нимъ лежала красавица съ растрепанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами. Безчувственно отбросила она на обѣ стороны бѣлыя нагія руки и стонала, возведя кверху очи, полныя слезъ.

Вскорѣ у богатаго сотника умерла красавица-дочь. Передъ смертью она пожелала, чтобы Хома Вруть читалъ надъ нею псалтырь по ночамъ. Хому отыскали и повели къ сотнику, несмотря на его нежеланіе ѣхать.

По дорогѣ провожатые Хома перепилились въ шинкѣ.

И такъ какъ малороссіяне, когда подгуляютъ, непременно начнутъ пѣловаться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. „А ну, Спиридь, почеломкаемся!“—„Иди сюда, Дорошъ, я обниму тебя!“

Одинъ казакъ, бывшій постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣдыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать отъ души о томъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери и что онъ остался однимъ-одинъ на свѣтѣ. Другой былъ большой резонеръ и безпрестанно утѣшалъ его, говоря: „Не плачь; ей-Богу, не плачь! чтó жъ дѣлать?.. Ужъ Богъ знаетъ, какъ и чтó такое“. Одинъ, по имени Дорошъ, сдѣлался чрезвычайно любопытенъ и, оборотившись къ философу Хомѣ, безпрестанно спрашивалъ его: „Я хотѣлъ бы знать, чему у васъ въ бурсѣ учатъ: тому ли самому, чтó и дякъ читаетъ въ церкви, или чему другому?“

„Не спрашивай!“ говорилъ протяжно резонеръ: „пусть его тамъ будетъ, какъ было. Богъ уже знаетъ, какъ нужно; Богъ все знаетъ“.

„Нѣтъ, я хочу знать“, говорилъ Дорошъ: „чтó тамъ написано въ тѣхъ книжкахъ; можетъ быть, совсѣмъ другое, чѣмъ у дяка“.

„О, Боже мой, Боже мой!“ говорилъ этотъ почтенный наставникъ: „и на чтó такое говорить? Такъ уже воля Божія положила. Уже чтó Богъ далъ, того не можно перемѣнить“.

„Я хочу знать все, чтó ни написано. Я пойду въ бурсу, ей-Богу, пойду. Чтó ты думаешь, я не выучусь?—всему выучусь, всему!“

„О, Боже жъ мой, Боже мой!“ говорилъ утѣшитель и спустил свою голову на столъ, потому что совершенно былъ не въ силахъ держать ее долѣе на плечахъ. Прочіе казаки толковали о панахъ и о томъ, отчего на небѣ свѣтитъ мѣсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположеніе головъ, рѣшился воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился къ сѣдовласому козаку, грустившему объ отцѣ и матери: „Чтó жъ ты, дядько, расплакался?“ сказалъ онъ: „я самъ сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вамъ?“

„Пустимъ его на волю!“ отозвались нѣкоторые: „вѣдь онъ сирота; пусть себѣ идетъ, куда хочетъ“.

„О, Боже жъ мой! Боже мой!“ произнесъ утѣшитель, поднявъ свою голову: „отпустите его! Пусть идетъ себѣ!“

И казаки уже хотѣли сами вывести его въ чистое поле; но тотъ, который показавъ свое любопытство, остановилъ ихъ, сказавши: „Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить о бурсѣ; я самъ пойду въ бурсу...“

Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побѣгъ могъ совершиться, потому что, когда философъ вадумалъ подняться изъ-за стола, то ноги его сдѣлались какъ будто деревянными, и дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое множество, что врядъ ли бы онъ отыскалъ настоящую.

Впослѣдствіи всѣ попытки Хома убѣждать были тщетны,—его сторожили. Его привели въ церковь, гдѣ лежала покойница, и оставили одного. Со страхомъ подошелъ Хома къ покойницѣ, чтобы посмотреть на нее.

Трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ: передъ нимъ лежала красавица, какая когда-либо бывала на землѣ. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы въ такой рѣзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ живая; чело прекрасное, нѣжное, какъ снѣгъ, какъ серебро, казалось мыслило; брови—ночь среди солнечнаго дня, тонкія, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами; а рѣсницы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста—рубины, готовые усмѣхнуться смѣхомъ блаженства, потопомъ радости... Но въ нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, онъ видѣлъ что-то страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзненно ныть, какъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и закружившейся толпы заплѣлъ кто-нибудь пѣсню похоронную. Рубины устъ ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно-знакомое показалось въ лицѣ ея. „Вѣдьма!“ вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ, отвелъ глаза въ сторону, поблѣднѣлъ весь и сталъ читать свои молитвы. Это была та самая вѣдьма, которую убилъ онъ!

Ночью въ церкви стали происходить разные ужасы.

Онъ дико взглянулъ и протеръ глаза. Но она, точно, уже не лежитъ, а сидитъ въ своемъ гробѣ. Онъ отвелъ глаза свои и опять съ ужасомъ обратилъ ихъ на гробъ. Она встала... идетъ по церкви съ закрытыми глазами, безпрестанно расправляя руки, какъ бы желая поймать кого-нибудь.

Она идетъ прямо къ нему. Въ страхѣ, очертилъ онъ около себя кругъ; съ усиленіемъ началъ читать молитвы и произносить заклинанія, которыми научилъ его одинъ монахъ, видѣвшій всю жизнь свою вѣдьмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертѣ; но видно было, что не имѣла силъ переступить ее, и вся посинѣла, какъ человѣкъ, уже нѣсколько дней умершій. Хома не имѣлъ духа взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего, съ бѣшенствомъ,—что выразило ея задрожавшее лицо,—обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столбъ и уголъ, стараясь поймать Хому. Наконецъ остановилась, погрозивъ пальцемъ, и легла въ свой гробъ.

Философъ все еще не могъ придти въ себя и со страхомъ поглядывалъ на это тѣсное жилище вѣдьмы. Наконецъ, гробъ вдругъ сорвался съ своего мѣста и со свистомъ началъ летать по всей церкви, крестя во всѣхъ направленіяхъ воздухъ. Философъ видѣлъ его почти надъ головою, но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что онъ не могъ зацѣпить круга, имъ начерченнаго, и усилилъ свои заклинанія. Гробъ грянулся на серединѣ церкви и остался неподвижнымъ. Трупъ опять поднялся изъ него синій, позеленѣвшій. Но въ то время послышался отдаленный крикъ пѣтуха: трепъ опустился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.

На слѣдующую ночь ужасы повторились. Хома хотѣлъ отвергнуться отъ третьей ночи, но это ему не удалось.

Философъ, почесываясь, побрелъ за Явтухомъ. „Теперь проклятая вѣдьма задастъ мнѣ пфейферу!“ подумалъ онъ. „Да, впрочемъ, чтó я въ

самомъ дѣлѣ? Чего боюсь? Развѣ я не казакъ? Вѣдь читалъ же двѣ ночи, поможетъ Богъ и третью. Видно, проклятая вѣдьма порядочно грѣховъ надѣлала, что нечистая сила такъ за нее стоитъ“.

Такія размышленія занимали его, когда онъ вступалъ на панскій дворъ. Ободривши себя такими замѣчаніями, онъ упросилъ Дороша, который, посредствомъ протекціи ключника, имѣлъ иногда входъ въ панскіе погреба, вытащить сулею сивухи, и оба пріятеля, сѣвши подъ сараемъ, вытянули немного не полведра, такъ что философъ, вдругъ поднявшись на ноги, закричалъ: „Музыкантовъ, непременно музыкантовъ!“ и, не дождавшись музыкантовъ, пустился среди двора на расчищенномъ мѣстѣ отплясывать трепака. Онъ танцовалъ до тѣхъ поръ, пока не наступило время поддника, и дворня, обступившая его, какъ водится въ такихъ случаяхъ, въ кружокъ, наконецъ, плюнула и пошла прочь, сказавши: „Вотъ это какъ долго танцуетъ человекъ!“ Наконецъ, философъ тутъ же легъ спать, и добрый ушатъ холодной воды могъ только пробудить его къ ужину. За ужиномъ онъ говорилъ о томъ, что такое казакъ, и что онъ не долженъ бояться ничего на свѣтѣ.

„Пора“, сказалъ Явтухъ: „пойдемъ“.

„Спичка тебѣ въ языкъ, проклятый кнуръ!“ подумалъ философъ и, вставъ на ноги, сказалъ: „Пойдемъ!“

Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывалъ по сторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми. Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. Ночь была адская. Волки были вдали цѣлою стаей, и самый лай собачій былъ какъ-то страшнѣе.

„Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волкъ“, сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились къ церкви и вступили подъ ея ветхіе деревянные своды, показывавшіе, какъ мало заботился владѣтель помѣстья о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ попрежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грозно-знакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. Посрединѣ все такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. „Не побоюсь; ей-Богу, не побоюсь!“ сказалъ онъ и, очертивши попрежнему около себя кругъ, началъ припоминать всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи трепетали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что написано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и началъ пѣть. Это нѣсколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ, и листы мелькали одинъ за другимъ.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лопнула желѣзная крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе былъ онъ, чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударились рядъ о рядъ, въ судорогахъ задержались его губы, и дико ввигивая, понесли заклинанія. Вихоръ поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петель, и несмѣтная сила чудовищъ влетѣла въ Божью церковь. Страшный шумъ отъ крылъ и отъ царапанья когтей наполнилъ всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышелъ изъ головы послѣдній остатокъ хмеля. Онъ только крестился, да читалъ, какъ попало, молитвы. И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась вокругъ его, чуть не зацѣпляя его концами

крыль и отвратительныхъ хвостовъ. Не имѣлъ духу разглядѣть онъ ихъ; видѣлъ только, какъ во всю стѣну стояло какое-то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лѣсу; сквозь сѣть волосъ глядѣли страшно два глаза, поднявъ немного вверхъ брови. Надъ ними держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря, съ тысячами протянутыхъ изъ середины клещей и скорпионныхъ жалъ; чёрная земля висѣла на нихъ клоками. Всѣ глядѣли на него, искали и не могли увидѣть его, окруженнаго таинственнымъ кругомъ. „Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!“ раздались слова мертвеца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшіе по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какого-то приземистаго, дюжаго, косолапаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе корни, выдавались его, засыпанные землею, ноги и руки. Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Длинные вѣки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтилъ Хома, что лицо было на немъ желѣзное. Его привели подъ-руки и прямо поставили къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хома.

„Подымите мнѣ вѣки: не вижу!“ сказалъ подземнымъ голосомъ Вій,— и все сонмище кинулось подымать ему вѣки.

„Не гляди!“ шепнулъ какой-то внутренній голосъ философу. Не вытерпѣлъ онъ, и глянулъ.

„Вотъ онъ!“ закричалъ Вій, и устави́лъ на него желѣзный палецъ. И всѣ, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся онъ на землю, и тутъ же вылетѣлъ духъ изъ него отъ страха.

Раздался пѣтущій крикъ. Это былъ уже второй крикъ: первый слышали гномы. Испуганные духи бросились, кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскорѣ вылетѣть; но не тутъ-то было: такъ и остались они тамъ, завязнувши въ дверяхъ и въ окнахъ.

Вошедшій священникъ остановился при видѣ такого посрамленія Божьей святыни и не посмѣлъ служить панихиду въ такомъ мѣстѣ. Такъ навѣки и осталась церковь, съ завязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣсомъ, корнями, бурьяномъ, дикимъ терновникомъ, и никто не найдеть теперь къ ней дороги.

П О В Ъ С Т Ъ

о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.

ГЛАВА I.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича: отличнѣйшая! А какія смушки! Фу, ты пропасть какія смушки! сизыя съ морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ что, если у кого-либо найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ,—особенно, если онъ станетъ съ кѣмъ-нибудь говорить,—взгляните сбоку: что это за объѣденіе! Описать нельзя: бархатъ! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворецъ, угодникъ Божій! отчего же это у меня нѣтъ

такой бекешы! Онъ спилъ ее тогда еще, когда Агаеія Оедосѣевна не ѣздила въ Кіевъ. Вы знаете Агаеію Оедосѣевну? Та самая, что откусила ухо у засѣдателя.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него домъ въ Миргородѣ! Вокругъ него, со всѣхъ сторонъ, навѣсъ на дубовыхъ столбахъ, подъ навѣсомъ вездѣ скамейки. Иванъ Ивановичъ, когда сдѣлается слишкомъ жарко, скинетъ съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ одной рубашкѣ и отдыхаетъ подъ навѣсомъ, и глядитъ, что дѣлается во дворѣ и на улицѣ. Какія у него яблони и груши подъ самыми окнами. Отворите только окно — такъ вѣтви сами и врываются въ комнату. Это все передъ домомъ; а посмотрѣли бы, что у него въ саду! Чего тамъ нѣтъ? Сливы, вишни, черешни, огорожина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни; это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни, и уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начнетъ кушать. Потомъ велитъ Гапкѣ принести чернильницу и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкою съ сѣменами: „Сія дыня съѣдена такого-то числа“. Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то „участвовалъ такой-то“.

Покойный судья миргородскій всегда любовался, глядя на домъ Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурень. Мнѣ нравится, что къ нему со всѣхъ сторонъ пристроены сѣни и сѣнички, такъ что если взглянуть на него издали, то видны одиѣ только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походить на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше, на губки, нарастающія на деревь. Впрочемъ: крыши всѣ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двѣ яблони облокотились на нихъ своими раскидистыми вѣтвями. Промежъ деревь мелькаютъ и выбѣгаютъ даже на улицу небольшія окошки съ рѣзными выбѣленными ставнями.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Его знаетъ и комиссаръ полтавскій! Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка, когда ѣдетъ изъ Хоролъ, то всегда заѣзжаетъ къ нему. А протопопъ отецъ Петръ, что живетъ въ Колибердѣ, когда соберется у него человѣкъ пятокъ гостей, всегда говорить, что онъ никого не знаетъ, кто бы такъ исполнялъ долгъ христіанскій и умѣлъ жить, какъ Иванъ Ивановичъ.

Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло болѣе десяти лѣтъ, какъ онъ овдовѣлъ. Дѣтей у него не было. У Гапки есть дѣти и бѣгаютъ часто по двору. Иванъ Ивановичъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу.

А какой богомольный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Каждый воскресный день надѣваетъ онъ бекешу и идетъ въ церковь. Возшедши въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскланявшись на всѣ стороны, обыкновенно помѣщается на клиросѣ и очень хорошо подтягиваетъ басомъ. Когда же окончится служба, Иванъ Ивановичъ никакъ не утерпѣтъ, чтобъ не обойти всѣхъ нищихъ. Онъ бы, можетъ быть, и не хотѣлъ заняться такимъ скучнымъ дѣломъ, если бы не побуждала его къ тому природная доброта. „Здорово, небого!“ *) обыкновенно говорилъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, въ изодранномъ, спитомъ изъ заплатъ, платьѣ. „Откуда ты, бѣдная?“

*) Бѣдная.

„Я, паночку, изъ хутора пришла, третій день, какъ не пила, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти“.

„Бѣдная головушка! чего жъ ты пришла сюда?“

„А такъ, паночку, милостыни просить, не дасть ли кто-нибудь хоть на хлѣбъ“.

„Гм! что жъ, тебѣ развѣ хочется хлѣба?“ обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ.

„Какъ не хотѣть! Голодна, какъ собака“.

„Гм!“ отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ. „Такъ тебѣ, можетъ, и мяса хочется?“

„Да все, что милость ваша дастъ, всѣмъ буду довольна“.

„Гм! развѣ мясо лучше хлѣба?“

„Гдѣ ужъ голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо“. При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.

„Ну, ступай же съ Богомъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ. „Чего жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью?“

И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ третьему, наконецъ, возвращается домой или заходитъ выпить рюмку водки къ сосѣду Ивану Никифоровичу, или къ судѣ, или къ городничему.

Иванъ Ивановичъ очень любитъ, если ему кто-нибудь сдѣлаетъ подарокъ, или гостинецъ. Это ему очень нравится.

Очень хорошій также человекъ Иванъ Никифоровичъ. Его дворъ возлѣ двора Ивана Ивановича. Они такіе между собою пріятели, какихъ свѣтъ не производилъ. Антонъ Прокофьевичъ Пулопузъ, который до сихъ поръ еще ходитъ въ коричневомъ скротукѣ съ голубыми рукавами и обѣдаетъ по воскреснымъ днямъ у судьи, обыкновенно говорилъ, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича самъ чортъ связалъ веревочкой: куда одинъ, туда и другой плетется.

Иванъ Никифоровичъ никогда не былъ женатъ. Хотя поговаривали, что онъ женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что онъ даже не имѣлъ и намѣренія жениться. Откуда выходятъ всѣ эти сплетни? Такъ, какъ пронесли было, что Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ назади. Но эта выдумка такъ нелѣпа и вмѣстѣ гнусна и неприлична, что я даже не считаю нужнымъ опровергать ее предъ просвѣщенными читателями, которымъ, безъ всякаго сомнѣнія, извѣстно, что у однихъ только вѣдьмъ, и то у весьма немногихъ, есть назади хвостъ. Вѣдьмы, впрочемъ, принадлежать болѣе къ женскому полу, нежели къ мужескому.

Несмотря на большую пріязнь, эти рѣдкіе друзья не совсѣмъ были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры ихъ изъ сравненія. Иванъ Ивановичъ имѣетъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно пріятно. Господи, какъ онъ говоритъ! Это ощущеніе можно сравнить только съ тѣмъ, когда у васъ ищутъ въ головѣ или потихоньку проводятъ пальцемъ по вашей пяткѣ. Слушаешь, слушаешь, — и голову повѣсишь. Пріятно! чрезвычайно пріятно! какъ сонъ послѣ купанья. Иванъ Никифоровичъ, напротивъ, больше молчитъ; но зато, если влѣпнетъ слово, то держись только: отбреетъ лучше всякой бритвы. Иванъ Ивановичъ худощавъ и высокаго роста; Иванъ Никифоровичъ немного ниже, но зато распространяется въ толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на рѣдку хвостомъ внизъ; голова Ивана Никифоровича — на рѣдку хвостомъ вверхъ. Иванъ Ивановичъ только послѣ

обѣда лежитъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсомъ; ввечеру же надѣваетъ бекешу и идетъ куда-нибудь, или къ городовому магазину, куда онъ поставляетъ муку; или въ поле—ловить перепеловъ. Иванъ Никифоровичъ лежитъ весь день на крыльцѣ, — если не слишкомъ жаркій день, то обыкновенно выставивъ спину на солнце, — и никуда не хочетъ идти. Если вдумается утромъ, то пройдетъ по двору, осмотритъ хозяйство и опять на покой. Въ прежнія времена зайдетъ, бывало, къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тонкій человекъ и въ порядочномъ разговорѣ никогда не скажетъ неприличнаго слова, и тотчасъ обидится, если услышитъ его. Иванъ Никифоровичъ иногда не обережется. Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаетъ съ мѣста и говоритъ: „Довольно, довольно, Иванъ Никифоровичъ; лучше скорѣе на солнце, чѣмъ говорить такіа богопротивныя слова“. Иванъ Ивановичъ очень сердится, если ему попадется въ борщъ муха; онъ тогда выходитъ изъ себя — и тарелку кинетъ, и хозяину достанется. Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохладѣ. Иванъ Ивановичъ бреетъ бороду въ недѣлю два раза; Иванъ Никифоровичъ одинъ разъ. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно любопытенъ; Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если жъ чѣмъ бываетъ недоволенъ, то тотчасъ даетъ замѣтить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердитъ; хотъ и обрадуется чему-нибудь, то не покажетъ. Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ. У Ивана Ивановича большіе выразительные глаза табачнаго цвѣта, и ротъ нѣсколько похожъ на букву *ижицу*; у Ивана Никифоровича глаза маленькіе, желтоватые, совершенно пропадающіе между густыхъ бровей и пухлыхъ щекъ, и носъ въ видѣ спѣлой сливы. Иванъ Ивановичъ, если попотчиваетъ васъ табакомъ, то всегда напередъ лизнетъ языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнетъ по ней пальцемъ и, поднесши, скажетъ, если вы съ нимъ знакомы: „Смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?“ если же незнакомы, то: „Смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?“ Иванъ же Никифоровичъ даетъ вамъ прямо въ руки рожокъ свой и прибавитъ только: „Одолжайтесь“. Какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ очень не любятъ блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифоровичъ никакъ не пропустятъ жиды съ товарами, чтобы не купить у него эликсира въ разныхъ баночкахъ противъ этихъ насѣкомыхъ, выбравъ напередъ его хорошенько за то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую вѣру.

Впрочемъ, несмотря на нѣкоторые несходства, какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ, прекрасные люди.

ГЛАВА II,

изъ которой можно узнать, чего захотѣлось Ивану Ивановичу, о чемъ происходить разговоръ между Иваномъ Ивановичемъ и Иваномъ Никифоровичемъ, и чѣмъ онъ окончился.

Однажды Иванъ Ивановичъ увидѣлъ, какъ старуха-служанка Ивана Никифоровича вынесла на дворъ ружье Ивана Никифоровича. Эта вещь заинтересовала Ивана Ивановича: онъ рѣшился выпросить ружье у своего друга и пошелъ къ нему.

Комната, въ которую вступилъ Иванъ Ивановичъ, была совершенно темна потому что ставни были закрыты и солнечный лучъ, проходя въ дыру, сдѣланную въ ставнѣ, принялъ радужный цвѣтъ и, ударяясь въ противостоящую стѣну, рисовалъ на ней пестрый ландшафтъ изъ очережныхъ крышъ, деревъ и развѣшаннаго на дворѣ платья, все только въ обращенномъ видѣ. Отъ этого всей комнатѣ сообщался какой-то чудный полусвѣтъ.

„Помоги Богъ!“ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

„А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!“ отвѣчалъ голосъ изъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановичъ замѣтилъ Ивана Никифоровича, лежащаго на разостланномъ на полу коврѣ. „Извините, что я передъ вами въ натурѣ“. Иванъ Никифоровичъ лежалъ безъ всего, даже безъ рубашки.

„Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иванъ Никифоровичъ?“

„Почивалъ. А вы почивали, Иванъ Ивановичъ?“

„Почивалъ“.

„Такъ вы теперь и встали?“

„Я теперь встаю? Христосъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ! Какъ можно спать до сихъ поръ! Я только-что пріѣхалъ изъ хутора. Прекрасныя жита по дорогѣ! восхитительныя! И сѣно такое рослое, мягкое, злачное!“

„Горпина!“ закричалъ Иванъ Никифоровичъ: „принеси Ивану Ивановичу водки, да пироговъ съ сметаной“.

„Хорошее время сегодня“.

„Не хвалите, Иванъ Ивановичъ. Чтобъ его чортъ взялъ! Некуда дѣваться отъ жару!“

„Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Никифоровичъ! вы вспомните мое слово, да уже будетъ поздно: достанется вамъ на томъ свѣтѣ за богопротивныя слова“.

„Чѣмъ же я обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я не тронулъ ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чѣмъ я васъ обидѣлъ“.

„Полно уже, полно, Иванъ Никифоровичъ!“

„Ей-Богу, я не обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ!“

„Странно, что перепела до сихъ поръ нейдутъ подъ дудочку“.

„Какъ вы себя хотите, думайте, что вамъ угодно, только я васъ не обидѣлъ ничѣмъ“.

„Не знаю, отчего они нейдутъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ, какъ бы не слушая Ивана Никифоровича: „время ли не приспѣло еще... только время, кажется, такое, какое нужно“.

„Вы говорите, что жита хорошія?“

„Восхитительныя жита, восхитительныя!“

За симъ послѣдовало молчаніе.

„Что́ это вы, Иванъ Никифоровичъ, платье развѣшиваете?“ наконецъ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

„Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба: теперь провѣтриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти—и можно снова носить“.

„Мнѣ тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Никифоровичъ“.

„Какая?“

„Скажите, пожалуйста, на что́ вамъ это ружье, что́ выставлено вывѣтривать вмѣстѣ съ платьемъ?“ Тутъ Иванъ Ивановичъ поднесъ табакъ: „Смѣю ли просить объ одолженіи?“

Ничего, одолайтесь; я попохаю своего“. При этомъ Иванъ Никифоровичъ пощупалъ вокругъ себя и досталъ рожокъ. „Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда же повѣсила? Хорошій табакъ жидъ дѣлаетъ въ Сорочинцахъ. Я не знаю, что́ онъ кладетъ туда, а такое душистое! На кануперъ немножко похоже. Вотъ возьмите, разжуйте немножко во рту: не правда ли, похоже на кануперъ? Возьмите, одолайтесь!“

„Скажите пожалуйста, Иванъ Никифоровичъ, я все на счетъ ружья: что́ вы будете съ нимъ дѣлать? Вѣдь оно вамъ не нужно“.

„Какъ не нужно, а случится стрѣлять?“

„Господь съ вами, Иванъ Никифоровичъ, когда же вы будете стрѣлять? Развѣ по второму пришествіи? Вы, сколько я знаю и другіе запомнѣть, ни одной еще качки *) не убили, да и ваша натура не таиъ уже Господомъ Богомъ устроена, чтобы стрѣлять. Вы имѣете осанку и фигуру важную. Какъ же вамъ таскаться по болотамъ, когда ваше платье, которое не во всякой рѣчи прилично назвать по имени, провѣтривается и теперь еще? что́ же тогда? Нѣтъ, вамъ нужно имѣть покой, отдохновение“ (Иванъ Ивановичъ, какъ упомянуто выше, необыкновенно живописно говорилъ, когда нужно было убѣждать кого. Какъ онъ говорилъ! Боже, какъ онъ говорилъ!) „Да, такъ вамъ нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мнѣ!“

„Какъ можно! Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ теперь не сыщете нигдѣ. Я еще, какъ собирался въ милицію, купилъ его у турчина; а теперь бы то такъ вдругъ и отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!“

„На что́ жъ она необходимая?“

„Какъ на что́? А когда нападуть на домъ разбойники... Еще бы не необходимая! Слава Тебѣ, Господи! Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего?—оттого, что я знаю, что у меня стоитъ въ каморѣ ружье“.

„Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Никифоровичъ, замокъ испорченъ“.

„Что жъ, что испорченъ? Можно починить; нужно только смазать коноплянымъ масломъ, чтобы не ржавѣлъ“.

„Изъ вашихъ словъ, Иванъ Никифоровичъ, я никакъ не вижу дружественнаго ко мнѣ расположенія. Вы ничего не хотите сдѣлать для меня въ знакъ пріязни“.

„Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичъ, что я вамъ не оказываю никакой пріязни? Какъ вамъ не совѣстно? Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занималъ ихъ. Когда ѣдете въ Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что жъ? развѣ я отказалъ когда? Ребятишки ваши перелѣзаютъ черезъ плетень въ мой дворъ и играютъ съ моими собаками,—я ничего не говорю: пусть себѣ играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себѣ играютъ!“

*) Т. е. утки.

„Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, помѣняемся“.

„Что жъ вы дадите мнѣ за него?“ При этомъ Иванъ Никифоровичъ облокотился на руку и поглядѣлъ на Ивана Ивановича.

„Я вамъ дамъ за него бурюю свинью, ту самую, что я откормилъ въ сажу. Славная свинья! Увидите, если на слѣдующій годъ она не наведетъ вамъ поросятъ“.

„Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивановичъ, можете это говорить. На что мнѣ свинья ваша? Развѣ чорту поминки дѣлать“.

„Опять! Безъ чорта таки нельзя обойтись! Грѣхъ вамъ; ей-Богу, грѣхъ, Иванъ Никифоровичъ!“

„Какъ же вы, въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Ивановичъ, даете за ружье, чортъ знаетъ, что такое: свинью!“

„Отчего же она—чортъ знаетъ, что такое, Иванъ Никифоровичъ?“

„Какъ же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь извѣстная; а то—чортъ знаетъ, что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы могъ это принять въ обидную для себя сторону“.

„Что жъ нехорошаго замѣтили вы въ свиньѣ?“

„За кого же въ самомъ дѣлѣ вы принимаете меня? Чтобы я свинью...“

„Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается ваше ружье, пускай себѣ сгниетъ и перержавѣетъ, стоя въ углу въ каморѣ—не хочу больше говорить о немъ“.

Послѣ этого послѣдовало молчаніе.

„Говорятъ“, началъ Иванъ Ивановичъ: „что три короля объявили войну царю нашему“.

„Да, говорилъ мнѣ Петръ Федоровичъ. Что жъ это за война? и отчего она?“

„Навѣрное не можно сказать, Иванъ Никифоровичъ, за что она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всѣ приняли турецкую вѣру“.

„Вишь, дурни, чего захотѣли!“ произнесъ Иванъ Никифоровичъ, приподнявши голову.

„Вотъ видите, а царь нашъ и объявилъ имъ за то войну: „Нѣтъ, говорить, примите вы сами вѣру Христову!“

„Что жъ? Вѣдь наши побьютъ ихъ, Иванъ Ивановичъ!“

„Побьютъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифоровичъ, мѣнять ружьеца?“

„Мнѣ странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, человѣкъ извѣстный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Что бы я за дуракъ такой...“

„Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! Пусть оно себѣ околѣетъ; не буду больше говорить“.

Въ это время принесли закуску.

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку и закусилъ пирогомъ съ сметаной. „Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ дамъ, кромѣ свиньи, еще два мѣшка овса; вѣдь овса вы не сѣяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать овесъ“.

„Ей-Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно, гороху наѣвшись“ (Это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ и не такія фразы отпускаетъ). „Гдѣ видано, чтобы кто ружье промѣнялъ на два мѣшка овса? Небось, бекеши своей не поставите“.

„Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что я и свинью еще даю вамъ“.

„Какъ! два мѣшка овса и свинью за ружье?“

„Да что жъ, развѣ мало?

„За ружье?“

„Конечно, за ружье“.

„Два мѣшка за ружье?“

„Два мѣшка не пустыхъ, а съ овсомъ; а свинью позабыли?“

„Поцѣлуйтесь съ своею свиньею, а коли не хотите, такъ съ чортомъ!“

„О, васъ зацѣпи только! Увидите: напшигуютъ вамъ на томъ свѣтѣ языкъ горячими иголками за такіа богомерзкія слова. Послѣ разговора съ вами нужно и лицо, и руки умытъ, и самому окуриться“.

„Позвольте, Иванъ Ивановичъ; ружье—вещь благородная, самая любопытная забава, притомъ и украшеніе въ комнатѣ пріятное...“

„Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ ружьемъ, какъ *дурень съ писанною торбою*“, сказалъ Иванъ Ивановичъ съ досадою, потому что дѣйствительно начиналъ уже сердиться.

„А вы, Иванъ Ивановичъ, настоящій *гусакъ*“ *).

Если бы Иванъ Никифоровичъ не сказалъ этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда, пріятелями: но теперь произошло совсѣмъ другое. Иванъ Ивановичъ весь вспыхнулъ.

„Что вы такое сказали, Иванъ Никифоровичъ?“ спросилъ онъ, возвысивъ голосъ.

„Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивановичъ!“

„Какъ же вы смѣли, сударь, повабывъ и приличіе, и уваженіе къ чину и фамиліи человѣка, обезчестить такимъ поноснымъ именемъ?“

„Что жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дѣлѣ такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?“

„Я повторяю, какъ вы осмѣлились, въ противность всѣхъ приличій, назвать меня гусакомъ?“

„Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ! Что вы такъ раскудахтались?“

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе владѣть собою: губы его дрожали; ротъ измѣнилъ обыкновенное положеніе *мстими* и сдѣлался похожимъ на О; глазами онъ такъ мигалъ, что сдѣлалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно рѣдко; нужно было для этого его сильно разсердить.

„Такъ я жъ вамъ объявляю“, произнесъ Иванъ Ивановичъ: „что я знать васъ не хочу“.

„Большая бѣда! Ей-Богу, не заплачу отъ этого!“ отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.—Лгалъ, лгалъ, ей-Богу, лгалъ! Ему очень было досадно это.

„Нога моя не будетъ у васъ въ домѣ“.

„Эге, ге!“ сказалъ Иванъ Никифоровичъ, съ досады, не зная самъ, что дѣлать, и, противъ обыкновенія, вставъ на ноги. „Эй, баба, хлопче!“ При семъ показавъ изъ-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчикъ, закутанный въ длинный и широкій скюртукъ. „Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!“

„Какъ! дворянина?“ закричалъ съ чувствомъ достоинства и негодованія Иванъ Ивановичъ. „Осмѣльтесь только! подступите! Я васъ уничтожу съ глупымъ вашимъ паномъ! Воронъ не найдетъ мѣста вашего!“ (Иванъ Ивановичъ говорилъ необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена).

Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Никифоровичъ,

*) Т. е. гусакъ-самецъ.

стоявшій посреди комнаты въ полной красотѣ своей, безъ всякаго украшенія! Баба, разинувшая ротъ и выразившая на лицѣ самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иванъ Ивановичъ, съ поднятою вверхъ рукою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была необыкновенная минута, спектакль великолѣпный! И между тѣмъ только одинъ былъ зрителемъ: это былъ мальчикъ въ неизмѣримомъ скрутокъ, который стоялъ довольно покойно и чистилъ пальцемъ свой носъ.

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ взялъ шапку свою. „Очень хорошо поступаете вы, Иванъ Никифоровичъ! прекрасно! Я это припомню вамъ“.

„Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте! да глядите, не попадайтесь мнѣ: а не то—я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю морду побью!“

„Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ“, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, выставивъ ему кукишъ и хлопнувъ за собою дверь, которая съ визгомъ захрипѣла и отворилась снова.

Иванъ Никифоровичъ показался въ дверяхъ и что-то хотѣлъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не оглядывался и летѣлъ со двора.

ГЛАВА III.

Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ?

Отношенія прежнихъ друзей все ухудшались. Этому посодѣйствовала особенно какая-то Агафья Федосѣевна, прѣхавшая погостить къ Ивану Никифоровичу.

Все приняло другой видъ. Если сосѣдняя собака забѣгала когда на дворъ, то ее колотили тѣмъ ни понало; ребятишки, перелѣзавшіе черезъ заборъ, возвращались съ воплемъ, съ поднятыми вверхъ рубашонками и съ знаками розогъ на спинѣ. Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ хотѣлъ было ее спросить о чемъ-то, сдѣлала такую непристойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человекъ чрезвычайно деликатный, плюнулъ и промолвилъ только: „Экая скверная баба! хуже своего пана!“

Наконецъ, къ довершенію всѣхъ оскорбленій, ненавистный сосѣдъ выстроилъ прямо противъ него, гдѣ обыкновенно былъ перелазъ чрезъ плетень, гусинный хлѣвъ, какъ будто съ особеннымъ намѣреніемъ усугубить оскорбленіе. Этотъ отвратительный для Ивана Ивановича хлѣвъ выстроенъ былъ съ дьявольскою скоростью—въ одинъ день.

Это возбудило въ Иванѣ Ивановичѣ злость и желаніе отомстить. Онъ не показалъ, однакожъ, никакого вида огорченія, несмотря на то, что хлѣвъ даже захватилъ часть его земли; но сердце у него такъ билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствіе.

Такъ провелъ онъ день. Настала ночь... О, если бъ я былъ живописецъ, я бы чудно изобразилъ всю прелесть ночи! Я бы изобразилъ, какъ спитъ весь Миргородъ; какъ неподвижно глядятъ на него безчисленные звѣзды; какъ видимая тишина оглашается близкимъ и далекимъ лаемъ собакъ; какъ мимо ихъ несется влюбленный понамарь и перелѣзаетъ черезъ плетень съ рыцарскою безстрашностью; какъ бѣлыя стѣны домовъ, охваченныя луннымъ свѣтомъ, становятся бѣлые, освѣщающіе ихъ деревья темнѣе, тѣнь отъ деревъ ложится чернѣе, цвѣты и умоленувшая трава душистѣе, и сверчки, неутомимые рыцари ночи, дружно изъ всѣхъ угловъ заводятъ свои трескучія пѣсни. Я бы изобразилъ, какъ въ одномъ изъ этихъ низенькихъ

глиняныхъ домиковъ разметающейся на одинокой постели чернобровой горожанкѣ, съ дрожащими молодыми грудями, снится гусарскій усь и шпоры, а свѣтъ луны смѣется на ея щекахъ. Я бы изобразилъ, какъ по бѣлой дорогѣ мелькаетъ черная тѣнь летучей мыши, садящейся на бѣлыя трубы домовъ... Но врядъ ли бы я могъ изобразить Ивана Ивановича, вышедшаго въ эту ночь съ пилою въ рукѣ: столько на лицѣ у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо-тихо подкрался онъ и подлѣвъ подъ гусинный хлѣвъ. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссорѣ между ними, и потому позволили ему, какъ старому пріятелю, подойти къ хлѣву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ столбахъ. Подлѣзши къ ближнему столбу, приставилъ онъ къ нему пилу и началъ пилить. Шумъ, производимый пилою, заставлялъ его поминутно оглядываться, но мысль объ обидѣ возвращала бодрость. Первый столбъ былъ подпиленъ; Иванъ Ивановичъ принялся за другой. Глаза его горѣли и ничего не видали отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ вскрикнулъ и обомлѣлъ: ему показался мертвецъ; но скоро онъ пришелъ въ себя, увидѣвши, что это былъ гусь, просунувшій къ нему свою шею. Иванъ Ивановичъ плюнулъ отъ негодованія и началъ продолжать работу. И второй столбъ подпиленъ; зданіе пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ принялся за третій, что онъ нѣсколько разъ прекращалъ работу. Уже болѣе половины столба было подпилено, какъ вдругъ шаткое зданіе сильно покачнулось... Иванъ Ивановичъ едва успѣлъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ. Схвативши пилу, въ страшномъ испугѣ прибѣжалъ онъ домой и бросился въ кровать, не имѣя даже духу поглядѣть въ окно на слѣдствія своего страшнаго дѣла. Ему казалось, что весь дворъ Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иванъ Никифоровичъ, мальчишъ въ безконечномъ сюртукѣ, всѣ съ дреколями, предводительствуемые Агаею Федосѣвною, шли разорять и ломать его домъ.

Весь слѣдующій день провелъ Иванъ Ивановичъ, какъ въ лихорадкѣ. Ему все чудилось, что ненавистный сосѣдъ въ отмщеніе за это, по крайней мѣрѣ, подожжетъ домъ его; и потому онъ далъ повелѣніе Гапкѣ поминутно осматривать вездѣ, не подложено ли гдѣ-нибудь сухой соломы. Наконецъ, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, онъ рѣшился забѣжать зайцемъ впередъ и подать на него прошеніе въ миргородскій повѣтовый судъ. Въ чемъ оно состояло, объ этомъ можно узнать изъ слѣдующей главы.

ГЛАВА IV.

О томъ, чтѣ произошло въ присутствіи миргородскаго повѣтоваго суда.

Чудный городъ Миргородъ! Какихъ въ немъ нѣтъ строеній! И подъ соломенною, и подъ очеретяною, даже подъ деревянною крышею. Направо улица, налѣво улица, вездѣ прекрасный плетень; по немъ вьется хмель, на немъ висятъ горшки, изъ-за него подсолнечникъ выказываетъ свою солнцеобразную голову, краснѣетъ макъ, мелькаютъ толстыя тыквы... Роскошь! Плетень всегда убранъ предметами, которые дѣлаютъ его еще болѣе живописнымъ: или напаяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. Въ Миргородѣ нѣтъ ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вѣшаетъ на плетень, чтѣ ему вадумается. Если будете подходить съ площади,

то, вѣрно, на время остановитесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось когда видѣть! Она занимаетъ почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сѣна, обступивши вокругъ, дивятся красотѣ ея.

Но я тѣхъ мыслей, что нѣтъ лучше дома, какъ повѣтовый судъ. Дубовый ли онъ или березовый—мнѣ нѣтъ дѣла, но въ немъ, милостивые государи, восемь окошекъ! восемь окошекъ въ рядѣ, прямо на площадь и на то водное пространство, о которомъ я уже говорилъ и которое городничій называетъ озеромъ! Одинъ только онъ окрашенъ цвѣтомъ гранита; всѣ прочіе дома въ Миргородѣ просто выбѣлены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярскіе, приправивши лукомъ, не съѣли, чтó было, какъ нарочно, во время поста, и крыша осталась не крашеною. На площадь выступаетъ крыльцо, на которомъ часто бѣгаютъ куры, оттого что на крыльцѣ всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь съѣстное, чтó, впрочемъ, дѣлается не нарочно, но единственно отъ неосторожности просителей. Домъ раздѣленъ на двѣ половины: въ одной *присутствіе*, въ другой *арестантская*. Въ той половинѣ, гдѣ присутствіе, находятся двѣ комнаты, чистыя, выбѣленные: одна передняя, для просителей, въ другой столъ, украшенный чернильными пятнами; на столѣ зеркало; четыре стула дубовые, съ высокими спинками; возлѣ стѣны сундуки, кованные желѣзомъ, въ которыхъ сохранялись кипы повѣтовой ябеды. На одномъ изъ этихъ сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычищенный ваксою.

Присутствіе началось еще съ утра. Судья, довольно полный человѣкъ, хотя нѣсколько тонѣе Ивана Никифоровича, съ доброю миною, въ замасленномъ халатѣ, съ трубкою и чашкою чая, разговаривалъ съ подсудкомъ. У судьи губы находились подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько душѣ угодно было. Эта губа служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адресуемый въ носъ, почти всегда сѣялся на нее. Итакъ, судья разговаривалъ съ подсудкомъ. Босая дѣвка держала въ сторонѣ подносъ съ чашками. Въ концѣ стола секретарь читалъ рѣшеніе дѣла, но такимъ однообразнымъ и заунывнымъ тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая. Судья, безъ сомнѣнія, это бы сдѣлалъ прежде всѣхъ, если бы не вошелъ между тѣмъ въ занимательный разговоръ.

„Я нарочно старался узнать“, говорилъ судья, прихлебывая чай уже изъ простывшей чашки: „какимъ образомъ это дѣлается, что они поютъ хорошо. У меня былъ славный дроздъ, года два тому назадъ. Чтó жъ? Вдругъ испортился совсѣмъ, началъ пѣть, Богъ знаетъ чтó; чѣмъ далѣе, хуже, хуже; сталъ картавить, хрипѣть,—хоть выбрось! А вѣдъ самый вздоръ! Это вотъ отчего дѣлается: подъ горлышкомъ дѣлается бобонъ, меньше горошинки. Этотъ бобончикъ нужно только проколоть иголкою. Меня научилъ этому Захаръ Прокофьевичъ, и именно, если хотите, я вамъ расскажу, какимъ это было образомъ: приѣзжаю я къ нему...“

„Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?“ прервалъ секретарь, уже нѣсколько минутъ, какъ окончившій чтеніе.

„А вы уже прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не услышалъ ничего! Да гдѣ жъ оно? Дайте его сюда, я подпишу. Чтó тамъ еще у васъ?“

„Дѣло казака Бокитѣя о краденой коровѣ“.

„Хорошо, читайте! Да, такъ приѣзжаю я къ нему... Я могу даже раз-

сказать вамъ подробно, какъ онъ угостилъ меня. Къ водкѣ былъ поданъ балыкъ, единственный! Да, не нашего балыка, которымъ..." (при этомъ судья сдѣлалъ языкомъ и улыбнулся, при чемъ носъ его понюхалъ свою всегдашнюю табакерку)... „которымъ угощаетъ наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ѣлъ, потому что, какъ вы сами знаете, у меня отъ нея дѣлается изжога подъ ложечкою; но икры отвѣдалъ,—прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потомъ выпилъ я водки персиковой, настоящей на золотысячникъ. Была и шафранная; но шафранной, какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить аппетитъ, а потомъ уже завершить... А! слыкомъ слыкать, видомъ видать"... вскричалъ вдругъ судья, увидѣвъ входящаго Ивана Ивановича.

„Богъ въ помощь! Желаю здравствовать!“ произнесъ Иванъ Ивановичъ, поклонившись на всѣ стороны съ свойственною ему одному пріятностью. Боже мой, какъ онъ умѣлъ обворожить всѣхъ своимъ обращеніемъ! Тонкости такой я нигдѣ не видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ свое достоинство и потому на всеобщее почтеніе смотрѣлъ, какъ на должное. Судья самъ подаль стулъ Ивану Ивановичу, носъ его потянулъ съ верхней губы весь табакъ, что всегда было у него знакомъ большого удовольствія.

„Чѣмъ прикажете потчевать васъ, Иванъ Ивановичъ?“ спросилъ онъ: „не прикажете ли чашку чаю?“

„Нѣтъ, весьма благодарю“, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

„Сдѣлайте милость, одну чашечку!“ повторилъ судья.

„Нѣтъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствомъ!“ отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

„Одну чашку!“ повторилъ судья.

„Нѣтъ, не беспокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!“ При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

„Чашечку?“

„Ужъ такъ и быть, развѣ чашечку!“ произнесъ Иванъ Ивановичъ и протянулъ руку къ подносу.

Господи Боже! какая бедня тонкости бываетъ у человѣка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлѣніе производятъ такіе поступки!

„Не прикажете ли еще чашечку?“

„Покорно благодарствую“, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланаясь.

„Сдѣлайте одолженіе, Иванъ Ивановичъ!“

„Не могу; весьма благодаренъ“. При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

„Иванъ Ивановичъ! сдѣлайте дружбу, одну чашечку!“

„Нѣтъ, весьма обязанъ за угощеніе“. Сказавши это, Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

„Только чашечку! Одну чашечку!“

Иванъ Ивановичъ протянулъ руку къ подносу и взялъ чашку.

Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ поддержать свое достоинство!

„Я, Демьянъ Демьяновичъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ, допивая послѣдній глотокъ: „я къ вамъ имѣю необходимое дѣло: я подаю позовъ“. При этомъ Иванъ Ивановичъ поставилъ чашку и вынулъ изъ кармана на-

писанный гербовый листъ бумаги. „Позовъ на врага моего, на заклатаго врага“.

„На кого же это?“

„На Ивана Никифоровича Довгочхуна“.

При этихъ словахъ судья чуть не упалъ со стула. „Что вы говорите!“ произнесъ онъ, всплеснувъ руками: „Иванъ Ивановичъ! вы ли это?“

„Видите сами, что я“.

„Господь съ вами и всѣ святы! Какъ! Вы, Иванъ Ивановичъ, стали непріятелемъ Ивану Никифоровичу! Ваши ли это уста говорятъ? Повторите еще! Да не спрятались ли у васъ кто-нибудь сзади и говорить вмѣсто васъ...“

„Что жъ тутъ невѣроятнаго? Я не могу смотрѣть на него: онъ нанесъ мнѣ смертельную обиду, оскорбилъ честь мою“.

„Пресвятая Троица! Какъ же мнѣ теперь увѣрить матушку? А она, старушка, каждый день, какъ только мы поссоримся съ сестрою, говоритъ: „Вы, дѣтки, живете между собою, какъ собаки. Хоть бы вы взяли примѣръ съ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича: вотъ ужъ друзья, такъ друзья, то-то пріятели! то-то достойные люди!“ Вотъ тебѣ и пріятели! Разскажите, за что же это? какъ?“

„Это дѣло деликатное, Демьянъ Демьяновичъ! на словахъ его нельзя разсказать: прикажите лучше прочитать просьбу. Вотъ, возьмите съ этой стороны, здѣсь приличнѣе“.

„Прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ! сказалъ судья, оборотившись къ секретарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись такимъ образомъ, какъ сморкаются всѣ секретари по повѣтовымъ судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ, началъ читать:

„Отъ дворянина миргородскаго повѣта и помѣщика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошеніе; а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

Прошеніе было самое кляузное. Попытка судьи кончить дѣло миромъ не удалась. Иванъ Ивановичъ успѣлъ, и черезъ нѣсколько времени въ судъ пришелъ Иванъ Никифоровичъ.

Иванъ Никифоровичъ былъ ни живъ, ни мертвъ, потому что завязнулъ въ дверяхъ и не могъ сдѣлать ни шагу впередъ или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ переднюю, чтобы кто-нибудь изъ находившихся тамъ выперъ сзади Ивана Никифоровича въ присутственную залу. Въ передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на всѣ усилія своихъ востлявыхъ рукъ, ничего не могла сдѣлать. Тогда одинъ изъ канцелярскихъ, съ толстыми губами, съ широкими плечами, съ толстымъ носомъ, глазами, глядѣвшими искоса и пьяно, съ разодранными локтями, приблизился къ передней половинѣ Ивана Никифоровича, сложилъ ему обѣ руки на-крестъ, какъ ребенку, и мигнулъ старому инвалиду, который уперся своимъ коѣнкомъ въ брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, онъ былъ вытиснутъ въ переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, при чемъ канцелярскій и его помощникъ, инвалидъ, отъ дружныхъ усилій, дыханіемъ устъ своихъ распространили такой сильный запахъ, что комната присутствія превратилась было на время въ питейный домъ.

„Не зашибли ли васъ, Иванъ Никифоровичъ? Я скажу матушкѣ, она

пришлетъ вамъ настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдетъ“.

Но Иванъ Никифоровичъ повалился на стулъ и, кромѣ продолжительныхъ *охохотъ*, ничего не могъ сказать. Наконецъ, слабымъ, едва слышнымъ отъ усталости, голосомъ проианесъ онъ: „Не угодно ли?“ и, вынувши изъ кармана рожекъ, прибавилъ: „Возьмите, одолжайтесь!“

Его жалоба носила такой же кляушный характеръ, какъ и жалоба Ивана Ивановича. И онъ мирится не былъ согласенъ.

Дѣлать было нечего. Обѣ просьбы были приняты, и дѣло готовилось принять довольно важный интересъ, какъ одно неопредѣленное обстоятельство сообщило ему еще болѣшую занимательность. Когда судья вышелъ изъ присутствія, въ сопровожденіи подсудка и секретаря, а канцелярскіе укладывали въ мѣшокъ нанесенныхъ просителями куръ, яицъ, краюхъ хлѣба, пироговъ, книшекъ и прочаго дразгу, въ это время бурая свинья вѣбжала въ комнату и схватила, къ удивленію присутствовавшихъ, не пирогъ или хлѣбную корку, но прошеніе Ивана Никифоровича, которое лежало на концѣ стола, перевѣсившись листами внизъ. Схвативши бумагу, бурая хавронья убѣжала такъ скоро, что ни одинъ изъ приказныхъ чиновниковъ не могъ догнать ее, несмотря на кидаемыя линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествіе произвело страшную суматоху, потому что даже копія не была еще списана съ прошенія. Судья, т. е. его секретарь, и подсудокъ долго трактовали объ такомъ неслыханномъ обстоятельстве; наконецъ, рѣшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ отношеніе къ городничему, такъ какъ слѣдствіе по этому дѣлу болѣе относилось къ градской полиціи. Отношеніе, за № 389, послано было къ нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объясненіе, о которомъ читатели могутъ узнать изъ слѣдующей главы.

Всѣ попытки друзей и знакомыхъ помирить Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ не привели ни къ чему.

Назадъ тому лѣтъ пять я проѣхалъ черезъ городъ Миргородъ. Я ѣхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то ненатуральная зелень, — твореніе скучныхъ, непрерывныхъ дождей, — покрывала жидкою сѣтью поля и нивы, къ которымъ она такъ пристала, какъ шалости старику, розы — старухѣ. На меня тогда сильное вліяніе производила погода: я скучалъ, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я сталъ подъѣзжать къ Миргороду, то почувствовалъ, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаній! Я двѣнадцать лѣтъ не видалъ Миргорода. Здѣсь жили тогда въ трогательной дружбѣ два единственные человѣка, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитыхъ людей! Судья Демьянъ Демьяновичъ уже тогда былъ покойникомъ; Иванъ Ивановичъ, что съ кривымъ глазомъ, тоже приказалъ долго жить. Я поѣхалъ въ главную улицу: вездѣ стояли шесты съ привязаннымъ вверху пучкомъ соломы: производилась какая-то новая планировка! Нѣсколько избъ было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.

День былъ тогда праздничный; я приказалъ рогоженную кибитку свою остановить передъ церковью и вошелъ такъ тихо, что никто не оборотился. Правда, и некому было: церковь была пуста; народу почти никого: видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свѣчи, при пасмурномъ,

лучше сказать, больномъ днѣ, какъ-то были странно непріятны: темныя притворы были печальны: продолговатыя окна, съ круглыми стеклами, обливались дождевыми слезами. Я отошелъ въ притворъ и обратился къ почтенному старику съ посѣдѣвшими волосами: „Позвольте узнать, живъ ли Иванъ Никифоровичъ?“ Въ это время лампада вспыхнула живѣе передъ иконою, а свѣтъ прямо ударился въ лицо моего сосѣда. Какъ же я удивился, когда, рассматривая, увидѣлъ черты знакомыя! Это былъ самъ Иванъ Никифоровичъ! Но какъ измѣнился!

„Здоровы ли вы, Иванъ Никифоровичъ? Какъ же вы постарѣли!“

„Да, постарѣлъ. Я сегодня изъ Полтавы“, отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.

„Что вы говорите! Вы ѣздили въ Полтаву въ такую дурную погоду?“

„Что жъ дѣлать! Тяжба...“

При этомъ я невольно вздохнулъ.

Иванъ Никифоровичъ замѣтилъ этотъ вздохъ и сказалъ: „Не беспокойтесь: я имѣю вѣрное извѣстіе, что дѣло рѣшится на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою пользу“.

Я пожалъ плечами и пошелъ узнать что-нибудь объ Иванѣ Ивановичѣ.

„Иванъ Ивановичъ здѣсь!“ сказалъ мнѣ кто-то: „онъ на клиросѣ“.

Я увидѣлъ тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивановичъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно бѣлые; но бѣека была все та же. Послѣ первыхъ привѣтствій, Иванъ Ивановичъ, обратившись ко мнѣ съ веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронкообразному лицу, сказалъ: „Увѣдомить ли васъ о пріятной новости?“

„О какой новости?“ спросилъ я.

„Завтра непременно рѣшится мое дѣло, палата сказала навѣрное“.

Я вздохнулъ еще глубже и поскорѣе поспѣшилъ проститься, — потому что я ѣхалъ по весьма важному дѣлу, — и сѣлъ въ кибитку.

Тощія лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливнемъ на жидка, сидѣвшего на козлахъ и накрывшагося рогожею. Сырость меня проняла насквозь. Печальная заставка съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо. — Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!

Шинель.

Въ департаментѣ... но лучше не называть, въ какомъ департаментѣ. Ничего нѣтъ сердитѣе всякаго рода департаментовъ, полковъ, канцелярій и, словомъ, всякаго рода должностныхъ ословій. Теперь уже всякій частный человѣкъ считаетъ въ лицѣ своемъ оскорбленнымъ все общество. Говорятъ, весьма недавно поступила просьба отъ одного капитанъ-исправника, не помню, какого-то города, въ которой онъ излагаетъ ясно, что гибнутъ государственныя постановленія, и что священное имя его произносится рѣшительно всуе; а въ доказательство приложилъ къ просьбѣ преогромнѣйшій томъ какого-то романтическаго сочиненія, гдѣ, чрезъ каждыя десять стра-

нищъ, является капитанъ-исправникъ, мѣстами даже совершенно въ пьяномъ видѣ. Итакъ, во избѣжаніе всякихъ непріятностей, лучше департаментъ, о которомъ идетъ дѣло, мы назовемъ *однимъ департаментомъ*. Итакъ, съ *одномъ департаментѣ* служилъ *одинъ чиновникъ*,—чиновникъ, нельзя сказать, чтобы очень замѣчательный: низенькаго роста, нѣсколько рябоватъ, нѣсколько рыжеватъ, нѣсколько даже на видъ подслѣповатъ, съ небольшою лысиной на лбу, съ морщинами по обѣимъ сторонамъ щекъ и цвѣтомъ лица, что называется, геморроидальнымъ... Что жъ дѣлать! виноватъ петербургскій климатъ. Что касается до чина (ибо у насъ прежде всего нужно объявить чинъ), то онъ былъ то, что называютъ вѣчный титулярный совѣтникъ, надъ которымъ, какъ извѣстно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имѣющіе похвальное обыкновение налегать на тѣхъ, которые не могутъ кусаться. Фамилія чиновника была Башмачкинъ. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла отъ башмака; но когда, въ какое время и какимъ образомъ произошла она отъ башмака,—ничего этого неизвѣстно. И отецъ, и дѣдъ, и даже шуринъ, и всѣ совершенно Башмачкины ходили въ сапогахъ, перемѣняя только раза три въ годъ подметки. Имя его было Акакій Акакіевичъ. Когда и въ какое время онъ поступилъ въ департаментъ и кто опредѣлилъ его, этого никто не могъ припомнить. Сколько ни перемѣнялось директоровъ и всякихъ начальниковъ, его видѣли все на одномъ и томъ же мѣстѣ, въ томъ же положеніи, въ той же самой должности, тѣмъ же чиновникомъ для письма, такъ что потомъ увѣрились, что онъ, видно, такъ и родился на свѣтъ уже совершенно готовымъ, въ вицундирѣ и съ лысиной на головѣ. Въ департаментѣ не оказывалось къ нему никакого уваженія. Сторожа не только не вставали съ мѣстъ, когда онъ проходилъ, но даже не глядѣли на него, какъ будто бы черезъ пріемную пролетѣла простая муха. Начальники поступали съ нимъ какъ-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощникъ столоначальника прямо совалъ ему подъ носъ бумаги, не сказавъ даже: „Перепишите“, или: „Вотъ интересное, хорошенъкое дѣльце“, или что-нибудь пріятное, какъ употребляется въ благовоспитанныхъ службахъ. И онъ бралъ, посмотрѣвъ только на бумагу, не глядя, кто ему подложилъ и имѣлъ ли на то право; онъ бралъ и тутъ же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмѣивались и острелились надъ нимъ, во сколько хватало канцелярскаго остроумія, рассказывали тутъ же предъ нимъ разныя составленныя про него исторіи; про его хозяйку, семидесятилѣтнюю старуху, говорили, что она бьетъ его, спрашивали, когда будетъ ихъ свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снѣгомъ. Но ни одного слова не отвѣчалъ на это Акакій Акакіевичъ, какъ будто бы никого и не было передъ нимъ. Это не имѣло даже вліянія на занятія его: среди всѣхъ этихъ докукъ онъ не дѣлалъ ни одной ошибки въ письмѣ. Только если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, мѣшая заниматься своимъ дѣломъ, онъ произносилъ: „Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?“ И что-то странное заключалось въ словахъ и въ голосѣ, съ какимъ они были произносимы. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человѣкъ, недавно опредѣлившійся, который, по примѣру другихъ, позволялъ было себѣ посмѣяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ будто прозвенный, и съ тѣхъ поръ какъ будто все перемѣнилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ

людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ съ лысинкою на лбу, съ своими проникающими словами: „Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?“ И въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: „я братъ твой“. И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человекъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человекѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже! даже въ томъ человекѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ...

Врядъ ли гдѣ можно было найти человека, который такъ жилъ бы въ своей должности. Мало сказать: онъ служилъ ревностно; нѣтъ, онъ служилъ съ любовью. Тамъ, въ этомъ переписываньи, ему видѣлся какой-то свой разнообразный и пріятный міръ. Наслажденіе выражалось на лицѣ его; нѣкоторыя буквы у него были фавориты, до которыхъ если онъ добирался, то былъ самъ не свой: и подсмѣивался, и подмигивалъ, и помогалъ губами, такъ что въ лицѣ его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмѣрно его рвенію, давали ему награды, онъ, къ изумленію своему, можетъ быть, даже попалъ бы въ статскіе совѣтники; но выслужилъ онъ, какъ выражались остряки, его же товарищи, пряжку въ петлицу да нажилъ геморрой въ поясницу. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы не было къ нему никакого вниманія. Одинъ директоръ, будучи добрый человекъ и желая вознаградить его за долгую службу, приказалъ дать ему что-нибудь поважнѣе, чѣмъ обыкновенное переписыванье: именно изъ готоваго уже дѣла велѣно было ему сдѣлать какое-то отношеніе въ другое присутственное мѣсто; дѣло состояло только въ томъ, чтобы переимѣнить главный титулъ да переимѣнить кое-гдѣ глаголы изъ перваго лица въ третье. Это задало ему такую работу, что онъ вспотѣлъ совершенно, теръ лобъ и наконецъ сказалъ: „Нѣтъ, лучше, дайте, я перепису что-нибудь“. Съ тѣхъ поръ оставили его навсегда переписывать. Въ этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Онъ не думалъ вовсе о своемъ платѣ: вицмундиръ у него былъ—не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвѣта. Воротничокъ на немъ былъ узенькій, низенькій, такъ что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя изъ воротника, казалась необыкновенно длинною, какъ у тѣхъ гипсовыхъ котенковъ, болтающихся головами, которыхъ носятъ на головахъ цѣлыми десятками русскіе иностранцы.

Акакій Акакіевичъ рѣшительно ничѣмъ не интересовался, кромѣ переписыванья бумагъ.

Но Акакій Акакіевичъ если и глядѣлъ на что, то видѣлъ на всемъ свои чистыя, ровнымъ почеркомъ выписанныя строки, и только развѣ, если, неизвѣстно откуда взявшись, лошадиная морда помѣщалась ему на плечо и напускала ноздрами цѣлый вѣтеръ въ щеку, тогда только замѣчалъ онъ, что онъ не на серединѣ строки, а скорѣе на серединѣ улицы. Приходя домой, онъ садился тотъ же часъ за столъ, хлебалъ наскорю свои щи и ѣлъ кусокъ говядины съ лукомъ, вовсе не замѣчая ихъ вкуса, ѣлъ все это съ мухами и со всемъ тѣмъ, что ни посылалъ Богъ на ту пору. Замѣтивши, что желудокъ начиналъ пучиться, вставалъ изъ-за стола, вынималъ баночку съ чернилами и переписывалъ бумаги, принесенныя на домъ. Если же такихъ не случалось, онъ снималъ нарочно, для собственнаго удовольствія, копію для себя, особенно, если бумага была замѣчательна не по красотѣ слога, но по адресу къ какому-нибудь новому или важному лицу.

Написавшись всласть, онъ ложился спать, улыбаясь заранѣе при мысли о завтрашнемъ днѣ: что-то Богъ пошлетъ переписывать завтра? Такъ протекала мирная жизнь человѣка, который, съ четырьмя стами жалованья, умѣлъ быть довольнымъ своимъ жребіемъ, и дотекла бы, можетъ быть, до глубокой старости, если бы не было разныхъ бѣдствій, разсыпанныхъ на жизненной дорогѣ не только титулярнымъ, но даже тайнымъ, дѣйствительнымъ, надворнымъ и всякимъ совѣтникамъ, даже и тѣмъ, которые не даютъ никому совѣтовъ, ни отъ кого не берутъ ихъ самн.

У Акакія Акакіевича была старая поношенная шинель, которая своимъ жалкимъ видомъ вызывала смѣхъ юныхъ его сослуживцевъ. Однажды Акакій Акакіевичъ убѣдился, что она протерлась, и что ему холодно въ ней ходить.

Увидѣвши, въ чемъ дѣло, Акакій Акакіевичъ рѣшилъ, что шинель нужно будетъ снести къ Петровичу, портному, жившему гдѣ-то въ четвертомъ этажѣ по черной лѣстницѣ, который, несмотря на свой кривой глазъ и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьихъ и всякихъ другихъ панталонъ и фраковъ, разумѣется, когда бывалъ въ трезвомъ состояніи и не питалъ въ головѣ какого-нибудь другого предпріятія.

Взбираясь по лѣстницѣ, ведущей къ Петровичу, которая, — надобно отдать справедливость, — была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тѣмъ спиртуознымъ запахомъ, который ѣстъ глаза и, какъ извѣстно, присутствуетъ неотлучно на всѣхъ черныхъ лѣстницахъ петербургскихъ домовъ, — взбираясь по лѣстницѣ, Акакій Акакіевичъ уже подумывалъ о томъ, сколько запроситъ Петровичъ, и мысленно положилъ не давать больше двухъ рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму въ кухню, что нельзя было видѣть даже и самыхъ таракановъ. Акакій Акакіевичъ прошелъ черезъ кухню, незамѣченный даже самою хозяйкою, и вступилъ, наконецъ, въ комнату, гдѣ увидѣлъ Петровича, сидѣвшаго на широкомъ деревянномъ некрашеномъ столѣ и подвернувшаго подъ себя ноги свои, какъ турецкій паша. Ноги, по обычаю портныхъ, сидящихъ за работою, были нагишомъ; и прежде всего бросился въ глаза большой палецъ, очень извѣстный Акакію Акакіевичу, съ какимъ-то изуродованнымъ ногтемъ, толстымъ и крѣпкимъ, какъ у черепахи черепъ. На шеѣ у Петровича висѣлъ мотокъ шелку и нитокъ, а на колѣняхъ была какая-то ветошь. Онъ уже минуты съ три продѣлывалъ нитку въ иглиное ухо, не попадалъ и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: „Не лѣзетъ, варварка! Уѣла ты меня, шельма этакая!“ Акакію Акакіевичу было непріятно, что онъ пришелъ именно въ ту минуту, когда Петровичъ сердился: онъ любилъ что-либо заказывать Петровичу тогда, когда послѣдній былъ уже нѣсколько подъ-куражемъ, или, какъ выражалась жена его: „осадила сивухой, одноглазый чортъ“. Въ такомъ состояніи Петровичъ, обыкновенно, очень охотно уступалъ и соглашался, всякій разъ даже кланялся и благодарилъ. Потомъ, правда, приходила жена, плачась, что мужъ-де былъ пьянъ и потому дешево взялся; но гривенникъ, бывало, одинъ прибавишь — и дѣло въ шляпѣ. Теперь же Петровичъ былъ, казалось, въ трезвомъ состояніи, а потому крутъ, несговорчивъ и охотникъ заламывать чортъ знаетъ какія цѣны. Акакій Акакіевичъ смекнулъ это и хотѣлъ было уже, какъ говорится, на попятный дворъ, но ужъ дѣло было начато. Петровичъ прищурилъ на него очень пристально свой единственный глазъ, и Акакій Акакіевичъ невольно выговорилъ: „Здравствуй, Петровичъ!“ — „Здравствовать желаю, судары!“ сказалъ Петровичъ и покосилъ свой

глазъ на руки Акакія Акакіевича, желая высмотрѣть, какого рода добычу тотъ несъ.

Портной рѣшительно отказался починаить шинель и сказалъ, что надо по-купать новую, и что стоить она будетъ рублей полтора.

Вышедъ на улицу, Акакій Акакіевичъ былъ, какъ во снѣ. „Этакое-то дѣло этакое“, говорилъ онъ самъ себѣ: „я, право, и не думалъ, чтобы оно вышло того...“ а потомъ, послѣ нѣкотораго молчанія, прибавилъ: „такъ вотъ какъ! наконецъ, вотъ чтó вышло! а я, право, совсѣмъ и предполагать не могъ, чтобы оно было этакъ“. Засимъ послѣдовало опять долгое молчаніе, послѣ котораго онъ произнесъ: „Такъ этакъ-то! вотъ какое ужъ, точно, никакъ неожиданное того... этого бы никакъ... этакое-то обстоятельство!“ Сказавши это, онъ, вмѣсто того, чтобы идти домой, пошелъ совершенно въ противную сторону, самъ того не подозревая. Дорогою задѣлъ его всѣмъ нечистымъ своимъ бокомъ трубочистъ и вычернилъ все плечо ему; цѣлая шапка извести высыпалась на него съ верхушки строившагося дома. Онъ ничего этого не замѣтилъ, и потомъ уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натрихивалъ изъ рожка на моволистный кулакъ табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочникъ сказалъ: „Чего лѣзешь въ самое рыло? развѣ нѣтъ тебѣ трухтуара?“ Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здѣсь только онъ началъ собирать мысли, увидѣлъ въ ясномъ и настоящемъ видѣ свое положеніе, сталъ разговаривать съ собою уже не отрывисто, но разсудительно и откровенно, какъ съ благоразумнымъ пріятелемъ, съ которымъ можно поговорить о дѣлѣ самомъ сердечномъ и близкомъ. „Ну, нѣтъ“, сказалъ Акакій Акакіевичъ: „теперь съ Петровичемъ нельзя толковать: онъ теперь того... жена, видно, какъ-нибудь поколотила его. А вотъ я лучше приду къ нему въ воскресный день утромъ: онъ послѣ канунешной субботы будетъ косить глазомъ и заспавшись, такъ ему нужно будетъ опохмеляться, а жена денегъ не дастъ, а въ это время я ему гривенничекъ и того въ руку—онъ и будетъ стоворчивѣе, и шинель тогда и того...“ Такъ разсудилъ самъ съ собою Акакій Акакіевичъ, ободрилъ себя и дождался перваго воскресенья, и, увидѣвъ издали, что жена Петровича куда-то выходила изъ дому, онъ—прямо къ нему. Петровичъ, точно, послѣ субботы сильно косилъ глазомъ, голову держалъ къ полу и былъ совсѣмъ заспавшись; но при всемъ томъ, какъ только узналъ въ чемъ дѣло, точно какъ будто его чортъ толкнулъ. „Нельзя“, сказалъ: „извольте заказать новую“. Акакій Акакіевичъ тутъ-то и всунулъ ему гривенничекъ. „Благодарствую, сударь, подерѣблюсь маленечко за ваше здоровье“, сказалъ Петровичъ: „а ужъ объ шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель ужъ я вамъ сошью на славу, ужъ на этомъ постоимъ“.

Акакій Акакіевичъ еще было насчетъ починки, но Петровичъ не дослышалъ и сказалъ: „Ужъ новую я вамъ сошью безпремѣнно, въ этомъ извольте положиться, старанье приложимъ. Можно будетъ даже такъ, какъ пошла мода, воротникъ будетъ застегиваться на серебряныя лапки подъ аплика“.

Тутъ-то увидѣлъ Акакій Акакіевичъ, что безъ новой шинели ему не обойтись, и поникъ совершенно духомъ. Какъ же въ самомъ дѣлѣ, на чтó, на какія деньги ее сдѣлать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награжденіе къ празднику, но эти деньги давно уже размѣщены и распредѣлены впередъ. Требовалось завести новые панталоны, заплатить са-

пожнику старый долг за приставку новых головок къ старым голенищамъ, да слѣдовало заказать швеѣ три рубахи да штуки двѣ того бѣлья, которое неприлично называть въ печатномъ слогѣ; словомъ, всѣ деньги совершенно должны были разойтись, и если бы даже директоръ былъ такъ милостивъ, что, вмѣсто сорока рублей наградныхъ, опредѣлилъ бы сорокъ пять или пятьдесятъ, то все-таки останется какой-нибудь самый вадоръ, который въ шинельномъ капиталѣ будетъ капля въ морѣ. Хотя, конечно, онъ зналъ, что за Петровичемъ водилась блажь заломить вдругъ, чортъ знаетъ, какую непомѣрную цѣну, такъ что ужъ, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: „Что ты съ ума сходишь, дуракъ такой! Въ другой разъ ни за что возьмешь работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цѣну, какой и самъ не стоить“. Хотя, конечно, онъ зналъ, что Петровичъ и за восемьдесятъ рублей возьмется сдѣлать; однако, все же, откуда взять эти восемьдесятъ рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; можетъ быть, даже и немножко и больше; но гдѣ взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, гдѣ взялась бы первая половина. Акакій Акакіевичъ имѣлъ обыкновеніе со всякаго истрачиваемаго рубля откладывать по грошу въ небольшой ящичекъ, запертый на ключъ, съ прорѣзанною въ крышкѣ дырочкой для бросанія туда денегъ. По истеченіи всякаго полугода онъ ревизовалъ накопившуюся мѣдную сумму и замѣнялъ ее мелкимъ серебромъ. Такъ продолжалъ онъ съ давнихъ поръ, и такимъ образомъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, оказалось накопившейся суммы болѣе, чѣмъ на сорокъ рублей. Итакъ, половина была въ рукахъ; но гдѣ же взять другую половину? гдѣ взять другіе сорокъ рублей? Акакій Акакіевичъ думалъ-думалъ и рѣшилъ, что нужно будетъ уменьшить обыкновенныя издержки, хотя по крайней мѣрѣ въ продолженіе одного года: изгнать употребленіе чаю по вечерамъ, не зажигать по вечерамъ свѣчи, а если что понадобится дѣлать, идти въ комнату къ хозяйкѣ и работать при ея свѣчѣ; ходя по улицамъ, ступать какъ можно легче и осторожнѣе по камнямъ и плитамъ, почти на цыпочкахъ, чтобы такимъ образомъ не истереть скоровременно подметокъ; какъ можно рѣже отдавать прачкѣ мыть бѣлье, а чтобы не занашивалось, то всякій разъ, приходя домой, скидать его и оставаться въ одномъ только демиеотоновомъ халатѣ, очень давнемъ и щадимомъ даже самимъ временемъ. Надобно сказать правду, что сначала ему было нѣсколько трудно привыкать къ такимъ ограниченіямъ, но потомъ какъ-то привыкло и пошло на ладъ, — даже онъ совершенно приучился голодать по вечерамъ; но зато онъ питался духовно,нося въ мысляхъ своихъ вѣчную идею будущей шинели. Съ этихъ поръ какъ будто самое существованіе его сдѣлалось какъ-то полнѣе, какъ будто бы онъ женился, какъ будто какой-то другой человѣкъ присутствовалъ съ нимъ, какъ будто онъ былъ не одинъ, а какая-то пріятная подруга жизни согласилась съ нимъ проходить вмѣстѣ жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, какъ та же шинель, на толстой ватѣ, на крѣпкой подкладкѣ безъ износу. Онъ сдѣлался какъ-то живѣе, даже тверже характеромъ, какъ человѣкъ, который уже опредѣлилъ и поставилъ себѣ цѣль. Съ лица и съ поступковъ его исчезло само собою сомнѣніе, нерѣшительность, словомъ — всѣ колеблющіяся и неопредѣленныя черты. Огонь порою показывался въ глазахъ его, въ головѣ даже мелькали дерзкія и отважныя мысли: не положить ли, точно, кунцу на воротникъ? Размышленія объ этомъ чуть не навели на него разсѣянности. Одинъ разъ, переписывая бу-

магу, онъ чуть было даже не сдѣлалъ ошибки, такъ что почти вслухъ вскрикнулъ: „ухъ!“ и перекрестился. Въ продолженіе каждаго мѣсяца онъ, хотя одинъ разъ, навѣдывался къ Петровичу, чтобы поговорить о шинели: гдѣ лучше купить сукна, и какого цвѣта, и въ какую цѣну, — и, хотя нѣсколько озабоченный, но всегда довольный возвращаясь домой, помышляя, что, наконецъ, придетъ же время, когда все это купится и когда шинель будетъ сдѣлана. Дѣло пошло даже скорѣе, чѣмъ онъ ожидалъ. Противу всякаго чаянія, директоръ назначилъ Акакію Акакіевичу не сорокъ или сорокъ пять, а цѣлыхъ шестьдесятъ рублей. Уже предчувствовалъ ли онъ, что Акакію Акакіевичу нужна шинель, или само собой такъ случилось, но только у него чрезъ это очутилось лишнихъ двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ходъ дѣла. Еще какихъ-нибудь два-три мѣсяца небольшого голоданья — и у Акакія Акакіевича набралось, точно, около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. Въ первый же день онъ отправился вмѣстѣ съ Петровичемъ въ лавки. Купили сукна очень хорошаго — и не мудрено, потому что объ этомъ думали еще за полгода прежде и рѣдкій мѣсяцъ не заходили въ лавки примѣняться къ цѣнамъ; зато самъ Петровичъ сказалъ, что лучше сукна и не бываетъ. На подкладку выбрали коленеору, но такого добротнаго и плотнаго, который, по словамъ Петровича, былъ еще лучше шелку и даже на видъ казистѣй и глянцовитѣй. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога, а вмѣсто ея выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась въ лавкѣ, — кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петровичъ провозился за шинелью всего двѣ недѣли, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петровичъ взялъ двѣнадцать рублей — меньше никакъ нельзя было: все было рѣшительно шито на шелку, двойнымъ мелкимъ швомъ, и по всякому шву Петровичъ потомъ проходилъ собственными зубами, вытисняя ими разныя фигуры. Это было... трудно сказать, въ который именно день, но, вѣроятно въ день самый торжественнѣйшій въ жизни Акакія Акакіевича, когда Петровичъ принесъ, наконецъ, шинель. Онъ принесъ ее поутру, передъ самымъ тѣмъ временемъ, какъ нужно было идти въ департаментъ. Никогда бы въ другое время не пришлось такъ кстати шинель, потому что начинались уже довольно крѣпкіе морозы и, казалось, грозилъ еще болѣе усилиться. Петровичъ явился съ шинелью, какъ слѣдуетъ хорошему портному. Въ лицѣ его показалось выраженіе такое значительное, какого Акакій Акакіевичъ нигде еще не видалъ. Казалось, онъ чувствовалъ въ полной мѣрѣ, что сдѣлалъ не малое дѣло и что вдругъ показалъ въ себѣ бездну, раздѣляющую портныхъ, которые подставляютъ только подкладки и переправляютъ, отъ тѣхъ, которые шьютъ заново. Онъ вынулъ шинель изъ носового платка, въ которомъ ее принесъ (платокъ былъ только-что отъ прачки; онъ уже потомъ свернулъ его и положилъ въ карманъ для употребленія). Вынувши шинель, онъ весьма гордо посмотрѣлъ и, держа въ обѣихъ рукахъ, набросилъ весьма ловко на плечи Акакію Акакіевичу, потомъ потянулъ и осадилъ ее свади рукой книзу; потомъ драпировалъ ею Акакія Акакіевича нѣсколько на-распашку. Акакій Акакіевичъ, какъ человѣкъ въ лѣтахъ, хотѣлъ попробовать въ рукава; Петровичъ помогъ надѣть и въ рукава — вышло, что и въ рукава была хороша. Словомъ, оказалось, что шинель была совершенно и какъ разъ впору. Петровичъ не упустилъ при семъ случаѣ сказать, что онъ такъ только, потому что живетъ безъ вывѣски на небольшой улицѣ и притомъ давно знаетъ Акакія Акакіевича,

потому взять такъ дешево, а на Невскомъ проспектѣ съ него бы взяли за одну только работу семьдесятъ пять рублей. Акакій Акакіевичъ объ этомъ не хотѣлъ разсуждать съ Петровичемъ, да и боялся всѣхъ сильныхъ суммъ, какими Петровичъ любилъ запускать пыль. Онъ расплатился съ нимъ, поблагодарилъ и вышелъ тутъ же въ новой шинели въ департаментъ. Петровичъ вышелъ вслѣдъ за нимъ и, оставаясь на улицѣ, долго еще смотрѣлъ издали на шинель и потомъ пошелъ нарочно въ сторону, чтобы, обогнувши кривымъ переулкомъ, забѣжать вновь на улицу и посмотреть еще разъ на свою шинель съ другой стороны, то-есть, прямо въ лицо. Между тѣмъ Акакій Акакіевичъ шелъ въ самомъ праздничномъ расположеніи всѣхъ чувствъ. Онъ чувствовалъ всякій мигъ минуты, что на плечахъ его новая шинель, и нѣсколько разъ даже усмѣхнулся отъ внутренняго удовольствія. Въ самомъ дѣлѣ, двѣ выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги онъ не примѣтилъ вовсе и очутился вдругъ въ департаментѣ; въ швейцарской онъ скинулъ шинель, осмотрѣлъ ее кругомъ и поручилъ въ особенный надзоръ швейцару. Неизвѣстно, какимъ образомъ въ департаментѣ всѣ вдругъ узнали, что у Акакія Акакіевича новая шинель, и что уже капота болѣе не существуетъ. Всѣ въ ту же минуту выбѣжали въ швейцарскую смотрѣть новую шинель Акакія Акакіевича. Начали поздравлять его, привѣтствовать, такъ что тотъ сначала только улыбался, а потомъ сдѣлалось ему даже стыдно. Когда же всѣ, приступивъ къ нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мѣрѣ, онъ долженъ задать имъ всѣмъ вечеръ, Акакій Акакіевичъ потерялся совершенно, не зналъ, какъ ему быть, что такое отвѣчать и какъ отвѣчать и какъ отговориться. Онъ уже минутъ черезъ нѣсколько, весь покраснѣвшійся, началъ было увѣрять довольно простоудшно, что это совсѣмъ не новая шинель, что это такъ, что это старая шинель. Наконецъ, одинъ изъ чиновниковъ, какой-то даже помощникъ столоначальника, вѣроятно, для того, чтобы показать, что онъ ничуть не гордецъ и знаетъ даже съ низшими себя, сказалъ: „Такъ и быть, я вмѣсто Акакія Акакіевича даю вечеръ и прошу ко мнѣ сегодня на чай: я же, какъ нарочно, сегодня именинникъ“. Чиновники, натурально, тутъ же поздравили помощника столоначальника и приняли съ охотою предложеніе. Акакій Акакіевичъ началъ было отговариваться, но всѣ стали говорить, что неучтиво, что, просто, стыдъ и срамъ, и онъ ужъ никакъ не могъ отказаться. Впрочемъ, ему потомъ сдѣлалось пріятно, когда вспомнилъ, что онъ будетъ имѣть чрезъ то случай пройти даже и ввечеру въ новой шинели. Этотъ весь день былъ для Акакія Акакіевича точно самый большой торжественный праздникъ.

Акакій Акакіевичъ пошелъ на пирушку. На возвратномъ пути воры сорвали съ него новую шинель. Горе старика было безгранично. Онъ ходилъ въ участокъ съ заявленіемъ, и ничего изъ этого не вышло.

Въ департаментѣ, куда онъ пришелъ на слѣдующей день уже въ старой шинели, посоветовали ему пойти съ жалобой къ какому-то „значительному лицу“.

Нечего дѣлать, Акакій Акакіевичъ рѣшился идти къ значительному лицу. Какая именно и въ чемъ состояла должность *значительнаго лица*, это осталось до сихъ поръ неизвѣстнымъ. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сдѣлался значительнымъ лицомъ, а до того времени онъ былъ незначительнымъ лицомъ.

Поэтому это значительное лицо очень важничало и любило нагонять страхъ на маленькихъ, робкихъ людей.

Приемы и обычаи *значительнаго лица* были солидны и величественны, но немногосложны. Главнымъ основаніемъ его системы была строгость. „Строгость, строгость и—строгость“, говаривалъ онъ обыкновенно, и при последнемъ словѣ обыкновенно смотрѣлъ очень значительно въ лицо тому, которому говорилъ, хотя, впрочемъ, этому и не было никакой причины, потому что десятокъ чиновниковъ, составлявшихъ весь правительственный механизмъ канцеляріи, и безъ того былъ въ надлежащемъ страхѣ: завидя его издали, оставлялъ уже дѣло и ожидалъ, стоя въ вытяжку, пока начальникъ пройдетъ черезъ комнату. Обыкновенный разговоръ его съ низшими отзывался строгостью и состоялъ почти изъ трехъ фразъ: „Какъ вы смѣете? знаете ли вы, съ кѣмъ говорите? понимаете ли, кто стоитъ передъ вами?“ Впрочемъ, онъ былъ въ душѣ добрый человѣкъ, хорошъ съ товарищами, услужливъ; но генеральскій чинъ совершенно сбился его съ толку. Получивши генеральскій чинъ, онъ какъ-то спутался, сбился съ пути и совершенно не зналъ, какъ ему быть. Если ему случалось быть съ равными себѣ, онъ былъ еще человѣкъ, какъ слѣдуетъ,—человѣкъ очень порядочный, во многихъ отношеніяхъ даже неглупый человѣкъ; но, какъ только случилось ему быть въ обществѣ, гдѣ были люди хоть однимъ чиномъ пониже его, тамъ онъ былъ, просто, хоть изъ рукъ вонъ: молчалъ, и положеніе его возбуждало жалость тѣмъ болѣе, что онъ самъ даже чувствовалъ, что могъ бы провести время несравненно лучше. Въ глазахъ его иногда видно было сильное желаніе присоединиться къ какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будетъ ли это ужъ очень много съ его стороны, не будетъ ли фамильярно, и не уронитъ ли онъ чрезъ то своего значенія? И въ слѣдствіе такихъ разсужденій онъ оставался вѣчно въ одномъ и томъ же молчаливомъ состояніи, произнося только изрѣдка какіе-то односложные звуки, и приобрялъ такимъ образомъ титулъ скучнѣйшаго человѣка. Къ такому-то *значительному лицу* явился нашъ Акакій Акакіевичъ, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочемъ, кстати для значительнаго лица. Значительное лицо находился въ своемъ кабинетѣ и разговаривалъ очень-очень весело съ однимъ недавно пріѣхавшимъ стариннымъ знакомымъ и товарищемъ дѣтства, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видался. Въ это время доложили ему, что пришелъ какой-то Башмачкинъ. Онъ спросилъ отрывисто: „Кто такой?“ ему отвѣчали: „Какой-то чиновникъ“.—„А! можетъ подождать, теперь не время“, сказалъ значительный человѣкъ. Здѣсь надобно сказать, что значительный человѣкъ совершенно пригнулъ: ему было время; они давно уже съ пріятелемъ переговаривали обо всемъ и уже давно перекладывали разговоръ весьма длинными молчаньями, слегка только потрепывая другъ друга по ляжкѣ и приговаривая: „такъ-то, Иванъ Абрамовичъ!“—„этакъ-то, Степанъ Варламовичъ!“ но при всемъ томъ, однакоже, велѣлъ онъ чиновнику подождать, чтобы показать пріятелю, человѣку, давно не служившему и жившемуся дома въ деревнѣ, сколько времени чиновники дожидаются у него въ передней. Наконецъ, наговорившись, а еще болѣе намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку, въ весьма покойныхъ креслахъ съ откидными спинками, онъ, наконецъ, какъ будто вдругъ вспомнилъ и сказалъ секретарю, остановившемуся у дверей съ бумагами для доклада: „Да, вѣдь тамъ стоитъ, кажется, чиновникъ; скажите ему, что онъ можетъ войти“. Увидѣвши смиреннѣйшій видъ Акакія Акакіевича и его старенькій вицмундиръ, онъ оборотился къ нему вдругъ и сказалъ: „что вамъ угодно?“ голосомъ

отрывистымъ и твердымъ, которому нарочно учился заранѣе у себя въ комнатѣ, въ уединеніи и передъ зеркаломъ, еще за недѣлю до полученія нынѣшняго своего мѣста и генеральскаго чина. Акакій Акакіевичъ уже благовременно почувствовалъ надлежащую робость, нѣсколько смутился и, какъ могъ, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснилъ, съ прибавленіемъ даже чаще, чѣмъ въ другое время, частицъ „того“, что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограбленъ безчеловѣчнымъ образомъ, и что онъ обращается къ нему, чтобъ онъ ходатайствомъ своимъ какъ-нибудь того, списался бы съ г. оберъ-полицеймейстеромъ или другимъ кѣмъ и отыскалъ шинель. Генералу, неизвѣстно почему, показалось такое обхожденіе фамиллярнымъ. „Что вы, милостивый государь“, продолжалъ онъ отрывисто: „не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, какъ водятся дѣла? Объ этомъ вы бы должны были прежде подать просьбу въ канцелярію; она пошла бы къ столоначальнику, къ начальнику отдѣленія, потомъ передана была бы секретарю, а секретарь доставилъ бы ее уже мнѣ...“

„Но, ваше превосходительство“, сказалъ Акакій Акакіевичъ, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствія духа, какая только въ немъ была, и чувствуя въ то же время, что онъ вспотѣлъ ужаснымъ образомъ: „я, ваше превосходительство, осмѣлился утрудить потому, что секретари того... не надежный народъ...“

„Что, что, что?“ сказалъ значительное лицо: „откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей такихъ набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми противъ начальниковъ и высшихъ!“ Значительное лицо, кажется, не замѣтилъ, что Акакію Акакіевичу забралось уже за пятьдесятъ лѣтъ, стало быть если бы онъ и могъ назваться молодымъ человѣкомъ, то развѣ только относительно, то-есть, въ отношеніи къ тому, кому уже было семьдесятъ лѣтъ. „Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоитъ передъ вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это? я васъ спрашиваю“. Тутъ онъ топнулъ ногою, возведя голосъ до такой сильной ноты, что даже и не Акакію Акакіевичу сдѣлалось бы страшно. Акакій Акакіевичъ такъ и обмеръ, пошатнулся, затрясся всѣмъ тѣломъ и никакъ не могъ стоять: если бы не подбѣжали тутъ же сторожа поддержать его, онъ бы шлепнулся на полъ; его вынесли почти безъ движенія. А значительное лицо, довольный тѣмъ, что эффектъ превзошелъ даже ожиданіе, и совершенно упоенный мыслью, что слово его можетъ лишить даже чувствъ человѣка, искоса взглянулъ на пріятеля, чтобы узнать, какъ онъ на это смотритъ, и не безъ удовольствія увидѣлъ, что пріятель его находился въ самомъ неопредѣленномъ состояніи и начиналъ даже съ своей стороны самъ чувствовать страхъ.

Какъ сошелъ съ лѣстницы, какъ вышелъ на улицу,—ничего ужъ этого не помнилъ Акакій Акакіевичъ. Онъ не слышалъ ни рукъ, ни ногъ: въ жизнь свою онъ не былъ еще такъ сильно распеченъ генераломъ, да еще и чужимъ. Онъ шелъ по вьюгѣ, свистѣвшей въ улицахъ, разинувъ ротъ, сбиваясь съ тротуаровъ; вѣтеръ, по петербургскому обычаю, дулъ на него со всѣхъ четырехъ сторонъ, изъ всѣхъ переулковъ. Вмигъ надуло ему въ горло жабу, и добрался онъ домой, не въ силахъ будучи сказать ни одного слова; весь распухъ и слегъ въ постель. Такъ сильно иногда бываетъ надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка.

Акакій Акакіевичъ скончался.

И Петербургъ остался безъ Акакія Акакіевича, какъ будто бы въ немъ его никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никѣмъ не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя вниманіе и естествонаблюдателя, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее въ микроскопъ,—существо, переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла сошедшее въ могилу, но для котораго все же таки, хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь, и на которое такъ же потомъ нестерпимо обрушилось несчастье, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ міра сего!... Нѣсколько дней послѣ его смерти посланъ былъ къ нему на квартиру изъ департамента сторожъ, съ приказаніемъ немедленно явиться: начальникъ-де требуетъ; но сторожъ долженъ былъ возвратиться ни съ чѣмъ, давши отчетъ, что не можетъ больше придти, и на вопросъ: „почему?“ выразился словами: „Да такъ: ужъ онъ умеръ; четвертаго дня похоронили“. Такимъ образомъ узнали въ департаментѣ о смерти Акакія Акакіевича, и на другой день уже на его мѣстѣ сидѣлъ новый чиновникъ, гораздо выше ростомъ и выставлявшій буквы уже не такимъ прямымъ почеркомъ, а гораздо наклоннѣе и косѣе.

Ревизоръ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Комната въ домѣ городничаго.

ЯВЛЕНІЕ I.

Городничій, Попечитель богоугодныхъ заведеній, Смотритель училищъ, Судья, Частный приставъ, Лѣкарь, два квартальныхъ.

Городничій. Я пригласилъ васъ, господа, съ тѣмъ, чтобы сообщить вамъ непріятное извѣстіе: къ намъ ѣдетъ ревизоръ.

Аммось Ѳедоровичъ. Какъ, ревизоръ?

Артемій Филипповичъ. Какъ, ревизоръ?

Городничій. Ревизоръ изъ Петербурга, инкогнито. И еще съ секретнымъ предписаніемъ.

Аммось Ѳедоровичъ. Вотъ-те на!

Артемій Филипповичъ. Вотъ не было заботы, такъ подай!

Лука Лукичъ. Господи Боже! еще и съ секретнымъ предписаніемъ.

Городничій. Я какъ будто предчувствовалъ: сегодня мнѣ всю ночь снились какія-то двѣ необыкновенныя крысы. Право, такихъ я никогда не видывалъ: черныя, неестественной величины! пришли, понюхали—и пошли прочь. Вотъ я вамъ прочту письмо, которое получилъ я отъ Андрея Ивановича Чмыхова, котораго вы, Артемій Филипповичъ, знаете. Вотъ чтó онъ пишетъ: „Любезный другъ, кумъ и благодѣтель“ (бормочетъ вполголоса, пробѣгая скоро глазами)... „и увѣдомить тебя“. А! вотъ: „спѣшу, между прочимъ, увѣдомить тебя, что пріѣхалъ чиновникъ съ предписаніемъ осмотрѣть всю губернію и особенно нашъ уѣздъ (значительно поднимаетъ палецъ вверхъ).“

Я узналъ отъ самыхъ достовѣрныхъ людей, хотя онъ представляетъ себя частнымъ лицомъ. Такъ какъ я знаю, что за тобою, какъ за всякимъ, водятся грѣшки, потому что ты человѣкъ умный и не любишь пропускать того, что плыветъ въ руки...“ (остановясь) ну, здѣсь свои... „то совѣтую тебѣ взять предосторожность: ибо онъ можетъ пріѣхать во всякій часъ, если только уже не пріѣхалъ и не живетъ гдѣ-нибудь инкогнито. Вчерашняго дня я...“ Ну, тутъ ужъ пошли дѣла семейныя: «сестра Анна Кириловна пріѣхала къ намъ съ своимъ мужемъ; Иванъ Кириловичъ очень потолстѣлъ и все играетъ на скрипкѣ...“ и прочее, и прочее. Такъ вотъ какое обстоятельство!

Аммось Ѳедоровичъ. Да, обстоятельство такое необыкновенное, просто необыкновенное. Что-нибудь не даромъ.

Лука Лукичъ. Зачѣмъ же, Антонъ Антоновичъ, отчего это? зачѣмъ къ намъ ревизоръ?

Городничій. Зачѣмъ! Такъ ужъ, видно, судьба! (Вдохнувъ). До сихъ поръ, благодареніе Богу, подбирались къ другимъ городамъ; теперь пришла очередь къ нашему.

Аммось Ѳедоровичъ. Я думаю, Антонъ Антоновичъ, что здѣсь тонкая и больше политическая причина. Это значитъ вотъ что: Россія... да... хочеть вести войну, и министеря-то, вотъ видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны.

Городничій. Экъ куда хватили! Еще умный человѣкъ! Въ уѣздномъ городѣ измѣна! Что онъ, пограничный, что ли? Да отсюда, хотъ три года скачи, ни до какого государства не дойдешь.

Аммось Ѳедоровичъ. Нѣтъ, я вамъ скажу, вы не того... вы не... Начальство имѣетъ тонкіе виды: даромъ, что далеко, а оно себя мотаетъ на усь.

Городничій. Мотаеть, или не мотаеть, а я васъ, господа, предупредила.—Смотрите; по своей части я кое-какія распоряженія сдѣлала, совѣтую и вамъ. Особенно вамъ, Артемій Филипповичъ! Безъ сомнѣнія, проѣзжающій чиновникъ захочетъ прежде всего осмотрѣть подвѣдомственные вамъ богоугодныя заведенія—и потому вы сдѣлайте такъ, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецовъ, какъ обыкновенно они ходятъ по-домашнему.

Артемій Филипповичъ. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надѣть и чистые.

Городничій. Да. И тоже надъ каждой кроватью надписать по-латыни или на другомъ какомъ языкѣ... это ужъ по вашей части, Христіанъ Ивановичъ,—всякую болѣзнь: когда кто заболѣлъ, котораго дня и числа... Не хорошо, что у васъ больные такой крѣпкій табакъ курятъ, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бъ ихъ было меньше: тотчасъ отнесутъ къ дурному смотрѣнію или къ неискусству врача.

Артемій Филипповичъ. О! насчетъ врачеванья мы съ Христіаномъ Ивановичемъ взяли свои мѣры: чѣмъ ближе къ натурѣ, тѣмъ лучше—лѣкарствъ дорогихъ мы не употребляемъ. Человѣкъ простой: если умереть, то и такъ умереть; если выздоровѣть, то и такъ выздоровѣть. Да и Христіану Ивановичу затруднительно было бъ съ ними изъясняться: онъ по-русски ни слова не знаетъ.

Христіанъ Ивановичъ издаеть звукъ, отчасти похожій на буквы „н“, нѣсколько на „е“.

Городничій. Вамъ тоже посовѣтовалъ бы, Аммось Ѳедоровичъ, обра-

тить вниманіе на присутственныя мѣста. У васъ тамъ въ передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашнихъ гусей съ маленькими гусенками, которые такъ и пныряютъ подъ ногами. Оно, конечно, домашнимъ хозяйствомъ заводитья всякому похвально, и почему жъ сторожу и не завести его? только, знаете, въ такомъ мѣстѣ неприлично... Я и прежде хотѣлъ вамъ это замѣтить, но все какъ-то позабывалъ.

А ммось Ѳедоровичъ. А вотъ я ихъ сегодня же велю всѣхъ забрать на кухню. Хотите—приходите обѣдать.

Городничій. Кромѣ того, дурно, что у васъ высушивается въ самомъ присутствіи всякая дрянь, и надъ самымъ шкапомъ съ бумагами охотничій арапникъ. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а тамъ, какъ пройдетъ ревизоръ, пожалуй, опять его можете повѣсить. Также засѣдатель вашъ... онъ, конечно, человѣкъ свѣдущій, но отъ него такой запахъ, какъ будто бы онъ сейчасъ вышелъ изъ винокуреннаго завода,—это тоже не хорошо. Я хотѣлъ давно объ этомъ сказать вамъ, но былъ, не помню, чѣмъ-то развлеченъ. Есть противъ этого средства, если уже это дѣйствительно, какъ онъ говоритъ, у него природный запахъ: можно ему посоветовать ѣсть лукъ, или чеснокъ, или что-нибудь другое. Въ этомъ случаѣ можетъ помочь разными медикаментами Христіанъ Ивановичъ.

Христіанъ Ивановичъ надастъ тотъ же звукъ.

А ммось Ѳедоровичъ. Нѣтъ, этого уже невозможно выгнать: онъ говоритъ, что въ дѣтствѣ мамка его ушибла, и съ тѣхъ поръ отъ него отдаетъ немного водкою.

Городничій. Да я такъ только замѣтилъ вамъ. Насчетъ же внутренняго распорядка и того, чтó называетъ въ письмѣ Андрей Ивановичъ грѣшками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нѣтъ человѣка, который бы за собою не имѣлъ какихъ-нибудь грѣховъ. Это ужъ такъ самимъ Богомъ устроено, и волтеріанцы напрасно противъ этого говорить.

А ммось Ѳедоровичъ. Что жъ вы полагаете, Антонъ Антоновичъ, грѣшками? Грѣшки грѣшкамъ—ровнь. Я говорю всѣмъ открыто, что беру взятки, но чѣмъ взятки? Борзыми щенками. Это совсѣмъ иное дѣло.

Городничій. Ну, щенками или чѣмъ другимъ—все взятки.

А ммось Ѳедоровичъ. Ну, нѣтъ, Антонъ Антоновичъ. А вотъ, напрімѣръ, если у кого-нибудь шуба стоитъ пятьсотъ рублей, да супругѣ шаль...

Городничій. Ну, а чтó изъ того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы въ Бога не вѣруете; вы въ церковь никогда не ходите; а я по крайней мѣрѣ въ вѣрѣ твердъ и каждое воскресенье бываю въ церкви. А вы... О, я знаю васъ: вы если начнете говорить о сотвореніи міра, просто волосы дыбомъ поднимаются.

А ммось Ѳедоровичъ. Да вѣдь самъ собою дошелъ, собственнымъ умомъ.

Городничій. Ну, въ иномъ случаѣ много ума хуже, чѣмъ бы его совсѣмъ не было. Впрочемъ, я такъ только упомянулъ объ уяздномъ судѣ; а по правдѣ сказать, врядъ ли кто когда-нибудь заглянетъ туда: это ужъ такое завидное мѣсто, самъ Богъ ему покровительствуетъ. А вотъ вамъ, Лука Лукичъ, такъ, какъ смотрителю учебныхъ заведеній, нужно позаботиться особенно насчетъ учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались въ разныхъ коллегіяхъ, но имѣютъ оченъ странные поступки, натурально, неразлучные съ ученымъ званіемъ. Одинъ изъ нихъ, напрімѣръ, вотъ этотъ,

что имѣть толстое лицо.. не вспомню его фамиліи, никакъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы, взошедши на каеэдру, не сдѣлать гримасу, вотъ этакъ (дѣлаетъ гримасу), и потомъ начать рукою изъ-подъ галстука утюжить свою бороду. Конечно, если онъ ученику сдѣлаетъ такую рожу, то оно еще ничего; можетъ быть, оно тамъ и нужно такъ, объ этомъ я не могу судить; но вы посудите сами, если онъ сдѣлаетъ это посѣтителю—это можетъ быть очень худо: господинъ ревизоръ или другой кто можетъ принять это на свой счетъ. Изъ этого, чортъ знаетъ, что можетъ произойти.

Лука Лукичъ. Что жъ мнѣ, право, съ нимъ дѣлать? Я ужъ нѣсколько разъ ему говорилъ. Вотъ еще на-дняхъ, когда зашелъ было въ классъ нашъ предводитель, онъ скроилъ такую рожу, какой я никогда еще не видывалъ. Онъ-то ее сдѣлалъ отъ добраго сердца, а мнѣ выговоръ: зачѣмъ вольнодумныя мысли внушаются юношеству.

Городничій. То же я долженъ вамъ замѣтить и объ учителѣ по исторической части. Онъ ученая голова—это видно, и свѣдѣній нахваталъ тѣмъ, но только объясняетъ съ такимъ жаромъ, что не помнитъ себя. Я разъ слушалъ его: ну, покамѣстъ говорить объ ассиріянахъ и вавилонянахъ—еще ничего, а какъ добрался до Александра Македонскаго, то я не могу вамъ сказать, что съ нимъ сдѣлалось. Я думалъ, что пожаръ, ей-Богу! Сбѣжалъ съ каеэдры и, что силы есть, хватъ стуломъ объ полъ! Оно, конечно, Александръ Македонскій герой, но зачѣмъ же стулья ломать? Отъ этого убытокъ казнѣ.

Лука Лукичъ. Да, онъ горячъ! Я ему это нѣсколько разъ уже замѣчалъ... Говорить: «Какъ хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничій. Да, таковъ уже неизъяснимый законъ судьбы: умный человѣкъ — или пьяница, или рожу такую сооронить, что хоть святыхъ выноси.

Лука Лукичъ. Не приведи Богъ служить по ученой части! Всего боишься; всякій мѣшается, всякому хочется показать, что онъ тоже умный человѣкъ.

Городничій. Это бы еще ничего, — инеогнито проклятое! Вдругъ заглянетъ: „А, вы здѣсь, голубчики! А кто“, скажетъ, „здѣсь судья?“ — „Ляпкинь-Тяпкинь“. — „А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?“ — „Земляника“. — „А подать сюда Землянику!“ Вотъ что худо!

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и Почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. Объясните, господа, что, какой чиновникъ ѣдетъ? Городничій. А вы развѣ не слышали?

Почтмейстеръ. Слышалъ отъ Петра Ивановича Вобчинскаго. Онъ только-что былъ у меня въ почтовой конторѣ.

Городничій. Ну, что? какъ вы думаете объ этомъ?

Почтмейстеръ. А что думаю?—война съ турками будетъ.

Аммосъ Федоровичъ. Въ одно слово! я самъ то же думаю.

Городничій. Да, оба пальцемъ въ небо попали!

Почтмейстеръ. Право, война съ турками. Это все французъ гадить.

Городничій. Какая война съ турками! Просто намъ плохо будетъ, а не туркамъ. Это уже извѣстно: у меня письмо.

Почтмейстеръ. А если такъ, то не будетъ войны съ турками.

Городничій. Ну, что же, какъ вы, Иванъ Кузьмичъ?

Почтмейстеръ. Да что я? Какъ вы, Антонъ Антоновичъ?

Городничій. Да что я? Страху-то нѣтъ, а такъ немножко... Купечество да гражданство меня смущаетъ. Говорятъ, что я имъ солоно пришелся; а я, вотъ ей-Богу, если и взялъ съ него, то право, безъ всякой ненависти. Я даже думаю (береть его подъ руку и отводитъ въ сторону), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачѣмъ же въ самомъ дѣлѣ къ намъ ревизоръ? Послушайте, Иванъ Кузьмичъ, нельзя ли вамъ, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибываетъ къ вамъ въ почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этакъ немножко распечатать и прочитатъ: не содержится ли въ немъ какого-нибудь донесенія или, просто, переписки. Если же нѣтъ, то можно опять запечатать: впрочемъ, можно даже и такъ отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстеръ. Знаю, анаю... Этому не учите, это я дѣлаю не то, чтобъ изъ предосторожности, а больше изъ любопытства: смерть люблю узнать, что есть новаго на свѣтѣ. Я вамъ скажу, что это преинтересное чтеніе. Иное письмо съ наслажденіемъ прочтешь—такъ описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше чѣмъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“!

Городничій. Ну, что жъ, скажите, ничего не начитывали о какомъ-нибудь чиновникѣ изъ Петербурга?

Почтмейстеръ. Нѣтъ, о петербургскомъ ничего нѣтъ, а о костромскихъ и саратовскихъ много говорится. Жаль, однакожъ, что вы не читаете писемъ: есть прекрасныя мѣста. Вотъ недавно: одинъ поручикъ пишетъ къ пріятелю, и описалъ балъ въ самомъ игривомъ... очень, очень хорошо: „Жизнь моя, милый другъ, течетъ“, говоритъ, „въ эмпирахъ: барышень много, музыка играетъ, штандартъ скачетъ...“. Съ большимъ, большимъ чувствомъ описалъ. Я нарочно оставилъ его у себя. Хотите, прочту?

Городничій. Ну, теперь не до того. Такъ сдѣлайте милость, Иванъ Кузьмичъ: если на случай попадется жалоба или донесеніе, то, безъ всякихъ разсужденій, задерживайте.

Почтмейстеръ. Съ большимъ удовольствіемъ.

Аммосъ Федоровичъ. Смотрите, достанется вамъ когда-нибудь за это.

Почтмейстеръ. Ахъ, батюшки!

Городничій. Ничего, ничего. Другое дѣло, если бъ вы изъ этого публичное что-нибудь сдѣлали, но вѣдь это дѣло семейственное.

Аммосъ Федоровичъ. Да, нехорошее дѣло заварилося! А я, признаюсь, шелъ было къ вамъ, Антонъ Антоновичъ, съ тѣмъ, чтобы попочивать васъ собачонкою. Родная сестра тому кобелю, котораго вы знаете. Вѣдь вы слышали, что Чептовичъ съ Варховинскимъ затѣяли тяжбу, и теперь мнѣ роскошь: травлю зайцевъ на земляхъ и у того, и у другого.

Городничій. Батюшка, не мила мнѣ теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидитъ въ головѣ. Такъ и ждешь, что вотъ откроется дверь—и шашть...

ЯВЛЕНИЕ III.

Тѣ же, Добчинскій и Бобчинскій (оба входятъ, запыхавшись).

Бобчинскій. Чрезвычайное происшествіе!

Добчинскій. Неожиданное извѣстіе!

Всѣ. Чтѣ, чтѣ такое?

Добчинскій. Непредвидѣнное дѣло: приходимъ въ гостиницу...

Бобчинскій (перебивая). Приходимъ съ Петромъ Ивановичемъ въ гостиницу...

Добчинскій (перебивая). Э, позвольте, Петръ Ивановичъ, я разскажу.

Бобчинскій. Э, нѣтъ, позвольте ужъ я... позвольте, позвольте... вы ужъ и слога такого не имѣете...

Добчинскій. А вы собѣтуетесь и не припомните всего.

Бобчинскій. Припомню, ей-Богу, припомню. Ужъ не мѣшайте, пусть я разскажу, не мѣшайте! Скажите, господа, сдѣлайте милость, чтобъ Петръ Ивановичъ не мѣшалъ.

Городничій. Да говорите, ради Бога, чтѣ такое? У меня сердце не на мѣстѣ. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петръ Ивановичъ, вотъ вамъ стулъ. (Всѣ усаживаются вокругъ обѣихъ Петровъ Ивановичей). Ну, чтѣ, чтѣ такое?

Бобчинскій. Позвольте, позвольте; я все по порядку. Какъ только имѣлъ я удовольствіе выйти отъ васъ послѣ того, какъ вы изволили смутиться полученнымъ письмомъ, да-съ—такъ я тогда же забѣжалъ... ужъ, пожалуйста, не перебивайте, Петръ Ивановичъ! Я уже все, все, все знаю-съ. Такъ я, вотъ изволите видѣть, забѣжалъ къ Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотилъ къ Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашелъ вотъ къ Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встрѣтился съ Петромъ Ивановичемъ...

Добчинскій (перебивая). Возлѣ будки, гдѣ продаются пироги.

Бобчинскій. Возлѣ будки, гдѣ продаются пироги. Да, встрѣтившись съ Петромъ Ивановичемъ, и говорю ему: слышали ли вы о новости-та, которую получилъ Антонъ Антоновичъ изъ достовѣрнаго письма? А Петръ Ивановичъ ужъ услышали объ этомъ отъ ключницы вашей, Авдотьи, которая, не знаю за чѣмъ-то, была послана къ Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинскій (перебивая). За боченкомъ для французской водки.

Бобчинскій (отводя его руки). За боченкомъ для французской водки. Вотъ мы вошли съ Петромъ-то Ивановичемъ къ Почечуеву... Ужъ вы, Петръ Ивановичъ... энтото... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли къ Почечуеву, да на дорогѣ Петръ Ивановичъ говоритъ: „Зайдемъ“, говоритъ, „въ трактиръ. Въ желудкѣ-то у меня... съ утра я ничего не ѣлъ, такъ желудочное трясеніе...“ да-съ, въ желудкѣ-то у Петра, Иванова... „А въ трактиръ“, говоритъ, „привезли теперь свѣжей семги, такъ мы закусимъ“. Только-что мы въ гостиницу, какъ вдругъ молодой человѣкъ...

Добчинскій (перебивая). Недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ...

Бобчинскій. Недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ, ходитъ этакъ по комнатѣ, и въ лицѣ этакое разсужденіе... фizioномія... поступки, и здѣсь (вертитъ рукою около лба) много, много всего. Я будто предчувствовалъ и говорю Петру Ивановичу: „Здѣсь что-нибудь не спроста-сь“. Да. А Петръ-то Ивановичъ ужъ мигнулъ пальцемъ и подозвали трактирщика-сь,—трактирщика Власа: у него жена три недѣли назадъ тому родила, и такой пребойкій мальчикъ, будетъ такъ же, какъ и отецъ, содержать трактиръ. Подозвавши Власа, Петръ Ивановичъ и спроси его потихоньку: „Кто“, говоритъ, „этотъ молодой человѣкъ?“ а Власъ и отвѣчаетъ на это: „Это“, говоритъ... Э, не перебивайте, Петръ Ивановичъ, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете: вы пришепетываете, у васъ, я знаю, одинъ зубъ во рту со свистомъ... „Это“, говоритъ, „молодой человѣкъ, чиновникъ“, да-сь, „ѣдущій изъ Петербурга, а по фамили“, говоритъ, Иванъ Александровичъ Хлестаковъ-сь, а ѣдетъ“, говоритъ, „въ Саратовскую губернію и“, говоритъ, „престранно себя аттестуетъ: другую ужъ недѣлю живетъ, изъ трактира не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и ни копейки не хочетъ платить“. Какъ сказалъ онъ мнѣ это, а меня тутъ вотъ свыше и вразумило. „Э!“ говорю я Петру Ивановичу...

Добчинскій. Нѣтъ, Петръ Ивановичъ, это я сказалъ: „э!“

Бобчинскій. Сначала вы сказали, а потомъ и я сказалъ. „Э!“ сказали мы съ Петромъ Ивановичемъ. „А съ какой стати сидѣтъ ему здѣсь, когда дорога ему лежитъ въ Саратовскую губернію?“—Да-сь. А вотъ онъ-то и есть этотъ чиновникъ.

Городничій. Кто, какой чиновникъ?

Бобчинскій. Чиновникъ-та, о которомъ изволили получить нотіцію,—ревизоръ.

Городничій (въ страхъ). Чтѣ вы, Господь съ вами! это не онъ.

Добчинскій. Онъ! и денегъ не платитъ, и не ѣдетъ. Кому же бѣ быть, какъ не ему? И подоржная прописана въ Саратовъ.

Бобчинскій. Онъ, онъ, ей-Богу, онъ... Такой наблюдательный: все осматрѣлъ. Увидѣлъ, что мы съ Петромъ-то Ивановичемъ ѣли семгу,—больше потому, что Петръ Ивановичъ насчетъ своего желудка... да, такъ онъ и въ тарелки къ намъ заглянулъ. Меня такъ и проняло страхомъ.

Городничій. Господи, помилуй насъ грѣшныхъ! Гдѣ же онъ тамъ живетъ?

Добчинскій. Въ пятомъ номерѣ, подъ лѣстницей.

Бобчинскій. Въ томъ самомъ номерѣ, гдѣ прошлаго года подрались проѣзжіе офицеры.

Городничій. И давно онъ здѣсь?

Добчинскій. А недѣли двѣ ужъ. Пріѣхалъ на Василья Египтянина.

Городничій. Двѣ недѣли! (Въ сторону). Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! Въ эти двѣ недѣли высѣчена унтеръ-офицерская жена! Арестантамъ не выдавали провизіи! На улицахъ кабакъ, нечистота! Поворъ! поношенъе! (Хватается за голову).

Артемій Филипповичъ. Что жъ, Антонъ Антоновичъ?—ѣхать парадомъ въ гостиницу.

Аммосъ Ѳедоровичъ. Нѣтъ, нѣтъ! Впередъ пустить голову, духовенство, купечество; вотъ и въ книгѣ „Дѣянія Іоанна Масона“...

Городничій. Нѣтъ, нѣтъ; позвольте ужъ мнѣ самому. Бывали трудные случаи въ жизни, сходили, еще даже и спасибо получалъ. Авось, Богъ

вынесетъ и теперь. (Обращаясь къ Вобчинскому) Вы говорите, онъ молодой человѣкъ?

Вобчинскій. Молодой, лѣтъ двадцати трехъ или четырехъ съ большимъ.

Городничій. Тѣмъ лучше: молодого скорѣе пронохаетъ. Бѣда, если старый чортъ; а молодой—весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь самъ, или, вотъ хоть съ Петромъ Ивановичемъ, приватно, для прогулки, навѣдаться, не терпятъ ли проѣзжающіе непріятностей. Эй, Свистуновъ!

Свистуновъ. Чтѣ угоднѣ?

Городничій. Ступай сейчасъ за частнымъ приставомъ; или нѣтъ, ты мнѣ нуженъ. Скажи тамъ кому-нибудь, чтобы какъ можно поскорѣ ко мнѣ частнаго пристава, и приходи сюда. (Квартальный бѣжитъ впопыхахъ).

Артемій Филипповичъ. Идемъ, идемъ, Аммосъ Ѳедоровичъ! Въ самомъ дѣлѣ можетъ случиться бѣда.

Аммосъ Ѳедоровичъ. Да вамъ чего бояться? Колпаки чистые надѣлъ на больныхъ, да и концы въ воду.

Артемій Филипповичъ. Какое колпаки! Больнымъ велѣно габерж-супъ давать, а у меня по всѣмъ коридорамъ несетъ такая капуста, что береги только носъ.

Аммосъ Ѳедоровичъ. А я на этотъ счетъ покоенъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто зайдетъ въ уѣздный судъ? А если и заглянетъ въ какую нибудь бумагу, такъ жизни не будетъ радъ. Я вотъ ужъ пятнадцать лѣтъ сижу на судейскомъ стулѣ, а какъ загляну въ докладную записку—а! только рукой махну. Самъ Соломонъ не разрѣшитъ, чтѣ въ ней правда и чтѣ неправда.

(Судья, попечитель богоугодныхъ заведеній, смотритель училищъ и почтмейстеръ уходятъ и въ дверяхъ сталкиваются съ возвращающимся квартальнымъ).

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и частный приставъ.

Городничій. А, Степанъ Ильичъ! Скажите ради Бога: куда вы пропастились? На чтѣ это похоже?

Частный приставъ. Я былъ тутъ сейчасъ за воротами.

Городничій. Ну, слушайте же, Степанъ Ильичъ! Чиновникъ-то изъ Петербурга пріѣхалъ. Какъ вы тамъ распорядились?

Частный приставъ. Да такъ, какъ вы приказывали. Квартальнаго Пуговицына я послалъ съ десятскими подчищать тротуаръ.

Городничій. А Держиморда гдѣ?

Частный приставъ. Держиморда поѣхалъ на пожарной трубѣ.

Городничій. А Прохоровъ пьянъ?

Частный приставъ. Пьянъ.

Городничій. Какъ же вы это такъ допустили?

Частный приставъ. Да Богъ его знаетъ. Вчерашняго дня случилась за городомъ драка—поѣхалъ туда для порядка, а возвратился пьянъ.

Городничій. Послушайте жъ, вы сдѣлайте вотъ что: квартальный Пуговицынъ... онъ высокаго роста, такъ пусть стоитъ, для благоустройства,

на мосту. Да разметать наскоро старый заборъ, что возлѣ сапожника, и поставить соломенную вѣху, чтобы было похоже на планировку. Оно, чѣмъ больше ломки, тѣмъ больше означаетъ дѣятельности градоправителя. Ахъ, Боже мой! я и позабылъ, что возлѣ того забора навалено на сорокъ телѣгъ всякаго сору. Что это за скверный городъ! только гдѣ-нибудь поставь какой-нибудь памятникъ или, просто, заборъ—чортъ ихъ знаетъ откуда, и несутъ всякой дряни! (Вдыхаетъ). Да если пріѣзжій чиновникъ будетъ спрашивать службу: довольны ли?—чтобы говорили: „Всѣмъ довольны, ваше благородіе“; а который будетъ недоволенъ, то ему послѣ дамъ такого неудовольствія... О, охъ, хо, хо, хъ! грѣшенъ, во многомъ грѣшенъ. (Вертъ вмѣсто шляпы футляръ). Дай только, Боже, чтобы сошло съ рукъ поскорѣе, а тамъ-то я поставлю ужъ такую свѣчу, какой еще никто не ставилъ: на каждую бестію купца наложу доставить по три пуда воску. О, Боже мой, Боже мой! Ыдемъ, Петръ Ивановичъ! (Вмѣсто шляпы хочетъ надѣть бумажный футляръ).

Частный приставъ. Антонъ Антоновичъ, это коробка, а не шляпа. Городничій (бросая коробку). Коробка, такъ коробка. Чортъ съ ней! Да если спросятъ: отчего не выстроена церковь при богоугодномъ заведеніи, на которую, назадъ тому пять лѣтъ, была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорѣла. Я объ этомъ и рапортъ представлялъ. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажетъ, что она и не начиналась. Да сказать Держимордѣ, чтобы не слишкомъ давалъ воли кулакамъ своимъ; онъ, для порядка, всѣмъ ставить фонари подъ глазами—и правому, и виноватому. Ыдемъ, љдемъ, Петръ Ивановичъ! (Уходитъ и возвращается). Да не выпускать солдатъ на улицу безо всего: эта дрянная гарнизона надѣнетъ только сверхъ рубашки мундиръ, а внизу ничего нѣтъ. (Всѣ уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Анна Андреевна и Марья Антоновна (вбѣгаютъ на сцену).

Анна Андреевна. Гдѣ жъ, гдѣ жъ они? Ахъ, Боже мой!.. (Отворяя дверь). Мужъ! Антоша! Антонъ! (Говорить скоро). А все ты, а все за тобой. И пошла копать: „Я булабочку, я косынку“. (Подбѣгаетъ къ окну и кричитъ). Антонъ, куда, куда? Что, пріѣхалъ? ревизоръ? съ усами! съ какими усами?

Голосъ городничаго. Послѣ, послѣ, матушка!

Анна Андреевна. Послѣ? Вотъ новости, послѣ! Я не хочу послѣ... Мнѣ только одно слово: что онъ, полковникъ? А? (Съ пренебреженіемъ). Уѣхалъ! Я тебѣ вспомню это! А все эта: „Маменька, маменька, погодите, зашила сзади косынку: я сейчасъ“. Вотъ тебѣ и сейчасъ! Вотъ тебѣ ничего и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, что почтмейстеръ адѣсь, и давай предъ зеркаломъ жеманиться: и съ той стороны, и съ этой стороны подойдетъ. Воображаетъ, что онъ за ней волочится, а онъ, просто, тебѣ дѣлаетъ гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что жъ дѣлать, маменька? Все равно, черезъ два часа мы все узнаемъ.

Анна Андреевна. Черезъ два часа! покорнѣйше благодарю. Вотъ одолжила отвѣтомъ! Какъ ты не догадалась сказать, что черезъ мѣсяцъ еще

лучше можно узнать! (Слышится въ окно). Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, тамъ прїѣхалъ кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машетъ руками? Пусть машетъ, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! Въ головѣ чепуха, все женихи сидятъ. А? Скоро уѣхали! да ты бы побѣжала за дрожками. Ступай, ступай, сейчасъ! Слышишь, побѣги, расспроси, куда поѣхали; да расспроси хорошенько: что за прїѣзжіи, каковы онъ,—слышишь? Подсмотри въ щелку и узнай все, и глаза какіе: черные или нѣтъ, и сію же минуту возвращайся назадъ, слышишь? Скорѣе, скорѣе, скорѣе, скорѣе! (Кричитъ до тѣхъ поръ, пока не опускается занавѣсъ. Такъ занавѣсъ и закрываетъ ихъ обѣихъ, стоящихъ у окна).

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Маленькая комната въ гостиницѣ. Постель, столъ, чемоданъ, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

ЯВЛЕНІЕ I.

О С И П Ъ лежитъ на барской постели.

Чортъ побери, ѣсть такъ хочется и въ животѣ трескотня такая, какъ будто бы цѣлый полкъ затрубилъ въ трубы. Вотъ, не дойдемъ, да и только домой! Что ты прикажешь дѣлать? Второй мѣсяцъ пошелъ, какъ уже изъ Питера! Профинтилъ дорогою денежки, голубчикъ, теперь сидитъ и хвостъ подвернулъ, и не горячится. А стало бы и очень бы стало на прогонъ; нѣтъ, вишь ты, нужно въ каждомъ городѣ показать себя! (Дразнить его). „Эй, Осипъ, ступай, посмотри комнату, лучшую, да обѣдъ спроси самый лучший: я не могу ѣсть дурного обѣда, мнѣ нуженъ лучший обѣдъ“. Добро бы было въ самомъ дѣлѣ что-нибудь путное, а то вѣдь елистратишна простой! Съ проѣзжающими знакомится, а потомъ въ картинки—вотъ тебѣ и доигрался! Эхъ, надоѣла такая жизнь! Праву, на деревнѣ лучше; оно хоть нѣтъ публичности, да и заботности меньше, возьмешь себѣ бабу, да и лежи весь вѣкъ на поматяхъ, да ѣшь пироги. Ну, кто жъ спорить, конечно, если пойдеть на правду, такъ житье въ Питерѣ лучше всего. Деньги бы только были, а жизньъ тонкая и политичная: воятры, собаки тебѣ танцуютъ, и все, что хочешь. Разговариваетъ все на тонкой деликатности: что развѣ только дворянству уступить; пойдешь на Щукинъ—купцы тебѣ вричатъ: „Почтенный!“ На перевозѣ въ лодкѣ съ чиновникомъ сядешь; компанія захотѣлъ—ступай въ лавочку: тамъ тебѣ кавалеръ расскажетъ про лагери и объявитъ, что всякая звѣзда значитъ на небѣ, такъ вотъ, какъ на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредетъ; горничная иной разъ заглянетъ такая... фу, фу, фу! (Усмѣхается и трясетъ головою). Галактерейное, чортъ возьми, обхождение! Невѣжливаго слова никогда не услышишь; всякій тебѣ говоритъ вы. Наскучило идти—берешь извозчика и сидишь себѣ, какъ баринъ, а не хочешь заплатить ему—изволь: у каждаго дома есть сивозинныя ворота, и ты такъ шмыгнешь, что тебя никакой дьяволъ не сыщетъ. Одно плохо: иной разъ славно наѣдешься, а въ другой чуть не лопнешь съ голоду, какъ теперь, напримѣръ. А все онъ виноватъ. Что съ нимъ сдѣлаешь? Батюшка пришлетъ денежки, чѣмъ бы ихъ придержать—и куды!.. пошелъ кутить: ѣдять

на извозчикѣ, каждый день ты доставай въ каятръ билетъ, а тамъ черезъ недѣлю, глядь—и посылаетъ на толкучій продавать новый фракъ. Иной разъ все до послѣдней рубашки спустить, такъ что на немъ всего останется сергучишка да шинелишка... Ей-Богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублевъ полтора ста ему одинъ фракъ станетъ, а на рынокъ спустить рублей за двадцать; а о брюкахъ и говорить нечего — ни по чемъ идти. А отчего?—оттого, что дѣломъ не занимается: вмѣсто того, чтобы въ должность, а онъ идетъ гулять по прешпекту, въ картишки играетъ. Эхъ, если бъ узналъ это старый баринъ! Онъ не посмотрѣлъ бы на то, что ты чиновникъ, а, поднявши рубашонку, такихъ бы засыпалъ тебѣ, что дня бъ четыре ты почесывался. Коли служить, такъ служи. Вотъ теперь трактирщикъ сказалъ, что не дамъ вамъ ѣсть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатимъ? (Со вздохомъ). Ахъ, Боже ты мой, хоть бы какіа-нибудь щи! Кажись, такъ бы теперь весь свѣтъ съѣлъ. Стучится; вѣрно, это онъ идетъ. (Поспѣшно схватывается съ постели).

ЯВЛЕНІЕ II.

Осипъ и Хлестаковъ.

Хлестаковъ. На, прими это. (Отдаетъ фуражку и тросточку). А, опять валялся на кровати?

Осипъ. Да зачѣмъ же бы мнѣ валяться? Не видалъ я развѣ кровати, что ли?

Хлестаковъ. Врешь, валялся; видишь, вся склочена!

Осипъ. Да на что мнѣ она? Не знаю я развѣ, что такое кровать? У меня есть ноги: я и постою. Зачѣмъ мнѣ ваша кровать?

Хлестаковъ (ходить по комнатѣ). Посмотри, тамъ, въ картузѣ, табакъ нѣтъ?

Осипъ. Да гдѣ жъ ему быть табаку? Вы четвертаго дня послѣднее выкурили.

Хлестаковъ (ходить и разнообразно сжимаетъ свои губы: наконецъ говоритъ громкимъ и рѣшительнымъ голосомъ). Послушай... эй, Осипъ!

Осипъ. Чего изволите?

Хлестаковъ (громкимъ, но не столь рѣшительнымъ голосомъ). Ты ступай туда.

Осипъ. Куда?

Хлестаковъ (голосомъ вовсе не рѣшительнымъ и не громкимъ, очень близкимъ къ просьбѣ). Внизъ, въ буфетъ... Тамъ скажи... чтобы мнѣ дали пообѣдать.

Осипъ. Да нѣтъ, я и ходить не хочу.

Хлестаковъ. Какъ ты смѣешь, дуракъ?

Осипъ. Да такъ; все равно, хоть и пойду, ничего изъ этого не будетъ. Хозяинъ сказалъ, что больше не дастъ обѣдать.

Хлестаковъ. Какъ онъ смѣетъ не дать? Вотъ еще вздоръ!

Осипъ. Еще, говоритъ, и къ городничему пойду; третью недѣлю баринъ денегъ не платитъ. Вы-де съ бариномъ, говоритъ, мошенники, и баринъ твой—плутъ. Мы-де, говоритъ, такихъ шаромыжниковъ и подлецовъ видали.

Хлестаковъ. А ты ужъ и радъ, скотина, сейчасъ пересказывать мнѣ все это.

Осипъ. Говорить: „Этакъ всякій прійдетъ, обживется, задолжается, послѣ и выгнать нельзя“. Я, говорить, „шутить не буду, а прямо съ жалобой, чтобъ на съѣзжую, да въ тюрьму“.

Хлестаковъ. Ну, ну, дуракъ, полно! Ступай, ступай, скажи ему. Такое грубое животное!

Осипъ. Да лучше я самого хозяина позову къ вамъ.

Хлестаковъ. На что жъ хозяина? ты поди самъ скажи.

Осипъ. Да, право, сударь...

Хлестаковъ. Ну, ступай, чортъ съ тобой! позови хозяина.

(Осипъ уходитъ).

ЯВЛЕНИЕ III.

Хлестаковъ (одинъ).

Ужасно какъ хочется ѣсть! Такъ немножко прошелся, думалъ, не пройдетъ ли апетитъ — нѣтъ, чортъ возьми, не проходитъ. Да если бъ въ Пензѣ я не покутилъ, стало бы денегъ доѣхать домой. Пѣхотный капитанъ сильно поддѣлъ меня: штосы удивительно, бестія, срѣзываетъ. Всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ — и все обобралъ. А при всемъ томъ страхъ хотѣлось бы еще разъ съ нимъ сразиться. Случай только не привелъ. Какой сверный городишка! Въ овошенныхъ лавкахъ ничего не дають въ долгъ. Это ужъ, просто, подло. (Насвистываетъ сначала изъ „Роберта“, потомъ: Не шей ты мнѣ, матушка“, а наконецъ — ни се, ни то). Никто не хочетъ итти.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Хлестаковъ, Осипъ и трактирный слуга.

Слуга. Хозяинъ приказалъ спросить, что вамъ угодно.

Хлестаковъ. Здравствуй, братецъ! Ну, что ты, здоровъ?

Слуга. Слава Богу.

Хлестаковъ. Ну что, какъ у васъ въ гостиницѣ? хорошо ли все идетъ?

Слуга. Да, слава Богу, все хорошо.

Хлестаковъ. Много проѣзжающихъ?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаковъ. Послушай, любезный, тамъ мнѣ до сихъ поръ обѣда не приносятъ, такъ, пожалуйста, поторопи, чтобъ поскорѣе — видишь, мнѣ сейчасъ послѣ обѣда нужно кое-чѣмъ заняться.

Слуга. Да хозяинъ сказалъ, что не будетъ больше отнускать. Онъ, никакъ, хотѣлъ итти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаковъ. Да что жъ жаловаться? Посуди самъ, любезный, какъ же? вѣдь мнѣ нужно ѣсть. Этакъ могу я совсѣмъ отощать. Мнѣ очень ѣсть хочется: я не шути это говорю.

Слуга. Такъ-съ. Онъ говорилъ: „Я ему обѣдать не дамъ, покамѣстъ онъ не заплатитъ мнѣ за прежнее“. Таковъ ужъ отвѣтъ его былъ.

Хлестаковъ. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что жъ ему такое говорить?

Хлестаковъ. Ты растолкуй ему серьезно, что мнѣ нужно ѣсть. Деньги сами собою. Онъ думаетъ, что, какъ ему, мужику, ничего, если не поѣсть день, такъ и другимъ тоже. Вотъ новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

ЯВЛЕНИЕ V.

Хлестаковъ (одинъ).

Это скверно, однакожъ, если онъ совсѣмъ ничего не дастъ ѣсть. Такъ хочется, какъ еще никогда не хотѣлось. Развѣ изъ платья что-нибудь пустить въ оборотъ? Штаны, что ли, продать? Нѣтъ, ужъ лучше поголодать, да пріѣхать домой въ петербургскомъ костюмѣ. Жаль, что Іохимъ не далъ на прокатъ кареты, а хорошо бы, чортъ побери, пріѣхать домой въ каретѣ, подкатить этакимъ чортомъ къ какому-нибудь сосѣду-помѣщику подъ крыльцо, съ фонарями, а Осина свади одѣтъ въ ливрею. Какъ бы, я воображаю, всѣ переполошились! „Кто такой, что такое?“ А лакей входитъ (вытягиваясь и представляя лакея): „Иванъ Александровичъ Хлестаковъ изъ Петербурга, прикажете принять?“ Они, пентюхи, и не знаютъ, что такое значитъ „прикажете принять“. Къ нимъ если пріѣдетъ какой-нибудь гусь-помѣщикъ, такъ и валить, медвѣдь, прямо въ гостиную. Къ дочечкѣ какой-нибудь хорошенькой подойдешь: „Сударыня, какъ я...“ (потираетъ руки и подшаркиваетъ ножкой). Тьфу! (плюетъ) даже тошнить, такъ ѣсть хочется.

ЯВЛЕНИЕ VI.

Хлестаковъ, Осипъ, потомъ слуга.

Хлестаковъ. А что?

Осипъ. Несутъ обѣдъ.

Хлестаковъ (прихлопываетъ въ ладоши и слегка подпрыгиваетъ на стулѣ). Несутъ! несутъ! несутъ!

Слуга (съ тарелками и салфеткой). Хозяинъ въ послѣдній разъ ужъ даетъ.

Хлестаковъ. Ну, хозяинъ, хозяинъ... Я плевать на твоего хозяина! Что тамъ такое?

Слуга. Супъ и жаркое.

Хлестаковъ. Какъ, только два блюда?

Слуга. Только-съ.

Хлестаковъ. Вотъ вздоръ какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это въ самомъ дѣлѣ такое!... Этого мало.

Слуга. Нѣтъ, хозяинъ говорить, что еще много.

Хлестаковъ. А соуса почему нѣтъ?

Слуга. Соуса нѣтъ.

Хлестаковъ. Отчего же нѣтъ? Я видѣлъ самъ, проходя мимо кухни, такъ много готовилось. И въ столовой сегодня потру двое какихъ-то коротенькихъ человѣка ѣли семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нѣтъ.

Хлестаковъ. Какъ нѣтъ?

Слуга. Да ужъ нѣтъ.

Хлестаковъ. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тѣхъ, которые почище-сь.

Хлестаковъ. Ахъ, ты, дуракъ!

Слуга. Да-съ.

Хлестаковъ. Поросенокъ ты скверный... Какъ же они ѣдятъ, а я не ѣмъ? Отчего же я, чортъ возьми, не могу также? Развѣ они не такіе же проѣзажающіе, какъ и я?

Слуга. Да ужъ извѣстно, что не такіе.

Хлестаковъ. Какіе же?

Слуга. Обнакновенно какіе! они ужъ, извѣстно: они деньги платятъ.

Хлестаковъ. Я съ тобою, дуракъ, не хочу разсуждать. (Наливаетъ супъ и ѣсть). Что это за супъ? Ты, просто, воды налилъ въ чашку: никакого вкуса нѣтъ, только воняетъ. Я не хочу этого супу, дай мнѣ другого.

Слуга. Мы примемъ-сь. Хозяинъ сказалъ: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаковъ (защипавъ рукой кушанье). Ну, ну, ну... оставь, дуракъ! Ты привыкъ тамъ обращаться съ другими: я, братъ, не такого рода! со мной не совѣтую... (Ѣсть). Боже мой, какой супъ! (Продолжаетъ ѣсть). Я думаю, еще ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не ѣдалъ такого супу: какія-то перья плаваютъ вмѣсто масла. (Рѣжетъ курицу). Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Тамъ супу немного осталось. Осипъ, возьми себѣ. (Рѣжетъ жаркое). Чтѣ это за жаркое? это не жаркое.

Слуга. Да чтѣ-жъ такое?

Хлестаковъ. Чортъ его знаетъ, чтѣ такое, только не жаркое. Это топоръ, зажаренный вмѣсто говядины. (Ѣсть). Мошенники, каналы! чѣмъ они кормятъ? И челюсти заболятъ, если съѣшь одинъ такой кусокъ. (Ковыряетъ пальцемъ въ зубакъ). Подлецы! Совершенно, какъ деревянная кора—ничѣмъ вытащить нельзя; и зубы почернѣютъ послѣ этихъ блюдъ. Мошенники! (Вытираетъ ротъ салфеткой). Больше ничего нѣтъ?

Слуга. Нѣтъ.

Хлестаковъ. Каналы! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соусъ или пирожное. Бездѣльники! дерутъ только съ проѣзажающихъ.

Слуга убираетъ и уноситъ тарелки, вмѣстѣ съ Осипомъ.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Хлестаковъ, потомъ Осипъ.

Хлестаковъ. Право, какъ будто и не ѣлъ; только-что разохотѣлся. Если бы мелочь, послать бы на рынокъ и купить хоть сайку.

Осипъ (входитъ). Тамъ зачѣмъ-то городничій пріѣхалъ, освѣдомляется и спрашиваетъ объ васъ.

Хлестаковъ (испугавшись). Вотъ тебѣ нѣ! Эка бестія трактирщикъ, успѣлъ уже пожаловаться! Чтѣ, если, въ самомъ дѣлѣ, онъ потащитъ меня въ тюрьму? Чтѣ жъ? Если благороднымъ образомъ, я пожалуй... нѣтъ, нѣтъ, не хочу! Тамъ въ городѣ таскаются офицеры и народъ, а я, какъ нарочно,

задалъ тону и перемигнулся съ одной купеческой дочкой... Нѣтъ, не хочу... Да что онъ? какъ онъ смѣетъ въ самомъ дѣлѣ? Что я ему, развѣ купецъ или ремесленникъ? (Водрится и выпрямляется). Да я ему прямо скажу: „Какъ вы смѣете? Какъ вы...“ (У дверей вертится ручка; Хлестаковъ блѣднѣетъ и съезживается).

ЯВЛЕНИЕ VII.

Хлестаковъ, Городничій и Добчинскій.

(Городничій, вошедъ, останавливается. Оба въ испугѣ смотрятъ нѣсколько минутъ одинъ на другого, выпучивъ глаза).

Городничій (немного оправившись и протянувъ руки по швамъ). Желая здравствовать!

Хлестаковъ (кланяется). Мое почтеніе!..

Городничій. Извините.

Хлестаковъ. Ничего...

Городничій. Обязанность моя, какъ градоначальника здѣшняго города, заботиться о томъ, чтобы проѣзжающимъ всѣмъ благороднымъ людямъ никакихъ притѣсненій...

Хлестаковъ (сначала немного заикается, но къ концу рѣчи говоритъ громко). Да что жъ дѣлать?.. Я не виноватъ... Я, право, заплачу... Мнѣ пришлютъ изъ деревни. (Вобчинскій выглядываетъ изъ дверей). Онъ больше виноватъ: говядину мнѣ подаетъ такую твердую, какъ бревно; а супъ—онъ, чортъ знаетъ, чего плеснулъ туда, я долженъ былъ выбросить его за окно. Онъ меня моритъ голодомъ по цѣлымъ днямъ... чай такой странный: во-няетъ рыбой, а не чаемъ. За что жъ я... Вотъ новость!

Городничій (робѣя). Извините, я, право, не виноватъ. На рынокъ у меня говядина всегда хорошая. Привозятъ холмогорскіе купцы, люди трезвые и поведенія хорошаго. Я ужъ не знаю, откуда онъ беретъ такую. А если что не такъ, то... Позвольте мнѣ предложить вамъ переѣхать со мною на другую квартиру.

Хлестаковъ. Нѣтъ, не хочу! Я знаю, что значить на другую квартиру: то-есть—въ тюрьму. Да какое вы имѣете право? Да какъ вы смѣете?.. Да вотъ я... Я служу въ Петербургѣ. (Водрится). Я, я, я...

Городничій (въ сторону). О, Господи Ты Боже, какой сердитый! Все узналъ, все рассказали проклятые купцы!

Хлестаковъ (храбрясь). Да вотъ вы хоть тутъ со всей своей командой—не пойдете. Я прямо къ министру! (Стучитъ кулакомъ по столу). Что вы? что вы?

Городничій (вытянувшись и дрожа всѣмъ тѣломъ). Помилюйте, не погубите! Жена, дѣти маленькія... не сдѣлайте несчастнымъ человѣка!

Хлестаковъ. Нѣтъ, я не хочу. Вотъ еще! мнѣ какое дѣло? Оттого, что у васъ жена и дѣти, я долженъ идти въ тюрьму, вотъ прекрасно! (Вобчинскій выглядываетъ въ дверь и въ испугѣ прячется). Нѣтъ, благодарю покорно, не хочу.

Городничій (дрожа). По неопытности, ей-Богу, по неопытности. Недостаточность состоянія... Сами извольте посудить: казеннаго жалованья не хватаетъ даже на чай и сахаръ. Если жъ и были какія взятки, то самая

малость къ столу что нибудь, да на пару платя. Что же до унтеръ-офицерской вдовы, занимающейся купечествомъ, которую я будто бы высѣкъ, то это клевета, ей-Богу, клевета. Это выдумали злодѣи мои; это такой народъ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Городничій даетъ Хлестакову въ долгъ денегъ и приглашаетъ его переѣхать къ нему въ домъ.

ДВѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ III.

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, намъ нужно теперь заняться туалетомъ. Онъ столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего нибудь не осмѣялъ. Тебѣ приличнѣе всего надѣть твое голубое платье съ мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мнѣ совсѣмъ не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходитъ въ голубомъ, и дочь Земляники тоже въ голубомъ. Нѣтъ, лучше я надѣну цвѣтное.

Анна Антоновна. Цвѣтное!.. Право, говоришь—лишь бы только наперекоръ. Оно тебѣ будетъ гораздо лучше, потому что я хочу надѣть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ахъ, маменька, вамъ неидетъ палевое!

Анна Андреевна. Мнѣ палевое неидетъ?

Марья Антоновна. Неидетъ; я, что угодно, дамъ, неидетъ: для этого нужно, чтобы глаза были совсѣмъ темные.

Анна Андреевна. Вотъ хорошо! а у меня глаза развѣ не темные? самые темные. Какой вздоръ говорить! Какъ же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трюфовую даму?

Марья Антоновна. Ахъ, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки. Я никогда не была червонная дама. (Поспѣшно уходитъ вмѣстѣ съ Марьей Антоновной и говоритъ за сценой). Этакое вдругъ вообразится! червонная дама! Богъ знаетъ, чтó такое! (По уходѣ ихъ открываются двери, и Мишка выбрасываетъ изъ нихъ соръ. Изъ другихъ дверей выходитъ Осипъ съ чемоданомъ на головь).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Мишка и Осипъ.

Осипъ. Куда тутъ?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осипъ. Постой, прежде дай отдохнуть. Ахъ, ты горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будетъ генералъ?

Осипъ. Какой генералъ.

Мишка. Да баринъ вашъ.

Осипъ. Баринъ? да какой онъ генералъ?

Мишка. А развѣ не генералъ?

Осипъ. Генералъ, да только съ другой стороны.

Мишка. Что жъ это, больше, или меньше настоящаго генерала?

Осипъ. Больше.

Мишка. Вишь ты какъ! то-то у насъ сумятицу подняли.

Осипъ. Послушай, малый; ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка тамъ что-нибудь поѣсть!

Мишка. Да для васъ, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вотъ, какъ баринъ вашъ сядетъ за столъ, такъ и вамъ того же кушанья отпустить.

Осипъ. Ну, а простого-то что у васъ есть?

Мишка. Щи, каша, да пироги.

Осипъ. Давай ихъ щи, кашу и пироги! Ничего, все будемъ ѣсть. Ну, понесемъ чемоданъ! Что, тамъ другой выходъ есть?

Мишка. Есть. (Оба несутъ чемоданъ въ боковую комнату).

ЯВЛЕНИЕ V.

Квартальные отворяютъ обѣ половинки дверей. Входитъ Хлестаковъ; за нимъ Городничій, далѣе Попечитель богоугодныхъ заведеній, Смотритель училищъ, Добчинскій и Бобчинскій, съ пластыремъ на носу. Городничій указываетъ квартальнымъ на полу бумажку—они бѣгутъ и поднимаютъ ее, толкая другъ друга впопыхахъ.

Хлестаковъ. Хорошія заведенія. Мнѣ нравится, что у васъ показываютъ проѣжающимъ все въ городѣ. Въ другихъ городахъ мнѣ ничего не показывали.

Городничій. Въ другихъ городахъ, осмѣлюсь доложить вамъ, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользѣ; а здѣсь, можно сказать, нѣтъ другого помысленія, кромѣ того, чтобы благочиномъ и бдительностію заслужить вниманіе начальства.

Хлестаковъ. Завтракъ былъ очень хорошъ; я совсѣмъ объѣлся. Что, у васъ каждый день бываетъ такой?

Городничій. Нарочно для такого пріятнаго гостя.

Хлестаковъ. Я люблю поѣсть. Вѣдь на то живешь, чтобы срывать цѣлѣны удовольствія. Какъ называлась эта рыба?

Артемій Филипповичъ (подбѣгая). Лабарданъ-съ.

Хлестаковъ. Очень вкусная. Гдѣ это мы завтракали? въ больницѣ, что ли?

Артемій Филипповичъ. Такъ точно-съ, въ богоугодномъ заведеніи.

Хлестаковъ. Помню, помню, тамъ стояли кровати. А больные выздоравлили? тамъ ихъ, кажется, немного.

Артемій Филипповичъ. Человѣкъ десять осталось, не больше; а прочіе всѣ выздоравлили. Это ужъ такъ устроено, такой порядокъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я принялъ начальство,—можетъ быть, вамъ покажется даже невѣроятнымъ,—всѣ, какъ мухи, выздоравливаютъ. Больной не успѣетъ войти въ лазаретъ, какъ уже здоровъ; и не столько медикаментами, сколько честностію и порядкомъ.

Городничій. Уже на что, осмѣлюсь доложить вамъ, головоломна обязанность градоначальника! Сколько лежитъ всякихъ дѣлъ, относительно одной чистоты, починки, поправки... словомъ, наумнѣйшій человѣкъ пришелъ бы въ затрудненіе, но, благодареніе Богу, все идетъ благополучно. Иной городничій, конечно, радѣлъ бы о своихъ выгодахъ; но вѣрите ли, что, даже когда ложись спать, все думаешь: „Господи Боже Ты мой, какъ бы такъ устроить, чтобы начальство увидѣло мою ревность и было довольнымъ?“. Наградить ли оно, или нѣтъ, конечно, въ его волѣ, по крайней мѣрѣ я буду спокоенъ въ сердцѣ. Когда въ городѣ во всемъ порядокъ, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяницъ мало... то чего жъ мнѣ больше? Ей-ей, и почестей никакихъ не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но предъ добродѣтелемъ все прахъ и суета.

Артемій Филипповичъ (въ сторону). Эка, бездѣльникъ, какъ расписываетъ! Дать же Богъ такой даръ!

Хлестаковъ. Это правда. Я, признаюсь, самъ люблю иногда заумствоваться: иной разъ прозой, а въ другой и стихи выкинутся.

Бобчинскій (Добчинскому). Справедливо, все справедливо, Петръ Ивановичъ! Замѣчанія такія... видно, что наукамъ учился.

Хлестаковъ. Скажите, пожалуйста, нѣтъ ли у васъ какихъ нибудь развлеченій, обществъ, гдѣ бы можно было, напримѣръ, поиграть въ карты?

Городничій (въ сторону). Эге, знаемъ, голубчикъ, въ чей огорождъ камешки бросаютъ! (Вслухъ). Боже сохрани! здѣсь и слуху нѣтъ о такихъ обществахъ. Я картъ и въ руки никогда не бралъ; даже не знаю, какъ играть въ эти карты. Смотрѣть никогда не могъ на нихъ равнодушно, и если случится увидѣть этакъ какого-нибудь бубноваго короля или что-нибудь другое, то такое омерзѣніе нападетъ, что, просто, плюнешь. Разъ какъ-то случилось, забавляя дѣтей, выстроилъ будку изъ картъ, да послѣ того всю ночь спились проклятыя. Богъ съ ними! Какъ можно, чтобы такое драгоценное время убивать на нихъ?

Лука Лукичъ (въ сторону). А у меня, подлецъ, выпонтировалъ вчера сто рублей.

Городничій. Лучше жъ я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаковъ. Ну, нѣтъ, вы напрасно однакоже... Все зависть отъ той стороны, съ которой кто смотреть на вещь. Если, напримѣръ, забастуешь тогда, какъ нужно гнуть отъ трехъ угловъ... ну, тогда, конечно... Нѣтъ, не говорите: иногда очень заманчиво поиграть.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничій. Осмѣлюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаковъ (раскланиваясь). Какъ я счастливъ, сударыня, что имѣю въ своемъ родѣ удовольствіе васъ видѣть.

Анна Андреевна. Намъ еще болѣе пріятно видѣть такую особу.

Хлестаковъ (расуясь). Помилуйте, сударыня, совершенно напротивъ: мнѣ еще пріятнѣе.

Анна Андреевна. Какъ можно-съ! вы это такъ изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаковъ. Возлѣ васъ стоять уже есть счастье; впрочемъ, если вы такъ уже непремѣнно хотите, я сяду. Какъ я счастливъ, что, наконецъ, сижу возлѣ васъ.

Анна Андреевна. Помилуйте я никакъ не смѣю принять на свой счетъ... Я думаю, вамъ послѣ столицы вояжировка показалась очень не-пріятною.

Хлестаковъ. Чрезвычайно непріятная. Привыкли жить, сопрегне-uous, въ свѣтѣ и вдругъ очутиться въ дорогѣ: грязные трактиры, мракъ невѣжества... Если бѣ, признаюсь, не такой случай, который меня... (посма-триваетъ на Анну Андреевну и рисуется передъ ней) такъ вознаградила за все...

Анна Андреевна. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вамъ должно быть не-пріятно.

Хлестаковъ. Впрочемъ, сударыня, въ эту минуту мнѣ очень пріятно.

Анна Андреевна. Какъ можно-съ! Вы дѣлаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаковъ. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслу-живаєте.

Анна Андреевна. Я живу въ деревнѣ...

Хлестаковъ. Да, деревня, впрочемъ, тоже имѣетъ свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнить съ Петербургомъ! Эхъ, Петер-бургъ! чтó за жизнь, право! Вы, можетъ быть, думаете, что я только пере-писываю; нѣтъ, начальникъ отдѣленія со мной на дружеской ногѣ. Этакъ ударить по плечу: „Приходи, братецъ, обѣдать!“ Я только на двѣ минуты захожу въ департаментъ, съ тѣмъ только, чтобы сказать: это вотъ такъ, это вотъ такъ. А тамъ ужъ чиновникъ для письма, этакая крыса, перомъ только—тр, тр... пошелъ писать. Хотѣли было даже меня коллежскимъ ассессоромъ сдѣлать, да думаю, зачѣмъ. И сторожъ летитъ еще на лѣстницѣ за мною со щеткою: „Позвольте, Иванъ Александровичъ, я вамъ“, говоритъ, „сапоги почищу“. (Городничему). Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вѣсть. { Городничій. Чинъ такой, что еще можно постоять.
Артемій Филипповичъ. Мы стоимъ.
Лука Лукичъ. Не извольте беспокоиться!

Хлестаковъ. Безъ чиновъ прошу садиться. (Городничій и всѣ са-дятся). Я не люблю церемоній. Напротивъ, я даже стараюсь проскользнуть незамѣтно. Но никакъ нельзя скрыться, никакъ нельзя! Только выйду куда-нибудь, ужъ и говорятъ: „Вонъ“, говорятъ, „Иванъ Александровичъ идетъ!“ А одинъ разъ меня приняли даже за главнокомандующаго: солдаты выска-чили изъ гауптвахты и сдѣлали ружьемъ. Послѣ уже офицеръ, который мнѣ очень знакомъ, говоритъ мнѣ: „Ну, братецъ, мы тебя совершенно при-няли за главнокомандующаго“.

Анна Андреевна. Скажите, какъ!

Хлестаковъ. Съ хорошенькими актрисами знакомъ. Я вѣдь тоже разные водевилычики... Литераторовъ часто вижу. Съ Пушкинымъ на дру-жеской ногѣ. Бывало, часто говорю ему: „Ну, чтó, братъ Пушкинъ?“—„Да такъ, братъ“. отвѣчаетъ бывало: „такъ какъ-то все...“ Большой оригиналъ.

Анна Андреевна. Такъ вы и пишете? Какъ это должно быть пріятно сочинителю! Вы, вѣрно, и въ журналы помѣщаете?

Хлестаковъ. Да, и въ журналы помѣщаю. Моихъ, впрочемъ, много есть сочиненій: Женитьба Фигаро, Робертъ Дьяволъ, Норма. Ужъ и названій даже не помню. И все случаемо: я не хотѣлъ писать, но театральная дирекція говоритъ: „Пожалуйста, братецъ, напиши что-нибудь“. Думаю себѣ: „Пожалуй, изволь, братецъ“. И тутъ же въ одинъ вечеръ, кажется, все написалъ, всѣхъ изумилъ. У меня легкость необыкновенная въ мысляхъ. Все это, что было подъ именемъ барона Брамбеуса, Фрегатъ Надежды и Московскій Телеграфъ... все это я написалъ.

Анна Андреевна. Скажите, такъ это вы были Брамбеусъ?

Хлестаковъ. Какъ же, я имъ всѣмъ поправляю статьи. Мнѣ Смирдинъ даетъ за это сорокъ тысячъ.

Анна Андреевна. Такъ, вѣрно, и Юрій Милославскій ваше сочиненіе?

Хлестаковъ. Да, это мое сочиненіе.

Анна Андреевна. Я сейчасъ догадалась.

Марья Антоновна. Ахъ, маменька, тамъ написано, что это г. Загоскина сочиненіе.

Анна Андреевна. Ну, вотъ: я и знала, что даже адѣсь будешь спорить.

Хлестаковъ. Ахъ, да это правда: это, точно, Загоскина; а есть другой Юрій Милославскій, такъ тотъ ужъ мой.

Анна Андреевна. Ну, это, вѣрно, я вашъ читала. Какъ хорошо написано!

Хлестаковъ. Я, признаюсь, литературой существую. У меня домъ первый въ Петербургѣ. Такъ ужъ и извѣстенъ: домъ Ивана Александровича. (Обращаясь ко всѣмъ). Сдѣлайте милость, господа, если будете въ Петербургѣ, прошу, прошу ко мнѣ. Я вѣдь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, съ какимъ тамъ вкусомъ и великолѣпіемъ даются балы?

Хлестаковъ. Просто, не говорите. На столѣ, напримѣръ, арбузъ—въ семьсотъ рублей арбузъ. Супъ въ кострюлькѣ прямо на пароходѣ пріѣхалъ изъ Парижа; откроютъ крышку—паръ, которому подобнаго нельзя отыскать въ природѣ. Я всякій день на балахъ. Тамъ у насъ и вистъ свой составилъ: министръ иностранныхъ дѣлъ, французскій посланникъ, англійскій, нѣмецкій посланникъ и я. И ужъ такъ уморился, играя, что просто, ни на что не похоже. Какъ возбужись по лѣстницѣ къ себѣ на четвертый этажъ—скажешь только кухаркѣ: „На, Маврушка, шинель“... Что жъ я вру—я и позабылъ, что живу въ бель-этажѣ. У меня одна лѣстница стѣбитъ... А любопытно взглянуть ко мнѣ въ переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкуются и жужжатъ тамъ, какъ шмели, только и слышно ж... ж... ж... Иной разъ и министръ... (Городничій и прочіе съ робостью встаютъ съ своихъ стульевъ). Мнѣ даже на пакетахъ пишутъ: ваше превосходительство. Одинъ разъ я даже управлялъ департаментомъ. И странно: директоръ уѣхалъ—куда уѣхалъ, неизвѣстно. Ну, натурально пошли толки: какъ, что, кому занять мѣсто? Многие изъ генераловъ находились охотники и брались, но подойдутъ, бывало—нѣтъ, мудрено. Кажется и легко на видъ, а разсмотришь—просто, чортъ водами! Послѣ видать, нечего дѣлать—ко мнѣ. И въ ту же минуту по улицамъ курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себѣ, тридцать пять тысячъ однихъ курьеровъ! Каково положеніе, я спра-

шиваю? „Иванъ Александровичъ, ступайте департаментомъ управлять!“ Я, признаюсь, немного смутился, вышелъ въ халатъ; хотѣлъ отказаться, но думаю, дойдетъ до государя, ну, да и послужной списокъ тоже... „Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю“, говорю: „такъ и быть“, говорю: „я принимаю, только ужъ у меня: ни, ни, ни! ужъ у меня ухо остро! ужъ я...“ И точно: бывало, какъ прохожу черезъ департаментъ—просто землетрясеніе, все дрожитъ и трясется, какъ листъ. (Городничій и прочіе трясутся отъ страха; Хлестаковъ горячится сильнѣе). О! я шутить не люблю; я имъ всѣмъ задалъ острастку. Меня самъ государственный совѣтъ боится. Да что въ самомъ дѣлѣ? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всѣмъ: „Я самъ себя знаю, самъ“. Я вездѣ, вездѣ. Во дворецъ всякій день ѣзжу. Меня завтра же произведутъ сейчасъ въ фельдмарш... (Поскальзывается и чуть-чуть не плепается на полъ, но съ почтеніемъ поддерживается чиновниками).

Городничій (подходя и трясаясь всѣмъ тѣломъ, силится выговорить).
А ва-ва-ва... ва...

Хлестаковъ (быстрымъ отрывистымъ голосомъ). Что такое?

Городничій. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаковъ (такимъ же голосомъ). Не разберу ничего, все вздоръ.

Городничій. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вотъ и комната, и все, что нужно.

Хлестаковъ. Вздоръ—отдохнуть. Извольте я готовъ отдохнуть. Завтракъ у васъ, господа, хорошъ... я доволенъ, я доволенъ. (Съ декламаціей). Лабарданъ! лабарданъ! (Входитъ въ боковую комнату, за нимъ Городничій).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ II.

Хлестаковъ (одинъ, выходитъ съ заспанными глазами).

Я, кажется, всхрапнулъ порядкомъ. Откуда они набрали такихъ тюфяковъ и перинъ? даже вспотѣлъ. Кажется, они вчера мнѣ подсунули чего-то за завтракомъ, въ головѣ до сихъ поръ стучитъ. Здѣсь, какъ я вижу, можно съ пріятностію проводить время. Я люблю радужіе, и мнѣ, признаюсь, больше нравятся, если мнѣ угождаютъ отъ чистаго сердца, а не то, чтобы изъ интереса. А дочка городничача очень не дурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нѣтъ, я не знаю, а мнѣ, право, нравится такая жизнь.

ЯВЛЕНІЕ III.

Хлестаковъ и Судья.

Судья (входя и останавливаясь, про-себя). Боже, Боже! вынеси благополучно; такъ вотъ колѣнки и ломаетъ. (Вслухъ, вытянувшись и придерживая рукою шпагу). Имѣю честь представиться: судья здѣшняго уѣзднаго суда, коллежскій ассессоръ Ляпкинъ-Тяпкинъ.

Хлестаковъ. Прошу садиться. Такъ вы здѣсь судья?

Судья. Съ 816-го былъ избранъ на трехлѣтіе по волѣ дворянства и продолжаю должность до сего времени.

Хлестаковъ. А выгодно, однакоже, быть судьей?

Судья. За три трехлѣтія представленъ къ Владиміру 4-й степени съ одобрения со стороны начальства. (Въ сторону). А деньги въ кулакѣ, да кулакѣ-то весь въ огнѣ.

Хлестаковъ. А мнѣ нравится Владиміръ. Вотъ Анна 8-й степени уже не такъ.

Судья (высовывая понемногу впередъ сжатый кулакъ. Въ сторону). Господи Боже! не знаю, гдѣ сижу. Точно горячіе угли подъ тобою.

Хлестаковъ. Что это у васъ въ рукѣ?

Аммось Ѳедоровичъ (потерявшись и роняя на полъ ассигнаціи). Ничего-съ.

Хлестаковъ. Какъ ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммось Ѳедоровичъ (дрожа всѣмъ тѣломъ). Никакъ нѣтъ-съ! (Въ сторону). О, Боже! вотъ ужъ я и подъ судомъ! и тѣлѣчку подвесили схватить меня!

Хлестаковъ (подымая). Да, это деньги.

Аммось Ѳедоровичъ (въ сторону). Ну, все кончено—пропалъ! пропалъ!

Хлестаковъ. Знаете ли что? дайте ихъ мнѣ взаймы.

Аммось Ѳедоровичъ (поспѣшно). Какъ же-съ, какъ же-съ... съ большимъ удовольствіемъ. (Въ сторону). Ну, смѣлѣе, смѣлѣе! Вывози, Пресвятая Матерь!

Хлестаковъ. Я, знаете, въ дорогѣ издержался: то да сѣ... Впрочемъ, я вамъ изъ деревни сейчасъ ихъ пришлю.

Аммось Ѳедоровичъ. Помилуйте, какъ можно! и безъ того такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвеніемъ и усердіемъ къ началству... постараюсь заслужить... (Приподнимается со стула. Вытянувшись и руки по швамъ). Не смѣю болѣе беспокоить своимъ присутствіемъ. Не будетъ никакого приказанья?

Хлестаковъ. Какого приказанья?

Аммось Ѳедоровичъ. Я разумѣю, не дадите ли какого приказанья здѣшнему уѣздному суду?

Хлестаковъ. Зачѣмъ же? Вѣдь мнѣ никакой нѣтъ теперь въ немъ надобности; нѣтъ, ничего. Покорнѣйше благодарю.

Аммось Ѳедоровичъ (раскланиваясь и уходя въ сторону). Ну, городъ нашъ!

Хлестаковъ (по уходѣ его). Судья—хорошій чеховѣкъ!

ЯВЛЕНІЕ IV.

Хлестаковъ и Почтмейстеръ (входитъ вытянувшись, въ мундирѣ, придерживая шпагу).

Почтмейстеръ. Имѣю честь представиться: почтмейстеръ, надворный совѣтникъ Шпекинъ.

Хлестаковъ. А, милости просимъ! Я очень люблю пріятное общество. Садитесь. Вѣдь вы здѣсь всегда живете?

Почтмейстеръ. Такъ точно-съ.

Хлестаковъ. А мнѣ нравится здѣшній городокъ. Конечно, не такъ многолюдно—ну, что жъ? Вѣдь это не столица. Не правда ли, вѣдь это не столица?

Почтмейстеръ. Совершенная правда.

Хлестаковъ. Вѣдь это только въ столицѣ бонъ-тонъ, и нѣтъ провинціальныхъ гусей. Какъ ваше мнѣніе, не такъ ли?

Почтмейстеръ. Такъ точно-съ. (Въ сторону). А онъ, однакожъ, ничуть не гордъ: обо всемъ разспрашиваетъ.

Хлестаковъ. А вѣдь, однакожъ, признайтесь, вѣдь и въ маленькомъ городкѣ можно прожить счастливо?

Почтмейстеръ. Такъ точно-съ.

Хлестаковъ. По моему мнѣнію, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно—не правда ли?

Почтмейстеръ. Совершенно справедливо.

Хлестаковъ. Я, признаюсь, радъ, что вы одного мнѣнія со мною. Меня, конечно, назовутъ страннымъ, но ужъ у меня такой характеръ. (Глядя въ глаза ему, говорить про себя). А попрошу-ка я у этого почтмейстера займа. (Вслухъ). Какой странный со мной случай: въ дорогѣ совершенно выдержался. Не можете ли вы мнѣ дать триста рублей займа?

Почтмейстеръ. Почему же? почту за величайшее счастье. Вотъ-съ, извольте. Отъ души готовъ служить.

Хлестаковъ. Очень благодаренъ. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себѣ въ дорогѣ, да и къ чему? Не такъ ли?

Почтмейстеръ. Такъ точно-съ. (Встаетъ, вытягивается и придерживаетъ шпагу). Не смѣю долѣе беспокоить своимъ присутствіемъ... Не будетъ ли какого замѣчанія по части почтоваго управленія?

Хлестаковъ. Нѣтъ, ничего.

Почтмейстеръ раскланивается и уходитъ.

Хлестаковъ (раскуривая сигарку). Почтмейстеръ, мнѣ кажется, тоже очень хорошій человѣкъ; по крайней мѣрѣ услужливъ. Я люблю такихъ людей.

ЯВЛЕНИЕ V.

Хлестаковъ и Лука Лукичъ, который почти выталкивается изъ дверей. Сзади его слышенъ голосъ почти вслухъ: „Чего робѣешь?“

Лука Лукичъ (вытягиваясь не безъ трепета и придерживая шпагу). Имѣю честь представиться: смотритель училищъ, титулярный совѣтникъ Хлоповъ.

Хлестаковъ. А, милости просимъ! Садитесь, садитесь! Не хотите ли сигарку? (Подаетъ ему сигару).

Лука Лукичъ (про-себя, въ нерѣшимости). Вотъ тебѣ разъ! Ужъ этого никакъ не предполагалъ. Брать или не брать?

Хлестаковъ. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то что въ Петербургѣ. Тамъ, батюшка, сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка—просто, ручки себѣ потомъ поцѣлуешь, какъ выкуришь. Вотъ охонь, закурите. (Подаетъ ему свѣчу).

Лука Лукичъ пробуетъ закурить и весь дрожить.

Хлестаковъ. Да не съ того конца!

Лука Лукичъ (отъ испуга выронилъ сигару, плюнулъ и, махнувъ рукою, про себя). Чортъ побори все! сгубила проклятая робость!

Хлестаковъ. Вы, какъ я вижу, не охотникъ до сигарокъ. А я, признаюсь, эта моя слабость. Вотъ еще насчетъ женскаго пола, никакъ не могу быть равнодушнѣй. Какъ вы? Какія вамъ больше нравятся—брюнетки или блондинки?

Лука Лукичъ находится въ совершенномъ недоумѣніи, что сказать.

Хлестаковъ. Нѣтъ, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукичъ. Не смѣю знать.

Хлестаковъ. Нѣтъ, нѣтъ, не отговаривайтесь! Мнѣ хочется узнать непременно вашъ вкусъ.

Лука Лукичъ. Осмѣлюсь доложить... (Въ сторону). Ну, и самъ не знаю, что говорю.

Хлестаковъ. А! а! не хотите сказать. Вѣрно, ужъ какая-нибудь брюнетка сдѣлала вамъ маленькую загвоздочку. Признайтесь, сдѣлала?

Лука Лукичъ молчитъ.

Хлестаковъ. А! а! покрасѣли! Видите! видите! Оттого жъ вы не говорите?

Лука Лукичъ. Оробѣлъ, ваше бла... преос... сіят... (Въ сторону). Продалъ, проклятый языкъ, продалъ!

Хлестаковъ. Оробѣли? А въ моихъ глазахъ, точно, есть что-то такое, что внушаетъ робость. По крайней мѣрѣ я знаю, что ни одна женщина не можетъ ихъ выдержать, не такъ ли?

Лука Лукичъ. Такъ точно-съ.

Хлестаковъ. Вотъ со мной престранный случай: въ дорогѣ совсѣмъ издержался. Не можете ли вы мнѣ дать триста рублей въ займы?

Лука Лукичъ (хватаясь за карманы, про-себя). Вотъ-те штука, если нѣтъ! Есть, есть! (Вынимаетъ и подаетъ, дрожа, ассигнаціи).

Хлестаковъ. Покорнѣйше благодарю.

Лука Лукичъ (вытягиваясь и придерживая шпагу). Не смѣю долѣе беспокоить присутствіемъ.

Хлестаковъ. Прощайте.

Лука Лукичъ (летитъ вонъ почти бѣгомъ и говорить въ сторону). Ну, слава Богу! авось не заглянетъ въ классы!

ЯВЛЕНИЕ VI.

Хлестаковъ и Артемій Филипповичъ, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемій Филипповичъ. Имѣю честь представиться: попечитель богоугодныхъ заведеній, надворный совѣтникъ Земляника.

Хлестаковъ. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемій Филипповичъ. Имѣю честь сопровождать васъ и принимать лично во ввѣренныхъ моему смотрѣнію богоугодныхъ заведеніяхъ.

Хлестаковъ. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтракомъ.

Артемій Филипповичъ. Радъ стараться на службу отечеству.

Хлестаковъ. Я,—признаюсь, это моя слабость,—люблю хорошую

кухню.—Скажите, пожалуйста, мнѣ кажется, какъ будто бы вчера вы были немножко ниже ростомъ, не правда ли?

Артеміѣ Филипповичъ. Очень можетъ быть. (Помолчавъ). Могу сказать, что не жалѣю ничего и ревностно исполняю службу. (Придвигается ближе съ своимъ стуломъ и говорить вполголоса). Вотъ здѣшній почтмейстеръ совершенно ничего не дѣлаетъ: всѣ дѣла въ большомъ запущеніи: послыжки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только-что былъ передъ моимъ приходомъ, ѣздитъ только за зайцами, въ присутственныхъ мѣстахъ держать собакъ и поведенія, если признаться предъ вами,—конечно, для пользы отечества, я долженъ это сдѣлать, хотя онъ мнѣ родня и пріятель,—поведенія самаго предосудительнаго. Здѣсь есть одинъ помѣщикъ Добчинскій, котораго вы изволили видѣть, и какъ только этотъ Добчинскій куда нибудь выйдетъ изъ дому, то онъ тамъ ужъ и сидитъ у жены его, я присягнуть готовъ... И нарочно посмотрите на дѣтей: ни одно изъ нихъ не похоже на Добчинскаго, но всѣ, даже дѣвочка маленькая, какъ вылитыи судья.

Хлестаковъ. Скажите пожалуйста! а я никакъ этого не думалъ.

Артеміѣ Филипповичъ. Вотъ и смотритель здѣшняго училища... Я не знаю, какъ могло начальство повѣрить ему такую должность: онъ хуже, чѣмъ якобинецъ, и такіа внушаетъ юношеству неблагонамѣренныя правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумагѣ?

Хлестаковъ. Хорошо, хоть на бумагѣ. Мнѣ очень будетъ пріятно. Я, знаете, этакъ, люблю въ скучное время прочесть что-нибудь забавное... Какъ ваша фамилія? я все позабываю.

Артеміѣ Филипповичъ. Земляника.

Хлестаковъ. А, да? Земляника. И что жъ, скажите пожалуйста, есть у васъ дѣтки?

Артеміѣ Филипповичъ. Какъ же-съ! пятеро; двое уже взрослыхъ.

Хлестаковъ. Скажите, взрослыхъ! А какъ они... какъ они того?..

Артеміѣ Филипповичъ. То-есть, не изволите ли вы спрашивать, какъ ихъ зовутъ?

Хлестаковъ. Да, какъ ихъ зовутъ?

Артеміѣ Филипповичъ. Николай, Иванъ, Елизавета, Марья и Перепегуя.

Хлестаковъ. Это хорошо.

Артеміѣ Филипповичъ. Не смѣя беспокоить своимъ присутствіемъ, отнимать времени, опредѣленнаго на священныя обязанности... (Раскланивается съ тѣмъ, чтобы уйти).

Хлестаковъ (провожая). Нѣтъ, ничего. Это все очень смѣшно, что вы говорили. Пожалуйста и въ другое тоже время... Я это очень люблю. (Возвращается и, отворивши дверь, кричитъ вслѣдъ ему). Эй, вы! какъ васъ? я все позабываю, какъ ваше имя и отчество.

Артеміѣ Филипповичъ. Артеміѣ Филипповичъ.

Хлестаковъ. Сдѣлайте милость, Артеміѣ Филипповичъ, со мной странный случай: въ дорогѣ совершенно издержался. Нѣтъ ли у васъ денегъ взаимны—рублей четырехста?

Артеміѣ Филипповичъ. Есть.

Хлестаковъ. Скажите, какъ кстати. Покорнѣйше васъ благодарю.

ЯВЛЕНИЕ VII.

Хлестаковъ, Бобчинскій и Добчинскій.

Бобчинскій. Имѣю честь представиться: житель здѣшняго города, Петръ, Ивановъ сынъ, Бобчинскій.

Добчинскій. Помѣщикъ Петръ, Ивановъ сынъ, Добчинскій.

Хлестаковъ. А, да я ужъ васъ видѣлъ. Вы, кажется, тогда упали? Чтб, какъ вашъ носъ?

Бобчинскій. Слава Богу! не извольте беспокоиться: присохъ, теперь совсѣмъ присохъ.

Хлестаковъ. Хорошо, что присохъ. Я радъ... (Вдругъ и отрывисто). Денегъ нѣтъ у васъ?

Добчинскій. Денегъ? какъ денегъ?

Хлестаковъ. Взаимы рублей тысячу.

Бобчинскій. Такой суммы, ей-Богу, нѣтъ. А нѣтъ ли у васъ, Петръ Ивановичъ?

Добчинскій. При мнѣ-съ не имѣется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены въ приказъ общественнаго призрѣнія.

Хлестаковъ. Да, ну, если тысячи нѣтъ, такъ рублей сто.

Бобчинскій (шаря въ карманахъ). У васъ, Петръ Ивановичъ, нѣтъ ста рублей? У меня всего сорокъ ассигнаціями.

Добчинскій (смотря въ бумажникъ). Двадцать пять рублей всего.

Бобчинскій. Да вы поищите-то получше, Петръ Ивановичъ! У васъ тамъ, я знаю, въ карманѣ-то съ правой стороны прорѣха, такъ въ прорѣху-то, вѣрно, какъ-нибудь запали.

Добчинскій. Нѣтъ, право и въ прорѣхѣ нѣтъ.

Хлестаковъ. Ну, все равно. Я вѣдь только такъ. Хорошо, пусть будетъ шестьдесятъ пять рублей... это все равно. (Принимаетъ деньги).

Добчинскій. Я осмѣливаюсь попросить васъ относительно одного очень тонкаго обстоятельства.

Хлестаковъ. А чтб это?

Добчинскій. Дѣло очень тонкаго свойства-съ: старшій-то сынъ мой, изволите видѣть; рожденъ мною еще до брака...

Хлестаковъ. Да?

Добчинскій. То-есть, оно такъ только говорится, а онъ рожденъ мною такъ совершенно, какъ бы и въ бракѣ, и все это, какъ слѣдуетъ, я завершилъ потомъ законными-съ узамъ супружества-съ. Такъ я, изволите видѣть, хочу, чтобъ онъ теперь уже былъ совсѣмъ, то-есть, законнымъ моимъ сыномъ-съ и назывался бы такъ, какъ я: Добчинскій-съ.

Хлестаковъ. Хорошо, пусть называется, это можно.

Добчинскій. Я бы и не беспокоилъ васъ, да жалъ насчетъ способностей. Мальчишка-то этакой... большія надежды подаетъ: наизусть стихи разные расскажетъ и, если гдѣ попадется ножикъ, сейчасъ сдѣлаетъ маленькія дрожечки такъ искусно, какъ фокусникъ-съ. Вотъ и Петръ Ивановичъ знаетъ.

Бобчинскій. Да, большія способности имѣетъ.

Хлестаковъ. Хорошо, хорошо! Я объ этомъ постараюсь, я буду

говорить... я надѣюсь... все это будетъ сдѣлано, да, да... (Обращаясь къ Бобчинскому). Не имѣете ли и вы чего-нибудь сказать мнѣ?

Бобчинскій. Какъ же, имѣю очень низжайшую просьбу.

Хлестаковъ. А что, о чемъ?

Бобчинскій. Я прошу васъ покорнѣйше, какъ поѣдете въ Петербургъ, скажите всѣмъ тамъ вельможамъ разнымъ: сенаторамъ и адмираламъ, что вотъ, ваше сіятельство, или превосходительство, живетъ въ такомъ-то городѣ Петръ Ивановичъ Бобчинскій. Такъ и скажите: живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій.

Хлестаковъ. Очень хорошо.

Бобчинскій. Да если такъ и государю придется, то скажите и государю, что вотъ, молю, ваше императорское величество, въ такомъ-то городѣ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій.

Хлестаковъ. Очень хорошо.

Добчинскій. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ присутствіемъ.

Бобчинскій. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ присутствіемъ.

Хлестаковъ. Ничего, ничего! Мнѣ очень пріятно. (Выпроваживаетъ ихъ).

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Хлестаковъ (одинъ).

Здѣсь много чиновниковъ. Мнѣ кажется, однакожъ, они меня принимаютъ за государственнаго человѣка. Вѣрно, я вчера имъ подпустилъ пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всемъ въ Петербургъ къ Тряпичкину: онъ пописываетъ статейки—пусть-ка онъ ихъ общелкаетъ хорошенько. Эй, Осипъ! подай мнѣ бумаги и чернила! (Осипъ выглянулъ изъ дверей, пронанесши: „сейчасъ“). А ужъ Тряпичкину, точно, если кто попадетъ на зубокъ,—берегись: отца родного не пощадить для словца, и деньгу тоже любить. Впрочемъ, чиновники эти добрые люди; это съ ихъ стороны хорошая черта, что они мнѣ дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денегъ. Это отъ судьи триста; это отъ почтмейстера триста, шестьсотъ, семьсотъ, восемьсотъ... Какая замасленная бумажка! Восемьсотъ, девятьсотъ... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка теперь, капитанъ, ну-ка, попадись-ка ты мнѣ теперь! посмотримъ, кто кого!

ЯВЛЕНИЕ IX.

Осипъ убѣждаетъ Хлестакова скорѣе уѣзжать.

ЯВЛЕНИЕ X.

Являются къ Хлестакову съ жалобой на городничаго купецъ, потомъ (явл. XI)—слесарша и унтеръ-офицерша.

ЯВЛЕНИЕ XI.

Хлестаковъ, Слесарша и Унтеръ-офицерша.

Слесарша (кланяясь въ ноги). Милости прошу...

Унтеръ-офицерша. Милости прошу...

Хлестаковъ. Да что вы за женщины?

Унтеръ-офицерша. Унтеръ-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, административная машинка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...

Хлестаковъ. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу, на городничего челомъ бью! Пошли ему Богъ всякое зло! Чтобы ни детямъ его, ни ему, мошеннику, ни дядьямъ, ни теткамъ его ни въ чемъ никакого прибытку не было!

Хлестаковъ. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказалъ забрать любовь въ солдаты, и очередь-то на насъ не припадала, мошенникъ такой! да и по закону нельзя: онъ женатый.

Хлестаковъ. Какъ же онъ могъ это сдѣлать?

Слесарша. Сдѣлалъ, мошенникъ, сдѣлалъ—побей Богъ его и на томъ, и на этомъ свѣтѣ! Чтобы ему, если и тетка есть, то и теткѣ всякая пакость, и отецъ если живъ у него, то чтобы и онъ, каналья, околѣлъ или поперхнулся навѣки, мошенникъ такой! Слѣдовало взять сына портного, онъ же и пьянюшка былъ, да родители богатый подарокъ дали, такъ онъ и присыпнулся къ сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала къ супругѣ похотна три штуки, такъ онъ ко мнѣ. „На что“, говоритъ, „тебѣ мужъ? онъ ужъ тебѣ не годится“. Да я то знаю—годится или не годится; это мое дѣло, мошенникъ такой! „Онъ“, говоритъ, „воръ; хотъ онъ теперь и не укралъ, да все равно“, говоритъ, „онъ украдетъ, его и безъ того на слѣдующій годъ возьмутъ въ рекруты“. Да мнѣ-то каково безъ мужа, мошенникъ такой! Я слабый человекъ, подлецъ ты такой! Чтобы всей роднѣ твоей не довелось видѣть свѣта Божьяго! А если есть теща, то чтобы и тещѣ...

Хлестаковъ. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? (Выпровождаетъ старуху).

Слесарша (уходя). Не позабудь, отецъ нашъ! будь милостивъ!

Унтеръ-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...

Хлестаковъ. Ну, да что, зачѣмъ? говори въ короткихъ словахъ.

Унтеръ-офицерша. Высѣкъ, батюшка!

Хлестаковъ. Какъ?

Унтеръ-офицерша. По ошибкѣ, отецъ мой! Бабы-то наши задралась на рынкѣ, а полиція не подоспѣла, да и схвати меня, да такъ отпортывали: два дни сидѣть не могла.

Хлестаковъ. Такъ что жъ теперь дѣлать?

Унтеръ-офицерша. Да дѣлать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафъ. Мнѣ отъ своего счастья неча отказываться, а деньги бы мнѣ теперь очень пригодились.

Хлестаковъ. Хорошо, хорошо! Ступайте! ступайте! я распоряджусь. (Въ окно высовываются руки съ просьбами). Да кто тамъ еще? (Подходить къ окну). Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! (Отходя). Надоѣли, чортъ возьми! Не впускай, Осипъ!

Осипъ (кричитъ въ окно). Пошли, пошли! Не время, завтра приходите! (Дверь отворяется и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, съ небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею въ перспективѣ показывается нѣсколько другихъ).

Осипъ. Пошелъ, пошелъ! чего лѣзешь? (Упирается первому руками въ брюхо и выпирается вмѣстѣ съ нимъ въ прихожую, захлопнувъ за собою дверь).

ЯВЛЕНИЕ XII.

Хлестаковъ и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ахъ!

Хлестаковъ. Отчего вы такъ испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нѣтъ, я не испугалась.

Хлестаковъ (рисуется). Помилуйте, сударыня, мнѣ очень пріятно, что вы меня приняли за такого человѣка, который... Осмѣлюсь ли спросить васъ: куда вы намѣрены были идти?

Марья Антоновна. Право, я нигуда не шла.

Хлестаковъ. Отчего же, напримѣръ, вы нигуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здѣсь ли маменька...

Хлестаковъ. Нѣтъ, мнѣ хотѣлось бы знать, отчего вы нигуда не шли?

Марья Антоновна. Я вамъ помѣшала. Вы занимались важными дѣлами.

Хлестаковъ (рисуется). А ваши глаза лучше, нежели важныя дѣла... Вы никакъ не можете мнѣ помѣшать, никакимъ образомъ не можете; напротивъ того, вы можете принести удовольствіе.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаковъ. Для такой прекрасной особы, какъ вы. Осмѣлюсь ли быть такъ счастливъ, чтобы предложить вамъ стулъ? Но нѣтъ, вамъ должно не стулъ, а тронъ.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мнѣ такъ нужно было идти. (Сѣла.)

Хлестаковъ. Какой у васъ прекрасный платочекъ!

Марья Антоновна. Вы насмѣшники, лишь бы только посмѣяться надъ провинціальными.

Хлестаковъ. Какъ бы я желалъ, сударыня, быть вашимъ платочкомъ, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсѣмъ не понимаю, о чемъ вы говорите; какой-то платочекъ... Сегодня какая странная погода!

Хлестаковъ. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы все этоооо говорите... Я бы васъ попросила, чтобъ вы мнѣ написали лучше на память какіе-нибудь стишки въ альбомъ. Вы, вѣрно, ихъ знаете много.

Хлестаковъ. Для васъ, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какіе стихи вамъ?

Марья Антоновна. Какіе нибудь, этакіе—хорошіе, новыя.

Хлестаковъ. Да что стихи! я много ихъ знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какіе же вы мнѣ напишете?

Хлестаковъ. Да къ чему же говорить? я и безъ того ихъ знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю ихъ...

Хлестаковъ. Да у меня много ихъ всякихъ. Ну, пожалуй, я вамъ хоть это: „О ты, что въ горести напрасно на Бога ропщешь, человѣкъ!..“ ну и другіе... теперь не могу припомнить; впрочемъ, это все ничего. Я

вамъ лучше вмѣсто этого представлю мою любовь, которая отъ вашего взгляда... (Придвигая стулъ).

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... (Отодвигаетъ стулъ).

Хлестаковъ. Отчего жъ вы отодвигаете свой стулъ? Намъ лучше будетъ сидѣть близко другъ къ другу.

Марья Антоновна (отодвигаясь). Для чего же близко? все равно и далеко.

Хлестаковъ (придвигаясь). Отчего жъ далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна (отодвигается). Да къ чему жъ это?

Хлестаковъ (придвигаясь). Да вѣдь это вамъ кажется только, что близко; а вы вообразите себѣ, что далеко. Какъ бы я былъ счастливъ, сударыня, если бъ могъ прижать васъ въ свои объятія.

Марья Антоновна (смотреть въ окно). Что это, тамъ какъ будто бы полетѣло? Сорока или какая другая птица?

Хлестаковъ (цѣлуетъ ее въ плечо и смотреть въ окно). Это сорока.

Марья Антоновна (встаетъ въ негодованіи). Нѣтъ, это ужъ слишкомъ... Наглость такая!..

Хлестаковъ (удерживая ее). Простите, сударыня: я это сдѣлалъ отъ любви, точно, отъ любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинціалку... (Сжимается уйти).

Хлестаковъ (продолжая удерживать ее). Изъ любви, право, изъ любви. Я такъ только, пошутилъ: Марья Антоновна, не сердитесь! Я готовъ на колѣнкахъ у васъ просить прощенія. (Падаетъ на колѣни). Простите же, простите! Вы видите, я на колѣняхъ.

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Тѣ же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна (увидя Хлестакова на колѣняхъ). Ахъ, какой пассаж!

Хлестаковъ (вставая). А, чортъ возьми!

Анна Андреевна (дочери). Это что значитъ, сударыня? Это что за поступки такіе?

Марья Антоновна. Я, маменька...

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь, прочь, прочь! И не смѣй показываться на глаза. (Марья Антоновна уходитъ въ слезахъ). Извините, я, признаюсь, приведена въ такое изумленіе...

Хлестаковъ (въ сторону). А она тоже очень аппетитна, очень недурна. (Врывается на колѣни). Сударыня, вы видите, я стораю отъ любви.

Анна Андреевна. Какъ, вы на колѣняхъ? Ахъ, встаньте, встаньте! здѣсь полъ совсѣмъ нечистъ.

Хлестаковъ. Нѣтъ, на колѣняхъ, непремѣнно на колѣняхъ, я хочу знать, что такое мнѣ суждено, жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значенія словъ. Если не ошибаюсь, вы дѣлаете декларацію насчетъ моей дочери.

Хлестаковъ. Нѣтъ, я влюбленъ въ васъ. Жизнь моя на волоскѣ. Если вы не увѣнчаете постоянную любовь мою, то я недостойнъ земного существованія. Съ пламенемъ въ груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте замѣтить: я въ нѣкоторомъ родѣ... я замужемъ.

Хлестаковъ. Это ничего! Для любви нѣтъ различія; и Карамзинъ сказалъ: „Законы осуждаютъ“. Ми удалимся подъ сѣнь струй... Руки вашей, руки прошу.

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Тѣ же и Марья Антоновна (вдругъ вбѣгаетъ).

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказали, чтобы вы... (Увидя Хлестакова на колѣняхъ, вскрикиваетъ): Ахъ, какой пассажъ!

Анна Андреевна. Ну, что ты? къ чему? зачѣмъ? Чтѣ за вѣтреность такая! Вдругъ вбѣжала, какъ уторѣлая кошка. Ну, чтѣ ты нашла такого удивительнаго? Ну, чтѣ тебѣ вздумалось? Право, какъ дитя какое нибудь трехлѣтнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лѣтъ. Я не знаю, когда ты будешь благо-разумнѣе, когда ты будешь вести себя, какъ прилично благовоспитанной дѣвицы; когда ты будешь знать, что такое хорошія правила и солидность въ поступкахъ.

Марья Антоновна (сквозь слезы). Я, право, маменька, не знала...

Анна Андреевна. У тебя вѣчно какой-то сквозной вѣтеръ разгуливаетъ въ головѣ; ты берешь примѣръ съ дочерей Ляпкина-Тяпкина. Чтѣ тебѣ глядѣть на нихъ. Тебѣ есть примѣры другіе—передъ тобою мать твоя. Вотъ какимъ примѣрамъ ты должна слѣдовать.

Хлестаковъ (схватывая за руку дочь). Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучію, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна (съ изумленіемъ). Такъ вы въ нее?...

Хлестаковъ. Рѣшите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну, вотъ видишь, дура, ну, вотъ видишь: изъ-за тебя, этакой дрянн, гость изволилъ стоять на колѣняхъ; а ты вдругъ вбѣжала, какъ сумасшедшая. Ну, вотъ, право, стѣбитъ, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастья.

Марья Антоновна. Не буду, маменька; право, впередъ не буду.

Хлестаковъ проситъ у городничаго руки его дочери и затѣмъ уѣзжаетъ изъ города, говоря, что скоро вернется.

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Та же комната.

ЯВЛЕНИЕ I.

Городничій, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничій. Чтѣ, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь объ этомъ? Экой богатый призъ, канальство! Ну, признайся откровенно: тебѣ

и во снѣ не видѣлось — просто изъ какой-нибудь городничихи и вдругъ... фу, ты, канальство!.. съ какимъ дьяволомъ породилась.

Анна Андреевна. Совсѣмъ нѣтъ; я давно это знала. Это тебѣ въ диковинку, потому что ты простой человѣкъ, никогда не видѣлъ порядочныхъ людей.

Городничій. Я самъ, матушка, порядочный человѣкъ. Однакожъ, право, какъ подумаешь, Анна Андреевна, какія мы съ тобою теперь птицы сдѣлались! а, Анна Андреевна? Высокаго полета, чортъ поberi! Пстой же, теперь же я задамъ перцу всѣмъ этимъ охотникамъ подавать просьбы и доносы! Эй, кто тамъ (Входить квартальный). А, это ты, Иванъ Карповичъ! Призови-ка сюда, братъ, купцовъ. Вотъ я ихъ, каналий! Такъ жаловаться на меня! Вишь ты, проклятый иудейскій народъ! Пстойте жъ, голубчики. Прежде я васъ кормилъ до усовъ только, а теперь накормлю до бороды! Запиши всѣхъ, кто только ходилъ бить челомъ на меня, и вотъ этихъ больше всего писаекъ, писаекъ, которые закручивали имъ просьбы. Да объяви всѣмъ, чтобъ знали: что вотъ, дескать, какую честь Богъ послалъ городничему, что выдаетъ дочь свою — не то, чтобы за какого-нибудь простого человѣка, а за такого, что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ все сдѣлать, все, все, все! Всѣмъ объяви, чтобы всѣ знали. Кричи во весь народъ, валяй въ колокола, чортъ возьми! Ужъ когда торжество, такъ торжество. (Квартальный уходитъ). Такъ вотъ какъ, Анна Андреевна, а? Какъ же мы теперь, гдѣ будемъ жить? здѣсь или въ Питерѣ?

Анна Андреевна. Натурально, въ Петербургѣ. Какъ можно здѣсь оставаться!

Городничій. Ну, въ Питерѣ, такъ въ Питерѣ; а оно хорошо бы и здѣсь. Чтѣ, вѣдь, я думаю, уже городничество тогда къ чорту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально, чтѣ за городничество.

Городничій. Вѣдь оно, какъ ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чинъ зашибить, потому что онъ за панибрата со всѣми министрами и во дворецъ ѣздитъ, такъ поэтому можетъ такое производство сдѣлать, что со временемъ и въ генералы влѣзешь. Какъ ты думаешь, Анна Андреевна: можно влѣзть въ генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничій. А, чортъ возьми, славно быть генераломъ! Кавалерію порѣсятъ тебѣ черезъ плечо. А какую кавалерію лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?

Анна Андреевна. Ужъ, конечно, голубую лучше.

Городничій. Эй? Вишь чего захотѣла! хорошо и красную. Вѣдь почему хочется быть генераломъ? — потому что, случится; поѣдешь куда-нибудь — фельдгегера и адъютанты поскачутъ вездѣ впередъ: „лошадей!“ И тамъ на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усь не дуешь. Обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ — стой городничій! Хе, хе, хе! (Заливается и помираетъ со смѣху). Вотъ чтѣ, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебѣ все такое грубое нравится. Ты долженъ помнить, что жизнь нужно совсѣмъ перемѣнить, что твои знакомые будутъ не то, чтѣ какой-нибудь судья-собачникъ, съ которымъ ты ѣздишь травить зайцевъ, или Земляника; напротивъ, знакомые твои будутъ съ самымъ тонкимъ обращеніемъ; графы и всѣ свѣтскіе... Только я, право, боюсь за

тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого въ хорошемъ обществѣ никогда не услышишь.

Городничій. Чтѣ жъ? вѣдь слово не вредитъ.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты былъ городничимъ; а тамъ вѣдь жизнь совершенно другая.

Городничій. Да; тамъ, говорятъ, есть двѣ рыбки: ряпушка и жорюшка, такія, что только слюнка потечетъ, какъ начнешь ѣсть.

Анна Андреевна. Ему все бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтобъ нашъ домъ былъ первый въ столицѣ, и чтобъ у меня въ комнатѣ такое было амбре, чтобъ нельзя было войти, и нужно бы только этакъ зажмурить глаза. (Зажмуриваетъ глаза и нюхаетъ). Ахъ, какъ хорошо!

ЯВЛЕНИЕ II.

Тѣ же и купцы.

Городничій. А! здорово, соколики!

Купцы (кланяясь). Здравія желаемъ, батюшка!

Городничій. Что, голубчики, какъ поживаете? какъ товаръ идетъ вашъ? Чтѣ, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестин, надували морскіе! жаловаться? Чтѣ, много взяли? Вотъ, думаютъ, такъ въ тюрьму его и засадятъ!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна вѣдьма вамъ въ зубы, что...

Анна Андреевна. Ахъ, Боже мой! Какія ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничій (съ неудовольствіемъ). А, не до словъ теперь! Знаете ли, что тотъ самый чиновникъ, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Чтѣ? а? что теперь скажете? Теперь я васъ!.. Обманываете народъ... Сдѣлаешь подрядъ съ казною—на сто тысячъ надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потомъ пожертвуешь двадцать аршинъ, да и давай тебѣ еще награду за это! Да если бъ знали, такъ бы тебѣ... И брюхо суетъ впередъ; онъ купецъ, его не тронь. „Мы“, говоритъ, „и дворянамъ не уступимъ“. Да дворянинъ... ахъ ты рожа! дворянинъ учится наукамъ: его хоть и сѣкутъ въ школѣ, да за дѣло, чтобъ онъ зналъ полезное. А ты что?—начинаешь плутнями, тебя хозяинъ бьетъ за то, что не умѣешь обманывать. Еще мальчишка, „Отче нашъ“ не знаешь, а ужъ обмѣриваешь; а какъ разопретъ тебѣ брюхо, да набьешь себѣ карманъ, такъ и заважничалъ! Фу, ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваровъ выдуешь въ день, такъ оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность.

Купцы (кланяясь). Виноваты, Антонъ Антоновичъ.

Городничій. Жаловаться? А кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебѣ, козлиная борода! Ты позабылъ это? Я, показавши это на тебя, могъ бы тебя также сопроводить въ Сибирь.— Чтѣ скажешь? а?

Одинъ изъ купцовъ. Богу виноваты, Антонъ Антоновичъ! Лукавый попуталъ. И закаемся впередъ жаловаться. Ужъ какое хощь удовлетвореніе, не гнѣвись только!

Городничій. Не гнѣвись! Вотъ ты теперь валяешься у ногъ моихъ. Отчего?—оттого, что мое взяло, а будь хоть немножко на твоей сторонѣ, такъ ты бы меня, каналья, втопталъ въ самую грязь, еще бы и бревномъ сверху навалилъ.

Купцы (кланяются въ ноги). Не погуби, Антонъ Антоновичъ!

Городничій. „Не погуби!“ Теперь—„не погуби“, а прежде что? Я бы васъ... (Махнувъ рукой). Ну, да Богъ проститъ! полно! Я не памятовлобень; только теперь, смотри, держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтобъ поздравленіе было... понимаешь? не то, чтобъ отбояриться какимъ-нибудь балычкомъ или головою сахару... Ну, ступай съ Богомъ! (Купцы уходятъ).

Чиновники, ихъ жены и обыватели города приходятъ съ поздравленіями, городничій принимаетъ ихъ.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и Почтмейстеръ (впопыхахъ, съ распечатаннымъ письмомъ въ рукѣ).

Почтмейстеръ. Удивительное дѣло, господа! Чиновникъ, котораго мы приняли за ревизора, былъ не ревизоръ.

Всѣ. Какъ, не ревизоръ?

Почтмейстеръ. Совсѣмъ не ревизоръ,—я узналъ это изъ письма.

Городничій. Что вы, что вы? изъ какого письма?

Почтмейстеръ. Да изъ собственнаго его письма. Приносятъ ко мнѣ на почту письмо. Вглянулъ на адресъ—вижу: „въ Почтамтскую улицу“. Я такъ и обомлѣлъ. „Ну“, думаю себѣ, „вѣрно, напелъ безпорядки по почтовой части и увѣдомляетъ начальство“. Ваялъ, да и распечаталъ.

Городничій. Какъ же вы?...

Почтмейстеръ. Самъ не знаю: неестественная сила побудила. Призвалъ было уже курьера съ тѣмъ, чтобы отправить его съ эштафетой; но любопытство такое одолѣло, какого еще никогда не чувствовалъ. Не могу, не могу, слышу, что не могу! тянеть, такъ вотъ и тянеть! Въ одномъ ухѣ такъ вотъ и слышу: „Эй, не распечатывай! пропадешь какъ курица“; а въ другомъ словно бѣсъ такой шепчетъ: „Распечатай, распечатай, распечатай!“ И какъ придавилъ сургучъ—по жиламъ огонь, а распечаталъ—морозъ, ей-Богу, морозъ. И руки дрожать, и все помутилось.

Городничій. Да какъ же вы осмѣлились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстеръ. Въ томъ-то и штука, что онъ не уполномоченный и не особа!

Городничій. Что жъ онъ, по-вашему, такое?

Почтмейстеръ. Ни сѣ, ни то; чортъ знаетъ, что такое!

Городничій (запальчиво). Какъ ни сѣ, ни то? Какъ вы смѣете назвать его ни тѣмъ, ни сѣмъ, да еще и чортъ знаетъ чѣмъ? Я васъ подъ арестъ...

Почтмейстеръ. Кто? вы?

Городничій. Да, я!

Почтмейстеръ. Коротки руки!

Городничій. Знаете ли, что онъ женится на моей дочери, что я самъ буду вельможа, что я въ самую Сибирь законопачу?

Почтмейстеръ. Эхъ, Антонъ Антоновичъ! что Сибирь? далеко Сибирь. Вотъ я вамъ прочту. Господа! позвольте прочитать письмо?

Всѣ. Читайте, читайте!

Почтмейстеръ (читаетъ). „Слѣшу увѣдомить тебя, душа Тряпичкинъ, какія со мной чудеса. На дорогѣ обчистилъ меня кругомъ пѣхотный капитанъ, такъ что трактирщикъ хотѣлъ уже было посадить въ тюрьму; какъ вдругъ, по моей петербургской физиономіи и по костюму, весь городъ принялъ меня за генералъ-губернатора. И я теперь живу у городничаго, жуирую, волочусь направопалу за его женой и дочкой; не рѣшился только, съ которой начать—думаю, прежде съ матушки, потому что, кажется, готова сейчасъ на всѣ услуги. Помнишь, какъ мы съ тобой бѣдствовали, обѣдали на перамыжку, и какъ одинъ разъ было кондитеръ схватилъ меня за воротникъ, по поводу съѣденныхъ пирожковъ на счетъ доходовъ аглицкаго короля? Теперь совсѣмъ другой оборотъ. Всѣ мнѣ даютъ взаймы, сколько угодно. Оригиналы страшные: отъ смѣху ты бы умеръ. Ты, я знаю, пишешь статейки: помѣсти ихъ въ свою литературу. Во-первыхъ: городничій— глупъ, какъ сивый меринъ...“

Городничій. Не можетъ быть! Тамъ нѣтъ этого.

Почтмейстеръ (показываетъ письмо). Читайте сами.

Городничій (читаетъ). „Какъ сивый меринъ“. Не можетъ быть! вы это сами написали.

Почтмейстеръ. Какъ же бы я сталъ писать?

Артемій Филипповичъ. Читайте!

Лука Лукичъ. Читайте!

Почтмейстеръ (продолжая читать). „Городничій—глупъ, какъ сивый меринъ...“

Городничій. О, чортъ возьми! нужно еще повторять! какъ будто оно тамъ и безъ того не стоитъ.

Почтмейстеръ (продолжая читать). Хм... хм... хм... хм.. „сивый меринъ. Почтмейстеръ тоже добрый человѣкъ...“ (Оставляя читать). Ну, тутъ онъ и обо мнѣ тоже неприлично выразился.

Городничій. Нѣтъ, читайте!

Почтмейстеръ. Да къ чему жъ?..

Городничій. Нѣтъ, чортъ возьми, когда ужъ читать, такъ читать! Читайте все!

Артемій Филипповичъ. Позвольте, я прочитаю. (Надѣваетъ очки и читаетъ): „Почтмейстеръ точъ-въ-точъ департаментскій сторожъ Михѣевъ, должно быть, также, подлець, пьетъ горькую“.

Почтмейстеръ (къ зрителямъ). Ну, скверный мальчишка, котораго надо высѣчь: больше ничего!

Артемій Филипповичъ (продолжая читать). „Надзиратель надъ богоугоднымъ заведе... и... и...“ (заканаетъ).

Коробкинъ. А что жъ вы остановились?

Артемій Филипповичъ. Да нечеткое перо... впрочемъ, видно, что негодяй.

Коробкинъ. Дайте мнѣ! Вотъ у меня, я думаю, получше глаза. (Веретъ письмо).

Артемій Филипповичъ (не давая письмо). Нѣтъ, это мѣсто можно пропустить, а тамъ дальше разборчиво.

Коробкинъ. Да позвольте, ужъ я знаю.

Артемій Филипповичъ. Прочитать, я и самъ прочитаю: дагѣ, право, все разборчиво.

Почтмейстеръ. Нѣтъ, все читайте! вѣдь прежде все читано.

Всѣ. Отдайте, Артѣмій Филипповичъ, отдайте письмо! (Коробкину). Читайте.

Артѣмій Филипповичъ. Сейчасъ. (Отдаетъ письмо). Вотъ позвольте... (закрываетъ пальцемъ). Вотъ отсюда читайте. (Всѣ приступаютъ къ нему).

Почтмейстеръ. Читайте, читайте! вадоръ, все читайте!

Коробкинъ (читая). „Надзиратель за богоугоднымъ заведеніемъ Земляника—совершенная свинья въ ермолкѣ“.

Артѣмій Филипповичъ (къ зрителямъ). И не остроумно! Свинья въ ермолкѣ! гдѣ жъ свинья бываетъ въ ермолкѣ?

Коробкинъ (продолжая читать). „Смотритель училищъ протухнулъ насквозь лукомъ“.

Лука Лукичъ (къ зрителямъ). Ей-Богу, и въ ротъ никогда не бралъ луку.

Аммось Ѳедоровичъ (въ сторону). Слава Богу, хоть по крайней мѣрѣ обо мнѣ нѣтъ!

Коробкинъ (читаетъ). „Судья...“

Аммось Ѳедоровичъ. Вотъ тебѣ на!.. (Вслухъ). Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и чортъ ли въ немъ: дрянъ этакую читать!

Лука Лукичъ. Нѣтъ!

Почтмейстеръ. Нѣтъ, читайте!

Артѣмій Филипповичъ. Нѣтъ, ужъ читайте!

Коробкинъ (продолжаетъ). „Судья Ляпкинь-Тяпкинь въ сильнѣйшей степени моветонъ...“ (Останавливается). Должно-быть, французское слово.

Аммось Ѳедоровичъ. А чортъ его знаетъ, что оно значитъ! Еще хорошо, если только мошенникъ, а можетъ быть, и того еще хуже.

Коробкинъ (продолжая читать). „А впрочемъ, народъ гостепріимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкинъ. Я самъ, по примѣру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, братъ, такъ жить, хочешь наконецъ пиши для души. Вижу: точно, нужно чѣмъ-нибудь высокимъ заняться. Пиши ко мнѣ въ Саратовскую губернію, а оттуда въ деревню Подкатиловку. (Переворачиваетъ письмо и читаетъ адресъ). Его благородію, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, въ Санктпетербургѣ, въ Почтамтскую улицу, въ домѣ подъ номеромъ девяносто седьмымъ, поворота на дворъ, въ третьемъ этажѣ, направо“.

Одна изъ дамъ. Какой репримандъ неожиданный!

Городничій. Вотъ когда зарѣзалъ, такъ зарѣзалъ! Убить, убить, совѣмъ убить! Ничего не вижу: вижу какія-то свиньи рыла, вмѣсто лицъ, а больше ничего... Воротить, воротить его! (Машетъ).

Почтмейстеръ. Куды воротить! Я, какъ нарочно, приказалъ смотрителю дать самую лучшую тройку; чортъ угораздилъ дать и впередъ предписаніе.

Жена Коробкина. Вотъ ужъ, точно, вотъ ужъ безпримѣрная конфузія!

Аммось Ѳедоровичъ. Однакожъ чортъ возьми, господа! онъ у меня взылъ триста рублей взаимы.

Артѣмій Филипповичъ. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстеръ (вадыхаетъ). Охъ! и у меня триста рублей.

Бобчинскій. У насъ съ Петромъ Ивановичемъ шестьдесятъ пять-съ на ассигнаціи-съ, да-съ.

А ммось Ѳедоровичъ (въ недоумѣніи разставляетъ руки). Какъ же это, господа? Какъ это, въ самомъ дѣлѣ, мы такъ оплошали?

Городничій (бьетъ себя по лбу). Какъ я—нѣтъ, какъ я, старый дуракъ? Выжилъ, глупый баранъ, изъ ума!.. Тридцать лѣтъ живу на службѣ; ни одинъ купецъ, ни подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надѣ мошенниками обманывалъ, пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду. Трехъ губернаторовъ обманулъ!.. Чтѣ губернаторовъ! (махнувъ рукой) нечего и говорить про губернаторовъ...

Анна Андреевна. Но это не можетъ быть, Антоша: онъ обручился съ Машенькой...

Городничій (въ сердцахъ).. Обручился! Кукишъ съ масломъ—вотъ тебѣ обручился! Лѣзетъ мнѣ въ глаза съ обрученіемъ!.. (Въ наступленіи). Вотъ, смотрите, смотрите, весь міръ, все христіанство, всѣ смотрите, какъ одураченъ городничій! Дурака ему, дурака старому подлецу! (Грохотъ самому себѣ кулакомъ). Эхъ ты, толстоносій! Сосульку, тряпку принялъ за важнаго человѣка! Вонъ онъ теперь по всей дорогѣ заливаетъ колокольчикомъ! Разнесетъ по всему свѣту исторію. Мало того, что пойдешь въ посмѣшище—найдется шелкоперъ, бумагомарака, въ комедію тебя вставитъ. Вотъ чтѣ обидно! Чина, званія не пощадитъ, и будутъ всѣ скалить зубы и бить въ ладоши. Чему смѣетесь? надѣ собою смѣетесь!.. Эхъ вы!.. (Стучитъ со злости ногами объ полъ). Я бы всѣхъ этихъ бумагомаракъ! У, шелкоперы, либералы проклятые! чортово сѣмя! Узломъ бывася всѣхъ, завязалъ, въ муку бы стеръ васъ всѣхъ да чорту въ подкладку! въ шапку туда ему!.. (Суетъ кулакомъ и бьетъ каблукъ въ полъ). (Послѣ нѣкотораго молчанія). До сихъ поръ не могу притти въ себя. Вотъ, подлинно, если Богъ хочетъ наказать, такъ отниметъ прежде разумъ. Ну, чтѣ было въ этомъ вертопрахѣ похожаго на ревизора? Ничего не было! Вотъ просто ни на полмизинца не было похожаго—и вдругъ всѣ: ревизоръ, ревизоръ! Ну, кто первый выпустилъ, что онъ ревизоръ? Отвѣчайте!

Артеміѣ Филипповичъ (разставляя руки). Ужъ какъ это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туманъ какой-то ошеломилъ, чортъ попуталъ.

А ммось Ѳедоровичъ. Да кто выпустилъ,—вотъ кто выпустилъ: эти молодцы! (Показываетъ на Добчинскаго и Вобчинскаго).

Вобчинскій. Ей-ей, не я! и не думалъ.

Добчинскій. Я ничего, совсѣмъ ничего...

Артеміѣ Филипповичъ. Конечно, вы.

Лука Лукичъ. Разумѣется. Прибѣжали, какъ сумасшедшіе, изъ трактира: „Пріѣхалъ, пріѣхалъ и денегъ не платить!“ Нашли важную птицу!

Городничій. Натурально, вы! сплетники городскіе, лгуны проклятые!

Артеміѣ Филипповичъ. Чтѣбъ васъ чортъ побралъ съ вашимъ ревизоромъ и разказами.

Городничій. Только рыскаете по городу, да смущаете всѣхъ, трещотки проклятыя! Сплетни сѣете, сороки короткохвостыя!

А ммось Ѳедоровичъ. Пачкуны проклятые!

Лука Лукичъ. Колпаки!

Артеміѣ Филипповичъ. Сморчки короткобрюхія! (Всѣ обступаютъ ихъ).

Бобчинскій. Ей-Богу, это не я, это Петръ Ивановичъ.
Добчинскій. Э, нѣтъ, Петръ Ивановичъ, вы вѣдь первые того...
Бобчинскій. А вотъ и нѣтъ; первые-то были вы.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛѢДНЕЕ.

Тѣ же и жандармъ.

Жандармъ. Пріѣхавшій по именному повелѣнію изъ Петербурга чиновникъ требуетъ васъ сейчасъ же къ себѣ. Онъ остановился въ гостиницѣ.

(Произнесенныя слова поражаютъ, какъ громомъ, всѣхъ. Звукъ изумленія единодушно излетаетъ изъ дамскихъ устъ вся группа, вдругъ перемѣнивши положеніе, остается въ окаменѣніи).

Приложенія къ комедіи „Ревизоръ“.

I.

Отрывокъ изъ письма, писаннаго авторомъ вскорѣ послѣ перваго представленія Ревизора къ одному литератору.

...Ревизоръ сыгранъ—и у меня на душѣ такъ смутно, такъ странно... Я ожидалъ, я зналъ напередъ, какъ пойдетъ дѣло, и при всемъ томъ чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же созданіе мнѣ показалось противно, дико и какъ будто вовсе не мое. Главная роль пропала; такъ я и думалъ. Дюръ ни на волосъ не понялъ, что такое Хлестаковъ. Хлестаковъ сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ Альнаскарова, чѣмъ-то въ родѣ цѣлой шеренги водевильныхъ шутовъ, которые пожаловали къ намъ повертѣться съ парижскихъ театровъ. Онъ сдѣлался, просто, обыкновеннымъ врагомъ,—блѣдное лицо, въ продолженіе двухъ столѣтій являющееся въ одномъ и томъ же костюмѣ. Неужели въ самомъ дѣлѣ не видно изъ самой роли, что такое Хлестаковъ? Или мною овладѣла довременно слѣпая гордость, и силы мои совладѣть съ этимъ характеромъ были такъ слабы, что даже и тѣни, и намека въ немъ не осталось для актера? А мнѣ онъ казался яснымъ. Хлестаковъ вовсе не надуваетъ; онъ не лгунъ по ремеслу; онъ самъ позабываетъ, что лжетъ, и уже самъ почти вѣрить тому, что говорить. Онъ развернулся, онъ въ духѣ: видитъ, что все идетъ хорошо, его слушаютъ, и по тому одному онъ говоритъ илавнѣе, развязнѣе, говоритъ отъ души, говоритъ совершенно откровенно и, говоря ложь, выказываетъ именно въ ней себя такимъ, какъ есть. Вообще у насъ актеры совсѣмъ не умѣютъ лгать. Они воображаютъ, что лгать значитъ просто нести болтовню. Лгать значитъ говорить ложь тономъ близкимъ къ истинѣ, такъ естественно, такъ наивно, какъ можно только говорить одну истину; и здѣсь-то заключается именно все комическое лжи. Я почти увѣренъ, что Хлестаковъ болѣе бы выигралъ, если бы я назначилъ эту роль одному изъ самыхъ безталанныхъ актеровъ и сказалъ бы ему только, что Хлестаковъ есть человѣкъ ловкій, совершенный *сomme il faut*, умный и даже, пожалуй, добродѣтельный, и что ему остается представить его именно такимъ. Хлестаковъ лжетъ вовсе

не холодно, или фанфаронски-театрально: онъ жетъ съ чувствомъ: въ глазахъ его выражается наслажденіе, получаемое имъ отъ этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута въ его жизни—почти родъ вдохновенія. И хоть бы что-нибудь изъ этого было выражено! Никакого тоже характера, т. е. лица, т. е. видимой наружности, т. е. физіономіи — рѣшительно не дано было бѣдному Хлестакову. Конечно, несравненно легче карикатурить старыхъ чиновниковъ, въ поношенныхъ вицмундирахъ съ потертыми воротниками; но схватить тѣ черты, которыя довольно благовидны и не выходить острыми углами изъ обыкновеннаго свѣтскаго круга, — дѣло мастера сильнаго. У Хлестакова ничего не должно быть означено рѣзко. Онъ принадлежитъ къ тому кругу, который, повидимому, ничѣмъ не отличается отъ прочихъ молодыхъ людей. Онъ даже хорошо иногда держится, даже говорить иногда съ вѣсомъ, и только въ случаяхъ, гдѣ требуется или присутствіе духа, или характеръ, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Черты роли какого-нибудь городничаго болѣе неподвижны и ясны. Его уже обозначаетъ рѣзко собственная неизмѣняемая, черствая наружность и отчасти утверждаетъ собою его характеръ. Черты роли Хлестакова слишкомъ подвижны, болѣе тонки, и потому труднѣе уловимы. Что такое, если разобрать, въ самомъ дѣлѣ Хлестаковъ? Молодой человѣкъ, чиновникъ, и пустой, какъ называютъ, но заключающій въ себѣ много качествъ, принадлежащихъ людямъ, которыхъ свѣтъ не называетъ пустыми. Выставить эти качества въ людяхъ, которые не лишены, между прочимъ, хорошихъ достоинствъ, было бы грѣхомъ со стороны писателя, ибо онъ тѣмъ поднялъ бы ихъ на всеобщій смѣхъ. Лучше пусть всякій отыщетъ частицу себя въ этой роли, и въ то же время осмотрится вокругъ безъ боязни и страха, чтобы не указалъ кто-нибудь на него пальцемъ и не назвалъ бы его по имени. Словомъ, это лицо должно быть типомъ многого, разбросаннаго въ разныхъ русскихъ характерахъ, но которое здѣсь соединилось случайно въ одномъ лицѣ, какъ весьма часто попадаетъ и въ натурѣ. Всякій хоть на минуту, если не на нѣсколько минутъ, дѣлался или дѣлается Хлестаковымъ, но, естественно, въ этомъ не хочетъ только признаться; онъ любитъ даже и посмѣяться надъ этимъ фактомъ, но только, конечно, въ кожѣ другого, а не въ собственной. И ловкій гвардейскій офицеръ окажется иногда Хлестаковымъ, и государственный мужъ окажется иногда Хлестаковымъ, и нашъ братъ, грѣшный литераторъ, окажется подчасъ Хлестаковымъ. Словомъ, рѣдко кто имъ не будетъ хоть разъ въ жизни,—дѣло только въ томъ, что вслѣдъ за тѣмъ очень ловко повернется и какъ будто бы и не онъ.

Развязка ревизора.

дѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Первый комическій актеръ—Михайло Семеновичъ Щепкинъ
Хорошенькая актриса.

Другой актеръ.

Федоръ Федорычъ, любитель театра.

Петръ Петровичъ, человѣкъ большого свѣта.

Семенъ Семенычъ, человѣкъ тоже немалаго свѣта, но въ своемъ рѣдѣ.

Николай Николаичъ, литературный человѣкъ.

Актеры и актрисы.

Сперва артисты вѣнчаютъ вѣнкомъ перваго комическаго актера, потомъ являются люди изъ публики, которые восхищаются игрой артиста, но порицаютъ пьесу.

Всѣ присутствующіе толкуютъ о Ревизорѣ и обнаруживаютъ непониманіе этой пьесы; тогда первый комическій актеръ заявляетъ:

Извольте, я дамъ вамъ ключъ. Отъ комическаго актера вы, можете быть, не привыкли слышать такихъ словъ, но что жъ дѣлать? въ этотъ день сердце мое разгорѣлось, мнѣ стало легко, и я готовъ все сказать, что ни есть у меня на душѣ какъ бы вы ни приняли слова мои. Нѣтъ, господи, не давалъ мнѣ авторъ ключа, но бываютъ такія минуты состоянія душевнаго, когда становится самому понятнымъ то, что прежде было непонятно. Нашелъ я этотъ ключъ, и сердце мое говоритъ мнѣ, что онъ тотъ самый; отперлась передо мной шкатулка, и душа моя говоритъ мнѣ, что не могъ имѣть другой мысли самъ авторъ.

Всмотритесь-ка пристально въ этотъ городъ, который выведенъ въ пьесѣ! Всѣ до одинаго согласны, что такого города нѣтъ во всей Россіи: не слыхано, чтобы гдѣ были у насъ чиновники всѣ до одинаго такіе уроды; хоть два, хоть три бываетъ честныхъ, а здѣсь ни одного. Словомъ, такого города нѣтъ. Не такъ ли? Ну, а что, если это нашъ же душевный городъ, и сидитъ онъ у всякаго изъ насъ? Нѣтъ, взглянемъ на себя не глазами свѣтскаго человѣка, — вѣдь не свѣтскій человѣкъ произнесетъ надъ нами судъ—взглянемъ хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позоветъ на очную ставку всѣхъ людей, передъ Которымъ и наилучшіе изъ насъ, не позабудете этого, потупятъ отъ стыда въ землю глаза свои, да и посмотримъ, достанетъ ли у кого-нибудь изъ насъ тогда духу спросить: „Да развѣ у меня режа крива?“ Чтобы не испугался онъ такъ собственной кривизны своей, какъ не испугался кривизны всѣхъ этихъ чиновниковъ, которыхъ только-что видѣлъ въ пьесѣ! Нѣтъ, Петръ Петровичъ, нѣтъ, Семенъ Семенычъ, не говорите: „это старыя рѣчи“, или: это ужъ мы сами знаемъ!“ Дайте жъ, наконецъ, ужъ и мнѣ сказать слово. Что жъ въ самомъ дѣлѣ, какъ будто я живу только для скоморошничества? Тѣ вещи, которыя намъ даны съ тѣмъ, чтобы помнить ихъ вѣчно, не должны быть старыми: ихъ нужно принимать какъ новость, какъ бы въ первый разъ только ихъ слышимъ, кто бы ихъ ни произносилъ намъ, — тутъ нечего глядѣть на лицо того, кто говоритъ ихъ. Нѣтъ, Семенъ Семенычъ, не о красотѣ нашей должна быть рѣчь, но о томъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедію, да не кончилась бы такой трагедіей, какою не кончилась эта комедія, которую только-что сыграли мы. Что ни говори, но страшенъ тотъ ревизоръ, который ждетъ насъ у дверей гроба. Будто же знаете, кто это ревизоръ? Что прикидываться? Ревизоръ этотъ—наша проспущаяся совѣсть, которая заставитъ насъ вдругъ и разомъ взглянуть во всѣ глаза на самихъ себя. Передъ этимъ ревизоромъ ничто не укроется, потому что, по Именному Высшему повелѣнію, онъ посланъ и возвѣститься о немъ тогда, когда уже и шагу нельзя будетъ сдѣлать назадъ. Вдругъ откроется передъ тобою, въ тебѣ же откроется такое страшилище, что отъ ужаса подымется волосъ. Лучше жъ сдѣлать ревизовку всему, что

ни есть въ насъ, въ началѣ жизни, а не въ концѣ ея—на мѣсто пустыхъ разлагольствованій о себѣ и похвалбы собой, да побывать теперь же въ безобразномъ душевномъ нашемъ городѣ, который въ нѣсколько разъ хуже всякаго другого города—въ которомъ безчинствуютъ наши страсти, какъ безобразные чиновники, воруютъ казну собственной души нашей! Въ началѣ жизни взять ревизора и съ нимъ объ руку переглядѣть все, чтѣ ни есть въ насъ,—настоящаго ревизора, не подложнаго, не Хлестакова! Хлестаковъ—целкопѣръ, Хлестаковъ—вѣтрена свѣтская совѣсть, продажная, обманчивая совѣсть; Хлестакова подкупать какъ разъ наши же, обитающія въ душѣ нашей, страсти. Съ Хлестаковымъ подъ руку ничего не увидишь въ душевномъ городѣ нашемъ. Смотрите, какъ всякій чиновникъ съ нимъ въ разговорѣ вывернулся ловко и оправдался, — вышелъ чуть не святой. Думаете, не хитрый всякаго плута-чиновника каждая страсть наша? И не только страсть, даже самая пустая, пошлая какая-нибудь привычка. Такъ ловко передъ нами вывернется и оправдается, что еще почтешь ее за добродѣтель, и даже похвастаетесь передъ своимъ братомъ и скажешь ему: «Смотри, какой у меня чудесный городъ, какъ въ немъ все прибрано и чисто!» Лице-мѣры—наши страсти, говорю вамъ, лице-мѣры, потому что самъ имѣлъ съ ними дѣло, нѣтъ, съ вѣтреной свѣтской совѣстью ничего не разглядишь въ себѣ и ее самоѣ онѣ надуютъ, и она надуетъ ихъ, какъ Хлестаковъ чиновниковъ, и потомъ пропадетъ сама, такъ что и слѣда ея не найдешь. Останешься какъ дуракъ-городничій, который занесся уже было нивѣсть куда—и въ генералы полѣзъ, и навѣрняка сталъ возвѣщать, что сбѣдается первымъ въ столицѣ, и другимъ сталъ обѣщать мѣста, и потомъ вдругъ увидѣлъ, что былъ крутомъ обманутъ и одураченъ мальчишкою, верхоглядомъ, вертопрахомъ, въ которомъ и подобно не было съ настоящимъ ревизоромъ. Нѣтъ, Петръ Петровичъ, нѣтъ, Семенъ Семенычъ, нѣтъ, господа, всѣ, кто ни держитесь такого же мнѣнья, бросьте вашу свѣтскую совѣсть! Не съ Хлестаковымъ, но съ настоящимъ ревизоромъ оглянемъ себя! Клянусь, душевный городъ нашъ стоить того, чтобы подумать о немъ, какъ думаетъ добрый государь о своемъ государствѣ благородно и строго, какъ онѣ изгоняетъ изъ земли своей лихоимцевъ, изгонимъ нашихъ душевныхъ лихоимцевъ! Есть средство, есть бичъ, которымъ можно выгнать ихъ. Смѣхомъ, мои благородные соотечественники! Смѣхомъ, котораго такъ боялся всѣ низкія наши страсти! Смѣхомъ, который созданъ на то, чтобы смѣяться надъ всѣмъ, что поворотитъ истинную красоту человѣка. Возвратимъ смѣху его настоящее значеніе! Отнимемъ его у тѣхъ, которые обратили его въ легкомысленное свѣтское кошунство надъ всѣмъ, не разбирая ни хорошаго, ни дурного! Такимъ же точно образомъ, какъ посмѣялись надъ мерзостью въ другомъ человѣкѣ, посмѣемся великодушно надъ мерзостью собственной, какую въ себѣ ни отыщемъ! Не одну эту комедію, но все, чтѣ бы ни показалось изъ-подъ пера какого бы то ни было писателя, смѣющагося надъ порочнымъ и низкимъ, примемъ прямо на свой собственный счетъ, какъ бы оно именно было на насъ лично написано: все отыщешь въ себѣ, если только опустишься въ свою душу не съ Хлестаковымъ, но съ настоящимъ и неподкупнымъ ревизоромъ. Не возмутимся духомъ, если бы какой-нибудь разсердившійся городничій, или справедливый, самъ нечистый духъ, шепнулъ его устами: „Чтѣ смѣтется? надъ собой смѣтется!“ Гордо ему скажемъ: „Да, надъ собой смѣемся, потому что слышимъ благородную русскую нашу породу, потому что слышимъ приказанье Высшее быть лучшими другихъ!“ Соотечествен-

ники! вѣдь у меня въ жилахъ тоже русская кровь, какъ и у васъ. Смотрите: я плачу! Комическій актеръ, я прежде смѣшилъ васъ, теперь я плачу. Дайте мнѣ почувствовать, что и мое поприще такъ же честно, какъ и всякаго изъ васъ, что я такъ же служу землѣ своей, какъ и всѣ вы служите, что не пустой я какой-нибудь скоморохъ, созданный для потѣхи пустыхъ людей, но честный чиновникъ великаго Божьяго государства и возбуждѣнъ въ васъ смѣхъ,—не тотъ безпутный, которымъ пересмѣхаетъ въ свѣтѣ человѣкъ человека, который рождается отъ бездѣльной пустоты празднаго времени, но смѣхъ, родившійся отъ любви къ человеку. Дружно докажемъ всему свѣту, что въ Русской землѣ все, что ни есть, отъ мала до велика, стремится служить Тому же, Кому все должно служить на землѣ, несется туда же (заглянувши наверхъ) кверху, къ Верховной вѣчной красотѣ!

Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи.

Сѣни театра. Съ одной стороны видны лѣстницы, ведущія въ ложи и галлерей; посрединѣ входъ въ кресла и амфитеатръ, съ другой стороны—выходъ. Слышенъ отдаленный гулъ рукоплесканій.

Два *сomme il faut*, плотнаго свойства, сходятъ съ лѣстницы.

Первый *сomme il faut*. Хорошо, если бы полиція недалеко отогнала мою карету. Какъ зовутъ эту молоденькую актрису, ты не знаешь?

Второй *сomme il faut*. Нѣтъ, а очень недурна.

Первый *сomme il faut*. Да, недурна; но все чего-то еще нѣтъ. Да, рекомендую: новый ресторанъ: вчера намъ подали свѣжій зеленый горохъ (плывутъ концы пальцевъ)—прелестъ! (Уходятъ оба).

Вѣжливъ офицеръ, другой удерживаетъ его за руку.

Другой офицеръ. Да останемся.

Первый офицеръ. Нѣтъ, братъ, на водевилъ и калачомъ не заманишь. Знаемъ мы эти пьесы, которыя даются на закуску: лакеи вмѣсто актеровъ, а женщины—уродъ на уродѣ. (Уходитъ).

Свѣтскій человѣкъ, щеголевато одѣтый (сходя съ лѣстницы). Плутъ портной, претѣсно сдѣлалъ мнѣ панталоны, все время было страхъ неловко сидѣть. За это я намѣренъ еще проволочить его и годика два не заплачу долговъ. (Уходитъ).

Тоже свѣтскій человѣкъ, поплотнѣе (говорить съ живостью другому). Никогда, никогда, повѣрь мнѣ, онъ съ тобою не сядетъ играть. Меньше какъ по полтора ста рублей рoberъ онъ не играетъ. Я знаю это хорошо, потому что шуринъ мой, Пафнутьевъ, всякій день съ нимъ играетъ.

Авторъ пьесы (про себя). И все еще никто ни слова о комедіи.

Чинovníкъ среднихъ лѣтъ (выходя съ растопыренными руками). Это, просто, чортъ знаетъ чтó такое!.. Этакое!.. этакое!.. Это ни на чтó не похоже. (Ушелъ).

Господинъ, нѣсколько беззаботный насчетъ литературы (обращаясь къ другому). Вѣдь это, однакожъ, кажется, переводъ?

Другой. Помилюйте, что за перевод! Действие происходит въ Россіи, наши обычаи и чины даже.

Господинъ беззаботный насчетъ литературы. Я помню однакожъ, было что-то на французскомъ, не совсѣмъ въ этомъ родѣ. (Она уходитъ).

Одинъ изъ двухъ зрителей, тоже выходящихъ вонъ. Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажутъ въ журналахъ, тогда узнаешь.

Двѣ бежеша (одна другой). Ну, какъ вы? Я бы желала знать ваше мнѣніе о комедіи.

Другая бежеша (дѣлая значительныя движенія губами). Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... въ своемъ родѣ... Ну, конечно, кто жъ противъ этого и стоитъ, чтобы опять не было и... гдѣ жъ, такъ сказать... а впрочемъ... (Утвердительно сжимая губами). Да, да! (Уходитъ).

Авторъ (про себя). Ну, эти пока еще не много сказали. Толки однакоже будутъ: я вижу впереди горячо размахиваютъ руками.

Два любителя искусства.

Первый. Я вовсе не изъ числа тѣхъ, которые прибѣгаютъ только къ словамъ: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дѣло, что такія слова болѣею частью исходятъ изъ устъ тѣхъ, которые сами очень сомнительнаго тона, толкуютъ о гостиницѣхъ, и допускаются только въ переднія. Но не объ нихъ рѣчь. Я говорю насчетъ того, что въ пьесѣ, точно, нѣтъ завязки.

Второй. Да, если принимать завязку въ томъ смыслѣ, какъ ее обыкновенно принимаютъ, то-есть въ смыслѣ любовной интриги, такъ ея, точно, нѣтъ. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сихъ поръ на эту вѣчную завязку. Стоитъ взглянуть пристально вокругъ. Все измѣнилось давно въ свѣтѣ. Теперь сильнѣй завязываетъ драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отмстить за пренебреженіе, за насмѣшку. Не болѣе ли теперь имѣютъ электричества чинъ, денежный капиталъ, выгодная женитьба, чѣмъ любовь?

Первый. Все это хорошо; но и въ этомъ отношеніи все-таки я не вижу въ пьесѣ завязки.

Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли въ пьесѣ завязка, или нѣтъ. Я скажу только, что вообще ищутъ частной завязки и не хотятъ видѣть общей. Люди простодушно привыкли уже къ этимъ безпрестаннымъ любовникамъ, безъ женитьбы которыхъ никакъ не можетъ окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка?—точный узелокъ на уголкѣ платка. Нѣтъ, комедія должна ввязаться сама собою, всей своей массою, въ одинъ большой общій узелъ. Завязка должна обнимать всѣ лица, а не одно или два,—коснуться того, что волнуетъ болѣе или менѣе всѣхъ дѣйствующихъ. Тутъ всякій герой; теченіе и ходъ пьесы производить потрясеніе всей машины: ни одно колесо не должно оставаться, какъ ржавое и не входящее въ дѣло.

Первый. Но всѣ не могутъ же быть героями; одинъ или два должны управлять другими.

Второй. Совсѣмъ не управлять, а развѣ преобладать. И въ машинѣ одни колеса замѣтнѣй и сильнѣй движутся, ихъ можно только назвать глав-

ными; но нравить пьесою идея, мысль: безъ нея нѣтъ въ ней единства. А завязать можетъ все: самый ужасъ, страхъ ожиданія, гроза идущаго вдали закона...

Первый. Но это выходитъ ужъ придавать комедіи какое-то значеніе болѣе всеобщее.

Второй. Да развѣ не есть это ея прямое и настоящее значеніе? Уже въ самомъ началѣ комедія была общественнымъ, народнымъ созданіемъ. По крайней мѣрѣ, такую показалъ ее самъ отецъ ея, Аристофанъ. Послѣ уже она вошла въ узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ходъ, одну и ту же непремѣнную завязку. Зато какъ слаба эта завязка у самыхъ лучшихъ комиковъ! какъ ничтожны эти театральные любовники съ ихъ картонной любовью!

Третій (подходя и ударивъ слегка его по плечу). Ты не правъ: любовь такъ же, какъ и другія чувства, можетъ тоже войти въ комедію.

Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь, и всѣ другія чувства, болѣе возвышенныя, тогда только произведутъ высокое впечатлѣніе, когда будутъ развиты по всей глубинѣ. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всѣмъ прочимъ. Все то, что составляетъ именно сторону комедіи, тогда уже поблѣднѣетъ, и значеніе комедіи общественной непремѣнно исчезнетъ.

Третій. Стало-быть, предметомъ комедіи должно быть непремѣнно низкое? Комедія выйдетъ уже низкій родъ.

Второй. Для того, кто будетъ глядѣть на слова, а не вникать въ смыслъ, это такъ. Но развѣ положительное и отрицательное не можетъ послужить той же цѣли? Развѣ комедія и трагедія не могутъ выразить ту же высокую мысль? Развѣ всѣ, до малѣйшей, излучины души подлаго и безчестнаго человѣка не рисуютъ уже образъ честнаго человѣка? Развѣ все это накопленіе низостей, отступленій отъ законовъ и справедливости, не даетъ уже ясно знать, чего требуютъ отъ насъ законъ, долгъ и справедливость? Въ рукахъ искуснаго врача и холодная, и горячая вода лѣчатъ съ равнымъ успѣхомъ однѣ и тѣ же болѣзни: въ рукахъ таланта все можетъ служить орудіемъ къ прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.

Четвертый (подходя). Что можетъ послужить прекрасному и о чемъ у васъ толки?

Первый. Споръ завязался у насъ о комедіи. Мы всѣ говоримъ о комедіи вообще, а никто еще не сказалъ ничего о новой комедіи. Что вы скажете?

Четвертый. А вотъ что скажу: виденъ талантъ, наблюденіе жизни, много смѣшного, вѣрнаго, взятаго съ натуры; но вообще во всей пьесѣ чего-то нѣтъ. Какъ-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никакъ не могутъ обойтись безъ правительства. Безъ него у насъ не развяжется ни одна комедія.

Нѣсколько почтенныхъ и прилично одѣтыхъ людей появляются одинъ за другимъ.

№ 1. Такъ, такъ, я вижу: это вѣрно, это есть у насъ и случается въ иныхъ мѣстахъ и похуже; но для какой цѣли, къ чему выводить это?— вотъ вопросъ! Затѣмъ эти представленія? какая польза отъ нихъ?— вотъ

что разрѣшите мнѣ! Что мнѣ нужды знать, что въ такомъ-то мѣстѣ есть плуты? Я просто... я не понимаю надобности такихъ представленій. (Уходитъ).

№ 2. Нѣтъ, это не осмѣяніе пороковъ; это отвратительная насмѣшка надъ Россіею—вотъ что. Это значитъ выставить въ дурномъ видѣ самое правительство, потому что выставить дурныхъ чиновниковъ и злоупотребленія, которыя бывають въ разныхъ сословіяхъ, значитъ выставить самое правительство. Просто, даже не слѣдуетъ дозволять такихъ представленій. (Уходить).

Очень скромно одѣтый человѣкъ. А я, признаюсь, очень радъ продолжать его. Сейчасъ только я слышалъ толки, именно: что это все неправда, что это насмѣшка надъ правительствомъ, надъ нашими обычаями, и что этого не слѣдуетъ вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пьесу, и, признаюсь, выраженіе комедіи показалось мнѣ теперь еще даже значительнѣй. Въ ней, какъ мнѣ кажется, сильнѣй и глубже всего поражено смѣхомъ лицемѣріе, благопристойная маска, подъ которою является нивость и подлость, плуть, корчащій рожу благонамѣреннаго человѣка. Признаюсь, я чувствовалъ радость, видя, какъ смѣшны благонамѣренныя слова въ устахъ плута, и какъ уморительно смѣшна стала всѣмъ, отъ креселъ до райка, надѣтая имъ маска. И послѣ этого есть люди, которые говорятъ, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышалъ одно замѣчаніе, сдѣланное, какъ мнѣ показалось, впрочемъ, довольно порядочнымъ человѣкомъ: „А что скажетъ народъ, когда увидитъ, что у насъ бывають вотъ какія злоупотребленія?“

Господинъ А. Признаюсь, вы извините меня, но мнѣ самому тоже невольно представился вопросъ: а что скажетъ народъ нашъ, глядя на все это?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Что скажетъ народъ? (Посторанивается, проходятъ двое въ армякахъ).

Синій армякъ сѣрому. Небось, прыткіе были воеводы, а всѣ поблѣднѣли, когда пришла царская расправа! (Оба выходятъ вонъ).

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Вотъ что скажетъ народъ, вы слышали?

Господинъ А. Что?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Скажетъ: „Небось, прыткіе были воеводы, а всѣ поблѣднѣли, когда пришла царская расправа!“ Слышите ли вы, какъ вѣренъ естественному чутью и чувству человѣкъ? Какъ вѣренъ самый простой глазъ, если онъ не огуманенъ теоріями и мыслями, надерганными изъ книгъ, а черпаетъ ихъ изъ самой природы человѣка! Да развѣ это не очевидно ясно, что послѣ такого представленія народъ получитъ болѣе вѣры въ правительство? Да для него нужны такія представленія. Пусть онъ отдѣлитъ правительство отъ дурныхъ исполнителей правительства. Пусть видитъ онъ, что злоупотребленія происходятъ не отъ правительства, а отъ непонимающихъ требованій правительства, отъ нехотящихъ отвѣтствовать правительству. Пусть онъ видитъ, что благородно правительство, что бдитъ равно надъ всѣми его недремлющее око, что рано или поздно настигнетъ оно измѣнившихъ закону, чести и святому долгу человѣка, что поблѣднѣють предъ нимъ имѣющіе нечистую совѣсть. Да, эти представленія ему должно видѣть; повѣрьте, что если и случится ему испы-

тать на себя прижимки и несправедливости, онъ выйдетъ утѣшенный послѣ такого представленія съ твердой вѣрой въ недремлющій высшій законъ. Мнѣ нравится тоже еще замѣчаніе: „народъ получить дурное мнѣніе о своихъ начальникахъ“. То-есть, они воображаютъ, что народъ только здѣсь, въ первый разъ, въ театрѣ, увидитъ своихъ начальниковъ; что если дома какой-нибудь плутъ-староста сожметъ его въ лапу, такъ этого онъ никакъ не увидитъ, а вотъ какъ пойдетъ въ театрѣ, такъ тогда и увидитъ. Они, право, народъ нашъ считаютъ глупѣе бревна, — глупымъ до такой степени, что будто уже онъ не въ силахъ отличить, который пирожекъ съ мясомъ, а который съ кашей. Нѣтъ, теперь мнѣ кажется, даже хорошо то, что не выведенъ на сцену честный человѣкъ. Самолюбивъ человѣкъ: выстави ему при множествѣ дурныхъ сторонъ одну хорошую, онъ уже гордо выйдетъ изъ театра. Нѣтъ, хорошо, что выставлены одни только исключенія и пороки, которые колютъ теперь до того глаза, что не хотѣть быть ихъ соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это можетъ быть.

Господинъ А. Но неужели, однакожъ, существуютъ у насъ точь-въ-точь такіе люди?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Позвольте мнѣ сказать вамъ на это вотъ чтó: я не знаю, почему мнѣ всякій разъ становится грустно, когда я слышу подобный вопросъ. Я могу съ вами говорить откровенно: въ чертахъ лицъ вашихъ я вижу что-то такое, чтó располагаетъ меня къ откровенности. Человѣкъ прежде всего дѣлаетъ запросъ: „Неужели существуютъ такіе люди?“ Но когда было видано, чтобы человѣкъ сдѣлалъ такой вопросъ: „Неужели я самъ чистъ вовсе отъ такихъ пороковъ?“ Никогда, никогда! Да вотъ чтó,—я буду съ вами говорить прямодушно,—у меня доброе сердце, любви много въ моей груди, но если бы вы знали, какихъ душевныхъ усилій и потрясеній мнѣ было нужно, чтобы не впасть во многія порочныя наклонности, въ которыя впадаешь невольно, живя съ людьми! И какъ я могу сказать теперь, что во мнѣ нѣтъ сію же минуту тѣхъ самыхъ наклонностей, которыми только что посмѣялись назадъ тому десять минутъ всѣ и надъ которыми я самъ посмѣялся?

Господинъ А. (послѣ нѣкотораго молчанія). Признаюсь, надъ словами вашими призадумался. И когда я вспомню, представляю себѣ, какъ гордыми сдѣлало насъ европейское наше воспитаніе, вообще какъ скрыло насъ отъ самихъ себя, какъ свысока и съ какимъ презрѣніемъ глядимъ мы на тѣхъ, которые не получили подобной намъ наружной полировки, какъ всякій изъ насъ ставитъ себя чуть не святымъ, а о дурномъ говорить вѣчно въ третьемъ лицѣ,—то, признаюсь, невольно становится грустно душѣ... Но, простите мою нескромность,—вы, впрочемъ, виноваты въ ней сами,—позвольте узнать: съ кѣмъ я имѣю удовольствіе говорить?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. А я ни болѣе, ни менѣе, какъ одинъ изъ тѣхъ чиновниковъ, въ должности которыхъ выведены были лица комедіи, и третьяго дня только пріѣхалъ изъ своего городка.

Господинъ Б. Я бы этого не могъ думать. И неужели вамъ не кажется послѣ этого обидно жить и служить съ такими людьми?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Обидно? А вотъ чтó я вамъ скажу на это; признаюсь, мнѣ приходилось часто терять терпѣнье. Въ городкѣ нашемъ не всѣ чиновники изъ честнаго десятка; часто приходится лѣзть на стѣну, чтобы сдѣлать какое-нибудь доброе дѣло. Уже нѣ-

сколько разъ хотѣлъ-было я бросить службу; но теперь, именно послѣ этого представленія, я чувствую свѣжесть и вмѣстѣ съ тѣмъ новую силу продолжать свое поприще. Я утѣшенъ уже мыслю, что подлость у насъ не остается скрытою или потворствуемой, что тамъ, въ виду всѣхъ благородныхъ людей, она поражена осмѣяніемъ, что есть перо, которое не укуснитъ обнаружить низкія наши движенія, хотя это и не льститъ національной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволитъ показать это всѣмъ, кому слѣдуетъ, въ очи; и уже это одно даетъ мнѣ рвеніе продолжать мою полезную службу.

Господинъ А. Позвольте сдѣлать вамъ одно предложеніе. Я занимаю государственную должность довольно значительную. Мнѣ нужны истинно благородные и честные помощники. Я вамъ предлагаю мѣсто, гдѣ вамъ будетъ обширное поле дѣйствія, гдѣ вы получите несравненно болѣе выгоды и будете на виду.

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Позвольте мнѣ отъ всей души и отъ всего сердца поблагодарить васъ за такое предложеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ позвольте отказаться отъ него. Если я уже чувствую, что полезенъ своему мѣсту, то благородно ли съ моей стороны его бросить? И какъ я могу оставить его, не будучи увѣренъ твердо, что послѣ меня не сядетъ какой-нибудь молодецъ, который начнетъ дѣлать прижимки. Если же это предложеніе сдѣлано вами въ видѣ награды, то позвольте сказать вамъ: я аплодировалъ автору пьесы наравнѣ съ другими, но я не вызывалъ его. Какая ему награда? Пьеса понравилась—хвали ее, а онъ—онъ только выполнилъ долгъ свой. У насъ, право, до того дошло, что не только по случаю какого-нибудь подвига, но просто, если только иной не нагадитъ никому въ жизни и на службѣ, то уже считаетъ себя Богъ вѣсть какимъ добродѣтельнымъ человѣкомъ, сердится серьезно, если не замѣчаютъ и не награждаютъ его. „Помилуйте“, говоритъ, „я цѣлый вѣкъ честно жилъ, совсѣмъ почти не дѣлалъ подлостей,—какъ же мнѣ не дадутъ ни чина, ни ордена?“ Нѣтъ, по мнѣ, кто не въ силахъ быть благороднымъ безъ поощренія—не вѣрю я его благородству; не стоитъ гроша его мышиное благородство.

Господинъ А. По крайней мѣрѣ вы мнѣ не откажете въ вашемъ знакомствѣ. Простите мою неотвязчивость; вы сами видите, что она есть слѣдствіе моего искренняго уваженія. Дайте мнѣ вашъ адресъ.

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Вотъ вамъ мой адресъ; но будьте увѣрены, что я не допущу васъ имъ воспользоваться и завтра же поутру явлюсь къ вамъ. Извините меня, я не воспитанъ въ большомъ свѣтѣ и не умѣю говорить... Но встрѣтить такое великодушное вниманіе въ государственномъ человѣкѣ, такое стремленіе къ добру... дай Богъ, чтобы всякій государь былъ окруженъ такими людьми! (Поспѣшно уходитъ).

Господинъ А. (переворачивая въ рукахъ карточку). Я смотрю на эту карточку и на эту неизвѣстную мнѣ фамилію, и какъ-то полно становится на душѣ моей. Это вначалѣ грустное впечатлѣніе разсѣялось само собою. Да хранить тебя Богъ, наша малознаемая нами Россія! Въ глуши, въ забытомъ углу твоёмъ, скрывается подобный перлъ, и, вѣроятно, онъ не одинъ. Они, какъ искры золотой руды, рассыпаны среди грубыхъ и темныхъ ея гранитовъ. Есть глубоко утѣшительное чувство въ семъ явленіи, и душа моя освѣтилась послѣ встрѣчи съ этимъ чиновникомъ, какъ освѣтилась его собственная послѣ представленія комедіи. Прощайте! Благодарю васъ, что вы доставили мнѣ эту встрѣчу. (Уходитъ).

Вдали показывается тоже молодая дама съ мужемъ.

Первая дама. Я видѣла издали, какъ ты смѣялась.

Вторая дама. Да кто же не смѣялся? всѣ смѣялись.

Господинъ Н. А не чувствовали вы никакого грустнаго чувства?

Вторая дама. Признаюсь, мнѣ было, точно, грустно. Я знаю, все это очень вѣрно; я сама тоже видѣла много подобнаго, но при всемъ томъ мнѣ было тяжело.

Господинъ Н. Стало быть, комедія вамъ не понравилась?

Вторая дама. Ну, послушайте, кто жъ это говорить? Я вамъ говорю уже, что я смѣялась отъ всей души, и больше даже, нежели всѣ другіе; я думаю, меня приняли даже за безумную... Но мнѣ было грустно оттого, что хотѣлось бы отдохнуть хоть на одномъ добромъ лицѣ. Это излишество и множество нивкаго...

... Я, я слышала безпрестанно, какъ около насъ кричали: „Это отвратительная насмѣшка надъ Россіей, насмѣшка надъ правительствомъ! Да какъ это позволить? Да что скажетъ народъ?“ А отчего они кричали? Оттого ли, что въ самомъ дѣлѣ думали и чувствовали это?—Извините. Затѣмъ, чтобы произвести шумъ, чтобы запретили пьесу, потому что въ ней, можетъ быть, отыскали кое-что похожее на самихъ себя. Вотъ каковы ваши настоящіе, не театральные рыцари!

Шумъ увеличивается; по всѣмъ лѣстницамъ раадается бѣготня. Вѣдутъ армяки, полушубки, чепцы, нѣмецкіе долгополые кафтаны купцовъ, треугольные шляпы и султаны, шинели всѣхъ родовъ: фризовыя, военныя, поддержанныя и щегольскія—съ бобрами. Толпа сталкиваетъ господина, надѣвающаго въ рукавъ шинель; господинъ посторонивается и продолжаетъ надѣвать ее въ сторонѣ. Показываются въ толпѣ господа и чиновники всѣхъ родовъ и сортовъ. Лакеи въ ливреяхъ прочищаютъ для барынь дорогу. Слышатъ бабій крикъ: „Батюшки, припихнули со всѣхъ сторонъ!“

Молоденькій чиновникъ уклончиваго свойства (подбѣгая къ господину, надѣвающему шинель). Ваше превосходительство, позвольте, я вамъ подержу!

Господинъ въ шинели. А! здравствуй! Ты здѣсь? Пришелъ смотрѣть?

Молоденькій чиновникъ. Да-съ, ваше превосходительство, забавно подмѣчено.

Господинъ въ шинели. Вздоръ! ничего нѣтъ забавнаго!

Молоденькій чиновникъ. Это правда, ваше превосходительство: совсѣмъ ничего нѣтъ.

Господинъ въ шинели. За этакія вещи нужно сѣчь, а не хвалить.

Молоденькій чиновникъ. Это правда, ваше превосходительство!

Господинъ въ шинели. Вотъ, пускаютъ молодыхъ людей въ театръ. Много полезнаго вынесутъ! Вотъ и ты: теперь ужъ, чай, придешь въ канцелярію, прямо грубить станешь?

Молоденькій чиновникъ. Какъ можно, ваше превосходительство!.. Позвольте, я вамъ прочищу дорогу впередъ! (Народу, толкая того и другого). Эй, вы, посторонитесь, генералъ идетъ! (Подходя съ необыкновенною учтивостью къ двумъ щегольски одѣтымъ). Господа, сдѣлайте милость, позвольте пройти генералу!

Голосъ купца. Оно, вотъ изволите видѣть, оно здѣсь больше, такъ сказать, съ моральной стороны. Конечно, бываютъ, такъ сказать, всякіе-съ.

Да вѣдь и то извольте посудить, что и честный человѣкъ, случаемъ придется... А насчетъ моральности, такъ и за дворянами это водится.

Голосъ господина поощрительнаго свойства. Долженъ быть, бестія, пройдоха сочинитель: все извѣдалъ, все знаетъ!

Голосъ сердитаго чиновника, но, какъ видно, опытнаго. Что онъ знаетъ?— чорта онъ знаетъ. И вретъ онъ, вретъ: все это, что ни написалъ онъ, все—враки. И взятки не такъ берутъ, если ужъ пошло на то...

Голосъ другого чиновника изъ толпы. Да что вы говорите: „смѣшно, смѣшно!“ знаете ли отъ чего смѣшно? Вѣдь это все личности. Вѣдь это все онъ вывелъ своихъ бабушекъ да тетушекъ. Вотъ отчего это смѣшно.

Неизвѣстный голосъ. Стой, украли платокъ!

Два офицера, узнавшіе другъ друга, переговариваются черезъ толпу.

Первый. Мишель, ты туда?

Второй. Туда.

Первый. Ну, и я тамъ.

Чиновникъ важной наружности. Я бы все запретилъ. Ничего не нужно печатать. Просвѣщеніемъ пользуйся, читай, а не пиши. Книгъ ужъ довольно написано, больше не нужно.

Голосъ въ народѣ. Что жъ, коли подлець, то и подлець. Не будь подлецомъ, то и не будутъ надъ тобой смѣяться.

Добродушный чиновникъ. А все бы, право, ну, что бы хотъ одного честнаго человѣка выставить! Все плуты, да плуты!

Одинъ изъ народа. Слышь ты, жди меня на перекресткѣ! Я забѣгу, возьму рукавицы.

Одинъ изъ господъ (смотря на часы). Однако скоро часъ. Никогда я такъ повдно не выходилъ изъ театра. (Уходитъ).

Отставшій чиновникъ. Только время даромъ пропало! Нѣтъ, никогда больше не пойду въ театръ! (Уходитъ. Сѣни пустѣютъ).

Авторъ пьесы (выходя). Я услышалъ боже, чѣмъ предполагалъ. Какая пестрая куча толковъ! Счастье комику, который родился среди націи, гдѣ общество еще не слилось въ одну недвижную массу, гдѣ оно не облеклось одной корою стараго предразсудка, заключающаго мысли всѣхъ въ одну и ту же форму и мѣрку, гдѣ что человѣкъ, то и мнѣнье, гдѣ всякій самъ создатель своего характера. Какое разнообразіе въ этихъ мнѣніяхъ, и какъ вездѣ блеснулъ этотъ твердый, ясный русскій умъ! и въ семъ благородномъ стремленіи государственнаго мужа! и въ семъ высокомъ самоотверженіи забившагося въ глушь чиновника! и въ нѣжной красотѣ великодушной женской души! и въ эстетическомъ чувствѣ цѣнителей! и въ простомъ вѣрномъ чутьѣ народа. Какъ даже въ сихъ недоброжелательныхъ осужденіяхъ много того, что нужно знать комику! Какой живой урокъ! Да, я удовлетворенъ. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно: мнѣ жалъ, что никто не замѣтилъ честнаго лица, бывшаго въ моей пьесѣ. Да, было одно честное, благородное лицо, дѣйствовавшее въ ней во все продолженіе ея. Это честное, благородное лицо былъ—*смѣль*. Онъ былъ благороденъ, потому что рѣшился выступить, несмотря на низкое значеніе, которое дается ему въ свѣтѣ. Онъ былъ благороденъ, потому что рѣшился выступить, несмотря на то, что доставилъ обидное прозваніе комику,—прозваніе холоднаго эгоиста, и заставилъ даже усомниться въ присутствіи

нѣжныхъ движеній души его. Никто не вступился за этотъ смѣхъ. Я комикъ, я служилъ ему честно, и потому долженъ стать его заступникомъ. Нѣтъ, смѣхъ значительнѣй и глубже, чѣмъ думаютъ,—не тотъ смѣхъ, который порождается временной раздражительностью, желчнымъ, болѣзненнымъ расположеніемъ характера; не тотъ также легкій смѣхъ, служащій для празднаго развлечения и забавы людей;—но тотъ смѣхъ, который весь излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка,—излетаетъ изъ нея потому, что на днѣ ея заключенъ вѣчно-бьющій родникъ его, который углубляетъ предметъ, заставляетъ выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проникающей силы котораго мелочь и пустота жизни не испугала бы такъ человѣка. Презрѣнное и ничтожное, мимо котораго онъ равнодушно проходитъ всякій день, не возросло бы предъ нимъ въ такой страшной, почти карикатурной силѣ, и онъ не вскрикнулъ бы, содрогаясь: „неужели есть такіе люди?“ тогда какъ, по собственному сознанію его, бываютъ хуже люди. Нѣтъ, несправедливы тѣ, которые говорятъ, будто возмущаетъ смѣхъ. Возмущаетъ только то, что мрачно, а смѣхъ свѣтелъ. Многое бы возмутило человѣка, бывъ представлено въ наготѣ своей: но, озаренное силою смѣха, несетъ оно уже примиреніе въ душу. И тотъ, кто бы понесъ мщеніе противъ злобнаго человѣка, уже почти мирится съ нимъ, видя осмѣянными низкія движенія души его. Несправедливы тѣ, которые говорятъ, что смѣхъ не дѣйствуетъ на тѣхъ, противъ которыхъ устремленъ, и что плутъ первый посмѣется надъ плутомъ, выведеннымъ на сцену: плутъ-потомокъ посмѣется, но плутъ-современникъ не въ силахъ посмѣяться! Онъ слышитъ, что уже у всѣхъ остался неотразимый образъ, что одного низкаго движенія съ его стороны достаточно, чтобы этотъ образъ пошелъ ему въ вѣчное прозвище; а насмѣшки боятся даже тотъ, который уже ничего не боится на свѣтѣ. Нѣтъ, засмѣяться добрымъ, свѣтлымъ смѣхомъ можетъ только одна глубоко-добрая душа. Но не слышать могучей силы такого смѣха: „что смѣшио, то низко“, говоритъ свѣтъ; только тому, что произносится суровымъ, напряженнымъ голосомъ, тому только даютъ названье высокаго. Но, Воже! сколько проходитъ ежедневно людей, для которыхъ нѣтъ вовсе высокаго въ мірѣ! Все, что ни творилось вдохновеніемъ, для нихъ пустяки и побасенки; созданія Шекспира для нихъ побасенки; святыя движенія души—для нихъ побасенки. Нѣтъ, не оскорбленное мелочное самолюбіе писателя заставляетъ меня сказать это, не потому, что мои незрѣлыя, слабыя созданія были сейчасъ названы побасенками,—нѣтъ, я вижу свои пороки и вижу, что достоинъ упрековъ; но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннѣйшія творенія честились именами пустяковъ и побасенокъ, когда всѣ свѣтила и звѣзды міра признавались творцами однихъ пустяковъ и побасенокъ! Ныла душа моя, когда я видѣлъ, какъ много тутъ же, среди самой жизни, безотвѣтныхъ, мертвыхъ обитателей, страшныхъ недвижнымъ холодомъ души своей и безплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на безчувственныхъ ихъ лицахъ не вдрагивалъ даже ни призракъ выраженія отъ того, что повергало въ небесныя слезы глубоко-любящую душу, и не коснѣлъ языкъ ихъ произнести свое вѣчное слово: „побасенки!“ Побасенки!.. А вонъ протекли вѣка. города и народы снеслись и исчезли съ лица земли, какъ дымъ унеслось все, что было, а побасенки живутъ и повторяются понынѣ, и внемлютъ имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрасный старецъ и полный благороднаго стремленія юноша. Побасенки!.. А вонъ стонутъ балконы и перила театровъ: все потряслось съ низу до верху, превратясь въ одно

чувство, въ одинъ мигъ, въ одного человѣка, всѣ люди встрѣтились, какъ братья, въ одномъ душевномъ движеніи, и гремитъ дружнымъ рукоплесканьемъ благодарный гимнъ тому, котораго уже пятьсотъ лѣтъ какъ нѣтъ на свѣтѣ. Слышать ли это въ могилахъ истлѣвшихъ его кости? Отвывается ли душа его, терпѣвшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вонъ, среди сихъ же рядовъ потрясенной толпы, пришелъ удрученный горемъ и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку—и брызнули вдругъ освѣжительныя слезы изъ его очей, и вышелъ онъ примиренный съ жизнью и просить вновь у Неба горя и страданій, чтобы только жить и залиться вновь слезами отъ такихъ побасенокъ. Побасенки!.. Но міръ задремалъ бы безъ такихъ побасенокъ, обмѣла бы жизнь, плѣсенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!.. О, да пребудутъ же вѣчно святы въ потомствѣ имена благосклонно внимавшихъ такимъ побасенкамъ: чудный перстъ Провидѣнія былъ неотлучно надъ главами творцовъ ихъ. Въ минуты даже бѣдъ и гоненій, все, что было благороднѣйшаго въ государствахъ, становилось прежде всего ихъ заступникомъ: Вѣнчаннй Монархъ осѣнял ихъ царскимъ щитомъ своимъ съ вышины недоступнаго престола.

Водрѣй же въ путь! И да не смутится душа отъ осужденій, но да приметъ благодарно указанья недостатковъ, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеніяхъ и въ святой любви къ человѣчеству! Міръ—какъ водоворотъ: движутся въ немъ вѣчно мнѣнія и толки, но все переламинаетъ время: какъ шелуха, слетаютъ ложныя, и, какъ твердыя зерна, остаются недвижны истины. Что признавалось пустымъ, можетъ явиться потомъ вооруженное строгимъ значеніемъ. Въ глубинѣ холоднаго смѣха могутъ отыскаться горячія искры вѣчной могучей любви. И, почему знать, можетъ быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ, какъ исполинъ, среди бѣдъ,—въ силу тѣхъ же самыхъ законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ!..

Портретъ.

Одинъ бѣдный художникъ на Пушкиномъ дворѣ купилъ за послѣдній двугривенный портретъ старика. Принеся покупку домой, онъ задумался о своей бѣдности.

Молодой Чартевъ былъ художникъ съ талантомъ, пророчившимъ многое: вспышками и мгновеніями, его кисть отзывалась наблюдательностью, соображеніемъ, шибкимъ порывомъ приблизиться къ природѣ. „Смотри, братъ“, говорилъ ему не разъ его профессоръ: „у тебя есть талантъ; грѣшно будетъ, если ты его погубишь; но ты нетерпѣливъ; тебя одно что-нибудь заманитъ, одно что-нибудь тебѣ полюбится—ты имъ занятъ, а прочее у тебя дрянъ, прочее тебѣ нипочемъ, ты ужъ и глядѣть на него не хочешь. Смотри, чтобы изъ тебя не вышелъ модный живописецъ: у тебя и теперь уже что-то начинаютъ слишкомъ бойко кричать краски; рисунокъ у тебя не строгъ, а подчасъ и вовсе слабъ, линия не видна; ты ужъ гоняешься за моднымъ освѣщеніемъ, за тѣмъ, что бьетъ на первые глаза—смотри, какъ

разъ попадешь въ аглицкій родъ. Берегись: тебя ужъ начинается свѣтъ тянуть; ужъ, я вижу, у тебя иной разъ на шеѣ щегольской платокъ, шляпа съ лоскомъ... Оно заманчиво, можно пустяться писать модныя картинки и портретики за деньги; да вѣдь на этомъ губится, а не разворачивается талантъ. Терпи. Обдумывай всякую работу; брось щегольство—пусть ихъ другіе набираютъ деньги,—твое отъ тебя не уйдетъ“.

Профессоръ былъ отчасти правъ. Иногда нашему художнику, точно, хотѣлось кутнуть, щегольнуть,—словомъ, кое-гдѣ показать свою молодость; но при всемъ томъ онъ могъ взять надъ собою власть. Временами онъ могъ позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе, какъ отъ прекраснаго прерваннаго сна. Вкусъ его развивался замѣтно. Еще не понималъ онъ всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвиды, останавливался передъ портретами Тиціана, восхищался фламандцами. Еще потемнѣвшій обликъ, облекающій старыя картины, не весь сошелъ предъ нимъ, но онъ ужъ прозрѣвалъ въ нихъ кое-что, хотя внутренно не соглашался съ профессоромъ, чтобы старинные мастера такъ недосыгаемо ушли отъ насъ: ему казалось даже, что девятнадцатый вѣкъ кое въ чемъ значительно ихъ опередилъ, что подражаніе природѣ какъ-то сдѣлалось теперь ярче, живѣе, ближе; словомъ, онъ думалъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ думаетъ молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это въ гордомъ внутреннемъ сознаніи. Иногда становилось ему досадно, когда онъ видѣлъ, какъ заѣзжій живописецъ, французъ или нѣмецъ, иногда даже вовсе не живописецъ по призванію, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красокъ производилъ всеобщій шумъ и накоплялъ себѣ вмигъ денежный капиталъ. Это приходило къ нему на умъ не тогда, когда, занятый весь своей работой, онъ забывалъ и питье, и пищу, и весь свѣтъ, но тогда, когда, наконецъ, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красокъ, когда неотвязчивый хозяинъ приходилъ разъ по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась въ голодномъ его воображеніи участь богача-живописца; тогда пробѣгала даже мысль, пробѣгающая часто въ русской головѣ—бросить все и закутить съ горя, на-зло всему. И теперь онъ почти былъ въ такомъ положеніи.

„Да, терпи, терпи!“ произнесъ онъ съ досадою: „есть же, наконецъ, и терпѣнью конецъ. Терпи! а на какія деньги я буду завтра обѣдать? Взаимы вѣдь никто не дастъ. А понеси я продавать всѣ мои картины и рисунки: за нихъ мнѣ за всѣ двугривенный дадутъ. Они полезны, конечно; я это чувствую: каждая изъ нихъ была предпринята не даромъ, въ каждой изъ нихъ я что-нибудь узналъ. Да вѣдь что пользы? этюды, попытки—и все будутъ этюды, попытки,—и конца не будетъ имъ. Да и кто купить, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки съ антиксовъ и натурнаго класса, или моя неконченная „Любовь Психеи“, или перспектива моей комнаты, или портретъ моего Никиты, хотя онъ, право, лучше портретовъ какого-нибудь моднаго живописца? Чтѣ въ самомъ дѣлѣ? Зачѣмъ я мучусь я, какъ ученикъ, копаюсь надъ азбукой, тогда какъ могъ бы блеснуть ничѣмъ не хуже другихъ и быть такъ же, какъ они, съ деньгами?“

Произнесши это, художникъ вдругъ задрожалъ и поблѣднѣлъ: на него глядѣло, высунувшись изъ-за поставленнаго холста, чье-то судорожно искаженное лицо; два страшныхъ глаза прямо вперились въ него, какъ бы готовясь сожрать его; на устахъ написано было грозное повелѣніе молчать.

Испуганный, онъ хотѣлъ вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успѣлъ запустить въ своей передней богатырское храпѣнье; но вдругъ остановился и засмѣялся; чувство страха отлегло вмѣгнѣ: это былъ имъ купленный портретъ, о которомъ онъ позабылъ вовсе. Сіянѣ мѣсяца, озабившее комнату, упало на него и сообщило ему странную живость. Онъ принялся его разсматривать и оттирать. Обмакнувъ въ воду губку, прошелъ ею по немъ нѣсколько разъ, смылъ съ него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повѣсилъ передъ собой на стѣну и подивился еще болѣе необыкновенной работѣ: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него такъ, что онъ, наконецъ, вздрогнулъ и, попятившись назадъ, промолвилъ изумленнымъ голосомъ: „Глядитъ, глядитъ человѣческими глазами.“ Ему пришла вдругъ на умъ исторія, слышанная имъ давно отъ своего профессора объ одномъ портретѣ знаменитаго Леонарда да-Винчи, надъ которымъ великій мастеръ трудился нѣсколько лѣтъ и все еще почиталъ его неоконченнымъ, и который, по словамъ Вазари, былъ однакоже почтенъ отъ всѣхъ за совершеннѣйшее и оконченнѣйшее произведеніе искусства. Оконченнѣе всего были въ немъ глаза, которымъ изумлялись современники: даже малѣйшія, чуть видныя въ нихъ, жилки были не упущены и переданы полотну. Но здѣсь, однакоже, въ этомъ, нынѣ бывшемъ передъ нимъ, портретѣ было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонію самаго портрета; это были живые, это были человѣческіе глаза! Казалось, какъ будто они были вырваны изъ живого человѣка и вставлены сюда. Здѣсь не было уже того высокаго наслажденія, которое объемлетъ душу при взглядѣ на произведеніе художника, какъ ни ужасенъ ввѣтый имъ предметъ: здѣсь было какое-то болѣзненное, томительное чувство. „Что это?“ невольно вопрошалъ себя художникъ: „вѣдь это, однакоже, натура, это живая натура; отчего же это странно-непріятное чувство? Или рабское, буквальное подраженіе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ, нестройнымъ крикомъ? Или, если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, не сочувствуя съ нимъ, онъ непремѣнно представитъ только въ одной ужасной своей дѣйствительности, не озаренный свѣтомъ какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, представитъ въ той дѣйствительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность—и видишь отвратительнаго человѣка? Почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ-то свѣтѣ—и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнія; напротивъ, кажется, какъ будто наслаждался, и послѣ того спокойнѣе и ровнѣе все течетъ и движется вокругъ тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочимъ, онъ такъ же былъ вѣренъ природѣ? Но нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ въ ней чего-то озадряющаго. Все равно, какъ видѣть въ природѣ: какъ онъ ни великолѣпенъ, а все недостаетъ чего-то, если нѣтъ на небѣ солнца“.

Ему сдѣлалось страшно; ночью ему привидѣлся сонъ, будто старикъ вышелъ изъ рамы и принесъ ему 1000 червонныхъ.

Холодный потъ облилъ его всего; сердце его билось такъ сильно, какъ только можно было биться; грудь была стѣснена, какъ будто хотѣло улетѣть изъ нея послѣднее дыханье. „Неужели это былъ сонъ?“ сказалъ онъ, взявши себя обѣими руками за голову. Но страшная живость явленія не была по-

хожа на сонъ. Онъ видѣлъ, уже пробудившись, какъ старикъ ушелъ въ рамки, мелкнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту предъ симъ какую-то тяжесть. Свѣтъ мѣсяца озарялъ комнату, заставляя выступать изъ темныхъ угловъ ея—гдѣ холстъ, гдѣ гипсовую руку, гдѣ оставленную на стулѣ драпировку, гдѣ панталоны и нечищенные сапоги. Тутъ только замѣтилъ онъ, что не лежитъ въ постели, а стоитъ на ногахъ передъ портретомъ. Какъ онъ добрался сюда—ужъ этого никакъ не могъ онъ понять. Еще болѣе изумило его, что портретъ былъ открытъ весь, и простыни на немъ, дѣйствительно, не было. Съ неподвижнымъ страхомъ глядѣлъ онъ на него и видѣлъ, какъ прямо вперились въ него живые человѣческіе глаза. Холодный потъ выступилъ на лицѣ его; онъ хотѣлъ отойти, но чувствовалъ, что ноги его какъ будто приросли къ землѣ. И видитъ онъ,—это уже не сонъ,—черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться къ нему, какъ будто бы хотѣли его высосать... Съ воплемъ отчаянья отскочилъ онъ—и проснулся.

„Неужели и это былъ сонъ?“ Съ бьющимся на разрывъ сердцемъ опупалъ онъ руками вокругъ себя. Да, онъ лежитъ на постели, въ такомъ точно положеніи, какъ заснулъ. Предъ нимъ ширмы, свѣтъ мѣсяца наполняетъ комнату. Сквозь щель въ ширмахъ виденъ былъ портретъ, закрытый, какъ слѣдуетъ, простынею, такъ, какъ онъ самъ закрылъ его. Итакъ, это былъ тоже сонъ! Но сжатая рука еще чувствуетъ, какъ будто бы въ ней что-то было. Біеніе сердца было сильно, почти страшно; тягость въ груди невыносимая. Онъ вперилъ глаза въ щель и пристально глядѣлъ на простыню. И вотъ видитъ ясно, что простыня начинаетъ раскрываться, какъ будто бы подъ нею барахтались руки и силились ее сбросить. „Господи, Боже мой, что это!“ вскрикнулъ онъ, крестясь отчаянно,—и проснулся.

Утромъ явился полицейскій выселять художника за неплатежъ изъ квартиры.

„А это чей портретъ?“ продолжалъ онъ, подходя къ портрету старика. „Ужъ страшенъ слишкомъ. Будто онъ въ самомъ дѣлѣ былъ такой страшный? Ахти, да онъ, просто, глядитъ! Эхъ, какой Громобой! Съ кого вы писали?“

„А, это съ одного...“ сказалъ Чартковъ, и не кончилъ слова: послышался трескъ. Квартальный пожалъ, видно, слишкомъ крѣпко рамку портрета, благодаря топорному устройству полицейскихъ рукъ своихъ; боковые дощечки вломились внутрь; одна упала на полъ, и вмѣстѣ съ нею упалъ, тяжело звякнувъ, свертокъ въ синей бумагѣ, Чарткову бросилась въ глаза надпись: „1000 червонныхъ“. Какъ безумный, бросился онъ поднять его, схватилъ свертокъ, сжалъ его судорожно въ рукѣ, опустившейся внизъ отъ тяжести.

Благодаря этимъ деньгамъ, ему удалось выйти въ „люди“; о немъ заговорили, какъ о замѣчательномъ художникѣ въ журналахъ; онъ завелъ себѣ богатую квартиру; сдѣлался „моднымъ“ живописцемъ.

Однажды онъ написалъ портретъ дѣвушки, которымъ сумѣлъ удачно ей польстить.

Портретъ произвелъ по городу шумъ. Дама показала его пріятельницамъ: всѣ изумлялись искусству, съ какимъ художникъ умѣлъ сохранить сходство и вмѣстѣ съ тѣмъ придать красоту оригиналу. Последнее замѣ-

чено было, разумѣется, не безъ легкой краски зависти въ лицѣ. И художникъ вдругъ былъ осажденъ работами. Казалось, весь городъ хотѣлъ у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонокъ. Съ одной стороны, это могло быть хорошо, предоставляя ему безконечную практику разнообразіемъ, множествомъ лицъ. Но, на бѣду, это все былъ народъ, съ которымъ было трудно ладить,—народъ торопливый, занятый, или же принадлежащій свѣту, стало-быть, еще болѣе занятый, чѣмъ всякій другой, и потому нетерпѣливый до крайности. Со всѣхъ сторонъ только требовали, чтобъ было хорошо и скоро. Художникъ увидѣлъ, что оканчивать рѣшительно было невозможно, что все нужно было замѣнить ловкостью и быстрой бойкостью кисти,—схватывать одно только цѣлое, одно общее выраженіе и не углубляться кистью въ утонченныя подробности,—однимъ словомъ, слѣдить природу въ ея окончанности было рѣшительно невозможно. Притомъ, нужно прибавить, что у всѣхъ почти писавшихся много было другихъ притязаній на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характеръ изображались въ портретахъ, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить всѣ углы, облегчить всѣ изъясны, и даже, если можно, набѣжать ихъ вовсе,—словомъ, чтобы на лицо можно было засмотрѣться, если даже не совершенно влюбиться. И вслѣдствіе этого, сядя писаться, онъ принималъ иногда такіа выраженія, которыя приводили въ изумленіе художника: та старалась изобразить въ лицѣ своемъ меланхолію, другая мечтательность, третья, во что бы ни стало, хотѣла уменьшить ротъ и сжимала его до такой степени, что онъ обращался, наконецъ, въ одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали отъ него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничѣмъ не лучше дамъ: одинъ требовалъ себя изобразить въ сильномъ энергическомъ поворотѣ головы; другой съ поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейскій поручикъ требовалъ непременно, чтобы въ глазахъ виденъ былъ Марсъ; гражданскій чиновникъ норовилъ такъ, чтобы побольше было прямоты и благородства въ лицѣ, и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: „Всегда стоялъ за правду“. Сначала художника бросали въ потъ такіа требованія: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тѣмъ сроку давалось очень немного. Наконецъ, онъ добрался, въ чемъ было дѣло, и ужъ не затруднялся нисколько. Даже изъ двухъ, трехъ словъ смекалъ впередъ, кто чѣмъ хотѣлъ изобразить себя. Кто хотѣлъ Марса, онъ ему въ лицо совалъ Марса; кто мѣтилъ въ Байроны, онъ давалъ ему байроновское положеніе и поворотъ. Коринной ли, Ундиной, Аспазіей ли желали быть дамы, онъ съ большой охотой соглашался на все и прибавлялъ отъ себя уже всякому въдоволь благообразіа, которое, какъ извѣстно, нигдѣ не подгадить, и за что простятъ иногда художнику и самое несходство. Скоро онъ уже самъ началъ дивиться чудной быстротѣ и бойкости своей кисти. А писавшіеся, само собою разумѣется, были въ восторгѣ и провозглашали его геніемъ.

Чартевъ сдѣлался богачомъ и моднымъ живописцемъ; искусство онъ забросилъ, сдѣлался ремесленникомъ; старался больше всего угодить вкусамъ толпы, повелъ роскошную свѣтскую жизнь.

Однажды онъ увидѣлъ произведеніе художника, который не гонялся за живою, а служилъ чистому искусству.

Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству, съ пламенной ду-

шою труженика погрузился въ него всей душою своею, оторвался отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ и помчался туда, гдѣ въ виду прекрасныхъ небесъ спѣетъ величавый разсадникъ искусствъ,—въ тотъ чудный Римъ, при имени котораго такъ полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Тамъ, какъ отшельникъ, погрузился онъ въ трудъ и въ неразвлекаемыя ничѣмъ занятія. Ему не было до того дѣла, толковали ли о его характерѣ, о его неумѣннѣ обращаться съ людьми, о несоблюденіи свѣтскихъ приличій, объ униженіи, которое онъ причинялъ званію художника своимъ скуднымъ, нещегоольскимъ нарядомъ. Ему не было нужды, сердилась ли или нѣтъ на него его братья. Всѣмъ пренебрегъ онъ, все отдалъ искусству. Неутомимо посѣщалъ галереи, по цѣлымъ часамъ заставлялся передъ произведеніями великихъ мастеровъ, лова и преслѣдуя чудную кисть. Ничего онъ не оканчивалъ безъ того, чтобы не повѣрить себя нѣсколько разъ съ сими великими учителями и чтобы не прочесть въ ихъ созданіяхъ безмолвнаго и краснорѣчиваго себѣ совѣта. Онъ не входилъ въ шумныя бесѣды и споры; онъ не стоялъ ни за пуристовъ, ни противъ пуристовъ. Онъ равно всему отдавалъ должную ему часть, извлекая изъ всего только то, что было въ немъ прекрасно, и, наконецъ, оставилъ себѣ въ учителѣ одного божественнаго Рафаэля,—подобно, какъ великій поэтъ-художникъ, перечитавшій много всякихъ твореній, исполненныхъ многихъ прелестей и величавыхъ красотъ, оставлялъ, наконецъ, себѣ настольною книгою одну только Иліаду Гомера, открывъ, что въ ней все есть, чего хочешь, и нѣтъ ничего, что бы не отразилось уже здѣсь въ такомъ глубокомъ и великомъ совершенствѣ. И зато вынесъ онъ изъ своей школы величавую идею созданія, могучую красоту мысли, высокую перелестъ небесной кисти.

Вошедши въ залу, Чартковъ нашелъ уже цѣлую огромную толпу посѣтителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многолюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Онъ посѣпшилъ принять значительную фізіогномію знатока и приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло предъ нимъ произведеніе художника. Скромно, божественно, невинно и просто, какъ гений, возносилося оно надъ всѣмъ. Казалось, небесныя фигуры, изумленные столькими устремленными на нихъ взорами, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Съ чувствомъ невольнаго изумленія соверщали знатоки новую, невиданную кисть. Все тутъ, казалось, соединилось вмѣстѣ: изученіе Рафаэля, отраженное въ высокомъ благородствѣ положеній, изученіе Корреджіа, дышавшее въ окончателномъ совершенствѣ кисти. Но влательствѣй всего видна была сила созданія, уже заключенная въ душѣ самого художника. Послѣдній предметъ въ картинѣ былъ имъ проникнутъ; во всемъ постигнутъ законъ и внутренняя сила; вездѣ уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная въ природѣ, которую видитъ только одинъ глазъ художника-создателя и которая выходитъ углами у кописта. Видно было, какъ все извлеченное изъ внѣшняго міра художникъ заключилъ сперва себѣ въ душу и уже оттуда, изъ душевнаго родника, устремилъ его одной согласной, торжественной пѣснью. И стало ясно даже непосвященнымъ, какая неизмѣримая пропасть существуетъ между созданіемъ и простой копіей съ природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объаты всѣ, вперившіе глаза на картину—ни шелеста, ни звука; а картина между тѣмъ ежеминутно казалась

выше и выше: свѣтлѣй и чудеснѣй отдѣлялась ото всего и вся превратилась, наконецъ, въ одинъ мигъ, плодъ налетѣвшей съ небесъ на художника мысли,—мигъ, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно только приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружившихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію.

Пораженный картиной, Чартковъ рѣшился бросить свое служеніе золоту и взяться за истинное искусство. Но изъ этого ничего не вышло: искусство измѣнилось ему, какъ онъ измѣнился ему.

Но какъ безпощадно-неблагодарно было все то, что выходило изъ-подъ его кисти! На каждомъ шагѣ онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой незначашій механизмъ охлаждалъ весь порывъ и стоялъ перескочимымъ порогомъ для воображенія. Кисть невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смѣла сдѣлать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотѣли повиноваться и драпироваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и видѣлъ это самъ!

„Но точно ли былъ у меня талантъ?“ сказалъ онъ наконецъ: „не обманулся ли я?“ И, проивнеши эти слова, онъ подошелъ къ прежнимъ своимъ произведеніямъ, которыя работали когда-то такъ чисто, такъ безкорыстно, тамъ, въ бѣдной лачужкѣ, на уединенномъ Васильевскомъ островѣ, вдали людей, изобилія и всякихъ прихотей. Онъ подошелъ теперь къ нимъ и сталъ внимательно разсматривать ихъ всѣ, и вмѣстѣ съ ними стала представлять въ его памяти вся прежняя бѣдная жизнь его. „Да“, проговорилъ онъ отчаянно: „у меня былъ талантъ! Вездѣ, на всемъ видны его признаки и слѣды...“

Онъ вспомнилъ, что пристрастился къ золоту подъ впечатлѣніемъ тѣхъ денегъ, которыя онъ получилъ, благодаря покупкѣ портрета. Видя, что художественный талантъ его несякъ, онъ сталъ скупать и уничтожать всѣ лучшія произведенія художества. Наконецъ, онъ умеръ.

Во время аукціона, на которомъ продавались его вещи, два любителя картинъ хотѣли купить старый портретъ ростовщика.

Они горячились и набили бы, вѣроятно, пѣну до невозможности, если бы вдругъ одинъ изъ тутъ же разсматривавшихъ не произнесъ: „Позвольте мнѣ прекратить на время вашъ споръ: я, можетъ быть, болѣе, чѣмъ всякій другой, имѣю право на этотъ портретъ“.

Слова эти вмигъ обратили на него вниманіе всѣхъ. Это былъ стройный человѣкъ, лѣтъ тридцати пяти, съ длинными черными кудрями. Пріятное лицо, исполненное какой-то свѣтлой беззаботности, показывало душу, чуждую всѣхъ томящихъ свѣтскихъ потрясеній; въ нарядѣ его не было никакихъ притязаній на моду: все показывало въ немъ артиста. Это былъ, точно, художникъ Б., знаемый лично многими изъ присутствовавшихъ.

„Какъ ни странно вамъ покажутся слова мои“, — продолжалъ онъ, видя устремившееся на себя всеобщее вниманіе, — „но, если вы рѣшитесь выслушать небольшую исторію, можетъ быть, вы увидите, что я былъ въ правѣ произнести ихъ. Все меня убѣждаетъ, что портретъ есть тотъ самый, котораго я ищу“.

Весьма естественное любопытство загорѣлось почти на лицахъ всѣхъ, и самъ аукціонистъ, разинувъ ротъ, остановился съ поднятымъ въ рукѣ молоткомъ, приготовляясь слушать. Въ началѣ разсказа многіе обращались невольно глазами къ портрету, но потомъ всѣ вперились въ одного рассказчика, по мѣрѣ того, какъ разсказъ его становился занимательнѣй.

Онъ сталъ рассказывать объ одномъ ростовщикѣ, жившемъ въ Коломенѣ; о немъ всѣ мѣстные жители рассказывали разные ужасы, но это не мѣшало ему брать высокіе проценты съ людей, ищущихъ золота.

Никто не сомнѣвался о присутствіи нечистой силы въ этомъ человѣкѣ. Говорили, что онъ предлагалъ такія условія, отъ которыхъ дыбомъ подымались волосы и которыхъ никогда потомъ не посмѣлъ несчастный передавать другому; что деньги его имѣютъ прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носятъ какіе-то странные значки... словомъ, много было о немъ всякихъ нелѣпыхъ толковъ. И замѣчательно то, что все это коломенское населеніе, весь этотъ міръ бѣдныхъ старухъ, мелкихъ чиновниковъ, мелкихъ артистовъ и, словомъ, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпѣть и выносить послѣднюю крайность, чѣмъ обратиться къ страшному ростовщику; находили даже околѣвшихъ отъ голода старухъ, которыя лучше соглашались умертвить свое тѣло, чѣмъ погубить душу. Встрѣчаясь съ нимъ на улицѣ, невольно чувствовали страхъ. Пѣшеходъ осторожно пятился и долго еще озирался послѣ того назадъ, слѣдя пропадавшую вдаль его непомѣрно высокую фигуру. Въ одномъ уже образѣ было столько необыкновеннаго, что всякаго заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существованіе. Эти сильныя черты, врѣзанныя такъ глубоко, какъ не случается у человѣка; этотъ горячій, бронзовый цвѣтъ лица; эта непомѣрная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самыя широкія складки его азіатской одежды, — все, казалось, какъ будто говорило, что предъ страстями, двигавшимися въ этомъ тѣлѣ, были блѣдны всѣ страсти другихъ людей. Отецъ мой всякій разъ останавливался неподвижно, когда встрѣчалъ его, и всякій разъ не могъ удержаться, чтобы не произнести: „Дьяволъ, совершенный дьяволъ!“ Но надобно васъ поскорѣе познакомить съ моимъ отцомъ, который, между прочимъ, есть настоящій сюжетъ этой исторіи.

„Отецъ мой былъ человѣкъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ. Это былъ художникъ, какихъ мало,—одно изъ тѣхъ чудъ, которыхъ извергаетъ изъ непечатаго лона своего только одна Русь, художникъ-самоучка, отыскавшій самъ въ душѣ своей, безъ учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедшій, по причинамъ, можетъ быть, неизвѣстнымъ ему самому, одной только указанной изъ души дорожкой.

И внутреннее чувство, и собственное убѣжденіе обратили кисть его къ христіанскимъ предметамъ, высшей и послѣдней ступени высокаго. У него не было честолюбія или раздражительности столь неотлучной отъ характера многіхъ художниковъ. Это былъ твердый характеръ, честный, прямой человѣкъ, даже грубый, покрытый снаружи нѣсколько черствой корою, не безъ нѣкоторой гордости въ душѣ, отзывавшійся о людяхъ вмѣстѣ и снисходительно, и рѣзко. «Что на нихъ глядѣть?» обыкновенно говорилъ онъ: „вѣдь я не для нихъ работаю. Не въ гостиную понесу я мои картины. Кто пойметъ меня—поблагодаритъ; не пойметъ—все-таки помолится Богу. Свѣт-

скаго человѣка нечего винить, что онъ не смыслить живописи: зато онъ смыслить въ картахъ, знаетъ толкъ въ хорошемъ винѣ, въ лошадахъ—зачѣмъ знать больше барину? Еще, пожалуй, какъ попробуетъ того да другого, да пойдетъ умничать, тогда и житья отъ него не будетъ! Всякому свое, всякій пусть занимается своимъ. По мнѣ, ужъ лучше тотъ человѣкъ, который говоритъ прямо, что онъ не знаетъ толку, чѣмъ тотъ, который лицемѣритъ: говорить, будто бы знаетъ то, чего не знаетъ, и только гадить да портить“. Онъ работалъ за небольшую плату, то есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанія семейства и для доставленія возможности трудиться. Кромѣ того, онъ ни въ какомъ случаѣ не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бѣдному художнику; вѣровалъ простой, благочестивой вѣрою предковъ, и оттого, можетъ-быть, на изображенныхъ имъ лицахъ являлось само собою то высокое выраженіе, до котораго не могли докопаться блестящіе таланты. Наконецъ, постоянствомъ своего труда и неуклонностью начертаннаго себѣ пути онъ сталъ даже приобретать уваженіе со стороны тѣхъ, которые честили его невѣждой и доморощеннымъ самоучкой. Ему давали безпрестанные заказы въ церкви—и работа у него не переводилась. Одна изъ работъ заняла его сильно. Не помню уже, въ чемъ именно состоялъ сюжетъ ея, знаю только то—на картинѣ нужно было помѣстить духа тьмы. Долго думалъ онъ надъ тѣмъ, какой дать ему образъ: ему хотѣлось осуществить въ лицѣ его все тяжелое, гнетущее человѣка. При такихъ размышленіяхъ иногда проносился въ головѣ его образъ таинственнаго ростовщика, и онъ думалъ невольно: „Вотъ бы съ кого мнѣ слѣдовало написать дьявола!“ Судите же объ его изумленіи, когда одинъ разъ, работая въ своей мастерской, услышалъ онъ стукъ въ дверь, и вслѣдъ затѣмъ прямо вошелъ къ нему ужасный ростовщикъ. Онъ не могъ не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробѣжала невольно по его тѣлу.

„Ты художникъ?“ сказалъ онъ безъ всякихъ церемоній моему отцу.

„Художникъ“, сказалъ отецъ въ недоумѣніи, ожидая, чтó будетъ далѣе.

„Хорошо. Нарисуй съ меня портретъ. Я, можетъ быть, скоро умру, дѣтей у меня нѣтъ; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портретъ, чтобы былъ совершенно какъ живой?“

„Отецъ мой подумалъ: „Чего лучше? онъ самъ просится въ дьяволы ко мнѣ на картину“. Далъ слово. Они уговорились во времени и цѣнѣ, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отецъ мой уже былъ у него. Высокій дворъ, собаки, желѣзныя двери и затворы, дугообразныя окна, сундуки, покрытые странными коврами и, наконецъ, самъ необыкновенный хозяинъ, сѣвшій неподвижно передъ нимъ,—все это произвело на него странное впечатлѣніе. Окна, какъ нарочно, были заставлены и загромождены снизу такъ, что дали свѣтъ только съ одной верхушки. „Чортъ побери, какъ теперь хорошо освѣтилось его лицо!“ сказалъ онъ про себя и принялся жадно писать, какъ бы опасаясь, чтобы какъ-нибудь не исчезло счастливое освѣщеніе. „Экая сила“, повторялъ онъ про себя: „если я хотя вполонину изображу его такъ, какъ онъ есть теперь, онъ убьетъ всѣхъ моихъ святыхъ и ангеловъ: они поблѣднѣютъ предъ нимъ. Какая дьявольская сила! онъ у меня, просто, выскочитъ изъ полотна, если только хоть немного буду вѣренъ натурѣ. Какія необыкновенныя черты!“ повторялъ онъ безпрестанно, усугубляя рвеніе, и уже видѣлъ самъ, какъ стали перехо-

дять на полотно нѣкоторыя черты. Но чѣмъ болѣе онъ приближался къ нимъ, тѣмъ болѣе чувствовалъ какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себѣ самому. Однако же, несмотря на то, онъ положилъ себѣ преслѣдовать съ буквальнойю точностью всякую незамѣтную черту и выраженіе. Прежде всего занялся онъ отдѣлкою глазъ. Въ этихъ глазахъ столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать ихъ такъ, какъ были въ натурѣ. Однакоже, во что бы то ни стало, онъ рѣшился доискаться въ нихъ послѣдней мелкой черты и оттѣнка, постигнуть ихъ тайну... Но какъ только началъ онъ входить и углубляться въ нихъ кистью, въ душѣ его возродилось такое странное отвращеніе, такая непонятная тягость, что онъ долженъ былъ на нѣсколько времени бросить кисть и потомъ приниматься вновь. Наконецъ, уже не могъ онъ болѣе выносить: онъ чувствовалъ, что эти глаза вонзились ему въ душу и производили въ ней тревогу непостижимую. На другой, на третій день это было еще сильнѣе. Ему сдѣлалось страшно. Онъ бросилъ кисть и сказалъ наотрѣвъ, что не можетъ болѣе писать съ него. Надобно было видѣть, какъ измѣнились при этихъ словахъ страшный ростовщикъ. Онъ бросился къ нему въ ноги и молилъ кончить портретъ, говоря, что отъ этого зависить судьба его и существованіе въ мірѣ; что уже онъ тронулъ своею кистью его живыя черты; что если онъ передастъ ихъ вѣрно, жизнь его сверхъестественною силою удержится въ портретѣ; что онъ чрезъ то не умретъ совершенно; что ему нужно присутствовать въ мірѣ. Отецъ мой почувствовалъ ужасъ отъ такихъ словъ: они ему показались до того странны и страшны, что онъ бросилъ и кисти, и палитру, и бросился опрометью вонъ изъ комнаты.

„Мысль о томъ тревожила его весь день и всю ночь; а поутру онъ получилъ отъ ростовщика портретъ, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него въ услугахъ, объявившая тутъ же, что хозяинъ не хочетъ портрета, не даетъ за него ничего и присылаетъ назадъ. Вечеру того же дня узналъ онъ, что ростовщикъ умеръ и что собираются уже хоронить его по обрядамъ его религіи. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тѣмъ съ этого времени оказалась въ характерѣ его ошутительная перемѣна: онъ чувствовалъ беспокойное, тревожное состояніе, которому самъ не могъ понять причины, и скоро сдѣлалъ онъ такой поступокъ, котораго бы никто не могъ отъ него ожидать. Съ нѣкотораго времени труды одного изъ учениковъ его начали привлекать вниманіе небольшого круга знатоковъ и любителей. Отецъ мой всегда видѣлъ въ немъ талантъ и оказывалъ ему за то свое особенное расположеніе. Вдругъ почувствовалъ онъ къ нему зависть. Всеобщее участіе и толки о немъ сдѣлались ему невыносимы. Наконецъ къ довершенію досады, узнаетъ онъ, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. „Нѣтъ, не дамъ же молокососу восторжествовать!“ говорилъ онъ: „рано, братъ, вадумалъ стариковъ сажать въ грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вотъ мы увидимъ, кто кого скорѣе посадить въ грязь“. И прямодушный, чистый въ душѣ человѣкъ употребилъ интриги и происки, которыми дотошъ всегда гнушался; добился, наконецъ, того, что на картину объявленъ былъ конкурсъ и другіе художники могли войти также съ своими работами, послѣ чего заперся онъ въ свою комнату и съ жаромъ принялся за кисть. Казалось, всѣ свои силы, всего себя хотѣлъ онъ сюда собрать. И, точно, это вышло одно изъ лучшихъ его произведеній. Никто не сомнѣвался, чтобы не за нимъ осталось первенство. Картины были

представлены, и всё прочія показались предъ нею, какъ ночь предъ днемъ. Какъ вдругъ одинъ изъ присутствовавшихъ членовъ, если не ошибаюсь, духовная особа, сдѣлалъ замѣчаніе, поразившее всѣхъ. „Въ картинѣ художника, точно, есть много таланта“, сказалъ онъ: „но нѣтъ святости въ лицахъ; есть даже, напротивъ того, что-то демонское въ глазахъ, какъ будто бы рукою художника водило нечистое чувство“. Всѣ взглянули и не могли не убѣдиться въ истинѣ этихъ словъ. Отецъ мой бросился впередъ къ своей картинѣ, какъ бы съ тѣмъ, чтобы повѣрить самому такое обидное замѣчаніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ всѣмъ почти фигурамъ придалъ глаза ростовщика. Они такъ глядѣли демонски-сокрушительно, что онъ самъ невольно вадрогнулъ. Картина была отвергнута, и онъ долженъ былъ, къ неописанной своей досадѣ, услышать, что первенство осталось за его ученикомъ. Невозможно было описать того бѣшенства, съ которымъ онъ возвратился домой. Онъ чуть не прибилъ мать мою, разогналъ дѣтей, переломалъ кисти и мольбертъ, схватилъ со стѣны портретъ ростовщика, потребовалъ ножъ и велѣлъ разложить огонь въ каминѣ, намѣреваясь изрѣзать его въ куски и сжечь. На этомъ движеніи засталъ его вошедшій въ комнату пріятель, живописецъ, какъ и онъ, весельчакъ, всегда довольный собой, не заюсавшійся никакими отдаленными желаніями, работавшій весело все, что попадалось, и еще веселѣй того принимавшійся за обѣдъ и пирушку.

„Что ты дѣлаешь? что собираешься жечь?“ сказалъ онъ и подошелъ къ портрету. „Помилуй, это одно изъ самыхъ лучшихъ твоихъ произведеній. Это ростовщикъ, который недавно умеръ; да это совершеннѣйшая вещь. Ты ему, просто, попалъ не въ бровь, а въ самые глаза залѣзъ. Такъ въ жизни никогда не глядѣли глаза, какъ они глядятъ у тебя“.

„А вотъ я посмотрю, какъ они будутъ глядѣть въ огнѣ!“ сказалъ отецъ, сдѣлавши движеніе швырнуть портретъ въ каминъ.

„Остановись, ради Бога!“ сказалъ пріятель, удержавъ его: „отдай его ужъ лучше мнѣ, если онъ тебѣ до такой степени колетъ глаза“.

Отецъ сначала упорствовалъ, наконецъ согласился, и весельчакъ чрезвычайно довольный своимъ приобретеніемъ, утащилъ портретъ съ собою.

„По уходѣ его, отецъ мой вдругъ почувствовалъ себя спокойнѣе. Точно, какъ будто бы вмѣстѣ съ портретомъ свалилась тяжесть съ его души. Онъ самъ изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемѣнѣ своего характера. Разсмотрѣвши поступокъ свой онъ опечалился душою и, не безъ внутренней скорби, произнесъ: „Нѣтъ, это Богъ наказалъ меня; картина моя подѣлкомъ понесла посрамленіе. Она была замышлена съ тѣмъ, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться въ ней“. Онъ немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнялъ его крѣпко, просилъ у него прощенія и старался, сколько могъ, загладить предъ нимъ вину свою. Работы его вновь потекли попрежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лицѣ. Онъ больше молился, бывалъ молчаливъ и не выражался такъ рѣзко о людяхъ; самая грубая наружность его характера какъ-то умятилась. Скоро одно обстоятельство еще болѣе потрясло его. Онъ уже давно не видался съ товарищемъ своимъ, выпросившимъ у него портретъ. Уже собирался было итти его провѣдать, какъ вдругъ онъ самъ вошелъ неожиданно въ его комнату. Послѣ нѣсколькихъ словъ и вопросовъ съ обѣихъ сторонъ, онъ сказалъ: „Ну, братъ, даромъ ты хотѣлъ сжечь пор-

треть. Чортъ его побери, въ немъ есть что-то страшное... Я вѣдьмамъ не вѣрю, но, воля твоя, въ немъ сидитъ нечистая сила“.

„Какъ?“ сказалъ отецъ мой.

„А такъ, что съ тѣхъ поръ, какъ повѣсилъ я къ себѣ его въ комнату, почувствовалъ тоску такую... точно, какъ будто бы хотѣлъ кого-то варѣзать. Въ жизнь мою я не зналъ, что такое бессонница, а теперь испыталъ не только бессонницу, но сны такіе... я и самъ не умѣю сказать, сны ли это, или чтѣ другое: точно домовой тебя душитъ и все мерещится проклятый старикъ. Однимъ словомъ, не могу рассказать тебѣ моего состоянія. Подобнаго со мной никогда не бывало. Я бродилъ, какъ пальной, всѣ эти дни: чувствовалъ какую-то боязнъ, непріятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселаго, искренняго слова; точно, какъ будто возлѣ меня сидитъ шпионъ какой-нибудь. И только съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ портретъ племяннику, который напросился на него, почувствовалъ, что съ меня вдругъ будто какой-то камень свалился съ плечъ: вдругъ почувствовалъ себя веселымъ, какъ видишь. Ну, братъ, сострапалъ ты чорта“.

„Этотъ разсказъ произвелъ сильное впечатлѣніе на моего отца. Онъ задумался не въ шутку, впалъ въ ипохондрію и, наконецъ, совершенно увѣрился въ томъ, что кисть его послужила дьявольскимъ орудіемъ, что часть жизни ростовщика перешла въ самомъ дѣлѣ какъ-нибудь въ портретъ и тревожитъ теперь людей, внушая бѣсовскія побужденія, совращая художника съ пути, порождая страшныя терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившіяся вслѣдъ за тѣмъ несчастія, три внезапныя смерти: женъ, дочери и малолѣтняго сына, почелъ онъ небесною казнью себѣ и рѣшился непременно оставить свѣтъ. Какъ только минуло мнѣ девять лѣтъ, онъ помѣстилъ меня въ академію художествъ и, расплатясь съ своими должниками, удалился въ одну уединенную обитель, гдѣ скоро постригся въ монахи. Тамъ строгостью жизни, неуспыннымъ соблюденіемъ всѣхъ монастырскихъ правилъ онъ изумилъ всю братію... Долго, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, изнурялъ онъ свое тѣло, подкрѣпляя его въ то же время живительною силою молитвы. Наконецъ, въ одинъ день пришелъ онъ въ обитель и сказалъ твердо настоятелю: „Теперь я готовъ; если Богу угодно, я совершу свой трудъ“. Предметъ, взятый имъ, было Рождество Іисуса. Цѣлый годъ сидѣлъ онъ за нимъ, не выходя изъ своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь безпрестанно. По истеченіи года картина готова. Это было, точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имѣли большихъ свѣдѣній въ живописи, но всѣ были поражены необыкновенной святостью фигуръ. Чувство божественнаго смиренія и кротости въ лицѣ Пречистой Матери, склонившейся надъ Младенцемъ, глубокой разумъ въ очахъ Божественнаго Младенца, какъ будто уже что-то прозрѣвающихъ вдали, торжественное молчанье пораженныхъ божественнымъ чудомъ царей, повергнувшихся къ ногамъ Его, и, наконецъ, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину,—все это предстало въ такой согласной силѣ и могуществѣ красоты, что впечатлѣніе было магическое. Вся братія поверглась на колѣни предъ новымъ образомъ, и умиленный настоятель произнесъ: „Нѣтъ, нельзя человѣку съ помощью одного человѣческаго искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословеніе небесъ почило на трудѣ твоемъ“.

Когда разсказчикъ посѣтилъ его, онъ сказалъ:

„Я ждалъ тебя, сынъ мой“, сказалъ онъ, когда я подошелъ къ его благословенію. „Тебѣ предстоитъ путь, по которому отнынѣ потечетъ жизнь твоя. Путь твой чистъ—не сохранись съ него. У тебя есть талантъ; талантъ есть драгоценнѣйшій даръ Бога—не погуби его. Исслѣдуй, изучай все, что ни видишь, покоря все кисти; но во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блаженъ избранный, владѣющій ею. Нѣтъ ему низкаго предмета въ природѣ. Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозить невидимо сквозь него прекрасная душа создававшая, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души... Намекъ о божественномъ, небесномъ раѣ заключенъ для человѣка въ искусство и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько разъ торжественный покой выше всякаго волненія мірскаго, во сколько разъ твореніе выше разрушенія; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью свѣтлой души своей выше всѣхъ несмѣтныхъ силъ и гордыхъ страстей сатаны,—во столько разъ выше всего, что ни есть на свѣтѣ, высокое созданье искусства. Все принеси ему въ жертву и возлюби его всей страстью,—не страстью, дышащею земнымъ вожделѣніемъ, но тихой, небесной страстью: безъ нея не властенъ человѣкъ возвыситься отъ земли и не можетъ дать чудныхъ звуковъ успокоенія; ибо для успокоенія и примиренія всѣхъ нисходитъ въ міръ высокое созданье искусства. Оно не можетъ поселить ропота въ душу, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу. Но есть минуты, темныя минуты...“ Онъ остановился, и я замѣтилъ, что вдругъ омрачился свѣтлый ликъ его, какъ будто бы на него набѣжало какое-то мгновенное облако. „Есть одно происшествіе въ моей жизни“, сказалъ онъ. „Донныи я не могу понять, кто былъ тотъ странный образъ, съ котораго я написалъ изображеніе. Это было точно какое-то дьявольское явленіе. Я знаю, свѣтъ отвергаетъ существованье дьявола, и потому не буду говорить о немъ; но скажу только, что я съ отвращеніемъ писалъ его: я не чувствовалъ въ то время никакой любви къ своей работѣ. Насильно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которыя объемлютъ всѣхъ при взглядѣ на него, суть уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, не чувства художника, ибо художникъ и въ тревогѣ дышитъ покоемъ. Мнѣ говорили, что портретъ этотъ ходитъ по рукамъ и разсвѣваетъ томительныя впечатлѣнія, зарождавъ въ художникѣ чувства зависти, мрачной ненависти къ брату, злобную жажду производить гоненія и угнетенія. Да хранить тебя Всевышній отъ сихъ страстей! Нѣтъ ихъ страшнѣе. Лучше вынести всю горечь возможныхъ гоненій, чѣмъ нанести кому-либо одну тѣнь гоненія. Спасай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себѣ талантъ, тотъ чище всѣхъ долженъ быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человѣку, который вышелъ изъ дому въ свѣтлой праздничной одеждѣ, стоитъ только быть обрызгнуту одною каплей грязя изъ-подъ колеса, и уже весь народъ обступитъ его и указываетъ на него пальцемъ, и толкуетъ объ его неряшествѣ, тогда какъ тотъ же народъ не замѣчаетъ множества пятенъ на другихъ проходящихъ, одѣтыхъ въ будничныя одежды, ибо на будничныхъ одеждахъ не замѣчаются пятна“.

„Онъ благословилъ меня и обнялъ. Никогда въ жизни не былъ я такъ возвышенно подвигнутъ. Благоговѣйно, болѣе, чѣмъ съ чувствомъ сына, при-

льнулъ я къ груди его и поцѣловалъ въ разсыпавшіеся его серебряные волосы.

„Слеза блеснула въ его глазахъ. „Исполни, сынъ мой, одну мою просьбу“, сказалъ онъ мнѣ уже при самомъ разставаньи. „Можетъ быть, тебѣ случится увидать гдѣ-нибудь тотъ портретъ, о которомъ я говорилъ тебѣ,—ты его узнаешь вдругъ по необыкновеннымъ глазамъ и неестественному ихъ выраженію,—во что бы то ни стало, истреби его...“

„Вы можете судить сами, могъ ли я не общать клятвенно исполнить такую просьбу. Въ продолженіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ не случалось мнѣ встрѣтить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описаніе, сдѣланное моимъ отцомъ, какъ вдругъ теперь на аукціонѣ...“

Здѣсь художникъ, не договоривъ еще своей рѣчи, обратилъ глаза на стѣну съ тѣмъ, чтобы взглянуть еще разъ на портретъ. То же самое движеніе сдѣлала въ одинъ мигъ вся толпа слушавшихъ, ища глазами необыкновеннаго портрета. Но, къ величайшему изумленію, его уже не было на стѣнѣ. Невнятный говоръ и шумъ пробѣжалъ по всей толпѣ, и вслѣдъ затѣмъ слышались явственно слова: „украденъ“. Кто-то успѣлъ уже стащить его, воспользовавшись вниманіемъ слушателей, увлеченныхъ разсказомъ. И долго всѣ присутствовавшіе оставались въ недоумѣніи, не зная, дѣйствительно ли они видѣли эти необыкновенные глаза, или же это была, просто, мечта, представшая только на мигъ глазамъ ихъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.

Мертвыя души.

ПОЭМА.

(отрывки).

ГЛАВА I.

Въ ворота гостиницы губернскаго города NN въѣхала довольно красивая рессорная небольшая бричка, въ какой ѣздить холостяки: отставные подполковники, штабсъ-капитаны, помѣщики, имѣющіе около сотни душъ крестьянъ,—словомъ, всѣ тѣ, которыхъ называютъ господами средней руки. Въ бричкѣ сидѣлъ господинъ, не красавецъ, но и не дурной наружности, ни слишкомъ толстъ, ни слишкомъ тонокъ; нельзя сказать, чтобы старъ, однакожь, и не такъ, чтобы слишкомъ молодъ. Въѣздъ его не произвелъ въ городѣ совершенно никакого шума и не былъ сопровожденъ ничѣмъ особеннымъ; только два русскіе мужика, стоявшіе у дверей кабака противъ гостиницы, сдѣлали кое-какія замѣчанія, относившіяся, впрочемъ, болѣе къ экипажу, чѣмъ къ сидѣвшему въ немъ. „Вишь ты“, сказалъ одинъ другому: „вонъ какое колесо! Что ты думаешь: доѣдетъ то колесо, если бъ случилось, въ Москву, или не доѣдетъ?“—„Доѣдетъ“, отвѣчалъ другой.—„А въ Казань-то, я думаю, не доѣдетъ?“ — „Въ Казань не доѣдетъ“, отвѣчалъ другой. Этимъ разговоръ и кончился. Да еще, когда бричка подѣхала къ гостиницѣ, встрѣтился молодой человѣкъ въ бѣлыхъ канифасовыхъ панталонахъ, весьма увѣхихъ и короткихъ, во фракѣ съ покушеніями на моду, изъ-подъ котораго

видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою съ бронзовымъ пистолетомъ. Молодой человѣкъ оборотился назадъ, посмотрѣлъ экипажъ, придержалъ рукою картузъ, чуть не слетѣвшій отъ вѣтра, и пошелъ своей дорогой.

Когда экипажъ въѣхалъ на дворъ, господинъ былъ встрѣченъ трактирнымъ слугою, или половымъ, какъ ихъ называютъ въ русскихъ трактирахъ, живымъ и вертлявымъ до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Онъ выбѣжалъ проворно съ салфеткой въ рукѣ, весь длинный и въ длинномъ демикотонномъ сюртукѣ, со спинкою чуть не на самомъ затылкѣ, встряхнулъ волосами и повелъ проворно господина вверхъ по всей деревянной галдарей показывать ниспосланный ему Богомъ покой. Покой былъ извѣстнаго рода, ибо гостиница была тоже извѣстнаго рода, то-есть именно такая, какъ бываютъ гостиницы въ губернскихъ городахъ, гдѣ за два рубля въ сутки проѣзжающіе получаютъ покойную комнату съ тараканами, выглядывающими, какъ черносливъ, изъ всѣхъ угловъ, и дверью въ сосѣднее помѣщеніе, всегда заставленномъ комодомъ, гдѣ устраивается сосѣдъ, молчаливый и спокойный человѣкъ, но чрезвычайно любопытный, интересующійся знать о всѣхъ подробностяхъ проѣзжающаго. Наружный фасадъ гостиницы отвѣчалъ ея внутренности; она была очень длинна, въ два этажа; нижній не былъ выштукатуренъ и оставался въ темно-красныхъ кирпичикахъ, еще болѣе потемнѣвшихъ отъ лихихъ погодныхъ перемѣнъ и грязноватыхъ уже самихъ по себѣ; верхній былъ выкрашенъ вѣчною желтою краскою; внизу были лавочки съ хомутами, веревками и баранками. Въ угольной изъ этихъ лавочекъ или, лучше, въ окнѣ помѣщался сбитенщикъ, съ самоваромъ изъ красной мѣди и лицомъ такъ же краснымъ, какъ самоваръ, такъ что издали можно бы подумать, что на окнѣ стояло два самовара, еслибъ одинъ самоваръ не былъ съ черною, какъ смоль, бороδοю.

Пока пріѣзжіи господинъ осматривалъ свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемоданъ изъ бѣлой кожи, нѣсколько поистасканный, показывающій, что былъ не въ первый разъ въ дорогѣ. Чемоданъ внесли кучеръ Селифанъ, низенькій человѣкъ въ тулупчикѣ, и лакей Петрушка, малый лѣтъ тридцати, въ просторномъ подержанномъ сюртукѣ, какъ видно, съ барскаго плеча, малый немного суровый на взглядъ, съ очень крупными губами и носомъ. Вслѣдъ за чемоданомъ внесены были небольшой ларчикъ краснаго дерева, съ штучными выкладками изъ корельской березы, сапожныя колодки и завернутая въ синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучеръ Селифанъ отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка сталъ устраиваться въ маленькой передней, очень темной конуркѣ, куда уже успѣлъ притащить свою шинель и вмѣстѣ съ нею какой-то свой собственный запахъ, который былъ сообщенъ и принесенному вслѣдъ затѣмъ мѣшку съ разнымъ лакейскимъ туалетомъ. Въ этой конуркѣ онъ приладилъ къ стѣнѣ узенькую трехногую кровать, накрывъ ее небольшимъ подобіемъ тюфяка, убитымъ и плоскимъ какъ блинъ и, можетъ быть, такъ же замаслившимся какъ блинъ, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамѣсть слуги управлялись и возились, господинъ отправился въ общую залу. Какія бываютъ эти общія залы — всякій проѣзжающій знаетъ очень хорошо: тѣ же стѣны, выкрашенныя масляной краскою, потемнѣвшія вверху отъ трубочнаго дыма и залосненныя снизу спинами разныхъ проѣзжающихъ, а еще болѣе туземными купеческими, ибо купцы по торговымъ

днямъ приходили сюда самъ-шесть и самъ-семь испивать свою извѣстную пару чаю; тотъ же закопченный потолокъ; та же копченая люстра со множествомъ висящихъ стеклышекъ, которыя прыгали и звенѣли всякій разъ, когда половой бѣгалъ по истертымъ клеенкамъ, помахивая бойко подносомъ, на которомъ сидѣла такая же бездна чайныхъ чашекъ, какъ птиць на морскомъ берегу; тѣ же картины во всю стѣну, писанныя масляными красками; словомъ, все то же, что и вездѣ; только и разницы, что на одной картинѣ изображена была нимфа съ такими огромными грудями, какихъ читатель, вѣрно, никогда не видывалъ. Подобная игра природы, впрочемъ, случается на разныхъ историческихъ картинахъ, неизвѣстно, въ какое время, откуда и кѣмъ привезенныхъ къ намъ въ Россію, иной разъ даже нашими вельможами, любителями искусствъ, накупившими ихъ въ Италіи, по совѣту везшихъ ихъ курьеровъ. Господинъ скинулъ съ себя картузъ и размоталъ съ шеи шерстяную, радужныхъ цвѣтовъ, косынку, какую женатымъ приготовляетъ своими руками супруга, снабжая приличными наставленіями, какъ закутываться, а холостымъ—навѣрное не могу сказать, кто дѣлаетъ. Богъ ихъ знаетъ: я никогда не носилъ такихъ косынокъ. Размотавши косынку, господинъ велѣлъ подать себѣ обѣдъ. Покамѣстъ ему подавались разные обычныя въ трактирахъ блюда, какъ-то: щи съ слоенымъ пирожкомъ, нарочно сберегаемымъ для проѣзжающихъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, мозги съ горошкомъ, сосиски съ капустой, пулярка жареная, огурецъ соленый и вѣчный слоеный сладкій пирожокъ, всегда готовый къ услугамъ,—покамѣстъ ему все это подавалось, и разогрѣтое, и просто холодное, онъ заставилъ слугу, или полового рассказывать всякій вздоръ о томъ, кто содержалъ прежде трактиръ и кто теперь, и много ли даетъ дохода, и большой ли подлецъ ихъ хозяинъ, на что половой, по обыкновенію, отвѣчалъ: „О, большой, сударь, мошенники!“ Какъ въ просвѣщенной Европѣ, такъ и въ просвѣщенной Россіи есть теперь весьма много почтенныхъ людей, которые безъ того не могутъ покушать въ трактирѣ, чтобы не поговорить съ слугою, а иногда даже забавно пошутить надъ нимъ. Впрочемъ, пріѣзжіи дѣлали не все пустые вопросы: онъ съ чрезвычайною точностью разспросилъ, кто въ городѣ губернаторъ, кто предсѣдатель палаты, кто прокуроръ,—словомъ, не пропустилъ ни одного значительнаго чиновника; но еще съ большею точностью, если даже не съ участіемъ, разспросилъ обо всѣхъ значительныхъ помѣщикахъ: сколько кто имѣетъ душъ крестьянъ, какъ далеко живетъ отъ города, какого даже характера и какъ часто пріѣзжаетъ въ городъ; разспросилъ внимательно о состояніи края: не было ли какихъ болѣзней въ ихъ губерніи — повальныхъ горячекъ, убійственныхъ какихъ-либо лихорадокъ, оспы и тому подобнаго, и все такъ и съ такою точностью, которая показывала болѣе, чѣмъ одно простое любопытство. Въ пріемахъ своихъ господинъ имѣлъ что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвѣстно, какъ онъ это дѣлалъ, но только носъ его звучалъ какъ труба. Это, повидимому, совершенно невинное достоинство пріобрѣло, однакожь, ему много уваженія со стороны трактирнаго слуги, такъ что онъ всякій разъ, когда слышалъ этотъ звукъ, встряхивалъ волосами, выпрямливался почтительно и, нагнувши съ вышины свою голову, спрашивалъ: „не нужно ли чего?“ После обѣда господинъ выкушалъ чашку кофею и сѣлъ на диванъ, подложивши себѣ за спину подушку, которую въ русскихъ трактирахъ вмѣсто эластической шерсти набиваютъ чѣмъ-то чрезвычайно похожимъ на кирпичъ и булыжникъ. Тутъ началъ онъ зѣвать и приказалъ отвести себя

въ свой нумеръ, гдѣ, прилегли, заснулъ два часа. Отдохнувши, онъ написалъ на лоскутѣхъ бумажки, по просьбѣ трактирнаго слуги, чинъ, имя и фамилію, для сообщенія, куда слѣдуетъ, въ полицію. На бумажкѣ половой, спускаясь съ лѣстницы, прочиталъ по складамъ слѣдующее: „Коллежскій совѣтникъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, помѣщикъ, по своимъ надобностямъ“. Когда половой все еще разбиралъ по складамъ записку, самъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ отправился посмотреть городъ, которымъ былъ, какъ казалось, удовлетворенъ, ибо нашелъ, что городъ никакъ не уступалъ другимъ губернскимъ городамъ: сильно была въ глаза желтая краска на каменныхъ домахъ и скромно темнѣла сѣрая на деревянныхъ. Дома были въ одинъ, два и полтора этажа, съ вѣчнымъ мезониномъ, очень красивымъ, по мнѣнію губернскихъ архитекторовъ. Мѣстами эти дома казались затерянными среди широкой, какъ поле улицы, и нескончаемыхъ деревянныхъ заборовъ; мѣстами сбивались въ кучу, и здѣсь было замѣтно болѣе движенія народа и живости. Попадались почти смытыя дождемъ вывѣски съ кренделями и сапогами, кое-гдѣ съ нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавскаго портного; гдѣ магазинъ съ картузами, фуражками и надписью: „Иностранецъ Василій Ѳедоровъ“; гдѣ нарисованъ былъ бильярдъ съ двумя игроками во фракахъ, въ какіе одѣваются у насъ на театрахъ гости, входящіе въ послѣднемъ актѣ на сцену. Игроки были изображены съ прищипавшимися кіями, нѣсколько вывороченными назадъ руками и косыми ногами, только-что сдѣлавшими на воздухъ антраша. Подъ всѣмъ этимъ было написано: „И вотъ заведеніе“. Кое-гдѣ просто на улицѣ стояли столы съ орѣхами, мыломъ и пряниками, похожими на мыло; гдѣ харчевня съ нарисованною толстою рыбою и воткнутою въ нее вилкою. Чаше же всего замѣтно было потемнѣвшихъ двуглавыхъ государственныхъ орловъ, которые теперь уже замѣнены лаконической надписью: „Питейный домъ“. Мостовая вездѣ была плоховата. Онъ заглянулъ и въ городской садъ, который состоялъ изъ тоненькихъ деревъ, дурно принявшихся, съ подпорками внизу, въ видѣ треугольниковъ, очень красиво выкрашенныхъ зеленою масляною краскою. Впрочемъ, хотя эти деревца были не выше тростника, о нихъ было сказано въ газетахъ при описаніи иллюминаціи, что „городъ нашъ украсился, благодаря попеченію гражданскаго правителя, садомъ, состоящимъ изъ тѣнистыхъ, широко-вѣтвистыхъ деревъ, дающихъ прохладу въ знойный день“, и что при этомъ „было очень умиительно глядѣть, какъ сердца гражданъ трепетали въ избыткѣ благодарности и струили потоки слезъ, въ знакъ признательности къ господину градоначальнику“. Разспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, къ собору, къ присутственнымъ мѣстамъ, къ губернатору, онъ отправился взглянуть на рѣку, протекавшую посрединѣ города; дорогою оторвалъ прибиту ю къ столбу афишу, съ тѣмъ, чтобы, пришедши домой, прочесть ее хорошенъко, посмотрѣлъ пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой слѣдовалъ мальчикъ въ военной ливреѣ, съ узелкомъ въ рукѣ, и еще разъ окинувши все глазами, какъ бы съ тѣмъ, чтобы хорошо припомнить положеніе мѣста, отправился домой прямо въ свой нумеръ, поддерживаемый слегка на лѣстницѣ трактирнымъ слугою. Накушавшись чаю, онъ усѣлся передъ столомъ, велѣлъ подать себѣ свѣчу, вынулъ изъ кармана афишу, поднесъ ее къ свѣчѣ и сталъ читать, прищуря немного правый глазъ. Впрочемъ, замѣчательнаго немного было въ афишкѣ: давалась драма г. Коцебу, въ которой Ролла игралъ г. Поппевинъ,

Кору — дѣвица Зяблова, прочія лица были и того менѣ замѣчательны; однакоже онъ прочелъ ихъ всѣхъ, добрался даже до дѣны партера и узналъ, что афиша была напечатана въ типографіи губернскаго правленія; потомъ переверотилъ на другую сторону — узнать, нѣтъ ли и тамъ чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протеръ глаза, свернулъ опрятно и положилъ въ свой ларчикъ, куда имѣлъ обыкновеніе складывать все, что ни попадалось. День, кажется, былъ заключенъ порціей холодной телятины, бутылкою кислыхъ щей и крѣпкимъ сномъ во всю насосную завертку, какъ выражаются въ иныхъ мѣстахъ обширнаго русскаго государства.

Весь слѣдующій день посвященъ былъ визитамъ. Пріѣзжій отправился дѣлать визиты всѣмъ городскимъ сановникамъ. Былъ съ почтеніемъ у губернатора, который, какъ оказалось, подобно Чичикову, былъ ни толстъ, ни тонокъ собой, имѣлъ на шеѣ Анну и поговаривали даже, что былъ представленъ къ звѣздѣ; впрочемъ, былъ большой добрякъ и даже самъ вышивалъ иногда по тюлю. Потомъ отправился къ вице-губернатору, потомъ былъ у прокурора, у предсѣдателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника надъ казенными фабриками... жалъ, что нѣсколько трудно упомянуть всѣхъ сильныхъ міра сего; но довольно сказать, что пріѣзжій оказалъ необыкновенную дѣятельность насчетъ визитовъ: онъ явился даже засвидѣтельствовать почтеніе инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потомъ еще долго сидѣлъ въ бричкѣ, придумывая, кому бы еще отдать визитъ, да ужъ больше въ городѣ не нашлось чиновниковъ. Въ разговорахъ съ сими властителями, онъ очень искусно умѣлъ польстить каждому. Губернатору намекнулъ какъ-то вскользь, что въ его губернію въѣзжаешь какъ въ рай, дороги вездѣ бархатныя, и что тѣ правительства, которыя назначаютъ мудрыхъ сановниковъ, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказалъ что-то очень лестное насчетъ городокихъ будочниковъ; а въ разговорахъ съ вице-губернаторомъ и предсѣдателемъ палаты, которые были еще только статскіе совѣтники, сказалъ даже ошибочно два раза: „ваше превосходительство“, что очень имъ понравилось. Слѣдствиемъ этого было то, что губернаторъ сдѣлалъ ему приглашеніе пожаловать къ нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочіе чиновники тоже, съ своей стороны, кто на обѣдъ, кто на бостончикъ, кто на чашку чаю.

О себѣ пріѣзжій, какъ казалось, избѣгалъ много говорить; если же говорилъ, то какими-то общими мѣстами, съ замѣтною скромностію, и разговоръ его въ такихъ случаяхъ принималъ нѣсколько книжные обороты: что онъ назначашій червь міра сего и недостоинъ того, чтобы много о немъ заботились, что испыталъ много на вѣку своемъ, претерпѣлъ на службѣ за правду, имѣлъ много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищетъ избрать наконецъ мѣсто для жительства, и что, прибывши въ этотъ городъ, почелъ за непремѣнный долгъ засвидѣтельствовать свое почтеніе первымъ его сановникамъ. Вотъ все, что узнали въ городѣ объ этомъ новомъ лицѣ, которое очень скоро не преминуло показывать себя на губернаторской вечеринкѣ. Приготовленіе къ этой вечеринкѣ заняло слишкомъ два часа времени, и здѣсь въ пріѣзжемъ оказалась такая внимательность къ туалету, какой даже не вездѣ видывано. Послѣ небольшого послѣобѣденнаго сна, онъ приказалъ подать умыться и чрезвычайно долго теръ мыломъ обѣ щеки, подперши ихъ изнутри языкомъ; потомъ, взявши съ плеча трактирнаго слуги полотенце, вытеръ имъ со всѣхъ сторонъ полное свое лицо, начавъ изъ-за ушей и фыркнувъ прежде раза два

въ самое лицо трактирнаго слуги; потомъ надѣлъ передъ зеркаломъ манишку, выщипнулъ выдѣвкіе изъ носу два волоска и непосредственно затѣмъ очутился во фракѣ брусничнаго цвѣта съ искрой. Такимъ образомъ одѣвшись, покатылся онъ въ собственномъ экипажѣ по безконечно широкимъ улицамъ, озареннымъ тощимъ освѣщеніемъ изъ кое-гдѣ мелькавшихъ оконъ.

ГЛАВА II.

Уже болѣе недѣли пріѣзжій господинъ жилъ въ городѣ, раздѣлая по вечеринкамъ и обѣдамъ и такимъ образомъ проводя, какъ говорится, очень пріятно время. Наконецъ онъ рѣшился перенести свои визиты за городъ и навѣстить помѣщиковъ Манилова и Собакевича, которымъ далъ слово. Можетъ быть, къ сему побудила его другая болѣе существенная причина, дѣло болѣе серьезное, близшее къ сердцу... Но обо всемъ этомъ читатель узнаетъ постепенно и въ свое время, если только будетъ имѣть терпѣніе прочесть предлагаемую повѣсть, очень длинную, имѣющую потомъ раздвинуться шире и просторнѣе, по мѣрѣ приближенія къ концу, вѣнчающему дѣло. Кучеру Селифану отдано было приказаніе рано поутру заложить лошадей въ извѣстную бричку; Петрушкѣ приказано было оставаться дома, смотрѣть за комнатою и чемоданомъ. Для читателя будетъ не лишнимъ познакомиться съ этими двумя крѣпостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не такъ замѣтныя и то, что называютъ второстепенными или даже третьестепенными, хотя главные ходы и пружины поэмы не на нихъ утверждены и развѣ кое-гдѣ касаются и легко зацѣпляютъ ихъ, но авторъ любитъ чрезвычайно быть обстоятельнымъ во всемъ, и съ этой стороны, несмотря на то, что самъ человѣкъ русскій, хочетъ быть акуратенъ, какъ нѣмецъ. Это займетъ, впрочемъ, не много времени и мѣста, потому что не много нужно прибавить къ тому, что уже читатель знаетъ, то есть, что Петрушка ходилъ въ нѣсколько широкомъ коричневомъ сюртукѣ съ барскаго плеча и имѣлъ, по обычаю людей своего званія, крупный носъ и губы. Характера онъ былъ больше молчаливаго, чѣмъ разговорчиваго: имѣлъ даже благородное побужденіе къ просвѣщенію, т.-е. чтенію книгъ, содержаніемъ которыхъ не затруднялся: ему было совершенно все равно, похожденіе ли влюбленнаго героя, просто букварь, или молитвенникъ,—онъ все читалъ съ равнымъ вниманіемъ; если бы ему подвернули химію, онъ и отъ нея бы не отказался. Ему нравилось не то, о чемъ читалъ онъ, но болѣе самое чтеніе, или, лучше сказать, процессъ самаго чтенія, что вотъ-де изъ буквъ вѣчно выходитъ какое-нибудь слово, которое, иной разъ, чортъ знаетъ, что и значить. Это чтеніе совершалось болѣе въ лежачемъ положеніи, въ передней, на кровати и на тюфякѣ, сдѣланшемся отъ такого обстоятельства убитымъ и тоненькимъ, какъ лепешка. Кромѣ страсти къ чтенію, онъ имѣлъ еще два обыкновенія, составлявшія двѣ другія его характеристическія черты: спать не раздѣваясь, такъ, какъ есть, въ томъ же сюртукѣ, и носить всегда съ собою какой-то свой особенный воздухъ, своего собственного запаха, отылавшійся нѣсколько жилымъ покоемъ, такъ что достаточно было ему только пристроить гдѣ-нибудь свою кровать, хотъ даже въ необитаемой дотолѣ комнатѣ, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что въ этой комнатѣ лѣтъ десять жили люди. Чичиковъ, будучи человѣкъ весьма щекотливый и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ привередливый, потянувши къ

себѣ воздухъ на свѣжій носъ поутру, только помарщивался, да встряхивалъ головою, приговаривая: „Ты, братъ, чортъ тебя знаетъ, потѣешь, что ли. Сходилъ бы ты хоть въ баню“. На что Петрушка ничего не отвѣчалъ и старался тутъ же заняться какимъ-нибудь дѣломъ: или подходилъ со щеткой къ висѣвшему барскому фраку, или просто прибиралъ что-нибудь. Что думалъ онъ въ то время, когда молчалъ? Можетъ быть, онъ говорилъ про себя: „И ты однакожь хорошъ; не надѣло тебѣ сорокъ разъ повторять одно и то же...“ Богъ вѣдаетъ, трудно знать, что думаетъ дворовый крѣпостной человѣкъ въ то время, когда баринъ ему даетъ наставленіе. Проѣхавши пятнадцатую версту, онъ вспомнилъ, что здѣсь, по словамъ Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетѣла мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшіеся навстрѣчу, то врядъ ли бы довелось имъ потрафить на ладъ. На вопросъ: „далеко ли деревня Заманиловка“,—мужики сняли шляпы, и одинъ изъ нихъ, бывшій поумнѣе и носившій бороду клиномъ, отвѣчалъ: „Маниловка, можетъ быть, а не Заманиловка?“

„Ну, да, Маниловка“.

„Маниловка! А какъ проѣдешь еще одну версту, такъ вотъ тебѣ, то-есть, такъ прямо направо“.

„Направо?“ отозвался кучеръ.

„Направо“, сказалъ мужикъ. „Это будетъ тебѣ дорога въ Маниловку; а Заманиловки никакой нѣтъ. Она зовется такъ, то есть ея прозваніе Маниловка, а Заманиловки тутъ вовсе нѣтъ. Тамъ прямо на горѣ увидишь домъ, каменный, въ два этажа,—господскій домъ, въ которомъ, то есть, живетъ самъ господинъ. Вотъ это тебѣ и есть Маниловка, а Заманиловки совсѣмъ нѣтъ никакой здѣсь и не было“.

Поѣхали отыскивать Маниловку. Проѣхавши двѣ версты, встрѣтили поворотъ на проселочную дорогу; но уже и двѣ, и три, и четыре версты, кажется, сдѣлали, а каменнаго дома въ два этажа все еще не было видно. Тутъ Чичиковъ вспомнилъ, что если пріятель приглашаетъ къ себѣ въ деревню за пятнадцать верстъ, то значитъ, что къ ней есть вѣрныхъ тридцать. Деревня Маниловка немногихъ могла заманить своимъ мѣстоположеніемъ. Домъ господскій стоялъ одиночкой на юру, то-есть на возвышеніи, открытомъ всѣмъ вѣтрамъ, какимъ только вздумается подуть; покатость горы, на которой онъ стоялъ, была одѣта подстриженнымъ дерномъ. На ней были разбросаны по-англійски двѣ-три клумбы съ кустами сиреней и желтыхъ акацій; пять-шесть березъ небольшими купами кое-гдѣ возносили свои мелколистные, жиденькія вершины. Подъ двумя изъ нихъ видна была бесѣдка съ плоскимъ зеленымъ куполомъ, деревянными голубыми колоннами и надписью: „храмъ уединеннаго размышленія“; пониже прудъ, покрытый зеленью, что, впрочемъ, не въ диковинку въ англійскихъ садахъ русскихъ помѣщиковъ. У подошвы этого возвышенія, и частію по самому скату, темнѣли вдоль и поперекъ сѣренькія бревенчатыя избы, которыя герой нашъ, неизвѣстно по какимъ причинамъ, въ ту жъ минуту принялся считать и насчиталъ болѣе двухсотъ. Нигдѣ между ними растущаго дерева или какой-нибудь зелени; вездѣ глядѣло только одно бревно. Видъ оживляли двѣ бабы, которыя, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всѣхъ сторонъ, брели по колѣни въ прудъ, влача за два деревянныя клыча изорванный бредень, гдѣ видны были два запутавшіеся рака и блестяла попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою въ ссорѣ и за что-то перебрали-

вались. Подъѣзжая ко двору, Чичиковъ замѣтилъ на крыльцѣ самого хозяина, который стоялъ въ зеленомъ шалоновомъ сюртукѣ, приставивъ руку ко лбу, въ видѣ зонтика надъ глазами, чтобы разсмотрѣть получше подъѣжавшій экипажъ. По мѣрѣ того, какъ бричка близилась къ крыльцу, глаза его дѣлались веселѣе, и улыбка раздвигалась болѣе и болѣе.

„Павелъ Ивановичъ!“ вскричалъ онъ наконецъ, когда Чичиковъ выѣзжалъ изъ брички. „Насилу вы таки насъ вспомнили!“

Оба пріятеля очень крѣпко поцѣловались, и Маниловъ увелъ своего гостя въ комнату. Хотя время, въ продолженіе котораго они будутъ проходить сѣни, переднюю и столовую, нѣсколько коротковато, но попробуемъ, не успѣемъ ли какъ-нибудь имъ воспользоваться и сказать кое-что о хозяйнѣ дома. Но тутъ авторъ долженъ признаться, что подобное предпріятіе очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размѣра: тамъ просто бросай краски со всей руки на полотно — черные палящіе глаза, нависшія брови, перерѣзанный морщиною лобъ, перекинутый черезъ плечо черный или алый какъ огонь плащъ, и портретъ готовъ; но вотъ всѣ эти господа, которыхъ много на свѣтѣ, которые съ вида очень похожи между собою, а между тѣмъ, какъ приглядишься, увидишь много самыхъ неувомимыхъ особенностей, — эти господа страшно трудны для портретовъ. Тутъ придется сильно напрягать вниманіе, пока заставишь передъ собою выступить всѣ тонкія, почти невидимыя черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный въ наукѣ испытыванія взглядъ.

Одинъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова. Есть родъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ: *люди такъ себя, ни то, ни се, ни съ тородъ Боданъ, ни съ селъ Селифанъ*, по словамъ пословицы. Можетъ быть, къ нимъ слѣдуетъ примѣнить и Манилова. На взглядъ онъ былъ человѣкъ видный; черты лица его были не лишены пріятности, но въ эту пріятность, казалось, черезчуръ было передано сахару; въ пріемахъ и оборотахъ его было что-то заискивающее расположенія и знакомства. Онъ улыбался заманчиво, былъ блондуръ, съ голубыми глазами. Въ первую минуту разговора съ нимъ не можешь не сказать: „Какой пріятный и добрый человѣкъ!“ Въ слѣдующую затѣмъ минуту ничего не скажешь, а въ третью скажешь: „Чортъ знаетъ, чтó такое!“ и отойдешь подальше; если жъ не отойдешь, то почувствуешь скуку смертельную. Отъ него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчиваго слова, какое можешь услышать почти отъ всякаго, если коснешься задирающаго его предмета. У всякаго есть свой задоръ: у одного задоръ обратился на борзыхъ собакъ; другому кажется, что онъ сильный любитель музыки и удивительно чувствуетъ всѣ глубокія мѣста въ ней; третій мастеръ лихо пообѣдать; четвертый сыграть роль, хоть однимъ вершкомъ повыше той, которая ему назначена; пятый, съ желаніемъ болѣе ограниченнымъ, спитъ и грезитъ о томъ, какъ бы пройтись на гуляньи съ флигель-адъютантомъ, на показъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже незнакомымъ; шестой уже одаренъ такою рукою, которая чувствуетъ желаніе оверхъестественное заломить уголъ какому-нибудь бубновому тузу или двойкѣ, тогда какъ рука седьмого такъ и лѣзетъ произвести гдѣ-нибудь порядокъ, подобраться поближе къ личности станціоннаго смотрителя или ямщиковъ, словомъ — у всякаго есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома онъ говорилъ очень мало и большею частью размышлялъ и думалъ, но о чемъ онъ думалъ, тоже развѣ Богу было извѣстно. Хозяйствомъ, нельзя сказать, чтобы онъ занимался, онъ даже никогда не ѣздилъ на поля; хозяй-

ство шло какъ-то само собою. Когда приказчикъ говорилъ: „хорошо бы, баринъ, то и то сдѣлать“; „да, не дурно“, отвѣчалъ онъ обыкновенно, куря трубку, которую курить сдѣлалъ привычку, когда еще служилъ въ арміи, гдѣ считался скромнѣйшимъ, деликатнѣйшимъ и образованнѣйшимъ офицеромъ. „Да, именно не дурно“, повторялъ онъ. Когда приходилъ къ нему мужикъ и, почесавши рукою затылокъ, говорилъ: „Баринъ, позволъ отлучиться на работу, побдѣть заработать“; „ступай“, говорилъ онъ, куря трубку, и ему даже въ голову не приходило, что мужикъ шелъ пьянствовать. Иногда, глядя съ крыльца на дворъ и на прудъ, говорилъ онъ о томъ, какъ бы хорошо было, если бы вдругъ отъ дома провести подземный ходъ, или чрезъ прудъ выстроить каменный мостъ, на которомъ бы были по обѣимъ сторонамъ лавки, и чтобы въ нихъ сидѣли купцы и продавали разные мелкіе товары, нужные для крестьянъ. При этомъ глаза его дѣлались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выраженіе. Впрочемъ, всѣ эти проекты такъ и оканчивались только одними словами. Въ его кабинетѣ всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 страницъ, которую онъ постоянно читалъ уже два года. Въ домѣ его чего-нибудь вѣчно не доставало: въ гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой матеріей, которая, вѣрно, стояла весьма не дешево; но на два кресла ей не доставало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочемъ, хозяинъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ всякій разъ предостерегалъ своего гостя словами: „Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы“. Въ иной комнатѣ и вовсе не было мебели, хотя и было говорено въ первые дни послѣ женитьбы: „Душенька, нужно будетъ завтра похлопотать, чтобы въ эту комнату хоть на-время поставить мебель“. Вечеру подавался на столъ очень щегольской подсвѣчникъ изъ темной бронзы, съ тремя античными граціями, съ перламутрнымъ щегольскимъ щитомъ, и рядомъ съ нимъ ставился какой-то просто мѣдный иввалидъ, хромой, свернувшійся на сторону и весь въ сальт, хотя этого не замѣчалъ ни хозяинъ, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочемъ, они были совершенно довольны другъ другомъ. Несмотря на то, что минуло болѣе восьми лѣтъ ихъ супружеству, изъ нихъ все еще каждый приносилъ другому или кусочекъ яблочка, или конфетку, или орѣшекъ, и говорилъ трогательно-нѣжнымъ голосомъ, выражавшимъ совершенную любовь: „Разинъ, душенька, свой ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ“. Само собою разумѣется, что ротикъ раскрывался при этомъ случѣѣ очень граціозно. Ко дню рожденія приготовляемы были сюрпризы—какой-нибудь бисерный чехолчикъ на зубочистку. И весьма часто, сидя на диванѣ, вдругъ, совершенно неизвѣстно, изъ какихъ причинъ, одинъ, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору въ рукахъ, они напечатлѣвали другъ другу такой томный и длинный поцѣлуй, что въ продолженіе его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словомъ, они были то, что говорится, счастливы. Конечно, можно бы замѣтить, что въ домѣ есть много другихъ занятій, кромѣ продолжительныхъ поцѣлуевъ и сюрпризовъ, и много бы можно сдѣлать разныхъ запросовъ. Зачѣмъ, напримѣръ, глупо и безъ толку готовятся на кухню? Зачѣмъ довольно пусто въ кладовой? Зачѣмъ воровка ключница? Зачѣмъ нечистоплотны и пьяницы слуги? Зачѣмъ вся дворня спитъ немилосерднымъ образомъ и повѣсничаетъ все остальное время? Но все это предметы низкіе, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитаніе, какъ извѣстно, получается въ пансіонахъ; а въ пансіонахъ, какъ извѣстно, три

главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский языкъ, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепьяно, для доставленія пріятныхъ минутъ супругу, и, наконецъ, собственно хозяйственная часть: вязаніе кошельковъ и другихъ сюрпризовъ. Впрочемъ, бываютъ разныя усовершенствованія и измѣненія въ методахъ, особенно въ нынѣшнее время: все это болѣе зависитъ отъ благоразумія и способностей самихъ содержательницъ пансіона. Въ другихъ пансіонахъ бываетъ такимъ образомъ, что прежде фортепьяно, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже хозяйственная часть. А иногда бываетъ и такъ, что прежде хозяйственная часть, т. е. вязаніе сюрпризовъ, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже фортепьяно. Разныя бываютъ методы. Не мѣшаешь сдѣлать еще замѣчаніе, что Манилова... но, признаюсь, о дамахъ я очень боюсь говорить, да притомъ мнѣ пора возвратиться къ нашимъ героямъ, которые стояли уже нѣсколько минутъ передъ дверями гостиной, взаимно упрасивая другъ друга пройти впередъ.

„Сдѣлайте милость, не безпокойтесь такъ для меня, я пройду послѣ“, говорилъ Чичиковъ.

„Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, нѣтъ, вы—гость“, говорилъ Маниловъ, показывая ему рукою на дверь.

„Не затрудняйтесь, пожалуйста не затрудняйтесь; пожалуйста проходите“, говорилъ Чичиковъ.

„Нѣтъ, ужъ извините, не допущу пройти позади такому пріятному, образованному гостю“.

„Почему жъ образованному?.. Пожалуйста, проходите!“

„Ну, да ужъ извольте проходить вы“.

„Да отчего-жъ?“

„Ну, да ужъ оттого!“ сказалъ съ пріятною улыбкою Маниловъ.

Наконецъ оба пріятеля вошли въ дверь бокомъ и нѣсколько притиснули другъ друга.

„Позвольте мнѣ вамъ представить жену мою“, сказалъ Маниловъ.

„Душенька! Павелъ Ивановичъ!“

Чичиковъ, точно, увидѣлъ даму, которую онъ совершенно было не примѣтилъ, раскланиваясь въ дверяхъ съ Маниловымъ. Она была недурна, одѣта къ лицу. На ней хорошо сидѣлъ матерчатый шелковый кофоть блѣднаго цвѣта; тонкая небольшая кисть руки ея что-то бросила поспѣшно на столъ и сжала батистовый платокъ съ вышитыми уголками. Она поднялась съ дивана, на которомъ сидѣла. Чичиковъ не безъ удовольствія подошелъ къ ея ручкѣ. Манилова проговорила, нѣсколько даже картава, что онъ очень обрадовалъ ихъ своимъ пріѣздомъ и что мужъ ея, не проходило дня, чтобы не воспоминалъ о немъ.

„Да“, примолвилъ Маниловъ: „ужъ она бывало все спрашиваетъ меня: „

„Да что же твой пріятель не ѣдетъ?“ „Погоди, душенька, пріѣдетъ“. А вотъ вы наконецъ и удостоили насъ своимъ посѣщеніемъ. Ужъ такое, право, доставили наслажденіе—майскій день... именины сердца...“

Чичиковъ, услышавши, что дѣло уже дошло до именинъ сердца, нѣсколько даже смутился и отвѣчалъ скромно, что ни громкаго имени не имѣетъ, ни даже ранга замѣтнаго.

„Вы все имѣете“, прервалъ Маниловъ съ такою же пріятною улыбкою: „все имѣете, даже еще болѣе“.

„Какъ вамъ показался нашъ городъ?“ примолвила Манилова. „Пріятно ли провели тамъ время?“

„Очень хороший городъ, прекрасный городъ“, отвѣчалъ Чичиковъ: „и время провелъ очень пріятно: общество самое обходительное“.

„А какъ вы нашли нашего губернатора?“ сказала Манилова.

„Не правда ли, что препотеннѣйшій и прелюбезнѣйшій человекъ?“ прибавилъ Маниловъ.

„Совершенная правда“, сказалъ Чичиковъ: „препотеннѣйшій человекъ. И какъ онъ вошелъ въ свою должность, какъ понимаетъ ее! Нужно желать побольше такихъ людей“.

„Какъ онъ можетъ этакъ, знаете, принять всякаго, наблюсти деликатность въ своихъ поступкахъ“, присовокупилъ Маниловъ съ улыбкою, и отъ удовольствія почти совсѣмъ зажмурилъ глаза, какъ котъ, у котораго слегка пощекотали за ушами пальцемъ.

„Очень обходительный и пріятный человекъ“, продолжалъ Чичиковъ: „и какой искусникъ! Я даже никакъ не могъ предполагать этого: какъ хорошо вышиваетъ разные домашніе узоры! Онъ мнѣ показывалъ своей работы кошелекъ: рѣдкая дама можетъ такъ искусно вышить“.

„А вице-губернаторъ, не правда ли, какой милый человекъ?“ сказалъ Маниловъ, опять нѣсколько прищуривъ глаза.

„Очень, очень достойный человекъ“, отвѣчалъ Чичиковъ.

„Ну, позвольте, а какъ вамъ показался полицеймейстеръ? Не правда ли, что очень пріятный человекъ?“

„Чрезвычайно пріятный, и какой умный, какой начитанный человекъ! Мы у него проиграли въ вистъ вмѣстѣ съ прокуроромъ и председателемъ палаты до самыхъ позднихъ пѣтуховъ. Очень, очень достойный человекъ!“

„Ну, а какого вы мнѣнія о женѣ полицеймейстера?“ прибавила Манилова. „Не правда ли, прелюбезная женщина?“

„О, это одна изъ достойнѣйшихъ женщинъ, какихъ только я знаю“, отвѣчалъ Чичиковъ.

За симъ не пропустили председателя палаты, почтмейстера, и такимъ образомъ перебрали почти всѣхъ чиновниковъ города, которые всѣ оказались самыми достойными людьми.

„Вы всегда въ деревнѣ проводите время?“ сдѣлалъ наконецъ, въ свою очередь, вопросъ Чичиковъ.

„Больше въ деревнѣ“, отвѣчалъ Маниловъ. „Иногда, впрочемъ, приѣзжаемъ въ городъ для того только, чтобы увидѣться съ образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти“.

„Правда, правда“, сказалъ Чичиковъ.

„Конечно“, продолжалъ Маниловъ: „другое дѣло, если бы сосѣдство было хорошее, если бы, напримѣръ, такой человекъ, съ которымъ бы, въ нѣкоторомъ родѣ, можно было поговорить о любезности, о хорошемъ обращеніи, слѣдить какую нибудь этакую науку, чтобы этакъ расшевелило душу, дало бы, такъ сказать, паренье этакое...“ Здѣсь онъ еще что-то хотѣлъ выразить, но, замѣтивши, что нѣсколько зарাপтовался, ковырнулъ только рукою въ воздухъ и продолжалъ: „тогда, конечно, деревня и уединеніе имѣли бы очень много пріятностей. Но рѣшительно нѣтъ никого... Вотъ только иногда почитаешь „Сынъ Отечества““.

Чичиковъ согласился съ этимъ совершенно, прибавивши, что ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ жить въ уединеніи, наслаждаться зрѣлищемъ природы и почитать иногда какую нибудь книгу...

„Но знаете ли“, прибавилъ Маниловъ: „все, если нѣтъ друга, съ которымъ бы можно подѣлиться...“

„О, это справедливо, это совершенно справедливо!“ прервалъ Чичиковъ. „Что всѣ сокровища тогда въ мірѣ! *Не имѣй денегъ, имѣй хорошихъ людей для обращенія*, сказалъ одинъ мудрецъ“.

„И знаете, Павелъ Ивановичъ“, сказалъ Маниловъ, явя въ лицѣ своемъ выраженіе не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстурѣ, которую ловкій свѣтскій докторъ засластитъ немилосердно, воображая ея обрадовать пациента: „тогда чувствуешь какое-то, въ нѣкоторомъ родѣ, духовное наслажденіе... Вотъ какъ, напримѣръ, теперь, когда случай мнѣ доставилъ счастье, можно сказать, рѣдкое, образцовое, говорить съ вами и наслаждаться пріятнымъ вашимъ разговоромъ...“

„Помилуйте, что-жъ за пріятный разговоръ?.. Ничтожный человѣкъ, и больше ничего“, отвѣчалъ Чичиковъ.

„О, Павелъ Ивановичъ! Позвольте мнѣ быть откровеннымъ: я бы съ радостью отдалъ половину всего моего состоянія, чтобы имѣть часть тѣхъ достоинствъ, которыя имѣете вы!..“

„Напротивъ, я бы почелъ съ своей стороны за величайшее...“

Неизвѣстно, до чего бы дошло взаимное изліяніе чувствъ обоихъ пріятелей, если бы вошедшій слуга не доложилъ, что кушанье готово.

„Прошу покорнѣйше“, сказалъ Маниловъ.

„Вы извините, если у насъ нѣтъ такого обѣда, какой на паркетахъ и въ столицахъ: у насъ просто, по русскому обычаю, щи, но отъ чистаго сердца. Покорнѣйше прошу“.

Тутъ они еще нѣсколько времени поспорили о томъ, кому первому войти, и наконецъ Чичиковъ вошелъ бокомъ въ столовую.

Въ столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были въ тѣхъ лѣтахъ, когда сажаютъ уже дѣтей за столъ, но еще на высокихъ стульяхъ. При нихъ стоялъ учитель, поклонившійся вѣжливо и съ улыбкою. Хозяйка сѣла за свою суповую чашку; гость былъ посаженъ между хозяиномъ и хозяйкою, слуга завязалъ дѣтямъ на шею салфетки.

„Какія миленькія дѣти!“ сказалъ Чичиковъ, посмотрѣвъ на нихъ: „а который годъ?“

„Старшему осьмой, а меньшому вчера только минуло шесть“, сказала Манилова.

„Өемистоклюсъ!“ сказалъ Маниловъ, обратившись къ старшему, который старался освободить свой подбородокъ, завязанный лакеемъ въ салфетку. Чичиковъ поднялъ нѣсколько бровь, услышавъ такое отчасти греческое имя, которому, не извѣстно почему, Маниловъ далъ окончаніе на *юсъ*, но постарался тотъ же часъ привести лицо въ обыкновенное положеніе.

„Өемистоклюсъ, скажи мнѣ: какой лучший городъ во Франціи?“

Здѣсь учитель обратилъ все вниманіе на Өемистоклюса и, казалось, хотѣлъ ему вскочить въ глаза, но, наконецъ, совершенно успокоился и кивнулъ головою, когда Өемистоклюсъ сказалъ: „Парижъ“.

„А у насъ какой лучший городъ?“ спросилъ опять Маниловъ.

Учитель опять настроилъ вниманіе.

„Петербургъ“, отвѣчалъ Өемистоклюсъ.

„А еще какой?“

„Москва“, отвѣчалъ Өемистоклюсъ.

„Умница, душенька!“ сказалъ на это Чичиковъ. „Скажите однакожъ...“

продолжалъ онъ, обратившись тутъ же съ нѣкоторымъ видомъ изумленія къ Маниловымъ. „Въ такія лѣта и уже такія свѣдѣнія. Я долженъ вамъ сказать, что въ этомъ ребенкѣ будутъ большія способности!“

„О, вы еще не знаете его!“ отвѣчалъ Маниловъ: „у него чрезвычайно много остроумія. Вотъ меньшей, Алкидъ, тотъ не такъ быстръ, а этотъ сейчасъ, если что нибудь встрѣтитъ: букашку, козявку, такъ ужъ у него вдругъ глазенки и забѣгаютъ; побѣжитъ за ней слѣдомъ и тотчасъ обратитъ вниманіе. Я его прочу по дипломатической части. Оемистоклюсъ!“ продолжалъ онъ, снова обратясь къ нему: „хочешь быть посланникомъ?“

„Хочу“, отвѣчалъ Оемистоклюсъ, жуя хлѣбъ и болтая головой направо и налѣво.

Въ это время стоявшій позади лакей утеръ посланнику носъ и очень хорошо сдѣлалъ, иначе бы канула въ супъ препорядочная посторонняя капля.

Послѣ обѣда пріятель засѣли въ кабинетъ и послѣ обмѣна пріятными рѣчами Чичиковъ приступилъ къ дѣлу.

„Но позвольте прежде одну просьбу...“ проговорилъ онъ голосомъ, въ которомъ отдалось какое-то странное, или почти странное выраженіе, и вслѣдъ за тѣмъ, неизвѣстно отчего, оглянулся назадъ. Маниловъ тоже, не извѣстно отчего, оглянулся назадъ. „Какъ давно вы изволили подавать ревизскую сказку?“

„Да, ужъ давно; а лучше сказать—не припомню.“

„Какъ съ того времени много у васъ умерло крестьянъ?“

„А не могу знать: объ этомъ, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человѣкъ! позови приказчика; онъ долженъ быть сегодня здѣсь.“

Приказчикъ явился. Это былъ человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, брившій бороду, ходившій въ сюртукъ и, повидимому, проводившій очень покойную жизнь, потому что лицо его глядѣло какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвѣтъ кожи и маленькіе глаза показывали, что онъ зналъ слухомъ хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видѣть тотчасъ, что онъ совершилъ свое поприще, какъ совершаютъ его всѣ господскіе приказчики: былъ прежде просто грамотнымъ мальчишкой въ домѣ, потомъ женился на какой нибудь Агашкѣ, ключницѣ, барыниной фавориткѣ, сдѣлался самъ ключникомъ, а тамъ и приказникомъ. А сдѣлавшись приказникомъ, поступалъ, разумѣется, какъ всѣ приказчики: водился и кумился съ тѣми, которые на деревнѣ были побогаче, подбавлялъ на тягла побѣднѣе; проснувшись въ девятомъ часу утра, поджидалъ самовара и пилъ чай.

„Послушай, любезный, сколько у насъ умерло крестьянъ съ тѣхъ поръ, какъ подавали ревизію?“

„Да какъ—сколько? Многіе умирали съ тѣхъ поръ“, сказалъ приказчикъ, и при этомъ икнулъ, заслонивъ ротъ слегка рукою, на-подобіе щитка.

„Да, признаюсь, я самъ такъ думаю“, подхватилъ Маниловъ: „именно очень многіе умирали!“ Тутъ онъ оборотился къ Чичикову и прибавилъ еще: „точно, очень многіе“.

„А какъ, напримѣръ, числомъ?“ спросилъ Чичиковъ.

„Да, сколько числомъ?“ подхватилъ Маниловъ.

„Да какъ сказать—числомъ? Вѣдь не извѣстно, сколько умерло: ихъ никто не считалъ“.

„Да, именно“, сказалъ Маниловъ, обратясь къ Чичикову: „я тоже предполагалъ, большая смертность; совсѣмъ не извѣстно, сколько умерло“.

„Ты, пожалуйста, ихъ перечти“, сказалъ Чичиковъ: „и сдѣлай подробный реестрикъ всѣхъ поименно“.

„Да, всѣхъ поименно“, сказалъ Маниловъ.

Приказчикъ сказалъ: „Слушаю!“ и ушелъ.

„А для какихъ причинъ вамъ это нужно?“ спросилъ, по уходѣ приказчика, Маниловъ.

Этотъ вопросъ, казалось, затруднилъ гостя: въ лицѣ его показалось какое-то напряженное выраженіе, отъ котораго онъ даже покраснѣлъ,—напряженіе что-то выразить, не совсѣмъ покорное словамъ. И въ самомъ дѣлѣ, Маниловъ наконецъ услышалъ такія странныя и необыкновенныя вещи, какихъ еще никогда не слыхали человѣческія уши.

„Вы спрашиваете, для какихъ причинъ? Причины вотъ какія: я хотѣлъ бы купить крестьянъ...“ сказалъ Чичиковъ, занкнулся и не кончилъ рѣчи.

„Но позвольте спросить васъ“, сказалъ Маниловъ: „какъ желаете вы купить крестьянъ: съ землею, или просто на выводъ, то есть безъ земли?“

„Нѣтъ, я не то, чтобы совершенно крестьянъ“, сказалъ Чичиковъ: „я желаю имѣть мертвыхъ...“

„Какъ-съ? Извините... я нѣсколько тутъ на ухо, мнѣ послышалось престранное слово...“

„Я полагаю приобрѣсть мертвыхъ, которые, впрочемъ, значились бы по ревизіи, какъ живые“, сказалъ Чичиковъ.

Маниловъ выронилъ тутъ же чубукъ съ трубкою на полъ, и какъ разинулъ ротъ, такъ и остался съ разинутымъ ртомъ въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ. Оба пріятели, разсуждавшіе о пріятностяхъ дружеской жизни, остались недвижными, вперея другъ въ друга глаза, какъ тѣ портреты, которые вѣшались въ старину одинъ противъ другого, по обѣимъ сторонамъ зеркала. Наконецъ, Маниловъ поднялъ трубку съ чубукомъ и поглядѣлъ снизу ему въ лицо, стараясь высмотрѣть, не видно ли какой усмѣшки на губахъ его, не пошутилъ ли онъ; но ничего не было видно такого: напротивъ, лицо даже казалось степеннѣе обыкновеннаго. Потомъ подумалъ, не спятилъ ли гость какъ-нибудь невзначай съ ума, и со страхомъ посмотрѣлъ на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны; не было въ нихъ дикаго, безпокойнаго огня, какой бѣгаетъ въ глазахъ сумасшедшаго человѣка; все было прилично и въ порядкѣ. Какъ ни придумывалъ Маниловъ, какъ ему быть и что ему сдѣлать, но ничего другого не могъ придумать, какъ только выпустить изъ рта оставшійся дымъ очень тонкою струею.

„Итакъ, я бы желалъ знать, можете ли вы мнѣ таковыхъ, не живыхъ въ дѣйствительности, но живыхъ относительно законной формы, передать, уступить, или какъ вамъ заблагоразсудится лучше?“

Но Маниловъ такъ сконфузился и смѣшался, что только смотрѣлъ на него.

„Мнѣ кажется, вы затрудняетесь?“ замѣтилъ Чичиковъ.

„Я?... нѣтъ, я не то“, сказалъ Маниловъ: „но я не могу постичь... извините... я, конечно, не могъ получить такого блестящаго образованія, какое, такъ сказать, видно во всякомъ вашемъ движеніи; не имѣю высокаго искусства выражаться... Можетъ быть, здѣсь... въ этомъ, вами сейчасъ выраженномъ изъясненіи... скрыто другое... Можетъ быть, вы извоили выражаться такъ для красоты слога?“

„Нѣтъ“, подхватилъ Чичиковъ: „нѣтъ, я разумѣю предметъ таковъ, какъ есть, то есть, тѣ души, которыя точно уже умерли“.

Маниловъ совершенно растерялся. Онъ чувствовалъ, что ему нужно что-то сдѣлать, предложить вопросъ, а какой вопросъ—чортъ его знаетъ. Кончилъ онъ, наконецъ, тѣмъ, что выпустилъ опять дымъ, но только уже не ртомъ, а черезъ носовыя ноздри.

„Итакъ, если нѣтъ препятствій, то съ Богомъ можно бы приступить къ совершенію купчей крѣпости“, сказалъ Чичиковъ.

„Какъ, на мертвыя души купчую?“

„А, нѣтъ!“ сказалъ Чичиковъ. „Мы напишемъ, что онѣ живы, такъ, какъ стоитъ дѣйствительно въ ревизской сказкѣ. Я привыкъ ни въ чемъ не отступать отъ гражданскихъ законовъ; хотя за это и потерпѣлъ на службѣ, но ужъ извините: обязанность для меня—дѣло священное, законъ—я нѣмѣю предъ закономъ“.

Послѣднія слова понравились Манилову, но въ толкъ самаго дѣла онъ все-таки никакъ не вникъ и, вмѣсто отвѣта, принялся насасывать свой чубукъ такъ сильно, что тотъ началъ, наконецъ, хрипѣть, какъ фাগоть. Казалось, какъ будто онъ хотѣлъ вытянуть изъ него мнѣніе относительно такого неслыханнаго обстоятельства; но чубукъ хрипѣлъ—и больше ничего.

„Можетъ быть, вы имѣете какія-нибудь сомнѣнія?“

„О, помяните, ничуть! Я не насчетъ того говорю, чтобы имѣлъ какое нибудь, то есть, критическое предосужденіе о васъ. Но позвольте доложить, не будетъ ли это предпріятіе, или, чтобы еще болѣе, такъ сказать, выразиться, негоція,—такъ не будетъ ли эта негоція несоотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи?“

Здѣсь Маниловъ, сдѣлавши нѣкоторое движеніе головою, посмотрѣлъ очень значительно въ лицо Чичикова, показавъ во всѣхъ чертахъ лица своего и въ сжатыхъ губахъ такое глубокое выраженіе, какого, можетъ быть, и не видано было на человѣческомъ лицѣ, развѣ только у какого нибудь слишкомъ умнаго министра, да и то въ минуту самаго головоломнаго дѣла.

Но Чичиковъ сказалъ просто, что подобное предпріятіе, или негоція, никакъ не будетъ несоотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи, а чрезъ минуту потомъ прибавилъ, что казна получитъ даже выгоды, ибо получитъ законныя пошліны.

„Такъ вы полагаете?..“

„Я полагаю, что это будетъ хорошо“.

„А, если хорошо, это другое дѣло; я противъ этого ничего“, сказалъ Маниловъ и совершенно успокоился.

„Теперь остается условиться въ цѣнѣ...“

„Какъ въ цѣнѣ?“ сказалъ опять Маниловъ и остановился. „Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которыя въ нѣкоторомъ родѣ окончили свое существованіе? Если ужъ вамъ пришло такое, такъ сказать, фантастическое желаніе, то, съ своей стороны, я предаю ихъ вамъ безъинтересно и купчую беру на себя“.

Великій упрекъ былъ бы исторіку предлагаемыхъ событій, если бы онъ упустилъ сказать, что удовольствіе одолѣло гостя послѣ такихъ словъ, произнесенныхъ Маниловымъ. Какъ онъ ни былъ степененъ и разсудителенъ, но тутъ чуть не произвелъ даже скачокъ по образцу козла, что, какъ извѣстно, производится только въ самыхъ сильныхъ порывахъ радости. Онъ поворотился такъ сильно въ креслахъ, что лопнула шерстяная матерія,

обтягивавшая подушку; самъ Маниловъ посмотрѣлъ на него въ нѣкоторомъ недоумѣніи. Побужденный признательностью, онъ наговорилъ тутъ же столько благодарностей, что тотъ смѣшался, весь покраснѣлъ, производилъ головою отрицательный жестъ и, наконецъ, уже выразился, что это сущее ничего, что онъ, точно, хотѣлъ бы доказать чѣмъ-нибудь сердечное влеченіе, магнетизмъ души; а умершія души въ нѣкоторомъ родѣ—совершенная дрянь.

„Очень не дрянь“, сказалъ Чичиковъ, пожавъ ему руку.

Здѣсь былъ испущенъ очень глубокой вдохъ. Казалось, онъ былъ настроенъ къ сердечнымъ изліяніямъ; не безъ чувства и выраженія произнесъ онъ, наконецъ, слѣдующія слова: „Если-бъ вы знали, какую услугу оказали сей, повидимому, дрянью человѣку безъ племени и роду! Да и дѣйствительно, чего не потерпѣлъ я? Какъ барка какая-нибудь среди свирѣпыхъ волнъ... Какихъ гоненій, какихъ преслѣдованій не испытывать, какого горя не вкусилъ! А за что? За то, что соблюдалъ правду, что былъ чистъ на своей совѣсти, что подавалъ руку и вдовицѣ безпомощной, и сиротѣ горемыкѣ!..“ Тутъ даже онъ отеръ платкомъ выкатившуюся слезу.

Маниловъ былъ совершенно растроганъ. Оба пріятеля долго жали другъ другу руки и долго смотрѣли молча одинъ другому въ глаза, въ которыхъ видны были наворачнувшія слезы. Маниловъ никакъ не хотѣлъ выпустить руки нашего героя и продолжалъ жать ее такъ горячо, что тотъ уже не зналъ, какъ ее выручить. Наконецъ, выдернувши ее потихоньку, онъ сказалъ, что не худо бы купчую совершить поскорѣе и хорошо бы, если бы онъ самъ понавѣдался въ городъ; потомъ взялъ шляпу и сталъ откланиваться.

„Какъ? Вы уже хотите ѣхать?“ сказалъ Маниловъ, вдругъ очнувшись и почти испугавшись.

Въ это время вошла въ кабинетъ Манилова.

„Ливанька“, сказалъ Маниловъ съ нѣсколько жалостливымъ видомъ: „Павелъ Ивановичъ оставляетъ насъ!“

„Потому что мы надобѣи Павлу Ивановичу“, отвѣчала Манилова.

„Сударыня! Здѣсь“, сказалъ Чичиковъ: „здѣсь, вотъ гдѣ“,—тутъ онъ положилъ руку на сердце:—„да, здѣсь пребудетъ пріятность времени, проведеннаго съ вами! И, повѣрьте, не было бы для меня большаго блаженства, какъ жить съ вами, если не въ одномъ домѣ, то, по крайней мѣрѣ, въ самомъ ближайшемъ сосѣдствѣ“.

„А знаете, Павелъ Ивановичъ“, сказалъ Маниловъ, которому очень понравилась такая мысль: „какъ было бы въ самомъ дѣлѣ хорошо, если бы жить этакъ вмѣстѣ, подъ одною кровлею или подъ тѣнью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чемъ-нибудь, углубиться!..“

„О, это была бы райская жизнь!“ сказалъ Чичиковъ, вздохнувши. „Прощайте, сударыня!“ продолжалъ онъ, подходя къ ручкѣ Маниловой. „Прощайте, почтеннѣйшій другъ! Не забудьте просьбы!“

ГЛАВА III.

А Чичиковъ, въ довольномъ расположеніи духа, сидѣлъ въ своей бричкѣ, катившейся давно по столбовой дорогѣ. Изъ предыдущей главы уже видно, въ чемъ состоялъ главный предметъ его вкуса и склонностей, а потому не диво, что онъ скоро погрузился весь въ него и тѣломъ, и душою. Предположенія, смѣты и соображенія, блуждавшія по лицу его, видно, были очень пріятны, ибо ежеминутно оставляли послѣ себя слѣды довольной

усмѣшки. Занятый ими, онъ не обращалъ никакого вниманія на то, какъ его кучеръ, довольный пріемомъ дворовыхъ людей Манилова, дѣлалъ весьма дѣльные замѣчанія чубарому пристяжному коню, запряженному съ правой стороны. Этотъ чубарый конь былъ сильно лужавъ и показывалъ только для вида, будто бы везетъ, тогда какъ коренной гнѣдой и пристяжной каурой масти, называвшійся Засѣдателемъ, потому что былъ пріобрѣтенъ отъ какого-то засѣдателя, трудились отъ всего сердца, такъ что даже въ глазахъ ихъ было замѣтно получаемое ими отъ того удовольствіе. „Хитри, хитри! Вотъ я тебя перехитрю!“ говорилъ Селифанъ, приподнявшись и хлыснувъ кнутомъ лѣнивца. „Ты знай свое дѣло, панталонникъ ты нѣмецкій! Гнѣдой—почтенный конь, онъ сполняетъ свой долгъ; я ему съ охотою дамъ лишнюю мѣру, потому что онъ почтенный конь; и Засѣдатель—тожъ хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дуракъ, слушай, коли говорятъ! Я тебя, невѣжа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползетъ!“ Здѣсь онъ опять хлыснулъ его кнутомъ, примолвивъ: „У, варваръ! Бонапартъ ты проклятый!“ Потомъ прикрикнулъ на всѣхъ: „Эй, вы, любезные!“ и стегнулъ по всѣмъ по тремъ уже не въ видѣ наказанія, но чтобы показать, что былъ ими доволенъ. Доставивъ такое удовольствіе, онъ опять обратился рѣчь къ чубарому: „Ты думаешь, что скроешь свое поведеніе. Нѣтъ, ты живи по правдѣ, когда хочешь, чтобы тебѣ оказывали почтеніе. Вотъ у помѣщика, что мы были, хорошіе люди. Я съ удовольствіемъ поговорю, коли хороший человѣкъ; съ человѣкомъ хорошимъ мы всегда свои други, тонкіе пріятели: выпить ли чаю, или закусить—съ охотою, коли хороший человѣкъ. Хорошему человѣку всякій отдастъ почтеніе. Вотъ барина нашего всякій уважаетъ, потому что онъ, слышь ты, сполнялъ службу государскую, онъ сколѣской совѣтникъ...“

Селифанъ выпилъ лишнее у Манилова, забылъ дорогу и заѣхалъ Богъ вѣсть куда. Между тѣмъ погода испортилась: пошелъ дождь.

Чичиковъ сталъ примѣчать, что бричка качалась на всѣ стороны и надѣляла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили съ дороги и, вѣроятно, тащились по изборожденному полю. Селифанъ, казалось, самъ смекнулъ, но не говорилъ ни слова.

„Что, мошенникъ, по какой дорогѣ ты ѣдешь?“ сказалъ Чичиковъ.

„Да что жъ, баринъ, дѣлать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма!“ Сказавши это, онъ такъ покосилъ бричку, что Чичиковъ принужденъ былъ держаться обѣими руками. Тутъ только замѣтилъ онъ, что Селифанъ подгулялъ.

„Держи, держи, опрокинешь!“ кричалъ онъ ему.

„Нѣтъ, баринъ, какъ можно, чтобъ я опрокинулъ“, говорилъ Селифанъ. „Это не хорошо опрокинуть, я ужъ самъ знаю; ужъ я никакъ не опрокину“. Затѣмъ началъ онъ слегка поворачивать бричку, поворачивалъ, поворачивалъ и наконецъ выворотилъ ее совершенно на бокъ. Чичиковъ и руками, и ногами шлепнулся въ грязь. Селифанъ лошадей, однакожъ, остановилъ; впрочемъ, онъ остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвидѣнный случай совершенно изумилъ его. Слѣзши съ козелъ, онъ сталъ передъ бричкою, подперся въ бока обѣими руками, въ то время, какъ баринъ барахтался въ грязи, силясь оттуда вылѣзть, и сказалъ послѣ нѣкотораго размышленія: „Вишь ты, и опрокинулася!“

„Ты пьянъ, какъ сапожникъ!“ сказалъ Чичиковъ.

„Нѣтъ, баринъ; какъ можно, чтобъ я былъ пьянъ! Я знаю, что это не хорошее дѣло—быть пьянымъ. Съ пріятелемъ поговорилъ, потому что съ хорошимъ человѣкомъ можно поговорить,—въ томъ нѣтъ худого,—и закусили вмѣстѣ. Закуска не обидное дѣло: съ хорошимъ человѣкомъ можно закусить“.

„А что я тебѣ сказалъ послѣдній разъ, когда ты напился? а? забылъ?“ сказалъ Чичиковъ.

„Нѣтъ, ваше благородіе, какъ можно, чтобы я позабылъ! Я уже дѣло свое знаю. Я знаю, что не хорошо быть пьянымъ. Съ хорошимъ человѣкомъ поговорилъ, потому что...“

„Вотъ я тебя какъ высѣку, такъ ты у меня будешь знать, какъ говорить съ хорошимъ человѣкомъ“.

„Какъ милости вашей будетъ загодно“, отвѣчалъ на все согласный Селифанъ: „коли высѣчь, то и высѣчь: я ничуть не прочь отъ того. Почему-жъ не посѣчь, коли за дѣло? на то воля господская. Оно нужно посѣчь, потому что мужикъ балуется; порядокъ нужно наблюдать. Коли за дѣло, то и посѣки; почему-жъ не посѣчь?“

Чичиковъ попалъ къ помѣщицѣ Коробочкѣ.

Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилыхъ лѣтъ, въ какомъ-то спальномъ чепцѣ, надѣтомъ наскоро, съ фланелью на шеѣ, изъ тѣхъ матушекъ, небольшихъ помѣщицъ, которыя плачутся на неурожай, убытки, и держать голову нѣсколько на-бокъ, а между тѣмъ набираютъ понемногу деньжонокъ въ пестрядевые мѣшечки, размѣщенные по ящикамъ комодовъ. Въ одинъ мѣшечекъ отбираютъ все цѣлевовики, въ другой полтиннички, въ третій четвертачки, хотя съ виду и кажется, будто бы въ комодѣ ничего нѣтъ кромѣ бѣлья, да ночныхъ кофточекъ, да нитяныхъ моточковъ, да распоротого салона, имѣющаго потомъ обратиться въ платье, если старое какъ-нибудь прогоритъ во время печенія праздничныхъ лепешекъ со всякими пряженцами или позотрется само собою. Но не сгоритъ платье и не изотрется само собою: бережлива старушка, и салону суждено пролежать долго въ распоротомъ видѣ, а потомъ достаться, по духовному завѣщанію, племянницѣ внучатной сестры, вмѣстѣ со всякимъ другимъ хламомъ.

У Коробочки Чичиковъ заночевалъ. На слѣдующее утро онъ разговорился съ хозяйкой.

„Здравствуйте, батюшка. Какъ почивали?“ сказала хозяйка, приподнимаясь съ мѣста. Она была одѣта лучше, нежели вчера,—въ темномъ платьѣ и уже не въ спальномъ чепцѣ; но на шеѣ все такъ же было что-то навязано.

„Хорошо, хорошо“, говорилъ Чичиковъ, садясь въ кресла. „Вы какъ, матушка?“

„Плохо, отецъ мой“.

„Какъ такъ?“

„Безсонница. Все поясница болить, и нога, что повыше косточки, такъ вотъ и ломить“.

„Пройдетъ, пройдетъ, матушка. На это нечего глядѣть“.

„Дай Богъ, чтобы прошло. Я-то смазывала свинымъ саломъ и скипидаромъ тоже смачивала. А съ чѣмъ прихлебнете чайку? Во фляжкѣ фруктовая“.

„Недурно, матушка, хлебнемъ и фруктовой“.

Читатель, я думаю, уже замѣтилъ, что Чичиковъ, несмотря на ласковый видъ, говорилъ, однако же, съ большею свободою, нежели съ Маниловымъ, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у насъ на Руси если не угнались еще кой въ чемъ другомъ за иностранцами, то далеко перегнали ихъ въ умѣніи обращаться. Пересчитать нельзя всѣхъ оттѣнковъ и тонкостей нашего обращенія. Французъ или нѣмецъ вѣкъ не смекнетъ и не пойметъ всѣхъ его особенностей и различій; онъ почти тѣмъ же голосомъ и тѣмъ же языкомъ станетъ говорить и съ миллионщикомъ, и съ мелкимъ табачнымъ торгашомъ, хотя, конечно, въ душѣ поподличаетъ въ мѣру передъ первымъ. У насъ не то: у насъ есть такіе мудрецы, которые съ помѣщикомъ, имѣющимъ двѣсти душъ, будутъ говорить совсѣмъ иначе, нежели съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, а съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, будутъ говорить опять не такъ, какъ съ тѣмъ у котораго ихъ пятьсотъ; а съ тѣмъ, у котораго ихъ пятьсотъ, опять не такъ, какъ съ тѣмъ, у котораго ихъ восемьсотъ, словомъ, хотъ восходи до милліона, все найдутся оттѣнки. Положимъ, напримѣръ, существуетъ, канцелярія—не здѣсь, а въ тридцатомъ государствѣ; а въ канцеляріи, положимъ, существуетъ правитель канцеляріи. Прощу посмотреть на него, когда онъ сидитъ среди своихъ подчиненныхъ—да просто отъ страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство... и ужъ чего не выражаетъ лицо его? Просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, рѣшительный Прометей! Висматриваетъ орломъ, выступаетъ плавно, мѣрно. Тотъ же самый орелъ, какъ только вышелъ изъ комнаты и приближается къ кабинету своего начальника, куропаткой такой спѣшить съ бумагами подъ мышкой, что мочи нѣтъ. Въ обществѣ и на вечеринкѣ, будь всѣ небольшого чина, Прометей такъ и останется Прометеемъ, а чуть немного повыше его, съ Прометеемъ сдѣлается такое превращеніе, какого и Овидій не выдумаетъ: муха, меньше даже мухи,—уничтожился въ песчинку! „Да это не Иванъ Петровичъ“, говоришь, глядя на него. „Иванъ Петровичъ выше ростомъ, а этотъ и низенькій, и худенькій; тотъ говоритъ громко, баситъ и никогда не смѣется, а этотъ чортъ знаетъ чтб: пищать птицей и все смѣется“. Подходишь ближе, глядишь—точно Иванъ Петровичъ! „Эхе, хе, хе!“ думаешь себѣ... Но, однакожъ, обратимся къ дѣйствующимъ лицамъ. Чичиковъ, какъ мы уже видѣли, рѣшился вовсе не церемониться, и потому, взявши въ руки чашку съ чаемъ и вливши туда фруктовъ, повалъ такіа рѣчи:

„У васъ, матушка, хорошая деревенька. Сколько въ ней душъ?“

„Душъ-то въ ней, отецъ мой, безъ малаго 80“, сказала хозяйка: „да бѣда, времена плохія: вотъ и прошлый годъ былъ такой неурожай, что. Боже храни“.

„Однакожъ мужички на видъ дюжіе, набенки крѣпкія. А позвольте узнать фамилію вашу. Я такъ разсѣялся... пріѣхалъ въ ночное время...“

„Коробочка, коллежская секретарша“.

„Покорнѣйше благодарю. А имя и отчество?“

„Настасья Петровна“.

„Настасья Петровна? Хорошее имя—Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна“.

„А ваше имя какъ?“ спросила помѣщица: „вѣдь вы, я чай, засѣдатель?“

„Нѣтъ, матушка!“ отвѣчалъ Чичиковъ, усмѣхнувшись: „чай, не засѣдатель, а такъ ѣздимъ по своимъ дѣлишкамъ“.

„А, такъ вы покушникъ! Какъ же жаль, право, что я продала медъ купцамъ такъ дешево; а вотъ ты бы, отецъ мой, у меня, вѣрно, его купилъ“.

„А вотъ меду и не купилъ бы“.

„Что жъ другое? Развѣ пеньку? Да вѣтъ и пеньки у меня теперь маловато—полпуда всего“.

„Нѣтъ, матушка, другого рода товарецъ: скажите, у васъ умирали крестьяне?“

„Охъ, батюшка, осьмнадцать человѣкъ!“ сказала старуха, вздохнувши. „И умеръ такой все славный народъ, все работники. Послѣ того, правда, народилось, да что въ нихъ? все такая мелюзга. А засѣдатель подѣхалъ—подать, говорить, уплачивать съ души. Народъ мертвый, а плати, какъ за живого. На прошлой недѣлѣ сгорѣлъ у меня кузнецъ, такой искусный кузнецъ и слесарное мастерство зналъ“.

„Развѣ у васъ былъ пожаръ, матушка?“

„Богъ поберегъ отъ такой бѣды; пожаръ бы еще хуже: самъ сгорѣлъ, отецъ мой. Внутри у него какъ-то загорѣлось, черевчуръ выпилъ; только синій огонекъ пошелъ отъ него, весь истлѣлъ, истлѣлъ и почернѣлъ, какъ уголь; а такой былъ пренискусный кузнецъ! И теперь мнѣ выѣхать не на чемъ: некому лошадей подковать“.

„На все воля Божья, матушка!“ сказалъ Чичиковъ, вздохнувши: „противъ мудрости Божіей ничего нельзя сказать... Уступите-ка ихъ мнѣ, Настасья Петровна!“

„Кого, батюшка?“

„Да вотъ этихъ-то всѣхъ, что умерли“.

„Да какъ же уступить ихъ?“

„Да такъ просто. Или, пожалуй, продайте. Я вамъ за нихъ дамъ деньги“.

„Да какъ же? Я, право, въ толкъ-то не возьму. Нешто хочешь ты ихъ откапывать изъ земли?“

Чичиковъ увидѣлъ, что старуха хватилъ далеко, и что необходимо ей нужно растолковать, въ чемъ дѣло. Въ немногихъ словахъ объяснилъ онъ ей, что переводъ или покупка будетъ значиться только на бумагѣ и души будутъ прописаны, какъ бы живыя.

„Да на что жъ онѣ тебѣ?“ сказала старуха, выпучивъ на него глаза.

„Это ужъ мое дѣло“.

„Да вѣдь онѣ жъ мертвыя“.

„Да кто жъ говорить, что онѣ живыя? Потому-то и въ убытокъ вамъ, что мертвыя: вы за нихъ платите, а теперь я васъ избавлю отъ хлопотъ и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще, сверхъ того, дамъ вамъ пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?“

„Право, не знаю“, произнесла хозяйка съ разстановкой: „вѣдь я мертвыхъ никогда еще не продавала“.

„Еще бы! Это бы скорѣе походило на диво, если бы вы ихъ кому-нибудь продали. Или вы думаете, что въ нихъ есть въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь прокъ?“

„Нѣтъ, я этого не думаю! Что жъ въ нихъ за прокъ? Проку никакого нѣтъ. Меня только то и затрудняетъ, что онѣ уже мертвыя“.

„Ну, баба, кажется, крѣпколюбая!“ подумалъ про себя Чичиковъ. „Послушайте, матушка! Да вы разсудите только хорошенько: вѣдь вы разоряетесь, платите за него подать, какъ за живого...“

„Охъ, отецъ мой, и не говори объ этомъ!“ подхватила помѣщица. „Еще третью недѣлю внесла больше полтораэта, да засѣдателя подмаслила“.

„Ну, видите, матушка! А теперь примите въ соображеніе только то, что засѣдателя вамъ подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за нихъ,—я, а не вы; я принимаю на себя всѣ повинности; я совершу даже крѣпость на свои деньги, понимаете ли вы это?“

Старуха задумалась. Она видѣла, что дѣло, точно, какъ будто выгодно, да только ужъ слишкомъ новое и небывалое, а потому начала сильно побавляться, чтобы какъ-нибудь не надуть ее этотъ покушникъ; пріѣхалъ же, Богъ знаетъ, откуда, да еще и въ ночное время.

„Такъ что жъ, матушка, по рукамъ, что ли?“ говорилъ Чичиковъ.

„Право, отецъ мой, никогда еще не случалось продавать мнѣ покойниковъ. Живыхъ-то я уступила вотъ и третьяго года Протопопову—двухъ дѣвокъ по сто рублей каждую, и очень благодарилъ: такіа вышли славныя работницы: сами салфетки ткуть“.

„Ну, да не о живыхъ дѣло; Богъ съ ними! Я спрашиваю мертвыхъ“.

„Право, я боюсь на первыхъ порахъ, чтобы какъ-нибудь не понести убытку. Можетъ быть, ты, отецъ мой, меня обманываешь, а они того... они больше какъ-нибудь стоятъ“.

„Послушайте, матушка... эхъ, какія вы! что жъ они могутъ стоять? Разсмотрите: вѣдь это прахъ. Понимаете ли? это, просто, прахъ. Вы возьмите всякую негодную, послѣднюю вещь, напримѣръ, даже простую тряпку,—и тряпка есть цѣна: ее хоть, по крайней мѣрѣ, купить на бумажную фабрику, а вѣдь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?“

„Ужъ это, точно, правда. Ужъ совѣмъ ни на что не нужно: да вѣдь меня одно только и останавливаетъ, что вѣдь они мертвые“.

„Экъ ее, дубинно-головая какая!“ сказалъ про себя Чичиковъ, ужъ начиная выходить изъ терпѣнія. „Пойди ты, сладъ съ нею! Въ потъ бросила, проклятая старуха!“ Тутъ онъ, вынувши изъ кармана платокъ, началъ отирать потъ, въ самомъ дѣлѣ выступившій на лбу. Впрочемъ, Чичиковъ напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человекъ, а на дѣлѣ выходитъ совершенная Коробочка. Какъ зарубилъ что себѣ въ голову, то ужъ ничѣмъ его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводовъ, ясныхъ какъ день, все отскакиваетъ отъ него, какъ резиновый мячъ отскакиваетъ отъ стѣны. Отерши потъ, Чичиковъ рѣшился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какую-нибудь иною стороною. „Вы, матушка“, сказалъ онъ: „или не хотите понимать словъ моихъ, или такъ нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вамъ даю деньги пятнадцать рублей ассигнаціями,—понимаете ли? Вѣдь это деньги. Вы ихъ не слычите на улицѣ. Ну, признайтесь, почему продали медъ?“

„По 12-ти рублей пудъ“

„Хватили немножко грѣха на душу, матушка. По двѣнадцати не продали“.

„Ей-Богу, продала“.

„Ну, видите ль? Такъ зато—это медъ. Вы собирали его, можетъ быть, около года съ заботами, со стараніемъ, хлопотами, ѣздили, морили пчелъ, кормили ихъ въ погребѣ цѣлую зиму, а мертвыя души—дѣло не отъ міра сего. Тутъ вы съ своей стороны никакого не прилагали старанія: на то была воля Божія, чтобы онѣ оставили міръ сей, нанеся ущербъ вашему

хозяйству. Тамъ вы получили за трудъ, за стараніе двѣнадцать рублей, а тутъ вы берете ни за что, даромъ, да и не двѣнадцать, а пятнадцать, да не серебромъ, а все синими ассигнаціями". Послѣ такихъ сильныхъ убѣжденій Чичиковъ почти уже не сомнѣвался, что старуха, наконецъ, поддастся.

"Право", отвѣчала помѣщица: "мое такое неопытное вдовье дѣло! Лучше жъ я маленько повременю, авось понаѣдутъ купцы, да примѣнюсь къ цѣнамъ".

"Страмъ, страмъ, матушка! просто, страмъ! Ну, что вы это говорите, подумайте сами! Кто жъ станетъ покупать ихъ? Ну, какое употребленіе онъ можетъ изъ нихъ сдѣлать?"

"А, можетъ, въ хозяйствѣ-то какъ-нибудь подѣ случай понадобятся..." возразила старуха, да и не кончила рѣчи, открыла ротъ и смотрѣла на него почти со страхомъ, желая знать, что онъ на это скажетъ.

"Мертвые въ хозяйствѣ! Экъ куда хватили! Воробьевъ развѣ пугать по ночамъ въ вашемъ огородѣ, что ли?"

"Съ нами крестная сила! Какія ты страсти говоришь!" проговорила старуха, крестясь.

"Куда жъ еще вы ихъ хотѣли пристроить? Да, впрочемъ, вѣдь кости и могилы—все вамъ остается: переводъ только на бумагѣ. Ну, такъ что же? Какъ же? Отвѣчайте, по крайней мѣрѣ".

Старуха вновь задумалась.

"О чемъ же вы думаете, Настасья Петровна?"

"Право, я все не приберу, какъ мнѣ быть; лучше я вамъ пеньку продамъ".

"Да что жъ пенька? Помилуйте, я васъ прошу совсѣмъ о другомъ, а вы мнѣ пеньку суете! Пенька—пенькою, въ другой разъ приѣду—заберу и пеньку. Такъ какъ же, Настасья Петровна?"

"Ей-Богу, товаръ такой странный, совсѣмъ небывалый!"

Здѣсь Чичиковъ вышелъ совершенно изъ границъ всякаго терпѣнія, хватилъ въ сердцахъ стуломъ объ полъ и посулилъ ей чорта.

Чорта помѣщица испугалась необыкновенно. "Охъ, не припоминай его, Богъ съ нимъ!" вскрикнула она, вся поблѣднѣвъ. "Еще третьяго дня всю ночь мнѣ снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картахъ послѣ молитвы, да видно въ наказаніе-то Богъ и наславъ его. Такой гадкій привидѣлся: а рога-то длиннѣе бычачьихъ".

"Я дивлюсь, какъ они вамъ десятками не снятся. Изъ одного христіанскаго челоуѣволюбія хотѣтъ: вижу бѣдная вдова убивается, терпитъ нужду... Да пропади и околѣй со всей вашей деревней!.."

"Ахъ, какія ты забранки пригинаешь!" сказала старуха, глядя на него со страхомъ.

"Да не найдешь словъ съ вами! Право, словно какая нибудь, не говоря дурного слова, дворняшка, что лежитъ на снѣгъ: и сама не ѣстъ сѣна, и другимъ не даетъ. Я хотѣлъ было закупать у васъ хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду..." Здѣсь онъ пригнулъ, хотъ и всколѣвъ, и безъ всякаго дальнѣйшаго размышленія; но неожиданно-удачно. Казенные подряды подѣйствовали сильно на Настасью Петровну; по крайней мѣрѣ, она произнесла уже почти просительнымъ голосомъ: "Да чего жъ ты разсердился такъ горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсѣмъ тебѣ и не прекословила".

"Есть изъ чего сердиться! Дѣло яйца выѣденнаго не стоитъ, а я стану изъ-за него сердиться!"

„Ну, да изволь я готова отдать за пятнадцать ассигнацій! Только смотри, отецъ мой, насчетъ подрядовъ-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой или крупъ, или скотины битой, такъ ужъ, пожалуйста, не обидь меня“.

„Нѣтъ, матушка, не обижу“, говорилъ онъ, а между тѣмъ отиралъ рукою потъ, который въ три ручья катился по лицу его. Онъ разспросилъ ее, не имѣетъ ли она въ городѣ какого-нибудь повѣреннаго или знакомаго, котораго бы могла уполномочить на совершеніе крѣпости и всего, что слѣдуетъ.— „Какъ же! Протопопа, отца Кирилла, сынъ служить въ палатѣ“, сказала Коробочка. Чичиковъ попросилъ ее написать къ нему довѣренное письмо и, чтобы избавить лишнихъ затрудненій, самъ даже взялся сочинить.

На постояломъ дворѣ Чичиковъ встрѣтился съ Ноздревымъ.

Лицо Ноздрева, вѣрно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Такихъ людей приходилось всякому встрѣчать не мало. Они называются разбитыми малыми, слышать еще въ дѣтствѣ и въ школѣ за хорошихъ товарищей, и при всемъ томъ бываютъ весьма больно поколачиваемы. Въ ихъ лицахъ всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успѣешь оглянуться, какъ уже говорятъ тебѣ ты. Дружбу заведутъ, кажется, навѣкъ; но всегда почти такъ случается, что подружившіеся подерется съ ними того же вечера на дружеской пирушкѣ. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народъ видный. Ноздревъ въ тридцать пять лѣтъ былъ таковъ же совершенно, какимъ былъ въ осьмнадцать и двадцать: охотникъ погулять. Женитьба его ничуть не перемѣнила, тѣмъ болѣе, что жена скоро отправилась на тотъ свѣтъ, оставивши двухъ ребятишекъ, которые рѣшительно ему были не нужны. За дѣтьми, однакожъ, присматривала смазливая нянька. Дома онъ больше дня никакъ не могъ усидѣть. Чуткій носъ его слышалъ за нѣсколько десятковъ верстъ, гдѣ была ярмарка со всякими сѣздами и балами; онъ уже въ одно мигновеніе ока былъ тамъ, спорилъ и заводилъ сумятицу за зеленымъ столомъ, ибо имѣлъ, подобно всѣмъ таковымъ, страстишку къ картишкамъ. Въ картишки, какъ мы уже видѣли изъ первой главы, игралъ онъ не совсѣмъ безгрѣшно и чисто, зная много разныхъ передержекъ и другихъ тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густымъ и очень хорошимъ бакенбардамъ, такъ что возвращался домой онъ иногда съ одной только бакенбардой и то довольно жидкой. Но здоровья и полныя щеки его такъ хорошо были сотворены и вмѣщали въ себѣ столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежнихъ. И, что всего страннѣе, что можетъ только на одной Руси случиться, онъ черезъ нѣсколько времени уже встрѣчался опять съ тѣми пріятелями, которые его тузили, и встрѣчался, какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и они ничего.

Ноздревъ былъ въ нѣкоторомъ отношеніи историческій человекъ. Ни на одномъ собраніи, гдѣ онъ былъ, не обходилось безъ исторій. Какая-нибудь исторія непременно происходила: или выведутъ его подъ-руки изъ зала жандармы, или принуждены бываютъ вытолкать свои же пріятеля. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будетъ такое, чего съ другимъ никакъ не будетъ: или нарядится въ буфетъ такимъ образомъ, что только смѣется, или проворется самымъ жестокимъ образомъ, такъ что наконецъ самому сдѣлается совѣстно. И навреть совершенно безъ всякой нужды:

вдругъ расскажетъ, что у него была лошадь какой нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, такъ что слушающіе наконецъ всё отходятъ, произнеши: „Ну, братъ, ты, кажется, ужъ началъ пули лить“. Есть люди, имѣющіе страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе безъ всякой причины. Иной, напримѣръ, даже человѣкъ въ чинахъ, съ благородною наружностью, со звѣздой на груди, будетъ вамъ жать руку, разговаривается съ вами о предметахъ глубокихъ, вызывающихъ на размышленія, а потомъ, смотришь, тутъ же, предъ вашими глазами, и нагадитъ вамъ; и нагадитъ такъ, какъ простой коллежскій регистраторъ, а вовсе не такъ, какъ человѣкъ со звѣздой на груди, разговаривающій о предметахъ, вызывающихъ на размысленіе, такъ что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего болѣе. Такую странную страсть имѣлъ и Ноздревъ. Чѣмъ кто ближе съ нимъ сходилъ, тому онъ скорѣе всѣхъ насаливалъ: распускалъ небыллицу, глупѣе которой трудно выдумать, устраивалъ свадьбу, торговую сдѣлку и вовсе не почиталъ себя вашимъ непріателемъ; напротивъ, если случай приводилъ его опять встрѣтиться съ вами, онъ обходился вновь по-дружески и даже говорилъ: „Вѣдь ты такой подлецъ,—никогда ко мнѣ не зайдешь“. Ноздревъ во многихъ отношеніяхъ былъ многосторонній человѣкъ, то есть человѣкъ на всѣ руки. Въ ту же минуту онъ предлагалъ вамъ ѣхать, куда угодно, хоть на край свѣта, войти въ какое хотите предпріятіе, мѣнять все, что ни есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь—все было предметомъ мѣны, но вовсе не съ тѣмъ, чтобы выиграть; это происходило просто отъ какой-то неутомимой юркости и бойкости характера. Если ему на ярмаркѣ посчастливилось напасть на простака и обыграть его, онъ накупалъ кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза въ лавкахъ: хомутовъ, курительныхъ свѣчекъ, платковъ для няньки, жеребца, някому, серебряный рукомошникъ, голландскаго холста, крупчатой муки, табаку, пистолетовъ, селедокъ, картинъ, точильный инструментъ, горшковъ, сапоговъ, фаянсовую посуду—насколько хватало денегъ. Впрочемъ, рѣдко случалось, чтобы это было довезено домой: почти въ тотъ же день спускалось оно все другому, счастливѣйшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка съ кистомъ и мундштукомъ, а въ другой разъ и вся четверня со всѣмъ—съ коляской и кучеромъ, такъ что самъ хозяинъ отправлялся въ коротенькомъ сюртучкѣ, или архалукѣ, искать какого нибудь пріятеля, чтобы попользоваться его экипажемъ. Вотъ какой былъ Ноздревъ! Можетъ быть, назовутъ его характеромъ избитымъ, станутъ говорить, что теперь нѣтъ уже Ноздрева. Увы! несправедливы будутъ тѣ, которые станутъ говорить такъ. Ноздревъ долго еще не выведется изъ міра. Онъ вездѣ между нами и, можетъ быть, только ходитъ въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-проницательны люди, и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ.

Между тѣмъ три экипажа подкатили уже къ крыльцу дома Ноздрева. Въ домѣ не было никакого приготовленія къ ихъ принятію. Посерединѣ столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на нихъ, бѣлили стѣны, затягивая какую-то безконечную пѣсню; полъ весь былъ обрызганъ бѣлилами. Ноздревъ приказалъ тотъ же часъ мужиковъ и козлы вонъ и выбѣжалъ въ другую комнату отдавать повелѣнія. Гости слышали, какъ онъ заказывалъ повару обѣдъ; сообразивъ это, Чичиковъ, начинавшій уже нѣсколько чувствовать аппетитъ, увидѣлъ, что раньше пяти часовъ они не сядутъ за столъ. Ноздревъ, возвратившись, повелъ гостей осматривать все,

что́ ни было у него на деревнѣ, и, въ два часа съ небольшимъ, показалъ рѣшительно все, такъ что ничего ужъ больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, гдѣ видѣли двухъ кобылъ, одну сѣрую въ яблокахъ, другую каурюю, потомъ гнѣдого жеребца, на видѣ и не казистаго, но за котораго Ноздревъ божеился, что заплатилъ десять тысячъ.

„Десяти тысячъ ты за него не далъ“, замѣтилъ зять. „Онъ и одной не стоитъ“.

„Ей-Богу, далъ десять тысячъ“, сказалъ Ноздревъ.

„Ты себѣ можешь божиться, сколько хочешь“, отвѣчалъ зять.

„Ну, хочешь побьемся объ закладъ?“ сказалъ Ноздревъ.

Объ закладъ зять не хотѣлъ биться.

Потомъ Ноздревъ показалъ пустыя стойла, гдѣ были прежде тоже хорошія лошади. Въ этой же конюшнѣ видѣли козла, котораго, по старому повѣрью, почитали необходимымъ держать при лошадяхъ, который, какъ казалось, былъ съ ними въ ладу, гулялъ подъ ихъ брюхами, какъ у себя дома. Потомъ Ноздревъ повелъ ихъ глядѣть волченка, бывшаго на привязи.

„Вотъ волченочек!“ сказалъ онъ: „я его нарочно кормлю сырымъ мясомъ. Мнѣ хочется, чтобы онъ былъ совершеннымъ звѣремъ“. Пошли смотрѣть прудъ, въ которомъ, по словамъ Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человѣка съ трудомъ вытаскивали штуку, въ чемъ, однакожъ, родственникъ не преминулъ усомниться. „Я тебѣ, Чичиковъ“, сказалъ Ноздревъ: „покажу отличнѣйшую пару собакъ: крѣпость черныхъ мясовъ, просто наводитъ изумленіе, щитокъ—игла!“ и повелъ ихъ къ выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большимъ, загороженнымъ со всѣхъ сторонъ дворомъ. Вошедши на дворъ, увидѣли тамъ всякихъ собакъ, и густо-псовыхъ, и чисто-псовыхъ, всѣхъ возможныхъ прѣтовъ и мастей: муругихъ, черныхъ съ подпалинами, полвопѣгихъ, муруго-пѣгихъ, красно-пѣгихъ, черноухихъ, сѣроухихъ... Тутъ были всѣ клички, всѣ повелительныя наклоненія: стрѣлай, обругай, порхай, пожаръ, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздревъ былъ среди ихъ совершенно, какъ отецъ среди семейства: всѣ онѣ, тутъ же пустивши вверхъ хвосты, зовомые у собачеевъ правѣлами, полетѣли прямо навстрѣчу гостямъ и стали съ ними здороваться. Штукъ десять изъ нихъ положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказалъ такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на заднія ноги, лизнулъ его языкомъ въ самыя губы, такъ что Чичиковъ тутъ же выплюнулъ. Осмотрѣли собакъ, наводившихъ изумленіе крѣпостью черныхъ мясовъ—хорошія были собаки. Потомъ пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слѣпая и, по словамъ Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но, года два тому назадъ, была очень хорошая сука. Осмотрѣли и суку—сука, точно, была слѣпая. Потомъ пошли осматривать водяную мельницу, гдѣ не доставало порхлицы, въ которую утверждается верхній камень, быстро вращающійся на веретѣнѣ,—*порхающий*, по чудному выраженію русскаго мужика. „А вотъ тутъ скоро будетъ и кузница“, сказалъ Ноздревъ. Немного прошедши, они увидѣли, точно, кузницу; осмотрѣли кузницу.

„Вотъ на этомъ полѣ“, сказалъ Ноздревъ указывая пальцемъ на поле: „русаковъ такая гибель, что земли не видно; я самъ своими руками поймалъ одного за заднія ноги“.

„Ну, русака ты не поймалъ рукою“, замѣтилъ зять.

„А вотъ же поймалъ, нарочно поймалъ!“ отвѣчалъ Ноздревъ. „Теперь я поведу тебя посмотрѣть“, продолжалъ онъ, обращаясь къ Чичикову: „границу, гдѣ оканчивается моя земля“.

Ноздревъ повелъ своихъ гостей полемъ, которое во многихъ мѣстахъ состояло изъ кочекъ. Гости должны были пробираться между перелогамъ и взбороненными нивами. Чичиковъ начиналъ чувствовать усталость. Во многихъ мѣстахъ ноги ихъ выдавливали подъ собою воду: до такой степени мѣсто было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потомъ, увидя, что это ни къ чему не служитъ, брели прямо, не разбирая, гдѣ бѣлая, а гдѣ меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидѣли, точно, границу, состоящую изъ деревяннаго столбика и узенькаго рва.

„Вотъ граница!“ сказалъ Ноздревъ: „все, что ни видишь по эту сторону,—все это мое, и даже по ту сторону, весь этотъ лѣсъ, который вонъ синѣетъ, и все, что за лѣсомъ—все мое“.

„Да когда же этотъ лѣсъ сдѣлался твоимъ?“ спросилъ зять. Развѣ ты недавно купилъ его? Вѣдь онъ не былъ твой“.

„Да, я купилъ его недавно“, отвѣчалъ Ноздревъ.

„Когда же ты успѣлъ его такъ скоро купить?“

„Какъ же, я еще третьяго дня купилъ, и дорого, чортъ возьми, далъ“.

„Да вѣдь ты былъ въ то время на ярмаркѣ“.

„Эхъ, ты Софронъ! Развѣ нельзя быть въ одно время и на ярмаркѣ, и купить землю? Ну, я былъ на ярмаркѣ, а приказчикъ мой тутъ безъ меня и купилъ“.

„Да, ну развѣ приказчикъ“, сказалъ зять, но и тутъ усомнился и покачалъ головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою къ дому. Ноздревъ повелъ ихъ въ свой кабинетъ, въ которомъ, впрочемъ, не было замѣтно слѣдовъ того, что бываетъ въ кабинетахъ, то есть книгъ или бумаги; висѣли только сабли и два ружья, одно въ триста, а другое въ восемьсотъ рублей. Зять, осмотрѣвши, покачалъ только головою. Потомъ были показаны турецкіе кинжалы, на одномъ изъ которыхъ, по ошибкѣ, было вырѣзано: *Мастеръ Савелій Сибиряковъ*. Вслѣдъ затѣмъ показались гостямъ шарманка. Ноздревъ тутъ же повертѣлъ предъ ними кое-что. Шарманка играла не безъ пріятности, но въ срединѣ ея, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась пѣснью: *Мальбрукъ съ походомъ пошелъ*, а *Мальбрукъ съ походомъ пошелъ* неожиданно завершался какимъ-то давно-знакомымъ вальсомъ. Уже Ноздревъ давно пересталъ вертѣть, но въ шарманкѣ была одна дудка, очень бойкая, никакъ не хотѣвшая утомиться, и долго еще потомъ свистѣла она одна. Потомъ показались трубки деревянные, глиняныя, пѣнковыя, обкуреныя и не обкуреныя, обтянутыя замшею и не обтянутыя, чубукъ съ янтарнымъ мундштукомъ, недавно выигранный кисетъ, вышитый какою-то графиней, гдѣ-то на почтовой станціи влюбившеюся въ него по уши, у которой ручки, по словамъ его, были самой субдительною *суперфлю*,—слово, вѣроятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыкомъ, они сѣли за столъ близъ пяти часовъ. Обѣдъ, какъ видно, не составлялъ у Ноздрева главнаго въ жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорѣло, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что поваръ руководствовался болѣе какимъ-то вдохновеніемъ и клалъ первое, что попа-

далось подъ руку: стоялъ ли возлѣ него перець—онъ сыпалъ перець, капуста ли попалась—совалъ капусту, пичкалъ молоко, ветчину, горохъ,—словомъ: катать-валить, было бы горячо, а вкусъ какой-нибудь, вѣрно, выйдетъ. Зато Ноздревъ налегъ на вина: еще не подавали супа, онъ ужъ налилъ гостямъ по большому стакану портвейна и по другому го-сотерна, потому что въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ не бываетъ простого сотерна. Потомъ Ноздревъ велѣлъ принести бутылку мадеры, „лучше которой не пивалъ самъ фельдмаршалъ“. Мадера, точно, даже горѣла во рту, ибо кущи, зная уже вкусъ помѣщиковъ, любившихъ добрую мадеру, заправляли ее безпощадно ромомъ, а иной разъ вливали туда и царской водки, въ надеждѣ, что все вынесутъ русскіе желудки. Потомъ Ноздревъ велѣлъ еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по словамъ его, была и бургоньонъ, и шампаньонъ вмѣстѣ. Онъ наливалъ очень усердно въ оба стакана—и направо, и налѣво, и зятю, и Чичикову; Чичиковъ замѣтилъ однако же, какъ-то вскользь, что самому себѣ онъ не много прибавлялъ. Это заставило его быть осторожнымъ, и какъ только Ноздревъ какъ-нибудь заговаривалъ или наливалъ зятю, онъ опрокидывалъ въ ту же минуту свой стаканъ въ тарелку. Въ непродолжительномъ времени была принесена на столъ рябиновка, имѣвшая, по словамъ Ноздрева, совершенный вкусъ сливокъ, но въ которой, къ изумленію, слышна была сивушища во всей своей силѣ. Потомъ пили какой-то бальзамъ, носившій такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и самъ хозяинъ въ другой разъ называлъ его уже другимъ именемъ. Обѣдъ давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости все еще сидѣли за столомъ. Чичиковъ никакъ не хотѣлъ заговорить съ Ноздревымъ при зятѣ насчетъ главнаго предмета: все-таки зять былъ человѣкъ посторонній, а предметъ требовалъ уединеннаго и дружескаго разговора. Впрочемъ, зять врядъ ли могъ быть человѣкомъ опаснымъ, потому что нагнулся, кажется, вдоволь и, сидя на стулѣ, ежеминутно клевался носомъ. Замѣтивъ и самъ, что находился не въ надежномъ состояніи, онъ сталъ, наконецъ, отпрашиваться домой, но такимъ лѣнивымъ и вялымъ голосомъ, какъ будто бы, по русскому выраженію, натаскивалъ клещами на лошадь хомутъ.

„И ни, ни! не пушу!“ сказалъ Ноздревъ.

„Нѣтъ, не обижай меня, другъ мой, право, поѣду“, говорилъ зять: „ты меня очень обидишь“.

„Пустяки, пустяки! Мы соорудимъ сію минуту банчишку“.

„Нѣтъ, сооружай, братъ, самъ, а я не могу: жена будетъ въ большой претензіи, право; я долженъ ей рассказать о ярмаркѣ. Нужно, братъ, право, нужно, доставить ей удовольствіе. Нѣтъ, ты не держи меня!“

„Ну, ее, жену къ... важное въ самомъ дѣлѣ дѣло станете дѣлать вмѣстѣ!“

„Нѣтъ, братъ! Она такая добрая жена. Ужъ, точно, примѣрная, такая почтенная и вѣрная! Услуги оказываетъ такія... повѣришь? у меня слезы на глазахъ. Нѣтъ, ты не держи меня; какъ честный человѣкъ, поѣду. Я тебя въ этомъ увѣряю по истинной совѣсти“.

„Пусть его ѣдетъ: чтó въ немъ проку?“ сказалъ тихо Чичиковъ Ноздреву.

„А и правду!“ сказалъ Ноздревъ: „смерть не люблю такихъ растепелей!“ и прибавилъ вслухъ: „Ну, чортъ съ тобою, поѣзжай бабиться съ женою, еетюкъ!“

„Нѣтъ, братъ, ты не ругай меня еетюкомъ“ *), отвѣчалъ зять: „я ей жизнью обязанъ. Такая, право, добрая, милая, такія ласки оказываетъ... до слезъ разбираетъ. Спросить, что видѣлъ на ярмаркѣ,—нужно все разсказать... такая, право, милая“.

„Ну, поѣзжай, ври ей чепуху! Вотъ картузъ твой“.

„Нѣтъ, братъ тебѣ совсѣмъ не слѣдуетъ о ней такъ отзываться; этимъ ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая“.

„Ну, такъ и убирайся къ ней скорѣе!“

„Да, братъ, поѣду; извини, что не могу остаться. Душой радъ бы былъ, но не могу“. Зять еще долго повторялъ свои извиненія, не замѣчая, что самъ уже давно сидѣлъ въ бричкѣ, давно выѣхалъ за ворота, и передъ нимъ давно были одни пустыя поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмаркѣ.

„Такая дрянъ! говорилъ Ноздревъ, стоя передъ окномъ и глядя на уѣзжавшій экипажъ. „Вонъ какъ потащился! Конекъ пристяжной недурень, я давно хотѣлъ поддѣкнуть его. Да вѣдь съ нимъ нельзя никакъ сойтись. Еетюкъ, просто еетюкъ!“

Засимъ вошли они въ комнату. Порфірій подаль свѣчи, и Чичиковъ замѣтилъ въ рукахъ хозяина, неизвѣстно откуда взявшаюся, колоду картъ.

„А что, братъ“, говорилъ Ноздревъ, прижавши бока колоды пальцами и нѣсколько погнувши ее, такъ что треснула и отскочила бумажка: „ну, для препровожденія времени, держу триста рублей банку!“

Но Чичиковъ прикинулся какъ будто не слышалъ, о чемъ рѣчь, и сказалъ, какъ бы вдругъ припомнивъ: „А! чтобъ не позабыть: у меня къ тебѣ просьба“.

„Какая?“

„Дай прежде слово, что исполнишь“.

„Да какая просьба?“

„Ну, да ужъ дай слово!“

„Изволь“.

„Честное слово?“

„Честное слово“.

„Вотъ какая просьба: у тебя есть, чай, много умершихъ крестьянъ, которые еще не вычеркнуты изъ ревизіи?“

„Ну, есть; а что?“

„Переведи ихъ на меня, на мое имя“.

„А на что тебѣ?“

„Ну, да мнѣ нужно“.

„Да на что?“

„Ну, да ужъ нужно... ужъ это мое дѣло,—словомъ, нужно“.

„Ну, ужъ, вѣрно, что-нибудь затѣялъ. Признайся, что?“

„Да что жъ затѣялъ? Изъ этакаго пустяка и затѣять ничего нельзя“.

„Да зачѣмъ же они тебѣ?“

„Охъ, какой любопытный! Ему всякую дрянъ хотѣлось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!“

„Да къ чему жъ ты не хочешь сказать?“

„Да что же тебѣ за прибыль знать? Ну, просто, такъ, пришла фантазія“.

*) Еетюкъ—слово обидное для мужчины, происходитъ отъ Ѣ, буквы, почтенной нѣкоторыми неприличною буквою : (Прим. Гоголя).

„Такъ вотъ же: до тѣхъ поръ, пока не скажешь, не сдѣлаю“.

„Ну, вотъ видишь, вотъ ужъ и нечестно съ твоей стороны: слово дать, да и на попятный дворъ“.

„Ну, какъ ты себѣ хочешь, а не сдѣлаю, пока не скажешь, на что“.

„Что бы такое сказать ему?“ подумалъ Чичиковъ и, послѣ минутнаго размышленія, объявилъ, что мертвыя души нужны ему для пріобрѣтенія вѣсу въ обществѣ, что онъ помѣстивъ большихъ не имѣетъ, такъ до того времени хотъ бы какія-нибудь душонки.

„Врешь, врешь!“ сказалъ Ноздревъ, не давши окончить: „врешь, братъ!“

Чичиковъ и самъ замѣтилъ, что придумалъ не очень ловко, и предлогъ довольно слабъ. „Ну, такъ я жъ тебѣ скажу прямо“, сказалъ онъ, поправившись: „только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумалъ жениться; но нужно тебѣ знать, что отецъ и мать невѣсты преамбиціонные люди. Такая, право, коммиссія! не радъ, что связался: хотятъ непременно, чтобы у жениха было никакъ не меньше трехсотъ душъ, а такъ какъ у меня цѣлыхъ почти полутораста крестьянъ недостаетъ...“

„Ну, врешь! врешь!“ закричалъ опять Ноздревъ.

„Ну, вотъ ужъ здѣсь“, сказалъ Чичиковъ: „ни вотъ на столько не солгалъ“, и показавъ большимъ пальцемъ на своемъ мизинцѣ самую маленькую часть.

„Голову ставлю, что врешь!“

„Однакожь это обидно! Что же я такое на самомъ дѣлѣ? Почему я непременно лгу?“

„Ну, да вѣдь я знаю тебя: вѣдь ты большой мошенникъ—позволь мнѣ это сказать тебѣ по дружбѣ! Если бы я былъ твоимъ начальникомъ, я бы тебя повѣсилъ на первомъ деревѣ“.

Чичиковъ оскорбился такимъ замѣчаніемъ. Уже всякое выраженіе, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Онъ даже не любилъ допускать съ собой ни въ какомъ случаѣ фамиліарнаго обращенія, развѣ только если особа была слишкомъ высокаго званія. И потому теперь онъ совершенно обидѣлся.

„Ей-Богу, повѣсилъ бы“, повторилъ Ноздревъ; „я тебѣ говорю это откровенно, не съ тѣмъ, чтобы тебя обидѣть, а просто по-дружески говорю“.

„Всему есть границы“, сказалъ Чичиковъ съ чувствомъ достоинства: „если хочешь пощеголять подобными рѣчами, такъ ступай въ казармы“,— и потомъ присовокупилъ: „не хочешь подарить, такъ продай“.

„Продать! да вѣдь я знаю тебя, вѣдь ты подлецъ, вѣдь ты дорого не дашь за нихъ?“

„Охъ! да ты вѣдь тоже хорошъ! Смотри ты! Что онъ у тебя, брильянтовые, что ли?“

„Ну, такъ и есть. Я ужъ тебя зналъ“.

„Помилуй, братъ, что жъ у тебя за жидовское побужденіе! ты бы долженъ просто отдать мнѣ ихъ“.

„Ну, послушай: чтобы доказать тебѣ, что я вовсе не какойнибудь скалдырникъ, я не возьму за нихъ ничего. Купи у меня жеребца, а тебѣ дамъ ихъ въ придачу“.

„Помилуй, на что жъ мнѣ жеребецъ?“ сказалъ Чичиковъ, изумленный на самомъ дѣлѣ такимъ предложеніемъ.

„Какъ на что? Да вѣдь я за него заплатилъ десять тысячъ, а тебѣ отдаю за четыре“.

„Да на что мнѣ жеребецъ? Завода я не держу“.

„Да послушай, ты не понимаешь: вѣдь я съ тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мнѣ послѣ“.

„Да не нуженъ мнѣ жеребецъ, Богъ съ нимъ!“

„Ну, купи каурю кобылу“.

„И кобылы не нужно“.

„За кобылу и за сѣраго коня, котораго ты у меня видѣлъ, возьму я съ тебя только двѣ тысячи“.

„Да не нужны мнѣ лошади“.

„Ты ихъ продашь: тебѣ на первой ярмаркѣ дадутъ за нихъ втрое больше“.

„Такъ лучше жъ ты ихъ самъ продай, когда увѣренъ, что выиграешь втрое“.

„Я знаю, что выиграю, да мнѣ хочется, чтобы и ты получилъ выгоду“.

Чичиковъ поблагодарилъ за расположеніе и напрямикъ отказался и отъ сѣраго коня, и отъ кауры кобылы.

„Ну, такъ купи собакъ. Я тебѣ продамъ такую пару, просто—морозъ по кожѣ подираетъ! брдастая съ усами; шерсть стоитъ вверхъ, какъ щетина; бочковатость ребръ уму непостижимая; лапа вся въ комокъ—земли не задѣнеть!“

„Да зачѣмъ мнѣ собаки? я не охотникъ“.

„Да мнѣ хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если ужъ не хочешь собакъ, такъ купи у меня шарманку. Чудная шарманка! Самому, какъ честный человѣкъ, обошлась въ полторы тысячи; тебѣ отдамъ за 900 рублей“.

„Да зачѣмъ же мнѣ шарманка? Вѣдь я не нѣмецъ, чтобы, тащась съ ней по дорогамъ, выпрашивать деньги“.

„Да вѣдь это не такая шарманка, какъ носятъ нѣмцы. Это органъ; посмотри нарочно: вся изъ краснаго дерева. Вотъ я тебѣ покажу ее еще!“ Здѣсь Ноадревъ, схвативши за руку Чичикова, сталъ тащить его въ другую комнату, и, какъ тотъ ни упирался ногами въ полъ и ни увѣрялъ, что онъ знаетъ уже, какая шарманка, но долженъ былъ услышать еще разъ, какимъ образомъ поѣхалъ въ походъ Мальбругъ. „Когда ты не хочешь на деньги, такъ вотъ что, слушай: я тебѣ дамъ шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвыя души, а ты мнѣ дай свою бричку и триста рублей придачи“.

„Ну, вотъ еще! А я-то въ чемъ поѣду?“

„Я тебѣ дамъ другую бричку. Вотъ пойдемъ въ сарай, я тебѣ покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будетъ чудо-бричка“.

„Эхъ его неутомонный бѣсъ какъ обуялъ!“ подумалъ про себя Чичиковъ и рѣшился, во что бы то ни стало, отдѣлаться отъ всякихъ бричекъ, шарманокъ и всѣхъ возможныхъ собакъ, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребръ и комкость лапъ.

„Да вѣдь бричка, шарманка и мертвыя души—все вмѣстѣ“.

„Не хочу!“ сказалъ еще разъ Чичиковъ.

„Отчего жъ ты не хочешь?“

„Оттого, что, просто, не хочу—да и полно“.

„Экой ты, право, такой! Съ тобой, какъ я вижу, нельзя, какъ водится между хорошими друзьями и товарищами... такой, право!.. Сейчасъ видно, что двуличный человѣкъ!“

„Да что же я дуракъ, что ли? Ты посуди самъ! зати́мъ же пріобрѣтать вещь, рѣшительно для меня ненужную?“

„Ну, ужъ, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракали́я! Ну, послушай: хочешь метнемъ банчикъ? Я поставлю всѣхъ умершихъ на карту, шарманку тоже“.

„Ну, рѣшаться въ банкъ—значить подвергаться неизвѣстности“, говорилъ Чичиковъ и между тѣмъ взглянулъ исюса на бывшія въ рукахъ у него карты. Обѣ талии ему показались очень похожія на искусственныя, и самый краѣ глядѣлъ весьма подозрительно.

„Отчего жъ неизвѣстности?“ сказалъ Ноздревъ. „Никакой неизвѣстности! Будь только на твоей сторонѣ счастье, ты можешь выиграть чортову пропасть. Вонъ она! Экое счастье!“ говорилъ онъ, начиная метать для возбужденія задору. „Экое счастье! экое счастье! Вонъ: такъ и колотить! Вотъ та проклятая девятка, на которой я все просадилъ! Чувствовалъ, что продасть, да уже, зажмуривъ глаза, думаю себѣ: „чортъ тебя поберетъ, продавай, проклятая!“

Когда Ноздревъ это говорилъ, Порфирій принесъ бутылку. Но Чичиковъ отказался рѣшительно какъ играть, такъ и пить.

„Отчего же ты не хочешь играть?“ сказалъ Ноздревъ.

„Ну, оттого, не расположенъ. Да, признаться сказать, я вовсе не охотникъ играть“.

„Отчего жъ не охотникъ?“

Чичиковъ пожалъ плечами и прибавилъ: „Потому что не охотникъ“.

„Дрянъ же ты!“

„Что жъ одѣлать? такъ Богъ создалъ“.

„Еетюкъ, просто! Я думалъ было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человѣкъ, а ты никакого не понимаешь обращенія. Съ тобой никакъ нельзя говорить, какъ съ человѣкомъ близкимъ... Никакого прямодушія, ни искренности! Совершенный Собакевичъ, такой подлець!“

„Да за что же ты бранишь меня? Виновать развѣ я, что не играю? Продай мнѣ душъ однихъ, если ужъ ты такой человѣкъ, что дрожишь изъ-за этого вздору“.

„Чорта лысаго получишь! Хотѣлъ было, даромъ хотѣлъ отдать, но теперь вотъ не получишь же! Хоть три царства давай—не отдамъ. Такой шильникъ, печникъ гадкій! Съ этихъ поръ съ тобою никакого дѣла не хочу имѣть. Порфирій, ступай, скажи конюху, чтобы не давалъ овса лошадямъ его, пусть ихъ ѣдятъ одно сѣно“.

Послѣдняго заключенія Чичиковъ никакъ не ожидалъ.

„Лучше бъ ты мнѣ, просто, на глаза не показывался!“ сказалъ Ноздревъ.

Несмотря, однакожъ, на такую размолвку, гость и хозяинъ поужинали вмѣстѣ, хотя на этотъ разъ не стояло на столѣ никакихъ винъ съ затѣйливыми именами. Торчала одна только бутылка съ какимъ-то кипрскимъ, которое было то, что называютъ кислятина во всѣхъ отношеніяхъ. Послѣ ужина Ноздревъ сказалъ Чичикову, отводя его въ боковую комнату, гдѣ была приготовлена для него постель: „Вотъ тебѣ постель! Не хочу и доброй ночи желать тебѣ“.

Чичиковъ остался по уходѣ Ноздрева въ самомъ непріятномъ расположеніи духа. Онъ внутренно досадовалъ на себя, бранилъ себя за то, что къ нему заѣхалъ и потерялъ даромъ время; но еще болѣе бранилъ себя за то, что заговорилъ съ нимъ о дѣлѣ; поступилъ неосторожно, какъ ребенокъ,

какъ дуракъ: ибо дѣло совсѣмъ не такого рода, чтобы быть ввѣрену Ноздреву... Ноздревъ—человѣкъ-дрянь, Ноздревъ можетъ наврать, прибавить, распустиить, чортъ знаетъ, чтб, выйдутъ еще какія-нибудь сплетни... Не хорошо, не хорошо. „Просто, дуракъ я!“ говорилъ онъ самъ себѣ. Ночь спалъ онъ очень дурно. Какія-то маленькія, пребойкія насѣкомыя кусали его нестерпимо больно, такъ что онъ всей горстью скребъ по уязвленному мѣсту, приговаривая: „А, чтобы васъ чортъ побралъ вмѣстѣ съ Ноздревымъ!“ Проснулся онъ раннимъ утромъ. Первымъ дѣломъ его было, надѣвши халатъ и сапоги, отправиться черезъ дворъ въ конюшню, приказать Селифану сей же часъ закладывать бричку. Возвращаясь черезъ дворъ, онъ встрѣтился съ Ноздревымъ, который былъ также въ халатѣ, съ трубкою въ зубахъ.

Ноздревъ привѣтствовалъ его по-дружески и спросилъ, каково ему спалось.

„Такъ себѣ“, отвѣчалъ Чичиковъ весьма сухо.

„А я, братъ“, говорилъ Ноздревъ: „такая мерзость лѣзла всю ночь, что гнусно рассказывать; и во рту послѣ вчерашняго точно эскадронъ переночевалъ. Представь, снилось, что меня высѣли, ей, ей! И вообрази, кто? Вотъ ни за что не угадаешь:—штабсъ-ротмистръ Поцѣлуевъ вмѣстѣ съ Кувшинниковымъ“.

„Да“, подумалъ про-себя Чичиковъ: „хорошо бы, если бъ тебя отодрали на-аву“.

„Ей-Богу! Да преболѣно! Проснулся, чортъ возьми, въ самомъ дѣлѣ, что-то почесывается; вѣрно, вѣдьмы блохи. Ну, ты ступай теперь, одѣвайся; я къ тебѣ сейчасъ приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика“.

Чичиковъ ушелъ въ комнату одѣться и умыться. Когда послѣ того вышелъ онъ въ столовую, тамъ уже стоялъ на столѣ чайный приборъ съ бутылкою рома. Въ комнатѣ были слѣды вчерашняго обѣда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлѣбныя крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Самъ хозяинъ, не замедлившій скоро войти, ничего не имѣлъ у себя подъ халатомъ, кромѣ открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа въ рукѣ чубукъ и прихлебывая изъ чашки, онъ былъ очень хорошъ для живописца, не любящаго страхъ господъ прилизанныхъ и завитыхъ, подобно цырюльнымъ вывѣскамъ, или выстриженныхъ подъ гребенку.

„Ну, такъ какъ же думаешь?“ сказалъ Ноздревъ, немного помолчавши: „не хочешь играть на души?“

„Я уже сказалъ тебѣ, братъ, что не играю: купить,—изволь, куплю“.

„Продать я не хочу: это будетъ не по-пріятельски. Я не стану снимать плевы съ чортъ знаетъ чего. Въ банчикъ—другое дѣло. Прикинемъ хоть талію!“

„Я ужъ сказалъ, что нѣтъ“.

„А мѣняться не хочешь?“

„Не хочу“.

„Ну, послушай: сыграемъ въ шашки; выиграешь—твой всѣ. Вѣдь у меня много такихъ, которыхъ нужно вычеркнуть изъ ревизіи. Эй, Порфирій, принеси-ка сюда шашечницу!“

„Напрасенъ трудъ: я не буду играть“.

„Да вѣдь это не въ банкъ; тутъ никакого не можетъ быть счастья или фальши: все вѣдь отъ искусства. Я даже тебя предвараю, что я совсѣмъ не умѣю играть, развѣ что-нибудь мнѣ дашь впередъ“.

„Сѣмъ-ка я“, — подумалъ про себя Чичиковъ, — „сыграю съ нимъ въ шашки. Въ шашки игрывалъ я недурно, а на штуки ему здѣсь трудно подняться“.

„Изволь, такъ и быть, въ шашки сыграю“.

„Души идутъ въ ста рубляхъ!“

„Зачѣмъ же? Довольно, если пойдутъ въ пятидесяти“.

„Нѣтъ, что жъ за кушъ пятьдесятъ? Лучше жъ въ эту сумму я включу тебѣ какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку къ часамъ“.

„Ну, изволь!“ сказалъ Чичиковъ.

„Сколько же ты мнѣ дашь впередъ?“ сказалъ Ноздревъ.

„Это съ какой стати? Конечно, ничего“.

„По крайней мѣрѣ, пусть будутъ мои два хода“.

„Не хочу: я самъ плохо играю“.

„Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!“ сказалъ Ноздревъ, выступая шашкой.

„Давненько не бралъ я въ руки шашекъ!“ говорилъ Чичиковъ, подвигая тоже шашку.

„Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!“ сказалъ Ноздревъ, подвигая шашку, да въ то же самое время подвинулъ обшлагомъ рукава и другую шашку.

„Давненько не бралъ я въ руки!.. Э, э! Это, братъ, что? отсади-ка ее назадъ!“ говорилъ Чичиковъ.

„Кого?“

„Да шашку-то“, сказалъ Чичиковъ и въ то же время увидѣлъ почти передъ самымъ носомъ своимъ и другую, которая, какъ казалось, пробиралась въ дамки. Откуда она взялась, это одинъ только Богъ зналъ. „Нѣтъ“, сказалъ Чичиковъ, вставши изъ-за стола: „съ тобой нѣтъ никакой возможности играть. Этакъ не ходить—по три шашки вдругъ!“

„Отчего жъ по три? Это по ошибкѣ. Одна подвинулась нечаянно; я ее отодвину, изволь“.

„А другая-то откуда взялась?“

„Какая другая?“

„А вотъ эта, что пробирается въ дамки?“

„Вотъ тебѣ на! будто не помнишь!“

„Нѣтъ, братъ, я всѣ ходы считалъ, и все помню; ты ее только теперь пристроилъ. Ей мѣсто вонъ гдѣ!“

„Какъ—гдѣ мѣсто?“ сказалъ Ноздревъ, покраснѣвши: „да ты, братъ, какъ я вижу, сочинитель!“

„Нѣтъ, братъ, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно“.

„За кого жъ ты меня считаешь?“ говорилъ Ноздревъ: „стану я развѣ плутовать?“

„Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть съ этихъ поръ никогда не буду“.

„Нѣтъ, ты не можешь отказаться“, говорилъ Ноздревъ, горячась: „игра начата“.

„Я имѣю право отказаться, потому что ты не такъ играешь, какъ прилично честному человѣку“.

„Нѣтъ, врешь, ты этого не можешь сказать!“

„Нѣтъ, братъ, самъ ты врешь!“

глядѣлъ на нее нѣсколько минутъ, не обращая никакого вниманія на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. „Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!“ кричалъ чужой кучеръ. Селифанъ потянулъ поводья назадъ, чужой кучеръ сдѣлалъ то же, лошади нѣсколько попятились назадъ и потомъ опять спяблись, переступивши постромки. При этомъ обстоятельстве чубарому коню такъ понравилось новое знакомство, что онъ никакъ не хотѣлъ выходить изъ колеи, въ которую попалъ непредвидѣнными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего новаго пріятеля, казалось, что-то нашептывалъ ему въ самое ухо, вѣроятно, чепуху страшную, потому что пріѣзжій безпрестанно встряхивалъ ушами.

На такую сумятицу успѣли, однакожъ, собраться мужики изъ деревни, которая была, къ счастью, неподалеку. Такъ какъ подобное зрѣлище для мужика—сушая благодать, все равно, что для нѣмца газеты или клубъ, то скоро около экипажа накопилась ихъ бездна, и въ деревнѣ остались только старыя бабы да малые ребята. Постромки отвязали; нѣсколько тычковыхъ чубарому коню въ морду заставили его попятиться; словомъ, ихъ разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали пріѣзжіе кони за то, что разлучили ихъ съ пріятелями, или, просто, дурь,—только, сколько ни хлесталъ ихъ кучеръ, они не двигались и стояли, какъ вкопанные. Участіе мужиковъ возросло до невѣроятной степени. Каждый наперерывъ совался съ совѣтомъ: „Ступай, Андрюшка, проводи-ка ты пристяжного, что съ правой стороны, а дядя Митяй пусть сядетъ верхомъ на коренного! Садись, дядя Митяй!“ Сухощавый и длинный дядя Митяй, съ рыжей бородой, взобрался на коренного коня и сдѣлался похожимъ на деревенскую колокольню или, лучше, на крючокъ, которымъ достаютъ воду въ колодцахъ. Кучеръ ударилъ по лошадямъ, но не тутъ-то было: ничего не пособилъ дядя Митяй. „Стой, стой!“ кричали мужики: „садись-ка, ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядетъ дядя Миняй!“ Дядя Миняй, широкоплечій мужикъ, съ черною, какъ уголь, бородою, и брюхомъ, похожимъ на тотъ исплинскій самоваръ, въ которомъ варится сбитень для всего прозябнущаго рынка, съ охотою сѣлъ на коренного, который чуть не пригнулся подъ нимъ до земли. „Теперь дѣло пойдетъ“, кричали мужики. „Накаливай, накаливай его! Пришпандоръ кнутомъ вонъ того, соловаго,—что онъ корячится, какъ корамора *)?“ Но, увидѣвши, что дѣло не шло, и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй сѣли оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконецъ кучеръ, потерявши терпѣніе, прогналъ и дядю Митая, и дядю Миняя; и хорошо сдѣлалъ, потому что отъ лошадей пошелъ такой паръ, какъ будто бы онѣ отхватали, не переводя духа, станцію. Онъ далъ имъ минуту отдохнуть, послѣ чего онѣ пошли сами собою. Во все продолженіе этой продѣлки Чичиковъ глядѣлъ очень внимательно на молоденькую незнакомку. Онъ пытался нѣсколько разъ съ нею заговорить, но какъ-то не пришлось такъ. А между тѣмъ дамы уѣхали, хорошенькая головка, съ тоненькими чертами лица и тоненькимъ станомъ, скрылась, какъ что-то похожее на видѣнье, и опять осталась—дорога, бричка, тройка знакомыхъ читателю лошадей, Селифанъ, Чичиковъ, гладь и пустота

*) *Корамора*—большой, длинный, вялый комаръ; иногда залетаетъ онъ въ комнату и торчитъ гдѣ-нибудь одиночкой на стѣнѣ. Къ нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, въ отвѣтъ на что онъ только топчирится, или корячится, какъ говоритъ народъ.

(Примѣч. Гоголя).

крѣпость чувствовала такой страхъ, что душа ея спряталась въ самыя пятки. Уже стужъ, которымъ онъ вздумалъ было защищаться, былъ вырванъ крѣпостными людьми изъ рукъ его; уже, зажмуривъ глаза, ни живъ, ни мертвъ, онъ готовился отвѣдать черкесскаго чубука своего хозяина и, Богъ знаетъ, чего бы ни случилось съ нимъ; но судьбамъ угодно было спасти бока, плечи и всѣ благовоспитанныя части нашего героя. Неожиданнымъ образомъ звякнули вдругъ, какъ съ облаковъ, задремавшіе звуки колокольчика, раздался ясно стужъ колесъ подлѣтѣвшей къ крыльцу телѣги и отозвались даже въ самой комнатѣ тяжелый храпъ и тяжелая одышка разгоряченныхъ коней остановившейся тройки. Всѣ невольно глянули въ окно: кто-то съ усами, въ полувоенномъ сюртукѣ, вылѣзалъ изъ телѣги. Освѣдомившись въ передней, вошелъ онъ въ ту самую минуту, когда Чичиковъ не успѣлъ еще опомниться отъ своего страха и былъ въ самомъ жалкомъ положеніи, въ какомъ когда-либо находился смертный.

„Позвольте узнать, кто здѣсь г. Ноздревъ?“ сказалъ незнакомецъ, посмотрѣвши въ нѣкоторомъ недоумѣніи на Ноздрева, который стоялъ съ чубукомъ въ рукѣ, и на Чичикова, который едва начиналъ оправляться отъ своего невыгоднаго положенія.

„Позвольте прежде узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?“ сказалъ Ноздревъ, подходя къ нему ближе.

„Капитанъ-исправникъ“.

„А что вамъ угодно?“

„Я пріѣхалъ вамъ объявить сообщенное мнѣ извѣщеніе, что вы находитесь подъ судомъ до времени окончанія рѣшенія по вашему дѣлу“.

„Что за вѣдоръ, по какому дѣлу?“ сказалъ Ноздревъ.

„Вы были замѣшаны въ исторію, по случаю нанесенія помѣщику Максимову личной обиды розгами, въ пьяномъ видѣ“.

„Вы врете! Я и въ глаза не видалъ помѣщика Максимова“.

„Милостивый государь! позвольте вамъ доложить, что я офицеръ. Вы можете это сказать вашему слугѣ, а не мнѣ“.

Здѣсь Чичиковъ, не дожидаясь, что будетъ отвѣчать на это Ноздревъ, скорѣе за шапку, да по-за спиною капитана-исправника выскользнулъ на крыльцо, сѣлъ въ бричку и велѣлъ Селифану погонять лошадей во весь духъ.

ГЛАВА IV.

По дорогѣ коляска Чичикова столкнулась съ экипажемъ, въ которомъ ѣхали двѣ дамы; кучера долго не могли разъѣхаться и стали ругаться.

Между тѣмъ сидѣвшія въ коляскѣ дамы глядѣли на все это съ выраженіемъ страха въ лицахъ. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилѣтняя, съ золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головкѣ. Хорошенькій овалъ лица ея круглился, какъ свѣженъе яичко, и, подобно ему, бѣлѣлъ какою-то прозрачною бѣлизною, когда свѣжее, только что снесенное, оно держится противъ свѣта въ смуглыхъ рукахъ испытующей его ключницы и пропускаетъ сквозь себя лучи сіяющаго солнца: ея тоненькія ушки также сквозили, рдѣя проникавшимъ ихъ теплымъ свѣтомъ. При этомъ испугъ въ открытыхъ, остановившихся устахъ, на глазахъ слезы—все это въ ней было такъ мило, что герой нашъ

Отъ Собакевича Чичиковъ поѣхалъ къ Плюшкину. Дорогу къ нему онъ спрашивалъ у встрѣчныхъ мужиковъ.

Когда бричка была уже на концѣ деревни, онъ подозвалъ къ себѣ перваго мужика, который, поднявши гдѣ-то на дорогѣ претолстое бревно, тащилъ его на плечѣ, подобно неутомимому муравью, къ себѣ въ избу.

„Эй, борода! а какъ проѣхать отсюда къ Плюшкину, такъ, чтобъ не мимо господскаго дома?“

Мужикъ, казалось, затруднился симъ вопросомъ.

„Что жъ, не знаешь?“

„Нѣтъ, баринъ, не знаю.“

„Эхъ, ты! А и сѣдымъ волосомъ еще подернуло! Скрыгу Плюшкина не знаешь,—того, что плохо кормить людей?“

„А! заплатанной, заплатанной!“ вскрикнулъ мужикъ. Было имъ при-
бавлено и существительное къ слову *заплатанной*, очень удачное, но неупотребительное въ свѣтскомъ разговорѣ, а потому мы его пропустимъ. Впрочемъ, можно догадываться, что оно выражено было очень мѣтко, потому что Чичиковъ, хотя мужикъ давно уже пропалъ изъ виду и много уѣхали впередъ, однакожъ все еще усмѣхался, сидя въ бричкѣ. Выражается сильно російскій народъ! И если наградить кого словомъ, то пойдетъ оно ему въ родъ и потомство, утащить онъ его съ собою и на службу, и въ отставку, и въ Петербургъ, и на край свѣта. И какъ ужъ потомъ ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хотъ заставъ пишущихъ людшекъ выводить его за наемную плату отъ древне-княжескаго рода, ничто не поможетъ: каркнетъ само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажетъ ясно, откуда вылетѣла птица. Произнесенное мѣтко, все равно, что писанное, не вырубливается топоромъ. А ужъ куда бываетъ мѣтко все то, что вышло изъ глубины Руси, гдѣ нѣтъ ни нѣмецкихъ, ни чухонскихъ, ни всякихъ иныхъ племенъ, а все самъ-самородокъ, живой и бойкій русскій умъ, что не лѣзетъ за словомъ въ карманъ, не высиживаетъ его, какъ насѣдка цыплятъ, а влѣпливаетъ сразу, какъ пашпортъ на вѣчную носку, и нечего прибавлять уже потомъ, какой у тебя носъ или губы: одной чертой обрисованъ ты съ ногъ до головы!

Какъ несмѣтное множество церквей, монастырей съ куполами, главами, крестами, разсыпано на святой благочестивой Руси, такъ несмѣтное множество племенъ, поколѣній, народовъ толпится, пестрѣетъ и мечется по липу земли. И всякій народъ, носящій въ себѣ залогъ силъ, полный творящихъ способностей души, своей яркой особенности и другихъ даровъ Бога, своеобразно отличился каждый своимъ собственнымъ словомъ, которыми, выражая какой ни есть предметъ, отражаетъ въ выраженіи его часть собственного своего характера. Сердцевѣдніемъ и мудрымъ познаниемъ жизни отзовется слово британца; легкимъ щеголемъ блеснетъ и разлетится недолговѣчное слово француза; затѣйливо придумаетъ свое не всякому доступное, умно-худощавое слово нѣмецъ; но нѣтъ слова, которое было бы такъ замашисто, бойко, такъ вырвалось бы изъ-подъ самаго сердца, такъ бы кипѣло и живо трепетало, какъ мѣтко сказанное русское слово.

ГЛАВА V.

Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, мнѣ было весело подъѣзжать въ первый разъ къ незнакомому мѣсту: все равно, была ли то деревушка, бѣдный уѣздный городишко, село ли, слободка,—любопытнаго много открывалъ въ немъ дѣтскій любопытный взглядъ. Всякое строеніе, все, что носило только на себѣ впечатлѣніе какой-нибудь замѣтной особенности, все останавливало меня и поражало. Каменный ли каменный домъ извѣстной архитектуры, съ половиною фальшивыхъ оконъ, одинъ-одинешенекъ торчавшій среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажныхъ мѣщанскихъ обывательскихъ домиковъ; круглый ли правильный куполъ, весь обитый листовымъ бѣлымъ желѣзомъ, вознесенный надъ выѣленною, какъ снѣгъ, новою церковью, рынокъ ли, фронтъ ли уѣздный, попавшійся среди города,—ничто не ускользало отъ свѣжаго, тонкаго вниманія, и, высунувши носъ изъ походной телѣги своей, я глядѣлъ и на невиданный дотошъ покровъ какого-нибудь скюртука, и на деревянные ящики съ гвоздями, съ сѣрой, желтѣвшей вдали, съ изюмомъ и мыломъ, мелькавшіе изъ дверей овощной лавки вмѣстѣ съ банками высохшихъ московскихъ конфетъ; глядѣлъ и на шедшаго въ сторонѣ пѣхотнаго офицера, занесеннаго, Богъ знаетъ, изъ какой губерніи, на уѣздную скуку, и на купца, мелькнувшаго въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожжахъ,—и уносился мысленно за ними въ бѣдную жизнь ихъ. Уѣздный чиновникъ пройди мимо—я уже и задумывался: куда онъ идетъ, на вечеръ ли къ какому-нибудь своему брату, или прямо къ себѣ домой, чтобы, посидѣвши съ полчаса на крыльцѣ, пока не совсѣмъ еще сгустились сумерки, сѣсть за ранній ужинъ съ матушкой, съ женой, съ сестрой жены и всей семьей; и о чемъ будетъ вѣденъ разговоръ у нихъ въ то время, когда дворовая дѣвка въ монистахъ или мальчишкѣ въ толстой курткѣ принесетъ, уже послѣ супа, сальную свѣчу въ долговѣчномъ домашнемъ подсвѣчникѣ. Подъѣзжая къ деревнѣ какого-нибудь помѣщика, я любопытно смотрѣлъ на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мнѣ издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и бѣлыя трубы помѣщичьяго дома, и я ждалъ нетерпѣливо, пока разойдутся на обѣ стороны заступавшіе его сады и онъ покажется весь, съ своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наружностью, и по немъ старался я угадать: кто таковъ самъ помѣщикъ, толстъ ли онъ, и сыновья ли у него, или цѣлыхъ шестеро дочерей, съ звонкимъ дѣвическимъ смѣхомъ, играми и вѣчною красавицей меньшою сестрицею, и черноглазы ли онѣ, и весельчакъ ли онъ самъ, или хмурень, какъ сентябрь въ послѣднихъ числахъ, глядитъ въ календарь, да говоритъ про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъѣзжаю ко всякой незнакомой деревнѣ и равнодушно глажу на ея пошлую наружность; моему охлажденному взору непріятно, мнѣ не смѣшно, и то, что пробудило бы въ прежніе годы живое движеніе въ лицѣ, смѣхъ и немолчныя рѣчи, то скользитъ теперь мимо, и безучастное молчаніе хранятъ мои недвижныя уста. О, моя юность! о, моя свѣжесть!

Покаместъ Чичиковъ думалъ и внутренно посмѣивался надъ прозвищемъ, отпущеннымъ мужиками Плюшкину, онъ не замѣтилъ, какъ въѣхалъ въ средину обширнаго села, со множествомъ избъ и улицъ. Скоро, одна-

ко же, далъ замѣтить ему это препорядочный толчокъ, произведенный бревенчатою мостовою, предъ которою городская каменная была ничто. Эти бревна, какъ фортепьянныя клавиши, подымались то вверхъ, то внизъ, и небережливый задокъ приобреталъ или шишку на затылокъ, или синее пятно на лобъ, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостикъ собственнаго же языка. Какую-то особенную ветхость замѣтилъ онъ на всѣхъ деревенскихъ строенияхъ: бревно на избахъ было темно и старо; многія крыши сквозили, какъ рѣшето; на иныхъ оставался только конекъ вверху, да жерди по сторонамъ въ видѣ ребръ. Кажется, сами хозяева снесли съ нихъ дранье и тесъ, разсуждая, и, конечно, справедливо, что въ дождь избы не кроютъ, а въ ведро и сама не каплетъ, бѣдиться же въ ней незачѣмъ, когда есть просторъ и въ кабахъ, и на большой дорогѣ,—словомъ, гдѣ хочешь. Окна въ избенкахъ были безъ стеколъ, инныя были заткнуты тряпкой или зипуномъ; балкончики подъ крышами съ перилами, неизвѣстно для какихъ причинъ, дѣлаемые въ иныхъ русскихъ избахъ, покосились и почернѣли даже не живописно. Изъ-за избы тянулись во многихъ мѣстахъ рядами огромныя кладя хлѣба, застоявшіяся, какъ видно, долго; цвѣтомъ походили онѣ на старый, плохо выжженный кирпичъ, на верхушкѣ ихъ росла всякая дрянь, и даже прицѣпился сбоку кустарникъ. Хлѣбъ, какъ видно, былъ господскій. Изъ-за хлѣбныхъ кладей и ветхихъ крышъ возносились и мелькали на чистомъ воздухѣ то справа, то слѣва, по мѣрѣ того, какъ бричка дѣлала повороты, двѣ сельскія церкви, одна возлѣ другой—опустѣвшая деревянная и каменная, съ желтенькими стѣнами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями сталъ выказываться господскій домъ и, наконецъ, глянулъ весь въ томъ мѣстѣ, гдѣ цѣпь избъ прервалась, и на мѣсто ихъ остался пустыремъ огородъ или капустникъ, обнесенный низкою, мѣстами изломанною городьбою. Какимъ-то дряхлымъ инвалидомъ глядѣлъ сей странный замокъ, длинный, длинный непомѣрно. Мѣстами былъ онъ въ одинъ этажъ, мѣстами въ два; на темной крышѣ, не вездѣ надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, одинъ противъ другого, оба уже пошатнувшіеся, лишеныя когда-то покрывавшей ихъ краски. Стѣны дома ошеливали мѣстами нагую штукатурную рѣшетку и, какъ видно, много потерпѣли отъ всякихъ непогодъ, дождей, вихрей и осеннихъ перемѣнъ. Изъ оконъ только два были открыты, прочія были заставлены ставнями или даже забыты досками. Эти два окна, съ своей стороны, были тоже подслѣповаты; на одномъ изъ нихъ темнѣлъ наклеенный треугольникъ изъ синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходившій за село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и загдохлый, казалось, одинъ освѣжалъ эту обширную деревню и одинъ былъ вполне живописенъ въ своемъ картинномъ опустѣніи. Зелеными облаками и неправильными, трепетolistными куполами лежали на небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся на свободѣ деревь. Бѣлый колоссальный стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на воздухѣ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, остроконечный изломъ его, которымъ онъ оканчивался кверху вмѣсто капителя, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка или черная птица. Хмель, глушившій внизу кусты бузины, рябины и лѣсного орѣшника и пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ, наконецъ, вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. Достигнувъ сере-

дины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣплять вершины другихъ деревь или же висѣлъ на воздухѣ, завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко колеблемые воздухомъ. Мѣстами расходились зеленныя чащи, озаренныя солнцемъ, и показывали неосвѣщенное между нихъ углубленіе, зіявшее какъ темная пастъ; оно было все окинуто тѣнью, и чуть-чуть мелькали въ черной глубинѣ его; бѣжавшая узкая дорожка, обрушенныя перилы, пошатнувшаяся бесѣдка, дуилистый дряхлый стволъ ивы, сѣдой чапыжникъ, густой щетиною вытыкавшій изъ-за ивы иссохшіе отъ страшной глушины, перепутавшіеся и скрестившіеся листья и сучья, и, наконецъ, молодая вѣтвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, подъ одинъ изъ которыхъ забравшись, Богъ вѣсть какимъ образомъ, солнце превращало его вдругъ въ прозрачный и огненный, чудно сіявшій въ этой густой темнотѣ. Въ сторонѣ, у самаго края сада, нѣсколько высокорослыхъ, не вровень другимъ, осинъ подымали огромныя вороньи гнѣзда на трепетныя свои вершины. У иныхъ ихъ отдернутыя и не вполне отдѣленныя вѣтви висѣли внизъ вмѣстѣ съ иссохшими листьями. Словомъ, все было хорошо, какъ не выдумать ни природѣ, ни искусству, но какъ бываетъ только тогда, когда они соединятся вмѣстѣ, когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду человѣка пройдетъ окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облегчить тяжелыя массы, уничтожить грубо-ощутительную правдивость и нищенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываетъ нескрытый, нагой планъ, и дастъ чудную теплоту всему, что создалось въ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности.

Сдѣлавъ одинъ или два поворота, герой нашъ очутился, наконецъ, передъ самымъ домомъ, который показался теперь еще печальнѣе. Зеленая плѣснь уже покрыла ветхое дерево на оградѣ и воротахъ. Толпа строеній,—людскихъ, амбаровъ, погребовъ,—видимо ветшавшихъ, наполняла дворъ; возлѣ нихъ направо и налѣво видны были ворота въ другіе дворы. Все говорило, что здѣсь когда-то хозяйство текло въ обширномъ размѣрѣ, и все глядѣло нынѣ пасмурно. Ничего не замѣтно было оживляющаго картину—ни отворявшихся дверей, ни выходившихъ откуда-нибудь людей, никакихъ живыхъ хлопотъ и заботъ дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что вѣхалъ мужикъ съ нагруженною телѣгою, покрытою рогожею, показавшійся какъ бы нарочно для оживленія сего вымершаго мѣста: въ другое время и они были заперты наглухо, ибо въ желѣзной петлѣ висѣлъ замокъ-исполинь. У одного изъ строеній Чичиковъ скоро замѣтилъ какую-то фигуру, которая начала вздорить съ мужикомъ, прибавшимъ на телѣгѣ. Долго онъ не могъ распознать, какого пола была фигура—баба или мужикъ. Платье на ней было совершенно неопредѣленное, похожее очень на женскій капотъ; на головѣ колпакъ, какой носятъ деревенскія дворовыя бабы; только одинъ голосъ показался ему нѣсколько сирымъ для женщины. „Ой, баба!“ подумалъ онъ про себя и тутъ же прибавилъ: „Ой, нѣтъ!“—„Конечно, баба!“ наконецъ сказалъ онъ, разсмотрѣвъ попристальнѣе. Фигура, съ своей стороны, глядѣла на него тоже пристально. Казалось, гость былъ для нея въ диковинку, потому что она обсмотрѣла не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная съ хвоста и до морды. По висѣвшимъ у ней за поясомъ ключамъ и потому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиковъ заключилъ, что это, вѣрно, ключница. „Послушай, матушка“, сказалъ онъ, выходя изъ брички: „что барины?“

„Нѣтъ дома“, прервала ключница, не дожидаясь окончанія вопроса, и потомъ, спустя минуту, прибавила: „А что вамъ нужно?“

„Есть дѣло“.

„Иди въ комнаты!“ сказала ключница, отворотившись и показавъ ему спину, запачканную мукою, съ большой прорѣхою пониже.

Онъ вступилъ въ темныя, широкія сѣни, отъ которыхъ подуло холодомъ, какъ изъ погребѣ. Изъ сѣней онъ попалъ въ комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную свѣтомъ, выходившимъ изъ-подъ широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, онъ, наконецъ, очутился въ свѣту и былъ пораженъ представшимъ беспорядкомъ. Казалось, какъ будто въ домѣ происходило мытье половъ и сюда на-время нагромодили всю мебель. На одномъ столѣ стоялъ даже сломанный стулъ и, рядомъ съ нимъ, часы съ остановившимся маятникомъ, къ которому паукъ уже приладилъ паутину. Тутъ же стоялъ, прислоненный бокомъ къ стѣнѣ, шкапъ съ стариннымъ серебромъ, графинчиками и китайскимъ фарфоромъ. На бюро, выложенномъ перламутною мозаикой, которая мѣстами уже выпала и оставила послѣ себя одни желтенькіе желобки, наполненные клеемъ, лежало множество всякой всячины: куча исписанныхъ мелко бумажекъ, накрытыхъ мраморнымъ позеленѣвшимъ прессомъ съ яичкомъ наверху, какая-то старинная книга въ кожаномъ переплетѣ съ краснымъ обрѣзомъ, лимонъ весь высохшій, ростомъ не болѣе лѣсного орѣха, отломленная ручка креселъ, рюмка съ какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытыя письмомъ, кусочекъ сургучика, кусочекъ гдѣ-то поднятой тряпки, два пера, запачканныя чернилами, высохшія какъ въ чахоткѣ, зубочистка совершенно пожелтѣвшая, которую хозяинъ, можетъ быть, ковырялъ въ зубахъ своихъ еще до нашествія на Москву французовъ.

По стѣнамъ навѣшано было весьма тѣсно и безтолково нѣсколько картинъ, длинный, пожелтѣвшій гравюръ какого-то сраженія, съ огромными барабанами, кричащими солдатами въ треугольныхъ шляпахъ и тонущими конями, безъ стекла, вставленный въ раму краснаго дерева съ тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по угламъ. Въ рядъ съ ними занимала полстѣны огромная почернѣвшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цвѣты, фрукты, разрѣзанный арбузъ, кабанью морду и висѣвшую головою внизъ утку. Съ середины потолка висѣла люстра въ холстинномъ мѣшкѣ, отъ пыли сдѣлавшаяся похожею на шелковый коконъ, въ которомъ сидитъ червякъ. Въ углу комнаты была навалена на полу куча того, что поглубже и что недостойно лежать на столахъ. Что именно находилось въ кучѣ—рѣшить было трудно; ибо пыли на ней было въ такомъ изобиліи, что руки всякаго касавшагося становились похожими на перчатки; замѣтнѣе прочаго высовывались оттуда отломленный кусокъ деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никакъ бы нельзя было сказать, чтобы въ комнатѣ сей обитало живое существо, если бы не возвѣщаль его пребываніе старый, поношенный колапакъ, лежавшій на столѣ. Пока онъ рассматривалъ все странное ея убранство, отворилась боковая дверь, и вошла та же самая ключница, которую встрѣтилъ онъ на дворѣ. Но тутъ увидѣлъ онъ, что это былъ скорѣе ключникъ, чѣмъ ключница: ключникъ, по крайней мѣрѣ, не брѣетъ бороды, а этотъ, напротивъ того, брилъ, и, казалось, довольно рѣдко, потому что весь подбородокъ съ нижней частью щеки походилъ у него на скребницу изъ желѣзной проволоки, какою чистятъ на конюшнѣ лошадей. Чичиковъ, давши вопроситель-

ное выраженіе лицу своему, ожидалъ съ нетерпѣніемъ, что хочетъ сказать ему ключникъ. Ключникъ тоже, съ своей стороны, ожидалъ, что хочетъ ему сказать Чичиковъ. Наконецъ, послѣдній, удивленный такимъ страннымъ недоумѣніемъ, рѣшился спросить:

„Что жъ баринъ? У себя, что ли?“

„Здѣсь хозяинъ“, сказалъ ключникъ.

„Гдѣ же?“ повторилъ Чичиковъ.

„Что, батюшка, слѣпы-то, что ли?“ сказалъ ключникъ. „Эхва! А вѣтъ хозяинъ-то я!“

Здѣсь герой нашъ поневолѣ отступилъ назадъ и поглядѣлъ на него пристально. Ему случалось видѣть не мало всякаго рода людей, даже такихъ, какихъ намъ съ читателемъ, можетъ быть, никогда не придется увидать; но такого онъ еще не видывалъ. Лицо его не представляло ничего особеннаго: оно было почти такое же, какъ у многихъ худощавыхъ стариковъ; одинъ подбородокъ только выступалъ очень далеко впередъ, такъ что онъ долженъ былъ всякій разъ закрывать его платкомъ, чтобы не заплевать; маленькіе глазки его не потухнули и бѣжали изъ-подъ высоко выросшихъ бровей, какъ мыши, когда, высунувши изъ темныхъ норъ остренькія морды, насторожа уши и моргая усомъ, онѣ высматриваютъ, не затанцлся ли гдѣ котъ или шалунъ-мальчишка, и нюхаютъ подозрительно самый воздухъ. Гораздо замѣчательнѣе былъ нарядъ его. Никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, изъ чего состряпанъ былъ его халатъ: рукава и верхнія полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идетъ на сапоги; назади, вмѣсто двухъ, болталось четыре полы, изъ которыхъ охлопьями лѣзла хлопчатая бумага! На шеѣ у него тоже было повязано что-то такое, котораго нельзя было разобрать: чулокъ ли, подвязка ли, или набрюшникъ, только никакъ не галстукъ. Словомъ, если бы Чичиковъ встрѣтилъ его, такъ принаряженнаго, гдѣ нибудь у церковныхъ дверей, то, вѣроятно, далъ бы ему мѣдный грошъ, ибо къ чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и онъ не могъ никакъ удержаться, чтобы не подать бѣдному человѣку мѣднаго гроша. Но предъ нимъ стоялъ не нищій, предъ нимъ стоялъ помѣщикъ. У этого помѣщика была тысяча слишкомъ душъ, и попробовалъ бы кто найти у кого другого столько хлѣба, зерномъ, мукою и, просто, въ кладяхъ, у кого бы кладовыя, амбары и сушилы загромождены были такимъ множествомъ холстовъ, суконъ, овчинъ выдѣланныхъ и сырмятныхъ, высушенными рыбами и всякой овошью, или губиной. Заглянулъ бы кто-нибудь къ нему на рабочій дворъ, гдѣ наготовлено было на запасъ всякаго дерева и посуды, никогда не употреблявшейся—ему бы показалось, ужъ не попалъ ли онъ какъ-нибудь въ Москву на щепной дворъ, куда ежедневно отправляются растопыныя тещи и свекрухи, съ кухарками позади, дѣлать свои хозяйственные запасы, и гдѣ горами бѣлѣетъ всякое дерево, шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересѣки, ушаты, лагуны, жбаны съ рыльцами и безъ рылецъ, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладутъ свои мочки и прочій дрягъ, коробья изъ тонкой гнутой осины, бураки изъ плетеной берестки и много всего, что идетъ на потребу богатой и бѣдной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобныхъ издѣлій. Во всю жизнь не пришлось бы ихъ употребить даже на два такихъ имѣнія, какія были у него; но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь симъ, онъ ходилъ еще каждый день по улицамъ своей деревни, заглядывалъ подъ

мостики, подъ перекладыны, и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, желѣзный гвоздь, глиняный черепокъ, — все тащилъ къ себѣ и складывалъ въ ту кучу, которую Чичиковъ замѣтилъ въ углу комнаты. „Вонъ, уже рыболовъ пошелъ на охоту!“ говорили мужики, когда видѣли его, идущаго на добычу. И въ самомъ дѣлѣ, послѣ него не зачѣмъ было мести улицу: случилось проѣзжавшему офицеру потерять шпору, — шпора эта мигомъ отправилась въ известную кучу; если баба, какъ-нибудь зазѣвавшись у колодца, позабывала ведро, онъ утаскивалъ и ведро. Впрочемъ, когда примѣтившій мужикъ уличалъ его тутъ же, онъ не спорилъ и отдавалъ похищенную вещь; но если только она попадала въ кучку, тогда все кончено: онъ божился, что вещь его, куплена имъ тогда-то, у того-то, или досталась отъ дѣда. Въ комнатѣ своей онъ подымалъ съ пола все, что ни видѣлъ: сургучикъ, лоскутокъ бумажки, перышко и все это клалъ на бюро или на окошко.

А вѣдь было время. Когда онъ былъ только бережливымъ хозяиномъ. Былъ женатъ и семейнинъ, и сосѣдъ заѣзжалъ къ нему пообѣдать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размѣреннымъ ходомъ: двигались мельницы, валильни; работали суконныя фабрики, столярныя станки, прядильни; вездѣ, во все входилъ зоркій взглядъ хозяина и, какъ трудолюбивый паукъ, бѣгалъ, хлопотливо, но расторопно по всѣмъ концамъ своей хозяйственной паутины. Слишкомъ сильныя чувства не отражались въ чертахъ лица его, но въ глазахъ былъ виденъ умъ; опытностью и познаніемъ свѣта была проникнута рѣчь его, и гостю было пріятно его слушать; привѣтливая и говорливая хозяйка славила хлѣбосольствомъ; навстрѣчу выходили двѣ милостивыя дочки, обѣ бѣлокурыя и свѣжія, какъ розы; выбѣгалъ сынъ, разбитной мальчишка, и цѣловался со всѣми, мало обращая вниманія на то, радъ ли, или не радъ былъ этому гостю. Въ домѣ были открыты всѣ окна; антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и былъ большой стрѣлокъ: приносилъ всегда къ обѣду тетерея или утка, а иногда и одни воробьиныя яйца, изъ которыхъ заказывалъ себѣ яичницу, потому что больше въ цѣломъ домѣ никто ея не ѣлъ. На антресоляхъ жила также его компаніонка, наставница двухъ дѣвицъ. Самъ хозяинъ является къ столу въ сюртукѣ, хотя нѣсколько поношенномъ, но опрятномъ; локти были въ порядкѣ; нигдѣ никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть клячей, а съ ними мелкихъ заботъ, перешла къ нему. Плюшкинъ сталъ безпокойнѣе и, какъ всѣ вдовцы, подозрительнѣе и скупѣе. На старшую дочь, Александру Степановну, онъ не могъ во всемъ положиться, да и былъ правъ, потому что Александра Степановна скоро убѣжала съ штабъ-ротмистромъ, Богъ вѣсть какого, кавалерійскаго полка и обвинчалась съ нимъ гдѣ-то наскоро, въ деревенской церкви, зная, что отецъ не любитъ офицеровъ по странному предубѣжденію, будто бы всѣ военные — картежники и мотишки. Отецъ послалъ ей на дорогу проклятіе, а преслѣдовать не заболится. Въ домѣ стало еще пустѣе. Во владѣльцѣ стала замѣтнѣе обнаруживаться скупость; сверкнувшая въ жесткихъ волосахъ его сѣдина, вѣрная подруга ея, помогла ей еще болѣе развиться. Учитель-французъ былъ отпущенъ, потому что сыну пришла пора на службу; мадамъ была прогнана, потому что оказалась не безгрѣшною въ похищеніи Александры Степановны. Сынъ, будучи отправленъ въ губернскій городъ съ тѣмъ, чтобы узнать въ палатѣ, по мнѣнію отца, службу существенную, опредѣлился вмѣсто того въ полкъ и написалъ къ отцу, уже по

своемъ опредѣленіи, прося денегъ на обмундировку; весьма естественно, что онъ получилъ на это то, что называется въ простонародіи шинъ. Наконецъ послѣдняя дочь, остававшаяся съ нимъ въ домѣ, умерла, и старикъ очутился одинъ сторожемъ, хранителемъ и владѣтелемъ своихъ богатствъ. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, какъ извѣстно, имѣетъ волчій голодъ и, чѣмъ болѣе пожираетъ, тѣмъ становится ненасытнѣе: человѣческія чувства, которыя и безъ того не были въ немъ глубоки, мелѣли ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось въ этой изношенной развалинѣ. Случись же подъ такую минуту, какъ будто нарочно въ подтвержденіе его мнѣнія о военныхъ, что сынъ его проигрался въ карты; онъ послалъ ему отъ души свое отцовское проклятіе и никогда уже не интересовался знать, существуетъ ли онъ на свѣтѣ, или нѣтъ. Съ каждымъ годомъ притворялись окна въ его домѣ, наконецъ осталось только два, изъ которыхъ одно, какъ уже видѣлъ читатель, было заклеено бумагою; съ каждымъ годомъ уходили изъ вида его, болѣе и болѣе, главные части хозяйства, и мелкій взглядъ его обращался къ бумажкамъ и перышкамъ, которыя онъ собиралъ въ своей комнатѣ; неуступчивѣе становился онъ къ покупщикамъ, которые пріѣзжали забирать у него хозяйственные произведенія: покупщики торговались, торговались и наконецъ бросили его вовсе, сказавши, что это бѣсъ, а не человѣкъ; сѣно и хлѣбъ гнили; клади и стоги обращались въ чистый навозъ, хоть разводи на нихъ капусту; мука въ подвалахъ превратилась въ камень, и нужно было ее рубить; къ сукнамъ холстамъ и домашнимъ матеріямъ страшно было притронуться: они обращались въ пыль. Онъ уже позабывалъ самъ, сколько у него было чего, и помнилъ только, въ какомъ мѣстѣ стоялъ у него въ шкапу графинчикъ съ остаткомъ какой-нибудь настойки, на которомъ онъ самъ сдѣлалъ намѣтку, чтобы никто воровскимъ образомъ ее не выпилъ, да гдѣ лежало перышко или сургучикъ. А между тѣмъ въ хозяйствѣ доходъ собирался попрежнему: столько же оброку долженъ былъ принести мужикъ, такимъ же приносомъ орѣховъ обложена была всякая баба, столько же поставовъ холста должна была наткать ткачиха. Все это сваливалось въ кладовыя и все становилось гнить и прорѣха, и самъ онъ обратился, наконецъ, въ какую-то прорѣху на человѣчествѣ. Александра Степановна какъ-то пріѣзжала раза два съ маленькимъ сыномъ, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить: видно, походная жизнь съ штабъ-ротмистромъ не была такъ привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкинъ, однако же, ее простилъ и даже далъ маленькому внуку поиграть какою-то пуговицу, лежавшую на столѣ, но денегъ ничего не далъ. Въ другой разъ Александра Степановна пріѣхала съ двумя малютками и привезла ему куличъ къ чаю и новый халатъ, потому что у батюшки былъ такой халатъ, на который глядѣть не только было совѣстно, но даже стыдно. Плюшкинъ приласкалъ обоихъ внуковъ и, посадивши ихъ къ себѣ одного на правое коѣно, а другого на лѣвое, покачалъ ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ будто они ѣхали на лошадяхъ; куличъ и халатъ взялъ, но дочери рѣшительно ничего не далъ; съ тѣмъ и уѣхала Александра Степановна.

Итакъ, вотъ какого рода помѣщикъ стоялъ передъ Чичиковымъ! Должно сказать, что подобное явленіе рѣдко попадаетъ на Руси, гдѣ все любитъ скорѣе развернуться, нежели съежиться, и тѣмъ поразительнѣе бываетъ оно, что тутъ же, въ сосѣдствѣ, подвернется помѣщикъ, кутящій во всю ширину русской удали и барства, прожигающій, какъ говорится, насквозь жизнь. Не-

бывалый проѣзжій остановится съ изумленіемъ при видѣ его жилища, недоумѣвая, какой владѣтельный принцъ очутился внезапно среди маленькихъ, темныхъ владѣльцевъ: дворцами глядятъ его бѣлые каменные дома съ безчисленнымъ множествомъ трубъ, бельведеровъ, флюгеровъ, окруженные стадомъ флигелей и всякими помѣщеніями для пріѣзжихъ гостей. Чего нѣтъ у него? Театры, балы; всю ночь сіяетъ убранный огнями, площадками, оглашенный громомъ музыки садъ. Полгуберніи разодѣто и весело гуляетъ подъ деревьями, и никому не является дикое и грозящее въ семь насильственнымъ освѣщеніи, когда театрално выскакиваетъ изъ древесной гущи озаренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь, лишенная своей яркой зелени, а сверху темнѣе, и суровѣе, и въ двадцать разъ грознѣе является чрезъ то ночное небо, и, далеко треща листьями въ вышинѣ, уходя глубже въ непробудный мракъ, негодуютъ суровыя вершины деревъ на сей мишурный блескъ, освѣтившій снизу ихъ корни.

Уже нѣсколько минутъ стоялъ Плюшкинъ, не говоря ни слова, а Чичиковъ все еще не могъ начать разговора, развлеченный какъ видомъ самого хозяина, такъ и всего того, что было въ его комнатѣ. Долго не могъ онъ придумать, въ какихъ бы словахъ изъяснить причину своего посѣщенія. Онъ уже хотѣлъ было выразиться въ такомъ духѣ, что, наслышась о добродѣтели и рѣдкихъ свойствахъ души его, почелъ долгомъ принести лично дань уваженія; но спохватился и почувствовалъ, что это слишкомъ. Искоса бросивъ еще одинъ взглядъ на все, что было въ комнатѣ, онъ почувствовалъ, что слово: *добродѣтель* и *рѣдкія свойства души* можно съ успѣхомъ замѣнить словами: *экономія* и *порядокъ*; и потому, преобразивши такимъ образомъ рѣчь, онъ сказалъ, что, наслышась объ экономіи его и рѣдкомъ управленіи имѣніями, онъ почелъ за долгъ познакомиться и принести лично свое почтеніе. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взырело тогда на умъ.

На это Плюшкинъ что-то пробормоталъ сквозь губы,—ибо зубовъ не было,—что именно, неизвѣстно, но, вѣроятно, смыслъ былъ таковъ: „А побралъ бы тебя чортъ съ твоимъ почтеніемъ!“ Но такъ какъ гостепріимство у насъ въ такомъ ходу, что и скрита не въ силахъ переступить его законовъ, то онъ прибавилъ тутъ же нѣсколько внятіе: „Прошу покорнѣйше садиться!“

„Я давненько не вижу гостей“, сказалъ онъ; „да, признаться сказать, въ нихъ мало вижу проку. Завели пренебрежливый обычай ѣздить другъ къ другу, а въ хозяйствѣ-то упущенія... да и лошадей ихъ корми сѣномъ! Я давно уже отобѣдалъ, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсѣмъ развалилась: начнешь топить, еще пожару надѣлаешь“.

„Вонъ оно какъ!“ подумалъ про себя Чичиковъ: „хорошо же, что я у Собакевича перехватилъ вотрушку да ломоть бараньяго бока“.

„И такой скверный анекдотъ, что сѣна хоть бы клочъ въ цѣломъ хозяйствѣ!“ продолжалъ Плюшкинъ. „Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ бережешь его? Землишка маленькая, мужикъ лѣнивъ, работать не любитъ, думаетъ, какъ бы въ кабакъ... того и гляди, пойдешь на старости лѣтъ по-міру!“

„Мнѣ, однако же, сказывали“, скромно замѣтилъ Чичиковъ: „что у васъ болѣе тысячи душъ“.

„А кто это сказывалъ? А вы бы, батюшка, наплевали въ глаза тому, который это сказывалъ! Онъ пересмѣшникъ, видно, хотѣлъ пошутить надъ

вами. Вотъ, баютъ, тысяча душъ, а подитка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последніе три года проклятая горячка выморила у меня здоровѣнной кушъ мужиковъ“.

„Скажите, и много выморила?“ воскликнулъ Чичиковъ съ участіемъ.

„Да, снесли многихъ“.

„А позвольте узнать: сколько числомъ?“

„Душъ восемьдесятъ“.

„Нѣтъ?“

„Не стану лгать, батюшка“.

„Позвольте еще спросить: вѣдь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизіи?“

„Это бы еще слава Богу“, сказалъ Плюшкинъ: „да лихъ-то, что съ того времени до ста двадцати наберется“.

„Вправду? Цѣлыхъ сто двадцать?“ воскликнулъ Чичиковъ и даже разинулъ нѣсколько ротъ отъ изумленія.

„Старъ я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десятокъ живу!“ сказалъ Плюшкинъ. Онъ, казалось, обидѣлся такимъ, почти радостнымъ, восклицаніемъ. Чичиковъ замѣтилъ, что въ самомъ дѣлѣ неприлично подобное безучастіе къ чужому горю, и потому вздохнулъ тутъ же и сказалъ, что соболѣзнуеть.

„Да вѣдь соболѣзнованіе въ карманъ не положишь“, сказалъ Плюшкинъ. „Вотъ возлѣ меня живетъ капитанъ, чортъ знаетъ его, откуда взялся, говоритъ—родственникъ: „Дядюшка, дядюшка!“ и въ руку цѣлуетъ; а какъ начнетъ соболѣзновать, вой такой подыметъ, что уши береги. Съ лица весь красный: пѣннику, чай, на-смерть придерживается. Вѣрно, спустилъ денешки, служа въ офицерахъ, или театральная актерека выманила, такъ вотъ онъ теперь и соболѣзнуеть!“

Чичиковъ постарался объяснить, что его соболѣзнованіе совсѣмъ не такого рода, какъ капитанское, и что онъ не пустыми словами, а дѣломъ готовъ доказать его и, не откладывая дѣла далѣе, безъ всякихъ обиняковъ, тутъ же изъявилъ готовность принять на себя обязанность платить подати за всѣхъ крестьянъ, умершихъ такими несчастными случаями. Предложеніе, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Онъ, вытаращивъ глаза, долго смотрѣлъ на него и наконецъ спросилъ: „Да вы, батюшка, не служили ли въ военной службѣ?“

„Нѣтъ“, отвѣчалъ Чичиковъ довольно лукаво: „служилъ по статской“.

„По статской?“ повторилъ Плюшкинъ и сталъ жевать губами, какъ будто что-нибудь кушалъ. „Да вѣдь какъ же? Вѣдь это вамъ самимъ-то въ убытокъ?“

„Для удовольствія вашего готовъ и на убытокъ“.

„Ахъ, батюшка! Ахъ, благодѣтель мой!“ вскрикнулъ Плюшкинъ, не замѣчая отъ радости, что у него изъ носа выглянулъ весьма некартинно табакъ, на образецъ густого кофее, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для разсматриванья. „Вотъ утѣшили старика! Ахъ, Господи ты мой! Ахъ, святители вы мои!“ Далѣе Плюшкинъ и говорить не могъ. Но не прошло и минуты, какъ эта радость, такъ мгновенно показавшаяся на деревянномъ лицѣ его, такъ же мгновенно и прошла, будто ея вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выраженіе. Онъ даже утерся платкомъ и, свернувши его въ комокъ, сталъ имъ возить себя по верхней губѣ.

„Какъ же, съ позволенія вашего, чтобы не разсердить васъ, вы за всякій годъ беретесь платить за нихъ подать и деньги будете выдавать мнѣ или въ казну?“

„Да мы вотъ какъ сдѣлаемъ: мы совершимъ на нихъ купчую крѣпость, какъ бы они были живые и какъ бы вы ихъ мнѣ продали“.

„Да, купчую крѣпость...“ сказалъ Плюшкинъ, задумался и сталъ опять кушать губами. „Вѣдь вотъ купчую крѣпость — все издержки. Приказные такіе безсовѣстные! Прежде бывало полтиной мѣди отдѣлаешься, да мѣшкомъ муки, а теперь пошли цѣлую подводку крупъ, да и красную бумажку прибавь,—такое сребролюбіе! Я не знаю, какъ никто другой не обратитъ на это вниманье. Ну, сказалъ бы ему какъ-нибудь душеспасительное слово! Вѣдь словомъ хоть кого проймешь. Кто что ни говори, а противъ душеспасительнаго слова не устоишь“.

„Ну, ты, я думаю, устоишь!“ подумалъ про-себя Чичиковъ и произнесъ тутъ же, что, изъ уваженія къ нему, онъ готовъ принять даже издержки по купчей на свой счетъ.

Услыша, что даже издержки по купчей онъ принимаетъ на себя, Плюшкинъ заключилъ, что гость долженъ быть совершенно глупъ и только прикидывается, будто служилъ по статской, а, вѣрно, былъ онъ въ офицерахъ и волочился за актерками. При всемъ томъ онъ, однакожь, не могъ скрыть своей радости и пожелалъ всякихъ утѣшеній не только ему, но даже и дѣткамъ его, не спросивъ, были ли они у него, или нѣтъ. Подошедъ къ окну, постучалъ онъ пальцами въ стекло и закричалъ: „Эй, Прощка!“ Черезъ минуту было слышно, что кто-то вбѣжалъ впопыхахъ въ сѣни, долго возился тамъ и стучалъ сапогами, наконецъ дверь отворилась, и вошелъ Прощка, мальчикъ лѣтъ тринадцати, въ такихъ большихъ сапогахъ, что, ступая, едва не вынулъ изъ нихъ ноги. Почему у Порошки были такіе большіе сапоги, это можно узнать сейчасъ же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ея въ домѣ, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться въ сѣняхъ. Всякій привыкшаго въ барскіе покои обыкновенно отплясывалъ черезъ весь дворъ босикомъ, но, входя въ сѣни, надѣвалъ сапоги и такимъ уже образомъ являлся въ комнату. Выходя изъ комнаты, онъ оставлялъ сапоги опять въ сѣняхъ и отправлялся вновь на собственной подошвѣ. Если бы кто взглянулъ изъ окошка въ осеннее время и особенно, когда по утрамъ начинаются маленькія изморози, то бы увидѣлъ, что вся дворная дѣлала такіе скачки, какіе врядъ ли удастся выдѣлать на театрахъ самому бойкому танцовщику.

„Вотъ посмотрите, батюшка, какая рожа!“ сказалъ Плюшкинъ Чичикову, указывая пальцемъ на лицо Прощки. „Глупъ вѣдь, какъ дерево, а попробуй что-нибудь положить—мигомъ украдетъ! Ну, чего ты пришелъ, дуракъ? скажи, чего?“ Тутъ онъ произвелъ небольшое молчаніе, на которое Прощка отвѣчалъ тоже молчаніемъ. „Поставь самоваръ,—слышишь?—да возьми ключъ, да отдай Маврѣ, чтобы пошла въ кладовую: тамъ на полкѣ есть сухарь изъ кулича, который привезла Александра Степановна,—чтобы подали его къ чаю!.. Пстой, куда же ты? Дурачина! Эхва, дурачина!.. Бѣсъ у тебя въ ногахъ, что ли, чешется?.. Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху, чай, испортился, такъ пусть соскоблить его ножомъ, да крохъ не бросаетъ, а снесетъ въ курятникъ. Да смотри ты, ты не входи, братъ, въ кладовую; не то—я тебя, знаешь? березовымъ-то вѣвникомъ, чтобы для вкуса-то! Вотъ у тебя теперь славный аппетитъ, такъ чтобы еще былъ лучше!

Вотъ попробуй-ка пойти въ кладовую, а я тѣмъ временемъ изъ окна стану глядѣть.—Имъ ни въ чемъ нельзя довѣрять“, продолжалъ онъ, обратившись къ Чичикову послѣ того, какъ Прошка убрался вмѣстѣ съ своими сапогами. Вслѣдъ затѣмъ онъ началъ и на Чичикова поглядывать подозрительно. Черты такого необыкновеннаго великодушія стали ему казаться невѣроятными, и онъ подумалъ про-себя: „Вѣдь чортъ его знаетъ; можетъ быть, онъ, просто, хвастунъ, какъ всѣ эти мотишки: навреть, навреть, чтобы поговорить да напиться чаю, а потомъ и уѣдетъ!“ А потому изъ предосторожности и вмѣстѣ желая нѣсколько поиспытать его, сказалъ онъ, что недурно бы совершить купчую поскорѣе, потому что-де въ человѣкѣ не увѣренъ: сегодня живъ, а завтра и Богъ вѣсть.

Чичиковъ изъявилъ готовность совершить хоть сію же минуту и потребовалъ только списка всѣмъ крестьянамъ.

Это успокоило Плюшкина. Замѣтно было, что онъ придумалъ что-то сдѣлать, и точно, взявши ключи, приблизился къ шкапу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконецъ, произнесъ: „Вѣдь вотъ не сыщешь, а у меня былъ славный ликерчикъ, если только не выпили: народъ—такіе воры! А вотъ развѣ не это ли онъ?“ Чичиковъ увидѣлъ въ рукахъ его графинчикъ, который былъ весь въ пыли, какъ въ фуфайкѣ. „Еще покойница дѣлала“, продолжалъ Плюшкинъ: „мошенница-ключница совсѣмъ было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козыбки и всякая дрянъ было напичкались туда, но я весь соръ-то повынулъ и теперь вотъ чистенькая, а вамъ налью рюмочку“.

Но Чичиковъ постарался отказаться отъ такого ликерчика, сказавши, что онъ уже и пилъ, и ѣлъ.

„Пили уже и ѣли!“ сказалъ Плюшкинъ. „Да, конечно, хорошаго общества человѣка хоть гдѣ узнаешь: онъ не ѣстъ, а сытъ; а какъ этакой какой-нибудь ворюшка, да его сколько ни корми... Вѣдь вотъ капитанъ пріѣдетъ: „Дядюшка“, говоритъ, „дайте чего-нибудь поѣсть!“ А я ему такой же дядюшка, какъ онъ мнѣ дѣдушка. У себя дома ѣсть, вѣрно, нечего, такъ вотъ онъ и шатается! Да, вѣдь вамъ нуженъ реестрикъ всѣхъ этихъ тунеядцевъ? Какъ же! Я, какъ зналъ, всѣхъ ихъ списалъ на особую бумажку, чтобы, при первой подачѣ ревизіи, всѣхъ ихъ вычеркнуть“.—Плюшкинъ надѣлъ очки и сталъ рыться въ бумагахъ. Развязывая всякія связки, онъ попотчивалъ своего гостя такою пылью, что тотъ чихнулъ. Наконецъ, вытащилъ бумажку, всю исписанную кругомъ. Крестьянскія имена усыпали ее тѣсно, какъ мошки. Были тамъ всякіе: и Парамоновъ, и Пименовъ, и Пантелеимоновъ, и даже выглянулъ какой-то Григорій Добыжай-не-дойдешъ; всѣхъ было сто двадцать слишкомъ. Чичиковъ улыбнулся при видѣ такой многочисленности. Спрятавъ ее въ карманъ, онъ замѣтилъ Плюшкину, что ему нужно будетъ для совершенія крѣпости поѣхать въ городъ.

„Въ городъ? Да какъ же?.. А домъ-то какъ оставить? Вѣдь у меня народъ—или воръ, или мошенникъ: въ день такъ оберутъ, что и кафтана не на чемъ будетъ повѣсить“.

„Такъ не имѣете ли кого-нибудь знакомаго?“

„Да кого же знакомаго? Всѣ мои знакомые перемерли, или раззнакомились... Ахъ, батюшки! какъ не имѣть? имѣю!“ вскричалъ онъ. „Вѣдь знакомъ самъ председатель, ѣзжалъ даже въ старые годы ко мнѣ. Какъ не знать! однокорытниками были, вмѣстѣ по заборамъ лазили! Какъ не знакомый? Ужъ такой знакомый!.. Такъ ужъ не къ нему ли написать?“

„И конечно, къ нему!“

„Какъ же, ужъ такой знакомый! Въ школѣ были пріатели“.

И на этомъ деревянномъ лицѣ вдругъ скользнулъ какой-то теплый лучъ, выразилось—не чувство, а какое-то блѣдное отраженіе чувства: явленіе, подобное неожиданному появленію на поверхности водъ утопающаго, произведшему радостный крикъ въ толпѣ, обступившей берегъ; но напрасно обрадовавшіеся братья и сестры кидають съ берега веревку и ждутъ, не мелькнетъ ли вновь спина или утомленный бореньемъ руки—появленіе было послѣднее. Глухо все, и еще страшнѣе и пустыньѣе становится послѣ того затихнувшая поверхность безотвѣтной стихіи. Такъ и лицо Плюшкина, вслѣдъ за мгновенно скользнувшимъ на немъ чувствомъ, стало еще безчувственнѣе и еще пошлѣе.

„Лежала на столѣ четвертка чистой бумаги“, сказалъ онъ: „да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такіе негодные!“—Тутъ сталъ онъ заглядывать и подъ столъ, и на столъ, шарилъ вездѣ и, наконецъ, закричалъ: „Мавра, а Мавра!“ На зовъ явилась женщина съ тарелкой въ рукахъ, на которой лежалъ сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошелъ такой разговоръ:

„Куда ты дѣла, разбойница, бумагу?“

„Ей-Богу, баринъ, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которымъ ниволили прикрыть рюмку“.

„А вотъ я по глазамъ вижу, что подтибрила“.

„Да на что жъ бы я подтибрила? Вѣдь мнѣ проку съ ней никакого: я грамотѣ не знаю“.

„Врешь, ты снесла пономаренку: онъ маракуетъ, такъ ты ему и снесла“.

„Да пономаренокъ, если захочетъ, такъ достанетъ себѣ бумаги. Не видалъ онъ вашего лоскутка!“

„Вотъ погоди-ко: на страшномъ судѣ черти припекутъ тебя за это жельзными рогатками! Вотъ посмотришь, какъ припекутъ!“

„Да за что же припекутъ, коли я не брала и въ руки четвертки? Ужъ скорѣе другой какой бабьей слабостью, а воровствомъ меня еще никто не попрекалъ“.

„А вотъ черти-то тебя и припекутъ! Скажутъ: „А вотъ тебѣ, мошенница, за то, что барина-то обманывала!“ да горячими-то тебя и припекутъ!“

„А я скажу: „Не за что! ей-Богу, не за что: не брала я...“ Да вонъ она лежитъ на столѣ. Всегда понапраслиной попрекаетъ!“

Плюшкинъ увидѣлъ, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевалъ губами и произнесъ: Ну, что жъ ты расходилась такъ? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она ужъ въ отвѣтъ десятокъ! Поди-ко принеси огоньку запечатать письмо. Да стой! Ты схватишь сальную свѣчу; сало—дѣло топкое: сгорить да и нѣтъ, только убытокъ; а ты принеси-ко мнѣ лучинку!“

Мавра ушла, а Плюшкинъ, сѣвши въ кресла и взявши въ руку перо, долго еще ворочалъ на всѣ стороны четвертку, придумывая, нельзя ли отдѣлать отъ нея еще осьмушку, но наконецъ убѣдился, что никакъ нельзя; всунулъ перо въ чернильницу съ какою-то заплѣснѣвшею жидкостью и множествомъ мухъ на днѣ и сталъ писать, выставляя буквы, похожія на музыкальныя ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая рассказывалась по всей бумагѣ, лѣня скупно строка на строку и не безъ сожалѣнія подумывая о томъ, что все еще останется много чистаго пробѣла.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ снизойти человекъ? могъ такъ нѣмѣниться? И похоже это на правду?—Все похоже на правду, все можетъ стать съ человекомъ. Нынѣшній же пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество,—забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ: не подымете потомъ! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдаетъ назадъ и обратно! Могла милосердіе ея, на могилѣ напишется: „здесь потребенъ человекъ“; но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости.

„А не знаете ли вы какого-нибудь вашего пріятеля“, сказалъ Плюшкинъ, складывая письмо: „которому бы понадобились бѣглыя души?“

„А у васъ есть и бѣглыя?“ быстро спросилъ Чичиковъ, очнувшись.

„Въ томъ-то и дѣло, что есть. Зять дѣлалъ выправки: говорить, будто и слѣдъ простылъ; но вѣдь онъ человекъ военный: мастеръ притоптывать шпорой, а если бы похлопотать по судамъ...“

„А сколько ихъ будетъ числомъ?“

„Да десятковъ до семи тоже наберется“.

„Нѣтъ?“

„А, ей-Богу, такъ! Вѣдь у меня что годъ, то бѣгаютъ. Народъ-то больно прожорливъ, отъ праздности завелъ привычку трескать, а у меня ѣсть и самому нечего... А ужъ я бы за нихъ, что ни дай, взялъ бы. Такъ посоветуйте вашему пріятелю-то: отыщись вѣдь только десятковъ, такъ вотъ ужъ у него славная денѣга. Вѣдь ревизская душа стоитъ въ пятистахъ рубляхъ“.

„Нѣтъ, этого мы пріятелю и понюхать не дадимъ“, сказалъ про себя Чичиковъ и потомъ объяснилъ, что такого пріятеля никакъ не найдется, что однѣ издержки по этому дѣлу будутъ стоять болѣе, ибо отъ судовъ нужно отрѣзать полы собственнаго кафтана, да уходить податѣе; но что если онъ ужъ дѣйствительно такъ стиснуть, то, будучи подвинутъ участіемъ, онъ готовъ дать... но что это такая бездѣлица, о которой даже не стоитъ и говорить“.

„А сколько бы вы дали?“ спросилъ Плюшкинъ, и самъ ожидовѣлъ; руки его задрожали, какъ ртуть.

„Я бы далъ по двадцати пяти копѣекъ за душу“.

„А какъ вы покупаете—на чистыя?“

„Да, сейчасъ денѣги“.

„Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копѣекъ“.

„Почтеннѣйшій!“ сказалъ Чичиковъ: „не только по сорока копѣекъ, по пятисотъ рублей заплатилъ бы! Съ удовольствіемъ заплатилъ бы! потому что вижу—почтенный, добрый старикъ терпитъ по причинѣ собственнаго добродушія“.

„А, ей-Богу, такъ! Ей-Богу, правда!“ сказалъ Плюшкинъ свѣсивъ голову внизъ и сокрушительно покачавъ ее: „все отъ добродушія“.

„Ну, видите ли, я вдругъ постигнулъ вашъ характеръ. Итакъ, почему жъ не дать бы мнѣ по пятисотъ рублей за душу, но... состоянья нѣтъ: по пяти копѣекъ, извольте, готовъ прибавить, чтобы каждая душа обошлась такимъ образомъ въ тридцать копѣекъ“.

„Ну, батюшка, воля ваша, хоть по двѣ копѣйки пристегните“.

„По двѣ копѣечки пристегну, извольте. Сколько ихъ у васъ? Вы, кажется, говорили—семьдесятъ?“

„Нѣтъ, всего наберется семьдесятъ восемь“.

„Семьдесятъ восемь, семьдесятъ восемь, по тридцати копѣекъ за душу, это будетъ...“ Здѣсь герой нашъ одну секунду, не болѣе, подумалъ и сказалъ вдругъ: „это будетъ двадцать четыре рубля девяносто шесть копѣекъ!“ Онъ былъ въ ариметикѣ силенъ. Тутъ же заставилъ онъ Плюшкина написать росписку и выдалъ ему деньги, которые тотъ принялъ въ обѣ руки и понесъ ихъ къ бюро съ такою же осторожностью, какъ будто бы несъ какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расплескать ее. Подошедши къ бюро, онъ переглядывалъ ихъ еще разъ и уложилъ, тоже чрезвычайно осторожно, въ одинъ изъ ящиковъ, гдѣ, вѣрно, имъ суждено быть погребенными до тѣхъ поръ, покамѣстъ отецъ Карпъ и отецъ Поликарпъ, два священника его деревни, не погребутъ его самого, къ неописанной радости зятя и дочери, а можетъ быть и капитана, приписавшагося ему въ родню. Спрятавши деньги, Плюшкинъ сѣлъ въ кресла и уже, казалось, больше не могъ найти матеріи, о чемъ говорить.

„А что, вы ужъ собираетесь ѣхать?“ сказалъ онъ, замѣтивъ небольшое движеніе, которое сдѣлалъ Чичиковъ для того только, чтобы достать изъ кармана платокъ.

Этотъ вопросъ напомнилъ ему, что въ самомъ дѣлѣ незачѣмъ болѣе мѣшкать. „Да, мнѣ пора!“ произнесъ онъ, взявшись за шляпу.

„А чайку?“

„Нѣтъ, ужъ чайку пусть лучше когда-нибудь въ другое время“.

„Какъ же? А я приказалъ самоваръ. Я, признаться сказать, не охотникъ до чаю: напитокъ дорогой, да и цѣна на сахаръ поднялась немилосердная. Проще! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавръ, слышишь? Пусть его положить на то же мѣсто; или, нѣтъ, подай его сюда, я уже снесу его самъ. Прощайте, батюшка! Да благословить васъ Богъ! А письмо-то предсѣдателю вы отдайте. Да! Пусть прочтетъ, онъ мой старый знакомый. Какъ же! Были съ нимъ однокорытниками!“

Засимъ, это странное явленіе, этотъ съезжившійся старичишка проводилъ его со двора, послѣ чего велѣлъ ворота тотъ же часъ запереть; потомъ обошелъ кладовыя, съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть, на своихъ ли мѣстахъ сторожа, которые стояли на всѣхъ углахъ, колотя деревянными лопатками въ пустой боченокъ, намѣсто чугунной доски; послѣ того заглянулъ въ кухню, гдѣ, подъ видомъ того, чтобы попробовать, хорошо ли ѣдятъ люди, наѣлся препорядочно щей съ кашею и, выбравивши всѣхъ до послѣдняго за воровство и дурное поведеніе, возвратился въ свою комнату. Оставшись одинъ, онъ даже подумалъ о томъ, какъ бы ему возблагодарить гостя за такое, въ самомъ дѣлѣ, безпримѣрное великодушіе. „Я ему подарю“,—подумалъ онъ про себя:—„карманные часы: они вѣдь хорошіе, серебряные часы, а не то, чтобы какіе-нибудь томпаковые или бронзовые,—немножко поиспорчены, да вѣдь онъ себѣ переправитъ; онъ человѣкъ еще молодой, такъ ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невѣстѣ. Или нѣтъ“,—прибавилъ онъ, послѣ нѣкотораго размышленія:—„лучше я оставляю ихъ ему, послѣ моей смерти, въ духовной, чтобы вспоминалъ обо мнѣ“.

ГЛАВА VI.

Счастливъ путникъ, который, послѣ длинной, скучной дороги съ ея холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станціонными зрителями, бряканьями колокольчиковъ, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякаго рода дорожными подлецами, видитъ, наконецъ, знакомую крышу съ несущимися навстрѣчу огоньками—и предстануть предъ нимъ знакомыя комнаты, радостный крикъ выбѣжавшихъ навстрѣчу людей, шумъ и бѣготня дѣтей и успокоительныя тихія рѣчи, прерываемыя пылающими лобзаніями, властными истребить все печальное изъ памяти. Счастливъ семьянинъ, у кого есть такой уголъ, но горе холостяку!

Счастливъ писатель, который, мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностью, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство человѣка, который, изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ, избралъ одни немногія исключенія, который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратьямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы. Вдвойнѣ завиденъ прекрасный удѣлъ его: онъ среди ихъ, какъ въ родной семьѣ; а между тѣмъ далеко и громко разносится его слава. Онъ окурилъ употѣлнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка. Все, рукоплещая, несется за нимъ и мчится вслѣдъ за торжественной его колесницей. Великимъ всемірнымъ поэтомъ именуютъ его, парящимъ высоко надъ всѣми другими гениями міра, какъ паритъ орелъ надъ другими высоколетающими. При одномъ имени его уже объемлются трепетомъ молодые пылкія сердца; отвѣтныя слезы ему блещутъ во всѣхъ очахъ... Нѣтъ равнаго ему въ силѣ—онъ Богъ! Но не таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повсѣдневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцатилѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченьемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяньи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемѣрно-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ лелѣянныя созданья, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество, придастъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта: ибо не признаетъ современный судъ, что равно чудны стекла, озирающія солнца и передающія движенія незамѣченныхъ насѣкомыхъ; ибо не признаетъ современный судъ, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданья; ибо не признаетъ современный судъ, что высокій, восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ дви-

женіемъ, и что дѣлая пропасть между нимъ и кривляньемъ балаганнаго скомороха! Не признаетъ сего современный судъ, и все обратить въ упрекъ и поношеніе непризнанному писателю: безъ раздѣленія, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемеинный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствуетъ онъ свое одиночество.

И долго еще опредѣлено мнѣ чудной властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключомъ грозная въюга вдохновенія подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и блистанье главы, и почувютъ, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей...

Въ дорогу! въ дорогу! Прочь набѣжавшая на чело морщина и строгій сумракъ лица! Разомъ и вдругъ окунемся въ жизнь, со всей ея беззвучной трескотней и бубенчиками, и посмотримъ, что дѣлаетъ Чичиковъ.

Чичиковъ проснулся, потянулъ руки и ноги и почувствовалъ, что выспался хорошо. Полежавъ минуты двѣ на спинѣ, онъ щелкнулъ рукою и вспомнилъ съ просіявшимъ лицомъ, что у него теперь безъ малаго четыреста душъ. Тутъ же вскочилъ онъ съ постели, не посмотрѣлъ даже на свое лицо, которое любилъ искренно и въ которомъ, какъ кажется, привлекательнѣе всего находилъ подбородокъ, ибо весьма часто хвалился имъ предъ кѣмъ-нибудь изъ пріятелей, особливо, если это происходило во время бритья. „Вотъ, посмотри“, говорилъ онъ обыкновенно, поглаживая его рукою: „какой у меня подбородокъ: совсѣмъ круглый!“ — Но теперь онъ не взглянулъ ни на подбородокъ, ни на лицо, а прямо, такъ, какъ былъ, надѣлъ сафьянные сапоги съ рѣзными выкладками всякихъ цвѣтовъ, какими бойко торгуетъ городъ Торжокъ, благодаря халатнымъ побужденіямъ русской натуры, и, по-шотландски, въ одной короткой рубашкѣ, позабывъ свою степенность и приличія средня лѣта, произвелъ по комнатѣ два прыжка, прищипнувъ себя весьма ловко пяткой ноги. Потомъ, въ ту же минуту, приступилъ къ дѣлу: передъ шкатулкой потеръ руки съ такимъ же удовольствіемъ, какъ протираетъ ихъ, выѣхавшій на слѣдствіе, неподкупный земскій судъ, подходящій къ закускѣ, и тотъ же часъ вынулъ изъ нея бумаги. Ему хотѣлось поскорѣе кончить все, не откладывая въ долгій ящикъ. Самъ рѣшился онъ сочинить крѣпости, написать и переписать, чтобы не платить ничего подьячимъ.

Смутные слухи о странныхъ покупкахъ Чичикова проникли въ городъ и сдѣлались достояніемъ сплетенъ. Одна дама пріѣхала къ другой подѣлиться новостями. Дама, къ которой пріѣхала гостья,—

называлась почти единогласно въ городѣ N—дамою, пріятною во всѣхъ отношеніяхъ. Это названіе она приобрѣла законнымъ образомъ, ибо, точно, ничего не пожалѣла, чтобы сдѣлаться любезною въ послѣдней степени, хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась — ухъ, какая юркая притъ женскаго характера! и хотя подчасъ въ пріятномъ словѣ ея торчала—ухъ, какая булавка! А ужъ не приведи Богъ, что кипѣло въ сердцѣ противъ той, которая бы пролѣзала какъ-нибудь и чѣмъ-нибудь въ перья. Но все это было облечено самою тонкою свѣтскостью, какая только бываетъ въ губернскомъ городѣ. Всякое движеніе производила она со вкусомъ, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умѣла держать голову, и всѣ согласились, что она, точно, дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ. Другая же дама, то есть, пріѣхавшая, не имѣла такой многосторонности въ характерѣ, и потому будемъ называть ее—просто

пріятная дама. Приѣздъ гостыя разбудилъ собачонокъ, спавшихъ на солнцѣ: мохнатую Аделъ, безпрестанно путавшуюся въ собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненькихъ ножкахъ. Тотъ и другая съ лаемъ понесли хвостами хвосты свои въ переднюю, гдѣ гостыя освобождалась отъ своего клока и очутилась въ платьѣ моднаго узора и цвѣта и въ длинныхъ хвостахъ на шеѣ; жасмины понесли по всей комнатѣ. Едва только во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама узнала о приѣздѣ просто пріятной дамы, какъ уже вбѣжала въ переднюю. Дамы ухватились за руки, поцѣловались и вскрикнули, какъ вскрикиваютъ институтки, встрѣтившіяся вскорѣ послѣ выпуска, когда маменьки еще не успѣли объяснить имъ, что отецъ у одной бѣднѣе и ниже чиномъ, нежели у другой. Поцѣлуй совершился звонко, потому что собачонки залаiali снова, за что были хлопнуты платкомъ,—и обѣ дамы отправились въ гостиную, разумѣется, голубую, съ диваномъ, овальнымъ столомъ и даже ширмочками, обвитыми плющомъ; вслѣдъ за ними побѣжала ворча мохнатая Аделъ и высокій Попури на тоненькихъ ножкахъ. „Сюда, сюда, вотъ въ этотъ уголокъ!“ говорила хозяйка, усаживая гостыю въ уголъ дивана. „Вотъ такъ, вотъ такъ! Вотъ вамъ и подушка!“ Сказавши это, она захихнула ей за спину подушку, на которой былъ вышитъ шерстью рыцарь такимъ образомъ, какъ ихъ всегда вышиваютъ по канвѣ: носъ вышелъ лѣстницею, а губы четверугольникомъ. „Какъ же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подѣхалъ, да думаю себѣ, кто бы могъ такъ рано? Параша говоритъ: „вице-губернаторша“, а я говорю: „Ну, вотъ опять приѣхала дура надоедать“, и уже хотѣла сказать, что меня нѣтъ дома...“

Гостыя уже хотѣла было приступить къ дѣлу и сообщить новость, но восклицаніе, которое надала въ это время дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, вдругъ дало другое направленіе разговору.

„Какой веселенькій ситецъ!“ воскликнула во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама, глядя на платье просто пріятной дамы.

„Да, очень веселенькій. Прасковья Федоровна, однако же, находитъ, что лучше, если бы клѣточки были помельче, и чтобы не коричневыя были крапинки, а голубыя. Сестрѣ я прислала матерійку: это такое очарованье, котораго, просто, нельзя выразить словами. Вообразите себѣ: полосочки узенькія-узенькія, какія только можетъ представить воображеніе человѣческое, фонъ голубой и черезъ полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Словомъ, безподобно! Можно сказать рѣшительно, что ничего еще не было подобнаго на свѣтѣ“.

„Милая, это пестро“.

„Ахъ, нѣтъ! не пестро!“

„Ахъ, пестро!“

Нужно замѣтить, что во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама была отчасти матеріалистка, склонна къ отрицанію и сомнѣнію и отвергала весьма многое въ жизни.

Здѣсь просто пріятная дама объяснила, что это совсѣмъ не пестро и вскрикнула: „Да, похваляю васъ: оборокъ болѣе не носить“.

„Какъ не носить?“

„Намѣсто ихъ фестончики“.

„Ахъ, это не хорошо—фестончики!“

„Фестончики, все фестончики: пелеринка изъ фестончиковъ, на рукавахъ фестончики, эпалетты изъ фестончиковъ, внизу фестончики, вездѣ фестончики“.

„Нехорошо, Софья Ивановна, если все фестончики“.

„Мило, Анна Григорьевна, до невѣроятности: шьется въ два рубчика, широкія проймы и сверху... Но вотъ, вотъ когда вы изумитесь, вотъ ужъ когда скажете, что... Ну, изумляйтесь, вообразите: лифчики пошли еще длиннѣе, впереди мыскомъ, и передняя косточка совсѣмъ выходитъ изъ границъ; юбка вся собирается вокругъ, какъ бывало въ старину фижмы, даже сзади немножко подкладываютъ ваты, чтобы была совершенная бѣлѣфа“.

„Ну, ужъ это, просто: признаюсь!“ сказала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, сдѣлавши движеніе головою съ чувствомъ достоинства.

„Именно, это ужъ точно: признаюсь!“ отвѣчала просто пріятная дама.

„Ужъ какъ вы хотите, я ни за что не стану подражать этому“.

„Я сама тоже... Право, какъ вообразишь, до чего иногда доходитъ мода... ни на что не похоже! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смѣху; Меланья моя принялась шить“.

„Такъ у васъ развѣ есть выкройка?“ вскрикнула во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама не безъ замѣтнаго сердечнаго движенія.

„Какъ же, сестра привезла“.

„Душа моя, дайте ее мнѣ, ради всего святаго“.

„Ахъ, я ужъ дала слово Прасковѣ Ѳедоровѣ. Развѣ послѣ нея“.

„Кто жъ станетъ носить послѣ Прасковьи Ѳедоровны? Это уже слишкомъ странно будетъ съ вашей стороны, если вы чужихъ предпочтете своимъ“.

„Да вѣдь она тоже мнѣ двоюродная тетка“.

„Она вамъ тетка, еще, Богъ знаетъ, какая: съ мужниной стороны... Нѣтъ, Софья Ивановна, я и слышать не хочу; это выходитъ — вы мнѣ хотите нанести такое оскорбленіе... Видно, я вамъ наскучила уже; видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство“.

Бѣдная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей дѣлать. Она чувствовала сама, между какихъ сильныхъ огней себя поставила. Вотъ тебѣ, и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый языкъ.

„Ну, что жъ нашъ прелестникъ?“ сказала между тѣмъ дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ.

„Ахъ, Боже мой! что жъ я такъ сижу передъ вами! Вотъ хорошо! Вѣдь вы знаете, Анна Григорьевна, съ чѣмъ я пріѣхала къ вамъ?“ Тутъ дыханіе госты сперлось, слова, какъ ястребы, готовы были пуститься въ погоню одно за другимъ, и только нужно было до такой степени быть безчеловѣчной, какова была искренняя пріятельница, чтобы рѣшиться оставить ее.

„Какъ вы ни выхваляйте и ни превозносите его“, говорила она съ живостью, болѣе нежели обыкновенною: „а я скажу прямо, и ему въ глаза скажу, что онъ негодный человѣкъ, негодный, негодный, негодный!“

„Да послушайте только, что я вамъ отерою...“

„Распустили слухи, что онъ хорошъ, а онъ совсѣмъ не хорошъ, совсѣмъ не хорошъ и носъ у него... самый непріятный носъ“.

„Позвольте же, позвольте же только рассказать вамъ... душенька Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Вѣдь это исторія, понимаете ли, исторія, сконапель исторія“, говорила гостя съ выраженіемъ почти отчаянія и совершенно умоляющимъ голосомъ. Не мѣшаетъ замѣтить, что въ разговоръ обѣихъ дамъ вмѣшивалось очень много иностранныхъ словъ и цѣ-

ликомъ иногда длинныя французскія фразы. Но какъ ни исполненъ авторъ благоговѣннѣ къ тѣмъ спасительнымъ пользамъ, которыя приноситъ французскій языкъ Россіи, какъ ни исполненъ благоговѣннѣ къ похвальному обычаю нашего высшаго общества, изъясняющагося на немъ во всѣ часы дня, конечно, изъ глубокаго чувства любви къ отчизнѣ, но при всемъ томъ никакъ не рѣшается внести фразу какого бы ни было чуждаго языка въ сію русскую свою поэмю. Итакъ, станемъ продолжать по-русски.

„Какая же исторія?“

„Ахъ, жизнь моя, Анна Григорьевна! если бы вы могли только представить то положеніе, въ которомъ я находилась! Вообразите, приходитъ ко мнѣ сегодня протопопша, отца Кирилы жена, и что бы вы думали? нашъ-то смиренникъ, прѣзжай-то нашъ, каковъ, а?“

„Какъ, неужели онъ и протопопшѣ строилъ куры?“

„Ахъ, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша. Пріѣхала, говорить, къ ней помѣщица Коробочка, перепуганная и блѣдная, какъ смерть, и рассказываетъ, и какъ рассказываетъ! послушайте только, совершенный романъ; вдругъ, въ глухую полночь, когда все уже спало въ домѣ, раздается въ ворота стукъ, ужаснѣйшій, какой только можно себѣ представить; кричатъ: „Отворите, отворите, не то — будутъ выломаны ворота!..“ Каково вамъ это покажется? Каковъ же послѣ этого прелестникъ?“

„Да что Коробочка? развѣ молода и хороша собою?“

„Ничуть, старуха“.

„Ахъ, прелести! Такъ онъ за старуху принялся? Ну, хорошъ же послѣ этого вкусъ нашихъ дамъ, нашли въ кого влюбиться“.

„Да вѣдь нѣтъ, Анна Григорьевна, совсѣмъ не то, что вы полагаете. Вообразите себѣ только то, что является вооруженный съ ногъ до головы въ родѣ Ринальда Ринальдина и требуетъ: „Продайте“, говорить, „всѣ души, которыя умерли“. Коробочка отвѣчаетъ очень резонно, говорить: „Я не могу продать, потому что онѣ мертвыя“. — „Нѣтъ“, говорить, „онѣ не мертвыя; это мое“, говорить, „дѣло знать, мертвыя ли онѣ, или нѣтъ; онѣ не мертвыя, не мертвыя!“ кричитъ — „не мертвыя!“ Словомъ, скандальзову надѣлалъ ужаснаго: вся деревня сбѣжалась, ребенки плачутъ, все кричитъ, никто никого не понимаетъ, — ну, просто, орреръ, орреръ, орреръ!.. Но вы себѣ представить не можете, Анна Григорьевна, какъ я перетревожилась, когда услышала все это. „Голубушка барыня“, говорить мнѣ Машка: „посмотрите въ зеркало, вы блѣдны“. — „Не до зеркала“, говорю, мнѣ: „я должна ѣхать рассказать Аннѣ Григорьевнѣ“. Въ ту же минуту приказываю заложить коляску: кучеръ Андрюшка спрашиваетъ меня, куда ѣхать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему въ глаза, какъ дура; я думаю, что онъ подумалъ, что я сумасшедшая. Ахъ, Анна Григорьевна! если бъ вы только могли себѣ представить, какъ я перетревожилась!“

„Это, однакожъ, странно“, сказала во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама: „что бы такое могли значить эти мертвыя души? Я, признаюсь, тутъ ровно ничего не понимаю. Вотъ уже во второй разъ я все слышу про эти мертвыя души; а мужъ мой еще говоритъ, что Ноздревъ вретъ: что-нибудь, вѣрно же, есть“.

„Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положеніе, когда я услышала это. „И теперь“, говорить Коробочка: „я не знаю“, говорить, „что мнѣ дѣлать. Заставилъ“, говорить, „подписать меня какую-то

фальшивую бумагу, бросилъ пятнадцать рублей ассигнаціями; я“, говоритъ, „неопытная, безпомощная вдова, я ничего не знаю...“ Такъ вотъ происшествіа! Но только, если бы вы могли сколько-нибудь себя представить, какъ я вся перетревожилась!“

„Но только, воля наша, здѣсь не мертвыя души, здѣсь скрываются что-то другое“.

„Я, признаюсь, тоже“, произнесла не безъ удивленія просто пріятная дама и почувствовала тутъ же сильное желаніе узнать, что бы такое могло здѣсь скрываться. Она даже произнесла съ разстановкой: „А что жъ, вы полагаете, здѣсь скрывается?“

„Ну, какъ вы думаете?“

„Какъ я думаю?... Я, признаюсь, совершенно потеряна“.

„Но, однакожь, я бы все хотѣла знать: какія ваши насчетъ этого мысли?“

Но пріятная дама ничего не нашлась сказать. Она умѣла только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь смѣтливое предположеніе, для этого никакъ ей не ставало, и оттого, болѣе нежели всякая другая, она имѣла потребность въ нѣжной дружбѣ и совѣтахъ.

„Ну слушайте же, что такое эти мертвыя души“, сказала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, и гостя при такихъ словахъ вся обратилась въ слухъ: ушки ея вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сяди и не держась на диванѣ, и несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сдѣлалась вдругъ тонѣе, стала похожа на легкій пухъ, который вотъ такъ и полетитъ на воздухъ отъ дуновенія.

Такъ русскій баринъ, собачей и іора-охотникъ, подѣзжая къ лѣсу, изъ котораго вотъ-вотъ выскочитъ оттопанный добѣжачими заяцъ, превращается весь съ своимъ конемъ и поднятымъ арапникомъ въ одинъ застывшій мигъ, въ порохъ, къ которому вотъ-вотъ поднесутъ огонь. Весь впился онъ очами въ мутный воздухъ и ужъ настигнетъ звѣря, ужъ допечетъ его, неотбойный, какъ ни воздымаясь противъ него вся мятущая снѣговая степь, пускающая серебряныя звѣзды ему въ уста, въ усы, въ очи, въ брови и въ бобровую его шапку.

„Мертвыя души...“ произнесла во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама.

„Что, что?“ подхватила гостя, вся въ волненіи.

„Мертвыя души!...“

„Ахъ, говорите ради Бога!“

„Это, просто, выдуманно только для прикрытія, а дѣло вотъ въ чемъ: онъ хочетъ увести губернаторскую дочку“.

Это заключеніе, точно, было никакъ неожиданно и во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенно. Пріятная дама, услышавъ это, такъ и окаменѣла на мѣстѣ, поблѣднѣла, поблѣднѣла, какъ смерть, и, точно, перетревожилась не на шутку. „Ахъ, Боже мой!“ вскрикнула она, всплеснувъ руками: „ужъ этого я бы никакъ не могла предполагать“.

„А я, признаюсь, какъ только вы открыли ротъ, я уже смекнула, въ чемъ дѣло“, отвѣчала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ.

„Но каково же послѣ этого, Анна Григорьевна, институтское воспитаніе! вѣдь вотъ невинность!“

„Какая невинность! Я слышала, какъ она говорила такіа рѣчи, что, признаюсь, у меня не станеть духа произнести ихъ“.

„Знаете, Анна Григорьевна, вѣдь это, просто, раздражаетъ сердце, когда видишь, до чего достигла, наконецъ, безвразвѣдность“.

„А мужчины отъ нея безъ ума. А по мнѣ, такъ я, признаюсь, ничего не нахожу въ ней...“

„Манерна нестерпимо“.

„Ахъ, жизнь моя, Анна Григорьевна! она статуя, и хоть бы какое-нибудь выраженіе въ лицѣ“.

„Ахъ, какъ манерна! Ахъ, какъ манерна! Боже, какъ манерна! Кто выучилъ ее, я не знаю; но я еще не видывала женщины, въ которой бы было столько жеманства“.

„Душенька! она статуя и блѣдна, какъ смерть“.

„Ахъ, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно“.

„Ахъ, что это вы, Анна Григорьевна: она мѣлѣ, мѣлѣ, чистѣйшій мѣлѣ“.

„Милая, я сидѣла возлѣ нея: румянецъ въ палецъ толщины и отваливается, какъ штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдетъ матушку“.

„Ну, позвольте, ну, положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же часъ лишиться дѣтей, мужа, всего имѣнья, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тѣнь какого-нибудь румянца!“

„Ахъ, что вы это говорите, Софья Ивановна!“ сказала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ и всплеснула руками.

„Ахъ, какія же вы, право, Анна Григорьевна! Я съ изумленьемъ на васъ гляжу!“ сказала пріятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю страннымъ, что обѣ дамы были несогласны между собою въ томъ, что видѣли почти въ одно и то же время. Есть, точно, на свѣтѣ много такихъ вещей, которыя имѣютъ уже такое свойство: если на нихъ взглянетъ одна дама, онѣ выйдутъ совершенно блѣды; а взглянетъ другая—выйдутъ красныя, красныя, какъ брусника.

„Ну, вотъ вамъ еще доказательство, что она блѣдна“, продолжала пріятная дама: „я помню, какъ теперь, что я сижу возлѣ Манилова и говорю ему: „Посмотрите, какая она блѣдная!“ Право, нужно быть до такой степени безтолкувыми, какъ наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А нашъ-то прелестникъ... Ахъ, какъ онъ мнѣ показался противнымъ! Вы не можете себѣ представить, Анна Григорьевна, до какой степени онъ мнѣ казался противнымъ“.

„Да, однако же, нашлись нѣкоторыя дамы, которыя были равнодушны къ нему“.

„Я, Анна Григорьевна? Вотъ ужъ никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!“

„Да я не говорю объ васъ, какъ будто, кромѣ васъ, никого нѣтъ“.

„Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мнѣ вамъ замѣтить, что я очень хорошо себя знаю; а развѣ со стороны какихъ-нибудь иныхъ дамъ, которыя играютъ роль недоступныхъ“.

„Ужъ извините, Софья Ивановна! Ужъ позвольте вамъ сказать, что за мной подобныхъ скандалозностей никогда еще не водилось. За кѣмъ другимъ развѣ, а ужъ за мной нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ вамъ это замѣтить“.

„Отчего же вы обидѣлись? Вѣдь тамъ были и другія дамы, были даже такія, которыя первыя захватили стулъ у дверей, чтобы сидѣть къ нему поближе“.

Ну, ужъ послѣ такихъ словъ, произнесенныхъ пріятною дамою, должна была неминуемо послѣдовать буря; но, къ величайшему изумленію, обѣ

дамы вдругъ пріутихли, и совершенно ничего не послѣдовало. Во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама вспомнила, что выкройка для моднаго платья еще не находится въ ея рукахъ, а просто пріятная дама смекнула, что она еще не успѣла вывѣдать никакихъ подробностей насчетъ открытія, сдѣланнаго ея искреннею пріятельницею, и потому миръ послѣдовалъ очень скоро. Впрочемъ, обѣ дамы, нельзя сказать, чтобы имѣли въ своей натурѣ потребность наносить непріятность, и вообще въ характерахъ ихъ ничего не было злого, а такъ, нечувствительно, въ разговорѣ рождалось само собою маленькое желаніе кольнуть другъ друга; просто, одна другой, изъ небольшого наслажденія, при случаѣ всунетъ иное живое слово: „Вотъ, молъ, тебѣ! На, возьми, съѣшь!“ Разнаго рода бываютъ потребности въ сердцахъ, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола.

„Я не могу, однако же, понять только того“, сказала просто пріятная дама: „какъ Чичиковъ, будучи человѣкъ заѣзжій, могъ рѣшиться на такой отважный пассажъ. Не можетъ быть, чтобы тутъ не было участниковъ“.

„А вы думаете—нѣтъ ихъ?“

„А кто же бы, полагаете, могъ помогать ему?“

„Ну, да хоть и Ноздревъ“.

„Неужели Ноздревъ?“

„А чтó жъ? вѣдь его на это станеть. Вы знаете: онъ родного отца хотѣлъ продать или, еще лучше, проиграть въ карты“.

„Ахъ, Боже мой, какія интересныя новости я узнаю отъ васъ! Я бы никакъ не могла предполагать, чтобы и Ноздревъ былъ замѣшанъ въ эту исторію!“

„А я всегда предполагала“.

„Какъ подумаешь, право, чего не происходитъ на свѣтѣ: ну, можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиковъ только что пріѣхалъ къ намъ въ городъ, что онъ произведетъ такой странный маршъ въ свѣтѣ? Ахъ, Анна Григорьевна, если бы вы знали, какъ я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба... вотъ уже точно, на краю гибели... куда жъ? Машка моя видитъ, что я блѣдна, какъ смерть: „Душечка барыня“, говоритъ мнѣ: „вы блѣдны, какъ смерть“.— „Машка“, говорю, „мнѣ не до того теперь“. Такъ вотъ какой случай! Такъ и Ноздревъ здѣсь! прошу покорно!“

Пріятной дамѣ очень хотѣлось вывѣдать дальнѣйшія подробности насчетъ похищенія, то есть, въ которомъ часу и прочее, но многого захотѣла. Во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама прямо отозвалась незнаніемъ. Она не умѣла гадать: предположить что-нибудь—это другое дѣло, но и то въ такомъ случаѣ, когда предположеніе основывалось на внутреннемъ убѣжденіи; если жъ было почувствовано внутреннее убѣжденіе, тогда умѣла она постоять за себя, и попробовалъ бы какой-нибудь дока-адвокатъ, славящійся даромъ побѣждать чужія мнѣнія,—попробовалъ бы онъ состязаться здѣсь: увидѣлъ бы онъ, чтó значитъ внутреннее убѣжденіе.

Что обѣ дамы, наконецъ, рѣшительно убѣдились въ томъ, чтó прежде предположили только, какъ одно предположеніе,—въ этомъ нѣтъ ничего необыкновеннаго. Наша братья, народъ умный, какъ мы называемъ себя, поступаетъ почти такъ же, и доказательствомъ служатъ наши ученые разсужденія. Сперва ученый подѣзжаетъ въ нихъ необыкновеннымъ подлецомъ, начинаетъ робко, умѣренно, начинается самымъ смиреннымъ запросомъ: „Не оттуда ли? не изъ того ли угла получила имя такая-то страна?“ или: „Не

принадлежит ли этот документъ къ другому, позднѣйшему времени?“ или: „Не нужно ли подъ этимъ народомъ разумѣть вотъ какой народъ?“ Цитуетъ немедленно тѣхъ и другихъ древнихъ писателей и чуть только видитъ какой-нибудь намекъ или, просто, показалось ему намекомъ, ужъ онъ получаетъ рысь и бодрится, разговариваетъ съ древними писателями запросто, задаетъ имъ запросы, и самъ даже отвѣчаетъ за нихъ, позабывая вовсе о томъ, что началъ робкимъ предположеніемъ; ему уже кажется, что онъ это видитъ, что это ясно—и разсужденіе заключено словами: „Такъ это вотъ какъ было: такъ вотъ какой народъ нужно разумѣть! такъ вотъ съ какой точки нужно смотрѣть на предметъ!“ Потомъ во всеуслышанье съ кафедръ—и новооткрытая истина пошла гулять по свѣту, набирая себѣ послѣдователей и поклонниковъ.

Чиновники были совершенно сбиты съ толку этими сплетнями.

Узнавъ о разсказахъ, ходившихъ по городу, Чичиковъ рѣшился уѣхать изъ города.

Бричка между тѣмъ поворотила въ болѣе пустынные улицы; скоро потянулись одни длинныя деревянные заборы, предвѣщавшіе конецъ города. Вотъ уже и мостовая кончилась, и шлагбаумъ, и городъ назади, и ничего нѣтъ—и опять въ дорогѣ. И опять по обѣимъ сторонамъ столбового пути пошли вновь писать версты, станціонные смотрители, колодцы, обозы, сѣрыя деревни съ самоварами, бабами и бойкимъ бородатымъ хозяиномъ, бѣгущимъ изъ постоялаго двора съ овсомъ въ руцѣ; пѣшеходъ въ протертыхъ лаптяхъ, плетущійся за 800 верстъ; городишки, выстроенные живемъ, съ деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону, и по другую, помѣщичьи рыдваны, солдаты верхомъ на лошадѣ, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: „такой-то артиллерійской батареи“, зеленныя, желтыя и свѣже-разрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ, затянута вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны, какъ мухи, и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бѣдно, разбросано и непріютно въ тебѣ; не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства,—города съ многоколонными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя деревя и плющи, вросшіе въ дома, въ шумъ и вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотреть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышины каменные глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенные одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и не-смѣтными милліонами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города: ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ухахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Чтѣ въ ней, въ этой пѣснѣ? Чтѣ зоветъ и рыдаетъ, и хватается за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзуютъ и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Чтѣ глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, чтѣ ни есть въ тебѣ, обратило

на меня полныя ожиданія очи?... И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осынило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла мысль передъ твоимъ пространствомъ. Что пророчить сей необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройти ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубинѣ моей; неестественной властью освѣтились мои очи... У, какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!...

„Держи, держи, дуракъ!“ кричалъ Чичиковъ Селифану.

„Вотъ я тебя палашомъ!“ кричалъ скакавшій навстрѣчу фельдъ-егерь, съ усами въ аршинъ. „Не видишь, лѣшій дери твою душу, казенный экипажъ!“ И, какъ призракъ, исчезнула съ громомъ и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное въ словѣ: дорога! И какъ чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенніе листья, холодный воздухъ... покрѣпче въ дорожную шинель, шапку на уши, тѣсней и уютнѣй прижмемся къ углу! Въ послѣдній разъ пробѣжавшая дрожь прохватила члены, и уже смѣнила ее пріятная теплота. Кони мчатся... Какъ соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозъ сонъ слышится: и „Не бѣлы снѣги“, и сапъ лошадей, и шумъ колесъ и уже хранишь, прижавши къ углу своего сосѣда. Проснулся—пять станцій убѣжало навадъ; луна; невѣдомый городъ; церкви со старинными деревянными куполами и чертящими острокопечьями; темные бревенчатые и бѣлые каменные дома; сіяніе мѣсяца тамъ и сямъ: будто бѣлые полотняные платки развѣшались по стѣнамъ, по мостовой, по улицамъ; косяками пересѣкаютъ ихъ черныя, какъ уголь, тѣни; подобно сверкающему металлу, блистаютъ вкось озаренныя деревянныя крыши; и нигдѣ ни души: все спитъ. Одинъ-одинешенекъ, развѣ гдѣ-нибудь въ окошкѣ брезжитъ огонекъ! мѣщанинъ ли городской тачаетъ свою пару сапоговъ, пекаръ ли возится въ печуркѣ—что до нихъ? А ночь!.. Небесныя силы! какая ночь совершается въ вышинѣ! А воздухъ, а небо, далекое, высокое, тамъ, въ недоступной глубинѣ своей, такъ необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышитъ свѣжо въ самыя очи холодное ночное дыханіе и убаюкиваетъ тебя, и вотъ уже дремлешь, и забываешься, и хранишь—и ворочается сердито, почувствовавъ на себѣ тяжесть, бѣдный, притиснутый къ углу сосѣдъ. Проснулся—и уже опять передъ тобою поля и степи; нигдѣ ничего: вездѣ пустырь, все открыто. Верста съ цифрой летитъ тебѣ въ очи; занимается утро; на поблѣвшемъ холодномъ небосклонѣ золотая блѣдная полоса; свѣжѣе и жестче становится вѣтеръ: покрѣпче въ теплую шинель!.. Какой славный холодъ! какой чудный, вновь обнимающій тебя сонъ! Толчокъ—и опять проснулся. На вершинѣ неба солнце. „Полегче! легче!“ слышится голосъ; тѣлѣга спускается съ кручи; внизу плотина широкая и широкий ясный прудъ, сіяющій, какъ мѣдное дно, передъ солнцемъ; деревня, избы рассыпались на косогорѣ; какъ звѣзда, блеститъ въ сторонѣ крестъ сельской церкви; болтовня мужиковъ, и невыносимый аппетитъ въ желудкѣ... Боже! какъ ты хороша подчасъ, далекая, далекая дорога! Сколько разъ, какъ погибающій и тонущій, я хватался за тебя, и ты всякій разъ меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось въ тебѣ чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грезъ, сколько переживалось дивныхъ впечатлѣній!.. Но и другъ нашъ Чичиковъ чувствовалъ въ это время не вовсе прозаическія грезы. А посмотримъ, что онъ чувствовалъ. Сначала онъ не

чувствовалъ ничего и поглядывалъ только назадъ, желая увѣриться, точно ли выѣхалъ изъ города; но когда увидѣлъ, что городъ уже давно скрылся, ни кузницъ, ни мельницъ, ни всего того, что находится вокругъ городовъ, не было видно, и даже бѣлыя верхушки каменныхъ церквей давно ушли въ землю, онъ занялся только одной дорогою, посматривалъ только направо и налево, и городъ N какъ будто не бывалъ въ его памяти, какъ будто проѣзжалъ онъ его давно, въ дѣтствѣ. Наконецъ, и дорога перестала занимать его, и онъ сталъ слегка закрывать глаза и склонять голову къ подушкѣ.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателямъ. Дамамъ онъ не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуютъ, чтобъ герой былъ рѣшительное совершенство, и если какое нибудь душевное или тѣлесное пятнышко, тогда—бѣда! Какъ глубоко ни загляни авторъ ему въ душу, хотъ отрази чище зеркала его образъ, ему не дадутъ никакой цѣны. Самая полнота и среднія лѣта Чичикова много повредятъ ему: полноты ни въ какомъ случаѣ не простятъ герою, и весьма многія дамы, отворотившись, скажутъ: „Фи! такой гадкій!“ Увы! все это извѣстно автору, и при всемъ томъ онъ не можетъ взять въ герои добродѣтельнаго человѣка. Но... можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почувются инныя, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертвая книга передъ живымъ словомъ! Подымутся русскія движенія..., и увидать, какъ глубоко заронилось въ славянскую природу то, что скользнуло только по природѣ другихъ народовъ... Но къ чему и затѣмъ говорить о томъ, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужемъ, воспитанному суровой внутренней жизнью, и свѣдѣтельной трезвостью уединенія, забываться, подобно юношѣ. Всему свой чередъ, и мѣсто, и время! А добродѣтельный человѣкъ все-таки не взять въ герои. И можно даже сказать, почему не взять. Потому что пора, наконецъ, дать отдыхъ бѣдному добродѣтельному человѣку; потому что праздно вращается на устахъ слово: *добродѣтельный человѣкъ*; потому что обратили въ лошадь добродѣтельнаго человѣка, ни нѣтъ писателя, который бы не ѣздилъ на немъ, по-нукая и кнутомъ, всѣмъ, чѣмъ ни попало; потому что изморили добродѣтельнаго человѣка до того, что теперь нѣтъ на немъ и тѣни добродѣтели, а остались толькоребр а да кожа вмѣсто тѣла; потому что липемѣрно при-зываютъ добродѣтельнаго человѣка; потому что не уважаютъ добродѣтельнаго человѣка. Нѣтъ, пора, наконецъ, припречь и подлеца. Итакъ, припряжемъ подлеца!

Темно и скромно происхожденіе нашего героя. Родители его были дворяне, но столбовые или личные—Богъ вѣдаетъ. Лицомъ онъ на нихъ не походилъ: по крайней мѣрѣ, родственница, бывшая при его рожденіи, низенькая, коротенькая женщина, которыхъ обыкновенно называютъ пига-лицами, взявши въ руки ребенка, вскрикнула: „Совсѣмъ вышелъ не такой, какъ я думала! Ему въ слѣдовало пойти въ бабу съ матерней стороны, что было бы и лучше, а онъ родился, просто, какъ говорятъ пословица: „*ни въ мать, ни въ отца, а въ пропущаго молодца*“. Жизнь при началѣ взглянула на него какъ-то кисло-непріятно, сквозь какое-то мутное, занесенное

снѣгомъ окошко; ни друга, ни товарища въ дѣтствѣ! Маленькая горенка съ маленькими окнами, не отворявшимися ни въ зиму, ни въ лѣто; отецъ—больной человекъ въ длинномъ сюртукѣ на мерлушкахъ и въ вязаныхъ хлопчаткахъ, надѣтыхъ на босую ногу, безпрестанно вздыхавшій, ходя по комнатѣ, и плевавшій въ стоявшую въ углу песочницу; вѣчное сидѣнье на лавкѣ, съ перомъ въ рукахъ, чернилами на пальцахъ и даже на губахъ; вѣчная пропись передъ глазами: „Не лги, послушествоуй старшимъ и носи добродѣтель въ сердцѣ“; вѣчный шаркъ и шлепанье по комнатѣ хлопанцевъ, знакомый, но всегда суровый голосъ: „опять задурилъ!“ отзывавшійся въ то время, когда ребенокъ, наскуча однообразіемъ труда, придѣлывалъ къ буквѣ какую-нибудь кавыку или хвостъ; и вѣчно знакомое, всегда непріятное чувство, когда, вслѣдъ за сими словами, краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинныхъ, протанувшихся сзади пальцевъ: вотъ бѣдная картина первоначальнаго его дѣтства, о которомъ едва сохранилъ онъ блѣдную память. Но въ жизни все мѣняется быстро и живо: и въ одинъ день, съ первымъ весеннимъ солнцемъ и разлившимися потоками, отецъ, взявши сына, выѣхалъ съ нимъ на телѣжкѣ, которую потащила мухортая пѣгая лошадка, извѣстная у лошадиныхъ барышниковъ подъ именемъ сороки; ею правилъ кучеръ, маленькій горбунъ, родоначальникъ единственной крѣпостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавшій почти всѣ должности въ домѣ. На сорокѣ тащились они полтора дня слишкомъ; на дорогѣ ночевали, переправлялись черезъ рѣку, закусывали холоднымъ пирогомъ и жареною бараниною, и только на третій день утромъ добрались до города. Передъ мальчикомъ блеснули нежданнѣе великолѣпнѣе городскія улицы, заставившія его на нѣсколько минутъ разинуть ротъ. Потомъ сорока бухтыкнула вмѣстѣ съ телѣжкой въ яму, которую начинался узкій переулокъ, весь стремившійся внизъ и запруженный грязью; долго работала она тамъ всѣми силами и мѣсила ногами, подстрекаемая и горбуномъ, и самимъ бариномъ, и наконецъ втащила ихъ въ небольшой дворикъ, стоявшій на косогорѣ, съ двумя расцвѣтшими яблонями передъ старенькимъ домикомъ и садикомъ позади его, низенькимъ, маленькимъ, состоявшимъ только изъ рябины, бузины и скрывавшейся во глубинѣ ея деревянной будочки, крытой драньемъ, съ узенькимъ матовымъ окошечкомъ. Тутъ жила родственница ихъ, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынокъ и сунувшая потомъ чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щекамъ и полюбовалась его полнотою. Тутъ долженъ былъ онъ остаться и ходить ежедневно въ классы городского училища. Отецъ, переночевавши, на другой же день выбрался въ дорогу. При разставаніи, слезъ не было пролито изъ родительскихъ глазъ; дана была полтина мѣди на расходъ и лакомства и, чтѣ гораздо важнѣе, умное наставленіе: „Смотри же, Павлуша: учись, не дури и не повѣсничай, а больше всего—угождай учителямъ и начальникамъ. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и въ наукѣ не успѣешь и таланту Богъ не далъ, все пойдеши въ ходъ и всѣхъ опередиши. Съ товарищами не водись: они тебя добру не научатъ; а если ужъ пошло на то, такъ водись съ тѣми, которые побогаче, чтобы при случаѣ могли быть тебѣ полезными. Не угощай и не потчивай никого, а веди себя лучше такъ, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнѣе всего на свѣтѣ. Товарищъ или пріятель тебя надуетъ и въ бѣдѣ первый тебя выдастъ, а копейка не выдастъ, въ какой бы бѣдѣ ты ни былъ. Все сдѣлаешь и все прошибешь на свѣтѣ копейкой“. Давши такое наста-

вленіе, отецъ разстался съ сыномъ и потащился вновь домой на своей сорокѣ, и съ тѣхъ поръ уже никогда онъ больше его не видѣлъ; но слова и наставленія заронились глубоко ему въ душу.

Павлуша съ другого же дня принялся ходить въ классы. Особенныхъ способностей къ какой-нибудь наукѣ въ немъ не оказалось; отличался онъ больше прилежаніемъ и опрятностію; но зато оказался въ немъ большой умъ съ другой стороны—со стороны практической. Онъ вдругъ смекнулъ и понялъ дѣло, и повелъ себя въ отношеніи къ товарищамъ точно такимъ образомъ, что они его угощали, а онъ ихъ не только никогда, но даже иногда, припрятавъ полученное угощеніе, потомъ продавалъ имъ же. Еще ребенкомъ онъ умѣлъ уже отказать себѣ во всемъ. Изъ данной отцомъ полтины не издержалъ ни копейки, напротивъ, въ тотъ же годъ уже сдѣлалъ къ ней приращенія, показавъ оборотливость почти необыкновенную: слѣпилъ изъ воску свѣгиря, выкрасилъ его и продалъ очень выгодно. Потомъ, въ продолженіе нѣкотораго времени, пустился на другія спекуліаціи, именно вотъ какія: накупивши на рынкѣ съѣстнаго, садился въ классъ возлѣ тѣхъ, которые были побогаче, и какъ только замѣчалъ, что товарища начинало тошнить,—признакъ наступающаго голода,—онъ высовывалъ ему изъ-подъ скамьи, будто невзначай, уголъ пряника или булки, и, раззадоривши его, бралъ деньги, соображаясь съ аппетитомъ. Два мѣсяца онъ провозился у себя на квартирѣ безъ отдыха около мыши, которую засадилъ въ маленькую деревянную клѣточку, и добился, наконецъ, до того, что мышь становилась на заднія лапки, ложилась и вставала по приказу, и продалъ потомъ ее тоже очень выгодно. Когда набралось денегъ до пяти рублей, онъ мѣшочекъ зашилъ и сталъ копить въ другой. Въ отношеніи къ началству онъ повелъ себя еще умнѣе. Сидѣть на лавкѣ никто не умѣлъ такъ смиренно. Надобно замѣтить, что учитель былъ большой любитель тишины и хорошаго поведенія и терпѣть не могъ умныхъ и острыхъ мальчиковъ: ему казалось, что они непременно должны надъ нимъ смѣяться. Достаточно было тому, который попалъ на замѣчаніе со стороны остроумія, достаточно было ему только пошевелиться или какъ-нибудь ненарокомъ моргнуть бровью, чтобы подпасть вдругъ подъ гнѣвъ. Онъ его гналъ и наказывалъ немилосердно. „Я, братъ, изъ тебя выгоню заносчивость и непокорность!“ говорилъ онъ: „я тебя знаю насквозь, какъ ты самъ себя не знаешь. Вотъ ты у меня постояшь на колѣняхъ! ты у меня поголодаешь!“ И бѣдный мальчишка, самъ не зная за что, натиралъ себѣ колѣни и голодалъ по суткамъ. „Способности и дарованія — это все вздоръ!“ говаривалъ онъ: „я смотрю только на поведеніе. Я поставлю полные баллы во всѣхъ наукахъ тому, кто ни аза не знаетъ, да ведетъ себя похвально; а въ комъ я вижу дурной духъ да насмѣшливость, я тому—нуль, хотя онъ Солона заткни за поясъ!“ Такъ говорилъ учитель, не любившій на-смерть Крылова за то, что онъ сказалъ: „По мнѣ ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй“, и всегда рассказывавшій, съ наслажденіемъ въ лицѣ и въ глазахъ, какъ въ томъ училищѣ, гдѣ онъ преподавалъ прежде, такая была тишина, что слышно было, какъ муха летитъ, что ни одинъ изъ учениковъ въ теченіе круглаго года не кашлянулъ и не высморкался въ классѣ, и что до самаго звонка нельзя было узнать, былъ ли кто тамъ, или нѣтъ. Чичиковъ вдругъ постигнулъ духъ начальника и въ чемъ должно состоять поведеніе. Не шевельнулъ онъ ни глазомъ, ни бровью во все время класса, какъ ни щипали его сзади; какъ только раздавался звонокъ, онъ бросался опрোметью и подавалъ учителю

прежде всѣхъ треухъ (учитель ходилъ въ треухѣ); подавши треухъ, онъ выходилъ первый изъ класса и старался ему попасться раза три на дорогѣ, безпрестанно снимая шапку. Дѣло имѣло совершенный успѣхъ. Во все время пребыванія въ училищѣ былъ онъ на отличномъ счету и при выпускѣ получилъ полное удостоеніе во всѣхъ наукахъ, аттестатъ и книгу съ золотыми буквами: за *примѣрное прилежаніе и благодѣтельное поведеніе*. Вышедъ изъ училища, онъ очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, съ подбородкомъ, потребовавшимъ бритвы. Въ это время умеръ отецъ его. Въ наслѣдствѣ оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старыхъ сюртука, подбитыхъ мерлушками, и незначительная сумма денегъ. Отецъ, какъ видно, былъ свѣдущъ только въ совѣтѣ копить копейку, а самъ накопилъ ея немного. Чичиковъ продалъ тутъ же ветхій дворникъ съ ничтожной землею за тысячу рублей, а семью людей перевелъ въ городъ, располагаясь основаться въ немъ и заняться службой. Въ это же время былъ выгнанъ изъ училища, за глупость или другую вину, бѣдный учитель, любитель тишины и похвального поведенія. Учитель съ горя принялся пить; наконецъ, и пить уже было ему не на что; больной, безъ куса хлѣба и помощи, пропадалъ онъ гдѣ-то въ нетопленной, забытой конурѣ. Бывшіе ученики его, умники и остряки, въ которыхъ ему мерещилась безпрестанно непокорность и закосчивое поведеніе, узнавши объ жалкомъ его положеніи, собрали тутъ же для него деньги, продавъ даже многое нужное; одинъ только Павлуша Чичиковъ отговорился неимѣніемъ и далъ какой-то пятакъ серебра, который тутъ же товарищи ему бросили, сказавши: „Эхъ ты, жила!“ Закрылъ лицо руками бѣдный учитель, когда услышалъ о такомъ поступкѣ бывшихъ учениковъ своихъ: слезы градомъ полились изъ погасавшихъ очей, какъ у безсильнаго дитяти. „При смерти на одрѣ привелъ Богъ заплакать“, произнесъ онъ слабымъ голосомъ; и тяжело вздохнулъ, услышавъ о Чичиковѣ, прибавя тутъ же: „Эхъ, Павлуша! Вотъ какъ перемѣняется человекъ! Вѣдь какой былъ благоправный! ничего буйнаго — шелкъ! Надулъ, сильно надулъ...“

Нельзя, однако же сказать, чтобы природа героя нашего была такъ сурова и черства, и чувства его были до того притуплены, чтобы онъ не анализъ ни жалости, ни состраданія. Онъ чувствовалъ и то, и другое; онъ бы даже хотѣлъ помочь, но только, чтобы не заключалось это въ значительной суммѣ, чтобы не трогать уже тѣхъ денегъ, которыхъ положено было не трогать; словомъ, отцовское наставленіе: „береги и копи копейку“ пошло впрокъ. Но въ немъ не было привязанности собственно къ деньгамъ для денегъ; имъ не владѣли скряжничество и скупость. Нѣтъ, не онъ двигали имъ: ему мерещилась впереди жизнь во всѣхъ удовольствіяхъ со всякими недостатками; экипажи, домъ, отлично устроенный, вкусные обѣды—вотъ что непрерывно носилось въ головѣ его. Чтобы, наконецъ, потомъ, со временемъ, вкусить непременно все это, вотъ для чего береглась копейка, скупотва отказываемая до времени и себѣ и другому. Когда проносился мимо его богатъ на пролетныхъ красивыхъ дрожкахъ, на рыскахъ въ богатой упряжи, онъ, какъ вѣопанный, останавливался на мѣстѣ и потомъ, очнувшись, какъ послѣ долгаго сна, говорилъ: „А вѣдь былъ конторщикъ, волосы носилъ въ кружокъ!“ И все, что ни отзывалось богатствомъ и довольствомъ, производило на него впечатлѣніе, непостижимое имъ самимъ.

Онъ усердно принялся служить чиновникомъ,—и среди грязныхъ полушьяныхъ своихъ товарищей скоро выдѣлился своей опрятностью, усердіемъ.

Трудна была его дорога. Онъ попалъ подъ начальство уже престарѣлому повытчику, который былъ образъ какой-то каменной безчувственности и непотрасаемости: вѣчно тотъ же, неприступный, никогда въ жизни не явившій на лицѣ своемъ усмѣшки, не привѣтствовавшій ни разу никого даже запросомъ о здоровьѣ. Никто не видалъ, чтобы онъ хоть разъ былъ не тѣмъ, чѣмъ всегда, хоть на улицѣ, хоть у себя дома; хоть бы разъ показалъ онъ въ чемъ нибудь участие; хоть бы напился пьянъ и въ пьянствѣ разсмѣялся бы; хоть бы предался дикому веселью, какому предается разбойникъ въ пьяную минуту; но даже тѣни не было въ немъ ничего такого. Ничего не было въ немъ равно: ни злодѣйскаго, ни добраго, и что-то страшное являлось въ семъ отсутствіи всего. Черство-мраморное лицо его, безъ всякой рѣзкой неправильности, не намекало ни на какое сходство: въ суровой соразмѣрности между собою были черты его. Однѣ только частныя рябины и ухабины, истыкавшія ихъ, причисляли его къ числу тѣхъ лицъ, на которыхъ, по народному выраженію, чортъ приходилъ по ночамъ молотить горохъ. Казалось, не было силъ человѣческихъ подбиться къ такому человѣку и привлечь его расположеніе: но Чичиковъ попробовалъ. Сначала онъ принялся угождать во всякихъ незамѣтныхъ мелочахъ: разсматрѣлъ внимательно чинку перьевъ, какими писалъ онъ, и, приготовивши нѣсколько по образцу ихъ, клалъ ему всякій разъ ихъ подъ руку; сдувалъ и сметалъ со стола его песокъ и табакъ; завелъ новую тряпку для его чернильницы; отыскалъ гдѣ-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала въ мірѣ, и всякій разъ клалъ ее вондѣ него за минуту до окончанія присутствія; чистилъ ему спину, если тотъ запачкалъ ее мѣломъ у стѣны. Но все это осталось рѣшительно безъ всякаго замѣчанія, такъ какъ будто ничего этого не было и дѣлано. Наконецъ, онъ проникнулъ его домашнюю семейственную жизнь: узналъ, что у него была врѣлая дочь, съ лицомъ, тоже похожимъ на то, какъ будто бы на немъ происходила по ночамъ молотба гороху. Съ этой-то стороны придумалъ онъ навести приступъ. Узналъ, въ какую церковь приходила она по воскреснымъ днямъ, становился всякій разъ насупротивъ ея, чисто одѣтый, накрахмаливши сильно манишку, и дѣло возымѣло успѣхъ: пошатнулся суровый повытчикъ и зазвалъ его на чай! И въ канцеляріи не успѣли оглянуться, какъ устроилось дѣло такъ, что Чичиковъ переѣхалъ къ нему въ домъ, сдѣлался нужнымъ и необходимымъ человѣкомъ, закупалъ и муку, и сахаръ, съ дочерью обращался какъ съ невѣстой, повытчика звалъ папенькой и цѣловалъ его въ руку. Всѣ положили въ палатѣ, что въ концѣ февраля, передъ Великимъ постомъ, будетъ свадьба. Суровый повытчикъ сталъ даже хлопотать за него у начальства, и чрезъ нѣсколько времени Чичиковъ самъ сѣлъ повытчикомъ на одно открывшееся вакантное мѣсто. Въ этомъ, казалось, и заключалась главная цѣль связей его со старымъ повытчикомъ, потому что тутъ же сундукъ свой онъ отправилъ секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартирѣ. Повытчика пересталъ звать папенькой и не цѣловалъ больше его руки, а о свадьбѣ такъ дѣло и замыкалось, какъ будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встрѣчаясь съ нимъ, онъ всякій разъ ласково жалъ ему руку и приглашалъ его на чай, такъ что старый повытчикъ, несмотря на вѣчную неподвижность и черствое равнодушіе, всякій разъ встряхивалъ головою и произносилъ себѣ подъ носъ: „Надулъ, надулъ, чортовъ сынъ!“

Это былъ самый трудный порогъ, черезъ который переинагнулъ онъ.

Съ этихъ поръ пошло легче и успѣшнѣе. Онъ сталъ человѣкомъ замѣтнымъ. Все оказалось въ немъ, что нужно для этого міра: и пріятность въ оборотахъ и поступкахъ, и бойкость въ дѣловыхъ дѣлахъ. Съ такими средствами добылъ онъ въ непродолжительное время то, что называютъ хлѣбное мѣстечко, и воспользовался имъ отличнымъ образомъ.

Взятеи онъ бралъ умѣло: деликатно и осторожно.

Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнѣе: образовалась коммиссія для построения какого-то казеннаго, весьма капитальнаго, строения. Въ эту коммиссію пристроился и онъ, и оказался однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ. Коммиссія немедленно приступила къ дѣлу. Шесть лѣтъ возилась около зданія; но климатъ, что ли, мѣшалъ, или матеріалъ уже былъ такой, только никакъ не шло казенное зданіе выше фундамента. А между тѣмъ въ другихъ концахъ города очутилось у каждого изъ членовъ по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунтъ земли былъ тамъ получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семействомъ. Тутъ только и теперь только сталъ Чичиковъ понемногу выпутываться изъ-подъ суровыхъ законовъ воздержанія и неумолимаго своего самоотверженія. Тутъ только долговременный постъ, 'наконецъ', былъ смягченъ, и оказалось, что онъ всегда не былъ чуждъ разныхъ наслажденій, отъ которыхъ умѣлъ удержаться въ лѣта пылкой молодости, когда ни одинъ человѣкъ совершенно не властенъ надъ собою. Оказались кое-какія напѣшества: онъ завелъ довольно хорошаго повара, тонкія голландскія рубашки. Уже сукна купилъ онъ себѣ такого, какого не носила вся губернія, и съ этихъ поръ сталъ держаться болѣе коричневыхъ и красноватыхъ цвѣтовъ съ искрою; уже приобрѣлъ онъ отличную пару и самъ держалъ одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцомъ; уже завелъ онъ обычай вытираться губкой, намоченной въ водѣ, смѣшанной съ одеколономъ; уже покупалъ онъ весьма недешево какое-то мыло для сообщенія гладкости кожѣ; уже...

Но вдругъ, на мѣсто прежняго тюфяка, былъ присланъ новый начальникъ, человѣкъ военный, строгій, врагъ взяточниковъ и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнулъ онъ всѣхъ до одного, потребовалъ отчеты, увидѣлъ недочеты, на каждомъ шагу недостающія суммы, замѣтилъ въ ту же минуту домъ красивой гражданской архитектуры—и пошла перестройка. Чиновники были отставлены отъ должности; домъ гражданской архитектуры поступилъ въ казну и обращенъ былъ на разные богоугодныя заведенія и школы для кантонистовъ; все распушено было въ пухъ, и Чичиковъ болѣе другихъ. Лицо его вдругъ, несмотря на пріятность, не понравилось начальнику,—почему именно, Богъ вѣдаетъ: иногда даже, просто, не бываешь на это причинъ,—и онъ возненавидѣлъ его на-смерть.

Чичикову пришлось мѣнять мѣсто службы.

„Ну, что жъ!“ сказалъ Чичиковъ: „зацѣпилъ, поволокъ, сорвалось—не спрашивай. Плачемъ горю не пособить, нужно дѣло дѣлать“. И вотъ рѣшился онъ сызнова начать карьеру, вновь вооружиться терпѣніемъ, вновь ограничиться во всемъ, какъ ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде.

Онъ перешелъ, наконецъ, въ службу по таможенѣ. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предметъ его помышлений. Онъ

видѣлъ, какими щегольскими заграничными вещами заводились таможенные чиновники, какіе фарфоры и батисты пересылали кумушкамъ, тетюшкамъ и сестрамъ. Не разъ давно уже онъ говорилъ со вздохомъ: „Вотъ бы куда перебраться: и граница близко и просвѣщенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!“ Надобно прибавить, что при этомъ онъ подумывалъ еще объ особенномъ сортѣ французскаго мыла, сообщавшаго необыкновенную бѣлизну кожѣ и свѣжесть щекамъ; какъ оно называлось, Богъ вѣдаетъ, но, по его предположеніямъ, непременно находилось на границѣ.

На этой службѣ онъ обнаружилъ необыкновенный талантъ.

Въ непродолжительное время не было отъ него никакого житія контрабандистамъ. Это была гроза и отчаяніе всего польскаго жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Онъ даже не составилъ себѣ небольшого капитала изъ разныхъ конфискованныхъ товаровъ и отбираемыхъ кое-какихъ вещей, не поступающихъ въ въ казну во избѣжаніе лишней переписки. Такая ревностно-безкорыстная служба не могла не сдѣлаться предметомъ общаго удивленія и не дойти, наконецъ, до свѣдѣнія начальства. Онъ получалъ чинъ и повышеніе и вслѣдъ затѣмъ представилъ проектъ изловить всѣхъ контрабандистовъ, прося только средствъ исполнить его самому.

Тогда онъ вошелъ въ сдѣлку съ контрабандистами и скоро нажилъ до 500.000 рублей сразу. Но не подавляя съ товарищемъ, и плутовство его открылось: пришлось лишиться и денегъ, и мѣста.

Но уже ни капитала, ни разныхъ заграничныхъ вещей—ничего не осталось ему: на все это нашлись другіе охотники. Удержалось у него тысячонокъ десятокъ, запрятанныхъ про черный день, да дюжины двѣ голландскихъ рубашекъ, да небольшая бричка, въ какой ѣздятъ холостяки, да два крѣпостныхъ человѣка: кучеръ Селифанъ и лакей Петрушка; да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусковъ мыла для сбереженія свѣжести щекъ—вотъ и все. Итакъ вотъ въ какомъ положеніи вновь очутился герой нашъ! Вотъ какая громада бѣдствій обрушилась ему на голову! Это называлъ онъ: потерпѣть по службѣ за правду. Теперь можно бы заключить, что, послѣ такихъ бурь, испытаній, превратностей судьбы и жизненнаго горя, онъ удалится съ оставшимися кровными десятку тысячоночками въ какое-нибудь мирное захолустье уѣзднаго городишка и тамъ заклѣкнетъ навѣки въ ситцевомъ халатѣ, у окна низенькаго домика, разбирая по воскреснымъ днямъ драку мужиковъ, возникшую предъ окнами, или, для освѣженія, пройдясь въ курятникъ пощупать лично курицу, назначенную въ супъ, и проведетъ такимъ образомъ нешумный, но, въ своемъ родѣ, тоже не безполезный вѣкъ. Но такъ не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой силѣ его характера. Послѣ всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человѣка, въ немъ не потухла непостижимая страсть. Онъ былъ въ горѣ, въ досадѣ, ропталъ на весь свѣтъ, сердился на несправедливость людей и, однако же, не могъ отказаться отъ новыхъ попытокъ. Словомъ, онъ показавъ терпѣніе, предъ которымъ ничто деревянное терпѣніе нѣмца, заключенное уже въ медленномъ, лѣнивомъ обращеніи крови его. Кровь Чичикова, напротивъ, играла сильно, и нужно было много разумной

воли, чтобъ набросить узду на все то, что хотѣло бы выпрыгнуть и погулять на свободѣ. Онъ разсуждалъ, и въ разсужденіи его видна была нѣкоторая сторона справедливости: „Почему жъ я? Зачѣмъ на меня обрушилась бѣда? Кто жъ зѣваетъ теперь на должности?—всѣ пріобрѣтаютъ. Несчастливымъ я не сдѣлалъ никого: я не ограбилъ вдову, я не пустилъ никого по-міру; пользовался я отъ избытковъ; бралъ тамъ, гдѣ всякій бралъ бы; не воспользуйся я—другіе воспользовались бы. За что же другіе благоденствуютъ, и почему долженъ я пропасть червемъ? И что я теперь? Куда я похжусь? Какими глазами я стану смотрѣть теперь въ глаза всякому почтенному отцу семейства? Какъ не чувствовать мнѣ угрызения совѣсти, зная, что даромъ бремени землю? И что скажутъ потомъ мои дѣти?—„Вотъ“, скажутъ: „отецъ—скотина: не оставилъ намъ никакого состоянія!“

Уже извѣстно, что Чичиковъ сильно заботился о своихъ потомкахъ. Такой чувствительный предметъ! Иной, можетъ быть, и не такъ бы глубоко запустилъ руку, если бы не вопросъ, который, неизвѣстно почему, приходитъ самъ собою: „а что скажутъ дѣти?“ И, вотъ, будущій родоначальникъ, какъ осторожный котъ, покося только однимъ глазомъ въ бокъ, не глядитъ ли откуда хозяинъ, хватаетъ поспѣшно все, что къ нему поближе: мыло ли стоитъ, свѣчи ли, сало, канарейка ли попалась подъ лапу, словомъ, не пропускаетъ ничего. Такъ жаловался и плакалъ герой нашъ, а между тѣмъ дѣятельность никакъ не умирала въ головѣ его.

Онъ рѣшился скупать мертвыя души, не вычеркнутыя изъ ревнскихъ сказовъ, чтобъ заложить ихъ, какъ живые, въ опекунскій совѣтъ.

Итакъ, вотъ весь налицо герой нашъ, каковъ онъ есть! Но требуютъ, можетъ быть, заключительнаго опредѣленія одной чертою: кто же онъ относительно качествъ нравственныхъ? Что онъ не герой, исполненный совершенствъ и добродѣтелей,—это видно. Кто же онъ? Стало быть, подлецъ? Почему жъ подлецъ? Зачѣмъ же быть такъ строгу къ другимъ? Теперь у насъ подлецовъ не бываетъ: есть люди благонамѣренные, пріятные, а такихъ, которые бы на всеобщій позоръ выставили свою фязіогномію подъ публичную оплеуху, отыщется развѣ какихъ-нибудь два-три человѣка, да и тѣ уже говорятъ теперь о добродѣтели. Справедливѣе всего назвать его *хозяиномъ, пріобрѣтателемъ*. Пріобрѣтеніе—вина всего: изъ-за него произвелись дѣла, которымъ свѣтъ даетъ названіе *не очень чистыхъ*. Правда, въ такомъ характерѣ есть уже что-то отталкивающее, и тотъ же читатель, который на жизненной своей дорогѣ будетъ друженъ съ такимъ человѣкомъ, будетъ водить съ нимъ хлѣбъ-соль и проводить пріятно время, станетъ глядѣть на него косо, если онъ очутится героемъ драмы или поэмы. Но мудръ тотъ, кто не гнушается никакимъ характеромъ, но, вперя въ него испытующій взглядъ, извѣдываетъ его до первоначальныхъ причинъ. Быстро все превращается въ человѣка, не успѣешь оглянуться, какъ уже выросъ внутри страшный червь, самовластно обратившій къ себѣ всѣ жизненные соки. И не разъ, не только широкая страсть, но ничтожная страстишка къ чему-нибудь мелкому разрасталась въ рожденіи на лучшіе подвиги, заставляла его позабывать великія и святыя обязанности и въ ничтожныхъ побрякушкахъ видѣть великое и святое. Безчисленны, какъ морскіе пески, человѣческія страсти, и всѣ не похожи одна на другую, и всѣ онѣ, низкія и прекрасныя, вначалѣ покорны человѣку и потомъ уже становятся страшными властелинами его. Блаженъ избравшій себѣ изъ всѣхъ прекраснѣйшую

страсти: растеть и десятиреться съ каждымъ часомъ и минутой безмѣрное его блаженство, и входитъ онъ глубже и глубже въ безконечный рай своей души. Но есть страсти, которыхъ избранье не отъ человѣка. Уже родились онъ съ нимъ въ минуту рожденья его въ свѣтъ, и не дано ему силъ отклониться отъ нихъ. Высшими начертаньями онъ ведется, и есть въ нихъ что-то вѣчно воеущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить имъ, все равно, въ мрачномъ ли образѣ, или перенесшись свѣтлымъ явленіемъ, возрадующимъ міръ,—одинаково вызваны онъ для невѣдомаго человѣкомъ блага. И, можетъ быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка предъ мудростью небесъ. И еще тайна, почему сей образъ предсталъ въ нынѣ являющейся на свѣтъ поэмѣ.

Но не то тяжело, что будутъ недовольны героемъ; тяжело то, что живеть въ душѣ неотразимая увѣренность, что тѣмъ же самымъ героемъ, тѣмъ же самымъ Чичиковымъ были бы довольны читатели. Не загляни авторъ поглубже ему въ душу, не шевельни на днѣ ея того, что ускользаетъ и прячется отъ свѣта, не обнаружь сокровеннѣйшихъ мыслей, которыхъ никому другому не ввѣряетъ человѣкъ, а покажи его такимъ, какимъ онъ показался всему городу, Манилову и другимъ людямъ,—и всѣ были бы радешеньки и приняли бы его за интереснаго человѣка. Нѣтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ его не метался бы, какъ живой, предъ глазами: зато, по окончаніи чтенія, душа не встревожена ничѣмъ, и можно обратиться вновь къ карточному столу, тѣшащему всю Россію. Да, мои добрые читатели, вамъ бы не хотѣлось видѣть обнаруженную человѣческую бѣдность. „Зачѣмъ?“ говорите вы: „къ чему это? Развѣ мы не знаемъ сами, что есть много презрѣннаго и глупаго въ жизни? И безъ того случается намъ часто видѣть то, что вовсе не утѣшительно. Лучше же представляйте намъ прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы!“—„Зачѣмъ ты, братъ, говоришь мнѣ, что дѣла въ ховаяствѣ идутъ скверно?“ говоритъ помѣщикъ приказчику: „я, братъ, это знаю безъ тебя; да у тебя рѣчей развѣ нѣтъ другихъ, что ли? Ты дай мнѣ позабыть это, не зная этого—я тогда счастливъ“. И вотъ тѣ деньги, которыя бы поправили сколько-нибудь дѣло, идутъ на разныя средства для приведенія себя въ забвеніе. Спать умъ, можетъ быть, обрѣтшій бы внезапный родникъ великихъ средствъ; а тамъ имѣніе бухъ съ аукціона—и пошелъ помѣщикъ забываться по-міру, съ душою, отъ крайности готовою на низости, которыхъ бы самъ ужаснулся прежде.

Еще падеть обвиненіе на автора со стороны такъ называемыхъ патріотовъ, которые спокойно сидятъ себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами, накопляютъ себѣ капиталы, устраивая судьбу свою на счетъ другихъ; но какъ только случится что-нибудь, по мнѣнію ихъ, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, въ которой скажется иногда горькая правда,—они выбѣгутъ со всѣхъ угловъ, какъ пауки, увидѣвши, что запуталась въ паутину муха, и подымутъ вдругъ крики: „Да хорошо ли выводить это на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, что ни описано здѣсь, все наше,—хорошо ли это? А что скажутъ иностранцы? Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ: развѣ это не больно? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?“ На такія мудрыя замѣчанія, особенно насчетъ мнѣнія иностранцевъ, признаюсь, ничего нельзя

прибратъ въ отвѣтъ. А развѣ вотъ чтó. Жили въ одномъ отдаленномъ уголкѣ Россіи два обитателя. Одинъ былъ отецъ семейства, по имени Ки́фа Мо́кіевичъ, человѣкъ нрава кроткаго, проводившій жизнь халатнымъ образомъ. Семействомъ своимъ онъ не занимался; существованіе его было обращено болѣе въ умозрительную сторону и занято слѣдующимъ, какъ онъ называлъ, философическимъ вопросомъ: „Вотъ, напримѣръ, звѣрь“, говорилъ онъ, ходя по комнатѣ: „звѣрь родится нагишомъ. Почему же именно нагишомъ? Почему не такъ, какъ птица: почему не вылупливается изъ яйца? Какъ, право, того... совсѣмъ не поймешь природы, какъ побольше въ нее углубишься!“ Такъ мыслилъ обитатель Ки́фа Мо́кіевичъ. Но не въ этомъ еще главное дѣло. Другой обитатель былъ Мо́кій Ки́фовичъ, родной сынъ его. Былъ онъ то, чтó называютъ на Руси богатырь, и въ то время, когда отецъ занимался рожденіемъ звѣря, двадцатилѣтняя плечистая натура его такъ и порывалась развернуться. Ни за чтó не умѣлъ онъ вѣзаться слегка: все—или рука у кого-нибудь затрещитъ, или волдырь вскочитъ на чѣмъ-нибудь носу. Въ домѣ и въ сосѣдствѣ все—отъ дворовой дѣвки до дворовой собаки—бѣжало прочь, его завидя; даже собственную кровать въ спальнѣ изломалъ онъ въ куски. Таковъ былъ Мо́кій Ки́фовичъ, а, впрочемъ, былъ онъ доброй души. Но не въ этомъ еще главное дѣло. А главное дѣло вотъ въ чемъ. „Помилуй, батюшка баринъ, Ки́фа Мо́кіевичъ“, говорила отцу и своя, и чужая дворянъ: „что у тебя за Мо́кій Ки́фовичъ? Никому нѣтъ отъ него покоя, такой припертъ!“—„Да, шаловливъ, шаловливъ“, говорилъ обыкновенно на это отецъ: „да вѣдь какъ быть? Дратъся съ нимъ поздно, да и меня же всѣ обвинять въ жестокости; а человѣкъ онъ честолюбивый; укори его при другомъ-третьемъ—онъ уймется, да вѣдь гласность-то—вотъ бѣда! городъ узнаетъ, назоветъ его совсѣмъ собакой. Чтó, право, думають: мнѣ развѣ не больно? развѣ я не отецъ? Чтó занимаюсь философіей, да иной разъ нѣтъ времени, такъ ужъ я и не отецъ? Анъ, вотъ нѣтъ же, отецъ, чортъ ихъ побери, отецъ! У меня Мо́кій Ки́фовичъ вотъ тутъ сидитъ, въ сердцѣ!“ Тутъ Ки́фа Мо́кіевичъ билъ себя весьма сильно въ грудь кулакомъ и приходилъ въ совершенный азартъ. „Ужъ если онъ и останется собакой, такъ пусть же не отъ меня объ этомъ узнають, пусть не я выдамъ его!“ И, показавъ такое отеческое чувство, онъ оставлялъ Мо́кія Ки́фовича продолжать богатырскіе свои подвиги, а самъ обращался вновь къ любимому предмету, задавъ себѣ вдругъ какой-нибудь подобный вопросъ: „Ну, а если бы слонъ родился въ яйцѣ, вѣдь скорлупа, чай, сильно бы толста была,—пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрѣльное орудіе выдумать“. Такъ проводили жизнь два обитателя мирнаго уголка, которые неожиданно, какъ изъ окошка, выглянули въ концѣ нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвѣчать скромно на обвиненіе со стороны нѣкоторыхъ горячихъ патріотовъ, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философіей или приращеніями насчетъ суммъ нѣжно любимаго ими отечества, думающихъ не о томъ, чтобы не дѣлать дурного, а о томъ, чтобы только не говорили, что они дѣлають дурное. Но нѣтъ, не патріотизмъ и не первое чувство суть причины обвиненій; другое скрывается подъ ними. Къ чему таить слово? Кто же, какъ не авторъ, долженъ сказать святую правду? Вы боитесь глубоко-устраемленнаго взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокій взоръ, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмѣетесь даже отъ души надъ Чичиковымъ; можетъ быть, даже похвалите автора—скажете: „Однакожъ, кое-что онъ ловко подмѣтилъ! долженъ быть веселаго

права человѣкъ!“ И послѣ такихъ словъ, съ удвоившеюся гордостью, обратитесь къ себѣ, самодовольная улыбка покажется на лицѣ вашемъ, и вы прибавите: „А вѣдь должно согласиться, престранные и пресмѣшныя бываютъ люди въ нѣкоторыхъ провинціяхъ, да и подлецы при томъ немалые!“ А кто изъ васъ полный христіанскаго смиренія, негласно, а въ тишинѣ, одинъ, въ минуты уединенныхъ бесѣдъ съ самимъ собой, углубить во внутреннюю душу сей тяжелый запросъ: „А нѣтъ ли во мнѣ какой-нибудь части Чичикова?“ Да, какъ бы не такъ! А вотъ пройди въ это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имѣющій чинъ ни слишкомъ большой, ни слишкомъ малый,—онъ въ ту же минуту толкнетъ подъ руку своего сосѣда и скажетъ ему, чуть не фыркнувъ отъ смѣха: „Смотри, смотри: вонъ Чичиковъ, Чичиковъ пошелъ!“ И потомъ, какъ ребенокъ, позабывъ всякое приличіе, должное званію и лѣтамъ, побѣжитъ за нимъ въ догонку, поддразнивая сзади и приговаривая: „Чичиковъ! Чичиковъ Чичиковъ!“

Но мы стали говорить довольно громко, позабывъ, что герой нашъ, спавшій во все время разсказа его повѣсти, уже проснулся и легко можетъ услышать такъ часто повторяемую свою фамилію. Онъ же человѣкъ обидчивый и недоволенъ, если о немъ изъясняются неуважительно. Читателю съ-полугоря, разсердится ли на него Чичиковъ, или нѣтъ; но что до автора, то онъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ ссориться со своимъ героемъ: еще не мало пути и дороги придется имъ пройти вдвоемъ рука объ руку; двѣ большія части впереди—это не бездѣлица.

„Эхе-хе! что жъ ты?“ сказалъ Чичиковъ Селифану: „ты?...“

„Что?“ сказалъ Селифанъ медленнымъ голосомъ.

„Какъ что? Гусь ты! Какъ ты ѣдешь? Ну же, потрогивай!“

И въ самомъ дѣлѣ, Селифанъ давно уже ѣхалъ, зажмуря глаза, изрѣдка только потряхивая вопроскахъ вожжами по бокамъ дремавшихъ тоже лошадей; а съ Петрушки уже давно, ни вѣсть въ какомъ мѣстѣ, слетѣлъ картузъ, и онъ самъ, опрокинувшись назадъ, уткнувъ свою голову въ колѣно Чичикову, такъ что тотъ долженъ былъ дать ей челчка. Селифанъ приободрился и, отшлепавши нѣсколько разъ по спинѣ чубараго, послѣ чего тотъ пустился рысцой, да помахавши сверху кнутомъ на всѣхъ, примолвилъ тонкимъ пѣвучимъ голоскомъ: „Не бойся!“ Лошадки расшевелились и понесли, какъ пухъ, легонькую бричку. Селифанъ только помахивалъ да покрикивалъ: „эхъ! эхъ! эхъ!“ плавно подскакивая на козлахъ, по мѣрѣ того, какъ тройка то влетала на пригорокъ, то неслась духомъ съ пригорка, которыми была устлана вся столбовая дорога, стремившаяся чуть замѣтнымъ накатомъ внизъ. Чичиковъ только улыбался, слегка подметывая на своей кожаной подушкѣ, ибо любилъ быструю ѣзду. И какой же русскій не любитъ быстрой ѣзды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: „чортъ побереи все!“ его ли душѣ не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чуждое? Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ, и самъ летишь, и все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ съ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ; летитъ вся дорога ни вѣсть куда въ пропадающую даль; и что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканьи, гдѣ не успѣваетъ означиться пропадающій предметъ, только небо надъ головою да легкія тучи, да продирающійся мѣсяцъ одни кажутся недвижны. Эхъ, тройка, птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать, у бойкаго народа

ты могла только родиться,—въ той землѣ, что не любить шутить, а ровнемъ-гладнемъ разметнулась на полсвѣта, да и ступай считать версты, пока не зарядитъ тебѣ въ очи. И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, не желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а наскоро, живьемъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ, снарядилъ и собралъ тебя ярославскій расторопный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и сидитъ чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ, да замахнулся, да затянулъ пѣсню—кони вихремъ, спицы въ колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ испугъ остановившійся пѣшеходъ—и вонъ она понеслась, понеслась, понеслась!... И вонъ уже видно вдали, какъ что-то пылить и сверлить воздухъ.

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымомъ дымитса подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается позади! Остановился пораженный Божьимъ чудомъ соверпатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значить это наводящее ужасъ движеніе? и что за невѣдомая сила заключена въ сихъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони,—что за кони! Вихри ли сидятъ въ вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ? Заслышали съ вышины знаемую пѣсню—дружно и разомъ напрягли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ однѣ вытянутыя линіи, летящія по воздуху, и мчитса, вся вдохновенная Богомъ!.. Русь, куда жъ несешься ты? дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливаются колокольчикъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства.



MA-210907
U.C. BERKELEY LIBRARIES



006679725

8



THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

1535 N. Dearborn St., Chicago, Ill.

Subscription price, \$5.00 per annum in advance. Single copies, 15 cents.